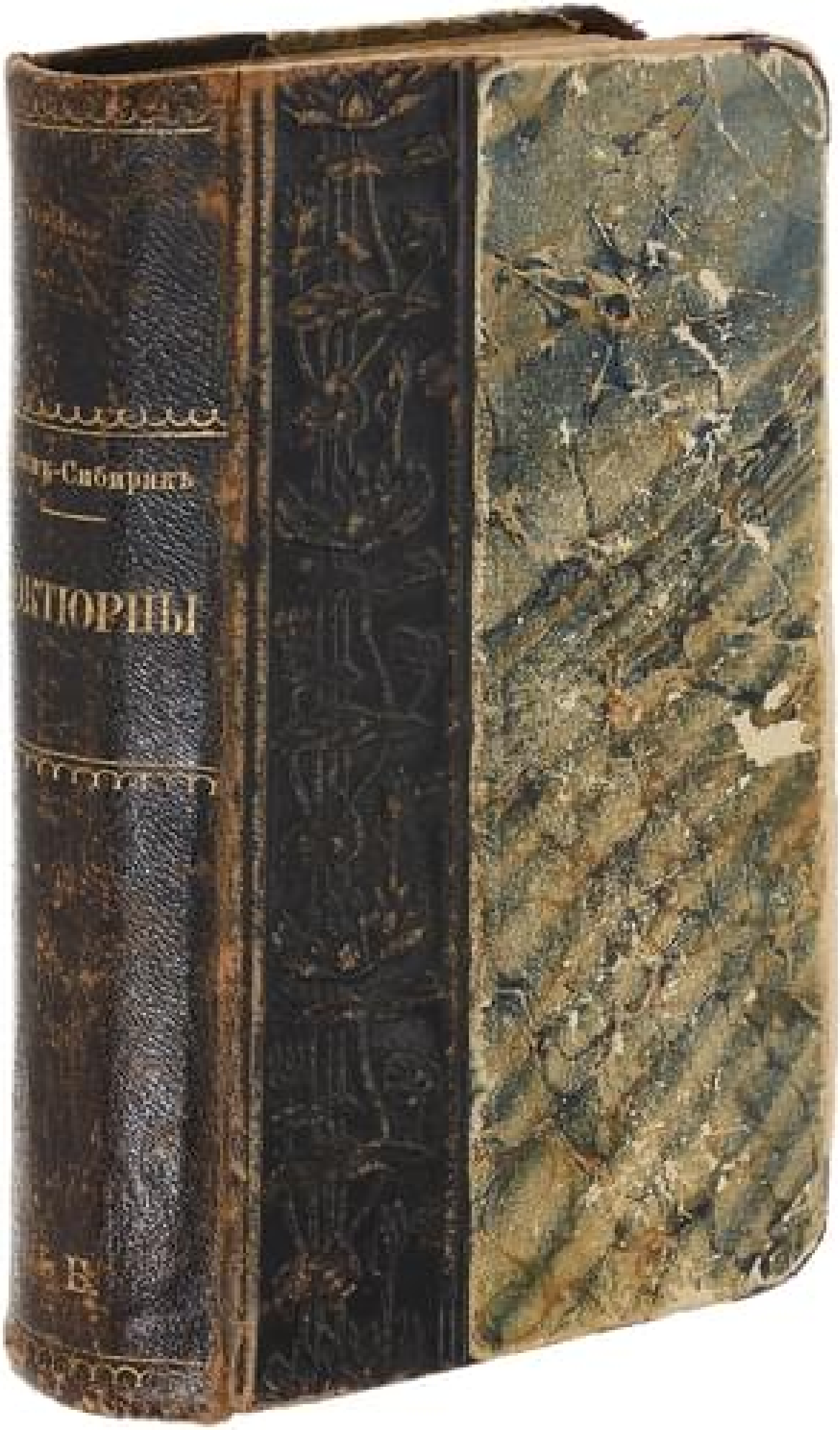
-Сибиряк
ТОРІИ
В

Ноктюрны //Тип. Г. Г. Шклвеера, СПб, 1902
FB2: “fb2design ”, 29 May 2020, version 2.0
UUID: C6413B03-7630-4BB9-81FD-73CD11BAA2C8
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк

Ноктюрны (сборник)

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк (1852–1912) – русский прозаик и драматург.

Сборник повестей и рассказов «Ноктюрны» 1902-го года издания.

Тексты даются в современной орфографии.

https://traumlibrary.ru

Содержание

Дорогой друг 0005
Встреча 0057
Неотправленные письма 0076
Безделушка 0187
Роковые дни 0207
Дурнушка 0269
Лист желтеет 0352
Темная вода 0402
Риваль 0420
Тени богов 0440
Вкруг ракитова куста 0461
Стрекоза 0574
Между нами 0603
Ангелочки 0656
Черное слово 0676
Клятва Антона 0692
Отчаянный человек 0719
Рекомендательное письмо 0748
Голос крови 0776
Дверь добра и дверь зла 0790
Любовь 0821
Мать-мачеха 1009
Не мама 1145

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк
Ноктюрны

Дорогой друг

I

Дождь шел уже несколько дней сряду, мелкий, холодный, назойливый. Какой-то больной контраст представляли весело пестревшие на куртинах цветы, – они точно сознательно не желали соглашаться с наступающей осенью. Георгины еще только распускались, астры стояли в полном цвету. Сергей Петрович испытывал какую-то особенную нежность именно к этим запоздалым осенним цветам и каждый раз, когда шел на дачу к Чубарским, непременно останавливался в садике перед террасой и молча любовался этими немыми свидетелями наступавшей осени. Оказывалось, что Сергей Петрович очень любил цветы и каждое лето должен был отказывать себе в этом удовольствии, т. е. не отказывать, а как-то так выходило, что он оставался без цветов. Была и своя небольшая дача, выстроенная для неприхотливого холостяка, был распланирован и садик, но экономка Марфа Семеновна и горничная Наташа поднимали между собой отчаянную

войну именно в момент переезда на дачу, когда устраиваются цветники, и Сергей Петрович оставался без цветов. В душе он давал отчаянные клятвы, что непременно откажет этим милым фуриям, заставляющим его любоваться чужими цветами, но эта решимость сейчас же парализовалась совершенно логичными рассуждениями, что ведь новая Марфа Семеновна и новая Наташа только повторят своих предшественниц. Сказывалась привычка старого холостяка к покою, к инерции, к лени.

Да, шел дождь, а Сергей Петрович стоял в чужом садике и любовался чужими цветами. Нет, положительно, он должен отказать и экономке, и горничной – довольно, будет. С этой мыслью он бодро направился прямо на террасу, сбросил непромокаемое пальто и вошел в гостиную без доклада, – в качестве друга дома он имел право позволить себе эту маленькую свободу. На столике в углу лежал серый цилиндр, – значит, хозяин был дома; дверь налево, в будуар, была закрыта – значит, хозяйка была чем-то недовольна. Сергей Петрович знал все мелочи в этом доме и все

привычки. Да и кому же было их знать, как не старому другу дома? Сергей Петрович с видом эксперта даже прищурил один глаз, стараясь мысленно разрешить вопрос: рассердилась Евгения Ивановна вообще, т. е. так, как иногда умеют сердиться женщины – дождь идет, портниха испортила платье, ну, одним словом, нервы, или рассердилась по частному случаю, т. е. на Антона Федорыча. Ответом на эти тонкие размышления послужил осторожный скрип двери из хозяйского кабинета, а затем показалась и голова самого домовладыки. На его лице появилась радостная улыбка: Сергей Петрович не мог прийти более кстати.

– Ах, дорогой друг, как я рад тебя видеть!

Этим было все сказано: когда супруги ссорились, они начинали относиться к Сергею Петровичу с особенной нежностью. Он являлся некоторым буфером самого несомненного семейного счастья. Прилив нежных дружеских чувств прикрывал собой какую-нибудь неразрешимую семейную неприятность, а в этом материале недостатка не было. Вот и сейчас Антон Федорыч смотрит на дорогого гостя такими виновато-благодарными глаза-

ми, как напроказившая собака. Он взял дорогого друга за рукав и, ступая на цыпочках, ввел его в свой кабинет.

– У *нас* ревность, дорогой друг… – прошептал он, подмигивая на закрытую плотно дверь. – Да-с, ревность.

У Сергея Петровича по какой-то дикой ассоциации идей мелькнула мысль о новой горничной Чубарских, но Антон Федорыч предупредил его, – они так хорошо были знакомы, что могли читал между строк.

– Нет, Маша тут ни при чем, дорогой друг…

– Нервы?!

Плечи Антона Федорыча поднялись, а потом он уже без всякой видимой побудительной причины лукаво подмигнул дорогому другу.

– В сущности, положа руку на сердце, я должен сознаться, дорогой друг, что Женя до известной степени права… гм… да…

– Она права?!

Сергей Петрович даже отступил в некотором священном ужасе и смирял Антона Федорыча вопросительным взглядом с ног до головы. Антон Федорыч обманывал свою жену?!.

Нет, это было что-то такое до того дикое и несообразное, что не укладывалось ни в какие рамки. Антон Федорыч был уже в том почтенном возрасте, когда молодых и красивых жен не обманывают. У него был уже тот облезлый, подержанный вид, какой приличествует солидному петербургскому мужу, – он женился именно в тот момент, когда мужчина чувствует солидную усталость, теряет аппетит к холостой свободе и ищет тихих семейных радостей. Да, и вдруг в эту тихую пристань ворвался шквал... Прибавьте к этому, что семья была образцовая и Чубарские слыли примерно-счастливой парочкой. Прибавьте к этому еще то, что Сергей Петрович уже второй год был серьезно влюблен в Евгению Ивановну и, как ему казалось, мог рассчитывать на взаимность, если бы не считал узы дружбы священными. Он припомнил несколько таких прогулок, длинные разговоры с глазу на глаз, красноречивые взгляды – нет, он умел держать себя в руках и героически душил в себе всякое внешнее проявление подтачивавшего его чувства. Он даже приносил жертвы – да, пожалуйста, не смейтесь, это

было. Был целый ряд очень предприимчивых претенденток на его мужскую свободу, и он даже был мысленно не прочь пожертвовать собой, тем более, что уже находился в критическом возрасте; но стоило ему только сравнить любую из этих милых особ с Евгенией Ивановной, и всякая иллюзия исчезала.

– Я с тобой говорю, Сергей Петрович, как с старым испытанным другом, – продолжал хозяин, прислушиваясь к шагам в гостиной. – Да, с другом... Видишь ли, в чем дело... гм... да...

Он подошел к другу совсем близко, взял его за борт серенькой летней визитки и заговорил как-то особенно быстро, глотая слюну:

– Видишь ли, в чем дело... да... гм... Мне, видишь ли, сегодня до зарезу нужно уехать из дому. Ты понимаешь? Я, вероятно, не вернусь домой... скажу, что опоздал на поезд... да... Я знаю, что ты пуританин и будешь меня презирать... Да, да... В мои годы увлечения делаются тяжелыми, но что поделаешь с этой подлой живучестью. Ах, если бы ты ее видел: золотистые волосы... кожа – молоко... А как она смеется, как дурачится! Котенок, а не женщи-

на...

– Я не понимаю одного, при чем тут я?..

– Подожди... Мне очень трудно быть сейчас откровенным с тобой... И, главное, я люблю Женю, а *это* так... случайное маленькое знакомство. Женя немного холодна, сдержанна, как всякая порядочная женщина... А тут хлынуло такое сладкое безумие, точно мне двадцать лет... да...

– Все-таки я не поним...

– Постой...

Хозяин расстегнул визитку, взял дорогого друга за оба лацкана и притянул его к себе еще ближе.

– Видишь ли, Женя подозревает что-то... У женщин есть на это какое-то проклятое чутье. Да... Определенного она ничего не знает, а только подозревает... Когда я утром, за чаем, сказал, между прочим, что, может быть, мне придется вечером уехать... Ну, одним словом, с этого началось, и она устроила мне сцену... Да... Женщины чувствуют соперницу инстинктивно, хотя, клянусь тебе, душой я не изменяю Жене и очень люблю ее. Но... Нет, она такая милая... да... И вот, если бы ты

остался у нас сегодня на весь вечер... Женя так тебя любит, а если бы ты знал ее... гм... Знаешь, на женщин больше всего действует самый звук слов, а не их смысл. А у тебя есть положительный талант именно так разговаривать... я наблюдал...

– Какой там талант, помилосердуй...

– Перестань, пожалуйста. Что за скромность!.. Одним словом, пожертвуй для меня одним вечером... Всего одним вечером, голубчик! Ах, как много проживаешь вечеров совершенно напрасно, а тут какой-нибудь один вечер... Знаешь, бывают такие моменты, когда час идет за год... Одним словом, ты меня понимаешь!..

Сергей Петрович всей фигурой выражал какую-то дрянную нерешительность, и это возмущало Антона Федорыча. Право, байбак какой-то, размазня, тюфяк...

– Послушай, Антон Федорыч, *это* у тебя давно?

– Около двух недель... Знаешь, этакое милое дачное знакомство. Она живет с какой-то теткой... кажется, даже есть муж, т. е. догадываюсь о его существовании по некоторым

признакам. Вполне приличная особа... А как она мило умеет отдаваться... Ведь в этом именно вся женщина...

– Довольно, довольно... Охотно верю.

В порыве благодарности Антон Федорыч расцеловал дорогого друга и так его стиснул, что тот едва вырвался.

– О, всего один вечер!.. Полцарства за один вечер... – повторял он с легкомыслием разыгравшегося теленка...

II

Когда заговорщики вышли в гостиную, где сидела Евгения Ивановна, Сергей Петрович довольно логично подумал: «Ах, какие мы все подлецы, мужчины!»

Да, ему было совестно, особенно когда он посмотрел на эту цветущую молодую женщину, любящую, верящую, чистую. Ведь Евгения Ивановна была, так хороша, а всякая красота уже несет в самой себе оправдание. Сергею Петровичу показалось, что она никогда еще не была так чудно хороша, эта жертва мужского эгоизма и дешевеньких увлечений. Прежде всего, у Евгении Ивановны был великолепный рост, чудная свежая кожа, краси-

вая головка, русые волосы с золотистым отливом, очаровательные серые глаза – одним словом, все хорошо. Конечно, нос мог быть немного правильнее, но и этот недостаток в глазах Сергея Петровича превращался в достоинство, потому что придавал лицу известную пикантность, ту маленькую оригинальность, которую так охотно прощают очень богатым людям и хорошеньким женщинам. Затем, красивая женщина могла иметь только серые глаза – это было убеждением Сергея Петровича. Наконец ему нравилась манера одеваться и больше всего манера держать себя, особенно, когда Евгения Ивановна начинала смотреть на Сергея Петровича немного исподлобья, причем «капризная прядь» слегка вившихся волос спускалась на этот белый, точно выточенный из слоновой кости лоб. О, она была хороша, вся хороша, каждой линией, каждой черточкой, каждым движением... И рядом это чудовище, которое называлось Антоном Федорычем! Сергей Петрович искренно раскаивался, что вошел в тайное соглашение с таким человеком и продал себя за чечевичную похлебку дружбы. Есть положе-

ния, когда оправданий не полагается.

– Я так рада вас видеть, Сергей Петрович…

Он поцеловал маленькую, крепкую белую ручку и еще раз почувствовал себя порядочным мерзавцем. Антон Федорыч виновато юлил главами, заискивающе улыбался и оказывал дорогому другу все знаки внимания, какие только были в его распоряжении. Последнее было далее лишним: он продавал себя вперед, и Евгения Ивановна раза два посмотрела на него презрительно-прищуренным глазами.

– Вы, кажется, сегодня собирались ехать по делу? – спросила она с уничтожающим равнодушием.

– Да, т. е. могу и не ехать, Женя. Все это Карпов… Мне необходимо его видеть, а завтра он уезжает.

– Тогда нужно ехать, дорогой мой, а я здесь поскучаю одна…

– Если позволите, я с удовольствием поскучаю вместе с вами… – нашелся Сергей Петрович. – Да… с удовольствием.

– Я думаю, что твой Карпов позволит тебе напиться чаю вместе с нами? – спрашивала

Евгения Ивановна, выдерживая тон. – Сергей Петрович очень любезен, и мы будем с ним музицировать...

Чай прошел скучно, а Антон Федорыч держал себя, как гимназист, которому назначено первое любовное свидание. Он ерзал на стуле, под столом смотрел на часы, смотрел с тоской на дверь и кончил тем, что проговорил убитым голосом:

– Нет, Женя, я не поеду...

Она только горько улыбнулась.

– Перестань болтать глупости... И ты напрасно думаешь, что я хочу удержать тебя. Самое лучшее, если ты переночуешь в городе... Я говорю тебе серьезно, потому что дело прежде всего.

Изверг довел ее до того, что она сама начала упрашивать его, и он, только поломавшись, уступил этим усиленным просьбам. Все это было до того гадко, что Сергей Петрович все время старался не смотреть на него и почувствовал себя совсем гадко, когда Антон Федорыч на прощанье с особенной выразительностью тряс его руку.

Потом в садике мелькнула шляпа Антона

Федорыча.

– Как он, бедняжка, торопится… – заметила она, не обращаясь ни к кому, а потом прибавила: – Ведь он просил вас провести вечер со мной, Сергей Петрович? Да?.. Уверяю вас, что вы единственный человек, с которым я не буду скучать…

– Гм… да… т. е. вообще Антон Федорыч всегда любезен, и мне иногда даже совестно, потому что чем же я могу отплатить?

– Платят той же монетой…

Она неожиданно засмеялась и посмотрела на Сергея Петровича каким-то вызывающим взглядом. Потом наступила пауза, потому что Сергей Петрович решительно не мог проговорить ни одного слова. Она еще раз улыбнулась и потом проговорила усталым голосом:

– Мы немного пройдемся.

Горничная подала летнюю накидку и зонтик. Евгения Ивановна с рассеянным видом надела шляпку и еще раз посмотрела на своего кавалера загадочно улыбавшимися глазами.

– Идем…

В ее движениях появилась какая-то осо-

бенная решительность, и он молча любовался этой красавицей. Да, настоящая красавица... Даже горничная, и та любовалась барыней, – он это видел и с благодарностью посмотрел на нее, как на свою тайную сообщницу.

Они вышли в сад. Дача стояла в полугоре, и из садика открывался довольно сносный вид. Внизу лепились маленькие дачки, за ними желтой змейкой вилась линия железной дороги, дальше зеленой стеной уходил смешанный лес. Она внимательно осмотрела куртины с завявшими цветами и проговорила:

– Вот красноречивое доказательство, что ни один летний солнечный день не вернется...

Что она хотела сказать этой фразой?.. Он даже что-то хотел ответить, но в этот момент там, внизу, раздался резкий свисток. Это отходил дачный поезд в Петербург. Вот взмыл кверху клуб белого пара, вот с тяжелым грохотом выдвинулся поезд и гремучей змеей скрылся к сосновом леске.

– Как он счастлив, бедняжка... – заметила

она, провожая глазами потянувшуюся из-за леса струю дыма. – Послушайте, что же вы не предложите мне свою руку, Сергей Петрович? Вы забываете свои обязанности…

Она могла шутить, она могла улыбаться…

Выйдя из садика, он повел ее по мокрой песчаной дорожке налево, к парку. Там не было грязно даже в дождь. Сергей Петрович с удовольствием чувствовал, как она крепко оперлась на его руку. Даже шелест модной шелковой юбки доставлял ему удовольствие. Падавшие с деревьев капли дождевой воды заставляли ее вздрагивать и улыбаться.

– Я люблю гулять именно в такую погоду, Сергей Петрович. Что-то такое бодрое есть в этой осени и немножко грустное… Хочется помечтать, забыться, куда-то унестись, как летят сейчас перелетные птицы на юг.

Она опять улыбнулась, но на этот раз как-то печально, сдерживая невольный вздох. Сергей Петрович замер от нахлынувшей на него такой хорошей жалости. Ему хотелось ее приласкать, успокоить, утешить, сказать что-то такое хорошее чтобы это чудное лицо просветлело и глаза улыбнулись.

О чем они говорили – трудно сказать. Есть такие разговоры, передать содержание которых трудно, потому что они состоят из полуслов, намеков и подстрочных переводов. Почему-то Евгения Ивановна заговорила о своем детстве, потом привела несколько эпизодов из девичьей жизни, и Сергей Петрович понял почему-то, что она никогда не любила мужа. Да, они играли в мужа и жену, представляя публике пример счастливой парочки. Ах, как часто это случается и как часто действующие лица такой комедии сами верят своему несуществующему счастью!

Домой Евгения Ивановна вернулась немного усталая, но с зарумянившимся лицом. В ее русых волосах блестело несколько капель дождевой воды. Спускались быстрые осенние сумерки, и в гостиной приветливо горела большая лампа под модным красным абажуром. Евгения Ивановна велела убрать лампу и села к роялю, перебирая на память знакомые мотивы. Сергея Петровича поразило, как она делала переходы от грустных поэтических мелодий к бешеным цыганским мотивам, а от них к сентиментальным мотивам

старинных романсов. Свет падал на нее из дверей, и Сергей Петрович видел только одну освещенную часть лица, точно в ней, в Евгении Ивановне, сейчас боролись и свет и тьма.

– Вам нравится?.. – тихо спросила она и, не дожидаясь ответа, весело рассмеялась. – Садитесь, сыграемте что-нибудь в четыре руки... на память. Впрочем, нет, не нужно...

Она перешла к дивану и устало села на самый уголок. Сергею Петровичу показалось, что она сейчас такая маленькая.

– Сергей Петрович, расскажите мне откровенно, любили ли вы когда-нибудь?.. Только, пожалуйста, не придумывайте ничего.

Она сама указала ему скамеечку у своих ног. Он повиновался, чувствуя, как у него в голове закружилась вся комната и как его подхватила и понесла какая-то сила. Что он говорил? Ах да, он рассказал ей в третьем лице всю свою историю тайной любви к ней, т. е. третьим лицом являлась она. Ведь он столько лет вынашивает это чувство, как святыню, он молится на нее, он, счастлив одним ее присутствием, он страдает за нее и понимает гораздо больше, чем она когда-нибудь могла

предполагать. Да, все это верно… И, главное, он никогда не смел на что-нибудь надеяться, как не надеются, что божество спустится до простого смертного. Он счастлив этой недоступностью своей богини, счастлив собственным ничтожеством.

– А вот богиня совсем вас не любит… – тихо ответила она, опуская свою руку к нему на голову. – Нисколько… да. Она ничего не видит, ничего не замечает, как и следует богине…

Было двенадцать часов ночи, когда дорогой друг уходил с дачи. Он старался не смотреть на горничную, подававшую пальто, как вор, который уносил из дома самое дорогое. В саду он остановился и посмотрел на полуосвещенные окна гостиной, потом провел рукой по лицу, точно хотел проснуться от какого-то сна, потом быстро зашагал мимо клумб с осенними цветами, на ходу сорвал белую астру и быстро скрылся в темноте осенней глухой ночи.

III

Бывают странные сны и еще более странные пробуждения.

Так было и с Сергеям Петровичем, когда он

на другой день проснулся у себя в кабинете, – он спал на широком турецком диване. Открыв глаза, он что-то сразу припомнил и быстро сел. Потом он оглядел стены своего кабинета, шкап с книгами, письменный стол, фотографии на стене и остановился на довольно соблазнительной нимфе, нарисованной известным художником.

«Как это глупо… Нет, больше: неприлично, вульгарно, гадко!»

– К черту нимфу!.. – вслух решил Сергей Петрович, опять закрывая глаза, чтобы яснее вызвать какую-то картину в воображении. – Ах, милая, милая, милая…

Он позвонил и быстро начал одеваться. Смазливая горничная, подававшая умываться, заметила, что барин сегодня особенно старательно задался своим туалетом. Правда, он всегда был внимателен к своей особе по утрам, но сегодня по преимуществу. Вытирая шею полотенцем, Сергей Петрович решил про себя, что и горничную к черту, вместе с проклятой нимфой. Да, все к черту… Вообще в его доме отныне не должно быть ничего *такого*.

– Ах, милая, милая…

Когда подали кофе, Сергей Петрович почувствовал, что ему тесно и душно в комнате. Он вышел на террасу и долго смотрел на пустовавший садик, в котором должны были расти его собственные цветы. О, теперь будет не то… Как жаль, что лето прошло! В сущности, он сам виноват, что поддавался глупой экономке. Нет, теперь все будет по-другому… Ему и самому хотелось сделаться лучше, чище, светлее. В душе поднималась такая сладкая тревога, такая запоздалая радость… Сергею Петровичу хотелось и плакать, и смеяться, кого-то обвинять, что он прожил всю жизнь по-свински, когда можно было устроиться несколько иначе. Да-с, иначе…

– Ах, милая, милая…

Вернувшись в кабинет, Сергей Петрович запер дверь на ключ, достал из ящика вчерашнюю астру и поцеловал ее. Это была ребяческая выходка, смешная и нелепая во всякое другое время, но сейчас она имела самое серьезное значение. Это были первые цветы, напоминавшие о любимой женщине, – нет, слово «любимая» слишком жалко и ничтож-

но, чтобы выразить вполне все то, что сейчас переживал Сергей Петрович. Ведь он прожил до своих сорока лет, не любя. Были увлечения, шаблонные интрижки, вообще – глупости. А настоящее охватило его только сейчас. В нем проснулась какая-то жажда совершать что-нибудь необыкновенное, большое, чтобы все это видели и все сказали: до сих пор мы все не знали, что такое Сергей Петрович. и такой человек мог прожить до сорока лет, не совершив решительно ничего… Ведь женщины глубоко правы, когда они дарят свои симпатии знаменитым людям, громким именам, тем мужчинам, которые так или иначе проявили ярко свою индивидуальность. Этот подъем духа, скрытая энергия и повышенный тон действуют неотразимо, вызывая в ответ лучшие и самые дорогие чувства. Да, для этого стоит жить, рисковать, жертвовать собой…

Совершать какой-нибудь подвиг в стенах собственной своей дачи довольно трудно – нужна другая обстановка, что-нибудь необыкновенное, а затем и время было неподходящее – утром все великие люди только еще приготовляют себя. Вообще, великое событие

требует своей обстановки. Машинально Сергей Петрович направился в парк. Дождь перестал, но небо продолжало хмуриться. Дача занимала склон горы и подходившую к ней равнину. Парк расположен был на самом верху, и там был свой пуант, с которого открывался вид на всю дачную городьбу. Именно на этом пункте и остановился Сергей Петрович, отыскав глазами знакомую зеленую крышу и деревянную башенку с балконом.

– Милая... – прошептал он, протягивая руки вперед. – И я столько времени не подозревал, что она меня любит!.. Где у меня были глаза? А как она страдала, бедная...

Этот бурный поток радостных мыслей был прерван воспоминанием об Антоне Федоровиче и его вчерашней исповеди. Ах, какой мерзавец этот Антон Федорович... И он, этот мерзавец, являлся теперь живой стеной, отделявшей его навсегда от любимой женщины. У Сергея Петровича сделалось страшное лицо при одной мысли об этом законном сопернике. Вызвать его на дуэль? Просто убить, как убивают вредное животное?.. И он, Сергей Петрович, должен быть свидетелем тех ласк,

которые супруги позволяют в присутствии близких друзей. Сергей Петрович припомнил, как это скверное животное целовало при нем Евгению Ивановну, и теперь вперед скрежетал зубами от бессильной ярости. О, нет, он должен будет устранить его во что бы то ни стало, даже путем преступления... Вот и тот подвиг, которым он проявит свою любовь. В ужасе Сергей Петрович даже закрыл глаза, так ярко представилась ему картина этого подвига. Распростертый по земле труп Антона Федоровича с страшно зияющими ранами в груди – так и будет сказано в репортерском отчете во всех газетах. Ему даже нравились эти уголовные слова: «распростертый труп», «зияющая рана в груди». А дальше он видел уже самого себя на скамье подсудимых, спокойного, с твердой решимостью во взгляде, слышал собственное последнее слово: «Гг. присяжные заседатели!.. Есть святые чувства, которые самый обыкновенный человек не позволит попирать никому... Да, я убил своего старого друга, но причину этого преступления я унесу с собой в могилу. Судите меня по всей строгости закона: я готов пострадать. И

если бы мой старый друг мог каким-нибудь чудом воскреснуть, я убил бы его во второй раз»...

– Ну, последнее можно, пожалуй, и не говорить, – вслух подумал Сергей Петрович, соображая все обстоятельства дела. – Это уже рисовка, а тут все дело в одной искренности. Однако который теперь час?

Было всего еще десять часов. Она, наверно, еще спит. О, спи, милая, милая... Он видел эту спальню, ее кровать, защищенную японской ширмочкой, даже чувствовал какой-то одуряющий аромат крепких японских, духов, который он вчера унес из этого святилища. Да, она спит и, может быть, видит во сне его, Сергея Петровича... А как она обнимала его, какие слова шептала, как ласкалась к нему!.. А теперь все это спит: и ласки, и поцелуи, и объятия, и заворживший его шепот, и смех русалки. Боже мой, как хороша жизнь, когда проснутся эти глаза, а с ними и весь мир! Для такой женщины стоит пойти на все, до преступления включительно.

Раньше часа он не мог идти на свиданье, а ждать целых три часа было настоящей пыт-

кой. Шагая по аллее, Сергей Петрович вперед старался представит себе эту сегодняшнюю встречу и замирал от восторга. Ведь это его первая и последняя, единственная любовь… В одиннадцать, часов он был опять у себя дома, чтобы еще раз переодеться, а кстати необходимо было захватить книгу, как предлог для визита на всякий случай. Делая все эти приготовления, Сергей Петрович мог только удивляться собственной бессовестности: хоть бы тень угрызения совести… Ведь это нехорошо обманывать своего старого друга, даже очень нехорошо, совсем гнусно, а он шел на свидание с совершенно спокойной совестью. Э, не все ли равно! Да и что такое совесть, ежели разобрать…

С каким трепетом шел он по знакомой дорожке к даче Чубарских. Вот и садик пестреет осенними цветами, а на террасе… У него помутилось в глазах от счастья.

– Ради Бога, осторожнее, – проговорила она, отворяя ему дверь террасы. – Он только что вернулся… Кстати, не делайте такого глупо-торжественного лица. Будьте, как всегда…

Его поразил больше всего спокойный тон,

которым она говорила. У него замерли на языке те слова, которые он повторял с раннего утра и нес сюда, как святыню. И вид у нее был такой же, какою он привык видеть ее изо дня в день. У Сергея Петровича что-то точно порвалось в душе, и он посмотрел на нее такими жалкими умоляющими глазами, точно хотел найти ту, вчерашнюю Евгению Ивановну. Она сделала знак глазами: «он идет». Действительно, на террасу вошел Антон Федорович, немного измятый, усталый, с кислым выражением лица.

– А, дорогой друг, – лениво протянул он, зевая.

– Вы, по-видимому, недурно воспользовались своим маленьким временем? – заметила Евгения Ивановна.

– Да, должен сознаться, что того... В сущности, я ужасно жалел, что поехал, и ты напрасно не удержала меня.

Когда жена отвернулась, Антон Федорович лукаво подмигнул дорогому другу. Это уж было слишком... Шла двойная игра. Вывела из неловкого положения горничная, явившаяся с докладом, что завтрак готов. Это было новое

испытание. Евгения Ивановна держала себя с невозмутимым спокойствием, и это произвело на Сергея Петровича неприятное впечатление. Он ожидал смущенно опущенных глаз, застенчивых улыбок, непрошенного румянца, а тут как есть ничего, так что он даже усомнился в существовании вчерашнего дня. Только один раз он заметил на себе ее пристальный взгляд, – она рассматривала его с каким-то любопытством, как смотрят на человека, который пришел в дом в первый раз. Вообще он ожидал совсем не этого и по логике обманутого человека во всем обвинял вернувшегося не вовремя Антона Федоровича, которого возненавидел еще сильнее.

– Вы, кажется, без меня поссорились? – пошутил Антон Федорович, приходя в веселое настроение.

Она вся вспыхнула, встала и ушла, не сказав ни слова.

– Мы сердимся… – объяснил Антон Федорович, провожая жену глазами, и прибавил шепотом: – Ах, какая женщина, какая женщина!..

Он поцеловал кончики пальцев и сделал

жест в сторону Петербурга.

IV

Бывают до нелепости странные положения, и именно в таком положении очутился Сергей Петрович. Случившееся с ним приключение окончательно и навсегда вышибло его из той колеи, по которой он шел до сих пор, а будущее было неизвестно. В сорок лет любят тяжело, и каждый солнечный день здесь покупается слишком дорогой ценой. Прежде всего его совершенно сбило с толку поведение Евгении Ивановны. Что он такое для нее и что она для него? Ему было стыдно за свои несбывшиеся мечты, за свое юношеское увлечение, за охвативший его восторг...

Да, он не принадлежал к тем именно мужчинам, которых женщины любят – это было ясно, и дли этого не нужно быть ни молодым, ни красивым, ни богатым, ни талантливым. Любовь именно слепа... И все-таки обидно, горько, тяжело. Нужно быть Антоном Федорычем, чтобы пользоваться успехом у женщин. Вообще Сергей Петрович чувствовал себя гадко. Ему начинало казаться, что все случившееся – какой-то безобразный сон.

На Сергея Петровича напала такая хандра, что он несколько дней никуда не показывался из дому. Он точно хотел кому-то отомстить этим сиденьем… А вот возьму и буду сидеть у себя дома, как кикимора. Под этим решением притаилась скромная мысль, именно, дать почувствовать *ей*, что он ушел первый, а это уже стоило целой победы. Но в разгар этого стоицизма Сергей Петрович получил коротенькую записочку, состоявшую всего из двух предложений: «Как вам не совестно… Я скучаю». Подписи не было, но Сергей Петрович знал руку и без подписи. С ним случилась странная вещь: весь стоицизм и всякая решимость исчезли с поразительной быстротой, сменившись бурной радостью. О, все забыть, все простить, все понять – какое это счастье…

Он полетел на дачу Чубарских с неприсвоенной его возрасту быстротой. Голова кружилась, мысли путались, в глазах стоял радужный туман. На его счастье Антона Федорыча не было дома. Она заставила его подождать целых полчаса, прежде чем показалась такая усталая, разбитая, недовольная.

– Посмотрите на себя в зеркало, – предло-

жила Евгения Ивановна.

Он подошел и увидел глупо и радостно улыбавшееся лицо. Разве таких мужчин любят? У него упало сердце.

– Я был нездоров… – пробормотал он в свое оправдание.

– Целых три дня? Глупости… Подойдите сюда и смотрите мне в глаза.

– Евгения Ивановна, если бы вы знали, как вы меня измучили…

Она засмеялась беззаботно, весело, поджигающе, как иногда смеются расшалившиеся дети. Через мгновенье она смеялась уже в его объятиях, напрасно стараясь вырваться.

– Да вы с ума сошли, несчастный?.. Антон Федорыч дома…

И опять смех, прерывавшийся поцелуями, капризными движениями, объятиями.

– Я пожалуюсь Антону Федорычу… Неужели вы его не боитесь, безумный мужчина?

– Я? О, я его презираю… я его убью… вообще уничтожу. Только…

– Только что? Пожалуйста, не делайте таких страшных глаз, точно в первый раз пришли в фотографию и хотите сняться во всей

красе.

– Могу сказать одно, что вы меня совершенно не знаете, Евгения Ивановна… – шептал он, терял голову от счастья. – О, сколько передумал я за эти дни!..

– Хорошо. Рассказывайте, а я буду слушать, – проговорила она совершенно другим тоном, приводя в порядок волосы. – Женщины любят, чтобы им говорили о любви, даже когда их обманывают… Клянитесь, что вы любите еще в первый раз, что еще никогда и никто так не любил, что вы никого и никогда не полюбите, что… Садитесь у моих ног и говорите.

И безумец сидел у ее ног и рассказывал о своем безумие. Она сделалась вдруг серьезна и слушала его внимательно. Он все ей рассказал, что передумал и перечувствовал за эти дни, и был поражен, когда на его лицо упала горячая слеза.

– Милая, что с тобой?

– Так, ничего… Так ты решил, что таких мужчин, как ты, женщины не любят?

– Да… Я в этом уверен.

– А я?

– Ты сама не веришь себе… Я не забуду никогда, как ты смотрела на меня на другой день за завтраком. Ты, вероятно, раскаивалась и даже не верила, что все это могло быть. Женщины любят, чтобы мужчина был немного нахал, чтобы он немного обманывал, чтобы вообще держал себя так, что вот сейчас он исчезнет… Все это я знаю и понимаю и не могу быть таким. Да, я смешон в твоих глазах своей ребяческой искренностью, своим запоздалым чувством, но я не умею быть другим. Я весь тут… И сейчас я знаю, что я не должен был говорить вот именно этого и что я окончательно гублю себя этими детскими признаниями, но что делать, если я потерял голову… Все равно, будь что будет!..

– Мне больше всего нравится эпизод с астрой. Недостает только локона любимой женщины. Принесите сюда ножницы.

Он повиновался. Она подошла к зеркалу и отрезала одну прядь своих чудных волос.

– Вот, рыцарь, вам на память от дамы сердца.

Она опять засмеялась, потом достала его часы, открыла крышку, положила под нее во-

лосы и проговорила с комической торжественностью:

– Я отдаю вам лучшую часть самой себя… Это будет вашим талисманом, который отгонит самые черные мысли.

Дальше опять начались дурачества и посыпался неудержимый смех. Наконец она утомилась, забилась в уголок дивана и проговорила усталым голосом:

– Вы, действительно, совсем другой, Сергей Петрович, а не тот, каким я вас знала раньше. Сейчас вы еще сами не дадите себе отчета, а в свое время и это придет. Знаете, когда женщина отдается мужчине, она уже теряет девяносто процентов своего женского обаяния, как всякая вещь, поступившая в собственность. Это глубоко верно психологически, и все женщины теряют именно на этом… Недавний идеал, недавнее совершенство, недоступная мечта реализируются слишком просто – я не хочу сказать больше. Прибавьте к этому еще то, более или менее искусно скрытое, торжество мужчины, добившегося цели… Это очень грустно и обидно для женщины, но это так. И вы такой же, как все…

Еще немножко – и вы настолько привыкнете к собственному счастью, что будете смотреть на него, как на нечто очень обыкновенное, а я в ваших глазах сделаюсь...

– Ни слова больше! Ради Бога, ни слова!

Нет, это было что-то невероятное, захватывающее, безумное. Сергей Петрович возвращался домой, как пьяный, пьяный от счастья. Было уже темно, и он кому-то погрозил кулаком, а потом расхохотался.

– Я схожу с ума, – мелькнуло у него в голове. – Э, все равно...

Ему показалось, что кто-то хохочет другой, и дрожь пробежала у него по спине. Потом он остановился, зажег спичку и посмотрел на спрятанный в часах талисман. Да, они, эти волосы, составляли частичку ее еще утром, а теперь принадлежат ему. Глупое слово: принадлежат... И он еще мог сомневаться?

Счастье идет быстрыми шагами, и Сергей Петрович не замечал, как летели дни за днями. Ему даже хотелось крикнуть солнцу: остановись! А глупая планета – земля продолжала вертеться, как громадный клубок, наматывавший на себя часы, дни, недели, месяцы, годы;

сердце билось, приближая каждым новым ударом к небытию. Как вообще велико и мало в одно и то же время счастье каждого человека!.. В самый разгар счастья Сергея Петровича наступил роковой момент переезда с дачи. Да, всему свое время и всему свой конец. У него сжалось сердце от предчувствия чего-то недоброго, что ждало его там, впереди. И чего бы он ни дал, чтобы остаться на даче навсегда, до самой смерти. Для чего, в самом деле, существуют эти дурацкие города и еще более дурацкий обычаи переезжать с дачи осенью.

– Мне жаль расставаться с нашей дачей, – заметила однажды Евгения Ивановна в присутствии мужа и посмотрела на Сергея Петровича такими глазами, которые были красноречивее всяких слов. – Здесь было так уютно, покойно...

– На тебя осенью обыкновенно нападает институтская сентиментальность, – довольно грубо ответил Антон Федорыч. – Я, например, с удовольствием еду на дачу и с удовольствием еду с дачи... Всякая перемена уже сама по себе составляет цель. Не правда ли, дорогой друг?

– О, да… т. е. я не могу согласиться.

Между Антоном Федорычем и Сергеям Петровичем установились какие-то странные отношения, начиная с того, что они взаимно старались избегать друг друга. Открытой причины для этого не было, а все выходило как-то так, само собой.

V

Сергей Петрович жил на Моховой. У него была великолепная квартира, какие устраивают себе богатые холостяки. Первым делом он устроил очищение этой квартиры, какое произвел у себя на даче; все фривольного содержания картины были убраны, та же участь постигла двух Венер, пикантные, терракоты, китайскую запретную бронзу, кипсеки с игривыми рисунками. Одним словом, произведен был полный разгром, потому что впереди предвиделась возможность, что сама богиня удостоит своим посещением эту холостую обитель. По пути Сергей Петрович подтянул свою экономку и горничную, а затем, уже неизвестно для чего, нанял себе «человека», которому решительно нечего было делать в доме.

– Ты у меня смотри… – довольно строго внушал барин.

– Слушаю-с.

Все оно как-то солиднее, когда дверь будет отворять не горничная, а «человек».

Чубарские жили на Николаевской. У них была совсем роскошная квартира, какую могут иметь люди с годовым бюджетом в двадцать тысяч. Правда, что оригинального во всей обстановке ничего не было, а просто была нагромождена заказная роскошь, как ее понимают мебельные магазины и обойщики. У Антона Федорыча совершенно не было вкуса к обстановке, а Евгения Ивановна относилась к ней равнодушно, – достаточно, если все прилично, как у других.

Когда Сергей Петрович явился к Чубарским с первым визитом, ему показалось, что Евгения Ивановна совсем не та, какой была на даче.

«Неужели все это, что было, только глупый дачный роман? – с ужасом подумал Сергей Петрович. – Впрочем, я делаюсь мнительным…»

Первое время он ужасно ревновал Евге-

нию Ивановну к мужу, который как назло нарочно при нем позволял разные нежности. Все эти объятия мимоходом, случайные безешки и другие знаки супружеского внимания коробили Сергея Петровича, пока он не привык к ним, потому что видел, с каким отвращением принимала их Евгения Ивановна. Да, ко всему можно привыкнуть, особенно, когда другого выхода не оставалось.

– Какое у тебя странное лицо, дорогой друг, – удивлялся Антон Федорыч с затаенным ехидством. – Можно подумать, что ты влюблен. Говорят, что в этом положении люди глупеют; по крайней мере, это верно относительно меня. Вот спроси Женю, когда я ухаживал...

– Слушая тебя, можно подумать, что ты постоянно влюблен, – ответила с женской находчивостью Евгения Ивановна.

Сергей Петрович покорно переносил ехидство друга и очень мучился своей ненаходчивостью. Вернувшись домой, он утешал себя тем, что придумывал ответы убийственно-остроумные, от которых Антону Федорычу не поздоровилось бы. Он проклинал собствен-

ную робость и боялся только одного, что Евгения Ивановна перестанет его уважать. Показаться смешным в глазах любимой женщины – ведь это конец всему. Женщины все могут понять, простить, извинить, кроме этого.

Но худшее было еще впереди.

Раз Сергей Петрович провожал Евгению Ивановну в оперу, – у них была абонированная ложа в бельэтаже. И раньше ему случалось бывать с ней в театре, но теперь он испытывал особенный прилив гордости, когда остался с ней в ложе вдвоем. Она была так красива, когда сидела у барьера и не обращала никакого внимания на наведенные да нее бинокли. А как она была эффектна, когда они под руку, гуляли в фойе. Мужчины почтительно давали дорогу, женщины провожали завистливыми взглядами, вслед доносился восторженный шепот: «Какая красавица... ах, какая красавица!» И Сергей Петрович задыхался от счастья, что эта чудная женщина принадлежит именно ему, Сергею Петровичу... Ему хотелось даже крикнуть на весь театр: «Она – моя». После второго действия Евгения Ивановна отказалась идти в фойе. Это ни-

чтожное обстоятельство сначала не обратило на себя внимания Сергея Петровича, но он взглянул на свою даму и похолодел – на ее чудном лице появилось то тревожно-ласковое выражение, которое ему было так знакомо. Но сейчас это выражение относилось не по его адресу. Сергей Петрович замер от ужасного подозрения и принялся молча наблюдать за своей дамой. Евгения Ивановна несколько раз раскланивалась со знакомыми, но это было не то. У Чубарских было большое знакомство, но это все были люди отчасти необходимые по деловым отношениям, отчасти просто знакомые, которые появлялись на вечеринках и исчезали.

Сергей Петрович почувствовал инстинктивно присутствие соперника и стал искать его в партере и в ложах, продолжая наблюдать, куда смотрит Евгения Ивановна. Вот она кивнула знакомому старичку-генералу, – конечно, не он, – потом стала рассматривать в бинокль ложу, где сидел начинающий адвокат, – тоже не он, – дальше следовал офицер из конвоя, железнодорожный инженер, цивилизованный купчик, богатый немец, дамский

доктор… Но в этой толпе не было того, кого искал Сергей Петрович.

– У меня болит голова, – заявила Евгения Ивановна после третьего акта. – Проводите меня домой.

Сомнений не могло быть: она его встретила. В голове Сергея Петровича быстро сложилась целая картина: она была влюблена в этого неизвестного, а потом произошла любовная ссора, и они расстались на лето. Теперь в театре произошла случайная встреча, и старая любовь поднялась с новой силой. Евгения Ивановна больше не замечала Сергея Петровича и всю дорогу упорно молчала, откинувшись в угол кареты и полузакрыв глаза.

«Нет, Антон-то Федорыч какой дурак! – с бешенством думал Сергей Петрович. – Нет, где у этого болвана были глаза, когда его водили за нос? И так глупо попасться… Нет, это возмутительно. Просто дурак, и только…»

В голове Сергея Петровича мысли вертелись вихрем, и он чувствовал, как начинает презирать изменницу. Он на время даже смешал себя с Антоном Федорычем и вошел в роль обманутого самым бессовестным обра-

зом мужа.

Вернувшись домой, Сергей Петрович почувствовал себя самым несчастным человеком в целом мире. Да, все было разбито, уничтожено, попрано… И это могла сделать *она!* Получалось что-то чудовищное, невозможное… Сергей Петрович смотрел теперь на свою собственную квартиру, как на кладбище, на котором было похоронено все дорогое. Единственным воспоминанием об этом дорогом являлись несчастная астра и спрятанная в часах прядь русых волос. Эти реликвии теперь говорили только о том, что были другие астры и другие локоны, которые давались на память тому, другому.

Начались дни испытаний. Сергей Петрович давал себе тысячу раз слово порвать эту позорившую его искреннее чувство связь – и не мог. Его убивало собственное бессилие. Затем являлась сомнения: а может быть, он ошибается? Он слишком был ослеплен собственной страстью и мучился призраками собственного воображения. Какие ужасные ночи без сна, с галлюцинациями и мучительной дремотой, и еще более мучительные дни!

Сергей Петрович до мельчайших подробностей разобрал всю историю своего короткого счастья и с ужасом находил, что в самых интимных сценах чувствовалось присутствие этого неизвестного третьего лица, оно сказывалось в формировке фразы, в самых интонациях, потому что она в эти моменты думала о другом. Затем он еще с большей внимательностью отнесся к ее привычкам и мельчайшим деталям всей обстановки и костюмов. И здесь с яркой убедительностью опять выступал *он*, как грозный призрак. Да, *он* незримо присутствовал здесь, все наполнял собой и на все клал свою печать. Она одевалась так, как это нравилось ему, она убирала волосы по его вкусу, она любила те вещи, с которыми так или иначе были связаны воспоминания о нем. Сергей Петрович теперь мог пересчитать эти вещи по пальцам и по ним до известной степени восстановить портрет неизвестного соперника. Никакой сыщик не мог бы произвести такого дознания.

– Он есть… – повторял Сергей Петрович, ломая руки. – Его нет!

А она ничего не подозревала, поглощенная

неожиданной встречей. Она была слишком полна своей внутренней тайной. Это спокойствие возмущало Сергея Петровича больше всего.

– Нет, я его найду! – клялся он самому себе. – Я его поставлю на барьер, если на то пошло. Вы еще не знаете, господа, что такое Сергей Петрович... да-с. Я шутить с собой не позволю!

А тут еще круглый болван муж. Этот истукан решительно не желал ничего замечать, и Сергею Петровичу хотелось ому крикнуть:

– Ты, старый дурак, что смотрел?..

Этот обманутый вдвойне муж теперь вызывал в Сергея Петровиче какое-то органическое отвращение, о ревности к нему больше не могло быть и речи.

VI

Муки и душевные терзания Сергея Петровича продолжались в течение всего зимнего сезона. Евгения Ивановна держала себя с ним, как и раньше, полосы равнодушия сменялись припадками совершенно неожиданной нежности. И было достаточно одного ее ласкового взгляда, чтобы все его сомнения

разлетелись прахом. Он ненавидел самого себя за эту преступную слабость, ненавидел ее, но продолжал плыть по течению. Объясниться откровенно с самой Евгенией Ивановной он не решался, хотя и делал несколько неудачных попыток в этом направлении. Сергей Петрович, как все бесхарактерные люди, все ожидал чего-то, того случая, который его выручит.

И такой случай явился.

Это было в разгаре зимнего сезона, на одном из вторников у Чубарских. Общество собралось смешанное и довольно скучное. Евгения Ивановна не умела быть настоящей хозяйкой и обыкновенно отбывала свою повинность с сдержанной зевотой. Ах, какие все скучные и неинтересные!.. А между тем нельзя, нужно улыбаться, делать любезный вид, поддерживать разговоры, вообще притворяться в течение целого вечера. Так было и тут: выручал хозяйку обыкновенно Сергей Петрович, занимая дам, подсаживаясь за болвана к винтерам и вообще выделывая все то, к чему обязывает ответственное звание друга дома. Антон Федорыч и в таком критическом

положении умел оставаться неисправимым эгоистом и являлся у себя дома каким-то гостем.

В затруднительных случаях эта тварь обращалась к Сергею Петровичу к говорила:

– Дорогой друг, займи как-нибудь вон того старичка. Он помешан на гомеопатии... Что тебе стоит прикинуться злейшим гомеопатом? А вот там генеральша Истолбина... Она выжигает по дереву или что-то такое вообще. Одним словом, ты меня понимаешь, дорогой друг...

И дорогой друг превращался в злейшего гомеопата, а потом открывал, что генеральша не имеет ни малейшего понятия о выжигании по дереву, а занимается спиритизмом. Впрочем, все эти маленькие сюрпризы совершенно выкупались одной благодарной улыбкой хозяйки, пожатием маленькой руки, и за эту цену Сергей Петрович бросился бы в Ниагару или в жерло Везувия – не все ли равно.

Итак, вторник был нормально скучен. Обычные посетители сидели с такими обиженными лицами, точно делали величайшее одолжение уже тем, что дышат. В гостиной

дамы вполголоса вели бесконечный разговор о последних модах, о новых материях, о последнем концерте, о скандале с одной из недавних посетительниц вторников. Мужчины пробовали быть любезными, но эти героические попытки заканчивались более или менее удачным бегством в кабинет хозяина, где рассказывались такие интересные анекдоты. Даже Сергей Петрович не выдержал и тайком направился из гостиной в кабинет, проклиная не без основания всю женскую половину человеческого рода. Ведь так нельзя же, господа... Ведь это, наконец, черт знает что такое!

В зале Сергей Петрович сделался свидетелем довольно комической сцены. Вошел какой-то офицер и натолкнулся прямо на хозяина.

– Ах, очень, очень рад... – бормотал Антон Федорыч, очевидно, не узнавая гостя. – Как вам не совестно забывать нас!.. Я уже говорил несколько раз жене... А вот и она.

Офицер что-то пробормотал в свое извинение и издали раскланялся с хозяйкой, которая остановилась и смотрела на него округлив-

шимися испуганными глазами. В первую минуту Сергей Петрович подумал, что и она тоже не узнала нового гостя, и про себя готов был даже, рассмеяться над этим комическим видом, но она быстро подошла к гостю, подала ему руку и с деланым равнодушием проговорила:

– Вы, господа, незнакомы, кажется? Владимир Васильевич Петриков... Сергей Петрович...

Окончание всей сцены мелькнуло для Сергея Петровича в каком-то тумане, и для него ясно было только одно, именно, что перед ним стоял *он*, тот настоящий *он*, которого он напрасно разыскивал в течение всего сезона. В сущности, как соперник, этот Петриков ничего особенного не представлял, потому что не был ни особенно молодым ни особенно красивым. Сергей Петрович даже заметил, что у него смешно торчали уши, лоб был мал, усы закручены колечком – и только. Затем этот нахал посмотрел на дорогого друга с таким убийственным равнодушием, с каким смотрят на подержанную мебель. А глаза у него были замечательные, упрямые, власт-

ные, покоряющие.

Все дальнейшее происходило уже в каком-то тумане. К дамам в гостиную Петриков не пошел.

– Знаете, Антон Федорович, я плохой дамский кавалер, – довольно фамильярно объяснил он.

– Напрасно, Владимир Васильич... А Женя еще недавно мне говорила про вас...

– Ничего я не говорила про Владимира Васильича! – резко ответила Евгения Ивановна, вспыхнув. – Разве говорят о людях, которые забывают...

Офицер поклонился, улыбнулся одними глазами и отправился с хозяином в кабинет. Евгения Ивановна осталась посреди гостиной одна. Уже одна ее поза говорила за себя: эти бессильно опущенные руки, это скрытое желание вернуть нахала, этот взгляд, которым она его проводила до самых дверей. Да, это был *он*...

Дальнейшие события происходили в таком порядке. Сергей Петрович очутился в гостиной и проявил необыкновенное оживление. Он шутил, смеялся и даже сделался ост-

роумным. Да, его час пришел... Евгения Ивановна была удивлена, когда он в третьем лице высказал ей несколько очень горьких истин. Нет, он был положительно в ударе, и дамы хохотали до слез. Как он мил, этот Сергей Петрович!.. Одна Евгения Ивановна не разделяла общего настроения и смотрела на Сергея Петровича такими равнодушными глазами, в которых был написан его смертный приговор.

Офицер так и не показался вплоть до самого ужина. В столовой и разыгрался финал всей истории. Сначала Сергей Петрович упорно молчал, наблюдая выдержанного соперника уничтожающим взглядом. Потом он ни с того ни с сего выпил сразу две рюмки водки, хотя обыкновенно этого не делал, и вдруг разошелся. Как он был мил, этот милый Сергей Петрович, и как все опять смеялись. Закончилось это представление тем, что милый Сергей Петрович ни с того ни с сего, точно с печи упал, отвесил Петрикову крупную дерзость. Тот посмотрел на неизвестного господина своими упрямыми глазами, сделал нервное движение одним плечом и обратился к

хозяину:

– Извините меня, Антон Федорыч, но я решительно не понимаю, что этому… этому господину нужно от меня?

– Что мне нужно? – глухо отозвался Сергей Петрович, чувствуя, как бледнеет, трясется и перестает видеть. – Этот господин, т. е. я, покажет вам… покажет…

Он быстро подошел к офицеру и погрозил ему пальцем под самым носом. Петриков быстро поднялся, но в этот момент подскочил Антон Федорыч, схватил дорогого друга под руку и увлек из столовой.

– Дорогой друг, мне нужно сказать тебе несколько теплых слов…

Сергей Петрович сделал попытку освободиться, а потом неожиданно проговорил:

– Антон Федорыч, а ведь ты великий дурак…

– Сейчас могу согласиться даже с этим, дорогой друг, только, ради Бога, успокойся.

Они прошли в кабинет, где Антон Федорыч подал взволнованному дорогому другу стакан холодной воды. Сергей Петрович выпил, провел рукой по лицу и неожиданно захохотал.

– Ха-ха!.. А мне тебя жаль, Антон Федорыч. Ты думаешь, что я сбесился? Да? Думаешь, что я пьян?

– Ничего не думаю… Хочешь еще воды?

– Нет, постой…

Поднявшись с кресла, Сергей Петрович проговорил тоном трагического актера:

– Этот Петриков… да. Петриков… Он негодяй… да!.. Он любовник Евгении Ивановы, и я его убью.

Тут уж Антон Федорыч не выдержал и расхохотался.

– Ах, голубчик, что ты сказал… – заливался он. – Любовник? Ха-ха!.. Ведь об этом я должен позаботиться, а ты… Конечно, я ценю твои чувства, понимаю твое участие, но все-таки ты слишком горячо вошел не в свою роль… Ведь это я должен ревновать, а не ты.

Сергей Петрович посмотрел на Антона Федорыча непонимавшими глазами, бессильно опустился в кресло и только махнул рукой. Да, он вышел из своей роли и ревновал, как имеет право ревновать только муж.

Встреча

I

«Жена и дети с душевным прискорбием извещают родных и знакомых, что после продолжительной болезни, сего 9 марта, скончался Петр Иванович Рябков. Заупокойные панихиды в 6 часов вечера, вынос в четверг, 12 марта». Это объявление появилось в понедельник и в числе других было прочитано Федором Павлычем Чиколевым.

– Вот тебе раз... – пробормотал он, еще раз прочитывая его. – Вот тебе и Петр Иваныч: жил долго, умер скоро. А ведь учились вместе...

На панихиды он не пошел, года два как они поссорились и как-то неловко, а явился только к выносу. Все-таки нужно же отдать последний долг покойному. В воздухе кружились пушистые снежинки; они сейчас же и таяли, падая на железные крыши и каменные плиты тротуаров. Где-то капала вода, а на мостовой образовалась из грязи и снега настоящая каша. Пробираясь к дому Рябкова, Федор Павлыч чувствовал себя вообще скверно и да-

же вздыхал. Раз, печальная церемония – это похороны, а второе – сам Федор Павлыч был уже в том возрасте, когда благоразумные люди стараются не думать о смерти. И борода седая, и глаза потухли, а всего-то шестьдесят лет – какие это года, если разобрать. Конечно, Рябков умер и многих других уже нет, но на то они «другие», а это он, Федор Павлыч Чиколев.

У дома Рябкова стояло десятка полтора экипажей и катафалк. Мужики в широкополых факельщицких шляпах сидели на тумбах и покуривали с равнодушием посторонних людей. Около них собралась кучка уличных зевак. Ворота и двери везде были растворены, на лестнице и на полу следы грязных ног, точно после пожара. Чиколев был доволен, что, благодаря набравшейся в комнате толпе, может остаться незаметным, да и пришел он к самому выносу, когда охрипший дьякон оканчивал «вечную память». Гурьбой двинулись певчие, поднялся топот и последняя суета похоронной публики. Федор Павлыч прижался к стенке, когда мимо него понесли гроб. «Какой он большой...» – невольно поду-

мал Федор Павлыч, провожая, глазами колыхавшийся в руках носильщиков гроб. Впрочем, все после смерти вытягиваются и кажутся больше. За гробом шла в трауре жена Рябкова, две дочери и маленький мальчик, а за ним человек десять родственников и старых знакомых. Этих последних так немного осталось, и Федор Павлыч встречался с ними только на похоронах. Такие старые знакомые имеют дурную привычку приятно удивляться, что вы еще живы... Федор Павлыч издали раскланялся кой с кем и побрел в хвосте процессии.

Церемония отпевания в церкви утомила Федора Павлыча, и он все время с неприятным чувством думал о том, как ему придется идти пешком на кладбище. Старых друзей так немного осталось, нельзя же сесть на извозчика, а тут еще снег идет... Никакого трогательно-умиленного настроения Федор Павлыч решительно не испытывал и думал только о себе, с тем старческим эгоизмом, когда круг жизни с каждым годом делается все уже и уже. Когда он чувствовал, что на него смотрят, то начинал притворно вздыхать и кре-

стился мелкими крестиками.

Кончилась и эта церемония; отдали последнее целование, причем Федор Павлыч старался не смотреть в лицо покойнику, и похоронная процессия тронулась из церкви. На открытом воздухе пение хора совсем терялось, священник с трудом шагал по осклизнувшей мостовой, за гробом уныло плелась кучка родственников и знакомых, которых теперь было меньше, чем при выносе из дома. Федор Павлыч с удовольствием подумал, что вот, хотя ему и неприятно, а он выдерживает характер, не как те другие, которые скромно улизнули даже от своего последнего долга. Снег шел сильнее, мокрые хлопья попадали Федору Павлычу за воротник и садились на нос, вызывая неприятную дрожь, но нужно в каждом деле выдерживать характер до конца. Похоронный перезвон уныло замирал в воздухе, попадавшиеся навстречу пешеходы торопливо крестились и спрашивали у кучеров, кого хоронят.

Кладбище отделялось от города пустырем, который на языке мещан носил громкое название «степи». Если в городе начиналась

уже весна, то здесь царила зима в полной силе и белый снег лежал толстым слоем. «Не угодно ли, когда он растает», – подумал Федор Павлыч, с трудом шагая по изрытой кладбищенской дороге. Каменная ограда кладбища, красиво белевшая летом, теперь на общем белом фоне совсем терялась, и только зеленой шапкой поднимался сосновый кладбищенский лес. На кладбищенской церкви уныло перезванивали какие-то необыкновенно тонкие колокола, и этот монотонный перезвон начинал раздражать Федора Павлыча.

Процессия уже приближалась к кладбищу, когда одна из провожавших дам остановилась и с укором проговорила:

– Федор Павлыч, вы, кажется, не хотите меня узнавать...

– Анна Васильевна, какими судьбами... да вы ли это? Давно мы не видались... да... и где пришлось встретиться...

Федор Павлыч вдруг засуетился и смущенно вытер лицо платком, а она шла рядом с ним, поддерживая одной рукой мешавшее шагать платье. На вид ей было под шестьдесят. Сгорбленная высокая старуха с сморщен-

ным желтым лицом представляла ходячую развалину, и Федор Павлыч с ужасом подумал про себя: «Вот так встреча… отлично!.. Как раз к месту… Ах, черт возьми!..»

– Давненько мы не видались, – продолжала она совершенно спокойным тоном. – И я как-то, знаете, совсем упустила вас из виду…

– Да, лет тридцать с хвостиком будет, Анна Васильевна.

– Неужели тридцать? Боже мой, как время быстро летит… Давно ли, подумаешь… Вон идет моя старшая внучка. А вы остались верны себе, Федор Павлыч: одинокий старый холостяк?..

– Да, в этом случае я выдержал характер, Анна Васильевна.

– Послушайте, что же вы не предложите мне руки?.. Прежде вы были самым вежливым человеком…

Федор Павлыч извинился и сделал руку кренделем. Ему сделалось даже страшно, что в лице их двоих под руку идут целых сто десять лет.

II

Снег шел все сильнее. Небольшая кучка хо-

рошо знакомых тесно сбилась за гробом, и каждый думал про себя со страхом, за кем теперь очередь?

– Ах, как немного осталось старых друзей, – шептала Анна Васильевна, крепко опираясь на руку своего кавалера. – Какие-то все новые люди... И откуда они взялись, эти новые?

Чиколев что-то мычал и раза два ответил невпопад. В лице своей дамы он видел собственную старость, то, что давно пережито, что не вернется никогда и что лучше всего позабыть... Да и где эта жизнь, – собственно говоря, никакой жизни и не было, а каждый гнался за призраком. То похоронное настроение, которое на время завладело им, теперь было разбито, и против желания выступили другие лица, другое время и даже другая погода.

– Не запнитесь, здесь камень... – предупредила Чиколева его дама.

– Послушайте, Анна Васильевна, я еще настолько вижу, что днем могу ходить без посторонней помощи.

– Я и не считаю вас совсем стариком, Фе-

дор Павлыч...

Недурно сказано: она не считает его *совсем* стариком... тьфу!.. Чиколев сделал невольно сердитое движение, как только что связанный человек. Вот тебе и не совсем старик, старая крымза!..

Открытая могила ничего ужасного не представляла: яма, как яма, и напрасно господа поэты придают этой яме разные, более или менее ужасные эпитеты, вроде «зияющая», «мрачно чернеющая», «готовая поглотить» и т. д. Решительно ничего ужасного, кроме того, что приносит к этой яме сам человек, когда думает на тему, как он будет лежать в такой «хладной» могиле, как будет его труп постепенно разлагаться, пока, говоря языком Шекспира, «господа черви» не сделают своего дела. Могила Петра Ивановича была ни хуже ни лучше других. Кругом уже теснились новые насыпи и кресты, в сторонке скромно стояла чета голых берез, а дальше редкие сосны, которые из города кажутся чуть не лесом. Когда вся публика столпилась у могилы, Чиколев наконец освободился от своей дамы и еще раз поблагодарил Бога, что он остался

старым холостяком.

«Однако сколько народу набралось! – удивился он, оглядывай карабкавшихся на свежей насыпи. – Это опять только кажется, потому что в процессии все шли в разброд, а теперь скучились... Оптический обман».

От могилы, от похоронного пения и похоронной публики его мысль незаметно улетела далеко-далеко, как поздней осенью с холодеющего севера птицы летят на юг, где и тепло, и свет, и весна, и радость жизни. Да и тогда была весна, когда он, Чиколев, в первый раз увидел Анну Васильевну, – такая милая и веселая была девушка. Девичья фамилия тоже отличалась у ней наивной прелестью: Анненька Ноготкова, – «ноготки» очень милые цветы, и представление об этих цветах соединялось у Федора Павлыча с этой именно Анненькой, свежей и радостной, как сама весна. Семья Ноготковых, не отличалась богатством, но у них всегда было так тепло и как-то особенно уютно, так что молодежь любила проводить здесь свои вечера, и в том числе и Федор Павлыч. Он даже бывал чаще других у Ноготковых и одно время воображал, что не мо-

жет жить без Анненьки, тем более, что и сама Анненька разделяла такую мысль, и ей нравилась самая фамилия: m-me Чиколева, Анна Васильевна Чиколева, Annette Чиколева. Пожалуй, даже лучше, чем Анненька Ноготкова...

– Вы поедете с нами на пикник, – сказала однажды Анненька и строго сдвинула свои соболиные брови. – Вы слышите, Федор Павлыч?

– Я?.. Я весь ваш, Анна Васильевна, и вы можете располагать мной, как своей собственностью.

Господи, какие иногда глупости говорятся в двадцать лет, особенно когда всякая такая глупость сопровождается и нежным блеском красивых глаз и дрожью молодого смеха... Пикник – это тоже только громкое слово, а в сущности устраивалось самое простое катанье на двух лодках, и просить Федора Павлыча об участии в этой прогулке было совершенно напрасно. Итак, река, весенний солнечный день и две лодки, набитые самым веселым народом... Федору Павлычу даже страшно сделалось, что добрая половина этих

весельчаков уже в загробном царстве, а другая половина с ужасом ждет своей очереди – где это веселье, где горящие взгляды, лукавые улыбки, чудные мечты, и где ты, безумная молодость? Неужели все исчезло, и в лодках по реке весело катаются уже другие люди, которые точно не хотят замечать, что украли всю радость у старых людей и веселятся у них под носом самым бессовестным образом... Да, тогда в этом пикнике принимал участие и Петр Иваныч Рябков, занимавший роль первого комика – он шутил, смеялся и весело подмигивал Чиколеву, указывая глазами на Анненьку. И жена Рябкова тоже была с ними, но ни она ни сам Рябков тогда еще не думали о возможности быть соединенными навеки – это пришло после, и вот теперь m-me Рябкова горько оплакивает своего мужа.

Анненька особенно дурачилась и старалась забрызгать водой Федора Павлыча, который делал в свою очередь то же самое, а развеселившаяся Анненька кричала тонким голоском и чуть не выпала из лодки. Так же весело они пристали к берегу, еще веселее напились чаю и разбрелись по лесу. Как-то слу-

чилось так, что Анненька и Федор Павлыч отбились от остальной компании и очутились в лесу одни.

– Я боюсь… – прошептала Анненька.

Это было смешно, и Федору Павлычу сделалось совсем весело. Он предложил свою руку девушке, а потом случилось то, что они обнимали и целовали друг друга.

– Это все вы… – упрекала потом Анненька. – Вы первый начали…

Федору Павлычу сделалось еще веселее, и он опять целовал конфузившуюся девушку, хотя, как он был уверен, начал совсем не он, но разбирать этот спор было некогда – их уже звали веселые голоса. Когда они вернулись, Рябков встретил их улыбавшимися глазами и только покачал головой.

– Поздравляю… – шепнул он на прощанье.

Но Рябков ошибся: Федор Павлыч не женился на Анненьке, которая долго оплакивала свою ошибку и с горя вышла замуж за Воинова – он был с ними на пикнике и все время следил глазами за Анненькой, хотя она этого и не заметила.

– Все кончено… – прошептал незнакомый

голос над ухом Чиколева.

– А?.. Что?.. – бормотал он, просыпаясь от своих грез.

– Вы бросили горсть земли в могилу?

– Я? Да, бросил… т. е. нет.

– Ах, какой вы рассеянный… – журила его Анна Васильевна и заставила исполнить последний долг старому другу.

Там, где положен был некогда веселый приятель Петр Иваныч, выросла свежая кучка земли, и Федор Павлыч равнодушно смотрел кругом и думал, не все ли равно, где бы ни положили в могилу его, Федора Павлыча.

III

Домой Федор Павлыч вернулся в саком скверном расположении духа: и в похоронах лучшего друга ничего приятного нет, и потом эта встреча с Анной Васильевной.

«Это все вы… – шептал неотступно молодой голос, а глаза видели старое сморщенное лицо. – Вы первый начали».

– Нет, уж извините! – вслух возражал Федор Павлыч, отвечая какому-то невидимому противнику.

Он и на похоронный обед не поехал, чтобы

липший раз не встречаться с *этой* Анной Васильевной. Ведь, нужно же было ей приехать! И зачем, подумаешь, иногда добрые люди отравляют жизнь своему ближнему...

Скверный день провел Федор Павлыч и вечером даже не пошел в клуб, как делал всегда, а вытащил альбом и рассматривал выцветшие, порыжелые карточки. Вот Петр Иваныч Рябков, каким он был еще в университете, где они учились вместе, вот Воинов, которого он узнал уже чиновником особых поручений, а вот и Анненька... На карточке она совсем не казалась такой красивой, какой была тогда, или, может быть, тогда Федор Павлыч вообще смотрел на мир через свои двадцать лет. И нос у нее вздернутый, и выражение глаз какое-то такое... почти телячье, и нижняя часть лица очерчена расплывшейся некрасивой линией. Давно уж Федор Павлыч не рассматривал этот забытый альбом и по пути добыл из ящика пачку тоже пожелтевших и выцветших писем, записок и записочек, походивших на засохшие растения в каком-нибудь гербарии. Где та радость, которой дышали эти строки, где проникавшая мерт-

вую бумагу любовь, желания? Даже пятна от слез смотрели теперь на Федора Павлыча, как бельма ослепшего человека. В огонь все прошедшее, в огонь… А в этой коллекции был целый отдел писем от Анненьки Воиновой. Да, они опять встретились, когда она уже была m-me Воиновой. Но чужая фамилия не заперла на ключ жаждавшего любви сердца, тем более, что Анненька и замуж вышла из принципа, что нужно же за кого-нибудь выйти… Бедняга Воинов не подозревал, как его обманывают, а потом и сам Федор Павлыч пришел к убеждению, что нехорошо обманывать друзей, и просто бежал… В самом деле, зачем разрушать чужое семейное счастье, хотя и сам Воинов был не без грешков – впрочем, память друзей священна. После Федор Павлыч слышал стороной, что в его измене утешил Анну Васильевну его друг Рябков, человек без предрассудков. Позвольте, так вот зачем она, Анненька, явилась на похороны… Женские капризы не умирают с годами!.. Федор Павлыч даже как будто успокоился, когда сделал это открытие. Он не желал обвинять Анненьку, которая делала глупость от скуки, из жажды

привязанности, – зачем подымать старое, то, что давно умерло и наполовину уже засыпано землей?

На другой день Федор Павлыч проснулся в своем обычном хорошем настроении духа и даже подивился вчерашнему ребячеству: стоило беспокоиться... Он в свое время умылся, в свое время оделся, в свое время ущипнул за подбородок принесшую свежую газету горничную и в свое время вышел в столовую, где уже ждал его кипевший самовар. Развернув газету, он первым долгом наткнулся на некролог Рябкова, написанный неизвестной доброй рукой в том плаксиво-хвалебном тоне, в каком пишутся все некрологи. Что же, эта последняя ложь являлась только заключением общей житейской лжи...

– Ишь ведь, как расписывают... – вслух удивлялся Федор Павлыч, глотая горячий чай. – Подумаешь, что целый Наполеон умер или благодетель сирых и убогих. Этак и меня, пожалуй, распишут...

– Вас какая-то дама спрашивает, – докладывала горничная, останавливаясь в дверях: когда барин сидел за чаем, она старалась дер-

жаться на «благородном расстоянии» от него.

– Какая дама?

– Да вот карточка…

Когда Федор Павлыч пробежал глазами карточку, он вскочил, запахнул халат и только прошептал:

– Меня дома нет… Слышишь: нет дома! Ведь сказано раз навсегда…

Первой мыслью Федора Павлыча было убежать и спрятаться в кабинет, что он и сделал. Он слышал чей-то разговор в передней, а потом хлопнула дверь и щелкнул замок в ней… Ну, слава Богу, все обошлось благополучно. Из своей засады Федор Павлыч сейчас же вышел, чтобы не компрометировать себя перед горничной. Он даже прошел в гостиную и посмотрел из-за драпировок на улицу, как *она* вышла на подъезд, постояла и медленно села на извозчичьи дрожки… Шел мелкий дождь пополам со снегом, и вся улица походила на сплошную лужу. Добрый хозяин в такую погоду собаки не выгонит, а она притащилась. Это была опять она, Анна Васильевна… Зачем она приезжала? Когда извозчик медленно тронулся в путь, Федору Павлычу вдруг сдела-

лось совестно, совестно и за себя, и за других, и просто за то зло и несправедливость, какие присущи, кажется, самой природе...

Уехал извозчик, улица оставалась пустой, а Федор Павлыч все стоял у окна и смотрел, как назойливо шел дождь, как хмурятся соседние дома и как накипает где-то в глубине его собственной души такое нехорошее и злое чувство. Он, Федор Павлыч, спрятался, как мальчишка... Сколько, однако, каждый человек может сделать непростительно-мелких гадостей!

Стоит Федор Павлыч у окна и смотрит на улицу: вот прокатилась крестьянская телега, по тротуару весело бегут гимназистки – вероятно, учитель был вчера на именинах, и сегодня нет четвертого класса, вот гурьбой идут реалисты, там, как ящерица, шмыгнула в мелочную лавочку собственная горничная Федора Павлыча, с которой он заигрывает по утрам... Нет, ведь это положительно страшно: за каждым молодым лицом Федор Павлыч видит морщины старости, усталый взгляд, горькую улыбку обманутой надежды – неужели и он был когда-то молод, и неужели уже ничего

не остается впереди?..

Неотправленные письма

I

От нее к нему

1

Я пишу к вам, мои дорогой, мой бесценный, мой повелитель, – пишу и чувствую всю сладость безумия, всю поэзию добровольного рабства, ту решающую полноту, которая из девушки делает женщину. Да, я пишу, и мне смутно делается чего-то жаль, потом делается немного совестно за свое слишком огромное счастье... Прежде всего, мой повелитель, я не могу, т. е. потеряла всякую способность думать последовательно и логически. Мысли в голове толпятся с каким-то ожесточением, как та публика, которая ломает театральные двери – каждая единица полна неистового желанья ворваться первой в пределы заветного круга. Там, на улице, и темно, и холодно, и мокро, и грязно, а в храме искусства все залито светом, все блестит и все имеет праздничный вид. Что же значит какая-то жалкая дверь, которая отделяет тьму от света? Извините за это немного кукольное сравнение, но

счастливые люди имеют право быть глупыми, а затем им так хочется высказать, выговориться, добиться чьего-то внимания... Ах, это совсем не то, не то и не то! Представьте себе мой ужас – мне хочется так много высказать, и я не нахожу именно тех слов, которые сейчас нужны, да их и не существовало никогда на свете. Только самый злостный банкрот, вероятно, испытывает нечто подобное – векселя предъявлены, а платить нечем. Опять нелепое сравнение. И опять потому, что нечем говорить – понимаете: *нечем!* Если бы я умела, я составила бы свои особенный словарь новых слов, новую грамматику, логику и психологию, – одним словом, целый новый язык, построенный именно на психологии. Я изнемогаю в муках творчества, как умирающий от жажды человек, выброшенный в море и тонущий в той самой влаге, которой ему недоставало. Только сейчас я поняла, какие муки творчества переживают все настоящие художники – поэты, артисты, живописцы, скульпторы, музыканты, даже птицы. Ведь то, что заставляет творить, неизмеримо больше того, что получается в результате всякого

творчества. Ах, как все они мучаются, бедные... Душа полна, а реализовать эту полноту приходится избитыми будничными словами, жалкими красками, камнем, вибрацией натянутой струны, ограниченным диапазоном голоса, и все это тогда, когда хочется обнять целый мир, все любить, все знать и со всем слиться. Ведь любовь – это момент пробуждения мировой души, момент посещения, момент тайны тайн... Вот почему задыхающаяся от счастья птица поет с закрытыми глазами – она видит внутренним оком эту мировую душу, и мы, кто ее слушает, чувствуем это безотчетно, и в этом обаяние, счастье и восторг. Я опять говорю сравнением – лучшее доказательство бедности нашего слова. Мы сравниваем воду с зеркалом – разве это хоть сколько-нибудь похоже? Море называем бирюзовым – еще меньше похоже, солнечный свет с блеском золота – совсем жалкое сравнение, зубы – жемчужины, губы – кораллы, соболиные брови – ах! – все это показывает только нашу нищету, те рубища, в которые мы наряжаем нашу мысль. Но я все это понимаю, потому что нет настоящих слов, и приходится

прибегать к сравнениям, как к тем проселкам, которые, по уверению ямщиков, сокращают дорогу.

Есть и другое объяснение, для чего употребляются эти сравнения, это – отсутствие искреннего чувства. Я немножко себе противоречу (хорошеньким женщинам это прощается, а я, право, бываю иногда хорошенькой), но есть и основание для такого противоречия – никто так не страдает от сравнений, как женщина, потому что мужчины этой фальшивой монетой расплачиваются за свои фальшивые увлечения. Да, да, да... Я глубоко убеждена, что мужчины не уважают женщин, и должна признаться, что я тоже не уважаю. Ведь это ужасно – не верить самой себе? Я и не могу верить... Мне противно читать восторг поэтов, которые расхваливают женщин, как купцы гнилой товар. Все это неправда, т. е. похвалы. Воображаю, что позволяют себе мужчины говорить о нас, когда остаются в своей мужской компании. По крайней мере откровенно, а мы и на это неспособны. Мы благоговеем пред своими идолами или низвергаем их в одиночку, чтобы на место низ-

верженного кумира поставить нового и этой переменой исправить сделанную ошибку. О, мой повелитель, сколько в этом горькой правды, той правды, которую мы с такой любезностью предоставляем другим... Мне это больно говорить, но я не могу удержаться, потому что это меня мучит.

Как вы видите, я совершенно поглощена мыслью о собственной особе, хотя меньше всего желаю именно этого. Явное противоречие, которое меня тоже мучит... Ведь я счастлива, мне решительно ничего не нужно, а в такие минуты является томительная жажда подвига, страстное желание пожертвовать собой за что-то такое хорошее, чистое, большое. Я понимаю, почему мученицы шли с улыбкой на костры и клали головы на плаху: они были слишком счастливы внутренним светом. Меня тоже удивляет, что другие ничего не замечают, вероятно, не хотят замечать во мне, т. е. ту перемену, которая сделала из меня другого человека. Виновата, у меня есть тетя Агнеса, старая девушка, которую я страшно люблю. Она со странностями, как все старые девы, но очень наблюдательна. Недавно она так при-

стально посмотрела на меня и проговорила, делая строгое лицо:

– Ксения, не забывай, что ты – девушка!..

Ах, какая смешная эта тетя Агнеса!.. Она меня всегда преследует этой нелепой фразой и делает трагическое лицо. Кстати, тетя почему-то невзлюбила вас, и когда я упоминаю в ее присутствии ваше имя, она так забавно отворачивается, как наш мопс Боби, когда ему подносят к носу зажженную папиросу. В сущности, я очень хорошо понимаю милую тетю – она боится вас и ревнует к вам. Недавно я чуть не задушила ее в своих объятиях, так что она едва вырвалась, а потом проговорила по обыкновению:

– Ксения, помни, что ты – девушка!..

Это была пресмешная сцена, и мне сделалось так весело. Жаль, что вы не могли... Тсс! Кто-то идет ко мне в комнату...

2

...Продолжаю. Это была тетя Агнеса – легка на помине. Вошла в мою комнату, подозрительно посмотрела на меня и остановилась в форме вопросительного знака. Привожу дальнейший диалог в порядке его произнесения.

Тетя Агнеса. Ты, кажется, что-то такое писала?

Я. Да, тетя.

Тетя. Ты, может быть, желаешь мне показать твое письмо?

Я. Дорогая тетя, я этого не могу сделать...

Тетя. Почему? (При этом у нее поднялись брови, как у индюшки, в которую хотят бросить камнем).

Я. Милая тетя, мне идет уже, двадцатый год, и я, кажется, могу иметь самое маленькое из всех прав – не показывать своих писем. Хорошая тетя, не обижайтесь: я делаю так просто из принципа... (Я гадко солгала, но солгала, право, с самой благородной целью, чтобы не беспокоить старушку).

Тетя (подходит ко мне и садится к столу). Но ты мне скажешь одно, Ксения: это письмо не к Marie Бурцевой? Говори откровенно.

Я. О, нет, тетя. Клянусь!..

Тетя успокоено вздыхает, точно я сняла с нее гору. Я в свою очередь начинаю заметно краснеть, потому что догадываюсь, в чем дело. Тетя Агнеса читает мои мысли, и с грустью продолжает:

– Ко мне приезжала мать Marie Бурцевой. Бедняжка в полном отчаянии… Я не обвиняю бедную Marie. Нет… Она забыла, что должна быть девушкой… Виноваты старшие, которые не умели вовремя ее предупредить об этом.

– Тетя, что вы говорите? Я ручаюсь за Marie чем угодно… Мы с ней в институте сидели на одной скамье, потом вместе же выехали на первый бал, – одним словом, это чудная девушка, которую я страшно люблю. Вы говорите про нее ужасные вещи… Она не только девушка, но она чудная девушка. В институте я ее обожала…

На лице тети опять изобразился ужас, и она прошептала, всплеснув руками:

– Несчастная, что ты говоришь? У Marie нашли книгу самого ужасного автора… Я не хочу его называть…

– Поль де Кока, тетя?

– О, Поль де Кок младенец…

– Золя?

– Хуже!..

Мои познания в отреченной литературе здесь заканчивались. Я была рада, что могла смотреть в глаза милой тете с совершенно чи-

стым сердцем. Я не знала даже имени «самого ужасного автора» и, говоря откровенно, не хочу его знать. К чему? Наверно какая-нибудь гадость, а у меня органическое отвращение ко всему пошлому и вульгарному. Не могу не сказать вам несколько слов об этой Marie Бурцевой, потому что у нас есть много общего и, рассказывая о ней, я буду до известной степени объяснять себя. Marie не красавица, как и я, но бывают моменты, когда она делается увлекательной. В ней есть что-то особенное, что я назвала бы больной поэзией. Вы не улыбайтесь, мои повелитель, – я вас вперед ревную к ней. Да, это экзальтированная девушка, которая родилась слишком поздно или, может быть, слишком рано. Она бредит средними веками, распевает какие-то монашеские гимны, до безумия любит цветы, сходит с ума от одуряющих восточных духов и ненавидит мужчин, – ненавидит – это будет, неверное выражение, а правильнее – не находит того идеала, который у нее сложился. Читайте: у нас… Увы! Я уже изменила ей самым позорным образом.

Мы недавно были вместе с Marie на балу.

Она блондинка и поэтому была в чудном голубом платье цвета незабудки – это ее любимый цвет, а я в розовом. Мы танцевали как-то по обязанности. Кавалеры были все неинтересные, и я все время думала о вас, мой повелитель. Мне эти кавалеры казались такими жалкими, а особенно один, какой-то m-r Латышев, который вздумал ухаживать за мной. Не правда ли, как это глупо и… дерзко. Marie потом до слез смеялась надо мной, а я злилась до слез.

– Вот тебе и партия, – язвила Marie. – Это выгодный жених. Он где-то и что-то такое вообще. Мамаши усиленно его ловят… Не отказывайся от своего счастья.

Marie ненавидит всех мужчин, а женщин презирает. На последнюю тему мы часто с ней разговариваем. Она иногда бывает такая остроумная.

– Бог создал женщину, как известно, в минуту гнева, – рассуждала Marie, когда мы сидели на балу, как две разряженные куклы в окне игрушечного магазина. – Мы смешны и жалки… Мы беззащитны, как индюшки, и глупы, как гусеницы. Посмотри внимательно

нее на этот цветник бальных красавиц. Могу только удивляться, что могут находить интересного мужчины в таких куклах? Самое ужасное в женщинах, знаешь что? Это то, что все женщины напоминают одна другую, как цветы на обоях. Ни капли оригинальности... Так же улыбаются, так же поводят глазками, показывают плечи, шею и руки, так же прикидываются ангельчиками и вечно мечтают о нем... О, как я презираю их и, если бы была мужчиной, как бы жестоко поступала с ними. Мужчины слишком великодушные негодяи...

Как мне кажется, Marie помещает свои неудовлетворенные чувства в любви к цветам. Она бредит японскими хризантемами, восточными ирисами и особенно орхидеями. Я ничего подобного не видала. Это какое-то безумие. Для Marie в цветах что-то мистически-поэтическое, какой-то таинственный язык природы, что-то безгранично-изящное, тонкое, символическое и противоположное некрасивой человеческой организации. Она именно больше всего возмущается этой организацией и с ужасом думает о том роковом моменте, когда молодость пройдет, потом

пройдет зрелый возраст (для женщины это немного обидный термин – зрелая женщина) и потом старость. Мне тоже делается страшно, когда я раздумываюсь на эту тему, и я стараюсь не думать о печальных вещах. Действительно, цветы неизмеримо счастливее: они так красивы и умирают только для того, чтобы возродиться в новой красоте. Как истинной красоте, им нечего скрывать. Если бы девушки могли превращаться в цветы... Я желала бы быть самой скромной маргариткой, которая так стыдливо складывает на ночь свои беленькие лепестки. У цветов нет пороков, нет преступлений и у всех одна любовь, неизменная и вечная – любовь к солнцу. Вы были бы моим солнцем, и когда вы уходили бы с моего небосклона, я с красивой грустью о своем повелителе складывала бы свои беленькие лепестки, чтобы встретить вас на следующее утро в освеженной красоте. Боже, какие глупости я вам пишу и как вы будете смеяться надо мной!.. Бред впавшей в сентиментальность девицы. Это, знаете, такая марка, которую не всякий выносит, – извините за вульгарность, – повторяю любимую фразу мо-

его братца Бориса, порядочного шалопая.

Итак, мой повелитель, мы презираем с Marie женщин и создаем культ мужчины (читайте: вы), того мужчины, который построил для женщины города (опять вы же; пожалуйста, не отпирайтесь из скромности!), завоевал пустыни (еще раз: вы), открыл пар (все физики врут, приписывая это открытие Уатту – вы открыли пар, мой повелитель), электричество, написал чудные картины, создал еще более чудную музыку, каждый день делает научные открытия, философские обобщения, написал удивительнейшие поэтические произведения (все вы! вы! вы!), и так без конца. Как же нам (читайте: мне) не любить этого богатыря, чародея и волшебника... Я инстинктивно ищу его защиты, жду его ласкового взгляда, по-детски протягиваю к нему руки... (кстати, я горжусь своими руками – маленькие, беленькие, мягкие, с розовыми пальчиками). О, мой повелитель, я изнываю от жажды рабства, чтобы быть твоей тенью, эхом, ласковым призраком... Рабство в человеческой натуре, а каждая женщина раба от первого дня рождения. Если бы я могла сказать

вам все, что у меня на душе... Опять нет слов, и только музыка может до некоторой степени выразить эти мысли без формы, эти чувства, которые несутся, как весенняя гроза. Я недавно была в концерте и разговаривала с вами: я пела скрипкой, корнет-а-пистоном, флейтой, а вы отвечали мне властно, покоряюще, почти сурово. Я даже желала, чтобы вы меня побранили, рассердились, но все это любя, ласково, покровительственно. Знаете, я желала бы быть птицей. Не смейтесь – только для того, чтобы прилететь к вашему окну и взглянуть на вас. Ваша К.

P. S. Отчего я не получаю ответа на свое предыдущее письмо? Вы – злой... Я могу рассердиться.

P. P. S. Тетя Агнеса опять приходила ко мне в комнату, когда я хотела уже запечатать это сумасшедшее письмо. Милая тетя, как она меня любит... Я хотя и боюсь старости, но люблю таких чистеньких и строгих старушек, как моя тетя Агнеса. Ведь и я в свое время тоже буду старушкой и буду потихоньку краснеть, перечитывая свои сумасшедшие письма. Никто, никто о них ничего не должен знать! Я

самая скромная девушка на свете, и никто не должен подозревать, как я счастлива. Ведь счастье, как орхидеи, вырастает в тени и прячется от солнечного света, который слишком грубо разоблачает всякую тайну. Ах, как мне хорошо...

А письма от вас все-таки нет. Вы подвергаете мое терпение страшному испытанию...

Р. Р. Р. S. Никак по могу кончить этого письма. Все что-нибудь мешает. А теперь... Если бы вы знали, как я виновата, как меня мучат угрызения совести, как я, наконец, презираю себя, жалкую, ничтожную, легкомысленную женщину. Моему преступлению нет наказания, нет имени и меры... Представляю ваше справедливое негодование, когда вы прочтете следующие строки. Вы отвернетесь от меня с презрением... Но все равно. Я не могу скрывать камень, который меня давит и гнетет. Это вышло как-то само собой, помимо моей воли и желания. В данном случае вы можете мне верить вполне. Я, конечно, страшно скучаю о вас, точно вы живете где-нибудь в Японии, а не в одном со мной городе. Да, это ужасное чувство, которое усиливается глав-

ным образом к вечеру, когда стихнет дневной шум и точно начинаешь прислушиваться к самой себе. Да, так я страшно скучала, хотелось поделиться с кем-нибудь своими мыслями и чувствами, и вот... Право, это вышло совсем случайно. Marie Бурцева машинально взяла ваше письмо – ящик в столе случайно был открыт. Как видите, все случайно.

– Мужской почерк? – изумилась она – От *него?*

– Совсем не от него... Просто письмо, т. е. письмо...

Я не умею лгать. Меня продало мое лицо, глаза, язык – все. Marie посмотрела на меня, покачала головой и проговорила:

– Ты влюблена, несчастная? И я этого не знала... это не по-товарищески. Да... И тебе не стыдно? Ну, посмотри мне в глаза...

Я решительно не понимаю, что со мной сделалось. Представьте, я расплакалась самым глупым образом. Marie подсела ко мне, обняла и принялась целовать, как сумасшедшая.

– Голубчик, расскажи, как любят?!. – умоляла она. – Хочешь, я стану на колени пред то-

бой. Мое несчастие, что я не могу любить, просто не умею, как на умею плавать... Милая, и *он* тебя тоже любит? О, конечно... Какая ты счастливая!

Она говорила все это так искренно, что я как-то вдруг взяла и рассказала все: как мы встретились в первый раз (помните, как вас представили мне на вечере у Петлиных?), как потом вы появились у нас в доме, как я с первого раза почувствовала в вашем присутствии какую-то неловкость, – одним словом, все, все... Marie слушала меня бледная, закусив губы, а я рассказывала и рассказывала, плакала и смеялась от счастья, точно пьяная. Да, это было опьянение – иначе я не могу назвать своего состояния. Marie довела меня до того, что заставила (я потеряла волю, как всякий пьяный человек) показать все ваши письма, и напала на них с какой-то жадностью. У нее было злое лицо, когда она перечитывала по нескольку раз каждую строку. И я только тогда поняла, какую я сделала непростительную глупость. Положим, что в ваших письмах ничего особенного нет, но я не имела никакого права показывать их. И какая

глупая – я ждала, что Marie придет в восторг, бросится ко мне на шею и разделит мой восторг, а она вместо этого довольна сухо проговорила:

– Мне нравится одно место в его последнем письме, где *он* пишет о какой-то исповеди, которую специально готовит для тебя. Очень чувствительно, точно откуда-нибудь из дешевенького переводного романа. Благодарю покорно: исповедь... Ха-ха! Для начала совсем даже недурно преподнести своей возлюбленной букет из прежних увлечении. Все мужчины гадкие... Мы это знаем отлично, зачем же ставить точку над «i»? Это бестактно, а мужчине все можно простить, кроме бестактности.

Это был настоящий холодный душ для меня. Я вся точно застыла. Вероятно, какой-нибудь жрец чувствовал то же самое, когда у него отнимали его идола и смеялись над ним. Я теперь не припомню даже, чем закончилась эта жалкая сцена, не припомню, как мы расстались с Marie, но у меня запала в голове ее последняя фраза:

– Я лично от себя совершенно неспособна

любить и могу испытать нечто подобное только по аналогии, т. е. глядя на других, и... и, знаешь, могу даже сделать большую глупость, увлекшись подражанием. Меня это злит, и я не верю самой себе.

Она еще вернулась с полдороги и проговорила почти с радостью:

– А *он* развратный... да, т. е. нравится женщинам.

Что хотела Marie сказать этим? Для чего она говорила все эти вещи? Я была уничтожена, стерта, унижена. Для меня ясно было только одно, что Marie умная, а я глупенькая, как козявка. Неужели ум непременно должен быть злым, а добрые люди глупыми? Ведь это ужасно... А потом... Боже мой, какую ужасную бессонную ночь я провела! Моя комната была наполнена женскими тенями, призраками ваших увлечений... Я слышала звук преступных поцелуев, дрожь счастливого смеха наполняла мою комнату; мне казалось, что десятки женских глаз смотрят на меня с злобным удивлением и десятки голосов повторяют:

– Так вот она какая? Удивительно, что он

нашел в ней *такого*... Какая-то бабешка, кисейная барышня!..

Далее следовал циничeский смех, который колол меня, точно тысячи булавок вонзились в мою кожу.

Но довольно... Идет тетя Агнеса, а мне еще нужно сказать вам о...

II
От него к ней
1

Мне давно хотелось написать вам, Ксения (давно, – мне кажется, что я знал вас всегда, до того времени, как сам родился), но как-то не решался и по свойственной мужчинам трусости все откладывал день за днем откровенное объяснение. Вероятно, когда вы исповедовались в первый раз, то испытывали то же самое – и жутко, и стыдно, и хорошо. Да, мне больно вам писать то, что я должен написать, больно за вас, но я не хочу ничего скрывать от вас, моя дорогая. Самое страшное в жизни – ложь... Но читать исповеди интересно только тогда, когда они написаны большими людьми, – я это читаю вперед на вашем чудном лице, и это мне особенно обидно, как

если бы осужденному на смерть его смертный приговор поднесли на лучшей лионской бумаге с художественной виньеткой, как дорогому юбиляру. Собственно говоря, я сам подписываю свой смертный приговор, чтобы вы знали все, все...

Маленькое a propos. Предстаньте себе, мои друзья ревнуют уже меня к вам и так смешно ревнуют, тем более, что не знают, кто вы и где вы, – вы для них просто «она», – та роковая «она», которая рано или поздно вырывает из среды друзей одного члена за другим. Они злятся, потому что любят меня, и мне больно, что я не имею права назвать вашего имени или, еще больше, показать вас. О, тогда они раскаялись бы во всех своих прегрешениях и на коленях стали бы вымаливать у вас прощения. А сейчас я должен выслушивать приблизительно такие разговоры:

– Сергей, что с тобой? – спрашивает меня Коко Ведерников с притворным участием. – Ты или серьезно болен какой-нибудь модной болезнью, или... пожалуйста, не оскорбляйся: ты влюблен?

– Я? С чего ты это взял? (Я вру совершенно

бесцельно).

– Нет, в тебе есть какая-то перемена, как в корабле, который дал течь и сейчас пойдет ко дну и с которого убегают самые благоразумные крысы. Например, почему ты не поехал с нами вчера в Яр? Болела головка? Очень мило... Какая у тебя странная голова: ты не стал выносить красного вина, дыма хороших сигар и присутствия своих друзей.

Наш кружок состоит из пяти человек: Коко Ведерников, маленький, коротенький, задорный человек, бывает очень мил, когда бывает в ударе; Миша Степанов, добродушный белокурый увалень, хорош тем, что всегда внимательно слушает, кто бы и что бы ни говорил, и всюду едет, куда бы его ни тащили; Илья Иваныч Китоврасов славится тем, что у него никак не может умереть богатая тетка в Тамбове, и еще тем, что, когда он начинает говорить застольный спич, его без церемонии просят замолчать; Антоша Пугачев производит всюду сенсацию своей исторической фамилией и тем, что его мизерная фигурка совсем уж не соответствует его грозной фамилии; впрочем, он добрый малый и может

пить без конца – это в глазах истинных друзей немаловажное значение. Виноват, страшный поклонник женщин, как все некрасивые мужчины, и на этом основании считает себя в праве говорить о них самые непозволительные вещи. Вот и все. Компания составилась совершенно случайно, отчасти еще в университете и отчасти уже на службе. Всем под тридцать. По поводу последнего Коко Ведерников любит повторять:

– Помните, господа, кто до тридцати лет не женится, а к сорока годам не наживет миллион – тот пропащий человек. Пожалуйста, имейте это в виду...

Говоря откровенно, мы все порядочно надоели друг другу, и нас сплачивает только... как это выразиться повежливее, чтобы не оскорбить вашего невинного уха – ну, порочность. Мы вместе потихоньку кутим и проделываем то, что позволяется молодым людям в нашем возрасте.

– Женщина – существо низшей породы, – уверяет всех Антоша Пугачев, чтобы досадить мне. – Это низший тип во всех отношениях. Посмотрите, каких уродов любят самые хоро-

шенькие женщины. Я сказал слишком много: любят. Разве женщина может любить? Это пассивное существо может испытывать это чувство только в отраженной форме, т. е. позволяет себя любить, отдастся мужчине. Еже-ли разобрать настоящую ценность того, что составляет невинность девушки или добродетель замужней женщины, то…

– Довольно, Пугачев! – кричу я, выходя из себя. – Или я вам расколю голову вот этой палкой!

Вы думаете, они обиделись? Нисколько. Все захохотали самым глупым образом. Не правда ли, какая миленькая компания! И я мог убивать свое время в этой среде, дышать с ними одним воздухом и повторять их глупости. Нет, это ужасно…

Вас удивит, что я описываю такую неинтересную компанию, и вы удивляетесь, для чего я это делаю, но «скажи мне, кто твои друзья, и я скажу, кто ты». Вы не думайте, что это какие-нибудь забулдыги и трактирные завсегдатаи; нет, это люди все приличные, люди нашего круга. Вы их наверно встречали где-нибудь в обществе. Они занимают хорошие

места, находятся на положении молодых людей, подающих блестящие надежды: в семьях, где есть молодые девушки, они – желанные гости. Но все они холостяки, у всех за вычетом служебного и рабочего времени есть еще время свободное, и вот здесь наше общее больное место. На языке общества это называется вести рассеянную жизнь, – ведь молодые люди должны перебеситься, прежде чем отдать себя на алтарь семейного счастья. Мне делается больно, когда я слышу и даже читаю подобные фразы. Ведь это ужасно... Если бы у меня был сын – нет, мне вперед обидно и больно за него. Ведь молодой человек должен сделать карьеру, должен вперед обеспечить будущую семью, а лучшие молодые годы проходят, теряется свежесть, самый аппетит жизни, и к семейной жизни такой молодой человек приносит преждевременную усталость, дешевенький скептицизм и очень некрасивую изношенность. Как видите, я не щажу себя, хотя все еще не решаюсь заговорить о главном... Вы знаете жизнь в лучшем случае из романов и имеете о ней самое фантастическое представление, и мне жаль разбивать

ваши иллюзии. Например, в нашей компании, которую я вам представил, заключена целая трагедия, да, настоящая трагедия. Вы подумайте только, что это все средние люди, т. е. люди средних достоинств и недостатков, другими словами – подавляющее большинство, то безличное большинство, которым в сущности творится жизнь. Разве же это не ужасно?

Вы уже догадываетесь, что все предыдущее было только предисловием, и догадываетесь, что это предисловие ведет к женщине, к той таинственной женщине, которая так печально подготовляет мужчину к настоящей брачной жизни. Странно, что мы делаемся циниками чрезвычайно рано, еще в гимназиях, за чрезвычайно редкими исключениями, и вообще не уважаем женщину, как женщину, делая исключение только для наших матерей, сестер и только отчасти жен, вероятно, потому, что они для нас не женщины. Особенно строго мы относимся к женам своих друзей, примешивая к общему неуважению к женщине еще ревнивое товарищеское чувство, и я боюсь подумать о том моменте, когда пред-

ставлю вам своих друзей. Кажется, я даже и не представлю их, что и случается. В сущности, это самые невозможные люди, и меня вперед коробит от одной мысли, как цинически будут разбирать мою жену, как только выйдут из моего дома. Если бы лошадь имела способность краснеть, она покраснела бы за моих друзей, и я вперед начинаю их ненавидеть. О, чего, стоит какой-нибудь один Коко Ведерников, смакующий самые пошлые анекдоты с видом знатока, да и все остальные хороши. Мне просто делается страшно от одной мысли, что у меня может быть дочь, я ее буду воспитывать, ухаживать за ней, любить, и вдруг она попадет в руки одного из таких милых господ. Это в тысячу раз хуже, чем иметь сына, хотя я больше люблю детей-девочек. В них так много какой-то особенной, чуткой поэзии, и они напоминают мне цветы, и мне их жаль вперед.

Я не буду оправдывать ни себя ни других тем, что весь наш общественный склад толкает нас к разврату (простите за выражение), что все наши удовольствия построены на чувственности – театр, музыка, картины, рома-

ны, что если бы девушка в лучшие свои годы прошла сотую долю того, что проходим мы, то она погибла бы навеки, а мы еще с грехом пополам делаемся отцами семейств и даже проповедуем нашим детям нравственные начала. Меня безгранично радует, что я, например, с таким наслаждением могу думать о вас и чувствую, как благодаря вам делаюсь лучше, чище, честнее, здоровее... Ведь я был в университете, чему-то учился (в эту дипломную русскую науку я плохо верю), даже пережил полосу юношеских увлечений и был замешан в очень крупной студенческой истории и даже «сидел», но все это смыто было последующей действительностью, которая ничего общего с юношескими мечтами не имеет, и теперь я, опять благодаря вам, мой добрый гений, возвращаюсь к этому потерянному юношескому раю. Я даже начал (потихоньку от друзей) перечитывать когда-то любимых авторов и, к удивлению, нахожу в них много нового и такого хорошего, что заставляет краснеть. Ведь стыд – здоровое и хорошее чувство, и величайшее счастье, если человек его еще не потерял. Я совсем не хочу от-

рекомендоваться вам в лучшем свете, чем есть на самом деле. Перехожу наконец к женщинам... На самом интересном месте помешали. Принесло Коко Ведерникова. Он уже раздевается в передней. Милое преимущество хваленой холостой свободы, когда к вам лезет всякий негодяй и...

2

Продолжаю свое письмо, которое немножко затянулось. Русский человек вообще пишет плоховато, а письма и совсем плохо. Перехожу к тому, с чего следовало начать. Девушка, которая выходит замуж, несмотря на свое полное незнание жизни, все-таки понимает, что в лице мужа получает «человека с прошлым». Нынешняя девушка, благодаря гг. романистам, понимает это особенно хорошо. Но в ее воображении представляется что-то грандиозное, и она с некоторой гордостью начинает думать, что именно для нее муж пожертвовал величайшими соблазнами мира и, главное, своей холостой свободой. Нет девушки, которая не завидовала бы в этом отношении счастливцу-мужчине, которому позволено решительно все, а ей именно все запреще-

но. Тут выступает на сцену психология запретного плода... Увы! Он совсем не так сладок, как рисуется в неопытном воображении, и в нетронутом, свежем человеке вызывает вполне нормальное чувство отвращения. Много виноваты в этом отношении сами мужчины, которые любят кокетничать своими мнимыми победами, фантастическими романами и любовными приключениями. Представьте себе, что этого нет, и вы будете правы. Некоторые исключения в счет идти не могут. «Женский вопрос», как острит Коко Ведерников, начинается для молодого человека обыкновенно с тех пожилых женщин бальзаковского возраста, которые, так сказать, этим путем переживают свою вторую молодость.

Бальзаковская женщина – только вступительные шаги, это только призрак женщины и глубокий самообман. В душе мужчины остается неистребимым влечение к настоящей женщине, к настоящим чувствам, которое в ранней юности выражается обожанием кузин, дачными романами и мимолетными встречами где-нибудь на пароходе, в вагоне железной дороги, в театре. Вот на этой почве

и разыгрывается самое печальное, т. е. фальсификация настоящего чувства. Боже мой, сколько тут разыгрывается грустных историй, сколько проливается напрасных слов и растрачивается непроизводительно энергии. Выступает на сцену *она*. Нужны ее настоящие чувства, ее сердце, ее душа…

Это случилось года три назад – нет, четыре, потому что моему сыну дне недели тому назад исполнилось три года. Да, у меня есть сын, т. е. не сын, а так, что-то такое без названия, как бывают болезни без названия, когда больные говорят, что «все болит». Меня пригласил летом погостить на дачу один хороший знакомый. Мне отвели комнату где-то на чердаке «с протекцией» и сквозным ветром, – одним словом, как и следует быть комнате молодого человека, приехавшего «взять свежего воздуха» после довольно рассеянной зимы. У моей комнаты было одно достоинство, которое меня и погубило – она была на чердаке, и мне с высоты этого чердака открывался вид на соседнюю дачу. Как опытный человек, я не показывался в окне, чтобы не нарушать обычного течения жизни соседей. Меня инте-

ресовало, как живут неизвестные мне семейные люди. Ведь обыкновенно всякая семья прихорашивается под взглядом постороннего человека, и даже семья моего доброго знакомого, я уверен, не была тем, чем старалась казаться изо всех сил. А со своей вышки я мог наблюдать настоящую и ничем не подкрашенную жизнь. Я даже не старался узнать, кто мои соседи, как их зовут, и наблюдал их с любопытством естествоиспытателя, который рассматривает под своим микроскопом каплю воды с барахтающимися в ней инфузориями. Ведь это интересно видеть людей, которые у вас на глазах проделывают все мелочи жизни, и вы не слышите ни одного звука. Мне приходилось говорить за них целые монологи, вести разные сцены и вообще разыгрывать жизнь. Это очень интересно. О, как отлично я их изучил и как отлично понимал каждое их движение! Он был зрелых лет мужчина, растворявшийся в радостях семейного счастья, она совсем молодая и цветущая женщина, к которой он относился, как к ребенку. Связующим звеном служили три бебешки – две девочки и мальчик. Последний являлся

главным лицом. Он был то же, что все мы – в свое время вел рассеянную жизнь, в свое время устал и в свое время женился. Вообще был хитрый мужчина, сумевший взять от жизни все. Она была удивительно мила, когда оставалась одна с детьми. Я любовался ею. В его присутствии она делалась как будто немного неестественной, точно он мешал ей и стеснял, как неловко сшитая обувь мешает ходить. Бывали и сцены и размолвки, но не бурного характера, как у влюбленных супругов. Очевидно, это был брак по расчету, и она уважала мужа. Возвращаясь из города, он привозил целую кучу всевозможных картонок, в которых бебешки уже знали толк и накидывались на них с жадностью. Хитрый папаша, как и все другие папаши, являлся для них живым игрушечным магазином. Дети искренно любили папашу-игрушечный магазин, ждали его, встречали с радостным визгом, и, как мне казалось, она заражалась этой фальшивой детской любовью, основанной на взятке, и делалась тоже ласковой и любящей. В ней вообще оставалось еще много детского и нетронутого, и она особенно бывала хороша в мину-

ты такого детского настроения, чем хитрец-муж и пользовался.

Знакомство произошло случайно, как все делается на даче. Представьте, я сказал, что ее зовут Ольгой Николаевной, и угадал. Удивительно, что имя характеризует человека, особенно женщину, и я долго соображал, как ее зовут, пока не решил, что Ольгой. Она сначала не поверила мне, а потом с каким-то подозрительным изумлением потихоньку принялась наблюдать меня. Он отнесся ко мне с деланым добродушием соседа-дачника. Его звали Петром Алексеевичем. Он где-то служил, потом получал доходы с какого-то именья на юге и еще занимался каким-то делом, так что любимой его фразой было:

– Ох, молодой человек, занят я по горло.

Ей не нравилось имя Петр, и она звала его Pierr'ом, что выходило еще хуже и совсем уж не подходило к его русской наружности. Она ближе показалась мне еще милее, чем издали, особенно пытливые и детски-широко раскрытые серые глаза с бахромой темных ресниц.

Не буду утомлять вашего внимания по-

дробностями, но через две недели – ровно через две – Ольга Николаевна нашла, что имя Serge гораздо лучше, тем Pierre. Она отдалась с каким-то детским страхом, что было так неестественно в замужней женщине, у которой трое детей. Я, говоря откровенно, не любил ее, но меня манила к себе эта свежая женщина, которая еще не любила. Что-то такое еще неиспытанное, таинственное и волнующее охватило меня, и я любовался этими серыми глазами, полными такой чудной тревоги, девичьей ласковости и страха.

Когда я уезжал с дачи, сославшись на дела, – признаться, мне этот роман начинал наскучивать, особенно, когда Ольга Николаевна принималась мечтать о каком-то фантастическом будущем (у нас будущее?!.), – она преподнесла мне на прощанье сюрприз; она была, конечно, против моего отъезда и оплакивала его еще за две недели вперед.

– Serge, я должна тебе признаться, что я… я… – лепетала она, беспомощная и жалкая, как раздавленная птица.

– Не может быть! – решительно заявил я. – Это тебе показалось…

Она молчала, как горничная, ощипывая какую-то бахромку на своей летней накидке.

Признаться сказать, вернувшись в Москву, я совсем не желал поддерживать этого дачного знакомства, как это обыкновенно и водится, но представьте себе мое приятное изумление, когда Петр Алексеевич около масленицы сам разыскал меня. Сначала я немного даже струсил, но Петр Алексеевич имел такой радостный вид и сообщил мне, подмигивая:

– А у меня радость; родился сын Борис… хе-хе! Вот, молодой человек, вы этого даже и не поймете, а я счастлив. И Оля счастлива… Она непременно желает вас видеть. Знаете, у женщин бывают фантазии. Хе-хе…

Это был какой-то идиот. Нечего делать, отправился отдавать визит. Ольга Николаевна встречает меня такая радостная, так красиво смущенная, с каким-то маняще-виноватым видом – у молодых матерей бывает такое выражение в глазах. Мамка выносит младенца, – одним словом, полная картина семейного счастья.

– *Он* как две капли воды походит на тебя… – шепнула мне Ольга Николаевна, когда я

уходил.

Не правда ли, как все это мило? Даже очень мило… Моей первой мыслью было сбежать из Москвы, куда глаза глядят. С какой стати это мой ребенок, когда у ней есть муж? Кто может это доказать, наконец? Мало ли какие фантазии могут разыгрываться в самой красивой женской головке. Но она приехала ко мне сама, о чем-то умоляла, плакала, становилась на колени – более дурацкое положение, чем мое, трудно себе представить. А я еще сам его усугубил, потому что, уступая неотступным просьбам Ольги Николаевны, начал бывать у них в качестве «молодого друга», как окрестил меня Петр Алексеевич, большой плут и хитрец. Собственно говоря, мне пришлось уступить силе – Ольга Николаевна непременно обещала отравиться, если я не буду у них бывать. Этого еще недоставало…

Представьте теперь мое положение. Эта связь продолжается уже целых три года. Я сделался окончательно своим человеком в доме. Прислуга мне фамильярно улыбается, а кухарка спрашивает, какой соус приготовить

к котлетам. Я приношу Борису игрушки, справляю день его рождения, бегаю по детским докторам и в аптеку, когда он болен, бебешки меня встречают радостным визгом. Ольга Николаевна выходит ко мне по-домашнему, Петр Алексеевич советуется со мной относительно своих старческих недугов и т. д. Представьте себе душевное состояние фальшивого монетчика, который является каждый день на монетный двор и видит среди настоящей монеты свой собственный фальшивый двугривенный. Ведь это ужасно, Меня мучит судьба *моего* Бориса – теперь я начинаю убеждаться, что он действительно *мой*. Лучше было бы, если бы он был сиротой, подкидышем – чем хотите. Когда супругам угодно ссориться, они выбирают меня третейским судьей.

– Молодой друг, рассудите нас!.. – взывает муж.

– Сергей Васильевич, войдите в мое положение! – просит Ольга Николаевна.

Когда Петр Алексеевич сердится на Ольгу Николаевну, он начинает очень ядовито на что-то намекать и ведет диалог в таком роде:

– О, и я, молодой друг, тоже был молод... да-с. Мне было тогда... ну, сколько вам сейчас? Да, да, ровно двадцать восемь лет... Я любил женщин... хе-хе... и они того, не платили мне черной неблагодарностью. И представьте такой случай: муж был моих лет, а жена... ну, так, приблизительно, в возрасте Оли. Да... И представьте себе, она, т. е. жена, а не Оля, – по уши в меня врезалась. Даже хотела отравиться... Ей-Богу! Да... А муж оказался таким идиотом и дураком... Хе-хе!.. И ведь как она меня запутала. Целая история потом вышла, молодой друг... Я-то думал, что муж ничего не замечает, а он... да-с... в одно прекрасное утро...

Ольга Николаевна при таких разговорах ярко вспыхивает, поднимается и демонстративно уходит. Старый плут добродушно смеется, потирает руки и, подмигивая, говорит:

– *Нам* не нравится, молодой друг... Что значит молодая-то кровь: сейчас и загорелась. Шучу, шучу, не сердитесь... Мне еще от Оли вот как достанется, а что поделаете: такой проклятый веселый характер.

Ольга Николаевна в дурную минуту делает еще хуже. Она принимает вид жертвы и ка-

ким-то расслабленным голосом говорит:

– Serge, тебе пора жениться… Семья – великое дело. Только семья дает нам все. Что же, рано или поздно этим кончится… Я тебя не стесняю и не имею права стеснять. Да и вообще, стоит ли думать о такой женщине…

Нет, вы посмотрели бы на нее в такую минуту! Я начинаю ее ненавидеть, презираю себя и даже начинаю думать о самоубийстве. В некоторые моменты женщины бывают просто ужасны, ужасны этой своей проклятой покорностью, деланым героизмом, самоотвержением. И за что, спрашивается?

Еще одна подробность. Мои друзья знают все, откуда – неизвестно. Они справляются о здоровье Ольги Николаевны, горюют, когда Борис бывает болен. Сначала я бесился, а потом привык. Разве лучше устроился Миша Степанов?.. А Антоша Пугачев…

Опять звонок, опять этот Коко Ведерников, который для меня является в роли злого духа, а я еще не кончил главного, именно, что Ольга Николаевна… тьфу!.. он уж идет из передней.

III

От нее к нему

1

Вас, вероятно, очень удивит мое письмо, Сергей Васильевич, но я не могла удержатся, чтобы не напомнить вам о своем существовании. Совершенно случайно узнала ваш адрес от одной знакомой, которую и вы когда-то встречали, – ее зовут Ольгой Николаевной. Она рассказывала, что вы вместе жили на даче где-то. Я ее очень люблю, такая милая женщина. Да, так вы удивитесь, я это чувствую. Но мне страшно захотелось поговорить с вами. Я не сержусь. Что вспоминать старое... Может быть, даже все к лучшему, как говорит доктор Панглосс. Да, я пережила самое себя, хотя Лермонтов и говорит:

...Храм оставленный – все храм, Кумир поверженный – все Бог.

– Ксения, не забывай, что ты замужняя женщина, – говорит милая тетя Агнеса, когда я впадаю в мечтательное настроение.

Да, я уже замужем целых пять лет, у меня трое детей, и мне все-таки иногда страстно хочется вас увидеть – так, издали. Для замужней женщины желание почти преступное...

Но мечтать можно обо всем. Ведь целых семь лет прошло, может быть, лучших семь лет... Предупреждаю вас, что я счастлива и даже очень счастлива. А вы? Какой вы сейчас? Такие же у вас глаза? Так же вы улыбаетесь? Пополнели от тихих семейных радостей, немного опустились, – да? О, счастье не дается даром... Что Marie? Интересно знать, что она думает о себе, хотя видеть ее я, говоря откровенно, не желаю. Не из чувства ревности, нет, а так... Есть какое-то чувство брезгливости, которое вне нашей воли. Я даже не обвиняю ее, что она отняла у меня вас: a la guerre comme a la guerre... Что значат все войны мужчин, о которых повествует всемирная история, по сравнению с нашей вечной бабьей войной из-за мужчины, т. е. из-за обладания этим милым венцом творения, последним словом его и зиждителем нашего маленького женского счастья. Боже мой, если бы Дарвин мог хотя приблизительно понять, что такое борьба за существование! Бедный ученый мужчина думал, что она выражается устройством зубов и когтей, пушками и штыками, покровительственной окраской и пением самцов. Он на

все смотрел с мужской точки зрения и глубоко ошибался. Самая жестокая, вечная и беспощадная воина кипит только между женщинами, где несчастные бантики, цветы, разные погремушки и материи гораздо страшнее всех ваших митральез, динамитов и прочих милых средств для взаимного истребления. Обратите внимание, что ни одно животное не улыбается, кроме человека, а улыбка женщины – ваша почетная могила.

Как видите, я оправдываю Marie и преклоняюсь пред фактом: в последнем чувствуется старческое онемение, маразм мысли, тот белый флаг, который поднимает сдающаяся на великодушие неприятеля крепость. Да, факт… Но это не мешает чувствовать себя, как чувствует себя ограбленный человек. До сих пор для меня остается загадкой, что вам могло понравиться в этой Marie Бурцевой? Я не думаю, чтобы вы были с ней счастливы, и мне делается даже жаль вас… Это – сухая и черствая натура, неспособная даже на увлечение. Она отняла вас у меня из простого женского соперничества, я в этом убеждена. Любить она неспособна. Позвольте, к чему я все это пишу

вам? Какое мне дело до вас? Кстати, вы даже не знаете, что больше всего обидело меня – это то, что вы даже не ответили мне на мое страстное послание, полное безумия юности. Это даже не по-джентльменски, милостивый государь. Конечно, дело прошлое, но это не мешает мне с прежней живостью чувствовать обиду. Знаете, на меня часто находит сомнение: вы точно двоитесь в моем воображении. Один вы – действительный человек, который не отвечает на письма, муж Marie (Боже, неужели вы показали ей мое безумное письмо?), а другой вы – тот, которого я так любила, другими словами – призрак. Ведь мы, женщины, любим в мужчине именно призрак, который сами создаем и который никак не подходит к действительности; в этом неиссякаемый источник нашего вечного женского несчастия. И сейчас я пишу к воображаемому «вы», к своему призраку, это – отчаянная попытка поймать собственную тень. И ведь мы, глупенькие женщины, инстинктивно понимаем эту ошибку и все-таки повторяем ее из поколения в поколение, как умирающие от жажды в пустыне гонятся за миражом. Види-

те, какая удивительная логика получается, когда начинаешь оправдывать себя задним числом?

Когда я пишу это преступное письмо, ко мне подходит мой первенец Андрюша (ему уже четыре года) и говорит на своем детском волапюке:

– Мама, ты пишешь письмо папе?

Я совершенно машинально отвечаю, как отвечают детям:

– Да.

Таким образом вы возведены на высокий сан папы, а я из себя изображаю конклав красных кардиналов. Получается маленькая ирония. Кстати, мой первенец немного напоминает вас: у него такой же разрез глаз и что-то упрямое, когда он смеется. Я иногда со страхом наблюдаю это роковое сходство и начинаю даже краснеть. О, милый изверг, ваша тень преследует меня в моих детях. Представьте себе, что мой муж, против установившегося обычая, как будто не любит Андрюшу. Ведь все мужчины страшные эгоисты и в своих первенцах любят свои первые (?) восторги законной любви и свои первые семейные ра-

дости. Двое других детей тоже мальчики, чему, с одной стороны, я радуюсь (мужчине в тысячу раз легче жить на свете, чем женщине, и нет такой женщины, которая не желала бы быть мужчиной), а с другой – я иногда жалею, что у меня нет девочки. Женщина – как вода, без нее нет жизни. Мальчики вырастут, и поминай, как звали. Соперничество преследует женщину даже в тихих радостях материнства. Где-нибудь, может быть, уже родились и растут те маленькие девочки, которые отнимут у меня моих сыновей. Да, отнимут, потому что любовь, даже самая чистая, не делится. И я останусь одна со своей старостью и буду существовать отраженными интересами своих детей, как наблюдают жизнь из окна: кто-то куда-то едет, кто-то спешит пешком и т. д.

Обыкновенно принято думать, что раз девушка вышла замуж, раз она любит мужа, раз у нее есть дети, то она успокаивается, как человек, который вернулся наконец домой из какого-то далекого путешествия. Это не совсем верно. Самый сильный момент в жизни женщины, конечно, это появление детей. В

этом есть что-то такое ошеломляющее... Но первые заботы и страхи материнства проходят, является привычка к детям, и женщина начинает задумываться. За ней уже стоит громадный опыт, и в сущности она только теперь начинает жить, заплатив первую дань своим женским обязанностям. Отступавшее на время на задний план свое *я* опять выдвигается вперед... Вы догадываетесь, что я хочу говорить о себе, о том, что я думаю. Ведь интересно проверить себя время от времени. И я думаю, много думаю и прежде всего думаю о своих детях. Я знаю то недоверие, с которым мужчины относятся к нашим бабьим мыслям, что я замечаю даже в своем зародыше-мужчине – Андрюше, и знаю, как мужчины не любят, когда женщины (в холостой компании просто бабы) начинают чего-то доискиваться, что-то анализировать, что-то проверять. Эта работа бабьей мысли начинается как раз после того, как пройдет ошеломляющее впечатление материнства и женщина (по вашей терминологии: баба в тесном смысле) начинает проверять себя. Эта маленькая ревизии своих доходов и расходов приводит

иногда к очень неожиданным результатам. Говорю по собственному опыту. Чувствую, что вы начинаете улыбаться скептически, но все равно. Вот что меня занимает, например. Я люблю наблюдать своих детей, в которых открывается для меня целый неизвестный мир. Ведь с каждым человеком, как сказал Гейне, родится и умирает вселенная. Это глубоко верно, потому что дело идет не столько о физической стороне рождения и смерти, а главным образом о духовной. Я испытываю какое-то благоговейное чувство, когда наблюдаю зарождение первых мыслей и первых чувств в их первоисточнике. Ведь это величайшая тайна… В то же время я ищу в детях самое себя, поскольку я отразилась в их физическом складе, а главным образом в умственном и нравственном. Ведь эти дети представляют только результат длинного рядя предков, – кстати, Андрюша называет меня и отца предками. Почему-то это слово ему нравится, выходит и забавно и остроумно, не правда ли? И представьте себе мое отчаяние, что я не нахожу себя в детях… Жестокая и несправедливая правда, что женщина является только

почвой, более или менее благодарной, а творцом является только мужчина (этим, может быть, объясняется тот инстинктивно более строгий выбор женщиной мужчины и то легкомыслие, с каким в большинстве случаев мужчина выбирает себе женщину). Да, факт, который остается только признать. А знаете ли, что отсюда следует?

Ах, опять прибегал Андрюша. Это несносный мальчишка и страшный эгоист.

– Как ты долго пишешь папе, мама!

Вот вам уже и готовый контроль. Личинка уже следит за поведением мамы... Когда он говорит, у него в интонации есть что-то ваше.

2

Я остановилась на выводе, именно, что ведь мои дети в данном случае только случайность и могли быть совершенно иными, если бы был другой отец, а ваши дети будут приблизительно одинаковы, хотя бы родились от разных матерей. Очень милый вывод... Но пойдемте дальше, чтобы быть последовательными. Нам всем, отцам и матерям, кажется, что наши дети именно такими и должны быть, какими они есть сейчас, и что

другими они не могли быть. Какое глубокое и печальное заблуждение именно с нашей материнской стороны... Ведь еще маленькими девочками мы учим в священной истории, что «Авраам роди Исаака, Исаак роди Иакова», и никак не можем понять такую смешную несообразность, а между тем это глубоко верно. Следует вывод: в моих настоящих детях я вижу точно олицетворенную месть вам. Вы мне изменили, и вот вам результат. В самом деле, если бы тогда наш любовный дуэт не был испорчен вмешательством Marie, что бы было? Я часто думаю о *наших* не осуществившихся детях, и мне делается грустно и больно, точно я кого-то обманула, очень близкого, дорогого. Бедные милые детки, где вы? Какими бы вы были? Мне нравится о них думать, об этих неродившихся покойниках, и я тайно грушу. И сейчас мне хочется расплакаться... Боже мой, что же это такое? Что-то такое стихийное, слепое, бессмысленное, где наши лучшие, самые светлые чувства только игрушка в каких-то невидимых, жестоких руках. Кажется, это называется судьбой... К чему же тогда вся поэзия любви, тот ореол, ко-

торым мы окружаем нашу любовь, золотые иллюзии и золотые сны молодости? Все обман и все нелепо. Мы бредем в темноте и подаем любящему человеку камень вместо хлеба.

Благодаря этим мыслям мне иногда делается странным, что я замужняя женщина и прошла лучший период своей жизни, и я начинаю смотреть на своего мужа такими глазами, какими смотрят на постороннего незнакомого человека. Мне даже делается неловко, что он вот тут, около меня, что у него есть на меня какие-то права, а у меня есть какие-то обязанности. В эти минуты тихого помешательства мне кажется, что у него и лицо другое и голос другой, и мне страстно хочется остаться одной. Да, совсем одной... Ведь нового ничего не будет. Кстати, я, как настоящая изменница, еще ничего не сказала вам о своем муже. Его зовут Семеном Гаврилычем. Это – мужчина средних лет, средних достоинств – вообще ничего особенного. Он гордится тем, что деловой человек, и любит повторять:

– Мы не герои, а обыкновенные люди, да-с.

Толпа, простые чернорабочие…

Перед замужеством я его предупредила, что у меня был роман, конечно, не называя вашего имени. Он пожал плечами, сделал большие глаза, как говорится в романах, и проговорил:

– Меня это не касается… Попрошу только об одном: не повторяйте таких признаний в следующий раз. Это, знаете, как-то не совсем удобно. Нынешние девушки начитаются романов и хотят их проделывать в жизни, потому что не знают, что жизнь совсем не требует их романов. Все это остатки романтизма…

Романтизм – любимое слово мужа, которым он, по странной логике, выражает свое недовольство. Он даже кухарке говорит, что она заражена романтизмом, если она сделает щи не по его вкусу, а он любит поесть, что возбуждает во мне отвращение.

Как все мужчины, мой муж влюблен в себя, и его семья представляет только придаток к его особе, чтобы продолжать его имя в будущем, услаждать в настоящем и покоить в старости. Он умеет поставить себя так, что малейшее его желание исполняется беспреко-

словно, хотя он никогда не кричит, не бранится, не выходит из себя. В нем есть способность молча подчинять себе. Меня возмущает, что дети и прислуга уважают его больше, чем меня. «Семен Гаврилыч так сказал», «папа это любит» – у нас составляют закон. Всего интереснее, как он порабощал тетю Агнесу. Сначала добрая старушка страшно меня ревновала к мужу и все подыскивала в нем какие-то таинственные недостатки. Он делал вид, что ничего не замечает, и оставался сдержанно-вежливым, корректным и как-то тяжело-солидным, что, по мнению тети, составляет главные достоинства мужчины. Старушка начала сдаваться, хотя медленно, а когда родился Андрюша – сделалась почти рабой. У тети Агнесы что-то вроде культа Семена Гаврилыча, и я убеждена, что, не будь это неприличным и диким, она еще при жизни поставила бы ему какую-нибудь кумирню. Бедная тетя перенесла на своего идола все свои неизрасходованные девичьи чувства и приходит в ужас, когда я решаюсь возражать этому совершенству или просто не соглашаться с каждым его словом. Она строго подбирает губы и

читает мне нотацию таким тоном, точно я гимназистка пятого класса и хожу в коротких платьях.

– Ведь он – твой муж, – повторяет тетя. – Твои дети будут носить его фамилию… Наконец, если, Боже сохрани, он умрет, ты останешься вдовой.

– Тетя, ведь ты прожила же без мужа?..

– Я – другое дело, – уклончиво отвечает старушка.

Когда мы спорим, тетя Агнеса всегда на стороне мужа, что меня серьезно злит, потому что – к чему такая угодливость? Муж принимает с тетей какой-то иронизирующе-покровительственный тон и позволяет говорить старушке оскорбляющие ее чистоту вещи. Ему нравится ее травить. Вот вам вчерашняя сцена за вечерним чаем. Разбирали мужчин и женщин, говорили абсурды и договорились до того, что муж принялся защищать мормонов. Это при тете-то Агнесе! Она сначала отшучивалась, как умела, ссылаясь на единобрачие некоторых птиц и зверей, а потом начала волноваться.

– Вы это серьезно говорите, Семен Гаври-

лыч? – спросила она дрогнувшим голосом, опуская глаза.

– Совершенно серьезно, тетя Агнеса… Во-первых, пред нами пример праотцов, о чем вы учили с детства. Так? Затем, человек, конечно, выше ваших глупых птиц и глупых животных. В-третьих, наконец, есть неопровержимое доказательство законности и даже необходимости мормонства: у самой добросовестной женщины может быть самое большее двадцать человек детей, а у мужчины может быть до трех тысяч. Следовательно сама природа назначила мужчину к многоженству…

– А как же дети? – спрашивала тетя упавшим голосом.

– Детей должно воспитывать государство, потому что в них все его будущее. Так и будет, поверьте мне…

Бедная тебя Агнеса даже расплакалась, а я заметила мужу, только одно:

– Эта мысль была бы даже остроумной, если бы она принадлежала вам. К сожалению, я уже где-то читала ее…

Перечитала сейчас свое письмо и удиви-

лась тому противоречию, которое вкралось с него. Как будто конец не подходит к началу… Ведь я начала с того, что я счастлива и что люблю мужа, а в конце вышло как-то так, точно я его не люблю, и как будто мое счастье требует каких-то поправок. Это просто ошибка от неумения писать, и в любимых людях мы часто находим несуществующие недостатки, как приписываем им несуществующие болезни. Такова уж область чувства: трудно сохранить равновесие.

Итак, я люблю мужа и совершенно счастлива. Конечно, он не герой романа, не блестящий выдающимися талантами человек, но зато можно быть уверенным в завтрашнем дне. А это главное, когда все интересы сосредоточены в своем гнезде. Обвиняя мужа, что он дразнит тетю Агнесу, я должна прибавить, что сама люблю его подразнить. Начинаю, например, вслух мечтать о роскоши, завидую купцу Мухоярову, у которого сорок тысяч годового дохода, и т. д.

– Если бы я была во второй раз девушкой… – говорю я.

– Скромное желание… – не дает мне кон-

чить муж.

– ...я ни за что не пошла бы замуж. Да... Что хорошего в замужестве? Выбирает жениха совершенно неопытная девушка, которая и людей-то не видала, а жених уже прошел всякий опыт. Вот, например, ты, – отчего ты никогда и ничего не расскажешь о своем прошлом?

– Я? – начинает злиться муж. – Я не понимаю, о чем ты говоришь...

– Перестань, пожалуйста, притворяться... Я знаю, что вы, мужчины, все одинаковы... даже в недостатках и особенно в ошибках молодости. Ну, расскажи что-нибудь!.. Меня интересует, какие женщины тебя любили, как тебя обманывали, как ты с ними расставался... Ах, как я желала бы познакомиться хоть с одной из них, чтобы узнать твой вкус!

– Ну, это уже романтизм...

Когда муж сердится, он начинает заикаться, а теряет он свое самообладание только со мной, как все мужья. Мне нравится его позлить немного. Нет, решительно я его люблю, потому что он весь хороший, а нынче так мало хороших мужей... Представьте себе, до свадьбы он не знал ни одной женщины. Я имею

на это доказательства. Разве не сокровище такой муж? Он презирает всех мужчин, которые смотрят на жизнь легкомысленно, и вам бы досталось от него... Ведь вы самый легкомысленный человек в свете, я в этом убеждена

– Кто не уважает женщину, тот погибший человек, – повторяет муж, и я не могу с ним не согласиться. – А нынешние молодые люди слишком легко смотрят на жизнь, и я рад, что у меня нет дочери. Вот видите, как говорят солидные люди. Учитесь, чтобы исправиться под старость.

Жму вашу руку. *К – ния.*

А все-таки мне очень хотелось бы видеть вас.

IV
От него к ней
1

Пишу вам, Ксения Аркадьевна, уничтоженный, жалкий, разбитый, как солдат, бежавший с поля сражения. Куда бежать такому солдату? Где укрыться? Куда нести свой позор? Такое вступление, надеюсь, заставит вас дочитать мое послание до конца. Когда-то

вы относились ко мне хорошо, и я во имя этого прошлого обращаюсь к вам, чтобы выговориться и рассказать все, чем наболела душа. Расчет на великодушие врага всегда вернее всех расчетов на дружбу. Впрочем, у меня и нет друзей, да и не было в том смысле, как понимается это слово. Скучно, грустно, а главное – подло. Подлость в том, что я изверился в самом себе, что не уважаю себя, что я, говоря образно, жалкая тряпица, как и многие другие, которые счастливее меня тем, что не отдают себе отчета в собственном положении, а тянут лямку жалкого существования по дурной привычке непременно жить. Ведь живет и цепная собака, если рассуждать с формальной стороны.

Недавно я перебирал свои старые бумаги и нашел длинное письмо к вам, которое осталось неотправленным. Я его перечитал с удовольствием и с удовольствием подписался бы под ним еще раз. Давно ли все это было, – вчера, третьего дня... Я оттолкнул счастье собственными руками и теперь несу достойную кару. Вера простого народа, что всякое преступление в свое время должно быть искуп-

лено соответствующим наказанием, оправдалась на моем примере в самой яркой форме. Я перечитал свое письмо два раза с тем вниманием, с каким мы рассматриваем выцветшие и порыжелые фотографии своей молодости. Да, я смотрел на себя через призму семи лет своего супружеского опыта и не узнавал себя... Там был искренний, простой, любящий человек, который вдруг куда-то точно испарился. Грустная метаморфоза для вашего покорного слуги.

Вероятно, вы тысячу раз думали и передумывали, как я мог увлечься Marie Бурцевой? Представьте себе, и я тоже. И до сих пор я продолжаю не понимать, как все это могло случиться, тем более, что Marie я не любил. Объяснение может быть только одно – к нему я подхожу уже со стороны, наблюдая других женатых мужчин; именно, подавляющее большинство мужчин женится только потому, что находится такая девушка шли женщина, которая их женит на себе. Для мужской гордости это обидно, но это не мешает факту оставаться фактом. Итак, Marie Бурцева женила меня на себе. Произошло это с ошеломляю-

щей быстротой, так что я опомнился только тогда, когда уже был мужем. Первый же день нашего супружества для меня был омрачен сознанием, что Marie, теперь моя жена, не только не любит меня, но и не уважает, чего она, впрочем, и не скрывала. Недурное открытие для начала.

Так называемого медового месяца у нас не было. Его заменили жестокие сцены и взаимные подергивания. Я могу сравнить наше супружество с тем, если бы завязать в один мешок кошку и собаку, причем кошка была бы и профессионально злее, и находчивее, и сильнее. Впрочем, и тут Marie была права.

– Вы так и знайте, что я вас не люблю, – предупреждала она меня даже в самый день свадьбы.

– Для чего вы в таком случае выходите замуж? – удивлялся я, растерявшись и напрасно стараясь принять шутливый тон.

– Так… – ответила она по-детски. – Сама не знаю, зачем. Отчасти из любопытства, отчасти потому, что нужно за кого-нибудь выходить.

Прежде я умел говорить с женщинами в

шутливом тоне, и это выходило совсем недурно, – женщины любят больше всего именно этот тон, – а тут, с Marie, я никак не мог попасть в него. В ней, в лице, в глазах, в тоне голоса есть что-то детское и вместе жестокое, и я теряюсь со своим тоном. Если с чем я мог бы сравнить свою жену, так это с сыром рокфор – такая же острота, такая же ядовитая гниль, въевшаяся в самую середину. Я уверен, что она была бы счастлива только с каким-нибудь износившимся и тоже прогнившим насквозь рамоли, который вдобавок колотил бы ее палкой в необходимых случаях. К сожалению, я не могу соответствовать такому идеалу, и Marie меня презирает. Последнее меня мучит с первого дня нашей совместной жизни и привело к тому, что я сам перестал себя уважать. Опять должен высказать общее место. Какая-то итальянская пословица говорит, что женщины, ослы и орехи любят жесткие руки, а у меня именно этого счастливого преимущества и нет, потому что я, по существу, мямля, и больше ничего.

У каждого человека в самом скверном положении остается какая-нибудь надежда. Мо-

ей надеждой были дети. Материнство изменило бы Marie, как я уверял себя. Но детей не было, и сейчас, умудренный жестоким опытом, я благословляю небо за эту милость. Разве Marie могла бы быть матерью? С другой стороны, какой я отец? Итак, нет детей и нет надежды... Что же, приходится мириться...

Ко всем милым качествам Marie нужно прибавить, что она деспот, самый ужасный из всех деспотов. Единственным материалом для проявления этого деспотизма служу я, и один Господь знает, какое тяжелое иго я несу. Marie так умела поставить себя, что малейшее ее желание, малейший каприз исполняются беспрекословно, как смертный приговор. Она является в роли плотоядного хищника, а я травоядного пресмыкающегося (в зоологии это новый вид). Обыкновенно настоящие хищники из любезности разрывают травоядное на части сразу, а Marie ест меня уже семь лет. И я привык к своему унижению и, как всякий раб, глубоко ненавижу своего господина. О, как я ненавижу Marie, если б вы знали... С каким наслаждением я убил бы ее!.. В моей голове проносятся иногда ужасные

картины. Я уже вижу Marie мертвой, с посиневшим искаженным лицом, с остановившимися в мертвенном ужасе глазами, с запекшейся на губах кровью... И мне ее не жаль. Нисколько... Эти глаза не будут больше лгать, эти губы не будут прикрывать улыбкой те лживые слова, которые говорил язык, это сердце не будет биться, как фальшивая монета в пустом кошельке: она вся ложь, и дрянная ложь. Я испытываю инстинктивное отвращение к ящерицам, и у меня бегут мурашки по спине, когда я мысленно представляю себе соприкосновение с ее сухой и холодной кожей. Marie – ящерица громадных размеров. Она и притворяется на каждом шагу, как ящерица...

Когда я пишу о своей ненависти к Marie и кровожадных фантазиях, по ее адресу, мне делается горько и смешно. Кто это пишет? – бывший банковский бухгалтер, а сейчас член банковского правления. Говоря откровенно, мне ужасно повезло по службе. Мне завидуют, как счастливцу и баловню судьбы. А никто не знает, как мне противна моя деятельность и это банковское счастье. Мы обираем

неизвестных клиентов в пользу неизвестных патронов. Очень почтенная деятельность... И нас уважают, перед нами заискивают, льстят, пресмыкаются, унижаются, как льстили, унижались и пресмыкались, вероятно, пред жрецами золотого тельца. Для чего же я служу в банке, когда мне это не по душе? А для того же, почему я не расхожусь с Marie... Нужно двенадцать тысяч жалованья, безгрешные доходы, игра под сурдинку на бирже, чтобы добывать средства на ее мотовство. Как видите, одно было связано с другим по-братски, чего не случается с добродетелями. И я качусь по наклонной плоскости в неведомую даль, как нарастающий от движения с горы ком снега, – чем дальше, тем хуже.

Мне доставляет удовольствие посмеяться над самим собой. У меня отличная квартира, убранная по последнему слову какой-то сумасшедшей моды, есть собственная дача в трактирно-банном стиле, почему-то называющемся русским, есть свои лошади и т. д., и т. д. И как я ненавижу все это! Маленькая характерная подробность: у нас везде цветы, самые редкие цветы, – это составляет слабость

Marie. Даже за обедом стол покрывается какими-то дурацкими папоротниками... А орхидеи? Я их ненавижу и стараюсь не смотреть на них – это какие-то сумасшедшие в царстве растений, а сам я начинаю чувствовать себя живым покойником среди этих орхидей, папоротников, ирисов и хризантем. Я бросаю всякую работу и разыскиваю по всем оранжереям какие-то редкие экземпляры, я должен выражать искренний восторг по их адресу, я должен разыгрывать какого-то психопата, и мне начинает казаться, что Marie сама редкий экземпляр из самых извращенных орхидей, у которых корни превращены в цветы, а листья исправляют должность корней. О, как я ненавижу все цветы...

Я заметил, что Marie любит все нездоровое, ненормальное, извращенное. Это распространяется, главным образом, на наших знакомых, пред которыми мы разыгрываем вот уже семь лет счастливую парочку. Собственно, это общество Marie: выгнанные со сцены актеры, певцы, потерявшие голос, соломенные вдовушки, какие-то сомнительные кавказские князьки, остзейские бароны, наши

банковские иудеи – одним словом, отчаянный сброд. Какие разговоры, какие интересы, какие взгляды на все!.. А лучше всех Marie, которая поминутно проявляет по отношению ко мне самые деликатные чувства.

– Serge, кажется, от окна дует, а у тебя кашель...

– Нет, ничего.

– У тебя вообще какой-то такой вид...

Я сначала краснел от такого издевательства в глаза, а потом привык и довольно удачно проделываю роль кукольного мужа, парадного манекена и счастливого супруга. Я тоже проявляю признаки нежности и самой трогательной заботливости. Но если бы вы видели ту перемену декораций, которая происходит моментально, когда наши дорогие гости уходят. Сначала я больше всего стыдился прислуги, а потом привык.

2

Я уже сказал вам о своем рабстве, а каждый раб по существу своей профессии вынужден лгать. И я лгу на каждом шагу, лгу до того, что мне это даже начинает нравиться, как своего рода спорт для домашнего употребле-

ния. Я лгу даже тогда, когда молчу: лжет мое лицо, лжет каждое движение, лжет далее походка. Мне доставляет удовольствие обманывать самого себя. Особенно я изощрился по этой части в обществе моих бывших холостых друзей, о которых я когда-то писал вам. Они посещают меня время от времени с благочестивой целью потом позлословить на мой счет.

– Я тебе завидую, Сережа, – притворно умиляется самый умный из них, Коко Ведерников. – Ты сорвал банк в жизни…

– Он пришел первым к столбу, – поддерживает его Китоврасов, у которого пятнадцать лет не может умереть в Тамбове богатая тетка; этот милый человек говорит обо мне, как о скаковой лошади. – Вернее сказать, ты пришел к столбу с женой в мертвом гите, голова в голову.

Мои безжалостные друзья знают отлично подводную часть моего мертвого гита и считают своим долгом выматывать из меня жилы. Впрочем, я не остаюсь у них в долгу, и в моих разговорах с ними вспыхивают иногда огоньки прежнего остроумия, что удивляет

Marie каждый раз.

– Этот осел еще острит… Вероятно, подслушал у кого-нибудь.

Marie всегда говорит обо мне почему-то в третьем лице, а «осел» – это мой домашний чин, что предвидели мудрые зоологи, когда назвали осла asinus domesticus.

Кстати о моих друзьях. Все они устроились. Коко Ведерников служит где-то юрисконсультом, управляет какими-то домами, состоит при какой-то опеке – вообще типичный делец среднего полета; смешнее всего, что он бредит толстовщиной, вегетарианством, всевозможной философской отсебятиной, что совместить может только бесшабашный русский мозг. Китоврасов пошел по ученой части и углубился в археологию, собирает образки, покупает у баб полотенца и старинные кокошники и где-то кому-то что-то такое читает. Удивительнее всего, что у него есть слушатели и есть люди, которые платят ему за его чтения. Миша Степанов – помните, добродушный, белокурый увалень? – сейчас… вы ни за что не угадаете его профессии, – сейчас он на сцене и на какой! – на опереточной и

притом исполняет комические роли, и наконец у него есть настоящий талант, в чем я убедился лично. Желая быть последовательным, он женился на поповне и чуть не каждый день ходит к ранней обедне. Мило и просто, и все как-то связало одно с другим, так что, вероятно, логика Милля краснеет за свою нелогичность. Лучше всех устроился Антоша Пугачев, которому решительно все завидуют. Он какими-то неведомыми путями сделался сначала летучим корреспондентом «Нашей уважаемой газеты», а сейчас состоит ее воскресным фельетонистом, т. е. приманкой для публики. Он несколько раз объехал всю Европу, сделал кругосветное путешествие и знает решительно все и всех как в Москве, так и в Петербурге. Круглые черепаховые очки придают ему вид испуганной летучей мыши, а произношение в нос – шик настоящего «парижского парижанина». С редактором он на ты и, благодаря феноменальной крепости желудка по части неосторожного обращения с напитками, в редакции «Нашей уважаемой газеты» свой человек. Он в качестве газетного прозорливца предсказывает течение евро-

пейской политики (мы предвидели еще в прошлом году, что...), с авторитетом застарелого парламентского деятеля разбирает внутренние вопросы и ведет ожесточенную, наездническую полемику. Антоша – положительно талант.

Marie в восторге от Пугачева, зачитывается его фельетонами и хохочет до слез, когда он рассказывает свои анекдоты, от которых сгорела бы со стыда бумага, если бы их возможно было напечатать. У нас вообще какое-то царство анекдота: с него все начинается и им кончается. Пугачев собственно редкий и дорогой гость, и Marie отчаянно с ним кокетничает, что тот принимает за чистую монету. Я в этом отношении спокоен, потому что моя ящерица застрахована от всяких увлечений. О, если бы она только могла кем-нибудь увлечься и бросить меня... Нет, о таком счастье я не смею мечтать даже во сне, ибо asinus domesticus во всей зоологии один, и другого такого экземпляра не может быть.

– Все мое несчастие, что я родилась слишком рано, – повторяет Marie всем, давая понять, какой крест она несет в своей семье. –

Но в жизни нужно быть фаталистом… C'est la fatalite – как говорит belle Helene.

Чтобы быть понятой неблагодарными современниками, Marie печатает сентиментальные стишонки в каких-то декадентских изданиях, учится рисовать и лепить. Впрочем, все это прошло, и теперь она играет на тотализаторе, как кокотка. Анекдот у нас неразрывно связан с спортом – велосипед, скачки, гребные гонки, поло, лаун-теннис и даже фехтование женщин. Все эти удовольствия последнего времени точно специально созданы для Marie, чтобы убивать ее никому ненужное время. Тут все типично и все говорит за себя.

Эту картину семейного счастья остается дополнить только тем, что я начинаю спиваться – не так, как это делают простые мужики, а спиваться по-интеллигентному, как спиваются состоятельные люди. Пить я начал еще в голодное время студенчества, потом следовал перерыв, когда я пил только в компании, а сейчас я напиваюсь уже в одиночку, и это вошло в привычку. Кажется, немного нужно силы воли, чтобы отказать себе в роко-

вой первой рюмке, а между тем нет ничего труднее. С другой стороны, как-то делается легче, даже почти совсем легко. Я как-то подсчитал и выходит, что я пьян почти каждый день, т. е. пьян к вечеру, пьян прилично, так что посторонний глаз даже и не заметит. Что делать, так сложилась жизнь, как говорят все потерянные люди. Я себя не оправдываю и не жалею. Много нас таких, ох, как много... Недавно я рассматривал свою особу в зеркало, чем вообще не занимаюсь: пополнел, даже начинаю брюзгнуть, лицо с краснотой – вы бы не узнали меня. И это человек, который еще так недавно мечтал о чем-то, у которого была потребность в идейном существовании, который хотел вести вас, нет, идти с вами рука об руку куда-то вперед, в мир лучших идей, чувств и понятий! Да, нас много, и представьте, что в этой среде вы встречаете и художника, и артиста, и писателя, и ученого – все они составляют одно собирательное больное, и у всех одна и та же история. Дома меблированный ад, а вне дома – кабак по состоянию. Мы встречаемся именно в этих кабаках, знакомимся по-кабацки, а потом не узнаем

друг друга вплоть до новой кабацкой встречи. Ну, я простец, банковская запятая, а те-то отчего пьют? Остаюсь при глубоком убеждении, что дело в женщине, именно в интеллигентной женщине, которая доводит интеллигентного мужчину до позорного конца. Это не обвинение третьего лица, чтобы оправдать себя. Нет и нет… Говорю это с глубоким прискорбием. Эту интеллигентную женщину я могу сравнить… Ах да, я недавно по поручению банка выезжал осматривать три тысячи десятин строевого леса, который был заложен у нас. Представьте, вековые чудные сосны и ели пожирались ничтожной белой бабочкой «монашенкой». Они стояли в своей вековой красе уже приговоренными к смерти, а под корой неустанно точили маленькие червячки, прекращая доступ питательных соков из земли. Мне казалось, что эти сосны мы, то есть я, и что я готов вдобавок ползать у ног своей монашенки… Считаю своим долгом оговориться: я говорю «интеллигентная женщина» не в смысле образования – Боже меня сохрани! – а только в смысле известного круга общества, и это совсем не значит, что я пред-

почитаю необразованную женщину. Тысячу раз нет... Разве Marie образованная женщина, хотя она кончила институт и слушала какие-то курсы? Я преклоняюсь пред образованием, как единственной силой, которая ведет человечество вперед и делает отдельные единицы счастливыми. Когда-то и я мечтал о науке, о подвиге, о жизни по совести... Ну, об этом не будем говорить.

Закончу свое затянувшееся письмо характерным эпизодом. Представьте себе, что я прибил Marie... Да, прибил, как пьяный мужик, потому что и сам был пьян. Она сказала мне какую-то вызывающую грубость, – сейчас даже не помню что. Я ее ударил, схватил за горло и бросил на пол. Она как-то жалко пискнула, закрыла лицо руками и, как индюшка, приготовилась ко второму удару. Я оттолкнул ее ногой и опомнился.

– Ты не стоишь даже того, чтобы тебя бить, – проговорил я.

Она страшно испугалась, и это, кажется, был единственный случай в нашей совместной жизни, когда она была естественной. Да, она совершенно естественно защищала свое

лицо руками, как скупой стал бы защищать естественно свой мешок с золотом, а для нее ее детское лицо – капитал. Когда я проспался на другой день, то пришел в двойной ужас: мне страшно было совестно за свое зверство, а потом я испугался за Marie – ведь она на все способна. Мне даже сделалось ее жаль. Конечно, мы должны разойтись, но куда она пойдет, она, которая не способна ни к какому труду, ни к чему серьезному? Я уже видел ее содержанкой, потом кокоткой... И представьте себе, когда я пришел к ней просить прощения, она даже не была рассерженной, а только спросила уже на ты:

– Скажи откровенно: ты бил когда-нибудь других женщин?

Я понял этот вопрос и, хотя не шевельнул пальцем ни одной женщины, соврал без всякой совести:

– О, я постоянно их бил... Ты меня еще не знаешь!

Эта гнусная история кончилась ничем, и Marie сделалась как-то мягче. Я чувствовал, как она меня наблюдала потихоньку, открывая во мне другого человека. Боже мой, до че-

го она была мне противна… Я, кажется, теперь начну ее бить уже серьезно. Но будет. Прощайте.

Сергей Меркурьев

P. S. А как хочется жить… Ведь я еще не жил совсем, а жить для меня – это думать о вас. Я помещаю в вас все лучшее, самое дорогое и чистое – в вас моя несбывшаяся молодость, мое несбывшееся счастье… Прощайте!

V
От нее к нему
1

P. S. Начинаю прямо с постскриптума, потому что начала нет.

– Ксения, не забывай, что ты теперь… Да, теперь ты должна быть особенно осторожна и строга к себе, – говорит мне тетя Агнеса, не решаясь назвать настоящим именем мое теперешнее социальное положение.

– Что же я такое теперь, тетя? – спрашиваю я с горькой улыбкой.

Тетя Агнеса поднимает только брови и красноречиво умолкает. Милая, хорошая старушка, которая, любя, сделала мне много зла. Когда катастрофа (о ней потом) кончилась,

она таинственно передала мне два моих письма к вам, – они оказались неотправленными… Тетя Агнеса перехватила их из ревности к вам, с одной стороны, а с другой – из принципа, что девушка не должна писать мужчинам, не показав письма старшим. Эта любящая опека и погубила меня… Я убеждена, что, получи вы мое первое письмо, вы никогда не женились бы на Marie, а я не вышла бы замуж за… Я не желаю называть имени, которое сделало меня несчастной. Да, я несчастна и удивляюсь самой себе, что имею еще силы так спокойно писать вам. Но кому я буду писать, когда у меня нет ни одной живой души, кроме вас, которому я хочу сказать все, все… Так как вы были отчасти виновником моего несчастия, то и должны прочитать это письмо до конца – наказание, которое не все мужчины выносят с достаточным мужеством. Настоящее письмо вы получите вместе с двумя предыдущими, которые должны тоже прочитать, чтобы вполне понять это.

Мне исполнилось в нынешнем году ровно тридцать лет. Замужем я была ровно десять лет, а сейчас я ни девушка, ни вдова, ни муж-

няя жена, как говорят мужики про солдаток. Мое положение хуже, чем положение солдатки, – я просто соломенная вдова, то есть ушла от мужа. Сколько злой иронии в этом термине, придуманном, конечно, мужчиной, и очень веселым мужчиной, у которого, вероятно, тоже убежала жена. Соломенная вдова – не правда ли, как это смешно? Есть несчастия, которые даже не вызывают сочувствия, а соломенное вдовство вызывает, кроме того, невольную улыбку и наталкивает на игривые мысли. Мне раньше не один раз приходилось слышать этот термин, и мужчины с разными игривыми примечаниями указывали пальцами на соломенных вдовушек. В глубине души я обвиняла их, как женщин, которые не умели сохранить огня на семейном очаге, а ведь это главная задача женщины. Тетя Агнеса относилась к таким женщинам с ужасом, все равно, если бы в ее комнату вошла подкованная лошадь. Она даже закрывала глаза, как курица, и еще раз приходила в ужас. И вот я теперь на положении этой соломенной вдовы, и тетя Агнеса много способствовала этому обстоятельству. Видно, чему посмеешься – то-

му и поработаешь.

Одно маленькое замечание a propos. Раньше мне казалось, что соломенные вдовы очень редкое исключение, что-то вроде монстра или тех уродов, какие сохраняются в анатомических музеях в банках со спиртом. А сейчас я убедилась, что это очень распространенная разновидность женщины, все нарастающая по мере поступательного движения нашей милой цивилизации. У меня раз болели зубы, и мне пришлось выйти на улицу, и я удивилась, что так много встречалось людей с подвязанными щеками, как моя. Вероятно, хромой встречает больше хромых, чем люди со здоровыми ногами, горбатых – горбатый, кривой – кривых. Весь вопрос в том, на чем фиксируется наше внимание. Когда болит зуб, кажется, что болит весь земной шар. Так я теперь болею своим соломенным вдовством, и меня приводит в ужас наша численность, – ведь получается целая армия женщин, выкинутых за борт семейного корабля. Я их поневоле встречаю по разным канцеляриям, где приходится хлопотать по своим делам, – да, у меня есть свои дела и много-много

самых неприятных хлопот.

– Помилуйте, сударыня, вашего сословия большие тысячи, – объяснял мне швейцар-старичок, когда я в первый раз пришла в канцелярию градоначальника, чтобы хлопотать об отдельном виде на жительство, и страшно волновалась с непривычки: мне казалось, что все смотрят на меня и показывают пальцем – сторожа, курьеры, писцы, чиновники. – А вы не сумлевайтесь… Не вы первая, сударыня. У нас двери не закрываются от вашего сословия.

И, представьте себе, я почувствовала некоторое душевное облегчение именно в этих канцелярских стенах, где встретила еще более несчастных соломенных вдов. Что они вынесли – вернее сказать, чего только они ни вынесли, прежде тем дошли до дверей этой канцелярии! Вот к чему приводит иногда жизнь… Но я забегаю вперед, не рассказав главное. Ах, как тяжело это повторять. Ведь и без того приходится переживать все тысячу тысяч раз: что ни делаешь, а все мысли сведутся в конце концов к одной роковой точке.

Катастрофа произошла как раз перед Рож-

дeством, когда все мы готовились к празднику и главные интересы сосредоточивались, конечно, около елки… Боже, как мне трудно писать, если бы вы знали!.. Мое бедное сердце разрывается на части… Дня за три до праздника, утром, когда муж был на службе, горничная говорит, что меня спрашивает какая-то женщина. Уже по лицу горничной я заметила, что что-то неладно.

– Какая женщина?

– А так… В дипломате…

Выхожу в переднюю и вижу средних лет женщину, одетую в осенний дипломат, несмотря на стоявшие холода. Мне она почему-то не поправилась, особенно не понравился ее пристальный взгляд, которым она точно меня взвешивала.

– Что вам угодно? – довольно сухо спросила я.

Она оглянулась на горничную и ответила с заметным смущением:

– Мне бы нужно поговорить с вами с глазу на глаз…

– Для чего же это? – возмутилась я. – Между нами нет секретов, и вы можете говорить

все совершенно свободно...

– Нет, все-таки... Я прошу вас... Будьте любезны, ради Бога.

У меня что-то точно оборвалось в сердце, и я почувствовала, что эта женщина в дипломате уже владеет мной. Выслав горничную, я провела ее в свою комнату. К счастью, тети Агнесы не было дома. Она вошла с какой-то робостью, оглядела стены и заплакала.

– Что с вами? – начала я немного сердиться.

– Так-с... Это пройдет. Я к вам по серьезному делу, уж простите.

Дело, действительно, оказалось серьезным. Эта женщина в дипломате была сожительницей моего супруга до его женитьбы и осталась после него с двумя девочками на руках. Очень недурно для начала... Оказалось, что мой супруг содержал эту семью, то есть выдавал по пятидесяти рублей в месяц, и все шло хорошо до последнего времени, когда он сделался неаккуратным и начал помогать периодически, посылал по десяти и даже по пяти рублей. Вот последнее обстоятельство и привело женщину в дипломате ко мне. Она

уже стояла на краю нищеты и пустилась на отчаянное средство объясниться со мной. Представьте себе мое положение... Вот вам муж, который до женитьбы на мне не знал ни одной женщины. У меня потемнело в глазах от неожиданного открытия, но я не потерялась и сейчас же отправилась с женщиной в дипломате на ее квартиру, чтобы проверить все на месте... У меня оставалась тень сомнения. Мало ли что бывает: просто шантаж. Я нашла в одной комнате двух девочек-подростков, и сомнений не могло быть. Это были родные сестры моим собственным детям. Я отдала женщине в дипломате все деньги, какие успела захватить с собой, обещала что-то такое устроить для нее, поговорить с мужем и т. д.

– Нет, вы уж, пожалуйста, ничего не говорите Семену Гаврилычу, – умоляла она меня. – Это их расстроит... Они ведь добрые, а теперь дело идет к празднику... все заложила, что было... Да и им не легко, Семену Гаврилычу.

Женщина в дипломате, видимо, чего-то не договаривала, что меня, естественно, заин-

триговало. Она помялась немного, а потом со слезами рассказала, что у Семена Гаврилыча есть еще одна женщина, с которой он живет вот уже три года и у которой от него есть тоже ребенок. Со мной сделалось дурно.

Что было потом, вы можете себе представить сами. Все мое замужество оказалось подлогом, жалким обманом, и всего хуже было то, что Семен Гаврилыч отпирался от всего и лгал самым бессовестным образом. Конечно, оставаться вместе нам было немыслимо, но вот тут-то мой супруг и проявил себя во всей красоте.

– Вида на отдельное жительство я тебе не выдам, – заявил он решительно. – Можешь хлопотать его, где хочешь. А вот дети принадлежат мне уже по закону-с... Да-с... Имейте это в виду, сударыня.

– По какому закону? Дети мои...

– Жестоко ошибаетесь: мои... Да-с.

Это открытие обескуражило меня больше всего. Я что-то такое слыхала о правах мужа, но из пятого в десятое и не могла допустить даже мысли, что на мою долю приходятся только одни обязанности, а все права на сто-

роне мужа.

2

Да, итак я на улице... Я не знаю, что было бы со мной, если бы я осталась совершенно одна, т. е. без тети Агнесы. Это мой ангел-хранитель. В трудные минуты она лучшая поддержка. Тетя Агнеса умеет быть такой твердой и такой смелой. Она боится только лошадей и мышей и больше ничего на свете.

– Тебе нужно уходить, – решила она, когда разразилась катастрофа. – Все можно простить, понять, извинить, кроме обмана... Человек, который обманул раз – обманет и в другой.

– А как же дети, тетя?

– Детей мы отберем...

– А закон?

– Не может быть такого закона. Я пойду в комиссию... да. Надену свое лучшее черное шерстяное платье и пойду. Там поймут, что нельзя обманывать, и велят отдать детей матери. Да...

Тетя всегда верила и сейчас верит, и я заражаюсь ее верой. Мы занимаем небольшую меблированную комнату, и нас можно при-

нять за юристов, готовящихся к выпускному экзамену. Мы на последние гроши накупили законов и учим их наизусть. Я даже выучилась подыскивать кассационные решения к какой угодно статье. Обыкновенно я читаю, а тетя внимательно слушает.

– Да, да, все законы написаны мужчинами… – шепчет старушка, укоризненно качая головой. – И они все написали в свою пользу.

Мы почти каждый день делаем какое-нибудь открытие в этом лесу юридических тонкостей, где притаилось столько чудовищ. Есть такие несообразности, которых никак не может примирить наш бедный женский ум. Так, живой иллюстрацией таких юридических несообразностей является для нас «женщина в дипломате». Ее фамилия – Егорова, Дарья Петровна. Она изредка заходит к нам, хотя тетя Агнеса и не любит ее, потому что в свое время она не сумела быть девушкой, а этого все добродушие тети Агнесы не в состоянии переварить. Дарья Петровна инстинктивно побаивается тети и в ее присутствии принимает вид виноватой собаки. Мне она нравится – совсем простая женщина, сохранив-

шая еще следы миловидности. О себе она говорит, как о третьем лице.

– Конечно, глупа была, когда поверила Семену Гаврилычу, – рассказывает она с улыбкой. – У господ жила, ну, а Семен Гаврилыч бывал у них еще лепетитором… Пошутить любил… Он ведь веселый. Ну, я и поверила.

Вскоре после катастрофы Дарья Петровна пришла вся в слезах: Семен Гаврилыч отказал ей во всяком пособии и прогнал. Тетя Агнеса возмутилась до глубины души.

– Ведь девочки-то не виноваты! – обращалась она к невидимому противнику. – Ведь его девочки?

– Конечно, его… – отвечала наивно Дарья Петровна. – Меня и то один адвокат подущает по закону с него требовать. Заставят, говорит, по закону платить, да еще сраму напринимается.

Мы с тетей Агнесой в качестве юристов обратились к закону. Действительно, адвокат был прав. Семена Гаврилыча заставят платить, несмотря на то, что он статский советник и хвастается какими-то влиятельными связями.

– Да, вы имеете право требовать с него по закону на воспитание детей, – объясняла тетя Агнеса тоном стряпчего. – Он обязан.

Но Дарья Петровна не решалась прибегнуть к закону. Рассердится Семен Гаврилыч, а теперь он все-таки вроде отца. Может, как-нибудь все само собой уладится.

Я предложила ей учить ее девочек. Старшей шел уже пятнадцатый год.

– Нет, уж какое нам ученье... – отказалась Дарья Петровна. – Вот еще годик подержу и куда-нибудь на место определю.

Как это мило – дочь Семена Гаврилыча будет горничной! А сколько таких Семенов Гаврилычей!.. Если бы я только подозревала всю эту правду жизни, когда выходила за него замуж!.. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait[1]! А тетя Агнеса возмущается другим.

– Вот у этой Егоровой есть права... да... У нее есть прежде всего личная свобода, и ей не нужно мыкаться по канцеляриям, добывая вид на жительство; потом, никто не имеет права отнять у нее ее детей, и наконец она имеет право требовать от отца на их содержание. Закон здесь говорит все ясно и опреде-

ленно... А жена... Ксения, ты все-таки не забывай, что ты... да...

Хлопоты с паспортом заняли много времени. Я живу сейчас по полицейским отсрочкам, как вещь, которая допускается к существованию только полицейскою милостью. Все-таки есть надежда на настоящий паспорт, как мне сказал один старичок-чиновник.

– Все на счастливого, сударыня, – добродушно объяснил он. – Хлопочите. В одном месте откажут – идите в другое.

И я иду в другое, и в третье, и в четвертое. Вся беда в том, что у меня нет сильной протекции, какого-нибудь влиятельного старичка. Кстати о чиновниках – они, положительно, милый народ. Вы подумайте только, сколько нужно самого ангельского терпения, чтобы растолковать каждой из нас одно и то же, смотреть на наши слезы, выслушивать одни и те же жалобы. И все-таки они остаются вежливыми и предупредительными и даже стараются делать сочувственные лица и говорят что-нибудь в утешение. Мы, выброшенные на улицу женщины, ищем здесь свою правду – вот к чему сводится все в кон-

це концов. Я уверена, что вот эти чужие люди, чиновники, жалеют нас от души, но что поделаешь, когда существует такая-то и такая статья в Своде Законов. Кстати, один молодой чиновник выказывает мне особенные знаки внимания, что сначала меня смущало и оскорбляло, а потом я как-то привыкла. Начало романа в канцелярии – совсем недурно. Неужели я еще могу нравиться? Я даже плакала по этому удобному случаю. Боже сохрани, если бы тетя Агнеса узнала об этом. Сейчас в канцелярии я себя чувствую как дома. Да и как не чувствовать, когда приходится ждать здесь целые часы, приходить за справками, надоедать. Меня уж знают и раскланиваются, как со своим человеком. Между прочим, я несколько раз заводила речь о детях, как мне их отобрать у мужа. На лицах моих милых чиновников выражалось такое изумление, точно я спрашивала их, как достать луну.

– Нет, это невозможно, сударыня.

– А если я буду хлопотать?

– Если будете и хлопотать. Без согласия отца нельзя…

– Он никогда не согласится.

Чиновники только разводили руками. Тетя Агнеса, когда сердится, то советует начать дело о разводе. Доказательства виновности у нас налицо, следовательно, мы можем выиграть дело. Но оказывается, что эти дела ведутся через посредство духовных консисторий, и тетя Агнеса ездила потихоньку от меня посоветоваться с каким-то членом консистории и пришла в ужас.

– Я не думаю, тетя, хлопотать о разводе, потому что не желаю позорить отца моих детей. Они ничего не должны знать.

Бедные мои дети... Я столько о них плакала, столько провела бессонных ночей в горьком раздумье, что они начинают казаться мне мертвыми. Да, я их хороню каждый день... Тетя Агнеса навещает их по субботам, в присутствии отца. Они знают только одно, что мама больна и лечится за границей. Маленькие уже начинают забывать, а первенец Андрюша иногда задает обескураживающие вопросы:

– Почему же у других детей есть мамы?.. Мама очень больна, если так долго лечится?

Дети счастливы своим святым неведением. Она скоро меня и совсем позабудут. Я для них останусь той фотографией, которая раньше висела в кабинете Семена Гаврилыча, а теперь перенесена в детскую. Я уже поступила в область теней… Острая форма горя уже миновала, и я боюсь той мертвой апатии, которая иногда мной овладевает, и мне делается все равно. В такие минуты я ухожу куда-нибудь на бульвар и по целым часам наблюдаю, как играют чужие дети. Я выросла сиротой под крылышком у тети Агнесы, и мои дети будут расти сиротами. Я не ужасаюсь, не волнуюсь, не плачу, а смотрю на себя со стороны, как Дарья Петровна. Вот уже минул год моего соломенного вдовства, а человек привыкает ко всему. Перед Рождеством я, как тень, бродила под окнами квартиры Семена Гаврилыча – он переехал на новую – и целый час наблюдала, как в окнах, точно на экране, двигались тени моих милых деток. Да, только тени – тень матери и тени детей.

Но у меня еще есть что-то вроде надежды. Я чего-то жду. А вдруг Семен Гаврилыч умрет? Он расположен к апоплексии. А вдруг про-

изойдет крушение того поезда, на котором он поедет? Тогда полная свобода, дети опять будут моими… Боже мой, до каких жестоких мыслей может довести жизнь! А если дети вырастут большими и будут на стороне преступного отца? И это может быть… Ведь из мальчиков вырастут мужчины, а мужчины умеют быть снисходительными друг к другу, особенно по щекотливым вопросам семейного счастья. Может быть, мне следовало бы отречься от себя, закрыть на все глаза и разыгрывать свою роль подставной жены до конца? Я начинаю ничего не понимать. Мысли путаются в голове. Простите, что я вам пишу все, это… Какое вам до меня дело?

К.

P. S. Опять чуть не попалась со своим письмом тете Агнесе… Меня эта опека начинает злить. Докуда же я буду на положение несовершеннолетней?

– Ксения, не забывай, что ты соломенная вдова, – наконец решилась выговорить роковое слово тетя Агнеса, когда увидела это письмо.

– Милая тетя, мне нечего помнить и нечего

забывать, – ответила я совершенно спокойно.

Перечитала это письмо и невольно сравнила его со своим девичьим письмом к вам. Неужели это я писала? Где же грезы юности? Где ее золотые сны?

VI
От него к ней
1

На днях, Ксения Аркадьевна, я совершенно случайно встретил вас на улице. Это было на Кузнецком Мосту, около пассажа Солодовникова. Я почему-то испугался, перебежал на другую сторону улицы, постоял у магазина с какими-то фотографиями и гравюрами, сделав вид, что внимательно их рассматриваю, а потом мне сделалось совестно, и я бросился вас догонять. Мне показалось, что вы пошли направо в гору, я поднялся туда – вас нет, спустился и взял налево к театральному училищу – тоже. Потом я себя проклинал и успокоился, только когда приехал обедать в «Славянский Базар», где уже меня ждали «наши», т. е. Миша Степанов, Китоврасов и Коко Ведерников. Я все время думал о вас, – судя по костюму, с вами что-то случилось: простень-

кое черное шерстяное платье, простенькая шубка, простенькая барашковая шапочка. Да, думал я, в конце концов, это, пожалуй, и хорошо, что мы не встретились. Что я вам мог сказать? На каком языке мы стали бы разговаривать?

– Что с тобой? Ты точно муху проглотил! – заметил Коко Ведерников, на обязанности которого быть проницательным и острить.

Я не удостоил его ответом, потому что с некоторого времени, всего лет десять, терпеть не могу эту юридическую обезьяну.

Через день я достал ваш адрес в адресном столе и хотел подкараулить где-нибудь на улице, как делают гимназисты, но, по некотором раздумье, оставил это намерение. Предпочитаю написать вам, и проще и ближе к цели. Кстати, вы получите вместе с этим письмом еще два – одно писано лет десять назад, а другое всего года три. Боже мой, как время идет, и как оно безжалостно поступает с нами! Приготовляясь идти к вам, я с особенным вниманием рассматривал свою особу в зеркало. На меня смотрел обрюзглый, немного опустившийся мужчина лет сорока, с крас-

новатым лицом, с подозрительным блеском в глазах и – увы! – с сединой в волосах. На последнее я раньше как-то на обращал внимания, а тут проговорил невольно вслух:

– Что, брат, старимся? Ух, нехорошо…

Почему нехорошо – вопрос. В сущности, даже лучше, потому что ближе к развязке. Знаете, любимой темой разговоров нашей компании служит мысль о смерти, которая рассматривается нами самым обстоятельным образом, со всех точек зрения. Поднимает ее всегда Коко Ведерников (у него вместо седых волос лысина – не знаю, что лучше), жаждущий бессмертия.

– Тебе-то для чего бессмертие? – удивляется каждый раз Степанов. – Ты столько плутовал в жизни, обманывал, обирал, устраивал подлоги, так что твой прямой расчет, чтобы бессмертия не существовало.

– Позвольте, господа, мы хотя и давно знакомы, по все-таки такие вещи можно только думать про себя, – возразил Коко Ведерников. – При такой откровенности может испортиться мой характер.

Мы ведем кочующий образ жизни, пред-

ставляя собой типичную кучку столичных номадов. Мы не искали друг друга, а сошлись как-то так, сами собой, точно нас столкнули вместе невидимые силы. Я пристал к этой маленькой орде последним. Наше кочевье занимает площадь от «Славянского Базара» до «Эрмитажа», с остановками в «Большом Московском» трактире и у Тестова. В известный час мы уже по молчаливому соглашению на известном посту и, вероятно, умрем на одной из таких кочевок, тоже на своем посту. Иногда для разнообразия мы делаем «набеги» куда-нибудь в глушь Москвы – в Замоскворечье, на Лубянку, в Грузины, причем Китоврасов объясняет значение таких перекочевок.

– Хорошо, господа, время от времени забраться в трактир с грязцой, где и луком воняет, и салфетки подадут времен первого тушинского вора, и у услужающих на рожах точно отпечатано этакое настоящее, родное, московское холопство и какая-то воровская оторопь. Так и пахнет на тебя Русью благочестивых московских царей, и сам себя начинаешь чувствовать истиннорусским человеком: здесь Илюшка Китоврасов, Сережка Мерку-

рьев да Мишка Степанов, нижайшие твои холопы, съели малость севрюжки, да яишенку, да кус расстегая, да испили кваску вдосталь и неумытую свою морду к салфетке приложили.

Археологическое остроумие Китоврасова довольно однообразно, но наш присяжный остряк Коко Ведерников ревнив и считает долгом спорить каждый раз.

– Что вы вышучиваете эту приказную московскую хиромантию? Вот и сейчас наука пришла к тому же: лучшим доказательством удостоверения личности служат гипсовые отпечатки рук преступников. То же и выходит, что «руку приложил».

– Интересно бы видеть слепок твоей руки, Коко…

– Пожалуйста, без комплиментов.

К этому кочевью, как я уже сказал, я примкнул последним, когда ушел от жены – вернее сказать, когда она наконец меня прогнала. Это был день моего освобождения, и я его праздную, как день своего второго рождения. Случилось это знаменательное событие довольно просто, как все великие исторические

события. Я уже писал вам, что Антоша Пугачев был у нас в доме дорогим гостем, и что Marie ухаживала за ним. Я не мог допустить мысли о возможности какого-нибудь увлечения с ее стороны и еще раз ошибся. Да, Marie увлеклась и уверила самое себя, что это истинная страсть и что до этого момента она еще не любила. Из моего первого письма вы узнаете печальную историю моих отношений к Ольге Николаевне, а здесь мне пришлось разыгрывать роль обманутого мужа. Заметьте, обманутую женщину жалеют, а над обманутым мужем смеются. Я переживал самые жгучие и гадкие чувства – только не ревности, потому что никогда не любил Marie, – и даже хотел стреляться с Пугачевым. Только этого и недоставало для полноты картины.

Как глупо мы сошлись, так же глупо и разошлись. Перед нашей разлукой произошел приблизительно такой диалог:

Я. Кажется, наступил момент, когда нам лучше всего разойтись…

Она. Что вы хотите этим сказать, г. осел?

Я. Не больше того, что сказал…

Она. Говорят люди, а ослы мычат…

Я. Можете оставить свое остроумие при себе. Оно может пригодиться для кого-нибудь другого... Нам, действительно, не о чем говорить. Вас я обеспечу, а себя освобожу от глупой, смешной роли...

Она. Да вы совсем умный ослик... ха-ха!.. Поздравляю... А я-то и не подозревала ничего, бедная. Как можно ошибиться в людях, т. е. в гг. ослах. Вы желаете наградить меня милостыней?

Я. Вы имеете право получать содержание от мужа по закону.

Она. По закону? Вот это мило... Как любезно со стороны этого закона предвидеть даже ослиную мудрость. А вы, ослик, жаждете этой подачкой купить себе свободу?

Я. Это уже дело мое, чего я жажду. Считаю дело конченным.

Она. Да, можете считать и убираться вон. Как осел, вы не понимаете самой простой вещи, что просто невежливо бросать жену, а нужно поставить, дело так, чтобы она вас прогнала. Понимаете? Нужно щадить самолюбие женщины, г. осел... Предоставляю вам право пролить даже слезу. Вы раньше были

просто осел, а теперь выгнанный осел.

Вот и все. Я ушел, в чем был, не взял с собой ни одной вещи. Мне каждая такая, вещь напоминала бы мое позорное прошлое и служила бы его немым свидетелем. Теперь в моем кабинете поселился Антоша Пугачев, чему я нисколько не завидую.

С Пугачевым мы иногда встречаемся в клубе или по кабакам. Сначала он сильно смущался и даже делал попытки прятаться, но потом привык. В нем трусость уживается рядом с нахальством. Теперь он уже не стесняется и даже рассказывает кое-что из своего семейного положения. Если ему верить, то Marie сделалась неузнаваемой. Он от нее в восторге. Что же, и слава Богу… Раз в клубе он передал мне записку. Читаю:

«Милостивый государь, считаю долгом напомнить вам, что это невежливо забывать жену. Жду нас вечером пить чай. Бывшая Marie».

В постскриптуме было прибавлено, что быть джентльменом обязательно, и что только купцы могут показывать вид, что жена их прогнала.

Я несколько времени не решался нанести этот оригинальный визит, а потом Пугачев сам меня затащил. Странное ощущение испытывал я, когда входил в свою бывшую квартиру. Если бы покойники могли делать с кладбища визиты, они, вероятно, испытывали бы нечто подобное... Мне даже сделалось жаль себя, жаль пережитых вот в этих стенах мук, жаль погибшей молодости, жаль себя такого, каким я был сейчас. Marie была изыскано вежлива и старалась меня занимать, как занимают дальних родственников, имя и отчество которых позабывают каждый раз самым добросовестным образом.

– Надеюсь, что вы будете у нас бывать? – говорила Marie на прощанье, по-дружески пожимая мне руку.

– Да, постараюсь – бормотал я.

Странная эта женщина, Marie...

2

Вас удивляет, может быть, что я так подробно описываю своих друзей, но ведь, описывая их, я описываю себя. Вероятно, поэтому мы так и ненавидим друг друга, что в другом заметнее собственные недостатки. Теперь пе-

рехожу к тому, с чего я начал, т. е. к бегству от вас и своему раздумью по этому поводу. Ведь на другой день я достал ваш адрес и хотел идти к вам. Мне мучительно хотелось вас видеть, чтобы сказать, что я все еще люблю вас, что всегда вас любил и что... Вот тут получился маленький скачок. Я почему-то убежден, что вы вышли замуж не любя, как выходит большинство девушек, и что теперь бросили мужа – я этого не знаю, но мне приятно именно так думать. Дальше я думал, что мы можем возобновить наше знакомство, и кто знает... Нет, это безумство, бред расстроенного воображения несчастного номада, галлюцинация! Когда я думаю о вас, мне начинает казаться, что я опять молод, что все еще впереди, что никакого прошлого не было. Мое воображение рисует тихий уголок где-нибудь в провинции (дальше, дальше от столиц!), и вы, как центр и душа этого уголка. Почему-то я вижу вас непременно в белом платье и с распущенными волосами – фантазия исключенного за неспособность из шестого класса гимназиста, – почему-то мне кажется, что вы страдаете, глубоко страдаете, и я ухаживаю за

вами, ловлю каждый взгляд и так чисто, так хорошо ухаживаю за вами, как за большим ребенком. Вам всего тридцать лет, у нас еще могут быть дети – нет, это я так, это нарушит гармонию, потому что супружество, даже в лучшем случае, вещь очень грубая, а я хочу вас любить совсем чисто, как никто еще и никого так не любил. Мне хочется поклоняться вам и этим путем примириться с чем-то, пред чем я смутно чувствую себя виноватым.

Выше уже я говорил, что в нашем кружке часто заходит речь о смерти. Но ведь физическая смерть совсем не страшна, потому что прекращает разом все. Нет человека, и кончено. В тысячу раз хуже, когда человек умирает нравственно, задолго до окончательного физического разрушения, и только кажется живым, как те деревья, у которых вместо сердцевины пустое дупло. Именно вот я такой живой мертвец, представитель целого легиона таких же мертвецов. Ведь я чему-то учился, куда-то стремился, в голове бродили кое-какие идеи – где все это? Осталось одно название: интеллигентный человек. Мы справляем свой университетский праздник, жертвуем

гроши на стипендии, говорим кислые слова по поводу просвещения – и все это ложь, даже бессознательная ложь, потому что убеждены в глубине души как в собственной интеллигентности, так и в том, что должны сочувствовать чему-то такому хорошему, что переживет и нас и наших детей. Ведь есть это «высокое», выражаясь терминологией сороковых годов. К собственной негодности и к собственным недостаткам по общечеловеческой слабости мы относимся снисходительно, а в качестве интеллигентных людей прибавляем про себя: да, мы могли быть лучше, мы не сделали ничего, но зато следующее поколение уже не повторит наших ошибок и довершит здание. Какая горькая ирония!.. Где они, эти горячие, вдохновенные, чистые, непоколебимые, каких я знал на первом курсе университета? Ведь удивительно, что лучше русского студента нет в целом свете, и действительно он хорош, а кончил университет – и нет его, точно он утонул. Посмотрите на пьяное немецкое студенчество, которое гордится своими царапинами, посмотрите на английское, которое считает идеалом хорошего гоночного

гребца – кажется, с нашей русской точки зрения, прямо пропащие люди, а смотришь, из такого немецкого рубаки и пьяного бурша вырастет целая ученая гора, политический или общественный деятель, и то же самое из английского студента-спортсмена. Мы даже не имеем права оправдывать себя независящими обстоятельствами, потому что такие независящие обстоятельства были у немца и у англичанина, да и посейчас такие существуют. Дело в чем-то другом: я не обвиняю никого, – Боже меня сохрани! – а говорю только о самом себе. Я не нахожу себе оправдания, что тем более обидно, что я чувствую, что мог бы быть хорошим человеком. Да, я окончательно не верю себе и вот почему не пошел к вам...

Да, я пришел бы к вам и не мог бы ничего вам сказать. Теперь вы, по крайней мере, не видите меня, и то уже хороню. Вот я пишу вам, что любил и люблю вас – все это ложь, ложь не потому, что я обманываю вас, а потому, что такие люди, как я, не могут любить. В мужчине любовь активное чувство, оно захватывает всего человека, в ней он проявляет все свои лучшие стороны, а что бы я вам при-

нес, что бы я вам сказал? В результате получилась бы лишняя му́ка и больше ничего. Когда я встречаю молоденьких девушек, мне вперед больно за них: им некого будет любить...

Недавно видел вас во сне, который являлся продолжением действительности. Я решился идти наконец к вам. Вхожу. Слышу вашу мягкую походку, сердце бьется, пред глазами круги. Вы уже вошли, а я не смею поднять глаз.

– Это вы, Сергей Васильич?

– Я...

– А я вас совсем не таким представляла... Как вы постарели и опустились, потом в вас есть что-то такое... Я не умею назвать...

Вы отошли от меня, чтобы получше рассмотреть, и проговорили с расстановкой, отчеканивая слова:

– И этого человека я любила... Боже, Боже мой! И такой человек мог испортить мне всю жизнь... Мне просто делается жаль себя. А вы еще нападаете на интеллигентную женщину... О, как мне обидно и больно за вас! Разве вы были такой, когда я вас любила? Нет, это не вы... Уходите!

Да, я виноват, что в Marie (вы прочтете об этом во втором письме) обобщил всех интеллигентных женщин, – это грубая ошибка, и как бы я был рад, если б ошибся также и относительно самого себя, т. е. что я совсем не представитель интеллигенции, а просто сорная трава, чертополох, черт знает, что такое...

* * *

Это письмо было прервано появлением Пугачева. Он вбежал ко мне бледный, перепуганный, с трясущимися от страха губами.

– Она отравилась... да... – бормотал он, бегая по комнате.

– Кто отравился? – не сообразил я в первую минуту.

– Она, Marie... И оставила записку: «Прошу в смерти моей никого не обвинять. Скучно. Мое последнее желание: украсить мой гроб орхидеями».

Признаться, меня тоже поразило это известие. Я не считал Marie способной на такую выходку. Пугачев продолжал волноваться. Я отпаивал его холодной водой, говорил какие-то слова, и мне казалось, что оба мы врем и оба мы не верим друг другу.

– Что же мы тут сидим? – спохватился Пугачев.

– А что же нужно делать, если все кончено?

– Ах, какой вы… Да ведь вы муж, т. е. перед законом! Там уж полиция и прочее. Я – простой квартирант… Все равно, вас вызовут к допросу. Идите же, ради Бога… Там что-то такое проделывают с имуществом… следователь…

Это была последняя ложь: фигурировать пред полицией в качестве мужа, т. е. я так думал, но худшее оказалось еще впереди: мне пришлось фигурировать в роли мужа главным образом на похоронах Marie… Целых три мучительных для! Но ведь смерть примиряет все… Я хоронил прежнюю Marie, ту неосуществившуюся Marie, которая была моей женой. Пугачев явился только в самый день похорон. Он не утерпел и разрыдался в церкви, так что меня кто-то спросил:

– Это, вероятно, близкий родственник?

– Да… – машинально ответил я.

Даже у могилы ложь не прекращалась. Наши общие знакомые знали, что я только об-

манутый муж, и считали своим долгом выказывать мне знаки внимания, как настоящему мужу.

Но довольно. Больше не могу писать. Теперь уже все кончено, и впереди ничего не остается. Будьте счастливы долго-долго…

Сергей Меркурьев.

P. S. Может быть, вы пожелаете меня видеть… Впрочем, это ни к чему не поведет. Еще раз: прощайте.

1897

Безделушка

I

Проглянули первые светлые мартовские дни, солнечные, теплые. Близилась весна с ее таинственной тревогой и еще более таинственным наплывом чувств. В газетах появились уже весенние бюллетени, с юга двигалась целая армия перелетных птиц, полиция оповестила господ домовладельцев об их обязанности очищать от снега крыши, дворы и самые улицы. С какой радостью прежде Вера Васильевна ждала этого момента и каждый раз чувствовала, точно она сама перерождается, и ей делалось безотчетно весело, потому что и солнце, и «выставляется первая рама», и веселые хлопоты с весенними костюмами, и еще более веселые разговоры о том, где «взять» весну, лето и осень. Вообще весело, радостно, как перед большим праздником. И как это хорошо все устроено: например, Великий пост – точно он только для того и установлен, чтобы Вера Васильевна отдохнула от зимнего сезона и собралась с силами, чтобы встретить весенний сезон. За зиму она поря-

дочно уставала, так что даже появлялась некрасивая синева под глазами. Да и как не устать, если только перебрать в уме все балы, спектакли и концерты, на которых Верочка должна была быть по обязанности, – она была здесь именно Верочкой, как ее называли все знакомые старушки и солидные мужчины, помнившие ее ребенком. С ней вместе веселились десятки других Верочек, Марусей, Шур и Таней. Это был настоящий цветник, если бы цветы умели так мило улыбаться, так мило болтать всякий милый вздор и смотреть на все и всех с такой милой серьезностью разодетой куколки. Верочка была как все – улыбалась, мило болтала и смотрела на всех наивными глазками.

Да, все это было, но три зимних сезона сделали свое дело, и в одно прекрасное утро Верочка почувствовала себя как будто лишней. Цветник продолжал существовать по-прежнему, причем выбывавшие куколки быстро заменялись свежими куколками. Даже получалось как будто некоторое перепроизводство куколок. Верочка отлично понимала, какая трагедия заключалась в этой кукольной

комедии и что ей пора уступить свое место более свежим куколкам. Другие куколки выходили замуж, а Верочка оставалась все на кукольном положении. За нею ухаживали, она выслушивала массу комплиментов, ей целовали ручки, а замуж выходили другие.

– Мы еще можем подождать, – говорила maman после первого неудачного сезона. – Ты еще так молода, а эти счастливые ранние браки редко кончаются добром.

Maman вышла за рара не первой молодости и говорила по личному опыту. Но после второго зимнего сезона она уже предпочла молчать. Ее обижало то предпочтение, которое отдавалось другим куколкам. Чем Верочка хуже других? Не красавица, но, кажется, ничем Бог не обидел. Одни глаза чего стоят, серые с поволокой. А рост – это тоже что-нибудь значит. Являлись и молодые люди с серьезными намерениями, вели себя, как следует вести в подобных случаях, а потом вдруг исчезали. Maman понимала причину такого коварства: за Верочкой не было солидного приданого, как за другими куколками. Maman жалела Верочку, которая не могла выдержать

соперничества с более счастливыми куколками. Верочка знала приблизительно, что настоящего приданого за ней нет, но считала это пустяками.

После неудачного третьего сезона maman начала говорить разные «ядовитости» по адресу счастливых куколок.

– Они думают, что это на них женятся, а выходит совсем другое… да. Нынешние женихи ищут солидного приданого, вот и все. Тут будь хоть раскрасавица и разумница…

Живой меркой в этом отношении являлся собственный сын Жоржик, который, не скрывая, мечтал о богатой невесте, когда еще был на втором курсе университета.

– Времена романтизма, maman, миновали, – авторитетно повторял он. – Кому теперь нужны эти томные девы? Все женщины походят одна на другую, как три капли воды, а все дело только в добавочной стоимости. Жизнь не знает иллюзий. Зачем же обманывать себя…

Жоржик, впрочем, показывался дома только дорогим гостем. Он проводил свое время на скачках, в кружке велосипедистов и меч-

тал сделаться атлетом. Maman тщательно скрывала от всех, что ей стоят все эти маленькие удовольствия, и с покорностью выплачивала добавочные стоимости разных категорий. Верочка презирала брата, потому что он являлся иногда пьяным и проводил время в обществе самых сомнительных женщин. Ее просто шокировало, когда она вынуждена была являться на скачках в сопровождении этого шалопая, у которого и знакомые были все шалопаи.

Да, наступала весна. Верочка стояла у окна и смотрела на улицу, где дворники убрали снег. Вот их дворник Семен с рыжей бородой лениво-лениво сгребал свою кучу, переговаривался с другими дворниками, курил папиросы, плевал на руки и был твердо убежден, что каторжнее работы нет. Вчера он скидывал снег с крыши, а сегодня его отвозили куда-то за город. В помощь Семену было нанято каких-то два мужика с лошадью – один старик в рваном полушубке, а другой молодой, белобрысый парень с каким-то застывшим лицом. У Верочки было органическое отвращение к этим низшим существам, которые

умеют только сгребать снег. Ей было даже обидно немого, что они тоже называются людьми. В будущем, конечно, их заметит машина, которая будет сама убирать снег, топить печи, закладывать лошадей и т. д. Верочка верила в прогресс, а прогресс ведет к тому, что все будет делать машина.

Впрочем, было одно существо, которое составляло в этом отношения исключение. Это была горничная Галя, простая девушка из Тверской губернии, еще сохранившая наивную простоту своей далекой тверской глуши. Она как-то всего боялась, верила в сны и дурные приметы и говорила каким-то необыкновенным простым языком, который нравился Верочке. Другой прислуге разговаривать не позволялось, и делалось исключение только для Гали, когда она раздевала барышню. В Гале было что-то такое особенное, необыкновенно бабье, и на все смотрела она по-бабьи, с какой-то затаенной бабьей жалостью. Звали ее Анной, по Верочка переделала это имя в Галю. Галя служила уже около десяти лет, служила исправно, и только по веснам на нее нападала какая-то необъяснимая тоска. Она без

всякой причины плакала, делалась угрюмой и вообще нервничала. Нервы у Гали – это было оригинально, и на эту тему иногда поднимались интересные разговоры, причем острила даже сдержанная maman. Нервное состояние Гали достигало тогда своей высшей степени, и она начинала грубить господам. Ей грозили отказать от места, прогнать, не дать аттестата и вообще уничтожить в окончательной форме.

Именно в таком настроении находилась Галя и сейчас. Когда мечтавшая у окна Вера Васильевна оглянулась, она увидела, что Галя тоже стоит у окна, смотрит на улицу и тоже мечтает. Конечно, это была дерзость и дерзость вызывающая.

– Галя, у вас, вероятно, голова болит? – сухо спросила девушка, меряя горничную уничтожающим взглядом.

– Нет, отчего ей болеть… – грубо ответила Галя, не выражая намерения уходить. – Так, вообще…

– Прошу не рассуждать… Вы слишком много себе позволяете, и я удивляюсь доброте maman, которая…

Фраза осталась неконченной. Галя смотрела на барышню и улыбалась самым нахальным образом. Это было чудовищно.

– Галя, вы забываетесь… Вон! – крикнула Вера Васильевна неожиданно для самой себя.

– Перестаньте вы, барышня… – совершенно спокойно ответила Галя и даже с сожалением покачала головой. – Ведь вы добрая, а гоните меня понапрасну… Ей-Богу! Я вот смотрю, как наши мужички убирают снег… Они не наши, то есть не нашей губернии, а только настоящие, значит, деревенские.

– Какое мне дело до ваших мужиков? Ты, кажется, совсем с ума сошла…

– Ах, барышня, барышня… Как есть вы ничего не понимаете…

Вера Васильевна затопала ногами и, схватив за плечо, вытолкнула Галю.

– Вон… вон!

Галя не сопротивлялась и покорно пошла из комнаты какой-то особенно спокойной походкой. В дверях она остановилась, оглянулась и опять покачала головой.

II

Верочкин день был испорчен. Она долго не

могла успокоиться после нанесенных Галей оскорблений. Идти и рассказать все maman она удержалась, потому что пришлось бы рассказывать и о том, как она топала ногами, кричала и в буквальном смысле вытолкала Галю по шеям. Ответ maman известен был ей вперед.

– Если прислуга грубит – виноваты сами господа, потому что не умеют себя держать. Сами фамильярничают, а потом начинают требовать. Нужно брать пример с англичан. Англичанин никогда по унизит себя до того, чтобы повысит голос в разговоре с прислугой... да.

А Вера Васильевна, совсем уж не по-английски кричала, топала ногами и – ужас! – толкала Галю в спину. Недоставало для полноты картины, чтобы Галя с ревом побежала к maman, кинулась в ноги и начала молить защиты от кулаков трехсезонной куколки. Получилась бы очень миленькая картинка с натуры...

К обеду возбужденное состояние Веры Васильевны улеглось настолько, что она могла рассуждать почти совсем спокойно. Под пер-

вым впечатлением она безусловно обвиняла во всем Галю, а потом у нее явилась более скромная мысль: именно, если бы она, Вера Васильевна, держала себя так, как держит maman, то ничего подобного, конечно, не могло бы быть. Конечно, обидно сознавать, что горничная вас не уважает, совсем не уважает, но, во-первых, большая разница между maman и Верой Васильевной: maman – хозяйка дома, а Вера Васильевна – просто барышня, выжидающая жениха; потом maman отличается опытностью, известным тактом, выдержкой характера и т. д. Рассуждая дальше, Вера Васильевна пришла к тому заключению, что Галя, собственно говоря, не имела ни малейшего желания ее оскорблять, а была вся поглощена какой-то своей бабьей мыслью, которую очень желала высказать, и не сумела этого сделать. Наконец, Галя проявила не только самую трогательную кротость, когда барышня гнала ее в шею, но еще отнеслась к своей гонительнице с обычной бабьей жалостью. Одним словом, получалось одно сплошное недоразумение.

Вера Васильевна под этим впечатлением

провела весь день и вечером отказалась от обычных услуг Гали, которая пришла ее, раздевать.

– Я разденусь сама, – говорила Вера Васильевна, стараясь не смотреть на горничную. – Можешь уходить...

Этот акт великодушия не произвел на Галю, по-видимому, никакого впечатления. Она как-то тупо посмотрела на барышню и вышла с равнодушным лицом.

Во сне Вера Васильевна видела повторение давешней сцены, с той разницей, что она уже таскала Галю за волосы, причем совершенно нечаянно оторвала ей голову. Она даже проснулась от охватившего ее ужаса. Боже мой, как легко сделаться преступницей... Да, настоящей преступницей: раз, и голова Гали отлетела, как плохо пришитая пуговица.

– Что же это такое? – возмущалась девушка. – Это наконец безобразие.

Потом у нее явилась обидная мысль, именно, что глупые и дикие сны характеризуют того, кто их видит, следовательно... Вера Васильевна почувствовала угрызения совести и за сон и за вчерашнее и сейчас же решила по-

править все. Во-первых, необходимо помириться с Галей. Да, это прежде всего. Это решение сразу успокоило девушку. В самом деле, не такая уж она скверная злючка, как может подумать о ней Галя. Вера Васильевна позвонила. Обыкновенно Галя на звонок являлась утром немедленно, на ходу вытирая рот по-деревенски рукой, – в это время она с кухаркой Аннушкой пила кофе в кухне. Но на этот раз Вере Васильевне приходилось позвонить еще раз. Галя не являлась. Третий звонок – Гали нет. Вера Васильевна начала сердиться, но вовремя вспомнила, что она должна быть доброй. Она сама оделась, т. е. накинула утренний теплый капот и надела туфли на босу ногу, – Вера Васильевна терпеть не могла сама надевать чулки, это была прямая обязанность Гали.

«Куда она могла запропаститься? – соображала девушка, не решаясь звонить в четвертый раз, – услышит maman и заявится с допросом: как? почему? и т. д. – Может быть, она сердится на меня? Да, да, наверно. Вот и отлично. Я сама пойду в кухню и при Аннушке скажу: „Галя, нехорошо сердиться. Я

немного виновата, но сердиться все-таки нехорошо...“»

Эта мысль очень понравилась Вере Васильевне, и она даже улыбнулась, проходя мимо зеркала, откуда на нее так мило посмотрело такое милое, заспанное девичье личико. Ей-Богу, ведь она бывает недурна, особенно по утрам. К ней так идут эти домашние небрежные костюмы, спутанные волосы, немного сонные глаза... Разве можно сердиться на такую хорошенькую девушку?

В кухню Вера Васильевна приходила очень редко, но какому-нибудь исключительному поводу и с большими предосторожностями. Maman раз и навсегда наложила свое veto на такие визиты, потому что в кухне можно было увидеть то, чего видеть воспитанной девушке совсем уж не полагается. Конечно, Галя себе ничего не позволяла, иначе не была бы допущена в комнату барышни, но кухарка Аннушка находилась на постоянном подозрении, главным образом в своем сочувствии к военному ведомству. Опасность по времени дня увеличивалась к вечеру, и тогда Вера Васильевна не решилась бы идти туда ни за что.

Утром кухня являлась до известной степени нейтральным местом, и Вера Васильевна шла туда без опасений.

В коридоре девушка остановилась у одной двери и прислушалась, – maman еще спала. Из кухни доносился легкий говор, и Вера Васильевна расслышала мужской голос. Вероятно, это говорил дворник. Когда она растворила дверь в кухню, ее представилась такая картина: у кухонного стола Аннушка угощала чаем какого-то старика, у двери на черную лестницу стоял другой мужик, совсем молодой, а Галя сидела на холодной плите, болтая ногами. Неожиданное появление барышни заставило всех встрепенуться: Галя виновато соскочила, пивший чай старик поднялся и схватил в руки шапку. Аннушка пролила целое блюдечко своего кофе. Остался спокойным только один молодой мужик, смотревший на барышню совершенно равнодушными глазами.

– Это… это что такое? – спросила Вера Васильевна, не зная, что ей следовало сказать.

Ответила Аннушка, сделав сердитое лицо:

– А вот чай пьем… Тоже живые люди.

Вера Васильевна повернулась и вышла. Она рассердилась. Желание мириться с Галей исчезло. Почему Аннушка ответила ей так грубо? Если бы узнала maman, как Аннушка и Галя ведут себя… Вере Васильевне даже захотелось плакать. Ведь она, право, добрая, а они все злые. Это и несправедливо и обидно.

Галя догнала ее в дверях ее комнаты и, запыхавшись, торопливо проговорила:

– Барышня, уж вы простите меня и Аннушку…

Вера Васильевна молчала.

– Ей-Богу, простите… Я слышала наши звонки, а только мне нельзя было уйти. И Аннушка не хотела вам совсем грубить… Видите, барышня, как тут дело вышло. Вот рассказать-то только я вам не умею.

– И не трудись.

– Ей-Богу, барышня, простите… Значит, мужики-то те самые, которые у нас снег убирают… Они, значит, дальние…

– Какое мне дело до твоих мужиков?

– Ах, барышня… Аннушка-то как давеча плакала… Вы знаете, какой у ней характер: змея подколодная. А тут сидит и плачет… То-

же ведь совестно… Она вам прямо призналась: «Живые, грит, люди»… да.

– Ничего я не хочу знать… Какие-то мужики, – они еще ограбят. Я недавно читала в газетах, вот точно такой же случай был. Кухарка и горничная подвели разбойников… Вообще я совсем не желаю слышать гадостей.

– Барышня, милая, не то и даже совсем наоборот… И как это хорошо рассказывал старик этот самый! И я ведь тоже грешным делом всплакнула… свое, кровное…

– Ничего не понимаю.

– Это их, мужиков, дворник Семен нанял… Ленивый он, – снег-то вовремя следовало убрать, а он до самой весны дотянул. Ну, а тут полиция как потребовала, он и нанял мужиков за себя работать. Плут большой наш Семен и больше всего любит, чтобы другие за него работали. Вот мужики-то работают, а старика кашель долит. Стуженый он. Ну, Аннушка и пожалела, стала его поить чаем. Все же тепленькое… Оно и легче кашлять… Старик-то все о бане тоскует. Ну, а какая тут баня… да… За чаем-то мы и разговорились, то есть старик Иван, а молодой-то Петруха все

молчит.

– Ничего по понимаю…

– Ах, барышня… Видите, какое дело-то вышло. Значит, как холера была, ну, сперва и умри старуха, значит, жена Ивана, а потом и молодайка у Петрухи тоже умерла… Ребеночек остался, его тетке отдали, ну, да Бог пожалел младенца – тоже помер. Куда он без матери-то… Ох, какое дело-то, барышня. Кажется, и не рассказать… Дом-то, сказывают, справный был: двух лошадей держали, корову, телочку выкармливали, ну и курей тоже и овец – все было. Непьющая была семья, правильная, а как бабы вымерли – все и рушилось. Какой же крестьянский дом без бабы? Это в городу еще приятнее, ежели мужчина холостой, а в деревне-то баба всякому делу голова. Вот они побились-побились, да все и порешили: что распродали, что так оставили, а сами в город на заработки.

– Отчего же они не женились?

– Старику-то какая там женитьба, а молодой-то, значит, Петруха… Ах, барышня, тоже ведь жаль молодайки! Сердце, грит, не лежит. Не остыл еще, значит.

– Все-таки не понимаю, Галя, о чем вы-то плакали?

– Ну, вот это самое и есть. Аннушка-то у нас, бесстыдная, давеча и говорит старику, значит, Ивану: «Сватайте у нас Галю, слышь. И приданое у ней, грит, и денег шестьдесят рублей в предохранительной кассе»... Вот ведь какая змея! Со стыда я сгорела от этих самых слов.

– Да ведь ты сама же сейчас хвалила этого Петруху?

– Ах, барышня, какие вы непонятные. Ну какая из меня выйдет баба, т. е. настоящая деревенская баба? Обмякла я на легких городских хлебах, вот первая причина. Деревенские-то бабы засмеют меня на первой полосе. Да и мысли у меня уж тоже не деревенские. В том роде, как вся порченая. На вид девка как девка, а настоящего-то уж ничего и нет, значит, сурьезного, деревенского. Вот это самое мне и обидно, барышня, что потеряла я себя окончательно, а Аннушка смеется. Вы не подумайте, что по-худому себя потеряла, а так вообще. Аннушке-то и завидно, что я совсем честная, вот она меня и срамит. И честная, да

никому ненужная…

Вера Васильевна с трудом начинала понимать то, что хотела высказать Галя. Пред ней открывалось что-то такое громадное и захватывающее, что Галя на своем языке называла «совестью». Выступали неведомые ей жгучие интересы, центром которых выступала самая простая деревенская баба. Да, она была нужна, вот эта простая баба, она творила какую-то неведомую куколке громадную жизнь. Ее, эту бабу, так хорошо «жалел» овдовевший Петруха, потому что он еще не потерял совести, как дворник Семен и другие городские мужики. И Галя это так красиво и тепло чувствовала, и Аннушка тоже, может быть, даже больше, чем Галя. Одним словом, тут выступала настоящая жизнь, яркая и полная глубокого смысла.

III

Вера Васильевна опять стояла у окна и смотрела на улицу. Падал мягкими белыми хлопьями ласковый весенний снежок. На голой сетке соседнего сада черными точками пестрели какие-то птицы, точно ноты неизвестной громадной пьесы, – недоставало

только взмаха палочки дирижера, чтобы эта таинственная музыка развернулась во всей своей напряженной красоте. Весенний концерт висел в самом воздухе…

По улице тянулись воза со снегом. Дворник Семен, как всегда, ничего не делал, но имел вид человека, которому дохнуть некогда. Старик Иван и молодой Петруха с тупой покорностью отрабатывали дворницкую работу. Вере Васильевне теперь они казались уже совсем другими людьми, и она напрасно старалась представить себе тех двух баб, которые унесли с собой счастье вот этих простых людей, и счастье и любовь. Да, там была настоящая любовь, и вот этот Петруха будет жалеть покойную жену тоже по-настоящему. Какое это хорошее русское слово: жалеть…

– А вот меня, куколку, никто жалеть не будет, – с тоской думала девушка. – Да. И никому я не нужна. Разве жалеют безделушку, которой только играют?

Куколке тоже хотелось плакать, так просто по-бабьи поплакать, как плакали в кухне Аннушка и Галя.

1898

Роковые дни

I

Положительно бывают такие дни, которые как-то располагают к семейным неприятностям. По крайней мере это верно для Петербурга. Еще проснувшись утром, Сергей Иваныч Лохов почувствовал как-то всем телом, что случится что-то неладное и случится именно сегодня. В окно его кабинета смотрел такой кислый осенний день. Стекла отпотели, и по ним струились капли холодного осеннего дождя, точно «слезы неутешной вдовы». В собственном смысле слова света не было, а в окно смотрело что-то мутно-серое, удручающее и безнадежное. В такие именно дни человек особенно склонен к несправедливости и нарочно придумывает разные неприятности.

Первой мыслью Лохова была жена. Что она? Как ее нервы? В каком расположении духа она проснется? Впрочем, последний вопрос является совершенно излишним, потому что было ясно само собой, что Валентина Яковлевна не могла проснуться в хорошем настроении.

По свойственной сильной половине человеческой слабости, Лохов инстинктивно старался выиграть время и одевался дольше обыкновенного. Он даже посмотрел на себя в старое дорожное зеркальце и нравоучительно заметил вслух:

– Эх, брат, Сергей Иваныч, как ты постарел за этот год... Ведь всего один год, братец ты мой! Нехорошо... Надо подтянуться.

Из зеркала на Лохова смотрело еще не старое лицо, ну, этак под пятьдесят, но осунувшееся, принявшее какой-то землистый оттенок и с какой-то затаенной тревогой в каждой черточке. У бродячих собак бывает такое выражение. Лохову больше всего не понравился лихорадочный блеск глаз, синева под глазами и предательская краснота носа. Боже мой, и это он, Лохов... Оглянувшись на дверь, он подошел к угловому шкапику и торопливо выпил рюмку коньяку, как привык делать под разными предлогами в последнее время. У него было столько неприятностей, забот и удручающих хлопот, что поневоле приходилось прибегать к искусственным мерам для восстановления нарушенного нравственного

равновесия. Впрочем, сейчас он не подыскивал для себя даже оправдания и заботился только об одном, чтобы ничего не заметила Валентина Яковлевна.

– Самовар подан, – довольно грубо доложила горничная, появившаяся в дверях кабинета без всяких предупреждений.

– Хорошо, хорошо... Валентина Яковлевна проснулась?

– Они одеваются...

Лохов ненавидел эту горничную Сашу, потому что чувствовал в каждом ее движении, что она его не уважает. И кабинет никогда не приберет, как следует, и платья не почистит по-настоящему, и вещи швыряет – одним словом, не уважает барина, а не уважает потому, что вся сила в барыне. Барин был последним человеком в доме, чем-то вроде подсудимого, которого председатель лишил даже последнего слова.

Обыкновенно Лохову приходилось дожидаться жены в столовой, когда она выйдет к чаю, а сегодня вышло наоборот. Валентина Яковлевна, одетая довольно небрежно, что еще больше ее старило, сидела уже за самова-

ром, когда он вошел в столовую. Она не ответила на его приветствие ни словом, ни движением, ни взглядом, а только брезгливо отвернулась. Ей было за пятьдесят, но она казалась старше благодаря брюзглой полноте. Не спасали и подкрашенные волосы и подведенные глаза. Лохов как-то съежился и занял свое хозяйское место на конце стола. Единственная надежда оставалась на то, что выйдет дочь Нюта, а при ней Валентина Яковлевна всегда сдерживалась. Сейчас после чая Лохов отправился бы «по делам» и вернулся бы домой только к обеду. Но по оставленной чашке Нюты отец видел, что дочь уже напилась чаю и ушла по своим делам. Она где-то и что-то слушала, чему-то училась и куда-то готовилась.

Лохов торопливо выпил свой стакан, закурил папиросу и поднялся.

– Вы опять пропадете на целый день? – спросила Валентина Яковлевна, делая кислую гримасу.

– То есть как пропаду? Кажется, Валечка, тебе хорошо известно, что я усиленно хлопочу… то есть стараюсь… вообще…

– О, несчастный!.. Боже мой, Боже мой, до чего я дожила... Вы вчера опять были у Доминика? От вас пахло за обедом водкой... Вы шляетесь по кабакам и разным притонам и называете это «хлопотать». До чего я дожила!..

– Валечка... то есть я, действительно, заходил к Доминику. На минутку... Там всегда много публики, и я надеялся встретить одного знакомого инженера... да... ну, и выпил рюмку водки и закусил кулебякой...

– Вы забыли только одно, что у вас есть взрослая дочь, и я не могла назвать вас настоящим именем. Да, я щадила ее сердце и душу... Она не должна подозревать той грязи, которая ее окружает под родительским кровом. Нюта только ростом большая, а в сущности это ребенок, настоящий ребенок... Она ничего еще не понимает, и я щажу ее девичью невинность.

– Валечка, ну, если хочешь, я виноват. Я больше не буду... то есть исправлюсь. А Нюту я люблю не меньше твоего...

– Довольно, довольно... Отправляйтесь по своим делам.

Лохов хотел еще оправдываться, но Валентина Яковлевна сделала рукой такой жест, как театральная королева, которая прекращает аудиенцию.

В передней Лохов сразу приободрился. Он сегодня очень дешево отделался и теперь радовался, как школьник, что может вырваться на улицу. Бывают такие счастливые семейные минуты… Спускаясь по лестнице, он даже что-то насвистывал, что очень изумило горничную Сашу.

«Чему обрадовался-то, старая мочалка? – думала она. – Тоже барин называется…»

Она сердито хлопнула дверью. Горничная Саша презирала своих господ, как настоящая петербургская прислуга. Разве это господа? Голь перекатная, рвань коричневая… Только-только тянутся со дня на день, а старуха все куски во рту считает, в кастрюли на кухне заглядывает, поднимает скандалы из-за каждой сдачи из мелочной лавки. Горничная слышала разговор господ за чаем и только улыбнулась, когда сама назвала дочь ребенком. Хорош ребенок, нечего сказать… В час ночи одна домой возвращается, записочки с

посыльным получает, перед зеркалом вертится, – одним словом, девица-скипидар.

– Саша, куда вы провалились? – послышался из столовой голос самой.

– Сейчас, барыня…

Валентина Яковлевна сорвала на горничной сердце и распекла ее за булки. Разве такие булки бывают? Это какой-то булыжник, а не булки.

– У вас, милая, совсем не то на уме… – закончила Валентина Яковлевна, делая трагический жест. – Вам нужно быть барыней, а не прислугой.

– Помилуйте, барыня, как я смею… Кажется, я стараюсь…

– Пожалуйста, без рассуждений… Вы знаете, что я этого не люблю…

Обругав горничную, Валентина Яковлевна обошла всю квартиру, обставленную с рыночной роскошью. Она ходила из комнаты в комнату и только качала головой. Боже мой, и это обстановка! Каждая вещь только не кричит, что она куплена на Апраксином, да еще в рассрочку. Ничего настоящего… Постороннего человека принять стыдно. А больше всего

возмутительно было то, что квартиру Лоховы нанимали на Петербургской стороне, в одной из глухих улиц, где даже собаки не бегали. Положим, что квартира сама по себе недурна, но один адрес чего стоит. Это был смертельный приговор для опытного глаза...

Раздумье Валентины Яковлевны было неожиданно нарушено городским письмом. Она узнала по почерку, от кого оно, и нетерпеливо разорвала конверт. На узкой визитной карточке размашистым почерком было написано всего несколько слов:

«Сегодня буду у вас. Только что вернулся из поездки. Ваш Мейчик».

Но этих строк было совершенно достаточно, чтобы взволновать Валентину Яковлевну до глубины души. О, она так страстно ждала этого дня, как другие ждут выздоровления от какой-нибудь тяжелой болезни. Одной из причин этой несчастной поездки в Петербург бил он, Мейчик, и вдруг целый год неудач, мытарств, хлопот и неприятностей, а его нет как нет. Мейчик за этот срок успел побывать два раза в Сибири, полгода жил в Париже, играл в Монте-Карло, съездил на выставку в

Америку, и везде у него были какие-то дела. Наконец-то он явился… Валентина Яковлевна перечитала записку несколько раз, точно не верила собственным глазам.

– О, Боже мой, наконец-то! – повторила она со слезами на глазах.

По женскому инстинкту она что-то хотела прибрать, переставить кое-где мебель, вообще приготовиться к встрече дорогого гостя, но потом махнула рукой и в изнеможении опустилась на диван. Что же, пусть он приезжает и собственными глазами полюбуется на их мещанское убожество…

II

Валентина Яковлевна волновалась целое утро и к завтраку не прикоснулась. Она все время прислушивалась и ждала звонка. О, он приедет, если обещал. Такие люди никогда не обманывают, и у таких людей, заваленных всевозможной работой, всегда найдется время для исполнения своих обещаний.

А время тянулось с убийственной медленностью. Что может быть хуже ожидания вообще?

Когда в передней раздался звонок, было

уже около пяти часов. Валентина Яковлевна не утерпела и вышла в переднюю. Но это был не Мейчик, а Сергей Иваныч, усталый, весь какой-то мокрый и с заискивающим выражением на лице, как он являлся в последнее время домой. Валентина Яковлевна брезгливо отвернулась.

– Валечка, я... то есть я познакомился с одним инженером... – как-то виновато бормотал Лохов, торопливо снимая верхнее, мокрое от дождя пальто. – Представь себе, еду на конке...

– О, довольно, довольно!.. – как-то застонала Валентина Яковлевна, ломая руки.

Семейная сцена все-таки разыгралась, потому что Валентина Яковлевна была в возбужденном настроении. Это случилось за обедом, когда Саша подала скверный суп. Безответный и всегда виноватый Лохов вдруг вспылил. Он выскочил из-за стола, забегал по комнате и каким-то захлебывающимся голосом начал выкрикивать:

– Наконец это невозможно, Валентина Яковлевна... да! Ведь я – человек, живое существо, у меня есть душа. Понимаете, Валентина

Яковлевна: душа. Да-с, душа… А позвольте вас спросить, почему я должен влачить самое жалкое существование? Из-за вас, Валентина Яковлевна… Вы испортили мне всю жизнь, Валентина Яковлевна… Из-за вас я потерял три места, из-за вас притащился в Петербург, из-за вас…

Немного ошеломленная в первый момент этим взрывом ничем не мотивированной энергии, Валентина Яковлевна с удивлением смотрела на мужа, но потом быстро оправилась. Она сразу взяла тоном выше.

– И *вы* это мне говорите, Сергей Иваныч?!. Вы смеете это говорить?!. Вы?!. Нет, это *вы* мне испортили всю жизнь. Я удивляюсь только одному, где у меня тогда были глаза, когда я выходила замуж…

– Трудно поправимая ошибка, Валентина Яковлевна… Об этом следовало подумать ровно двадцать лет тому назад.

– И он же еще смеется надо мной, несчастный человек?!. Так знайте же, я сейчас ездила бы в собственной коляске, у меня была бы собственная дача в Павловске, если бы… если бы…

– Если бы вы тогда вышли замуж не за меня, а за Мейчика? Остроумная, но немного запоздавшая комбинация…

– Молчите, ради Бога молчите! Что я такое сейчас? Я вам доставила всеми правдами и неправдами три места, и вы не сумели удержаться ни на одном из них. Потому что вы ничтожный человек, Сергей Иваныч, тряпка, мое несчастие… Последнее место управляющего винокуренным заводом чем было плохо, позвольте вас спросить? Четыре тысячи жалованья, готовая квартира, побочные доходы, наконец…

– А вы подумали о том, что я не могу продавать свою душу чёрту?

– У вас? Душа? Ха-ха… И он еще говорит… Вам нужно сейчас думать не о том, чего у вас нет и не было, а о том, что, к несчастию, есть: у нас есть дочь, Сергей Иваныч… да. Мы должны теперь позаботиться о судьбе этого несчастного ребенка…

Напоминание о дочери было каплей холодной воды, как всегда. Лохов заговорил совсем другим тоном.

– А разве я не забочусь о ней, Валечка? Вот

уже целый год как я обыскиваю весь Петербург, точно следователь по особо важным делам. Кажется, нет такой щели, нет такой мышиной норы, где бы я не побывал... И все без толку.

– А как же другие живут? Имеют хорошие квартиры, большие оклады жалованья, общественное положение... Другие, значит, умеют устроиться, а у вас, мой милый, просто нет толку, и в этом решительно никто не виноват.

– Валечка, пожалуйста, не говори мне об этих других, которые захватили до меня, кажется, решительно все на свете, а Петербург в особенности. Все занято, везде свои кандидаты, и на тебя смотрят, как на сумасшедшего... А сколько самого подлого унижения, когда приходится обращаться к разным влиятельным лицам? Одни швейцары чего стоят...

– Швейцары – опытный народ и определяют нас, глупых, провинциалов, по первому взгляду.

– Почему же какой-нибудь хам знает, кто я такой и зачем я пришел? Ведь на мне не написано, что я ищу места, как отравленная

крыса ищет воды…

– Повторяю: никто не виноват, что мы глупы… Да, все мы, провинциалы, неизлечимо глупы: потеряем место в провинции и летим в Петербург искать новое, а здесь никто его для нас и не думал приготовлять. Кажется, просто и ясно?

– А другие-то, Валечка? Ведь они как-то устроились же? Да… Нужно иметь терпение, Валечка… да… Будет время, и мы устроимся не хуже этих других… Да, терпение и терпение…

Лохов подошел к жене и хотел ее обнять, но она брезгливо отстранила его рукой.

– Сергей Иваныч, от вас опять разит водкой? Вы опять пьяны? Господи, до чего я дожила…

– Валечка, я, действительно, заходил опять к Доминику, – виновато забормотал Лохов. – Как-то легче на людях… Смотришь на всех и думаешь: ведь вот люди и одеты прилично, значит, у каждого есть свое место… да…

– Вы мне гадки… отвратительны! – стонала Валентина Яковлевна, ломая руки. – И это отец семейства…

Эта жалкая семейная сцена походила на тысячи других таких же сцен, какие разыгрываются в тысячах других семей, и под влиянием специального раздражения обещала закончиться обычным финалом, т. е. Валентина Яковлевна трагически умолкала и начинала собираться уезжать из дому «навсегда». Это было сигналом, что Сергей Иваныч должен был просить прощения, унижаться и брать на себя все вины настоящего, прошедшего и будущего. На этот раз, однако, дело обошлось и без такого финала, потому что в передней послышался звонок. Валентина Яковлевна сделала движение, чтобы убежать в свою комнату, но это был опять не Мейчик, а дочь. Она вошла в столовую легкой, уверенной походкой и, снимая на ходу перчатки, коротко спросила:

– Чернолесов был?..

– Гм... Кажется, нет, – ответил Лохов.

Девушка была высокого роста, с некрасивым, но пикантным лицом. Светло-русые волосы небрежно выбивались на лоб сбившимися прядями и частью прикрывали маленькие розовые уши, образуя живую рамку. Всего

лучше были темные, серые глаза, глядевшие с скрытой дерзостью. Серое осеннее платье облегало высокую фигуру, как перчатка. Вообще девушка не походила на дочь несчастных родителей.

– Нюта, какой тон! – укоризненно заметила Валентина Яковлевна.

Девушка как-то строго посмотрела на отца и на мать, потом на остывший суп, и строго проговорила:

– Опять разыгрывалась приятная семейная сцена? По всему вижу, что ссорились…

– Нюта, как ты говоришь? – вступилась Валентина Яковлевна, напрасно стараясь придать голосу авторитетную строгость. – Разве можно так держать себя с отцом и матерью? Ты еще девушка и не должна даже подозревать о существовании таких вещей, о которых могут говорить между собой большие.

– А вы, maman, не можете обойтись без жалких слов? – небрежно ответила девушка, снимая шляпу.

– По-твоему, отец и мать только жалкие слова? – обиделась Валентина Яковлевна. – Несчастная, что тебя ожидает в будущем? Сер-

гей Иваныч, вот плоды вашего воспитания. Полюбуйтесь… Будь у Нюты другой отец, разве она позволила бы себе говорить так с матерью?

– Валечка, что же я… то есть я тут ничего не понимаю.

– И я тоже, папа… Ну, довольно, maman. Право, нехорошо ссориться с ближними, а кроме того – я страшно проголодалась.

Это была маленькая военная хитрость, чтобы прекратить неприятную сцену. Питать дочь было слабостью Валентины Яковлевны, и она бросилась сама ставить прибор. Лохов сразу повеселел и приободрился. Попробовав ложку холодного супа, девушка сделала гримасу и проговорила:

– Разве можно так долго ссориться?

– Можно подогреть суп, Нюта…

– Нет, не нужно. Что у нас на второе.

Валентина Яковлевна позвонила и, не садясь, говорила:

– Твои милый рара, Нюта, не может сойтись характером с швейцарами – в этом все наше несчастие…

– Валечка, всему есть границы…

– Бедный папа, у тебя сегодня нехороший вид, – с участием проговорила девушка, делая вид, что не расслышала ядовитого замечания матери. – Мы больны? Мы хандрим?

– Да, то есть нет… вообще ничего особенного.

Лохов как-то терялся и даже краснел от каждого ласкового слова дочери.

III

Это демонстративное внимание к отцу было последней каплей, переполнившей чашу терпения. Валентина Яковлевна заговорила каким-то придавленным голосом, каким говорят провинциальные трагические актрисы:

– Нюта, ты ничего не понимаешь… да. Да, бедная моя девочка… Наших средств едва хватит до весны, а потом мы очутимся на улице… Вот этот человек (трагический жест в сторону Сергея Иваныча) погубит и тебя, как погубил меня… Он целый год без всякого толка мыкается по Петербургу, мы доедаем последние крохи, и впереди ничего. Да, ничего… Тогда как стоило только обратиться к Мейчику… Да, к Мейчику!.. Одного слова Леонида Павлыча достаточно, всего одного слова, что-

бы мы устроились не хуже других. Этот человек может сделать все...

Сергей Иваныч покраснел, стукнул по столу кулаком и проговорил самым вызывающим тоном:

– Все, что угодно, но я к Мейчику не пойду!.. Да-с, не пойду...

Валентина Яковлевна была поражена не самым ответом, а дерзостью его тона. Она что-то хотела сказать, но дочь ее предупредила. Она подошла к отцу, поцеловала его в лоб и ответила в его тон:

– Браво, папа!.. Мы с тобой к Мейчику не пойдем. Молодец папа, дай я тебя еще раз поцелую. Проживем и без Мейчика...

– Хорошая моя... дочь моя... – шептал Сергей Иваныч, растроганный этим вниманием до слез.

Целуя отца, девушка проговорила вполголоса, но настолько громко, чтобы мать могла слышать:

– А у меня для тебя, папа, есть маленький секрет... Совсем ма-а-ленький!..

Последние слова девушка проговорила с детской шепелявостью, как говорила, когда

еще ребенком ласкалась к отцу.

– А теперь папочка пойдет отдохнуть после обеда… да? – прибавила она шутливо. – Папочка устал…

Серией Иваныч уже начинал падать духом, ожидая бури, но дочь с чисто-женской ловкостью спасла его. Буря, конечно, будет, но лучше уж пусть будет завтра, а только не сегодня. На сегодняшний день совершенно достаточно…

– Да, мне, действительно, нужно отдохнуть, а вечером опять придется идти по делам…

Когда Сергей Иваныч вышел, в столовой царило несколько времени самое мучительное молчание. На лице Валентины Яковлевны выступили красные пятна, а руки лихорадочно комкали салфетку.

– Что это у вас за секреты, сударыня? – проговорила она наконец, напрасно стараясь придать голосу спокойствие. – Ты не понимаешь, что такое твой отец… Это сумасшедший, это несчастие всей нашей жизни.

– Мама, напрасно ты говоришь мне все это, – спокойно ответила девушка. – Ведь я не

должна и подозревать того, что иногда волнует больших. А затем, как мне кажется, ты просто изводишь отца... Он такой жалкий и несчастный...

– И ты против меня? Вот награда за все мои заботы и хлопоты о тебе... Ты, Нюта, тип современной дочери, бесчувственной и неблагодарной. У тебя совершенно нет сердца... Но я знаю гораздо больше, чем ты предполагаешь. У матери есть свой инстинкт... да.

– А вы подумали, мама, каково живется на свете вот этой неблагодарной современной дочери? Может быть, она не знает даже, куда ей бежать от радостей семейной жизни? Сегодня как вчера, вчера как сегодня... Поймите, что я никого не обвиняю, но ведь я все-таки я и не могу не чувствовать некоторых вещей. Идешь домой, как в берлогу, где самый воздух насыщен какими-то хищническими инстинктами... В моем возрасте девушки тоже кое-что понимают, и у них развиваются свои инстинкты, свое чутье... Разве я не понимаю, что наше положение отчаянное? Даже очень хорошо понимаю. Это со всяким может быть, мама. Но из этого не следует, что из дома нуж-

но делать ад. Ты будешь во всем обвинять папу, он будет обвинять во всем тебя, а я буду обвинять во всем обоих вас... Очень милая живая картинка. Мама, ведь так жить нельзя...

«Какая она умная... Боже, какая умная! – с восторгом думала Валентина Яковлевна, слушая этот монолог. – И как она права, моя крошка... Если бы такой девушке хорошее приданое и более определенное общественное положение...»

Но эти материнские восторга были погашены всего одной фразой умной дочери.

– Мама, Чернолесов не был?

– Да нет же, Нюта... Я уже говорила тебе. Какая ты рассеянная! Вчера он прибегал дна раза и не застал тебя.

– Почему прибегал?

– А если такой вид у человека? Я не виновата... Глаза блуждающие, задыхается... «Анна Сергеевна дома?» Я уж не говорю о вежливости... Впрочем, я уже привыкла, что в этом доме на меня обращают столько же внимания, сколько дают его заблудившейся кошке...

– Мама, опять жалкие слова?

– Ну, не буду… Вы все против меня.

Валентина Яковлевна готова была расплакаться, но этот душевный порыв вовремя был остановлен письмом от Мейчика.

– Посыльный ждет, – докладывала Саша.

Пробежав записку, в которой Мейчик извещал, что приедет вечером, Валентина Яковлевна ответила:

– Скажи, что хорошо.

Сделав большую паузу, она прибавила:

– Как видишь, у меня тоже есть свои секреты, Нюта…

– А я знаю, от кого записка… От Мейчика. Он здесь уже недели две, и я его видела издали… в театре.

– Отчего же ты мне ничего не сказала, Нюта?

– Забыла, мама… Кстати, мне его тоже нужно видеть и поблагодарить за одно маленькое одолжение.

– Пожалуйста, только без дерзостей… Ты вообще всегда как-то странно держала себя с ним. Я понимаю, что есть люди, которые нам не нравятся, но это еще не значит, что мы должны быть с ними дерзкими.

Девушка только взглянула на мать и ничего не ответила. Валентина Яковлевна вдруг смутилась и почувствовала, что опять начинает краснеть. Наступила неловкая пауза. Валентина Яковлевна вовремя вспомнила о давешней выходке мужа и сразу оправилась. О, он дорого заплатит ей за эти дерзости...

– Мама, у меня что-то голова болит... – предупредила девушка, предчувствуя взрыв материнской энергии.

Через пять минуть девушка сидела у себя в комнате за письменным столиком и торопливо писала. Но эта работа подвигалась плохо. Первое письмо начиналось так: «Милый Володя, мне кажется, что нам лучше объясниться письменно, хотя я и знаю твое отвращение к женским письмам»... Перечитав эти строки, девушка только пожала плечами, разорвала письмо и бросила его в корзинку. «Милый Володя» – так может написать горничная Саша. Следующее письмо начиналось так: «Дорогой друг»... – опять не то. Можно подумать, что пишет какая-то огорченная дама. Только в третьей редакции письмо получило утверждение.

«Милостивый государь Владимир Федорович! Я знаю ваше отвращение к женским письмам, но все-таки пишу… В личные объяснения вносится много совсем ненужной энергии, а на бумаге можно высказаться спокойнее, логичнее и безобиднее. Итак, мои корабли сожжены: я поступаю на сцену. Знаю ваше мнение по этому вопросу, но не смущаюсь. В жизни необходимо поступать решительно. Не скрою, что мне и тяжело и грустно. Так и должно быть… В душе каждой женщины живет неискоренимое тяготение к своему углу, к своему гнезду, и это скромное желание иллюстрируется в девичьей душе радужными картинами тихого семейного счастья. Всякое счастье именно должно быть тихое… Впрочем, так мечтали и жили наши бабушки, а на долю внучек выпадает только тревожное счастье. Вы понимаете, что я хочу этим сказать, и поймете также, что я никого не хочу винить. К чему иллюзии, несбыточные мечты, сладкие девичьи грезы – все это, увы! принадлежит к области бутафорских принадлежностей и даже не заслуживает снисхождения. На жизнь нужно смотреть трезвыми глаза-

ми... Из этих посылок и предварительных размышлений на общую тему, как вы догадываетесь, ничего хорошего не предвидится. Имейте терпение дочитать это письмо до конца...»

На этом пункте письмо остановилось. Анна Сергеевна прошлась несколько раз по комнате, а потом улеглась на кушетку. Она смотрела в потолок и думала о самых обидных вещах. Разве все, что было в душе, можно было описать? Да ведь для этого пришлось бы написать целую библиотеку...

– И все-таки я баба, кислая баба... дрань... – шептала девушка, ломая руки. – Кому нужны наши бабьи стоны?.. Ах, как все глупо... И нисколько даже не чувствительно. Баба, баба, баба, проклятая, плаксивая баба...

Ей ужасно хотелось плакать, но она припомнила жалкие сцены между отцом и матерью, когда мать плакала такими фальшивыми и никому ненужными слезами, и удержалась. Нет, не нужно слез...

IV

Утро следующего дня вся семья провела дома, что возмущало Валентину Яковлевну. Она

понимала, что дочь ждет своего Чернолесова, как сама ждала Мейчика. Это была самая обидная конкуренция между матерью и дочерью, и обе оглядывали друг друга с враждебным любопытством совершенно незнакомых женщин. Каждая думала о том, зачем торчит здесь другая. Обыкновенно Анна Сергеевна исчезала из дома с утра, а тут торчит, как пришитая. Мать заметила, что сегодня костюм дочери, несмотря на обычную небрежность, устроен с расчетом, и даже появилась на шее бархатная ленточка с медальоном; дочь заметила, что мать оделась с особенным вниманием и подвела глаза. Не замечал ничего один Сергей Иванович, счастливый тем, что его вчерашняя выходка обошлась так дешево. В присутствии дочери Валентина Яковлевна не смела устраивать сцен, и поэтому он не уходил «по делам».

– Ты это что же сидишь дома? – заметила вскользь Валентина Яковлевна.

– Я? А я отправлюсь после завтрака, Валечка...

Анна Сергеевна не была сегодня так ласкова с отцом, как вчера, и это его смущало. Он

не подозревал, что дочь тоже была бы рада, если бы он ушел, хотя и молчала об этом.

«Боже мой, этот человек до сих пор не выучился даже уходить и приходить вовремя! – думала Валентина Яковлевна, сдерживая накопившийся гнев. – Торчит, как чучело гороховое...»

Сергей Иванович ждал обещанного вчера секрета, но Анна Сергеевна ничего не отвечала на его немые вопросы.

Так время протянулось до самого завтрака. Тревога ожидавших женщин росла с каждой минутой, и обе чутко прислушивались к каждому шороху.

– Мама, кажется, звонок? – раза два спрашивала Анна Сергеевна.

– Тебе это кажется, Нюта... Это Саша гремит посудой.

Завтрак прошел в самом мучительном ожидании. Мать и дочь торопились поскорее кончить эту глупую церемонию, чтобы выпроводить Сергея Ивановича, и обе взбунтовались, когда он после завтрака запросил чаю.

– Можешь у Доминика выпить свой чай, –

посоветовала Валентина Яковлевна. – Сегодня Саша чистит самовар…

Наконец Сергеи Иванович начал собираться, но у него не хватило набитых папирос. Последнее лежало на обязанности горничной, но она забыла, по обыкновению.

– Я тебе сама наделаю, папа, – нашлась Анна Сергеевна.

Получилась самая трогательная картина, когда мать и дочь вперегонку принялись набивать папиросы. С Валентиной Яковлевной это случилось, кажется, еще в первый раз, как она вышла замуж. Сергей Иваныч был растроган таким вниманием до глубины души.

– Ну, теперь я того… пойду… – говорил он, накладывая папирос в портсигар. – Мне собственно ненадолго…

Дамы не возражали, Анна Сергеевна даже отыскала отцу палку.

Спускаясь по лестнице, Сергеи Иваныч еще раз крикнул:

– А я того… скоро вернусь…

Когда он ушел наконец, мать и дочь посмотрели друг на друга с затаенной ненавистью, точно две соперницы. Было ясно, что ни

та, ни другая не желает уходить. Но они не успели разойтись по своим комнатам, как раздался наконец давно ожидаемый звонок. Это был Мейчик, высокий, еще не старый мужчина, с преждевременно поседевшими волосами и умными темно-серыми глазами. Одевался он изысканно и выглядел моложе своих лет.

– Мой привет, mesdames… – заговорил Мейчик, целуя руку Валентины Яковлевны и раскланиваясь с Анной Сергеевной издали. – Я вчера не мог быть у вас, Валентина Яковлевна, потому что… потому что задержало совершенно неожиданное дело.

Голос Мейчика сохранил свою свежесть, но он говорил, как иностранцы, которые долго жили в России.

– Ах, да… – спохватился он, усаживался, в гостиной на кресло. – У подъезда я встретил Сергея Иваныча. Он, кажется, не узнал меня…

– Муж немного близорук, – равнодушно ответила Валентина Яковлевна и прибавила уже другим тоном: – Как это вы наконец вспомнили про нас, Леонид Павлович?

– Я уезжал, Валентина Яковлевна, а затем

просто не знал, что вы здесь.

Анна Сергеевна стояла за стулом матери и молча наблюдала интересного гостя. Когда мать начала извиняться за свою обстановку и объяснять, что все это пока, пока Сергей Иваныч устроится, она довольно сухо заметила:

– Мама, ведь не обязательно, чтобы мы жили во дворце.

– А вы строги по-прежнему, Анна Сергеевна? – ответил Мейчик, делая вид, что не замечает сухости тона.

– Уж какая есть, Леонид Павлович... Решительно не понимаю, в чем извиняется мама. Каждый живет по своим средствам...

– Еще раз согласен с вами, – проговорил Мейчик с прежней невозмутимостью. – Кстати, я слышал о ваших успехах... да...

– Что касается меня, так я против таких успехов, – строго заметила Валентина Яковлевна. – Да, против...

– Мама не доверяет, что ее дочь великая артистка... в будущем, – иронически ответила Анна Сергеевна. – Это вечная история с неблагодарными современниками... Кстати, Леонид Павлович, я у вас в долгу: это вы мне по-

слали букет на последнем любительском спектакле?

– Нет…

– А если я знаю, что вы?

– Могу вас уверить, Анна Сергеевна…

– Хорошо, я постараюсь поверить вам, но попрошу избавить мою доверчивость от второго искушения.

– Клянусь вам, что это не я!

– Я уже сказала, что верю вам…

Чтобы досадить матери, Анна Сергеевна нарочно не уходила из комнаты. Она точно хотела за что-то отомстить, не матери и не гостю, а кому-то третьему, который был виноват в чем-то неизвестном. Поведение дочери волновало Валентину Яковлевну, и она старалась не смотреть на нее…

Чтобы выжить Анну Сергеевну, Мейчик принялся рассказывать о своих путешествиях в удручающе-скучном тоне. Он описывал красоту итальянских озер, кратер Везувия, легкое землетрясение в Кадиксе, весенние скачки в Париже, Ниагарский водопад, выставку в Чикаго, норвежские фиорды, венецианские лагуны, Босфор и т. д. Он нарочно подбирал вы-

ражения из учебников географии и разных путеводителей. Валентина Яковлевна кусала губы, чтобы не расхохотаться. О, как он всегда был умен и находчив…

Анна Сергеевна тоже понимала эту комедию и выдерживала характер. Она делала вид, что ужасно интересуется всем этим, и задавала нелепые вопросы, как маленькие дети.

– А козы есть в Америке?

– То есть как козы?

– Ну, обыкновенные козы…

– Гм… Конечно, есть. Я даже, кажется, видел…

– Нюта, какие глупые вопросы ты делаешь, – вступилась Валентина Яковлевна, попавшая между двух огней.

– А если, мама, мне интересно знать? Мне кто-то рассказывал, или я где-то читала, что на острове Майорке есть женщины с совершенно зелеными глазами, как у кошек, и что вечером они даже светятся, как у кошек… Вы, наверно, были там, Леонид Павлович?

– На Майорке, к сожалению, я не был, – совершенно серьезно ответил Ментик. – Да если

бы и был, то, наверное, ничего бы не заметил, потому что меньше всего интересуюсь женщинами… Мое время прошло, Анна Сергеевна, и приходится вежливо уступать место другим. Это в порядке вещей…

Это был маленький турнир. Подурачившись вдоволь, Анна Сергеевна наконец ушла. Мейчик проводил ее глазами до дверей и задумчиво проговорил:

– А девица меня не любит… И это чувство все сильней, при каждой новой встрече.

– Просто дурачится, – холодно ответила Валентина Яковлевна. – В этом возрасте у девушек являются разные причуды…

– А знаете, она мне страшно нравится… В ней есть что-то такое особенное. Колоритный темперамент…

– Вы это о ком? Ах да, о Нюте… Я ее не понимаю, говоря откровенно.

Валентина Яковлевна постаралась замять разговор о дочери и позвонила. Горничная Саша узнала, что нужно приготовить кофе.

V

Мейчик любил кофе, но никто так не умел его приготовить, как Валентина Яковлевна.

Это было настоящее священнодействие. И сейчас он сидел в столовой и наблюдал, как двадцать лет тому назад, за каждым ее движением. У него что-то защемило на душе… О, если бы можно было вернуть прошлое с его сладким безумием, грезами и дерзкими надеждами! А сейчас от жизни оставался только горький и мутный осадок, как на дне чашки от лучшего кофе.

– Да, я люблю Анну Сергеевну, как, вероятно, любил бы родную дочь, – думал вслух Мейчик, делая маленькие глотки. – В ней я иногда точно вижу лучшую, исправленную часть самого себе… А эта молодая дерзость – прелесть. Вся прелесть… Да, это темное органическое чувство заменяет нам прожитую молодость…

– Тсс!.. Ради Бога, тише! *Это* должно умереть вместе с нами. В тот день, когда Нюта узнает, чья она дочь, – она навсегда отвернется и от вас, и от меня. Поверьте, что я немножко знаю ее натуру, и вы ее не разжалобите своей сентиментальностью. Мне иногда даже кажется, как будто она начинает догадываться… Не далее, как вчера… Но, во вся-

ком случае, она ни в чем не виновата, и наша обязанность щадить ее неведение.

– Да, да... Но я все-таки не понимаю, Валентина Яковлевна, за что она так упорно ненавидит меня?

– О, это наследственная ненависть, которую она всосала с молоком матери... Ах, это ужасное чувство, Леонид Павлович!..

Она сделала паузу и прибавила:

– Знаете, мне иногда делается даже жаль мужа... Он так быстро опускается... Человек, которого я когда-то хотела отравить... Да, в моем возрасте сожаление является синонимом любви...

Мейчик холодно улыбнулся, сделал несколько шагов по комнате и ответил:

– Любовь к мужу? Что же, время еще не потеряно, Валентина Яковлевна...

– Да, да... Я жалею его и обвиняю во всем только одну себя. Вы когда-нибудь испытывали чувство раскаяния? О, нет, все это вам недоступно... И моя любовь к мужу только особая форма ненависти к вам. А вы еще являетесь сюда с видом доброго гения.

– Боже мой, что вы говорите?!. – взмолился

Мейчик, ломая руки. – Мне сейчас кажется, что мы уже умерли, похоронены и вдруг поднимаемся из могилы, чтобы докончить какие-то старые счеты. Ведь это ужасно, ужасно...

Он подошел к ней, взял за руку и хотел поцеловать, но она вырвала руку и горько засмеялась.

– Ах, оставьте, пожалуйста... не к лицу это ни вам ни мне. Если бы вы знали, как я устала... Хлопочу, что-то рассчитываю, о чем-то забочусь, и, в сущности, не все ли равно?.. Разве я не понимаю, что я состарилась раньше времени, и что у меня ничего нет впереди... Живешь, и обманываешь себя своими хлопотами... Я знаю, что мужчины не выносят подобных разговоров, но что же делать, – счастливое время прошло, если только оно не было таким же обманом, как и вся жизнь. Вот сейчас – я чувствую, что вы жалеете меня, и мне это обиднее всего... Понимаете, именно от вас я не хочу принимать сожаления. Я никогда и ничего не требовала от вас, так не оскорбляйте же меня своим сожалением. В вас я всегда уважала умного человека, так по-

старайтесь сохранить хоть это…

– Вы не договариваете, Валентина Яковлевна… Вся суть ведь не в нас с вами, а в *ней*. Да? Я и приехал собственно переговорить с вами серьезно по поводу Анны Сергеевны, т. е. ее будущего.

Серьезные разговоры Мейчика всегда пугали Валентину Яковлевну, и теперь она посмотрела на него встревоженными глазами.

– Я слушаю, – проговорила она, чувствуя, как руки у нее начинают холодеть.

Он прошелся по столовой, поправил галстук и терпеливо проговорил, точно боясь потерять нить своих мыслей:

– Вчера Анна Сергеевна заключила контракт на зиму с одним провинциальным антрепренером и на днях уезжает.

Валентина Яковлевна вскочила, точно по ней выстрелили.

– Как же Нюта ничего мне не сказала? Нет, этого не может быть… Я вам не верю!.. Не верю…

Он взял ее за руку, усадил на стул и заговорил серьезно и ласково, как умел говорить только он один:

– Прежде всего не волнуйтесь... Что это верно, так я вам за это ручаюсь, тем более, что, в сущности, устроил все я же. Да, я...

– Вы?!. Боже мой...

– Выслушайте до конца, дорогая... Вам небезызвестно, что Анна Сергеевна увлекается Чернолесовым.

– Ничего мне неизвестно... Просто он бывал у нас... Потом они вместе устраивали какие-то любительские спектакли. Одним словом, ничего серьезного... Впрочем...

Она не договорила и глухо зарыдала.

– Валентина Яковлевна, ради Бога, не волнуйтесь. Нужно радоваться, что все так удачно вышло. Чернолесов недурной человек, и я его хорошо знаю, как своего личного секретаря, поверьте мне, но он еще только начинает карьеру, и эта женитьба погубила бы все его будущее. А тут молодые люди на время расстанутся, проверят себя, и время покажет, насколько серьезно их взаимное чувство.

– Но почему она откровенно не объяснилась со мной? Кажется, я ее ни в чем не стесняла и не могла бы принести вреда.

– Смотрите на вещи проще: во-первых, это

скрытная натура, а во-вторых, никогда не следует требовать чего-нибудь за свое чувство.

– Да, да, понимаю… – бормотала она, как во сне, вытирая слезы. – Он третьего дня забегал два раза… Она его ждала вчера и волновалась… и сегодня… Да, вес понятно. Чернолесов недурной человек, и если бы у него были средства, то он мог бы сделаться вполне порядочным человеком.

– В свое время у него будут и средства, и общественное положение… Вообще, он на хорошей дороге. И знаете, Анна Сергеевна все это отлично понимает и сама предложила этот временный разрыв… Мне нравится ее решительность. Она тоже далеко пойдет, поверьте мне.

Валентина Яковлевна горько рассмеялась и махнула рукой.

– Куда она пойдет? Где эти наши женские дороги? Так, молодой самообман и вера в призрак собственного воображения.

– А я верю в Анну Сергеевну… Такие женщины не пропадают, а я в женщинах немного знаю толк.

Валентина Яковлевна успокоилась на-

столько, что могла говорить дальше почти спокойно. Что же, все молодые люди одинаковы, все уверены, что именно они открыли Америку и что старики мешают им жить. Конечно, немного обидно, но приходится мириться с этим молодым эгоизмом. Кстати Валентина Яковлевна припомнила свою бурную молодость и вздохнула. Да, у всякого наступает день итога…

Эта мирная беседа была прервана появившейся в дверях Анной Сергеевной. Девушка посмотрела испытующе на мать и скрылась.

– Она его ждет… – прошептала Валентина Яковлевна, качая головой. – Ах, как все девушки повторяют одна другую… Бедная, она так страдает… И представьте, мне и его тоже жаль… Ведь и он тоже мучится… Оба молодые, хочется жить, любить… Я не желала бы быть на его месте… Бедный мальчик! И у него, наверное, есть мать, которая заботится, волнуется, боится…

– Ничего, все обойдется помаленьку, Валентина Яковлевна… Время, как говорят итальянцы, самый справедливый человек. Молодое горе скоро забывается…

– А *он* скоро должен быть, Леонид Павлович...

– Да? Гм... Мне бы не хотелось с ним встретиться...

– Это можно устроить... Я вас проведу в свой будуар, и Нюта не будет знать, что вы здесь.

– Самое лучшее...

Она вышла посмотреть в гостиную, где дочь, и сделала Мейчику знак следовать за собой. Он повиновался и пошел за ней такой разбитой, усталой походкой, как человек, выдержавший бурю...

VI

Горничная Саша ходила из комнаты в комнату с своим обычным злым лицом, двигала без всякой необходимости мебель, прислушивалась к тихому разговору, доносившемуся из будуара, и улыбалась. Нечего сказать, хороша семейка... Мамаша с дочкой чуть не в шею выгнали барина, чтобы не мешал. Старуха заперлась с гостем – для Саши было ясно, как день, что этот гость – старый любовник, а дочка ждет своего любовника.

– А тот и нейдет, молодой-то! – сообража-

ла про себя Саша. – У молодого-то дороги во все стороны... Давеча, как козы, ждут звонка. Ха-ха...

Саша из любопытства пошла в комнату барышни, посмотреть, как эта фитюлька ждет мил-сердечного друга. Анна Сергеевна лежала с книгой на кушетке и, не отрывая глаз от книги, спросила:

– Гость еще здесь?

– Они ушли, – соврала Саша на всякий случай.

Анна Сергеевна уже переволновалась и даже не шевельнулась, когда в передней раздался давно ожидаемый звонок. О, это, конечно, был он. Так звонить могут только сумасшедшие. Злючка Саша нарочно медлила отворять двери, и звонок повторился. Потом Анна Сергеевна слышала, как прошла горничная по коридору, как она отворяла дверь и как ответила что-то на его вопрос с своей обычной грубостью. Потом она слышала, как в гостиную вышла мать, как *он* нервно шагал по комнате, отвечая что-то невпопад. Ее тянуло выйти в гостиную и в то же время она не могла подняться, как раскапризничавшийся

ребенок. Ей хотелось плакать, наговорить кому-то самых обидных вещей и показать, как ей все равно.

В гостиной происходила оригинальная сцена. Чернолесов, красивый молодой человек лет двадцати шести, с типичным лицом, нервно шагал по комнате, не понимая, что ему говорит хозяйка.

– Владимир Федорович, садитесь, – повторяла Валентина Яковлевна уже в третий раз. – У вас такой расстроенный вид сегодня… Вы больны?

Ей сделалось его жаль. Бедняга так страдал. Чернолесов наконец сел, провел рукой по волосам и рассеянно проговорил:

– У меня дурной вид? Нет, кажется, ничего… Я немного устал. Сегодня пришлось работать почти всю ночь. Леонид Павлыч завалил работой. Анна Сергеевна дома?

– Да… Она тоже что-то чувствует себя не совсем хорошо. Знаете, наше общее женское несчастий – нервы…

– Анна Сергеевна больна?

– Нет, так просто… С ней это иногда бывает. Она сейчас выйдет…

Валентина Яковлевна подошла к двери в коридоре и крикнула:

– Нюта!.. Да иди же сюда. Владимир Федорович приехал.

– Я сейчас, мама, – послышался ответ из-за двери.

– Она сейчас придет, – успокаивала Валентина Яковлевна волновавшегося гостя.

– Да, с ней бывает... Я объясняю это глупыми театральными затеями. Простите, вы тоже принимаете живое участие в любительских спектаклях. Для Нюты даже успех является ядом.

– Я с вами могу только согласиться, Валентина Яковлевна... На вашем месте я просто обратился бы к своей родительской власти и запретил Анне Сергеевне... да...

– Ах, если бы дочери слушали своих матерей... Я уверена, Владимир Федорович, что Нюта скорее послушает вас, как человека постороннего и поэтому вполне беспристрастного.

– Постороннего? Да, да... Что же я ей могу сказать? Ах, да, я скажу ей все, все...

При последних словах он схватил себя за

голову, и Валентина Яковлевна проговорила с неподдельным участием:

– Нет, вы просто больны… Я сейчас принесу вам холодной воды.

– Ах, ничего не нужно, Валентина Яковлевна. Все пройдет… Да… Коли бы вы могли только знать, как мне сейчас тяжело! Еду сейчас к вам и вижу, идут по тротуару старичок со старушкой – старенькие оба и поддерживают друг друга. И старичок славный и старушка славная… Смотрю на них и думаю: ведь вот прожили же вместе старички целую жизнь. Все вместе, везде рука об руку… И все так любовно, по-хорошему. Да… И я от души позавидовал им, Валентина Яковлевна.

– Ну, уж такие стариковские мысли как будто и не к лицу вам, Владимир Федорович… Право, как мне кажется, вы не совсем здоровы.

– Я? Нет, ничего… Так вот о старичках… Позавидовал я им и подумал, что вот мне так не прожить. Как вы думаете, Валентина Яковлевна?

– Думаю, что проживете… Только вот зачем вам такие мысли в голову приходят? Это

наш удел, удел людей, для которых уже ничего не осталось впереди...

Увлекшись разговором, она не заметили, как Анна Сергеевна вошла и остановилась в дверях.

– Даже страшно делается, когда подумаешь... – продолжала Валентина Яковлевна, – даже страшно, если бы пришлось прожить всю жизнь снова...

– Страшно? – как эхо отозвался Чернолесов.

Анна Сергеевна слушала этот разговор с иронической улыбкой, а потом проговорила:

– Маленькая домашняя философия маленького домашнего отчаяния... Недурно!

Чернолесов быстро поднялся, посмотрел на нее и ответил как-то всей грудью:

– Да, мы тут разговорились по душе...

– Вот ты, Нюта, привыкла относиться свысока и моей домашней философии, – с легким упреком проговорила Валентина Яковлевна, – да... А вот Владимир Федорович находит возможным даже разговаривать со мной.

– Что же, мама, я могу только позавидовать Владимиру Федоровичу.

Девушка заняла место на диване, посмотрела на гостя вызывающе и проговорила таким тоном, точно заканчивала какой-то прерванный разговор:

– А я уже подписала контракт, Владимир Федорович.

– Нюта, какой контракт ты могла подписывать? – удивилась Валентина Яковлевна.

– Значит, все уже решено? – перебил ее Чернолесов, поднимаясь.

– Решено и подписано, – ответила Анна Сергеевна с улыбкой. – Теперь я почти официальное лицо… Боюсь даже, что буду гордиться не в меру.

– Господа, о чем вы говорите? – обиженно спрашивала Валентина Яковлевна, тоже поднимаясь. – Нюта, что это все значит?

– Ах, мама, потом…

– Анна Сергеевна заключила контракт на зимний сезон с каким-то провинциальным антрепренером, – объяснил Чернолесов.

– Очень приятная новость для матери…

– Мама, мы поговорим об этом потом.

– Благодарю. Господи, до чего я дожила!..

– Мама, если ты хочешь знать, так я и не

могла ничего объяснить тебе ни вчера, ни сегодня, потому что ты была в самом невозможном настроении. Одним словом, я ни в чем не виновата.

– Как всегда, Нюта… До чего я дожила? Сделаться в собственном доме какой-то ненужной вещью, чем-то вроде старой мебели, которую выносят в сарай…

– Мама, ты должна гордиться своей дочерью. Да… Несколько дней тому назад я была полное ничто, а сейчас я ingénue dramatique. Я буду подучать сто рублей жалованья… Пожалуйста, мама, поменьше философии домашнего отчаяния.

Валентина Яковлевна поднялась с гордостью оскорбленной королевы и, обращаясь к Чернолесову, проговорила:

– Вот поговорите вы с ней, Владимир Федорович… да. А я больше не могу… Нет моих сил…

Она почти выбежала из комнаты, прижимая платок к глазам. Ее душили рыдания. Чернолесов показал глазами на нее и только покачал головой. Девушка по-прежнему сидела на диване, бесстрастная и холодная, с улы-

бавшимися глазами. Она давно уже приготовилась к этой сцене и ничему не удивлялась.

Мейчик очутился в настоящей засаде. Он слышал все от слова до слова и страшно волновался в ожидании окончательного объяснения. Да, он теперь переживал всю свою грешную жизнь и понимал только одно, что сейчас самый решительный момент. Выдержит она или не выдержит? Кажется, он еще никогда так ее не любил, да и никого не любил так даже приблизительно... И она этого не только не чувствует, но даже и не подозревает.

В гостиной некоторое время царила самая мучительная пауза, которая потом нарушилась шагами Чернолесова.

«Господи, да скорее же!» – умоляюще подумал Мейчик, хватаясь в немом отчаянии за голову.

VII

Анну Сергеевну раздражала привычка Чернолесова шагать по комнате. Она чувствовала, что у нее скоро закружится голова. Но он быстро остановился и резко проговорил, точно выстрелил:

– Итак, все решено окончательно и бесповоротно?..

– И даже подписано, – в тон ответила она. – Меня удивляет только то, что вы находите нужным еще раз поднимать этот вопрос...

– Да, да, да... Виноват.

Он сел в кресло и заговорил другим тоном.

– Знаете, я сижу вот с вами и в то же время вишу вас совершенно в другой обстановке, среди других людей, которых вперед ненавижу. У меня такое чувство, как будто я хороню вас, нет, вернее – самого себя...

– Оставимте этот трагический тон, Владимир Федорович, и поговоримте спокойно, как хорошие друзья. Смотрите на меня, как я спокойна... В жизни и на сцене царит плаксивая баба, и я не желаю походить на нее. Будьте же и вы мужчиной, настоящим мужчиной...

– Спокойно? – засмеялся Чернолесов. – Знаете, это самое любимое слово Леонида Павлыча...

– Очень жаль... Кстати, он только что был здесь. Вы знаете, как и ненавижу этого человека и, вместе с тем, не могу не уважать. В нем чувствуется настоящая мужская сила,

как у всякого животного хорошей породы. Разве Леонид Павлыч когда-нибудь помирился бы на философии домашнего отчаяния и кисленькой поэзии маленьких комнат? От жизни нежно брать все, что можно взять...

– Пример недурен, Анна Сергеевна, – засмеялся Чернолесов. – Да... И философия хищничества тоже. Но это все равно...

Он поднялся и опять сел.

– Когда я ехал сюда, Анна Сергеевна, сколько мучительно-хороших мыслей кипело у меня в голове, сколько хороших слов... Я вез с собой целую бурю, а сейчас чувствую один холод. Я боюсь сказать, что ошибался в вас...

Она придвинулась к нему совсем близко, взяла за руку и заговорила таким тоном, каким говорят с детьми.

– Вы правы, то есть сейчас... Я, действительно, не то, что вы думали обо мне и что думала о себе я сама. Бывают такие роковые ошибки... Единственным утешением может служить только то, что ведь и вы не тот, каким себя считаете. А я могу предсказать вам вашу судьбу, как цыганка. Слушайте... Сейчас вы негодуете на меня и, как все негодующие

люди, делаетесь несправедливым. Так? Потом вам будет некоторое время скучно... да? Но есть одно великое слово, которое вас утешит – *пока*. Ведь все это временно, пока: *пока* я служу в провинции, *пока* вы устроитесь здесь окончательно... да? Сейчас мы вместе представляем нуль, и если бы мы сошлись окончательно, то в результате получилось бы то же самое, что я слышу вот в этих стенах каждый день: «Ты мне испортила всю жизнь!» – «Нет, это ты мне испортил все!»... Жалкие семейные сцены, все прелести приличной бедности... Вы стали бы уходить из дому под разными предлогами... Потом утешение водкой... Явилась бы и она в роли утешительницы... О, все это так обыкновенно!..

Он вскочил, выдернул руку и зашагал по комнате, как тяжело раненый зверь. Она следила за ним глазами и продолжала:

– Самое важное в жизни – не обманывать себя... Это лучшая гарантия от всяких ошибок. И все это, что я сейчас говорю, должны были бы говорить вы мне, а не я.

– Ах, не то, совсем не то... – как-то застонал он, останавливаясь. – Я что-то плохо пони-

маю, что делается крутом меня и что я сам делаю. Важно одно – вы говорите все это вполне искренно?

– О, конечно! Прослужу зимний сезон в провинции и весной вернусь опять в Петербург... Ведь расстояние и время – понятия отвлеченные, которые сами по себе еще не могут сделать людей счастливыми или несчастными.

– Послушайте, Анна Сергеевна... Я... я пришел сказать вам в последний раз: оставайтесь.

Она поднялась и проговорила довольно сухо:

– Как я вижу, нашему разговору не будет конца... Ведь я не навсегда уезжаю... вернусь... Вы не обидитесь, Владимир Федорович?

Она с трудом перевела дух и прибавила:

– Послезавтра я уезжаю... Необходимо все приготовить... наконец мне нездоровится сегодня...

– Другими словами, вы меня гоните?..

– Да, ведь мы же увидимся, переговорим. А только сейчас...

Она стояла побледневшая и улыбавшаяся нехорошей улыбкой. Еще момент, и она бы разрыдалась.

– Виноват... – пробормотал Чернолесов. – Ах, эти женские нервы!..

Она вдруг выпрямилась, схватилась за ручку кресла и проговорила задыхавшимся голосом:

– Да уходите же вы, ради Бога!.. Вы меня измучили. Понимаете: измучили и надоели. Постылый вы человек и больше ничего! Теперь довольны? Ха-ха... Никогда я вас не любила и сейчас не люблю. Мало вам и этого? Пора же кончать эту жалкую комедию... уходите...

Чернолесов совершенно растерялся, протянул вперед руки, точно искал какой-то неведомой поддержки, и страшно побледнел. У него тряслись губы, когда он собрался наконец ответить, подбирая слова и сдерживая дрожавший голос.

– Я... я не знал... я не подозревал, что вы способны на такие комедии... верил вам... да... Наконец я уважал вас, а вы...

– Ну, договаривайте... Ах, Боже мой! Не

будьте тряпкой и кислятиной... Ну, что я такое? Дрянь, комедиантка, домушка, дрянная женщина?

Он посмотрел на нее в упор и проговорил всего одно слово:

– Да!..

Затем он повернулся и, пошатываясь, как пьяный, пошел в переднюю. В дверях он остановился и, держась за косяк, прибавил, точно желал избавиться от какой-то непосильной ноши:

– И самое страшное – благодать забвения. Вот я ухожу от вас навсегда и в состоянии думать, что забуду вас... И все-таки...

Он не договорил, махнул рукой и бросился быстро надевать свое пальто с такой торопливостью, точно спасался от какой-то погони. Всего труднее было попасть в калоши. Шляпу он надел уже на лестнице.

Она стояла все время на одном месте, чутко прислушиваясь к каждому звуку. Когда дверь захлопнулась, она схватилась за грудь и крикнула:

– Володя... Володя, вернись! Милый...

Она бросилась к передней, прислуша-

лась, – все было тихо.

– Нет, он вернется!.. Володя...

Она вернулась в гостиную, подбежала к окну и в каком-то ужасе всплеснула руками.

– Он переходит через дорогу... Ах, что же это такое? Володя, милый, вернись...

Она стучала в окно, но он ни разу не оглянулся. Ее руки опустились, в голове что-то звенело.

– Все кончено... – бормотала она, останавливаясь посреди комнаты. – Все... И как было немного нужно... Комедиантка... жалкая комедиантка!.. Володя, где ты? Что со мной? Отчего темно кругом?

Когда в гостиной раздался истерический хохот, Мейчик вышел осторожно из будуара, взял ее за талию и повел к креслу.

– Прежде всего садитесь, Анна Сергеевна...

– Верните его... слышите? – крикнула она, не узнавая его. – Ах, что я наделала... Ведь он хороший... Пустите меня. Позвольте, а вам что от меня нужно?

– Я ваш лучший друг, а с друзьями так нельзя говорить. Хорошо то, только то, что хорошо кончается...

Она с удивлением смотрит на него, а потом прислоняется головой к его плечу.

– Вы – лучший друг? Вот сейчас… здесь… Зачем он поверил моему безумию? Зачем он ушел?

– Он вернется… в свое время.

– Вернется? Нет, вы обманываете меня…

Она опять плакала и смеялась и старалась подняться. Он что-то говорил ей, ласково и убедительно, но она не понимала слов. Несколько раз она схватывала его за руку и начинала умолять.

– Идите за ним… верните… О, ради всего святого!.. Леонид Павлыч, у вас была мать… она ласкала вас, когда вы были ребенком… Ради этой святой памяти, сделайте то, о чем я вас прошу…

– О, непременно!.. Ведь я буду его видеть каждый день… Мы будем говорить о вас, вспоминать…

– Да, да… Он такой хороший… берегите его… Я сейчас говорила ему какие-то безумные слова, и он мне поверил… Нет, он меня не любит! Любящий человек понял бы все сердцем… Зачем он ушел? Ведь это вся

жизнь...

– Дорогая, успокойтесь.

Валентина Яковлевна, подслушавшая всю эту сцену в коридоре, решилась наконец войти. Девушка бросилась к ней на шею и с плачем повторяла:

– Мама, мама... это в первый и последний раз в моей жизни! Всего одна минута слабости... Леонид Павлыч, ведь все пройдет? Да? И забудется... да?

– О, совершенно...

Валентна Яковлевна целовала дочь в голову и говорила со слезами на глазах:

– Бедное мое дитя...

VIII

Мейчик понял, что ему больше нечего здесь делать, простился молча с дамами и на цыпочках пошел в переднюю, как доктор, который боится нарушить благодетельный сон выздоравливающего больного. Когда он выходил, то на площадке носом к носу столкнулся с Сергеем Иванычем. Они не подали друг другу руки и разошлись.

– Д-да... – бормотал Сергей Иваныч, провожая гостя глазами до нижней площадки лест-

ницы. – Да, действительно…

Он как-то особенно долго раздевался в передней, что-то бормотал себе под нос и наконец вошел в гостиную, напрасно стараясь сохранить равновесие. Валентина Яковлевна была одна и с ужасом смотрела на него.

– Валечка, я… то есть сейчас от Доминика… да. Наконец я устроился… Познакомился с одним миллионером, по фамилии Гордеевич… да… то есть он будет миллионером, когда у него умрет двоюродная тетка со стороны матери…

– Вы… вы пьяны, как сапожник?! – в ужасе проговорила Валентина Яковлевна, отступая. – И это мой муж? Отец семейства?!.

– Валечка, я… то есть я так, вообще, а вся сила в тетке… да…

Валентина Яковлевна бросилась к нему, схватила за плечи и принялась выталкивать в дверь.

– Вон! Сейчас же вон… Не показывайтесь мне никогда на глаза, несчастный человек!..

– Что же, я… то есть я уйду… – виновато соглашался Сергей Иваныч, хватаясь одной рукой за косяк двери. – И уйду… Ты меня го-

нишь, Валечка?

– Вон… вон… вон!.. – визгливо крикнула Валентина Яковлевна, напрасно стараясь оторвать его руку от косяка.

– Одну минутку, всего одну минутку… – бормотал Сергей Иванович, бессильно опускаясь на стул около двери. – Да, минутку… Я сейчас встретил *его*… Что же, дело прошлое. Да… Потом видел женщину, которая целую жизнь обманывала мужа… И она всю жизнь думала, Валечка, что он ничего не замечает… А он все видел и… то есть страдал… да. Ах, как он мучился… Ему так было больно, за нее больно… Ведь это ужасно обманывать…

– Что ты говоришь, несчастный! – шепотом заговорила Валентина Яковлевна, напрасно стараясь закрыть ему рот рукой. – Опомнись. Я позову сейчас швейцара…

– Сейчас… уйду… Что я хотел сказать? Ах, да… Ведь я никого не обвиняю, Валечка… Мужчина, которого обманывает женщина, только смешон… А другой мужчина, который обманывает – герой… Он сейчас бежал по лестнице… А мне жаль… она больше уже не может обманывать, потому что никому боль-

ше не нужна…

Валентина Яковлевна оглянулась – в гостиной стояла Анна Сергеевна. Она что-то хотела сказать, крикнуть, но только махнула рукой и повалилась прямо на пол. Это был настоящий обморок…

1897

Дурнушка

I

Это началось еще в Севастополе, когда Аркадий Ефимыч Паутов сделался как-то особенно внимателен к дочери.

Ирочка с удивлением посмотрела на него своими серыми, строгими глазами еще за обедом у Киста...

– Ирочка, ты, кажется, имеешь что-то мне сказать? – спрашивал Паутов, вытирая вспотевшее красное лицо.

– Ничего особенного... Впрочем, если хочешь, могу и сказать. Мне всю дорогу кажется, что ты меня принимаешь за кого-то другого и не можешь попасть в свой обыкновенный тон.

Он посмотрел на нее улыбавшимися глазами и с сухим смешком прибавил:

– Это происходит, во-первых, потому, что ты уже большая. Да, совсем большая...

– Кажется, это нетрудно было заметить, по меньшей мере, года три-четыре назад.

– Представь себе, что мне просто было некогда...

Они оба рассмеялись, причем она сейчас же сдержала улыбку, – всякое проявление веселья делало ее некрасивой. О, как она хорошо это знала и даже сейчас по выражению отцовских глаз чувствовала, что ему ее немного жаль, а это ее бесило всегда и делало еще более некрасивой.

Обед, как всегда, был самый изысканный, а сейчас даже с «этнографическим оттенком», как пошутил Паутов, заказывая к обеду севастопольскую султанку. Он любил поесть, причем лицо принимало какое-то отупелое выражение и большие жирные уши начинали шевелиться. Ирочка вообще не любила отца, а в такие моменты не любила в особенности. Паутов это знал, но сегодня нарочно тянул обед, чтобы помучить дочь, – она не пожелала ехать дальше на пароходе, и впереди предстояла надоевшая ему дорога в экипаже и, главное, бессонная ночь, благодаря пустой женской прихоти видеть восход солнца в Байдарских воротах. Конечно, это была чисто-женская прихоть, каприз, хотя, с другой стороны, Паутов начинал смутно чувствовать какую-то ответственность вот перед этой дурнуш-

кой-дочерью, которую уж никто не будет баловать, кроме отца (капризы и прихоти прощаются только хорошеньким женщинам). Между отцом и дочерью с какой-то особенной быстротой установилось взаимное понимание, то понимание, которое не нуждается в словах. Отец и дочь присматривались друг к другу, как дальние родственники, которые водятся в первый раз и которым хочется узнать друг друга.

Несмотря да вторую половину сентября, стояла совершенно летняя жара, и Паутов несколько раз принимался пить воду с льдом. Ирочка едва дождалась, когда кончится этот бесконечный обед, и с вызывающим видом заявила:

– Теперь, папа, мы можем ехать…

– Ехать?! – взмолился Паутов. – В такую жару?

– Если ты не хочешь, я поеду одна, папа.

– Одна, в Байдары?

– Нет, пока на Малахов курган…

– Окончательно ничего не понимаю! Если бы ты была офицером или, по меньшей мере, дочерью боевого генерала, то…

– Я патриотка.

Уговоры ни к чему не повели. Ирочка настояла на своем. Паутов страдал одышкой, а тут еще после обеда тащиться по такой жаре. Но настойчивость Ирочки ему даже понравилась.

Когда они вышли из ресторана, к подъезду весело подкатило несколько экипажей с крымскими туристами. По привычке Паутов осмотрел с ног до головы двух красивых молодых дам и как-то вдруг почувствовал себя старым. Да, вот и одышка, и проседь, и вставные зубы, и все прелести начинающегося почтенного возраста. Вдобавок он поймал наблюдавший его насмешливый взгляд Ирочки и, точно оправдываясь, ответил на ее тайную мысль:

– Что же делать, состарился... да!..

Ирочка знала, что отец в свое время пользовался большим успехом у женщин, бросал много на них денег, а сейчас сохранил только дурную привычку говорить о них с покровительствующим цинизмом и оглядывать с ног до головы с какой-то усталой наглостью.

Они взяли коляску и отправились на ту

сторону бухты. В воздухе столбом стояла удушливая известковая пыль; от накалившихся каменных стен так и обдавало сухим зноем. Паутов смотрел какими-то безнадежными глазами кругом и обмахивал красное вспотевшее лицо платком.

– Откуда у тебя, Ира, это мучительство? – заговорил он наконец, сдерживая раздражение. – Я по натуре совсем не злой человек, твоя мать – тоже… да. Я знаю, что тебе совсем не нужен Малахов курган, а мучить меня доставляет удовольствие.

– Я хочу сделать из тебя патриота и разбудить в тебе гражданскую скорбь… Вообще необходимо тебе подтянуться. Что касается моей злости, то она понятна сама собой; я уже на роковой границе, за которой начинается стародевчество.

– Сама виновата… Разве было мало у тебя женихов? Нынешним девушкам подавай непременно героя…

– Да, именно… Юридически это называется покушением с негодными средствами, – я говорю о себе, а не о других.

– А ты все-таки не злись. Это некрасиво…

Ирочка вдруг покраснела, точно кто ударил ее по лицу. Отец попал в самое больное место и сделал это сознательно, потому что сам злился. Они молча поднялись в гору, миновали предместье и молча остановились у подножия кургана. Паутову опять стало жаль дочь, которую он напрасно обидел. Бедняжка, она была неизлечимо больна своей некрасивостью, и он еще раз как-то смутно почувствовал себя виноватым перед ней.

Когда они поднимались по крутой тропинке к домику сторожа, Паутов останавливался раз десять, чтобы перевести дух. Ирочка шла впереди легко и грациозно. У ней была стройная и красивая фигура и красивые, немного кошачьи движения. Паутов даже полюбовался издали, тем более, что Ирочка не оборачивалась к нему.

«Бедная девочка… – думал грешный отец. – И хорошая. Право, совсем хорошая… Ах, если бы только не это несчастное лиц…»

Ирочка остановилась у домика сторожа, поговорила со стариком и по его указанию одна прошла к памятнику Корнилова. Она только теперь оглянулась на город, поражавший

контрастом световых эффектов: эти чудные бухты цвета эмали старинного фаянса и рядом берега какого-то безнадежного, казенного желтого цвета, усеянного карточными домиками. Стоявшие в бухте броненосцы казались с этой высоты игрушечными. А кругом вся зелень была выжжена, что уж совсем не гармонировало с летним жаром и живой, фосфорической синевой чудного моря. Получалось какое-то выставочное впечатление, когда зритель старается насильно вызвать иллюзию жизни. Ирочке так и казалось, что она смотрит в какой-то гигантский стереоскоп, где на раскраску рисунков не пожалели материала и особенно постарались для моря, которое на горизонте от наляпанной краски превращалось в черное.

– И все-таки хорошо… – проговорила Ирочка, резюмируя общее впечатление, когда подошел отец. – Не правда ли?

– Да, да…

Он обрадовался, что она говорит так спокойно, и принялся торопливо рассказывать разные эпизоды из истории этой «русской Голгофы», на которой они сейчас стояли. Да,

война, конечно, колоссальная бессмыслица, но она родит героев. Вот, может быть, этот Малахов курган является в русской истории благодетельным поворотным пунктом, который еще до сих пор не оценен по достоинству. Да, вон там, где развалины древнего Херсонеса, русский народ крестился водой, а здесь, на Малаховом, было крещение огнем.

– Не довольно ли гражданских мотивов, папа? – остановила его Ирочка с улыбкой. – Впрочем, я не мешаю…

Паутов с удивлением посмотрел на дочь, – она говорила совсем другим тоном, топом усмиренного, успокоившегося человека. Спускаясь с кургана, Ирочка заметила:

– А как хорошо, папа…

– Да, да… Природа – это все, – ответил он, понимая охватившее ее настроение. – Природа прежде всего справедлива…

С последним Ирочка не могла согласиться при всем желании, и ее плечи сделали нетерпеливое движение.

II

Из Севастополя они выехали под вечер, когда спал дневной зной. Паутов даже был дово-

лен, что согласился ехать в экипаже, тем более, что такое путешествие, видимо, доставляет удовольствие дочери. Ола несколько раз оглядывалась на Севастополь, на Малахов курган, на новый собор в Херсонесе, точно стараясь припомнить что-то хорошее. Синяя эмаль моря скрылась за выжженными солнцем бурыми холмами, и ей не нравилась эта пылившая лента шоссе, особенно когда попадались встречные экипажи.

Паутов чувствовал потребность вздремнуть и, чтобы не поддаться этой слабости, рассказывал что-то об истории Херсонеса, потом историю наследного штурма Малахова кургана, потом заговорил ни с того ни с сего о геологическом строении Крымского полуострова и кончил общими геологическими картинами в связи с нарастанием органических форм.

– Сначала появились растения и животные низших порядков... да. Растения бесцветковые: водоросли, хвощи, папоротники... Животные беспозвоночные... да. Рыбы появились только в силурийскую эпоху, гады – в триасовую, птицы и млекопитающие – в юр-

скую и меловую, а человекоподобные формы – в третичную.

– Как это трогательно, папа!

– А... что?..

– Я говорю: трогательно. Господин человек, вероятно, из вежливости явился на пир природы последним... Это великодушно, как появление генерала на бедной свадьбе.

Вечер был чудный, настоящий летний. Иллюзию портили только выжженные солнцем поля. Впрочем, за Балаклавой все изменилось, а Байдарскую долину они проехали ночью, при фосфорическом лунном освещении.

Чудные зеленые горы сошлись здесь дружной семьей, из оврагов поднимался туман, говоривший о существовании невидимых с высоты горных речек. А какие фантастические кручи выступали на каждом шагу, точно горы сознательно старались загородить путь. И чем дальше, тем эти кручи выше. Чувствовалось приближение главного горного массива. Ирочка невольно залюбовалась этими картинами. Ей казалось, что она такая маленькая-маленькая, совсем ребенок, когда ей все говорили, что нужно быть доброй, всех лю-

бить, не обманывать, учиться – много учиться. Она любила сидеть у отца на коленях и слушать, как он рассказывает что-нибудь. Ведь папа знал решительно все на свете, и только он один умел ответить на каждый ее детский вопрос вполне определенно, ясно и убедительно. Да, тогда было хорошо, и Иночка старалась быть доброй, любящей, справедливой и трудолюбивой. Сейчас она даже закрывала глаза, чтобы рельефнее вызвать эти счастливые иллюзии детства, и по ассоциации идей, неожиданно для самой себя, проговорила:

– Папа, а ты помнишь, как мы с тобой ехали вот по этой дороге в последний раз?

– Да, да... Тебе тогда было одиннадцать лет. Очень хорошо помню...

– Ты тогда говорил мне о святой науке, о счастье труда – я не умею по-русски это сказать – о добре, красоте, даже о добродетели. О, я все помню, что ты говорил, потому что верила тебе и, выражаясь образно, цеплялась слабыми детскими ручонками за каждое твое слово. Папа, зачем ты меня обманывал?

Последнюю фразу она проговорила совсем

тихо, сдерживая подступившие к горлу слезы.

– Ирочка, ты предлагаешь такой вопрос, на какой не ответит тебе ни один мудрец. Если хочешь знать, так я никогда не обмазываю, а если делаю исключения, то только для собственной особы...

– Ах, папа, папа, совсем не то... Зачем ты обманываешь вообще? Ты так к этому привык, что даже не замечаешь обмана. И представь себе мой ужас, когда я в самой себе нахожу, как первородный грех, именно эту же фальшь, как у тебя... Да, я тоже фальшивая, с той разницей, что твоя фальшь с оттенком хищничества, а у меня она превратилась в притворство маленькой, озлобленной, бессильной зверушки...

Это была минутная вспышка, сменившаяся чувством усталости. Ирочка откинулась в угол коляски и замолчала. А кругом все теснее сходились горы, разделявшие их темные пропасти делались глубже, дорога с каждым шагом смелее. Мерцающая белесоватая мгла придавала выдвигавшимся контурам фантастический характер – тут были и углы башен, и развалины грозных бойниц, и остатки стен,

а на них неподвижно сидели какие-то скорченные фигуры, точно окаменевшие от горя. Недоставало дымка от выстрела, громкого победного окрика, призывного клика трубы… За каждым выступом скалы прятался кто-то, полный страха и жажды крови, каждое деревцо и каждый куст грозили изменой и смертью. Ирочка невольно вспомнила опять Севастополь и Малахов курган, где призраки смерти и разрушения бродили при дневном свете. Сколько ненужной крови, озлобления и ненужных страданий, а ей еще сегодня днем нравилась мысль о войне, и она хотела видеть своими глазами место, где она происходила. Мысли ночью, как ночные птицы, являлись и исчезали совершенно неожиданно.

– Папа, ты меня любишь?

– Странный вопрос…

– А я тебя не люблю… Ты этим не огорчайся.

– Что же делать, силой милому не быть…

– Я тебя сознательно не люблю, папа, потому что… потому что… Одним словом, если бы у меня был другой папа, и я была бы другая.

– Да? Жаль, что не могу сказать наоборот. У

меня нет даже этого оправдания.

Молчание. Топот конских копыт ночью сильнее, а лес точно все ближе и ближе подступает к дороге. Где-то в стороне, на дне глубокой долины, мелькнул красной расплывшейся точкой огонек. Кто там живет? Счастливая или несчастная рука зажгла этот огонек? Дорога идет под гору, делает крутой поворот, и огонек показывается с другой стороны, точно он перебежал через дорогу. Навстречу попадается экипаж, лошади фыркают, из экипажа смотрят две головы. Счастливы они или нет? Куда они едут? Где и кто их ждет? Дорога спускается все ниже. Замелькали огоньки неизвестной деревушки, послышался собачий лай, в освещенных окнах замелькали колебавшиеся тени, точно кто танцевал. Ямщик осаживает лошадей.

– Здесь, барин, ночевать можно…

– Нет, ступай к самым Воротам.

Лошади, кажется, были согласны больше с ямщиком и тронулись дальше ленивой собачьей рысцой. Паутов напрасно старается сдержать сонную зевоту. Ему деревня напомнила то грустное молодое время, когда он был

беден, как церковная мышь. А сколько было смелых замыслов, молодой дерзости и полнейшего непонимания жизни. Он даже не мог назвать себя разочарованным, потому что слишком рано потерял всякую веру и в других, и в себя. Опьяненный первыми успехами, он плыл по течению вместе с другими. В минуты ожирелой тоски он все-таки любил вспоминать о своей голодной юности, а сейчас вспоминал о ней потому, что явилось какое-то смутное предчувствие «начала конца». Еще перед отъездом из Петербурга он заехал к одному знакомому, которого только что разбил паралич. И не старый человек, даже, пожалуй, моложе его – и вдруг ничего, т. е. нет человека, а остался какой-то медицинский препарат, жертва науки, жалкие лохмотья человека.

И сейчас Паутова охватил беспричинный страх смерти. Он уже видел себя в гробу, видел заплаканное лицо Ирочки, траур, фальшивое соболезнование друзей, и ему вдруг сделалось ужасно жаль себя. Да, Аркадия Ефимовича Паутова не стало. Аркадий Ефимович Паутов похоронен, благородное потомство

успеет его забыть через несколько дней, точно Аркадия Ефимовича Паутова никогда и на свете не существовало. А вот эти горы останутся такими же, по этому шоссе поедут другие живые люди, их будет освещать такая же луна и…

– Ирочка… – проговорил он глухим голосом и взял девушку за руку. – Ирочка, а ведь нас ждут, как ты думаешь?

– Нас? Ждут?

Девушка тихо засмеялась. Их ждут? Папа сегодня нервничает, как старая дева. Паутов даже съежился от этого смеха и проговорил таким тоном, каким говорил с Ирочкой, когда она была совсем маленькой девочкой:

– Ты совсем не любишь мать, а это нехорошо. Да, нехорошо…

Ирочка опять засмеялась, и Паутов готов был серьезно рассердиться, но как раз именно в этот момент припомнил одно обстоятельство и проговорил тоном, требовавшим немедленного сочувствия;

– А ведь я про муль-то забыл совсем!..

– Про какую «муль», папа?

– А такая есть ракушка… да. Как это у меня

из головы выпало давеча в Севастополе?.. Ну, все равно, в Ялте поем...

III

К Байдарским Воротам они приехали около часа ночи. До рассвета оставалось еще часа четыре. В маленьком домике, где останавливаются проезжающие в ожидании восхода солнца, публики набралось достаточно, а экипажи все подъезжали. Маленькие комнаты-номера были уже все заняты, и Паутов страшно горячился, оставшись на улице. Кроме этого, у него явился аппетит, а кроме яиц и соленых огурцов, здесь ничего нельзя было достать. Он ходил около своей коляски и громко негодовал.

– Что же это такое? Да... Разве возможно что-нибудь подобное в Европе? Вот она, святая, родина... Например, в Швейцарии – там великолепный отель для желающих полюбоваться восходом солнца с Риги Кульм. Да... А здесь? Вот оно, любезное отечество...

Чтобы сорвать свое негодование на комнибудь, Паутов отправлялся в негостеприимный домик, вызывал арендатора номеров и начинал его распекать.

– Нет свободных номеров? Ни одного? Что же, прикажете мне ночевать под открытым небом? А если бы у меня была чахотка в последнем градусе?

– Все номера заняты-с... – оправдывался арендатор и делал такое движение всем телом, как будто желал для удовлетворения гг. проезжающих вылезти из собственной кожи. – Вот вчера половина номеров стояла пустая-с.

– Но ведь согласитесь, это безобразие? Да?

– Как вам будет угодно-с...

– Кроме яиц, ничего? Это уж... это... это...

Задыхаясь от справедливого негодования, он обратился к собравшейся на шум публике и в самых красноречивых словах описал, какую чудную куропатку ему подали на Риги перед самым восходом солнца, потом кусок козы, потом чудного швейцарского (да-с, настоящего!) сыра, потом полбутылки красного вина. Увлекшись, Паутов поцеловал кончики сложенных горсточкой пальцев и, подмигнув, прибавил:

– Признаться сказать, я из-за этих прелестей опоздал – выхожу из отеля, а солнце уже

поднялось.

Ирочка все время оставалась в экипаже и отнеслась к родительскому негодованию с самым обидным равнодушием. Когда Паутов вышел из-под негостеприимной кровли, в экипаже никого не было, и кучер сказал:

– Барышня приказала сказать, что ушли к Воротам…

Этого еще недоставало! Ведь можно было подремать в экипаже… А если взять подушку и плед и устроиться на ночь на самых Воротах – оригинальный ночлег. Однако Ирочка, кажется, нервничает. Паутов отправился к Воротам и нашел дочь сидевшей на каменной ступеньке лестницы, по которой поднимались на верхнюю площадку Ворот.

– Ты что тут делаешь?

– Как видишь, сижу и наслаждаюсь природой… А тебе еще не надоело изливать свое негодование?

– Помилуй, да ведь это безобразие… варварство… Я еду на модный курорт, и вдруг… Остается одно – бежать из милого отечества, куда глаза глядят. Да, бежать, потому что homo sum – humani nihil a me alienum puto[2].

– Великолепно, папа! – рассмеялась Ирочка невольно. – У тебя трагический талант, только недостает жестов – суешь вперед одной рукой, точно мужик, который щупает воз с сеном. А между прочим, ты напрасно волнуешься. Одну ночь можно и не поспать. Будем любоваться природой…

– Что же, я непрочь, – уныло согласился Паутов, зевая.

Они поднялись на верхнюю площадку ворот. Моря не было видно, оно точно подернулось флером. Не видно было и пропасти, начинавшейся прямо от Ворот. Небо продолжало оставаться чистым, хотя на лице получалось такое ощущение, точно на него садилась самая тонкая паутина – это поднимался туман. Паутов невольно съежился, хотя ночь была совершенно теплая, – таких ночей в средней России не бывает даже в самый разгар лета.

Ирочка присела на парапет и молча смотрела в закутанную туманом, сбегавшую к морю каменистыми кручами бездну. Паутов шагал по площадке и старался не смотреть на негостеприимный домик, где горели в окнах

такие приглашающие огоньки. Где-то фыркали уставшие лошади, где-то сонно лаяла собака, где-то слышался грохот катившегося по шоссе экипажа, – напоенный влагой ночной воздух чутко и долго держал каждый малейший звук.

– Папа, ты сердишься на меня? – заговорила Ирочка, кутаясь в платок. – Это все я виновата, что затащила тебя сюда...

– Э, не все ли равно!

– Я, папа, больше не буду, – как-то по-детски проговорила Ирочка.

Паутов продолжал шагать и время от времени повторял себе под нос:

– Прекрасно... очень, хорошо!.. А как спать хочется!

– Папа, я все забываю тебя спросить: зачем мы тащимся в Крым?

– Странный вопрос: у нас в Крыму имение, а в имении живет моя жена и твоя мать.

– Последней причины я не могу признать... Я матери почти не знаю, а ты не видишь ее по целым годам. Вообще очень нежная семья... Вероятно, у тебя есть какое-нибудь дело? Да? Кстати, я от кого-то слышала, что Маторин

уехал в Крым, а не за границу.

– И что же из этого?

– У тебя с ним вечно какие-то дела… Да, да, незадолго до отъезда из Павловска у нас был Лунд. Я его терпеть не могу, а к таким людям меня всегда так и тянет. Самое странное чувство… Я знаю, что этот Лунд страшный негодяй, и по его лицу сразу заметила, что он привез какое-то неприятное известие, а тебя, как на беду, не оказалось дома. Я его приняла, была любезна, как маркиза, и он, по глупости, принимал все за чистую монету. Вот он и рассказывал, что Маторин уехал в Крым, а я поняла, что неприятность, о которой он приехал тебе рассказать, связана именно с Маториным, может быть, даже с его поездкой в Крым. Видишь, какая у тебя умная дочь… Ее нужно ценить.

– А что же, совершенно верно, – ласково заговорил Паутов, останавливаясь. – Ты все угадала, моя хорошая. Да, судьба могла бы быть немного повежливее с отцом такой умной дочери.

– Значит, ты скоро разоришься?

– Гм… ну, до этого еще, положим, далеко,

но...

– Все будет зависеть от Маторина?

– Сейчас еще ничего неизвестно...

Они замолчали. Ощущение садившейся на лицо паутины усилилось. Когда Ирочка взглянула вверх – небо было уже серое, точно небесная синева помутилась, а звезды сделались меньше и ушли в глубь небесного свода.

– А как бы хорошо было, если бы разразилась гроза, – заметила Ирочка, кутаясь в свой платок. – Мы ведь сейчас в облаке, папа? И вдруг бы молния...

Паутов боялся грозы и только пожал плечами.

Небо делалось все серее. Скоро они уже не могли видеть лица друг у друга. Ирочка опять заговорила.

– Папа, а какой жалкий этот Шмурло... Помнишь, когда он был совсем другим человеком? Была уверенность в себе, находчивость, остроумие, а теперь он походит на прибитую собаку. Мне его было даже жаль, когда он такими заискивающими глазами смотрел на тебя.

– Да, он погиб, то есть погиб для нашего

круга.

– Папа, когда ты разоришься окончательно, пожалуйста, не будь таким, как этот Шмурло. Ведь чувство собственного достоинства можно сохранить и разорившемуся человеку… Не всем же быть богатыми, и не в богатстве счастье.

– Ты стала бы бегать по урокам и кормить бедного, но благородного отца?

– Дурного в этом ничего не вижу… Все-таки был бы хоть какой-нибудь смысл в жизни. Вот ты любишь вспоминать то время, когда был беден…

– Да, но есть много прекрасных вещей… на приличном расстоянии…

– Папа, кстати, где эта Маня Шмурло? Она у нас в институте считалась первой красавицей…

– Право, не умею сказать хорошенько. Вышла, кажется, замуж или что-то в этом роде.

– А ведь когда-то были очень близки домами… Помнишь, как она целое лето гостила у нас в Крыму?

– Да, да… Очень хорошенькая была девочка.

Паутову точно был неприятен этот разговор о Мане Шмурло, и он постарался перевести его на другую тему.

Он даже заговорил что-то такое о поэзии чудных южных ночей, располагающих к тихим грезам и мечтам.

– Ты не любишь природу, Ирочка?

– Нет, не люблю, а просто равнодушна.

– Странно слышать это от молодой девушки… Молодость тем и хороша, что она еще не утратила способности чистых наслаждений.

– Ты забываешь, папа, что красоты природы существуют только для хорошеньких девушек, а я чувствую себя какой-то бедной родственницей, которая из-за косяка смотрит, как на пиру жизни веселятся другие… Мне кажется, что все красивое точно обвиняет меня за дерзость существовании. Еще раз несправедливо, потому что не было бы и красоты, если бы не существовало безобразия, и красота ценится особенно только потому, что безобразие из великодушия слишком распространено кругом.

IV

Время до рассвета прошло как-то незамет-

но. Отец и дочь несколько раз начинали ссориться, а потом мирились. Ирочка старалась не раздражать отца, но как-то не могла попасть в мирный тон.

Перед рассветом сделалось почти совсем темно. Кругом лежала какал-то тяжелая мгла, насыщенная морскими испарениями, точно эту теплую и влажную мглу надышало невидимое чудовище. Паутов впал опять в минорный тон и заговорил о бренности всего существующего, о ничтожестве человека, о тщете наших стремлений, о мимолетности счастья и о роковой неизвестности, которая подстерегает каждого человека. Темнота вообще наводила на него грустные мысли, а иногда по ночам, просыпаясь, он испытывал страх, тот обидный детский страх, когда нужно, чтобы около вас был другой живой человек, чтобы слышался живой человеческий голос. Он попробовал опять заговорить о жене, которая жила в имении.

– Я ничего не говорю о матери... да, – закончил он. – Но ты почему-то ненавидишь Крым с самого детства. Я еще понимаю, что где-нибудь за границей лучше – ну да, конеч-

но, лучше, но ты предпочитаешь даже несчастный Павловск.

– Да, там гораздо лучше, папа. Один парк чего стоит, а музыка... Нет, Павловск самое для меня милое место, где я чувствую себя дома. И дача у нас в Павловске одна прелесть. Потом...

Она вдруг замолчала, точно ей сдавило горло.

– Может быть, тебе не хочется встречаться с матерью? – попробовал догадаться Паутов.

– Нет, я этого не могу сказать... Мы настолько равнодушны друг другу, что даже не можем мешать одна другой. Мне только больно читать, когда описывается так называемая материнская любовь. Ведь существует для этого специальная терминология; материнский инстинкт, материнское сердце, в объятиях матери, на груди матери – для меня это – все пустые звуки. Ты знаешь, что мать невзлюбила меня, кажется, со дня рождения, вернее сказать – я для нее никогда не существовала.

– Положим, ты преувеличиваешь, а твоя мать... Да, как это сказать? Ну, то, что называ-

ется женщина со странностями. Знаешь ее несчастную привычку молчать: замолчит, и не добьешься от нее звука.

– Нет, дело не в матери, папа. Крым я, действительно, ненавижу, а вышло это так…

Она прошлась по террасе, точно не решаясь выговориться. Но стоявшая кругом мгла сделала ее смелее.

– Это было давно, лет десять назад, – начала она изменившимся голосом. – Да, ровно десять… Мне тогда было около двенадцати лет. Возраст самый чуткий для девочки, хотя я была еще совсем ребенком. Тогда у нас гостила Маня Шмурло… да. Я ее очень любила… Вот сейчас все вижу, точно все это случилось только вчера, даже платья, в каких мы были одеты: Маня в розовое, а я в желтенькое – я сейчас ненавижу этот желтый канареечный цвет. Помню и летний крымский день… Трава еще не успела выгореть, кругом цветы… море тихое, лазурное, ласковое… Я тогда была и доброй, и ласковой, и по-детски честной. Последнее качество у меня было развито до болезненности, и я краснела за других, когда они лгали.

Паутов сделал нетерпеливое движение.

– Я даже краснела за других детей, когда они были несправедливыми. Это неправда, когда говорят, что нет золотого детства. Я его пережила и вспоминаю с благодарностью... Оно хорошо и счастливо уже одним тем, что не понимает несправедливости, жестокости и обмана больших. Что может быть лучше чистых детских глаз, которые смотрят вам прямо в душу? Да, мне было хорошо... Я тогда начинала читать и открывала в каждой книге Америку. Если бы авторы только могли понять, какую бурю новых мыслей и чувств поднимают их книги... Да, я уходила к самому морю с какой-нибудь любимой книжкой и просиживала часы в каком-то экстазе, убаюканная ласковым шепотом этого чудного моря. Печатные страницы оживали, я видела собственными глазами все, о чем читала... Я могла бы сказать, что я была тогда счастлива, хотя у меня есть какой-то суеверный страх к самому слову «счастье». Маня Шмурло не разделяла моих увлечений. Она развивалась как-то медленно и вела растительную жизнь: ела, пила, спала, скучала. Я заметила, что многие

красивые животные ведут именно такую жизнь.

Она перевела дух и хрустнула пальцами – последнее было одной из ее дурных привычек, от которых ее не могли отучить в институте.

– Папа, ты замечал, как в жизни совершаются трагедии? Необыкновенно быстро и просто... Возьми крушение поезда: один удар, и из живых людей получается каша. И в детской жизни бывают свои трагедии, которые кладут иногда неизгладимую печать на всю остальную жизнь. Да, я была ребенком, очень хорошим ребенком, и мне хотелось прилепить свои чувства к какому-нибудь живому существу. В девочке мучительно-сладко просыпалась женщина... Любовь ребенка к своей кукле сменяется любовью к комнатной собачке, к уличному бродяге-коту, к выпавшему из гнезда галчонку, пока не вернется к первоначальному источнику любви, к человеку. У меня именно и случилась такая первая детская любовь. Рядом с нами на даче жила какая-то Марья Ивановна, очень сомнительная вдова, а у нее была девочка лет семи – пухленькая, с

большими серыми глазами, с пухленьким ротиком, застенчивая и живая. Я в нее влюбилась. Да... Я не умею иначе назвать это чувство. Я с трепетом ждала, когда она покажется в своем садике, я с терпением влюбленного угождала каждому ее капризу, я теряла в ее присутствии всякое чувство своего человеческого достоинства, унижалась, ревновала и плакала бессильными женскими слезами. Это был настоящий роман... Да, роман в ореоле первой страсти. Ее звали Соней... Я переживала все сомнения настоящей любви и ужасные муки ревности. И тут случилось то, что, кажется, неизбежно в истинной любви: мой маленький идол отдал предпочтение другой, и этой другой была Маня Шмурло, которая не обращала на нее ни малейшего внимания. Любовь несправедлива в самом основании, и я это пережила – Соня относилась ко мне с тупым равнодушием, которое потом перешло в какое-то озлобление. Ей нравилось мучить меня, она наслаждалась моим отчаянием и с чисто-детской жестокостью прямо в лицо объяснила мне, что я безобразна. Эта маленькая детская рука нанесла мне смертель-

ный удар.

– Ну, красота – понятие относительное, – проговорил Паутов, чтобы сказать что-нибудь.

– Нет, дай кончить... Моя отвергнутая любовь раскрыла мне глаза. Я знала и раньше, что не отличаюсь красотой, но как-то не придавала этому особенного значения и даже хотела ее заменить такими суррогатами, как детское послушание, прилежание, доброта, справедливость и любовь к ближнему. И вдруг я поняла, что все эти мои маленькие добродетели решительно никому не нужны, что мир существует только для хорошеньких девушек, а я должна блуждать в нем дантовской тенью. Ведь даже красоты природы, как я сказала, существуют только для хорошеньких женщин, потому что эта природа, самая чудная, если она не согрета присутствием живого человека, не имеет значения, а этот человек – мой враг, равнодушный враг, который обратит на меня столько же внимания, как на телеграфный столб. Ужасное чувство... Ах, как я плакала, маленькая, безнадежная девочка!.. Я проклинала день своего рожде-

ния, других людей и даже вот эту крымскую природу, расточавшую свои красоты и ласки другим. Я возненавидела вот этот самый Крым, потому что он был свидетелем моего ужасного открытия, как ненавидят свидетелей своего преступления. Мне было даже больно думать о нем.

Это была горячая исповедь, вылившаяся сама собой. Девушка вся дрожала, как в лихорадке, и ее голос прерывался от волнения. Паутов решил терпеливо выслушать до конца и малодушно был рад тому, что кругом темно и они не видят выражения лиц друг друга. Это было малодушное чувство, но иногда пустяки имеют значение. Договаривая последние слова, Ирочка уже раскаивалась в своем порыве, но не имела сил удержаться, – ее точно толкала вперед какая-то невидимая сила, пока она не обессилела.

– Я вполне понимаю, почему мать не могла меня любить, – прибавила она в заключение, точно оправдываясь.

– А я? Разве ты можешь меня упрекнуть в холодности? Есть наконец, даже с твоей точки зрения, внутренний человек, а следова-

тельно, должна быть внутренняя красота...

– Да? Я великодушно предоставляю это утешение другим уродам, а сама ею не желаю обманывать себя...

V

Это странное объяснение было прервано начинавшей собираться у Ворот публикой. На площадке показалось несколько пар. Дамы имели такой заспанный вид и кутались в теплые платки. Дорожные костюмы не придавали им особенного изящества. Все подозрительно оглядывали друг друга, как это принято среди русских туристов и что всегда возмущало Паутова до глубины души, как проявление родной некультурности. Разговоры велись вполголоса, точно собрались заговорщики, а где-нибудь вот тут за ближайшими камнями спрятался предатель.

На востоке небо начинало белеть, звезды погасли. Из тихо поднимавшегося кверху серого тумана выступали угловатые контуры байдарских скал, а внизу, точно с самого дна пропасти выплывал из этого тумана стройный силуэт красивой русской церкви.

– Не понимаю, что тут хорошего, – ворчал

Паутов, пожимая плечами. – Это мне напоминает модный закат солнца на Елагином острове в Петербурге.

Ирочка была не в духе. Она сердилась на себя за свою исповедь. Разве при дневном свете она стала бы говорить все то, что сказала отцу вот здесь ночью? К набиравшейся публике она относилась почти презрительно, невольно сравнивая с заграничными курортами – там была настоящая публика, а здесь что-то такое подозрительное, кроме одного офицера-гвардейца да почтенного старика в черепаховых очках. Офицер был с женой, которая рассчитано громко говорила о своем крымском имении, куда она ехала в первый раз. Она смотрела на мужа влюбленными глазами и называла его Полем.

– Представьте себе, – рассказывала она старушке, с которой познакомилась тут же, – Поль купил имение в Крыму, не видавши. Да… Я ему сказала: «Поль, купи имение в Крыму». Он и купил… Вот мы теперь и едем посмотреть свою покупку. Не правда ли, интересно?

Самый восход солнца был совсем не инте-

ресен. Солнце поднималось из-за скалы, с левой стороны, а море казалось грязно-фиолетовым. Поднимавшийся туман сгущался в облака, которые ползли кверху, точно цепляясь за выступы скал и острые, гребни утесов. Хороша была одна пропасть, сбегавшая к морю своими изломанными каменистыми кручами, точно когда-то земля здесь провалилась. Церковь оказалась уже не на дне этой пропасти, а в средине, точно она остановилась на полдороге вверх. На самом берегу моря обрисовалось громадное имение Кузнецова, к которому тонкой паутинкой спускалась извилистая дорога.

Паутов был рад, когда солнце поднялось «в окончательной форме» и они могли ехать.

– Да, это называется удовольствие, – ворчал он, усаживаясь в экипаж. – И кто только придумал этот дурацкий восход солнца!..

Ирочка невольно улыбалась: так смешно сердился милый папаша, капризничавший, как избалованный ребенок. Чтобы его не раздражать, она покорно молчала, как любящая дочь.

Головоломный спуск с Байдарских Ворот

удивительно красив, хотя Паутов и побаивался, как бы лошадям где-нибудь на крутом повороте не вздумалось сделать salto-mortale через каменную стенку, загораживавшую пропасть. Что стоит взбеситься глупому животному... Он опять вспомнил об удобствах путешествия из Севастополя в Ялту на пароходе. Как на грех, в море показался пароход, который с трудом можно было рассмотреть в бинокль, – он казался не больше точки, какую оставляет муха на стекле. Зато Ирочка наслаждалась. Она любила сильные ощущения, и ей казалось, что лошади бегут слишком тихо, а бесчисленные повороты шоссе недостаточно круты.

До Алупки, за исключением Кикенеиза и Лимен, дорога не представляла ничего особенного, потому что одни и те же картины повторялись с утомительным однообразием: налево отвесными кручами декоративно громоздились горы, направо сбегали к морю каменистые долины. Собственно культура ютилась где-то там, далеко внизу, где выставлялись крыши вычурных палаццо и мелькали какие-то мудреные здания, названия которых

трудно было угадать – может быть, жилье, может быть, парадное стойло для какой-нибудь нарядной скотины, может быть, подвал. В общем чувствовался именно этот парад, вычурность и специфическая дачная ненужность, когда люди притворяются, что они живут. Типичного крымского решительно ничего не осталось, оно было сменено шальными затеями набежавшего сюда шального барства, дикого капитала и сытого самодурства. Ирочка смотрела на эти затеи прищуренными глазами и опять сравнивала с разными европейскими уютными уголками, где все было и типично, и культурно, и колоритно. Оставалось одно море, чудное южное море, которое отливало и лоснилось под лучами поднимавшегося солнца какими-то теплыми шелковыми тонами.

– Да, природа тоже называется, – продолжал ворчат Паутов. – Мне все кажется, что и горы здесь притворяются только горами, и каждое деревцо тоже. Что-то фальшивое... Вероятно, раньше, во времена татарской культуры, вид этой береговой полосы был совершенно иной. Начать с того, что мы утратили

секрет орошения, вырубили весь лес, типичную татарскую стройку заменили архитектурным безобразием доморощенных гениев – одним словом, впечатление вещественных доказательств неудачного архитектурного воровства.

– Папа, ты, кажется, взял на себя мою роль: ведь я не люблю Крыма, а не ты?

– Э, все равно! Я просто хочу быть самим собой... Если говорить откровенно, так вся эта пресловутая полоса южного крымского берега, за исключением нескольких крупных имений, та же наша Новая деревня на Неве.

– А море?

– И море здесь как-то ни к чему. Так, совсем ненужное море... Ни движения по нему, ни какой-нибудь жизни – никчемное море и больше ничего. Пройдет один пароход в течение целого дня – вот и вся жизнь. Если бы были хоть острова – э, да и островами не поможешь! Какой-нибудь несчастный Архангельск в тысячу раз оживленнее вот этих благословенных южных уголков.

– А Одесса?

– Что ж такое Одесса? Разве это русский го-

род? Какой-то цыганский табор... разбойничье гнездо...

– Папа, ты ужасно смешно сердишься. Я подозреваю, что ты именно в Одессе потерпел какое-нибудь крушение.

– Не в Одессе, а около того. Есть такие милые джентльмены, которые из Одессы приезжают в Петербург... Самое скверное обыкновение. Кажется, уж Маторин... да, у него есть какое-то проклятое чутье на людей, а и тот попался. Ну да ему это пустяки, а я чуть не погиб. Дело не в деньгах, а в известной репутации, в реноме... Я предвижу твое возражение: виноват, конечно, я сам. Совершенно верно, и поэтому я сержусь на скверную привычку одесситов ездить в Петербург. Да, всего один неверный шаг...

– А счастье было так возможно, так близко?

– Обидно то, что таким счастьем воспользовались безнадежно-глупые люди. Вот у вас, женщин, все вопросы концентрируются только на своей особе, на так называемом счастье, а наше мужское счастье зависит от какой-нибудь дурацкой нефти, залежей болотной ру-

ды, каменного угля и многих других не менее скучных вещей. Боже мой, как время летит! Давно ли только было и свету в окне, что банки и железные дороги, а теперь все это смешные пустяки вроде мертвых душ почтеннейшего Павла Иваныча Чичикова или того бриллианта, который был украден не менее почтенным Михаилом Васильевичем Кречинским. Да, времена меняются, а в воздухе вечно пахнет жареным, только нужно угадать, где оно скрыто, вот это самое жареное.

– А Маторин знает?

– О, он знает... Это какой-то безумно-счастливый человек, который не знал в жизни неудач. Я фаталист и верю в счастье. Есть избранники и счастливцы, за которыми счастье идет широкой тенью.

VI

Имение Паутова находилось недалеко от Алупки, на самом берегу моря. С шоссе приходилось спускаться к нему по крутой каменистой дорожке, делавшей зигзаги на каждом шагу. Издали виднелась зеленая купа деревьев, из которой выделялись зелеными стрелками высокие кипарисы. Имение давно было

запущено, и деревья росли по собственному усмотрению. Оно принадлежало жене Паутова, Елене Васильевне. Ирочка внимательно всматривалась в знакомый берег и не узнавала знакомого места, так все изменилось за десять лет. Оставалось прежним одно море да загибавшаяся линия берега.

– Не правда ли, как хорошо? – повторил несколько раз Паутов, начиная оживляться. – Если бы привести в порядок парк и если бы реставрировать виллу…

– Какие громкие и совсем ненужные слова: парк, вилла… – поправила его Ирочка. – Просто запущенная помещичья усадьба.

Паутов не слыхал этого замечания, потому что вглядывался налево, где из-за каменистого выступа показалась белая вилла, – это уже была настоящая вилла, с башенками, колоннадой и всевозможными ухищрениями настоящего художества. Над одной из башенок полоскался в воздухе пестрый флаг.

– Евгений Федорыч приехал… – радостно проговорил Паутов, точно у него гора свалилась с плеч.

– Да? – равнодушно спросила Ирочка.

– Да, да… Видишь, флаг. Он уже не бывал здесь лет пять.

Это была дача Маторина.

Когда-то имение Паутова было обнесено изящной железной решеткой, но сейчас от нее оставались только кой-где покосившиеся звенья. В саду мелькнула высокая женская фигура в черном и скрылась, как тень.

– Ведь это бабушка… – удивилась Ирочка. – Она все *такая* же?

– Да, *такая*… Прячется от всех и только любит одного Валентина.

При последнем имени Паутов тяжело вздохнул.

Когда-то «вилла» Паутова была построена затейливо и с большими претензиями на неизвестный стиль, а сейчас представляла почти руину. Жилым оставалось левое крыло, где помещалась m-me Паутова с сыном. Бабушка жила в башне, как старая сова. Навстречу подъехавшему экипажу никто не вышел, не раздалось веселых приветствий и радостных криков. Лежавшая на террасе собака не выразила готовности броситься с громким лаем к экипажу, а только лениво повернулась

на другой бок. Это было какое-то сказочное сонное царство.

– Ну, вот мы и дома, – говорил Паутов, вылезая из коляски и стараясь придать голосу хозяйское добродушие. – Да, дома…

Ирочка ничего не ответила, а только как-то вся съежилась, охваченная каким-то неприятным предчувствием. Да, здесь все осталось по-старому: площадка, на которой она любила играть, два кипариса, которые она называла мужем и женой, крутая дорожка, которая точно звала спуститься к морю, и самое море, переливавшаяся синева которого сквозила между деревьями.

Первое лицо, которое показалось, был молодой человек лет семнадцати, бледный и худой, с длинными белокурыми волосами, падавшими на плечи. Щегольская бархатная куртка еще сильнее выделяла бледность его лица. Он равнодушно смотрел на экипаж и на приехавших.

– Валентин, ты не узнаёшь меня? – спрашивал Паутов, нерешительно подходя к нему.

– Нет, – равнодушно ответил молодой человек, делая нетерпеливое движение правой

рукой и длинной шеей, точно его давил ворот мягкой шелковой рубашки.

– И сестру не узнаёшь?

Молодой человек посмотрел на Ирочку и засмеялся, причем у него неприятно оскалились мелкие белые зубы. Эта сцена была прервана появившейся в дверях террасы высокой белокурой дамой, которая недовольным тоном сказала:

– Оставьте его…

Ей было за сорок, но для своего критического возраста она сохранилась замечательно. Румяное свежее лицо с правильными чертами, блестевшие молодым огнем серые глаза, спокойная фигура – все было хорошо, и только в твердом складе рта чувствовалось что-то затаенное и недосказанное. От матери Ирочка унаследовала одни глаза.

Семейная встреча прошла довольно холодно, вернее сказать – равнодушно. Мать взглянула на дочь вскользь, точно удивляясь ее присутствию.

– Ну, вот мы и дома, – еще раз проговорил Паутов, стараясь придать голосу добродушно-веселые ноты.

Ирочка молчала, любуясь красавицей-матерью. Да, вот какими должны быть все женщины. Ей правилась даже безучастность вот этой красавицы-матери. Разве такие женщины могут волноваться из-за каких-то пустяков? Это удел других, тех ничтожностей, которые обижены самим Богом.

Семья Паутовых была немного странная, начиная с родоначальницы, как Паутов называл бабушку Варвару Петровну. Собственно имение принадлежало старухе и было подарено ей в далекую эпоху ее красоты. Варвара Петровна в свое время была настоящей львицей и сводила с ума весь Петербург. Достаточно сказать, что ее муж, военный николаевский генерал, как говорили, отравился из ревности. В числе ухаживавших за Варварой Петровной был один настоящий герой, который и подарил ей, «на зубок» маленькой Лели, матери Ирочки, это крымское имение. В то блестящее время такой подарок для Варвары Петровны являлся чуть не оскорблением, как ничтожная дань ее совершенствам, но она не хотела обижать героя и приняла его, скрепя сердце. Впоследствии, когда миновал блестя-

щий период, именно это крымское имение и пригодилось. Варвара Петровна потеряла красоту как-то вдруг, и это так подействовало на нее, что являлись серьезные опасения за ее рассудок. Она так и осталась тронутой на всю остальную жизнь, точно выкупая этой тяжелой ценой недолгое торжество своей красоты. Она поселилась в Крыму навсегда и здесь коротала свои дни, как отшельница. Таким образом время героев миновало сразу, оставив после себя тяжелый душевный чад. Маленькая Леля, происхождение которой подвергалось большим сомнениям, потому что называли еще какого-то героя, который, кроме геройства, ничего не имел, росла в крымском имении, как сказочная принцесса. Это была белокурая девочка, нежная и красивая, как лесная дриада. Она унаследовала от матери известную дозу ненормальности, проявлявшуюся в молчании. Молодая красивая девушка могла молчать целые недели и месяцы, точно очарованная. Паутов встретился с ней случайно и влюбился со всем пылом юности. Он тогда был на прекрасной дороге, впереди предвиделось еще более прекрасное будущее,

и Елена Васильевна охотно доверила ему свою жизнь. Но замужество мало ее изменило, и даже рождение старшей дочери Ирочки не произвело того впечатления, какое переживается молодыми матерями.

– Она некрасива... – равнодушно проговорила Елена Васильевна, когда в первый раз увидела девочку, и больше не обращала на нее внимания.

Только с появлением на свет Валентина она точно проснулась. Но и в этой любви было что-то болезненное. В сущности, это даже не была любовь, а какой-то вечный страх, почти животный страх за существование. Когда в ребенке появились первые признаки ненормальности, Елена Васильевна точно застыла и на этот раз уже навсегда. С этим моментом совпал зенит карьеры Паутова, когда ему все удавалось и впереди открывались такие широкие горизонты, от которых могла закружиться и не паутовская голова. Елене Васильевне было все равно, она даже не интересовалась его любовными интригами, без которым широкие горизонты немыслимы. Она и не думала ревновать мужа, а просто взяла и

уехала с сыном в крымское именье к сумасшедшей матери, где осталась погруженная в свое таинственное молчание.

Из всей семьи одна Ирочка не унаследовала фамильной ненормальности и слишком рано поняла ту обстановку, в которой ей пришлось жить. Она с детства вошла во вкус вынужденного одиночества. Сейчас она могла только удивляться происшедшей перемене в отце. Он, этот неисправимый вивер, все чаще и чаще вспоминал о жене, по-своему жалел ее и, кажется, начал испытывать жажду запоздавшего семейного счастья. Про себя Ирочка объясняла такой поворот близившейся бессильной старостью и главным образом тем, что звезда недавно знаменитого дельца Паутова быстро клонилась к закату. Ей даже делалось как-то обидно за отца, в котором она с детства привыкла уважать силу.

VII

Предсказания Ирочки начали сбываться гораздо раньше, чем можно было предположить. Первые дни Паутов провел по-семейному и никуда не показывался. Он заметно ухаживал за женой, оказывая ей разные знаки

самого почтительного внимания. Елена Васильевна несколько раз смотрела на мужа удивленными глазами, но по обыкновению молчала. Сейчас это молчание жены просто убивало Паутова, и он волновался, как влюбленный в первый раз. В обращении с женой у него являлся неприятный, заискивающий тон виноватого кругом человека. Это была одна из тех жалких семейных комедий, когда мужья, потерпев какое-нибудь поражение в своих внешних делах, начинают искать утешения в теплоте домашнего очага. Кроме всего этого, Паутову серьезно начинала нравиться жена, и он удивлялся самому себе, как мог менять ее на других женщин. В Елене Васильевне было что-то неуловимо-пикантное, как у всех серьезных женщин, слишком много страдавших. Каждый ласковый взгляд таких женщин – целый капитал, как проявление неизрасходованного и еще полного затаенной энергии чувства.

Отдаваясь восстановлению своего семейного очага, Паутов не переставал думать о соседней даче, над которой развевался пестрый флаг. Его и тянуло туда и отталкивало. Дело

доходило до того, что Паутов принялся потихоньку наблюдать, что делается в имении Маторина. Владелец, очевидно, отдыхал и сохранял инкогнито. Он показывался на террасе утром, когда пил кофе, потом бродил с лейкой около цветочных клумб, потом купался, а вечером опять сидел на террасе с газетой в руках. Паутов понимал, что ему не следовало нарушать это инкогнито, несмотря на вызывающе поднятый флаг. Со своего наблюдательного пункта он видел, как по шоссе два раза проезжал верхом Лунд, одетый по последнему слову английской моды, а потом увидел Шмурло, проходившего мимо с видом скучающего туриста. Судя по костюму, дела последнего были уже совсем не так плохи, как говорила Ирочка. Очевидно, эти шакалы держались тоже выжидательной политики и обкладывали берлогу красного зверя с большим расчетом. Если бы они видели, как Паутов занимался астрономией... Ему сделалось даже совестно за себя. Неужели он так низко пал, что вынужден прибегать к заячьей хитрости?

– А все-таки я официально не знаю, что Ма-

торин здесь, – думал Паутов вслух, успокаивая самого себя. – Ведь флага я мог и не заметить... да... Лучше всего, если бы вышла какая-нибудь случайная встреча. На поклон к Маторину я, во всяком случае, не пойду. Это верно...

С другой стороны, несколько раз выходило как-то само собой, что Паутов выходил купаться именно в то самое время, когда купался Маторин, или делал прогулки по морскому берегу в те часы, когда гулял Маторин. На его несчастье, встречи все-таки не выходило. Конечно, Маторин знал, что он здесь, и если бы желал его видеть, то просто послал бы сказать. Сердце Паутова сжималось от какого-то тайного предчувствия, нараставшего с каждым днем.

Таким образом прошло несколько мучительных дней. К довершению всего, раз утром неожиданно заявился Шмурло, – как будто шел мимо и завернул. Паутов принял его любезно, но с неуловимым оттенком самой изысканной холодности, как держат себя разведенные муж и жена. Прежде они были на «ты», а сейчас Паутов говорил выморочному

другу «вы», упорно не желая заметить старого дружеского тона. Впрочем, Шмурло, с своей стороны, тоже старался не замечать вежливо отталкивающей его руки и держал себя с напускной развязностью. Это переходило в наглость совсем потерянного человека.

– Маторина ты не видал? – между прочим, спросил Шмурло.

– Нет...

– Гм... Он прячется от всех. Удивительная скромность...

Когда-то Шмурло был тем, что называется видный мужчина. Высокий рост, красивая темная шевелюра, некрасивое, но типичное лицо, красивая неуклюжесть движений, как у сильного животного, – все это придавало ему оригинальный вид. А сейчас он точно весь вылинял и выцвел, волосы поредели, явилась старческая сутуловатость, в глазах мелькало тревожное выражение затравленного зверя, а в общем что-то такое изношенное и дешевенькое. Паутов невольно посмотрел на него с сожалением и с грустью подумал про себя, – неужели и его ждет такая же участь?..

– Удивительно везет этому Маторину, – го-

ворил Шмурло каким-то фальшивым тоном. – Помнишь его последнюю историю с акциями нового железнозаводского общества? Кто бы, кажется, мог думать, а Маторин угадал. У него чертовский нюх... Какая-то самая дурацкая болотная железная руда, и вдруг чистого дивиденда на акции около семидесяти процентов. Дда-с... Невольно будешь уважать человека, который создает из ничего.

– По-моему, просто счастье...

Они заспорили. Паутов невольно увлекся, подогретый горькими воспоминаниями об одесских дельцах, и начал доказывать, что Маторин «не понимает минуты» и затрачивает свое счастье совсем не там, где следует. Они перебрали по пальцам одну за другой злобы русского промышленного дня и спорили до хрипоты о нефти, о каменном угле, о наступающей новой эре русского железного дела, о протекционизме, о железнодорожных тарифах, о кредите, о грозящем наплыве в Россию каких-то дешевых иностранных капиталов.

– Да, вот кто-то придет и все заберет и положит к себе в карман, – с грустью заметил

Шмурло.

– Э, нет... Это прежде было, что «кто-то» приходил, брал и клал себе в карман. Это была система открытого хищничества, а теперь требуется что-нибудь поновее. Да-с, система и система очень строгая и тонкая.

Сначала они сидели на террасе, а потом спустились в сад, где было прохладнее. Сад был небольшой и запущенный. Последнее придавало ему своеобразную красоту, иллюстрируя деятельность некоторых буйных южных растений, безнаказанно воспользовавшихся предоставленной им свободой. Между стволами сквозила блестевшая синева моря, которая против всяких правил художественного сочетания тонов гармонировала с зеленью. Шмурло шагал по аллее, заложив руки за спину. Деловой разговор на мгновение превратил его в прежнего дельца, когда-то подававшего блестящие надежды и не замечавшего, что сейчас его слова имеют цену осенних мертвых листьев, осыпающихся дождем от самого слабого ветерка. Паутов вдруг замолчал. Он старался припомнить, не выболтал ли чего-нибудь лишнего этому погибшему

другу. Он по ошибке несколько раз даже сказал «ты» и теперь, чтобы поправить ошибку, проговорил:

– Вы теперь надолго в Крым?

– Мы живем с Маней уже второй месяц. Ее послали сюда доктора...

– Гм... А я, признаться сказать, совершенно не верю в этот Крым, как климатическую станцию. Доктора придумывают – вот и только. По-моему, для больных, особенно нервных, север гораздо полезнее. Да... И наука доказывает... да... наука...

Что доказывает наука – Паутов так и не договорил, точно последние слова остановились у него в горле. Сквозь просветы между деревьями он увидел на морском берегу два знакомых силуэта. Да, это была Ирочка, с ней рядом шел Маторин... В первое мгновение Паутов даже испугался, что Шмурло может увидеть их, и быстро повернул назад. У него даже сердце забилось от волнения. Шмурло смотрел на него и улыбался. Он тоже узнал гулявшую по берегу парочку и как-то фукнул носом. Охваченный волнением, Паутов два раза ответил что-то невпопад. У него в голове вер-

телась мысль: если бы Ирочка была красивая... О, в хорошенькой женщине заключена такая страшная сила, о какой не смеет мечтать никакая механика. Она всесильна, потому что заставляет пресмыкаться и ползать всякую другую силу.

– Да, вообще... – повторял Шмурло, продолжая улыбаться. – А знаешь, ведь Лунд здесь!

– Да?

– Я его видел. Все катается верхом, вероятно, в надежде встретить Маторина. Даже противно смотреть...

– Может быть, простая случайность...

– Ха-ха... Знаем мы эти случайности.

Прощаясь, Шмурло с любезным нахальством проговорил:

– Заверни как-нибудь ко мне. Мы с Маней остановились в «России»...

Боже мои, какие бывают несносные люди на свете! Паутов, когда гость ушел, чувствовал себя точно после горячей бани. Что же это такое, в самом деле... Ах уж эти старые выдохшиеся друзья, от которых нет спасения нигде!

VIII

Сегодняшняя встреча произошла, действи-

тельно, случайно. Ирочка любила сидеть на морском берегу и мечтать. Методический шум прибоя точно убаюкивал. Хотелось так сидеть без конца и без конца слушать ропот морской волны. Ирочка была счастлива именно своим одиночеством. Мать по обыкновению не обращала на нее никакого внимания, бабушка бродила одна, как тень, и пряталась, брат ничего не понимал. Девушка брала с собой какую-нибудь книгу и читала, прикрывшись зонтиком. Именно в одну из таких минут мимо нее прошел какой-то господин, оглянулся и замедлил шаги. Ирочка сразу узнала Маторина и поднялась, чтобы уйти, но он остановил ее.

– Если не ошибаюсь, m-lle Паутова?..

– Да... – ответила Ирочка, смущаясь и чувствуя, как начинает краснеть самим глупым образом.

– Представьте, а я нас сразу узнал, – продолжал он, крепко пожимая ее руку. – Ведь я вас знал совсем-совсем маленькой, когда вы еще одевались bébé... Да, я отлично помню.

Он посмотрел на нее сейчас такими глазами, точно искал прежнюю bébé, нескладную

и застенчивую, с угловатыми движениями и красивыми, точно испуганными глазами. Ирочка чувствовала, что он смотрит на нее как на женщину, сравнивая с прежним ребенком, и окончательно покраснела густым румянцем. Ее злила всегда эта привычка мужчин осматривать женщин самым бессовестным образом.

Маторин был среднего роста, носил усы и по наружности ничего особенного не представлял. Он и одевался всегда, как другие. Знавшие его понаслышке всегда при знакомстве удивлялись этой ординарности. Человек как человек, – такие субъекты точно живут на железнодорожных вокзалах, в пароходных каютах первого класса, в отдельных кабинетах дорогих кабаков, в театральных ложах на первых представлениях и на скамье подсудимых. Только когда Маторин улыбался, у него являлось в лице что-то особенное – решительное и тонкое, причем глаза делались светлее, а тонкие ноздри раздувались. Что касается возраста, то его, как говорят из вежливости, не было. Такие люди сохраняются долго в одном положении, а потом сразу отпускают бо-

роду и превращаются в представительных старцев.

Пожимая руку Ирочки, Маторин сразу понял, что девушка сердится, и принял это на свой счет.

– Может быть, я помешал? – проговорил он своим мягким, низким голосом, переставая улыбаться.

– Нет, нисколько. Я сидела так...

Это уж было из рук вон! Особенно мило вышло: *так*. Ирочка ответила быстро, как отвечают классным дамам девочки-новички, и даже не узнала собственного голоса. Обычной самоуверенности не было и в помине. Маторин, кажется, понял ее смущение и так просто говорил о погоде, о красоте моря, о поэзии южной природы, точно продолжал недоконченный вчера разговор. Эти банальные темы у него выходили как-то особенно мило, как будто он сообщал самую интересную последнюю новость и радовался, что первый может ее сообщить.

В ответ на это Ирочка вдруг почувствовала себя и легко и как-то особенно хорошо, точно она ждала Маторина, как ищут дорогого чело-

века на свидание. Она ответила ему в тон и с легкой иронией передала подробности своего путешествия в Крым, куда приехала неизвестно зачем.

– Мне опротивела заграница, – рассказывала она, рассчитано делая вульгарный оборот. – Мне в последнее время начало казаться, что я везде встречаю самое себя, скучающую, ненужную, равнодушную даже к самой себе. Все модные курорты набиты битком именно такими женщинами, которые считают своим долгом показать всем, как им весело и как все их интересует. «Ах, Везувий!.. Ах, Сикстинская Мадонна!.. Ах, Женевское озеро!..»

– Вы, кажется, последнее лето проводили в Павловске?

– Да... И представьте, что почувствовала себя дома. Это совершенно особенное чувство.

– В Крыму вы едва ли будете его испытывать. Мне лично Крым не нравится. Что-то такое есть шумное, крикливое и ненужное. Вы испытывали прелесть одиночества?

– О, даже очень, с самого раннего детства...

Последнее признание вырвалось у нее так искренно, что Маторин чуть заметно улыб-

нулся одними глазами.

Дальше они болтали о разных пустяках, как старые знакомые, и Маторин несколько раз очень удачно сострил. Ирочка смотрела на него добрыми глазами и, когда Маторин начал прощаться, чуть не удержала его.

Бывают странные встречи. Вернувшись домой, Ирочка продолжала испытывать безотчетно-приятное настроение. Про себя она несколько раз повторила встречу с Маториным и точно слышала его удивительный голос, ласковый и в то же время властный. В каждой ничтожной фразе, в каждом слове она старалась подыскать какой-то таинственный смысл. Ирочка чувствовала, что он посмотрел на нее совсем другими глазами, чем те мужчины, которые обращали на нее внимание. В сущности, она не могла пожаловаться на равнодушие, за ней ухаживали, но она оставалась глуха и не верила ни одному из них, потому что она считала себя дурнушкой и объясняла это внимание другими причинами: одни считали ее очень богатой, другие надеялись через нее попасть в заколдованный круг настоящих дельцов. Ее сердце еще не би-

лось в ответ. А теперь… Нет, она старалась не думать дальше ни о чем.

– Ира, ты встретила Маторина? – спросил Паутов, не дождавшись от дочери разговора о встрече.

– Да, встретила.

– Гм… Ну, как он… то есть спрашивал обо мне?

– И не думал.

– Вы о чем-то говорили… Не подумай, что я слежу за тобой, а простая случайность.

– Болтали разные пустяки, папа.

– Гм… Это что-то не похоже на Маторина.

– И мне тоже кажется. Он мне представлялся раньше совершенно другим человеком.

Паутов только пожал плечами.

Из этого мимолетного разговора с дочерью Паутов понял только одно, именно – что его звезда закатилась. Он не желал обманывать себя, как делают безнадежно-больные люди. Да, все кончено, и впереди оставалась приличная бедность. Прикинув в уме ликвидацию своих дел, он насчитал в будущем не более десяти-двенадцати тысяч годового дохода. Разве можно существовать порядочному че-

ловеку на такие деньги? Одна дочь стоила ему почти такую сумму. Все, конечно, зависело от Маторина, но он не хотел больше его знать, а это равнялось гражданской смерти, Паутову пришли на память примеры его погибших при тех же условиях предшественников. История повторялась по одному и тому же шаблону. И начиналась всегда одинаково: Маторин сразу забывал свою жертву, как забывают покойника, и этого было достаточно. О, как отлично знал такие моменты Паутов в качестве очевидца, а сейчас должен был применять свою опытность к собственной особе.

Когда Маторин неожиданно пришел сам на виллу Елены Васильевны, – этот акт внимания не изменил ни на волос положения дел. Паутов понял, что он пришел к Ирочке, и держал себя с гостем довольно сухо.

– Ну, как дела? – равнодушно спросил Маторин тоном человека, думающего совершенно о другом.

– Ничего, Евгений Федорыч, – ответил Паутов, избегая «ты». – Отдыхать приехал.

– Да... Очень хорошо... Нам пора и отдохнуть. Пусть другие поработают. Не правда ли?

– Не знаю, как вы, а я еще не думаю подавать в отставку. Вот отдохну и за работу.

Они разговаривали как чужие… Скучающее выражение на лице Маторина прошло только с появлением Ирочки. Она, как и следует благовоспитанной девице, вышла к гостю в сопровождении Елены Васильевны. Паутов почувствовал себя в положении того свидетеля, которого вызвали в суд по ошибке. Присутствие Маторина действовало на дам возбуждающим образом. Даже Елена Васильевна сочла своим долгом нарушить свое обычное молчание и занимала гостя с величием королевы в изгнании. Маторин рассказывал, вероятно, что-нибудь остроумное, потому что дамы улыбались, а глаза Ирочки вспыхивали веселым огоньком.

– Так мы едем в горы? – спрашивал Маторин.

– Непременно, – соглашалась Ирочка. – Только с проводником, а иначе картина будет неполная.

«Да, все кончено…» – думал Паутов.

IX

Маторин находил случай встречаться с

Ирочкой каждый день. Для такого большого человека это выходило даже смешно, напоминая первые опыты какого-нибудь начинающего кадетика. Маторину больше всего нравилось смущение, которое охватывало Ирочку каждый раз, когда они встречались. Те женщины, с которыми он делил свои лучшие минуты до сих пор, не умели смущаться, как фальшивая монета не имеет блеска настоящего драгоценного металла. Потом Маторину нравился острый и живой ум Ирочки, когда она оправлялась и делалась сама собой, точно они каждый раз знакомились снова.

– Мне кажется, что я вас иногда стесняю, – говорил Маторин.

– Нет, – коротко ответила девушка и смело посмотрела ему в глаза. – Мне кажется, что совершенно наоборот, – я чувствую себя слишком просто в вашем обществе.

– Очень рад...

Он хотел прибавить что-то, но не договорил.

Маторин отлично изучил весь день Ирочки, – когда она гуляла, купалась, читала. Он в бинокль мог бы отлично наблюдать ее в воде,

но по какой-то деликатности этого не делал. Это была именно деликатность, удивлявшая его самого. В сущности, каждый имеет право полюбоваться красивыми формами, а на заграничных курортах это упрощено до последней степени; но ведь он не стал бы смотреть, как купается младшая сестра. Но его приводило в восторг давно не испытанное чувство смутного волнения, которое охватывало его при свиданиях. О, как давно он не испытывал этого чувства и теперь прислушивался к нему, как к внутреннему чуду. Выздоравливающий человек, когда испытывает первые приступы аппетита, переживает то же, с той разницей, что Маторин боялся признаться в этом самому себе, точно счастливый сон мог рассеяться. Ведь это было бы чудом, своего рода воскресением, если бы он мог увлечься... С каким отвращением он теперь думал о всех других женщинах, особенно о женщинах своего круга. Разве это были люди?

Предполагавшаяся поездка в горы под разными предлогами откладывалась день за днем, пока Ирочка не настояла на ней. Она прекрасно держалась в седле, так что провод-

ник-татарин посмотрел на нее одобряющим взглядом.

– Я хочу в Ялту, – предлагала Ирочка, и в ее голосе послышались повелительные нотки.

Маторину приходилось повиноваться, хотя он совсем не желал видеть Ялты. Он предпочел бы уехать куда-нибудь подальше в горы, а опытный проводник сумел бы оставить их вдвоем. Ирочка была довольна и не желала замечать настроения своего кавалера. Ей теперь все нравилось: и горы, и купы деревьев, и скрипучие арбы, на которых ехали крымские «честные люди», и прятавшиеся в зелени виллы. Ее опьяняла эта возможность лететь вперед. Маторин ездил отлично, с ленивой грацией настоящего спортсмена. От быстрого движения у него блестели глаза и бледное лицо покрылось румянцем.

– Как красиво! – повторяла Ирочка, любуясь открывшимися картинами, точно видела их в первый раз.

– Да, очень… – соглашался Маторин. – Раньше я как-то не обращал внимания на это.

– Смотришь-смотришь, и вдруг хочется жить, дышать, говорить… Вы испытываете

такое чувство?

– Как вам сказать?.. Это в своем роде роскошь.

– Другими словами, вам все надоело и все надоели.

– Конечно, последнего я не скажу…

– Кажется, я должка принять это за комплимент? Но комплименты безнаказанно не говорятся…

– Я готов пострадать…

– Это слишком громко сказано…

Они весело болтали всю дорогу, причем Ирочка смотрела куда-то вперед, точно разговаривала с каким-то невидимым горным духом.

При спуске в Ялту им навстречу попалась большая кавалькада. Центр составляли две замечательно красивых амазонки, с одной из которых Маторин раскланялся, а среди кавалеров Ирочка узнала Лунда и поморщилась.

– Вы узнали? – спросил Маторин, когда кавалькада скрылась.

– Да… Я его не выношу.

– Ах да… Но я говорю не о Лунде, а об одной из дам. Вы помните Маню Штурло?

Ирочка даже оглянулась. Она хорошо рассмотрела обеих амазонок. Обе, несмотря на молодость и красоту, имели такой подозрительно подержанный вид и были заметно накрашены. Неужели это Маня? И лицо совсем мертвое, с заученной улыбкой, как у цирковой наездницы.

Жара заметно начала спадать. В воздухе висела белая известковая мыль, покрывавшая всех и все. Поднималась обычная суета модного курорта. Неслись нарядные коляски, гарцевали на своих иноходцах модные проводники, по набережной бесцельно бродили скучающие сезонные джентльмены. Настоящая публика еще не показывалась, выжидая вечерней прохлады.

– Я хочу пить, – заявила Ирочка, останавливая лошадь у ресторана над водой.

Затянутая парусиной веранда была полна обедающими. Едва нашелся свободный столик. Ирочка спросила мороженого и во все глаза смотрела на публику. Кого-кого тут не было, но тон задавали московские коммерсанты со своими женами и дочерьми. Маторин был рад, что не встретил ни одного зна-

комого.

– Какая странная публика… – вслух думала Ирочка.

– Как везде, – ответил Маторин, делая равнодушное лицо. – Если хотите, то публики в собственном смысле у нас нет…

Но Ирочка уже не слушала своего кавалера. Она сидела у самого барьера и любовалась шевелившейся у берега волной, ярко-зеленой, точно пропитанной светом. Чем дальше от берега, тем вода делалась синее, а на горизонте эта синева превращалась в густую темную полосу.

– Что же мы сидим? – удивилась Ирочка – она все время думала о Мане Шмурло. – Пора ехать.

– Куда?

– В горы… Может быть, вы боитесь сырости?

– Нет…

Они вышли. Маторин сказал по-татарски несколько слов проводнику, которых Ирочка не поняла.

– Мы поедем к Ай-Петри, – объяснил Маторин. – Возвращаться будет ближе и места кра-

сивее…

Ирочку опять охватило желание лететь вперед. Лошадь Маторина оказалась слабее и с трудом поспевала за ней. Они быстро промчались по шоссе и свернули направо, на какую-то горную тропинку, по которой две лошади не могли идти рядом. Ирочка ехала впереди, погоняя свою лошадь. На одном повороте она остановилась, чтобы полюбоваться видом оставшейся далеко Ялты и рябившей синевой моря.

– Хорошо… – вслух думала она.

Маторин молчал. Он был задумчив, точно весь ушел в себя. Проводник-татарин безучастно смотрел на господ, спокойный за свой заработок. Кто же из проводников не знал Маторина – ух! какой богатый барин! Такой богатый, такой богатый, что всю Ялту может купить. Вот какой барин Маторин.

Они поднимались в горы больше часа. Маторин уже начинал чувствовать усталость. Попадалось много хорошеньких уголков, где можно было сделать привал, но Ирочка ехала все дальше.

– Я дальше не могу ехать… – взмолился на-

конец Маторин. – Пощадите мои сорок лет.

Остановка была сделана недалеко от дороги, на маленькой поляне, окаймленной ореховыми деревьями. Проводник достал из переметной сумы две бутылки шампанского и плетеную корзиночку с устрицами, раскинул на траве салфетку и незаметно исчез. Ирочке не понравились эти приготовления. Выходило уж слишком банально, как поездка в Петербурге на тройках в какой-нибудь шато-кабак.

– Я не буду пить, – коротко заявила она. – У меня что-то вроде физического отвращения к пьющим дамам, даже когда это делается по какому-нибудь особому случаю.

После Ялты разговор как-то не вязался. Ирочка начинала нервничать, а Маторин молча наблюдал ее и никак не мог попасть в установившийся между ними такой простой, дружеский тон.

Проводнику пришлось дожидаться господ довольно долго, так что он даже успел задремать, а когда очнулся – была уже ночь. Он слышал, что господа о чем-то тихо разговаривают, и барышня смеется каким-то не своим

голосом.

«Вот всегда так... – подумал татарин. – И у богатых, и у бедных все одинаково».

X

Прошло недели две. Паутов часто уезжал в Ялту для каких-то таинственных переговоров с Лундом. Они посылали куда-то телеграммы, с нетерпением ждали ответов, обсуждали, давали друг другу советы и, расставаясь, думали каждый о себе. Дела были плохи, Лунд еще на что-то надеялся, а Паутов приходил в молчаливое отчаяние. Как на беду, Ирочка относилась к отцу с какой-то особенной нежностью, совсем уже не соответствовавшей всему складу ее характера. Она ждала отца и ухаживала за ним с виноватой ласковостью.

– Папа, милый, ты мне не нравишься... У тебя такой вид...

– Э, пустяки!.. У меня тоже свои нервы... Мне вреден крымский воздух.

Однажды Ирочка обняла отца и проговорила с особенной нежностью:

– Папа, что бы ни было, не нужно обращаться к Маторину... Можно все потерять, кроме гордости.

Паутов молча поцеловал дочь. У него были слезы на глазах. События так быстро шли вперед, что не мог помочь даже Маторин, потому что его помощь равнялась бы милостыне.

Ирочка ухаживала и за матерью и даже за бабушкой, но не получала с их стороны никакого ответа. Елена Васильевна смотрела на нее с молчаливым удивлением и только пожимала плечами, а сумасшедшая старуха убегала и пряталась. У девушки опускались руки, и она просиживала на морском берегу совершенно неподвижно, глядя на морскую даль, которая точно манила ее к себе. Там – за чертой горизонта – и простор, и воля, и счастье. Как счастливы птицы, которые могут лететь без конца… Море, над морем небо – и больше ничего. Нет, есть еще солнце – этот источник жизни, а следовательно, и податель всякого счастья и несчастья. Значит, и ее счастье заключается в жизнерадостных лучах этого, светила, в той таинственной лаборатории, откуда льется жизнь всего органического мира.

– Солнце, отдай мое счастье! – шептала Ирочка. – Солнце, отдай мое маленькое счастье… Ты согрело мое сердце, но это еще не

счастье. О, если бы я умела и могла, какой чудный гимн сложила бы в твою честь… Чистые девушки выходили бы каждое утро на морской берег встречать им твое царственное появление, и их чистые голоса сливались бы с таинственной музыкой морских волн, как восторженный любовный шепот.

Особенно она любила сидеть у моря ночью. Она с замиранием сердца ждала, когда послышатся знакомые шаги, и даже закрывала глаза, как подстреленная птица, когда они раздавались.

– Ирочка… – шептал над ней знакомый чудный голос.

– Вы не смеете меня так называть… Это мое детское имя. Так называть меня имеет право один отец… Единственное чистое чувство – это отцовская любовь. Материнской я не испытала и поэтому не знаю.

Он покорно усаживался рядом или у ее ног и молчал. Насколько она ожидала его появления, настолько же теперь испытывала к нему чувство отвращения. Да, она ненавидела его, и он это чувствовал.

– За что вы меня ненавидите? – тихо спра-

шивал он.

– Я? О, за все, за все – за все прошедшее, настоящее и будущее. Я измучилась, думая о вас... Мне больно слышать ваше имя. И вы никогда и ничего не поймете, несчастный... Если бы вы знали, как я ненавижу себя – не вас, о! это было бы слишком много, а себя. Да... Я начинаю думать, что есть проклятые люди и что я принадлежу к их числу.

Он давал ей выговориться и потом начинал говорить сам, говорить те пустяки, которые говорятся только женщинам и которые действуют на них сильнее самой страшной артиллерии логических выкладок и построений. Важен самый тон, гипнотизирующий, баюкающий, не допускающий возражений. А Маторин умел именно так говорить. Ирочка стихала как-то вдруг, как засыпающий ребенок. Ей самой хотелось высказать так много, так много, и не хватало слов. В голове вертелись какие-то обрывки мыслей, ей хотелось чему-то верить, и она в смертельной истоме хваталась за голову, которая оказывалась лишней.

– Милый, это страшно... – шептала она,

прижимаясь к нему. – Да, страшно не верить ничему, не верить даже звуку собственного голоса… Мне ничего от тебя не нужно… ничего… О, как я благодарна за то счастье, которое испытала, и как я жалка… Одним словом, я схожу с ума. Мне кажется, что каждый день – мой последний день, каждое восходящее солнце – мое последнее солнце. Милый, если бы ты мог понять хотя миллионную долю того, что переполняет меня всю. Мне делается жаль себя… Как в детстве, я опять хочу быть доброй, умной, справедливой, любящей. Я теперь люблю всех… даже камень, на котором сейчас сижу. Но я ни в чем не обманываю себя, а всего меньше в той роли, которую случайно сыграла в твоей жизни. Помнишь, как ты сказал при первой встрече: «Я помню вас совсем маленькой»… Тебе нравится любовь некрасивой девушки, затаенная страсть, то, чего ты не испытал. О, как я сейчас понимаю все… все… все!.. И все благословляю и все проклинаю…

Она и плакала, и смеялась, охваченная сладким безумием. Он слушал ее и невольно поддавался какому-то уносившему чувству,

как несет пловца быстрая река.

– Как хорошо, что никто, никогда и ничего не узнает, – повторяла она, загадочно улыбаясь. – Ведь есть неизъяснимая прелесть в каждой тайне... Никто, никто, никто!.. Так счастливы были языческие боги... Тайна – это весь мир, каждый день, каждый удар сердца, и тот счастлив, кто владеет такой тайной.

Эта мысль о тайне занимала Ирочку в особенности, и она любила возвращаться к ней. Даже в других она ценила самую способность иметь какую-нибудь тайну. Так, отец сказал ей:

– Ира, знаешь, я придумал одну вещь, о которой узнаешь потом...

– Да?

– Представь себе, самая простая вещь, а между тем разрешает решительно все. А сколько я мучился, если бы ты знала... Уверен, что ты меня одобришь.

Паутов сделался в последние дни необыкновенно нежен с дочерью, повеселел и походил на прежнего Паутова. Он и ел по-прежнему, придумывая самые изысканные блюда. Его тайна заключалась в мысли о самоубий-

стве. Зачем тянуть, когда можно разом покончить все? А главное, не будет нарастающего унижения, не будет жалкого самообмана – раз, и ничего нет. Глубокий сон, нирвана, покой… Умные люди даже в почтенной древности так именно и делали, чтобы не переживать мук агонии. Будет, довольно. Паутову делалось весело при одной мысли, как он ловко «раскланяется с миром», как говорят китайцы о смерти. Вероятно, большинство его осудит, за исключением Ирочки, которая все поймет. О, это умная девушка…

Раз они вместе отправились в Ялту. Паутов, конечно, завернул в «Россию», где был своим человеком. Лакеи встречали его с той почтительностью, как встречают только настоящих господ. Обед был заказан с обычными церемониями, причем несколько раз вызывался и повар, метр-д'отель.

– Уметь поесть – это величайшее искусство, – резонировал Паутов, когда они наконец выбрали себе столик на террасе. – Самый умный народ, конечно, римляне, и они понимали…

Паутов так и не договорил, что понимали

римляне, и сделал вид, что смотрит на море. Ирочка невольно обернулась. За два столика от них разместилась какая-то компания, а среди дам Ирочка узнала Маню Шмурло. Она не подошла к ним поздороваться, а Паутов продолжал упорно смотреть на море. Получилось довольно неловкое положение, и обед был испорчен. С своей стороны, Маня Шмурло тоже не узнавала Паутовых и с искусственным оживлением что-то рассказывала усатому господину в цилиндре. Паутов с удовольствием перешел бы на другую сторону террасы, но было уже поздно. На этом основании обед оказался скверным и все кушанья подвергались самой строгой критике. Ирочка сидела спиной к веселой компании и старалась поскорее кончить этот неудачный обед. Когда подали камбалу, приготовленную по какому-то особенному рецепту, она увидела, что отец изменился в лице и как-то жалко заморгал глазами, Она слышала только, что за веселым столом была произнесена фамилия Маторина...

Случилось нечто ужасное. Ирочка ясно расслышала одно английское слово, которое

заставило Паутова побледнеть. Эта погибшая Маня Шмурло жестоко мстила за свой позор и рассказывала роман Ирочки с Маториным своим собеседникам... У Ирочки все потемнело в глазах. Это был удар прямо в лицо. Она вышла из-за стола, пошатываясь, как пьяная, и чувствовала, что ее провожают улыбками и насмешливыми взглядами. Паутов с лестницы хотел вернуться, но она его не пустила.

– Домой... – умоляла она.

Паутов не спал всю ночь. Он не мог поверить тому, что болтала Маня Шмурло, но его точно жгло роковое английское слово, каким была заклеймена его дочь. Недоставало только этого удара...

Утром он вышел на морской берег, чтобы немножко освежиться, и удивился, когда из воды его окликнул голос Ирочки.

– Папа... милый... прощай...

– Что ты говоришь, сумасшедшая?

– Говорю: прощай. *Они* правы...

Она поплыла от берега, и Паутов с ужасом понял ее намерение. Он что-то такое кричал, умолял, требовал лодку, а голова, Ирочки бы-

ла все дальше и дальше, пока не превратилась в черную точку, которая исчезла в морской синеве.

Через час море прибило к берегу мертвое тело, которое называлось еще вчера Ирочкой.

1898

Лист желтеет

I

Утро было великолепное, светлое, тихое, с бодрящим холодком. В начале сентября, когда наступает бабье лето, такие утра повертываются нередко, напоминая о быстрых радостях минувшей горячей поры. Варвара Ивановна особенно любила именно это бабье лето и не пропускала ни одного солнечного утра.

Было всего еще девять часов, когда она вышла на террасу, кутаясь в теплый оренбургский платок. Ее сразу охватил приятный утренний холодок, и она пожалела мужа, который вставал так поздно и пропускал, благодаря лени, лучшее время дня. Да, все было хорошо... И этот запущенный старый сад, и далекий вид, открывавшийся с конца главной аллеи, где была устроена беседка в самом отчаянном русском стиле, и даже, начинавшие вянуть цветы. На всем лежал отпечаток начинавшегося увядания, но это была здоровая и бодрая старость хорошо поработавшего человека. Время не было потеряно напрасно, ни

одной минуты не было потрачено даром. Природа точно подводила итоги сделанному, и Варвара Ивановна любила думать в этом направлении, гуляя по аллее. Мысли неслись быстро, как перелетные птицы, неслись в какую-то безвестную даль, нагоняя тихую грусть и сладкое раздумье.

С террасы она спустилась на небольшую круглую площадку, где были разбиты цветочные клумбы по всем правилам садовой геометрии. Увы, половина цветов уже покончила свое существование естественным путем, а другая половина была захвачена недавним утренником. Красавицы-георгины умирали в полном цвету. Жаль было на них смотреть. Ведь это несправедливо – умирать в разгар жизни. Варвара Ивановна была уверена, что растения могут чувствовать, конечно, по-своему. Ведь каждое растение тянется к свету, следовательно, оно должно страдать, если лишить его света. То же самое и с теплом. Другое, что бросалось ей в глаза, были куры, которые теперь преспокойно разгуливали в садике, составлявшем для них в течение лета запретный плод. Да, они уже завладели уми-

равшими цветниками, и садовник не выгонял их. Калитка во двор стояла открытой. Все равно вопрос заключался в нескольких днях. Варвара Ивановна остановилась и наблюдала, как хлопотливо рылись в грядах молодые цыплята, недавние любимцы детей. Вон ходит и maman, очень почтенная матрона, которую дети прозвали почему-то «тещей». «Теща» закончила воспитание своего выводка и сердито отгоняла от себя недавних любимцев, за которых готова была еще недавно отдать жизнь. Варвара Ивановна изо дня в день наблюдала эту маленькую куриную драму и жалела цыплят, которые в первое время не хотели понять счастья наступившей самостоятельности и жались одной кучкой, как одинаково обиженные люди. От этого куриного выводка мысли Варвары Ивановны незаметно скользнули на свое собственное гнездо. Неужели она когда-нибудь почувствует материнскую холодность к своим собственным детям, как «теща»? Нет, человеческая натура в этом случае справедливее… Правда, что некоторая разница уже чувствовалась. Ей казалось, что она всех детей любит одинаково, а

отец отдавал явное преимущество Соне.

– Мальчишки – это твоя забота, а дочь моя, – объяснял он.

– Меня это удивляет, Павел Васильич…

– Нечему тут удивляться… Закон природы, что мать любит больше сыновей, в которых видит будущих мужчин. А я люблю свою маленькую женщину…

– Тоже закон природы? Это уж глупости.

Проверяя себя, Варвара Ивановна нашла, что она поступает тоже как будто «теща», хотя и с другими целями. Два мальчика учились в гимназии, а «маленькая женщина» в пансионе. Варвара Ивановна отправляла детей в Москву раньше, а сама оставалась на даче еще недели две, чтобы воспользоваться бабьим летом в деревне. Павел Васильич не протестовал, но, кажется, немного завидовал детям. Его тоже тянуло в Москву, где начинался съезд знакомых с разных концов России.

– Ничего, пусть поживут одни, – говорила Варвара Ивановна. – Зато как они все обрадуются, когда мы вернемся. Маленькая разлука оживляет семейные чувства, а затем придает

самостоятельность. Гриша выглядит уже совсем большим, когда остается один.

Гуляя по аллее, Варвара Ивановна невольно пожалела свое «маленькое человечество», как называл Павел Васильич детей. Как бы они бегали и веселились, а теперь бедняжки томятся в классе, еще полные деревенских летних впечатлений. Это первый житейский холодок, который служит только предвестником последующих испытаний.

Варвара Ивановна зашла в беседку и долго любовалась открывавшимся отсюда видом. Дача стояла на горе, а сейчас под ней, на берегу реки, рассыпались деревенские избы, за рекой поднимался уступами крутой берег. Благодаря светлому осеннему воздуху, все мелочи широкой картины вырезывались особенно отчетливо. Варвара Ивановна не была в беседке уже с неделю и с грустью заметила, что за это время березы на горе уже пожелтели.

«Да, вот и лист желтеет», – подумала про себя Варвара Ивановна и вздохнула по неизвестной причине.

II

«Собственная дача» была мечтой всей жиз-

ни для Говоровых, и эта мечта наконец осуществилась. Они гордились этой собственной дачей и даже как будто стеснялись немного перед знакомыми, у которых не было собственной дачи. Ведь это такое счастье, а всякое счастье эгоистично по своей природе.

Раздумавшись на эту тему, Варвара Ивановна припомнила одно обстоятельство, которое время от времени отравляло ей чувство собственности. Дело в том, что «собственная дача» была приобретена по случаю. Говоровы уже несколько лет откладывали понемногу деньги на «монрепо», приценивались и составляли планы будущего уютного уголка, а кстати просматривали появлявшиеся в газетах объявления о продававшихся имениях, где их внимание особенно привлекали такие ремарки, как «случайно», «за отъездом», «быстро» и т. д. Между прочим, они наткнулись на таинственное объявление, гласившее, что продается отличная барская дача «совершенно случайно». Последняя фраза их заинтриговала. Будущие собственники уже испытывали припадки легкой наживы, в чем не сознавались даже самим себе.

– Ого, совершенно случайно, – вслух думал Павел Васильич. – Нужно будет посмотреть. Какой-нибудь прогоревший барин или замотавшийся маменькин сынок. Бывает… Сейчас видно по фразировке: *совершенно случайно*.

Не теряя дорогого времени, Говоров отправился по газетному адресу навести необходимые справки. Оказалось, что автор публикации, Владимир Гаврилыч Чащин, проживает у себя в имении, т. е. на той собственной даче, от которой хотел избавиться. Пришлось ехать прямо на дачу. Действительность превзошла самые смелые планы, какими только задавались когда-нибудь Говоровы. Прекрасная дача, устроенная для себя, продавалась в буквальном смысле за полцены, так что Говорову сделалось даже немного совестно.

– Мне кажется, что этот господин не совсем того… – объяснял он жене, вернувшись из поездки.

– Именно?

– Да так… Представь себе, он точно ненавидит свою дачу, как можно ненавидеть только живое существо.

– А кто он такой?

– Бывший помещик… А теперь где-то служит. По всему видно, что человек получил прекрасное воспитание, все привычки порядочного человека, – одним словом, барин.

– Семейный?

– Кажется… А впрочем, ничего не могу сказать.

На этом пункте объяснения Говорова совершенно прекратились. Он ничего не мог ответить толком, и Варваре Ивановне приходилось, догадываться уже самой. Ну, конечно, женатый – как же иначе? Разве холостые устраивают для себя дачи? Само собой понятно, а Павел Васильич просто рохля, как все мужчины. Впрочем, могла быть и не жена, а какая-нибудь «особа», что при нынешней испорченности встречается нередко.

– А нам-то какое дело?! – рассердился Говоров задним числом. – Ну какое мне дело, была у Чащина жена или любовница, или черт знает кто?

– Все-таки…

– Ах, отстань, ради Бога!..

Супруги даже немного поссорились по этому поводу, причем Павел Васильич, по необъ-

яснимой логике, оказался неисправимым эгоистом. Варвара Ивановна серьезно обиделась на него.

Дело с покупкой дачи совершилось необыкновенно быстро, так что первое время Говоровы даже удивлялись, что у них есть собственная дача. Всю жизнь прожили по чужим углам, а тут сразу собственники. В течение первого лета это чувство не оставляло их, и они любили разговаривать на эту тему.

Лично для Варвары Ивановны приобретение дачи было связано с одним неприятным эпизодом, о котором она вспомнила именно сегодня. Когда они заканчивали устройство нового гнезда по своему вкусу, в одно прекрасное утро к даче подъехал дорожный экипаж, из которого выскочил полный мужчина с великолепной окладистой русой бородой. Он позвонил у калитки и долго о чем-то разговаривал с садовником, заменявшим дворника. Варвара Ивановна случайно выглянула в окно и обомлела от ужаса. Это был он, Аркадий Степаныч Мухин, которого она считала уже несуществующим. Это была ужасная минута...

На беду, Павел Васильич гулял в саду и тоже вышел на звонок.

Произошел приблизительно такой диалог.

– Как жаль, что я опоздал, – говорил приезжий. – Я летел из-за границы, чтобы купить эту дачу... да. А этот сумасшедший уже успел ее продать. Не мог подождать какого-нибудь месяца, а еще приятель. Совершенно сумасшедший...

Повинуясь безотчетному движению, Варвара Ивановна вышла тоже к калитке. Мухин посмотрел на нее прищуренными глазами и проговорил:

– Если не ошибаюсь, мы с вами встречались, Варвара... Варвара Ивановна.

– Да... Бывают приятные неожиданности...

Она ответила с спокойной улыбкой, не изменив себе ни одним звуком, ни одним движением. Павел Васильич в качестве нового проприетера счел долгом пригласить гостя позавтракать, а тот имел нахальство принять это приглашение. Боже мой, каких ужасных два часа провела Варвара Ивановна... она все время была как на иголках и прибегла к самому решительному средству, к которому жен-

щины иногда обращаются в критическую минуту. На сцену появились дети. Они смотрели на гостя своими удивленными детскими глазками и ничего не понимали, а Варвара Ивановна точно защищалась ими. Гость, кажется, понял это и несколько раз повторил:

– Какие милые детки…

– А вы по-прежнему живете бобылем?

– О, да… Семейное счастье – удел избранников, а я давно уже вышел в тираж.

III

До завтрака оставался целый час. Успели перебрать всех старых общих знакомых, а время точно остановилось. Гость иногда отвечал рассеянно, занятый какими-то своими мыслями. Наконец он проговорился.

– Знаете, на этой даче разыгралась тяжелая семейная драма… Теперь дело прошлое, и я могу говорить. У вашего предшественника была премилая жена… Ее звали Верой Федоровной. Это была совсем особенная женщина… как сказать… со стороны она могла показаться даже странной. Да… Я ее называл экзальтированной идеалисткой. Знаете, есть такие особенные натуры, не умеющие приспо-

собляться... Чащины слыли за счастливую парочку, хотя... Кто может проникнуть в глубину женской души и сказать, что вот эта женщина меня любит? Я бы, по крайней мере, из чувства самосохранения никогда не позволил себе этого сказать... Вера Федоровна очень мило играла на рояле... пела... вообще обладала целым рядом тех маленьких женских талантов, какие скрашивают жизнь. Я думаю, что ее главное несчастье заключалось в том, что у нее не было детей. Может быть, поэтому она скучала, иногда даже плакала... Ее страстью были цветы. Это было что-то болезненное... Она даже разговаривала со своими любимцами... Потом... В жизни каждого бывают роковые катаклизмы... да. Потом она встретилась с человеком, который имел на нее какое-то непонятное и ничем необъяснимое влияние. Она и любила его и ненавидела в одно и то же время, что тоже случается с такими натурами. Он, этот избранник сердца, увлек ее... да... Но она была вся чистая и все рассказала мужу, а этот негодяй, бывший друг дома, свой человек, самым позорным образом скрылся. Да, бежал, как мерзавец...

На последней фразе гость сделал особенное ударение и посмотрел своими красивыми глазами на Варвару Ивановну, у которой на лице выступили красные пятна. О, она отлично понимала, о каком негодяе шла речь, и инстинктивно схватилась за своего старшего мальчика.

– Что же он, муж? – спрашивал Павел Васильич.

– Он? Представьте себе, он безумно ее любил и поэтому... Одним словом, между ними разыгралась довольно бурная сцена, и он все-таки нашел в себе силы простить ее, но она не нашла в себе силы принять этого прощения. Она отравилась.

– Вот вам и идеальная женщина! – удивился Павел Васильич.

Увлекшись рассказом, гость хотел показать даже комнату, где разыгрался финал драмы, но Варвара Ивановна протестовала.

– Ради Бога, не нужно... Тень этой отравившейся несчастной женщины будет преследовать меня, и я не войду в эту комнату, где...

– Виноват, это было даже не в комнате, а на террасе, на которой мы сейчас сидим. Да,

да...

Варвара Ивановна быстро поднялась и еще быстрее ушла.

– Да, действительно... – точно жевал слова Павел Васильич и в оправдание жены прибавил: – Она у меня, знаете, нервная... Да и детям это не следует знать.

– Простите, просто сорвалось с языка. Я человек без предубеждений и, как видите, даже хотел купить эту отравленную воспоминаниями дачу.

Варвара Ивановна, несколько успокоившись, вернулась и проговорила, обращаясь к мужу:

– Я тебе говорила, что здесь что-нибудь было... Вот тебе и *совершенно случайно*.

– Да, да, – виновато бормотал Павел Васильевич. – Но кто бы мог это предвидеть? Случайность, душа моя...

Почему-то Варваре Ивановне муж показался сейчас тем, что называют колпаком, точно он сделался ниже ростом и как-то весь распустился. Она готова была почти возненавидеть его. А гость казался рядом с ним таким молодцом, хотя уже был в годах.

– Если бы вы позволили мне взглянуть на ваш сад… – просил Мухин, когда кончился завтрак.

Это было уже возмутительно, тем более, что по деревенскому этикету пришлось идти с ним хозяйке.

– Вы не можете представить себе, Варвара Ивановна, как я рад, что встретил вас, – говорил он, когда они вдвоем шли по аллее.

– А вы не можете представить, как я удивляюсь вашему… вашему…

– Нахальству? – поправил Мухин с улыбкой.

В тоне его голоса послышались уже фамильярные ноты, которые заставили Варвару Ивановну вздрогнуть. Она даже оглянулась на террасу, где оставался муж. Это инстинктивное движение заставило гостя улыбнуться.

– Несчастный, это вы про себя изволили рассказывать? – уже вполголоса спросила она. – Как я вас знаю… Вы мне во второй раз отравляете жизнь…

– Поверьте, что против всякого желания…

– Вы ее любили? – спросила Варвара Ива-

новна после паузы.

Теперь он вздрогнул и посмотрел на нее как-то испуганно, точно она подслушала его тайные мысли.

– Не знаю... Мне начинало казаться, что любил, то есть уже после ее смерти.

– Знаете, что я вам скажу: вы гадкий... нахальный... В довершение всего вы настолько утратили всякое нравственное чувство, что способны ломаться там, где эта несчастная жертва вашего эгоизма покончила самоубийством. Вообще я вас ненавижу и презираю, как гадину... Вы даже не стоите того, чтобы вас убить.

Он слушал молча, опустив голову, и это еще больше возмущало ее.

– Вы сегодня совершили двойное преступление, гадкий человек... Это место только не кричит против вас. Здесь страдала и мучилась ваша жертва, здесь наконец живу я... Как вам не стыдно было перешагивать порог нашего дома и вторгаться в семью? Боже мой, сколько слез, сколько горя, мук и раскаяния принесли вы мне...

Она в отчаянии ломала руки.

– Сядемте… – предложил он каким-то упавшим голосом.

Ей показалось, что он пошатнулся, как пьяный. Опустившись на скамью, он закрыл лицо руками и зарыдал. Плачущий мужчина вообще не возбуждает сожаления, и Варваре Ивановне хотелось просто ногой оттолкнуть эту гадину.

– Вера… Верочка… – шептал он сквозь слезы. – Я знаю, что она простила меня… у меня есть даже письмо…

– Значит, все в исправности, до оправдательного документа включительно?

– А если я ее любил?! – как-то застонал он.

– Вы? Любили?..

– Да, я… Любил и сознавал, что недостоин ее взгляда, одного ее слова… Вы совершенно правы, считая меня гадиной. Но я не хотел губить ее душу… не хотел, чтобы она презирала самое себя.

IV

Это была самая жалкая сцена, какую только приходилось когда-нибудь испытать Варваре Ивановне. Ей пришлось чуть не утешать этого отвратительного человека…

– Ради Бога, только выслушайте меня! – молил он, хватая ее за руку. – Меня замучила совесть… я плохо кончу… я ненавижу самого себя в тысячу раз больше, чем ненавидите сейчас меня вы. Ведь вы так мало меня знаете, а я… Боже мой! Мне кажется, что я заражаю самый воздух, которым дышу… Но ведь и я человек, и меня что-то создало именно таким, каким я есть. В жизни есть обстоятельства, которые сильнее нас… Я не верю ни в добродетель ни в порок – все это исключительно дело одного темперамента, за который обвинять человека нельзя. Знаете, с какими мыслями я ехал сюда?

Он с улыбкой достал из кармана маленький револьвер.

– Перестаньте, такие люди не стреляются, – спокойно заметила она и даже засмеялась. – Все это слова, слова и слова…

– Вы ошибаетесь, Варвара Ивановна, – ответил он, не обижаясь. – Именно такие люди и стреляются… Я даже выбрал место… вашу беседку… Подъезжаю – и вдруг кого же встречаю!..

– Совсем трогательная картина…

– Нет, серьезно... Нужно же было так случиться, и это могло случиться только со мной... Мне даже умереть по-человечески не удается.

– Вот что, Аркадий Степанович... Вам пора ехать.

– Вы меня гоните?

– Да...

Он покорно поднялся и пошел за ней, как провинившийся ребенок. У клумбы с цветами он остановился и сорвал на память белую маргаритку. Этот человек не мог ничего делать без театрального эффекта. О, как Варвара Ивановна презирала его сейчас!

Когда нежданный гость уехал, Павел Васильич заметил:

– А этот гость того... гм...

– Именно?

– Зачем он приезжал сюда?.. Как мне кажется, он, то есть у него что-то здесь-таки было. Очень уж сладко распространялся об этой несчастной идеальной женщине.

Варвара Ивановна только презрительно пожала плечами, припомнив фразу, которую ей сказал на прощанье Мухин:

– Мы видимся в последний раз... Я знаю, что это вас радует. Да, в последний... Признайтесь, что вы побаивались меня?.. Ну, да я не злопамятен... Прощайте.

Даже добродушный Павел Васильич догадался, что странный гость приезжал неспроста. Он обыкновенно ошибался в людях, как все очень добрые люди, судящие о других по себе. Эта догадливость не к месту рассердила Варвару Ивановну. Она слишком много пережила за эти часы и чувствовала непреодолимую потребность выплакаться. Да, теперь собственная дача была отравлена навсегда, и Варвара Ивановна возненавидела ее. Нужно же было приехать этому несчастному человеку! Какое счастье иногда не знать что-нибудь, как сейчас ничего не подозревает Павел Васильич. Недоставало только, чтобы он догадался окончательно...

Какую ужасную ночь пережила Варвара Ивановна после этого визита! То прошлое, которое казалось позабытым и похороненным навсегда, поднялось с новой силой. Кроме того, ей казалось, что по комнатам кто-то ходит, и даже различала легкие женские шаги. Да,

это была она, потревоженная тень той женщины, которая заплатила жизнью за свою роковую ошибку. Варвара Ивановна несколько раз садилась на своей постели и слышала, как билось ее собственное сердце, как стучала кровь в висках, и опять этот таинственный шорох, заставлявший ее дрожать. Она думала, что сходит с ума... Ее неудержимо тянуло обойти все комнаты и осмотреть все; углы, чтобы убедиться в собственной галлюцинации. Потом ей начало казаться, что это бродит она сама, что она точно разделилась и ее двойник не находит себе покоя. Она едва дождалась рассвета, когда таинственные шаги прекратились.

Эта мука продолжалась сряду несколько ночей, и Варвара Ивановна не решилась ничего сказать мужу, чтобы не показаться смешной в его глазах. Невидимая тень преследовала ее и днем. Ей казалось, что кто-то невидимый стоит за ее стулом, и, гуляя в саду, она слышала шаги за собой. Этот проклятый дом был наполнен этой женщиной. Раз она ясно слышала чей-то шепот в саду. Кто-то назвал ее по имени, и она опрометью бросилась

на террасу, как ребенок, испугавшийся собственной тени. Вместе с тем Варваре Ивановне страстно хотелось увидеть эту таинственную женщину, по крайней мере узнать, какая она была: высокая, тонкая, брюнетка или блондинка? Оставшийся после Чащина садовник хорошо ее знал, но отличался неразговорчивостью и на расспросы барыни ответил довольно сурово:

– Что тут рассказывать… Известно: грех.

Старую барыню помнила старуха, которая приходила полы мыть, но при всем желании не умела ничего рассказать.

– Хорошая была барыня… великатная… Плакала часто, потому как Господь обидел детками… Придет к нам на деревню и с нашими ребятишками возится… Добрая была душенька, а только Бог веку не дал.

Варвара Ивановна настойчиво искала хоть каких-нибудь следов своей таинственной предшественницы и только в беседке, на колонне, нашла две переплетенных между собой буквы, вырезанных ножиком, – В и А. Она поняла, почему Мухин хотел застрелиться именно в беседке. Да, у них здесь были свида-

ния, может быть, здесь они обменялись первым поцелуем, сюда она торопливо шла вечером, скрываясь от собственной тени, и здесь же мечтала о нем, об этом недостойном и низком человеке. Варваре Ивановне начинало казаться, что все это делала она сама, и что ее уже нет на свете, и что в беседку приходит уже только ее печальная тень. Она по целым часам сидела в беседке, ожидая чего-то и чувствуя, что поступает нехорошо. Ей делалось совестно, но она не имела сил уйти отсюда, с этого проклятого места, и снова переживала собственное прошлое, которое неразрывно было связано с настоящим.

Она была двадцатилетней девушкой, когда познакомилась с ним на морском берегу, в Финляндии. Тогда ему было за тридцать. Это был лев курорта, беззаботный, веселый, жизнерадостный. Ему все улыбалось, и все ему улыбались. Одно его присутствие, как солнечный луч, вносило какую-то радость, и все точно чувствовали себя легче. Курорт был до невозможности скучный, и такой кавалер, как Мухин, являлся для дамского общества настоящей находкой. Он, кстати, умел и уха-

живать как-то безобидно, – ухаживал сразу за всеми. Между прочим, и Варвара Ивановна не избегла общей участи. Этот дамский баловень то ухаживал за ней, то не замечал, то начинал преследовать своими бесконечными шутками. Она даже несколько раз плакала потихоньку, проклиная собственную ненаходчивость.

– Я вас ненавижу, – сказала она ему однажды вполне откровенно.

Он с удивлением посмотрел на нее и улыбнулся одними глазами, как умел это делать он один.

– Очень ненавидите? – спросил он потом с фамильярностью избалованного человека.

– Да, как умею. За что вы меня преследуете?

Он опять засмеялся и ничего не ответил. После этой мимолетной сцены Варваре Ивановне начало казаться, что он потихоньку наблюдает ее и относится с уважением. О, она чувствовала на себе теплоту этих чудных глаз и переживала сладкое волнение просыпавшейся женщины. Вероятно, так же смутно волнуется похороненное в земле зерно, когда

его согреет первый весенний солнечный луч. Она не отдавала себе отчета, что с ней делается, и только чувствовала, что ей хорошо, чудно хорошо, как еще никогда не бывало. Другие водяные дамы заметили ее счастливое настроение и завидовали ей, как счастливой избраннице, – ведь любовь заразительна, как всякая другая болезнь, и для всех было ясно, что Мухин в конце концов сделает Варваре Ивановне предложение.

Поощренная этими маленькими успехами, девушка быстро пошла вперед, тем более, что водяной лев в ее присутствии начал теряться и не раз попадал в очень смешное положение. Роли переменились. Теперь уже Варвара Ивановна преследовала зазнавшегося баловня.

Но эта опасная игра закончилась совершенно неожиданно. На одном из пикников, которые так мило умел устраивать Аркадий Степаныч, Варвара Ивановна находилась в особенно счастливом настроении. Пикник закончился прогулкой в сосновом лесу, где «не было дорожек», что составляло особенную прелесть. Компания разбилась сама собой на

парочки, и Варвара Ивановна осталась с глазу на глаз с Мухиным. Они шли под руку по сосновой чаще, где так и обдавало смолистым застоявшимся ароматом.

– Вы не боитесь? – спрашивал Мухин, прижимая к себе руку девушки.

– Я? Вот это мило...

Ей вдруг сделалось как-то особенно легко. Голова чуть-чуть кружилась. А он говорил о своей любви, о своих страданиях, о том, что не узнаёт самого себя, что ему жизнь опостылела, что он покончит с собой, если не встретит сочувствия. Она молчала, чувствуя, как вся дрожит и как у нее захватывает дух. Какая чудная минута, сколько поэзии...

– Всего одно слово, Варвара Ивановна... Варя...

И это последнее слово было сказано.

V

На другой день Мухин исчез, оставив после себя письмо, жалкое, унизительное, обидное. Он писал, что уезжает по неотложным делам всего на несколько дней, но это была жалкая ложь, сквозившая в каждой букве. Варвара Ивановна поняла, что весь расчет по-

строен только на том, чтобы выиграть время и дать ей срок прийти в себя и одуматься. Она не плакала и наружно ничем не выдала себя, продолжая прежний образ жизни. Привозившая ее на морские купанья тетка ничего не подозревала, как и все другие, хотя дамы, участвовавшие в пикнике, поглядывали на нее с загадочными улыбками, и каждый такой взгляд колол и резал ее. Но приходилось все переносить и делать вид, что ничего не замечаешь. Всякая мысль о счастье в будущем была закрыта навсегда. Девичьи гордые мечты разлетелись дымом. На общепринятом жаргоне это называлось «девушкой с прошлым».

Да, это было проклятие, нечто вроде первородного греха. С морского берега Варвара Ивановна вернулась домой совершенно другим человеком. Приходилось начинать новую жизнь, чтобы искупить свою невольную ошибку. Но разве для женщины есть искупление? Разве женщине что-нибудь прощается? Мужчина делает, что хочет, и ему все сходит с рук. У Варвары Ивановны было несколько женихов, но раньше она медлила выбором, по-

тому что не любила ни одного. Они бывали в доме, говорили приторные любезности, позволяли себе почтительно ухаживать за ней, насколько это позволялось приличиями. А теперь? Боже мой, если бы они узнали, что она такое, с каким презрением все они отвернулись бы от нее. О, она теперь в каждом мужчине начала видеть своего злейшего врага, человека, который по праву и без сожаления бросит в нее первый камень…

И за всем тем ей приходилось разыгрывать роль девушки-невесты, выезжать в концерты, на балы, вообще проделывать тот обязательный круг удовольствий, который полагается девушкам в ее положении. Тогда они жили в Петербурге, у отца был большой круг знакомства, и жизнь катилась быстро. Но она не могла так продолжаться вечно, и Варвара Ивановна начала чувствовать себя лишней в родной семье. Это было гнетущее сознание.

– Отчего ты не хочешь выходить замуж? – ласково допытывался отец.

– Так, папа… Мне никто не нравится.

– Гм… да… Прежде это делалось иначе, а нынче девушки иногда требуют невозможно-

го. Нельзя для каждой найти героя... А время идет да идет, Варя. Не успеешь оглянуться, как... Впрочем, я это так говорю, к слову. Всякое принуждение я считаю безнравственным...

Как ей хотелось броситься к отцу на шею и рассказать ему все, выплакать свое девичье горе и вымолить прощение, но какая-то непреодолимая сила удерживала ее от такого объяснения. Ей делалось страшно жаль отца.

Зимой она встретила случайно Мухина в концерте. У нее заходили круги пред глазами. Он подошел к ней с улыбкой, как добрый старый знакомый.

– Как странно, что мы до сих пор не встречались нигде...

Она молчала и только смотрела на него глазами, полными отчаяния.

Он был красив по-прежнему и по-прежнему жизнерадостен. Может быть, он был счастлив, и за ним ревниво следила не одна пара женских глаз. А она даже не могла отойти от него, чтобы не выдать себя головой. Это его даже заинтриговало, и его красивые глаза затеплились предательской теплотой. Она что-

то такое болтала и даже смеялась, так что он наконец проговорил:

– А вы умненькая...

Это замечание для нее было ударом хлыста, и она почувствовала даже физическую боль, как от удара. Но в этот же момент ей сделалось все понятным. Господи, ведь она человек, живой человек, и еще целая жизнь впереди... О, она будет жить и будет давать жизнь другим и в этой повторенной жизни найдет свое оправдание. Кому нужно ее горе, ее отчаяние, ее слезы?

В течение двух сезонов она отыскивала себе мужа. Иллюзий больше уже не существовало, золотые сны юности погасли, и приходилось обратиться к прозе. Разве одна она такая несчастная? Разве все девушки, которые выходят по любви, счастливы? Разве одна ошибка губит всего человека? В Варваре Ивановне с томительной жаждой проснулась женщина, та женщина, которая вся уходит в свое гнездо, в свои маленькие семейные радости. О, она будет чудной женой, матерью и другом того человека, который смело протянет ей руку.

И такой человек нашелся. Это был Павел Васильевич Говоров, тогда скромный чиновник, который бывал у них в доме и оставался всегда в тени, как в пьесах лица без речей. Варвара Ивановна и раньше чувствовала, что нравится ему. Он так хорошо смотрел на нее. Как партия, Говоров не представлял собой ничего завидного, но его можно было вытащить в люди, как человека вполне честного и труженика. Он не смел даже ухаживать за ней, как это делали другие, и Варваре Ивановне нравилось это молчаливое обожание. Она чувствовала, что именно этому человеку может сказать все, как никому другому. Объяснение произошло совершенно неожиданно. Как-то они остались в гостиной вдвоем, и он проговорил:

– Варвара Ивановна, мне кажется, что у вас что-то есть на душе... Простите, я не имею права на такой вопрос, но...

– Вы угадали...

Она смотрела прямо ему в глаза, точно хотела видеть в них все свое будущее. Да, он был тот хороший человек, которого ей недоставало. Она даже помогла ему выговорить

роковое признание.

– Я не скажу, что могу вам ответить той же монетой, – ответила она, еще раз наблюдая его. – Но скажу одну вещь, которую никто больше от меня и никогда не услышит. Я слишком много пережила и мучилась, чтобы повторяться...

Она с полной откровенностью рассказала ему про свой неудавшийся роман, продолжая его наблюдать.

Он выслушал ее терпеливо до конца и проговорил:

– Если только в этом дело, Варвара Ивановна... О, Боже мой, если бы вы знали, что у меня сейчас на душе!..

Это не было даже великодушием. Павел Васильич был просто по натуре глубоко честным человеком, а любовь освящала все. Он отнесся к Варваре Ивановне, как к больному ребенку, и успокаивал ее так просто и хорошо

– О прошлом никогда не будет сказано ни одного слова: оно умерло, – решил он. – Я только простой и любящий человек... Вы не раскаетесь, что пойдете со мной по одной дороге.

И он сдержал свое слово. Первое, что сделали молодые, это уехали в Москву, чтобы навсегда покончить с тяжелыми петербургскими воспоминаниями. Говоров отказался от всякой протекции своей влиятельной женинной родни и остался таким же тружеником, каким был до женитьбы. Появление первого ребенка окончательно изгладило все следы прошлого.

Варвара Ивановна была счастлива в своей семейной жизни, и новые заботы, интересы и стремления затушевали прошлое. Мужа она глубоко уважала, хотя и не любила его так, как описывают в романах. Она была довольна своим тихим семейным счастьем и ничего лучшего не желала. Жизнь текла в маленьком масштабе, и какое-нибудь приобретение собственной дачи являлось уже крупным событием.

И вдруг это мирное существование нарушилось неожиданным появлением Аркадия Степаныча, появлением в такой момент, когда этого никто бы не мог предвидеть. Варвара Ивановна еще раз пережила страшную пытку, и ей казалось, что она обманывает му-

жа, скрыв от него, что такое этот Мухин. Но зачем было тревожить Павла Васильича? А тут еще тень этой Веры Федоровы, которая преследовала Варвару Ивановну по пятам.

Вот о чем раздумалась Варвара Ивановна, сидя сегодня в своей беседке. Сколько было пережито... Мухин опять пропал без вести. Она не знала ничего о его существовании уже лет десять. Жизнь шла своей колеей, и буквы, вырезанные на колонке, скоро исчезнут. Варвара Ивановна больше не волновалась. Все понемногу было забыто, до скорбной тени безвременно погибшей идеальной женщины включительно. Развалилась и самая беседка, где желал застрелиться Мухин,– ее даже нельзя было ремонтировать, а приходилось строить новую. На сгнивших деревянных ступеньках прорастала зеленая трава, крыша покрылась бурыми пятнами мха, а из водосточной трубы росла молоденькая березка. Время делало свое дело.

А сколько затаенной ласки в этом осеннем солнце, точно оно не верит уже самому себе, сколько какой-то больной поэзии в блекнущих тонах умирающей зелени, в этой про-

зрачности ненасыщенного испарениями воздуха, в каждой линии точно просветленного пейзажа. По аналогии Варваре Ивановне припомнилось свое собственное лицо, на которое она сегодня обратила особенное внимание в зеркале. У ней уже давно появились морщинки вокруг глаз, тон кожи сделался дряблым, в волосах сквозила седина, зубы потеряли прежнюю свежесть – куда что девалось... Старухой она еще не была, но уже перешагнула за роковую черту своего критического возраста. Ей по пути припомнились строфы безвременно погибшего поэта:

Гроза умчалась вдаль, минувшее забыто,
И голос внутренний мне говорит порой:
Да уж не сон ли все, что было пережито
И передумано тобой?

VI

Из своей беседки Варвара Ивановна могла видеть почти всю деревню, теперь безмолвную и точно заснувшую... Страда кончилась, и большинство мужиков отправилось на за-

работки в Москву. Дома остались только бабы, старики и дети. Но спокойствие деревушки было только кажущееся. Там свои драмы и даже слишком много драм для такого захолустья. Возвращавшиеся с заработков мужики часто до полусмерти били провинившихся жен. Один садовник Иван Никитич чего стоил. Степенный и рассудительный мужик по наружному виду, он страдал неизлечимым пороком сердца и постоянно менял свои привязанности. Главным образом он наслаждался жизнью зимней порой, когда мужиков не было дома, и, кажется, пользовался большим успехом у деревенских скучающих дам, несмотря на свои за-пятьдесят лет. Мужики грозились его убить и не раз приходили жаловаться «барину» Павлу Васильичу на змея. Ничего комичнее нельзя было представить себе, как Павел Васильич в такие моменты. «Барин», во-первых, конфузился сам, а потом виновато повторял:

– Хорошо, я поговорю с ним…

Это был стереотипный ответ, и мужики вперед знали, что ничего другого не получат, и все-таки шли жаловаться. Еще было хуже,

когда являлась какая-нибудь баба, которая начинала причитать и голосить. Тут уж Павел Васильич окончательно терялся. Вообще Иван Никитич доставлял немало неприятных минут, и его все-таки держали, потому что никто не мог себе представить дачи без Ивана Никитича.

Раздумье Варвары Ивановны было нарушено тяжелыми шагами. К беседке медленно шел Иван Никитич, о котором она сейчас только думала, и нес в руках письмо.

«Это от Гриши», – с радостью подумала Варвара Ивановна.

– А я вас, значит, по всему дому обыскивал, – грубовато проворчал Иван Никитич, снимая шапку и подавая письмо.

Письмо было довольно полновесное, и по адресу Варвара Ивановна не могла догадаться, от кого оно могло быть. Нетерпеливо разорвав конверт, она прочла сначала подпись и торопливо спрятала письмо. Это было письмо от Аркадия Степаныча. О, она отлично знала его почерк, но теперь он изменился, – буквы точно похудели и высохли. Это был типичный старческий почерк.

– Иван Никитич, вы можете уходить, – заметила Варвара Ивановна, чувствуя, как начинает краснеть.

– Слушаю-с…

Он еще постоял немного, повертел шапку и зашагал назад.

«Что может писать этот ужасный человек?» – с тревогой думала Варвара Ивановна, повертывая в руках желтый конверт и такого же цвета кругом исписанные листы почтовой бумаги, они напоминали feuille morte.

Одно мгновение она пожалела, что распечатала это несчастное письмо, которое нужно было просто разорвать и бросить, не читая. Но женское любопытство превозмогло, да и письмо было необыкновенное, целых четыре листа. Она оглянулась и принялась за чтение.

«Дорогая Варвара Ивановна, простите, что я так вас называю, не имея на это ни малейшего права… Но есть вещи, которые возвращают все права. Представьте себе, что вы читаете письмо мертвого человека, а смерть даст право сказать последнее предсмертное слово. Когда вы с негодованием разорвете конверт моего послания, его автор будет

представлять собой только эссенцию праха. Завтра вы прочтете в газетах известие, что ваш покорный слуга покончил свое существование и оставил стереотипную записку: „В смерти моей прошу никого не обвинять“. Мне нравится эта фраза, превратившаяся в математическую формулу, а для меня она является общим знаменателем всей моей беспутной жизни. Я мог бы прибавить к ней кое-что, вроде того, что в самом себе убиваю своего злейшего врага, который испортил самому себе всю жизнь. Мне даже не на что оглянуться, некому сказать своего последнего слова, кроме вас, вас, которая проклинала меня целую жизнь. Знаете, все друзья пристрастны и только враги справедливы – вот причина, по которой я пишу именно вам. Мне кажется, что вы ошибались относительно меня и будете теперь вполне беспристрастны уже по одному тому, что мертвые лишены возможности защищаться.

Я вижу негодование на вашем лице, я читаю ваши мысли: „человек не может даже умереть без театрального эффекта“. Может быть, вы и правы. Во всяком случае, не желаю

спорить, тем более, что каждый из нас актер и, к несчастию, довольно неудачный. Я все делаю отступления и не говорю главного. Знаете, что меня навело на мысль о самоубийстве? Она бывала у меня и раньше, в моменты, когда я хотел быть порядочным человеком, но как-то все не выходило, до последнего раза включительно, когда так неожиданно помешали вы. Да, вы… Но и это прошло, а сейчас я хочу позволить себе уже настоящую роскошь, именно, убить себя только для самого себя. Никакой другой посторонней причины… Да, так возвращаюсь к току моменту, как *это* случилось. Дело было за обедом. В последнее время я любил покушать, – первый признак наступающей старости. Я тщательно выбирал и обдумывал каждое кушанье, вперед его смаковал и увлекался этими плодоядными соображениями. Что может быть хуже человека, который уже думает об еде? Так дело было за обедом… Мне подали рябчика, приготовленного поваром по моему специальному заказу. Я стал обгладывать косточку и вдруг… у меня выпадает передний зуб. Кажется, обстоятельство по существу дела самое ничтож-

ное, но меня оно повергло в отчаяние, доказательство которого – отодвинутый в сторону несчастный рябчик. Ведь это была первая повестка наступающей старости… Вывалится и второй зуб, глаза помутнеют, – лысина, говоря между нами, у меня уже давненько, – ноги будут дрожать, на лице появятся старческие морщины… Бррр!.. У меня что-то протестовало внутри против такого позорного уничтожении. Да. Не хочу, не хочу, не хочу…

Вас удивляет, что такие пустяки, как выпавший зуб, нагнали на меня смертельный страх. Я скажу вам больше: я плакал… Меня ужаснула та пропасть, по краю которой я столько лет ходил, как лунатик или загипнотизированный. Ведь над каждым из нас висит Дамоклов меч: сегодня есть человек, а завтра его не стало. Прибавьте к этому, что каждый именно себя одного считает по преимуществу порядочным человеком, без которого весь мир потеряет свое равновесие. Я имел общую слабость тоже считать себя порядочным человеком, больше – хорошим. Не улыбайтесь горько над этим скромным признанием, а терпеливо дочитайте мое посла-

ние до конца. Итак, я хороший человек, т. е. хороший в собственных глазах, а если иногда отступал от прописной морали, то виной всему проклятый темперамент. Меня всю жизнь преследовала боязнь жизни, и я поэтому не умел ни любить по-настоящему, ни ненавидеть, ни пристроиться к чему-нибудь. Это не байронизм, когда люди считали себя разочарованными во всем, – нет, просто боязнь жизни, вечное ожидание чего-то лучшего, настоящего, что придет само собой и захватит вас.

Вы даже не можете сказать, что я злой человек, а между тем у меня на совести целый ряд таких проступков, которые впору закоренелому злодею или дикому зверю. Я выходил на ловитву с улыбкой и губил свою жертву с поцелуями... Лучшие, самые святые чувства втаптывались в грязь и – что самое скверное – оставляли в душе даже приятное впечатление. Удовлетворялся самый низкий сорт эгоизма, а душа спала глубоким сном... В этом смысле я совершенно согласен с афоризмом, что жизнь есть глубокий сон. Низость над женщиной мы называем победой; человек, который одержал целый ряд таких побед,

пользуется чуть не общественным почетом. Да, душа спала, и я, собственно говоря, был не хуже и не лучше других... И вот теперь, когда душа проснулась, мне страшно даже оглянуться назад. Вероятно, то же самое испытывает человек, убегающий от хищного зверя и чувствующий, как он обессиливает и вот-вот падет... Но я имел решимость и твердость оглянуться – и в этом моя погибель, т. е. не в этом, а во всем прошлом. Ведь я жил зверем и умираю зверем...»

VII

Чтение этого послания было прервано появлением Павла Васильича. Он вошел в беседку своей ленивой, развалистой походкой, лениво посмотрел на открывавшийся из беседки вид и лениво проговорил:

– Решительно не понимаю, что хорошего ты находишь сейчас в этой милой природе... Вода в реке какого-то деревянного цвета, трава пожелтела, деревья скоро будут голые, да еще, того гляди, дождь пойдет.

Павел Васильич даже зевнул и только теперь заметил письмо, которое держала жена в руке.

– Это от кого столько написано? О, как много… Сочинитель какой-то.

– Сумасшедший сочинитель…

– Я терпеть не могу писем, да кстати и людей, которые теряют на них время. Можно и на словах сказать, если уж так нужно…

– Нет, бывают очень интересные письма…

– Вот что, Варвара Ивановна… Ты дочитаешь письмо и придешь, а то кухарка нападет на меня относительно завтрака.

– Хорошо, я сейчас…

Варвару Ивановну немного кольнуло, что муж даже не поинтересовался, от кого было письмо. Правда, что он вообще из принципа никогда не касался ее корреспонденции, но сейчас ей почему-то хотелось, чтобы он спросил. Другие мужья выслеживают и ловят каждое письмо, ревнуют жен к каждому почтовому конверту, а этот даже и не взглянул. Потом Варвара Ивановна по непонятной ассоциации идей вздохнула. Ведь следят мужья за молодыми женами, а она…

Она принялась за письмо. Оставалось читать еще целую половину.

«Мои мысли, дорогая Варвара Ивановна,

не совсем в порядке и немного путаются, и я все время пишу как будто предисловие к чему-то, а главное остается впереди. Ведь и вся наша жизнь походит тоже на какое-то неудачное предисловие к чему-то... за которым прямо „начинается конец“. Средины, настоящего, главного и нет... Но перехожу наконец к главному. Я уже признался, что имею нахальство считать себя хорошим человеком, хотя и реализованным не совсем удачно. Теперь дальше. Мужчины делятся, по-моему, на два сорта: те, для которых женщина составляет все, цель и смысл жизни, и те, для которых женщина только одна сторона жизни и иногда очень маленькая сторона, как примечание к ученому сочинению. Я отношу себя к первому разряду, с тем дополнением, что всегда уважал женщину, любил ее, боготворил... Вас это удивляет, а между тем это так. Боже мой, сколько доказательств я мог бы представить! Целая литература женских упреков, жалоб, слез, угроз, проклятий и еще проклятий...

Говоря откровенно, я до сих пор не могу понять того психологического процесса, при помощи которого любовь превращается в

ненависть. Подозреваю, что это так же неизбежно, как превращение света в тьму. Если только была любовь, она должна превратиться в ненависть, и только за ее отсутствием возможно то серенькое и бесцветное существование, которое люди привыкли почему-то называть счастьем. Прибавьте к этому, что любовь слишком интенсивное чувство, чтобы продолжаться, – она один момент, миг, как блеск молнии. Весь вопрос только в том, какой мир, какую картину осветит эта молния. Мои молнии блистали в пустоте... Между тем только в этот момент душа мужчины поднимается во весь рост, и каждый мужчина есть то, как он умел любить. Сильную любовь называют еще страстью, но так как я не признаю ни маленькой ни средней любви, то не буду спорить о тонкостях номенклатуры. Любовь одна, как одна жизнь у человека и как сам он один. И я тащил по грязи единственное святое чувство, оставляя после себя заразу... Мой последний опыт была Вера Федоровна. Какое это было чистое, идеальное и глубоко честное существо!.. Наша любовь походила на те зарницы, которые в летние душ-

ные вечера сверкают на далеком горизонте и не дают грома. Это подделка под настоящий гром, который убивает, разряжая атмосферу. Вера Федоровна глубоко ошиблась, приняв мои зарницы за молнию... Но пред ее глазами раскрылся такой необъятный мир, такая необъятная неправда, что она не пожелала больше жить. Все равно такого другого момента не будет, значит, не стоит жить. Логика самая неопровержимая...»

Варвара Ивановна задумалась и вздохнула. Она ведь тоже не любила, напуганная первым опытом... Вся жизнь прошла как-то из милости, с вечным страхом вызвать тень рокового прошлого, Она долго сидела, опустив руку с письмом. На глазах у нее выступили слезы, но это были уже холодные слезы, как осенний иней.

«Еще несколько слов... В последнее время меня как-то особенно часто посещали тени моего прошлого. За что меня любили эти женщины, если каждый любит в другом только самого себя? Значит, ошибка была уже в их натуре, а я являлся только фатальным исполнителем предначертаний судьбы. Боже мой,

до каких софизмов может дойти человек, когда он боится старости! Нет, я ничего не боюсь, и в этом мое оправдание, если какое-нибудь оправдание возможно и нужно вообще. Я, как человек, совершивший тяжелое уголовное преступление (моя жизнь уже есть преступление), по тысяче тысяч раз возвращался к отдельным эпизодам этого преступления. Ведь это ужасно... А теперь у меня явилась роковая мысль, что следовало жить совершенно не так, и, следовательно, необходимо переделать себя, изменить весь образ жизни и жить по-новому. Боже мой, сколько жесточайшей иронии в этой простой мысли... Разве я могу вернуться назад? И кому какая польза в моем раскаянии, когда мое время ушло? Я только теперь, как очнувшийся лунатик, понял, что стою на краю пропасти и что вернуться назад не могу, следовательно...

Последнее слово. Меня поразила мысль, что самая добродетель существует только для сильных, молодых, красивых, равно как и порок. Есть роковой предельный возраст, который в жизни наступает гораздо раньше, чем по Уложению о наказаниях. Разве я, ваш по-

корный слуга, в настоящем своем виде представляю хоть какую-нибудь малейшую опасность, способную нарушить спокойствие общества? Нимало. Недавно я встретил на улице хорошенькую женщину, которая шла прямо на меня. Я инстинктивно прибодрился и посмотрел ей с своим обычным нахальством, но она взглянула на меня такими равнодушными глазами, какими смотрят на могильную плиту с полустертой надписью. В этом взгляде был мой смертный приговор… Мне сделалось совестно до слез. Боже! Теперь хорошенькие женщины улыбаются уже другим счастливцам, любят, боятся потерять, проклинают и ненавидят. Меня даже и ненавидеть теперь не стоит… Не правда ли? А впереди остается медленное разложение и еще больший позор. Я нахожу это несправедливым и желаю раскланяться с здешним миром, как говорят китайцы. О, довольно, довольно… Моя осень наступила, и я не хочу дожидаться зимы. Прощайте, нет – до свидания.

Аркадий Мухин

P. S. Мне кажется, что когда-то вы немножко любили, и мне хочется немножко вашей

жалости, чудной женской жалости, – ведь жалеют только дурных людей».

Дальше следовала еще приписка:

«P. P. S. А ведь я мог бы быть совсем хорошим человеком... Мне страстно кому-то хочется сказать, чтобы он не повторял моих ошибок. Я даже чувствую какой-то зуд проповедничества и поучений. А впрочем, не стоит говорить о таких деликатных материях. Еще раз: до свидания. Я далее тороплюсь потерять время, которого у меня осталось так немного... Могший, но не умевший вас любить Аркадий Мухин».

На этот раз Мухин сдержал слово. На другой день за завтраком садовник Иван Никитич подал свежую газету с известием о самоубийстве Мухина. Это была та последняя волна, которую оставляет после себя упавший в воду камень. Варвара Ивановна вышла из-за стола, чтобы скрыть выступившие на глазах слезы. Она плаката о самой себе...

1896

Темная вода

I

В окрестностях Петербурга это был самый фешенебельный уголок, в который по вечерам собиралась вся знать, родовитая, служилая и денежная. Часть экипажей останавливалась только у решетки сада, и отсюда разряженные женщины слушали дорогую музыку. Вся публика состояла из «имен», что чувствовали, кажется, даже лошади, сердито грызшие удила и бившие породистыми ногами землю. Русские бородатые кучера, с талией под мышками, английские, сухопарые и подтянутые, лакеи в ливреях, грумы – все было на своем месте, декорируя заколдованный круг, в котором вращались только избранники. Именно это особенное чувство избранности овладевало Константином Аркадьевичем Бахмутовым, когда он приходил на музыку потолкаться и убить вечер. Но сегодня он явился в совершенно особенном настроении, и все кругом ему казалось таким маленьким, ничтожным и жалким. Ему нравилось теперь идти в этой разряженной толпе. Он кланялся

направо и налево, но ни с кем не останавливался. Несколько пристальных женских глаз с любопытством проводили его, но он продолжал идти вперед, отыскивая кого-то. Еще вчера каждый такой взгляд его мог остановить. О, он хорошо знал, как женщины умеют смотреть, и невольно принимал одну из заученных перед зеркалом поз, суживал глаза и рассеянно улыбался. В тридцать лет Бахмутов оставался женским баловнем, и это сказывалось в каждой мелочи, особенно в лице. Весь костюм был пригнан именно к этому лицу, красивому, но с мелкими чертами и тем особенным нахальством, которое отталкивает мужчин и неудержимо влечет к себе женщин. Бахмутов состоял в числе сезонных львов, и, когда он проходил мимо, женщины начинали шептаться, точно ветер шевелит сухие листья. Этот шепот сегодня не занимал Бахмутова, слишком отдавшегося личному настроению. Да, он явился сюда еще не остывшим от безумных ласк, безумных слов и безумно проведенной ночи... Счастье налетело вихрем. Он сейчас страстно желал увидеть ту, которая неотступно стояла перед ним весь

день, увидеть именно сейчас, чтобы испытать то немного жесткое чувство наслаждения, которое охватывает каждого победителя при виде побежденного. Его все интересовало: с каким видом она войдет, как ответит на его взгляд, что будет говорить, наконец просто как будет одета. Ведь из этих мелочей складывается каждая женщина, и всякая женщина характеризуется лучше всего именно этой встречей после своего рокового шага. И какая женщина – вызывающая, решительная, пикантная, с теми неожиданностями, какие заставляют кружиться голову. В сущности, он не мог хорошенько представить ее себе. В ней было несколько женщин – первая, с которой он случайно познакомился, вторая, за которой он случайно ухаживал, третья, которая случайно ему отдалась, и четвертая должна была прийти сегодня. Ах, какая чудная женщина… Его охватывала дрожь при одной мысли о том, что было вчера. Домой он вернулся со свиданья как пьяный, целый день оставался в этом пьяном настроении и привез его сюда.

«А что, если она не придет?» – мелькнуло в

голове Бахмутова.

Эта мысль заставила его даже съежиться, потому что сам он забрался на музыку целым получасом раньше условленного. Опять он старался припомнить ее лицо и не мог, – да, молодое, красивое, свежее лицо, и только. Оно расплывалось в каком-то радужном тумане. Что он хорошо помнил, так это волосы, эти чудные шелковистые волосы, днем светло-русые, иногда пепельные, а при огне золотистые. И сейчас он ощущал их аромат. Занятый этими соображениями, Бахмутов намеренно избегал знакомых дам и от двух отвернулся, чтобы не встретиться глазами. Впрочем, две других сами отвернулись, что заставило его только улыбнуться. О, милые женщины, как вы все похожи и как повторяете одна другую даже в этих невинных движениях. Исключение только она одна…

– Ба! кого я вижу… – послышался за плечом Бахмутова незнакомый хриплый басок. – Бахмутов, здравствуйте…

Когда Бахмутов оглянулся, он прежде всего встретился глазами с ней и совершенно растерялся от такой неожиданности. Она шла

под руку с каким-то пожилым, подержанного вида господином, одетым с запоздалыми претензиями в слишком светлый летний костюм. Бахмутов никак не мог припомнить фамилии этого господина и обстоятельств, при которых он встречался с ним.

– Не узнаете? – продолжал неизвестный знакомый, протягивая руку. – А помните Кормакова? Софья Владимировна, позвольте представить вам молодого друга...

– Если я не ошибаюсь, мы, кажется, встречались, – ответила она с убийственной простотой невинного человека.

– О, да... Я имел счастье... – бормотал Бахмутов.

– Моя племянница... – объяснил старик, показывая противные гнилые зубы – у него все лицо было противное, точно проржавевшее, с какими-то мокрыми желтыми глазами. – Да, моя племянница. Берегитесь, Бахмутов... О, я знаю вас, плутишка! Соня, это ужасный человек, берегись его, как огня.

– Да-а? – протянула она, глядя на Бахмутова своими серовато-зелеными глазами, так же менявшими свой цвет, как и волосы. Ма-

ленькая рука не ответила на его пожатие ни одним движением. – Так вы не узнайте моего дядюшку? – спросила она, покачивая головой. – А между тем он обессмертил себя на всю Россию… Помните историю одного губернатора, смещенного за…?

– Да, да, помню… – бестактно подхватил Бахмутов поданную реплику.

– Что же из этого следует, Соня? – обиделся старик. – Ну, не стало Кормакова, и только. Был и нет… Нас здесь трое таких не у дел шатается по музыке, и мы даже кланяемся при встречах.

– Дорого бы я дала, чтобы посмотреть на вас вместе, – язвила Софья Владимировна. – Милый букет…

– Слышали, как мы разговариваем?.. – обратился старик к Бахмутову, ожидая поддержки. – Чего же ожидать от чужих?.. Да, был Кормаков и нет Кормакова. Впрочем, молодые люди, мне необходимо увидеть одного господина… да… Надеюсь, что вы не особенно будете скучать обо мне.

– Фамилия этого господина Финь-Шампань? – ответила вопросом Софья Владими-

ровна и засмеялась.

Бахмутов только теперь заметил, что смех у нее неприятный, с какими-то сухими нотами.

Когда старик ушел, она презрительно подняла плечи, сделала легкую гримасу и заметила:

– Может ли быть что-нибудь хуже таких заржавевших провинциалов? А ведь когда-то был молод, подавал надежды, и даже находились женщины, которые увлекались им... Ха-ха!.. Под старость вы будете таким же, Константин Аркадьевич...

– Благодарю. Вы сегодня в дурном расположении духа...

Она быстро взглянула на него и строго сложила слегка подкрашенные губы. Он с наслаждением любовался ее белым лбом, красивым овалом подбородка, коротким прямым носиком и чудной крепкой шеей с двумя грядками золотистых коротких волосков на затылке. Сложена она была превосходно, хотя и с заметной наклонностью к полноте, как большинство блондинок.

– У вас такой вид, как будто вы что-нибудь

потеряли, – заговорила она, улыбаясь одними глазами. – По меньшей мере губернаторское место, как мой дядюшка…

– Я слишком счастлив, Софья Владимировна, и не могу опомниться…

– Разве так отвечают? – заметила она и строго покачала головой. Он спохватился и даже покраснел. Уж, кажется, он ли не знал, что женщины не любят подобных напоминаний, и сболтнул совсем бестактно. Он начинал робеть, что еще сильнее увеличивало его смущение. Да, он робеет, Бахмутов… Но это именно его и спасло. Она поняла его и улыбнулась той улыбкой, от которой у него отлегло на сердце. Он опять почувствовал себя Бахмутовым. И все кругом гармонировало с этим настроением – чудный летний вечер, пестрая праздничная толпа и опьянявшие звуки модного вальса. Они болтали с час те пустяки, какие говорятся в такой обстановке – обо всем и ни о чем. Кормаков разыскал их, но Софья Владимировна так посмотрела на него, что он сейчас же стушевался. Потом у нее на лице появилось скучающее выражение, и она усталым голосом проговорила:

– Вы меня проводите, Константин Аркадьевич...

– С величайшим удовольствием...

Они направились к выходу. В дверях она остановилась и взглянула на него опять веселыми глазами. Нет, положительно, каждое движение этой женщины составляло своего рода фразу, а сама она казалась Бахмутову чем-то вроде вальса – да, как это ни странно, но он именно так и сравнил ее про себя.

II

– Вы меня проводите домой, – повторила она, когда швейцар выскочил на подъезд.

Он, вместо ответа, только удивленно приподнял брови. Домой, к ней, в такой час, когда он ни разу не бывал у них и не был даже знаком с ее мужем?.. Он, впрочем, сейчас же сделал предположение, что она хочет его испытать, как любят делать некоторые женщины, именно поставить в щекотливое положение. Да, есть и такие женщины, которые нарочно форсируют возможную опасность и переживают жгучее наслаждение, если такая опасность еще теснее сближает их с любимым человеком. Все эти мысли промелькнули в его

голове в один момент, пока он помогал ей сесть в коляску. «Ты хочешь меня смутить, – думал он, – нет, подождите, Софья Владимировна...» Ей не нравилось его спокойствие, которое она объясняла по-своему. Да, он торжествовал дешевую победу, он привык побеждать. Если бы он мог заглянуть, что делалось в этой красивой головке, то увидел бы, как Софья Владимировна сейчас презирала себя, а его начинала ненавидеть, как это умеют делать одни женщины. У нее являлось смутное желание сделать что-нибудь жестокое, чтобы он чувствовал боль. О, как бы она была рада, если бы на этом самодовольно-красивом лице появилась хотя бы тень страдания. Теперь она раскаивалась, что послужила живой причиной этого торжества. Еще на музыке у ней созрел план маленькой мести, и она улыбалась, представляя себе, какие большие глаза сделает он, когда они приедут «домой». А он сидел и старался припомнить, как ее фамилия. Что-то такое довольно вульгарное: Бородулина, Гаврюшкова, Фазанова... Фамилия вертелась у него на языке, как это иногда случается, но он не мог ее назвать. Он даже где-

то ее встречал, в мире каких-то сомнительных дельцов. Во всяком случае, это была новая фамилия, еще не вошедшая в состав привилегированного общества. В сущности, какое ему дело до ее фамилии? Совершенно достаточно, что у нее свой приличный экипаж и свои приличные лошади. Кучер так себе, но с этим можно помириться.

– Вы, кажется, задумались? – спросила она, глядя на него с сдержанной улыбкой.

– Ах, я целый день хожу в каком-то тумане...

Он хотел взять ее за руку, но она спрятала свою и показала глазами на кучера. Коляска быстро несла их по широкой тенистой аллее, на которую выходили своими фасадами вычурные барские дачи. В окнах мелькали огни, на освещенных террасах под прикрытием экзотической зелени виднелись семейные группы – было время позднего вечернего чая, принятого в сезон дачного кочевья. К одной из таких дач с эластическим треском подкатила коляска. К садовой калитке выскочил лакей. Она не спросила, дома ли муж, и пошла вперед тем быстрым, решительным шагом, ка-

ким женщины ходят только у себя дома. У него мелькнуло в голове, что, вероятно, ее муж какой-нибудь благочестивый банковский старец, который по вечерам сидит со своими благочестивыми ревматизмами дома. Дача была хороша, настоящая барская, устроенная в том банно-трактирно-русском стиле, который надоел до тошноты.

В передней швейцар принял верхнее платье и довольно равнодушно посмотрел на гостя. Она попросила его кивком головы подождать в освещенной гостиной.

Когда ее шелковая юбка прошуршала в дверях, он почувствовал себя довольно неприятно. Зачем она потащила его сюда? Все-таки нехорошо, как хотите… Бахмутов, во всяком случае, не желал, чтобы его будущая жена приводила своего любовника в его собственный дом. Вообще как-то неловко, особенно когда есть такие удобные рестораны, отдельные кабинеты и просто милые уголки. Окружавшая его обстановка семейного дома глядела одним немым укором – и мебель, и картины, и бронза, и драпировки. Ведь все это собрала сюда, может быть, любящая муж-

ская рука, чтобы окружить маленькую женщину всеми удобствами.

«Нет, я где-то заразился благочестием… – подумал невольно Бахмутов, беззаботно встряхивая головой. – А зачем банковские благочестивые старцы женятся на молодых девушках и скромно заедают чужой век? Э, плевать… На белом свете все идет, как тому следует идти».

Он подтянулся, когда послышались легкие женские шаги и раздражавшее его шуршанье шелковой юбки. Она остановилась в дверях, улыбающаяся, пикантная, зовущая… Все было забыто, и он видел только ее одну.

Они пошли по какому-то коридору, а потом она остановилась и дала ему дорогу к какой-то двери. Когда он проходил мимо нее, две маленькие руки обвили его шею и молодое женское лицо припало к его лицу. Он сделал шаг назад, потому что в открытую дверь увидел какого-то господина, который сидел в глубоком кресле у стола и смотрел на них. Она подтолкнула его в спину и на ходу проговорила, очевидно, заранее приготовленную фразу:

– Greroire, вот m-r Бахмутов, который был настолько любезен, что проводил меня с музыки…

– Очень рад… – ответил глухой, немного печальный голос. – Мне кажется, что мы где-то встречались… то есть фамилия знакома.

– Наверное… – весело ответила она, блестя глазами.

Когда муж поднялся в своем кресле и протянул в воздухе руку, Бахмутов понял все: он был слеп… Протянутая рука ловила руку гостя, а напряженно-застывшее лицо смотрело на него остановившимися, ничего не видевшими глазами. Самое ужасное заключалось в том, что эти глаза по внешнему виду оставались нормальными.

– Да, мы встречались… – бормотал Бахмутов, пожимая ощупывавшую его руку. – Если не ошибаюсь, это было года три назад, на каком-то официальном обеде.

Лицо слепого оживилось.

– Да, да, именно на обеде…

– А потом, вероятно, продолжали этот обед где-нибудь в модном кабаке? – дополнила Софья Владимировна.

– Кажется, что-то такое было, – уныло согласился муж.

На вид ему можно было дать лет под пятьдесят, хотя в действительности было всего сорок два. Несчастие заставило его поседеть и наложило на лицо глубокие морщины преждевременной старости. Когда-то это лицо было красиво, а теперь точно застыло с выражением напряженно прислушивающегося человека. Потом эта особенная бледность, которая бывает только у людей, вынужденных вести комнатную жизнь. Не было мужского загара, и кожа приняла дряблый мертвенный цвет. Около больного сидел сеттер-гордон и смотрел на гостя своими темными большими глазами с затаенной злостью. Очевидно, это был единственный друг, разделявший ужасное одиночество больного, и этот друг теперь смотрел на Бахмутова, как на тайного врага. Софья Владимировна смотрела на гостя и продолжала улыбаться.

– Григорий Иваныч очень скучает, когда остается один, – объяснила она, наливая стаканы чаю. – Друзья понемногу оставили…

– Я не жалуюсь, Софи, – перебил ее муж. – Я

и сам, вероятно, так же сделал бы, потому что кому и какое удовольствие сидеть со слепым. У меня, Константин Аркадьевич, так называемая темная вода… Вообще неизлечимая слепота. Вот бедная Софи вынуждена скучать со мной, и я очень рад, когда она хотя немножко пользуется развлечениями.

– Обо мне можно и не говорить, – скромно заметила Софья Владимировна, указывая глазами Бахмутову стул рядом с собой. Но он не согласился и сел напротив, через стол. Его охватило какое-то злое чувство. Вот в чем разгадка всего того, что он не понимал. Он даже отвернулся и смотрел на несчастного хозяина, стараясь припомнить, где и когда он его видел. Да, он его видел, это несомненно, но тогда это было другое лицо, оживленное, умное, энергичное. Завязалась самая неловкая дружеская беседа. Слепой старался поддержать разговор зрячих людей, войти в интересы, попасть в их настроение. Его не видевшие ничего глаза поворачивались к говорившему, и на лице появлялось деланное оживление. Эти усилия производили на Бахмутова еще более тяжелое впечатление, особенно когда

наступала пауза и слепой тревожился, не зная, куда ему следует смотреть, то есть делать вид, что смотрит. Говорили они о музыке, о погоде, об общих знакомых, и Бахмутов удерживался, чтобы не взглянуть на часы. Софья Владимировна оживленно болтала, а потом принесла надушенный листок почтовой бумаги и тут же на чайном столе карандашом набросала несколько строк. Приняв изящную позу, она передала через стол записку Бахмутову. Это видела одна собака и слабо взвизгнула. Это было уже слишком. Записка заключала лаконическую фразу:

«Завтра я желаю сказать тебе там же, какой ты нехороший...»

Бахмутов вернул записку, поднялся и стал прощаться...

– Что же вы уходите? – встревожился слепой. – Я так рад... Софи, ты постарайся удержать дорогого гостя.

– Что же я сделаю, если он бежит, – довольно грубо ответила Софья Владимировна, кусая губы.

– Я как-нибудь в другой раз, Григорий Иванович, – бормотал Бахмутов, пожимая руку

хозяина. – Боюсь опоздать на поезд…

Она догнала его уже в гостиной.

– Это что значит, мое дитя? – резко спросила она.

– Это?.. Знаете, Софья Владимировна, этому нет названия…

– Вы хотите разыграть порядочного человека? Ха-ха…

– Нет, но я сейчас чувствовал себя уже слишком большим мерзавцем… Есть всему границы. Я здесь не рискую даже тем, что оскорбленный муж вытолкает меня в шею.

Она выпрямилась и гордо указала ему на дверь.

Риваль

I

Открытие сезона в Павловске для известной части петербуржцев является целым событием. К этому дню начинают готовиться, как к празднику. Для многих открытие «музыки» является синонимом весны. В роковой день Царскосельский вокзал представляет собою трогательную картину настоящей дачной сутолоки. Все торопятся, на всех лицах написана радостная тревога, всех захватывает что-то одно общее «павловское», – ведь здесь собираются свои, почти родные. Все и всех знают. Это особенный «павловский народ», как есть народ болгарский, сербский, потому что он складывался целыми поколениями, выработал свои традиции и вообще сложился в одно органическое целое. Было бы большой ошибкой назвать собравшуюся на вокзале публику просто дачниками именно по выше приведенным соображениям.

В пестрой толпе, разодетой по-весеннему, вероятно, лучше всех себя чувствовал Иван Дмитрич Околышев. Это был осанистый,

представительный мужчина под шестьдесят; выстриженные котлетами баки придавали ему министерский вид. Одет он был с самой щепетильной изысканностью и старался держать себя с непринужденной важностью заслуженного дипломата. Но под этим внешним величием так и прыгала самая легкомысленная радость. Околышеву хотелось пожать руку первому встречному, дружески поговорить с жандармом, потрепать по плечу кондуктора, спросить о здоровье старика-газетчика, подмигнуть посыльному, – вообще что-нибудь такое выкинуть, чтобы проявить свое настроение. На вокзал он забрался с семьей на целых полчаса раньше и теперь с особенным удовольствием толкался в толпе, ни с того ни с сего выпил в буфете рюмку водки, перечитал все объявления и никак не мог удержать самой глупой улыбки, какая присвоена бессовестно-счастливым людям. Да и как не быть счастливым, когда Иван Дмитрич только что вернулся в Петербург с далекой окраины, после двадцатилетнего отсутствия, и чувствовал каждой каплей крови, что он наконец у себя дома и что никогда больше не по-

едет ни на какие окраины, кроме приличного кладбища, вроде Александро-Невской лавры.

Он десять раз возвращался в общую залу первого класса, где в томительном ожидании сидели его жена и дочь. Анна Петровна была уже в том солидном возрасте, когда не стыдятся иметь взрослую дочь. Для своих лет она сохранилась порядочно, хотя бывшая красота и заплыла старческим жиром, на лице уже выступили предательские морщины, а глаза потеряли молодую живость и блеск. Она была одета с дорогой простотой, как и приличествовало матери, вывозившей взрослую дочь в первый раз на музыку. Это был своего рода экзамен, как первое появление молодого скакуна на скаковом круге. Поэтому слишком откровенная радость мужа несколько шокировала Анну Петровну, и она несколько раз посмотрела на него строгими глазами, что в переводе значило: «Милостивый государь, вы забываете, что у нас есть дочь»... Анна Петровна за эти двадцать лет отсутствия превратилась по-провинциальному в строгую даму и довольно сердито посматривала на торопливо сновавших петербургских дам и деву-

шек. Разве их можно было сравнить с Ксенией?.. Околышев думал то же самое, хотя смотрел на дохленьких, зелененьких петербургских девиц не с презрением, а с отеческим сожалением, как на уродцев. Конечно, где же сравнивать их с Ксенией... Он любовно смотрел на рослую, дышавшую здоровьем дочь и принимал какой-то вызывающий вид, точно хотел крикнуть громко:

– Вот смотрите, какая у меня дочь... Ага, что вы скажете?..

Девушка, действительно, была красива, как бывают красивы в восемнадцать лет. Она напоминала мать, а старые павловцы еще не забыли красавицу Annette Котовцеву, которая блистала на павловском горизонте несколько сезонов в качестве первоклассной звезды и потом вдруг куда-то исчезла. Эта молодая особа тоже волновалась, ожидая чего-то волшебного. Она так много слышала о Павловске, и теперь вдруг раскрываются настежь те двери, через которые должны были войти избранники. Ее разочаровывало только то, что на вокзале было слишком много стариков и старух, – эти несчастные куда стремятся? В пред-

ставлении девушки на музыке должны были быть только одни молодые, а старики и старухи сделали бы самое лучшее, если бы вернулись домой. Ксения высказала именно это соображение матери.

– Ах, какая ты глупенькая! – строго заметила Анна Петровна. – У молодых все впереди и для них Павловск еще ничего не значит, а у этих старичков и старушек, может быть, все там осталось, то есть лучшие воспоминания юности.

– Я не думаю, что их ревматизмы и невралгии особенно обрадуются от такой поездки, – капризно заметила Ксения. – Только кашлять будут...

– У тебя нет сердца...

А старички и старушки не хотели даже подозревать этого молодого негодования и смело тащили свои ревматизмы, кашли и невралгии на открытие музыки, потому что считали свое присутствие там необходимым, – как же это без них-то состоится открытие?.. Мало этого, они смотрели покровительственно на беспечную молодежь, как смотрят старые заслуженные солдаты на новобранцев.

II

Дальнейшие события следовали в таком порядке: *papa* взял билеты первого класса, *papa* усадил свою семью в купе, *papa* торжественно оглянул весь вагон, точно еще раз хотел сказать:

– Вот посмотрите, какая у меня дочь…

Papa даже раскрыл рот, но в этот момент к нему подковылял какой-то древний старец и радостно прошамкал:

– Ба! Кого я вижу!.. Иван Дмитрич… Какими судьбами?..

Papa радостно тряс руку старичку, говорил что-то, а сам никак не мог припомнить, как зовут этого старца, где он с ним познакомился, где встречался – просто павловский старичок. *Papa* был недоволен своей памятью, которая лишила его возможности провозгласить на весь вагон: «Позвольте вам представить мою дочь»… За первым старичком точно откуда-то из щели выполз второй, – этот уже облобызал *papa*, опять не знавшего ни имени ни фамилии старого павловского друга. Потом на эту семейную радость откликнулась из угла какая-то старушонка с седыми букля-

ми, которая долго всматривалась в *papa* через модный лорнет на ручке. *Papa* целовал ручку у старушонки, причем оказалось, что старушонка сидела не одна, а рядом с другой такой же старушонкой, и *papa* должен был целовать руку и этой другой. Ксения отвернулась к окну, чтобы не видеть этих интересных знакомых *papa*.

– Сколько лет, сколько лет!.. – шамкали старички. – Многих уж нет... Да, печально. Помните Сергея Петровича? Два года назад умер. Марья Ивановна – в прошлом году... Иван Иваныч... Аделаида Карловна... Какой был народ! Ах, какой народ!..

Papa должен был ахать, удивляться, качать головой, делать постное лицо, соболезновать. Это искреннее горе несколько умерилось только тем, что он за эти двадцать лет успел позабыть решительно всех этих прекрасных покойников, а теперь был даже рад поговорить о них, чтобы слышать настоящий французский язык, которым говорят только в Павловске, – разговор шел, конечно, по-французски. Все-таки *papa* вздохнул облегченно, когда вырвался наконец от вцепившихся в него ста-

рых павловцев.

– Кто это? – спросила Анна Петровна, когда он вернулся на свою скамью.

– Кто их знает: не помню. Во всяком случае, я очень рад... Да, очень.

Поезд давно летел на всех парах. По сторонам мелькала довольна унылая картина, совсем уже не отвечавшая настроению пассажиров какие-то жалкие поля, залитые коричневой весенней водой, какие-то чахлые кустики около самой дороги, голые березы, грязный снег по ямам и канавам, – скупая петербургская весна еще не вступила окончательно в свои права. Но и эта картина нравилась Околышеву, потому что говорила ему о его петербургской юности, о молодых надеждах и радостях.

– Неужели уж Царское? – удивился *papa*, когда завыл свисток. – Да, да, скажите...

В Царском публики было еще мало, и платформа не представляла летней оживленной картины. Сидевшая по вагонам публика заволновалась, когда поезд полетел вперед, – ведь всего несколько минут, и Павловск тут как тут. Милый, родной Павловск... Седые ста-

рухи в буклях смотрели в окна и любовались начинавшимся парком, – вот и он, зеленый красавец, этот старый друг, который один умеет хранить женские тайны.

На павловском дебаркадере уже ждали поезд новые старички и старушки, которые с молодой радостью встретили приехавшие из Петербурга древности.

Настоящее маленькое воскресенье. Было много молодежи и людей зрелого возраста, но «открытием» овладел именно павловский ветхий человек, который сегодня праздновал это открытие, может быть, в последний раз.

– Да посмотрите же, вот она, моя дочь! – внутренно кричал Иван Дмитрич, врезываясь в галдевшую толпу со своими дамами.

Достопримечательности вокзала были осмотрены в несколько минут, пока семью Околышевых по приперла к стене живая волна медленно двигавшегося круга. Иван Дмитрич с большим трудом извлек своих дам из этого муравейника и вывел в сад, где двигалась такая же толпа. У Ксении зарябило в глазах от этих тысяч лиц. Анна Петровна смотрела на толпу слегка прищуренными глазами,

вспоминая свои павловские победы. Да, их было много, и все они были вот здесь… Конечно, здание вокзала как будто изменилось, деревья выросли, но место то же. Анна Петровна даже теснее прижалась к мужу и налегла крепче на его руку, точно искала защиты от этих игривых воспоминаний.

– Вот это я называю: жить! – заметил Иван Дмитрич, любовно глядя на жену. – Сейчас музыка начнется.

Но вместо того, чтобы идти в залу, *papa* повернул куда-то к мостику. Ксения протестовала, но бесполезно, – *maman* молча поддерживала авторитет *papa*. Перешли деревянный мостик, шоссе и очутились в аллее. Начинало уже смеркаться, и девушка брезгливо ступала по непросохшему песку. Что за удовольствие гулять по сырым аллеям, когда деревья еще совсем голы, когда начинает, вдобавок, темнеть, когда наконец вокзал освещается разноцветными огнями и слышатся звуки настраиваемых инструментов. Нет, это решительно невозможно: из первой аллеи *papa* повел в следующую… Шли-шли, наконец *maman* устала, и все сели на садовую скамейку.

– *Maman*, ведь ты можешь простудиться, – заметила Ксения, надувая губки. – Так нельзя рисковать своим здоровьем… Наконец здесь совсем темно: я боюсь.

Вместо ответа *maman* горячо поцеловала свое сокровище и прижалась к ней своею головой. Какая странная сегодня *maman* и какая-то рассеянная… А *papa* поглупел сразу на пять градусов. Вон он зажег спичку и что-то такое рассматривает на стволе старой березы, а сам делает вид, что раскуривает сигару. Кто же теперь курит сигары?.. А на березе еще сохранилось вырезанное перочинным ножом сердце, пронзенное стрелой, а в нем точно запеклись две буквы: А. и И.

– Мы найдем нынче дачу в Павловске, – решил *papa*, обжигая рот раскуренным сонном сигары. – Да, в Павловске…

– Конечно… – подтвердила *maman*. – А то где же?

Maman так крепко оперлась на руку *papa*, когда пошли назад.

«Какое это наивное милое создание Ксения! – думал *papa*. – Крошка ничего не подозревает, а ведь эта скамейка… гм… да…»

III

Музыка уже гремела, когда они вернулись на вокзал. Все скамьи перед эстрадой были заняты. Это огорчило *maman*, но *papa* сейчас же нашелся.

– Мы займем отдельный столик... Вон там. И музыку будет слышно, и поужинаем отлично.

Когда они пробирались в толпе к зале, где стоили отдельные столики, Околышев вдруг остановился и испуганно посмотрел на жену. Ему показалось, что в толпе мелькнуло знакомое лицо... Он проводил глазами какого-то господина, который шел впереди, и успокоился. Нет, это просто показалось ему. Кстати, подвернулись новые знакомые, которые засыпали обычными вопросами: «Какими судьбами? Давно ли?.. Вот удивил-то всех!» Иван Дмитрич улыбался, пожимал направо и налево руки, называл себя милым провинциалом и опять чувствовал себя прекрасно.

– Будет, послужил окраинам, а теперь централизуюсь, – повторял он с особенным удовольствием. – Да, пора отдохнуть... Вот позвольте представить вам: моя дочь Ксения.

Когда был занят столик, явились новые знакомые. Это делалось наконец скучно. Ксения смотрела на старых знакомых такими скучающими глазами. Хоть бы один интересный человек, т. е. молодой, а то все какое-то старье. Настоящий архив.

Пока пили чай, первое отделение успело кончиться. У Ксении начало рябить в глазах от этих тысяч лиц, живой стеной тянувшихся по кругу. Околышев заметил унылое настроение дочери и предложил пройтись.

– Вы идите, а я посижу здесь... – устало заметила Анна Петровна, делая смотр весеннему костюму Ксении.

Околышев подал руку дочери и с гордостью повел ее в толпу. Он с торжеством счастливого отца смотрел всем в глаза и повторял про себя: «А посмотрите-ка, какая у нас дочь»... Эта счастливая парочка обошла всю залу, подвергаясь самым бесцеремонным толчкам. Околышев опять чувствовал себя молодым, как двадцать лет тому назад, когда гулял здесь под руку с Анной Петровной. Обойдя залу, они прошли в сад, где сплошной стеной двигалась такая же толпа. Как хорошо

иллюминован был фасад вокзала, – Околышев невольно залюбовался и по пути наступил кому-то на ногу.

– Виноват...

Оглянувшись на потерпевшего, Околышев весь вздрогнул: это был *он*, тот единственный человек, с которым он не желал встречаться. И нужно же было ему подвернуться именно в ту минуту... А *он* стоял и, как казалось Околышеву, дерзко мерял его с ног до головы. Положим, прошло целых двадцать лет, как он не видал этого человека, но это не помешало ему узнать его сейчас же. Еще давеча он почувствовал его присутствие и не ошибся. Нет, нужно же было подвернуться такому глупому случаю, чтобы испортить все настроение. Первая мысль, которая мелькнула у Околышева, это скорее вернуться к жене: она там сидит одна, а от этого нахала можно ожидать всего. *Он* на все способен... Для *него* ведь нет ничего святого.

А *он* продолжал оставаться на том же месте и провожал глазами удиравшего неприятеля. Это был пожилой господин, приличный и важный, с усталым лицом и кислым выра-

жением рта.

«Что это за особа с этим болваном? – думал он, припоминая свежее личико Ксении. – Должно быть, какая-нибудь родственница».

Чтобы не встречаться с «болваном», он отправился в противоположную сторону.

Анна Петровна заметила, что муж вернулся взволнованным, и спросила его взглядом, что случилось.

– Я совсем отвык от толпы и просто задыхаюсь, – ответил Иван Дмитрич и прибавил самым невинным тоном: – Не отправиться ли нам домой? Поезд отходит через десять минут...

Но тут запротестовала Ксения. Помилуйте, что же это такое, – уехать от самого интересного. Сейчас начинается только второе отделение. Скрепя сердце, Иван Дмитрич согласился и даже заказал ужин.

– Веригин здесь... – заметил он вскользь, глядя на жену. – Я его сейчас встретил...

– А... – протянула она и тревожно посмотрела на дочь. – Ты с ним не поздоровался?

– Я? С ним? С этим?..

Околышев почувствовал, как его охватило

то бешенство, от которого сводит челюсти, руки трясутся и в глазах прыгают все окружающие предметы. Он будет здороваться с Веригиным? Да он его убьет, этого негодяя... Да-с, убьет. Анна Петровна знала вспыльчивый характер мужа и встревожилась в свою очередь. В самом деле, следовало сейчас же уехать, а тут какой-то дурацкий ужин... Иногда нас удерживают ничтожные пустяки, а из таких пустяков потом вырастают целые события. Началось уже второе отделение, а толпа все росла. Это была публика с последнего поезда. Недалеко от столика, занятого Околышевыми, образовалось что-то вроде водоворота, благодаря встрече двух течений. Передние ряды подпирались задними, из круга точно выдавливались отдельные лица, столик Околышевых начинал подвергаться серьезной опасности, потому что стоял на краю. Именно в этот момент Иван Дмитрич заметил приближавшийся в толпе модный серый цилиндр. Это опять был *он*... Анна Петровна отвернулась от толпы, но по выражению лица мужа чувствовала приближение опасности. Положение, во всяком случае, не из красивых.

Иван Дмитрич только что поддел вилкой кусок бифштекса, да так и остался. А толпа несла серый цилиндр все ближе и ближе, пока не притиснула его к самому столику Околышевых. Веригин, очевидно, не узнал врага и только старался не наваливаться на стул, на котором сидела Ксения. Девушка оглянулась на него, и Веригин замер: это было то самое лицо… Да, то самое женское лицо, которое посмотрело на него через двадцать лет.

Анна Петровна со страхом смотрела на мужа, который побледнел, поднялся и раскрыл даже рот, с очевидным намерением сказать что-то ужасное. Момент наступил критический, когда противники встретились наконец глазами.

– Виноват… – машинально извинился Веригин, приподнимая свой цилиндр.

– Милостивый государь, это… это…

Околышев хотел сказать: «Это нахальство», но против ожидания проговорил:

– Это… это моя дочь. Да, дочь…

Дальше случилось то, чего никто не ожидал. Как это случилось – тоже никто не мог объяснить. Противники опомнились только

тогда, когда пожали друг другу руки. Каждый утешал себя тем, что сделал это не он первый.

– Да, моя дочь Ксения… – с гордостью повторил Околышев, предлагая врагу стул.

Анна Петровна ограничилась одним поклоном.

– Давненько мы не видались, Иван Дмитрич, – просто заговорил Веригин и этим окончательно разрешил все дело.

У всех сразу отлегло на сердце. Буря промчалась. Околышев даже вытер себе лоб платком, точно поднялся на какую-нибудь очень высокую гору.

– Вы очень изменились, Павел Евгеньевич, – заметила Анна Петровна с участием постороннего человека, который не хочет сказать больше. – Да, очень… Так что в первую минуту я вас совсем не узнала.

– Вы хотите сказать, что я совсем состарился? Что же, все в порядке вещей…

Из вежливости он, конечно, не сказал, что Анна Петровна изменилась еще больше, т. е. совсем состарилась. Женщинам этого не говорят, как не говорят о неизбежной смерти безнадежным больным. Да, состарилась Анна

Петровна, как умеют стариться только отставные красавицы: от минувшей красоты решительно ничего не осталось, и Веригин рассматривал картину разрушения с полным равнодушием. Неужели это Annette Котовцева? Иван Дмитрич прочитал этот взгляд и совершенно успокоился. Ему даже сделалось смешно над самим собой за свой напрасный страх. Да ведь все прошло… Одна Ксения ничего не понимала, кроме того, что *papa* и *maman* были чем-то взволнованы. Девушка несколько раз вопросительно посмотрела на мать и получала в ответ такой любящий, благодарный взгляд.

Околышев разговорился и повторил стереотипную историю о своей жизни на окраине, назвал себя «добродушным провинциалом» и вообще почувствовал себя в своей тарелке. Когда Веригин начал прощаться, он пригласил его к себе в город и дал свою визитную карточку.

– Это уж лишнее… – строго заметила Анна Петровна, когда серый цилиндр скрылся в толпе. – Как он постарел: совершенная развалина. И все-таки лишнее…

– Ах, Annette, какая ты странная… Мне как-то вдруг сделалось совестно и вместе жаль его. Ведь *тогда* я хотел его убить…

Последняя фраза заставила Ксению открыть широко глаза.

– *Papa*, ты мог убить этого господина?

– Разве я это сказал? – смутился Околышев.

– Да, сказал…

– Я пошутил, крошка.

Анна Петровна опустила глаза. Теперь уж никто не захочет убивать из-за нее…

Тени богов

I

В воздухе поднялась волна звуков и торжественно замерла. Казалось, что эти аккорды на одно мгновение останавливались на невидимой высоте, оглядывали открывавшуюся перед ними даль и быстро умирали, умирали неудовлетворенные, томящиеся, зовущие... Каждая отдельная нота жила такой короткой жизнью, с тоской отыскивая гармонического отзвука, и умирала с тоской, уступая место другим. Да, звуки родились, жили и умирали, поднимая в душе вереницу молодых грез, несбывшихся снов и мучительных воспоминаний. И какие знакомые звуки: оркестр играл ноктюрн Шопена. Ему делалось жутко... Ведь эти аккорды жалуются, тоскуют, стонут, плачут и досказывают то, что можно только чувствовать и пред чем бессильно человеческое слово. Одна музыка блуждающим огоньком ведет в этот таинственный мир, где пугливо прячутся смутные грезы и неясные тени нашего воображения, где дремлют бессознательные ощущения, где кончается все

определенное, то, что мы можем назвать определенным словом. Грезы наяву, сон, от которого не хочется проснуться, сладкое забытье... А мелодия разливалась, росла и, казалось, захватывала все кругом – и этот дремавший старческим сном столетний парк, и усеянное мириадами звезд небо, и двигавшуюся живую массу дачной публики.

Да, он сидел, слушал, и ему начинало казаться, что вся эта толпа состоит не из людей, а из отдельных нот. Были очень маленькие ноты, нежные и мелодичные, были энергичные и даже грубые, были безразличные – те живые нули, которые получали свое значение только рядом с другими нотами. У каждой ноты была своя линейка и свое место на этой линейке, хотя и не все знали это место. Некоторые уже кончали свою партию, некоторым недоставало комбинирующего звука, наконец были просто лишние ноты, которые только мешали другим, производя диссонанс. Он долго и внимательно вглядывался в эти живые ноты, и его смутно начинал раздражать этот подавленный гул живой массы, это чужое веселье, беспечность, светившиеся сча-

стьем взгляды, когда сам он был весь в прошлом, и у него в душе замирало певучее рыдание скрипок, глухие жалобы медных труб и подавленное негодование контрабасов. Собственно публика легкомысленно растворялась в настоящем, довольная своим днем, тем, наконец, что она может бессмысленно бродить, заглушая своими шагами чудную мелодию. Ему хотелось встать и уйти, но он продолжал оставаться на своем месте, точно боялся потерять назревавшее в душе такое хорошее, хотя и болезненное ощущение.

Но все-таки нужно уходить. Следующим номером в программе стоит какой-то «блестящий» модный вальс. Он каждый раз перед тем, как уйти с вокзала, обходит весь круг. Это вошло в привычку. И сегодня он воспользовался антрактом, чтобы сделать свою прогулку. Он шел в толпе и с каким-то мучительным чувством вглядывался в мелькавшие лица, точно боялся встретить что-то такое родное, близкое, бесконечно дорогое. Ему даже казалось, что он слышит знакомые, легкие женские шаги, он вздрагивал и не решался оглянуться, вперед переживая неизбежное

разочарование, – ведь он каждый раз ошибался, да и каждый его день – одна мучительная ошибка. А глаза продолжали искать в толпе знакомые дорогие черты… Вот знакомый разрез глаз, вот похожий овал лица, вот тонко очерченный носик, – да, дорогой человек разлился в этой толпе и продолжал существовать только как собирательное. Нет и есть, есть и нет. Об этом плакали скрипки, об этом стонали медные трубы, жаловались контрабасы, и бледные северные звезды смотрели так печально. Звезды – мировые слезы…

– Вы куда, Валерий Павлыч?..

Его остановил не голос, а взгляд этих серых глаз, опушенных такими темными ресницами.

– Я сейчас ухожу, Сусанна Григорьевна…

Серые глаза посмотрели на него с тем участием, от которого у него получилось ощущение предательской теплоты. Ведь она была и красива, и молода, и все ею восхищались, а он заметил это только сейчас, вернее – почувствовал. Она отделилась от толпы и сама взяла его за руку.

– Мне тоже пора домой… – тихо проговори-

ла она, опираясь на его руку. – Вы меня проводите. Нам, кажется, но пути…

– Нет, т. е. да…

Она грустно улыбнулась, а потом у нее лицо приняло строгое выражение. В общем и в фигуре, и в постановке головы, и в движениях, и особенно в выражении лица сказывалась именно та милая строгость, которая в ней ему всегда так правилась. Такие женщины умеют необыкновенно хорошо улыбаться. Черный летний костюм гармонировал с общим тоном как нельзя больше, и Валерий Павлыч в шутку называл ее про себя черной женщиной.

– Идем…

Он с удовольствием чувствовал, как она шла рядом с ним, такая молодая, цветущая, полная сил. Когда они шли по деревянному мостику, перекинутому через подернутый плесенью садовый пруд, она тихо проговорила:

– Вы не любите вальсов? Да, я понимаю… А слышите, как запел корнет-а-пистон? Мне кажется, что этот медный голос так идет и к этой зелени, и к застоявшейся ночной мгле, и

к тому настроению, которое охватывает в такие ночи.

Он согласился безмолвным движением головы и посмотрел на нее спрашивающими глазами. Она слегка отделилась от него всем корпусом, но не отняла руки. Это невольное движение не ускользнуло от него. Между ними уже устанавливалось то взаимное понимание, которое не нуждается в словах. Да и самые слова говорили другое, потому что явилось уменье читать между строк. Она была такая умненькая, с такой чуткой тонкостью понимания.

II

Они вошли в парк. Широкая вековая аллея тонула в темноте, точно задрапированная мягкими летними тенями.

Раздавалось только легкое шуршанье их шагов.

– Мне не хочется идти домой... – проговорила она с шаловливым нотами в голосе. – Да... Я хочу вас наказать...

– За что?

– А разве это хорошо, когда дама приглашает гулять?..

– Вы правы…

– Есть вещи, которые понимаются сами собой и которые нельзя даже объяснить.

– Например?

Она неожиданно засмеялась, чуть-чуть откинув голову. У других женщин смех имеет какое-то внешнее значение, а она смеялась вся каждой каплей крови.

– Например?.. – повторила она вопрос. – Например, мужчина не должен бросать женщину сам, а из вежливости должен предоставить это удовольствие ей… Нужно уметь пощадить то последнее, что остается ей в утешение, – ее женскую гордость. Ведь есть мужская гордость и есть женская гордость… Мне смешно, что вы не понимаете таких простых вещей. Какой вы ребенок!..

Теперь засмеялся он. Ведь в этих словах была скрыта целая программа. О, как хорошо он понимал ее, всю понимал, кончая той женской гордостью, которую она сейчас подвергала тяжелому испытанию. Теперь же понял он, почему она пошла с ним, почему с таким участием смотрели ее глаза, почему она сохранила в себя эту девичью строгость – черная жен-

щина еще не любила... она инстинктивно льнула к нему, чувствуя в нем еще не остывший жар. Она знала грустную историю и теперь грелась около чужого огня. Женщины понимают все это чутьем. Она казалась ему теперь выше, ее серые глаза больше и темнее... это чудный момент, когда женщина без слов требует защищающей ласки, опоры, тех бессмысленных слов, которые обвиваются около сердца, как цепкое растение.

– Какая чудная ночь... – проговорил он, набирая воздух.

– Как я люблю этот чудный парк! – говорила она. – Жить хочется... Что-то такое грустное накипает в груди. Слышите, как опять запел корнет-а-пистон?.. Вы часто гуляете в парке?

– Да, каждый день... Вот здесь, в этой аллее. Я люблю эти вековые липы, которые были свидетелями моего горя. Я его вынашивал здесь, как святыню...

– Вы счастливы уже тем, что можете горевать... Вы и давеча думали о *ней*. Да?

– Да...

Она замолчала. Эта гордая головка поник-

ла. Ее охватило то чувство ревности, которое служит предвестником других чувств. Зачем он рисуется своим горем?.. Его жену она видала только издали и помнила только одно, что это была чудная красавица. У той было такое удивительно с лицо, с непроснувшимся детскими глазами, спокойное, гордое, красивое каждой линией, каждым движением. Она невольно сравняла себя с ней, и ее охватила досадная робость, какая охватывает новичка на первом экзамене. С другой стороны, ей было досадно за это чувство, еще более досадно за то, что он мог догадаться о нем. Она замедлила шаги, выпрямилась и проговорила:

– Я устала… Сядемте где-нибудь.

– Опять я должен был предложить эту комбинацию? Но дело в том, что пройдемте еще одну аллею, а там в конце стоит *она*… моя мраморная богиня.

– Ваша богиня? Впрочем, я понимаю, что вы хотите сказать, и повинуюсь…

Она легонько вздохнула и крепче оперлась на его руку, точно хотела сказать этим движением, что ей все-таки хорошо, несмотря на то, что у него есть эта мраморная богиня. Хоть

целый легион мраморных богинь, только бы чувствовать его присутствие... Она точно спускалась куда-то по ступенькам и с каждой новой ступенькой делала новую уступку. А как хорошо идти такой аллеей, как хороша ночь, как хорошо на душе!.. В последнем черная женщина боялась признаться самой себе.

Аллея делала крутой поворот. Дальше следовал широкий спуск к реке, запушенной прибережными кустами. Слышен был нелепый ропот воды, сбегавшей по шлюзу. Над водой уже стлалась белая пелена тумана. Противоположный высокий берег вырезался из этой сочной белесоватой мглы неясными контурами. Там красиво рвались в небо готические стрелки елей, зелеными шапками круглились тополи, точно восковые свечи стройно поднимались желтые стволы сосен. В жаркие летние дни здесь царит прохлада, и воздух был напоен смолистым ароматом. На легком деревянном мостике они остановились. Она оперлась на барьер и долго смотрела вниз, где бурлила вода.

– Меня охватывает каждый раз желание броситься туда... – объяснила она, указывая

зонтиком под мост. – Вы этого не испытываете?.. Впрочем, я болтаю глупости... Что вы молчите? Скажите, что вы думали сейчас?..

Он даже вздрогнул, пойманный на месте. В ее голосе прозвучала повелительная нота. Она уже требовала от него отчета даже в мыслях.

– Я думал... нет, не думал, а видел зиму. Там... далеко... Городские улицы засыпаны снегом, и я шел по этим улицам. Мне делалось холодно... Я уже подходил к знакомому маленькому домику, в котором жила она... Да, в окне был синеватый свет – это горел фонарь в ее гостиной. У меня сильно забилось сердце... Ведь мысленно я тысячи раз прошел по этим улицам, тысячи раз подходил к знакомому подъезду, давал звонок и, не получая ответа, грустно возвращался, чтобы опять и опять идти по той же дороге. Да, я видел зиму, и эта зима была в моем сердце...

– Вы повторяли свое счастье... – глухо ответила она, заглядывая к нему в лицо.

Кстати, какое было у него лицо? Сейчас она этого не умела бы сказать, а первое впечатление, когда она в первый раз увидела его,

было не в его пользу. Шатен, с темными большими глазами, с характерным прямым носом, с маленькой бородкой, – вообще ничего особенного. Таких лиц тысячи. А сейчас это было другое лицо. Ей хотелось заглянуть в него, как она заглядывала на бурлившую под мостом воду, что там делается, в этой голове?.. Зачем он говорит ей такие вещи, как сейчас? Может быть, он хочет показать, что весь в прошлом, что других женщин для него не существует, что наконец она для него полное ничто... А может быть, это один из тех маневров, какие употребляют слабые волей люди, может быть, он просто хочет искусственно подогреть себя, вызывая тень любимой женщины. В конце-то концов ведь все-таки ее нет...

III

Мраморная богиня, в торжественном молчании стоявшая в тени наклонившихся над ней лип, сделалась невольной свидетельницей довольно странной сцены. По крайней мере, в древней Греции ничего подобного не случалось.

– Вам правится меня мучить, Валерий Пав-

лыч? – говорила она, чертя на песке кабалистические фигуры. – Я это знаю… Да, вам нравится, что я пришла за вами, как комнатная собачка, что к вам протягиваются руки за милостыней…

Они сидели на скамье, защищаемые густой тенью от тех же лип, которые так любовно наклонились над дивной античной красотой. Ее слова заставили его откинуться на деревянную спинку скамьи. Она сразу вышла из своей роли, без всяких подготовительных переходов.

– Вы глубоко ошибаетесь, Сусанна Григорьевна… да. Вдвойне ошибаетесь – и за себя, и за меня. В вас говорит простое неудовлетворенное чувство…

Понизив голос, он прибавил:

– Вы еще не любили, Сусанна Григорьевна…

Она сделала движение, но осталась на том же месте. Зонтик смешал все фигуры на песке и повис на руке, как крыло подстреленной птицы.

– Это я, а вы?..

– Если бы вы любили, то поняли бы, что я

не могу быть другим… Мне даже странно говорить все это вам обыкновенным будничным языком. Есть чувства и мысли, для которых нужны праздничные, нарядные слова… Нужен бархат, шелк, золото, драгоценные камни, аромат редких цветов, чудная музыка, чтобы такое чувство могло проявить себя. Ведь оно делает богачом последнего нищего, оно…

– Для вас я являюсь в роли будней?..

– Этот вопрос уже служит приговором… Охваченный чувством человек не задает его, он не будет сомневаться в себе. В нем все чувства слишком полны, и нет тех расстояний, которые отделяют мысль от чувства, чувство от действия. Тогда человек – одна мысль, одно чувство, одно действие… Нет, этих вещей нельзя рассказать. Знаете ли вы, что такое ожидание любимого человека? Мало ли красивых, молодых лиц, но для вас все сосредоточилось в одном этом лице… Вы даже не можете сказать, красиво оно или нет – оно вне всякой критики, как реликвия. Посмотрите на мою богиню – ведь она вся живая, потому что создана именно этой полнотой чувства, пото-

му что она сама жизнь, любовь, счастье.

– Ваша классическая богиня увидит живую женщину, еще молодую и полную сил, которая будет возвращаться домой вот по этой аллее, как скорбная тень… Боги справедливы до жестокости, и они поймут тот ад, который унесет отсюда эта женщина. Да, она ошибалась, если жизнь так складывается… А сколько таких женщин, которые так и умрут в ожидании той полноты, о которой вы сейчас говорили. Одной больше, одной меньше – вопрос, интересный разве для какой-нибудь математической выкладки.

Она поднялась, гордая и холодная, как та богиня, которая смотрела на нее со своего пьедестала. Он тоже поднялся.

– Не трудитесь меня провожать… Я дойду одна… да, одна.

Он молча посторонился, давая ей дорогу.

– Простимтесь друзьями, Валерий Павлович…

– О, да… друзьями…

Она крепко сжала его руку и быстрым движением бросилась вперед, точно отрывала самое себя от чего-то задерживавшего. В этом

движении она была так чудно хороша, как хорошо все искреннее, чистое, неподдельное. Ему хотелось остановить ее, крикнуть, но он удержался и бессильно опустился на свою скамью. Легкие шаги быстро удалились, он слышал, как шуршала шелковая юбка, как хрустел песок под маленькими ножками… Окружавшая его ночная тишина вдруг точно была прорезана далеким звуком – это опять играл корнет-а-пистон. Он быстро вскочил и крикнул:

– Сусанна Григорьевна, вернитесь…

Ночь не ответила, и только по-прежнему призывно пел корнет-а-пистон.

Он схватил себя за голову и бросился догонять ее.

– Сусанна Григорьевна…

Она не остановилась и не убавила шагу. Она слышала его догонявшие шаги, слышала тяжелое дыхание и вдруг испугалась. Это был детский страх, от которого немеют ноги и сердце перестает биться. Вот горячая сильная рука берет ее маленькую холодную руку, и она не имеет силы ее отнять. Она даже закрывает в ужасе глаза, как животное, которое

предчувствует смертельный удар. Он ласково и настойчиво заставил ее вернуться. Она шла рядом, как лунатик, с трудом переставляя ноги.

– Что вам еще нужно от меня?..

– Мне хотелось сказать вам что-то такое хорошее, Сусанна Григорьевна. Приласкать, просить в чем-то прощения, сказать, что я дрянной человек, что я все лгал, что я обманывал самого себя...

– Опомнитесь, что вы говорите...

Маленькая холодная рука оставила его руку. К ней вернулась какая-то неясная решимость.

– Да, я безумец...

Он задыхался, чувствуя, как что-то щиплет в горле и как все кругом исчезает. Оставалось одно, тяжелое и угнетавшее, от чего сердце билось, как пойманная птица. Да, он был весь одна минута, одно мгновенье...

Опять та же скамья и та же мраморная богиня. Он видел, как она, черная женщина, обессиленным движением заставила себя сесть. Минуту назад, всего одну минуту она принадлежала ему, а сейчас она была так же

далеко, как любая звезда. Это последнее его раздражало и придавало какую-то безумную энергию. Вместо слов он целовал маленькие холодные руки и не получал ответа.

– Я вас презираю... – тихо проговорила она, улыбнувшись кроткой и горькой улыбкой. – Вы совсем не тот, о котором я думала, которого я...

Роковое слово не было договорено.

– Милая черная женщина с чудными серыми глазами, я тебя понимаю... Ну и что же, гони меня!.. Что я сделал, что я делаю...

Этот припадок покаянного малодушия сменился неожиданной энергией. Она почувствовала на себе его твердый взгляд, она услышала его ласковый шепот:

– Мне ничего не нужно, милая черная женщина... Только не уходите, не оставляйте меня одного.

– Что из этого выйдет?..

– Я не знаю...

IV

Мраморная богиня видела, как он плакал и как она молча перебирала его волосы, подернутые серебром преждевременной старости.

Ведь она так любила эту голову, любила гораздо раньше, чем догадалась об этом. Роковое открытие лишило ее воли, обессилило, заставляло делать то, чего она не должна была делать.

– Вы угадали, что я никогда не любила, – говорила она спокойно. – И теперь не люблю... Нет, не люблю... Я знаю, что вы хороший человек, что вы можете быть очень хорошим человеком... И если бы мы встретились раньше...

– Нет никакого раньше, а есть только настоящее...

Она наклонилась совсем к его лицу, ласково посмотрела ему прямо в глаза и прошептала:

– А если *та* придет, та, первая?.. Я ее буду чувствовать во всем, в каждом твоем взгляде, в каждой ласке... Скажу больше, я чувствую, что я сама уже умерла, и что моя соперница уже смотрит тебе в глаза и ты ей говоришь то же, что говорил когда-то мне. Я чувствую это и с ужасом чувствую, что лишена уже возможности проявить себя ни одним звуком, ни одним движением, и только могу ненавидеть

твое настоящее, то есть самое себя. И все это сон, мой дорогой... Твоя черная женщина пойдет к себе опять одна, к своему одиночеству, чтобы не было того настоящего, в котором и ты и она потом могут раскаяться...

В этот момент опять запел корнет-а-пистон. Она схватила его за руку и проговорила:

– Слышишь? Узнаёшь?

– Да...

– Это поет Маргарита о царе, который жил в Фуле... он ведь тоже любил, этот хороший король, и она тоже умерла, и он хранил до самой смерти память о своей милой... Слышишь?..

Она вся побледнела и крепко прижалась к нему.

– Слышишь? Это уже не труба поет, а она, любимая женщина... лес поет... ночь поет... Будь благословенна память любимой женщины, милый, и забудь ту, которая с безумной дерзостью хотела нарушить эту святыню. Слышишь, король уж состарился... да... жива одна память... Слышишь, как он бросает холодеющей рукой заветное кольцо в свой кубок?..

И пела ночь, и звезды, и лес, и в воздухе незримо реяли тени богов, а среди них поднималась вместе с песней тень любимой женщины, торжествующая, счастливая, побеждающая...

1893

Вкруг ракитова куста

Повесть

I

Солнце уже спускалось к горизонту, делаясь все больше и больше. Оно постепенно краснело, зажигая края вытянутых над морем облаков живым огнем, пурпуром и переливавшимися цветами радуги. Море было спокойно и только чуть-чуть колыхалось у самого берега, где приливала широкая волна. Слабый шепот этого прибоя напоминал ровное дыхание засыпающего человека. Расцвеченное всеми огнями радуги небо отражалось в воде, а набегавшая ткань морской волны принимала самые нежные перламутровые тона – розовые, голубые, зеленые, желтые с особенным нежным отливом дорогого жемчуга, точно море было освещено изнутри. От всей этой картины веяло какою-то сказочною красотой и той освежающей здоровой негой, от которой не хочется проснуться. Да, это было то северное холодненькое море, которое создало северную сагу и ее неукротимых героев – викингов.

Елена Григорьевна проводила каждый вечер на пляже, переживая глухую тоску. Ей вспоминалась далекая южная родина, далекое южное теплое море... А здесь даже летом было холодно, и даже краски заката казались ей холодными. Она устало смотрела темными глазами на толпу гулявших на пляже и как-то ни о чем определенном не думала. Да, *он* непременно придет, предложит ей руку и проведет через эту толпу, которой она так не любила... Кажется, вчера, да, именно вчера она узнала одного московского профессора, с которым встречалась в Ялте, и самым глупым образом начала смотреть в сторону, хотя он ее не узнал. А еще когда-то ухаживал... Впрочем, профессорская рассеянность вошла в пословицу. Елена Григорьевна знала почти наперечет всех гулявших, хотя и не была ни с кем знакома, и знала также, что курортные дамы ее не любят, считая гордой, и вместе завидуют ее костюмам и красоте. Если бы они знали, как она сама ненавидит себя, свою красоту, жалкие тряпки, в которые должна была наряжаться совсем не для себя и своего удовольствия... В виде утешения у нее мель-

кала всего одна мысль: ведь когда-нибудь все это должно было кончиться, как кончается все на свете.

– А я вас ищу по всему пляжу, Елена Григорьевна… – проговорил над ее ухом жирный басок, заставивший ее вздрогнуть.

Она ничего не ответила, а только умоляюще посмотрела на него своими темными испуганными глазами.

– Аркадий Евгеньич не придет, – ответил басок на этот немой вопрос. – Он чувствует себя не совсем здоровым.

Елена Григорьевна поднялась, но молодой человек ее удержал.

– *Нам* приказано дождаться здесь, пока сгорят костры. Может быть, Аркадий Евгеньич еще и придет, если почувствует себя лучше. Он сейчас прилег отдохнуть… Ведь сегодня у эстонцев древний языческий обычай – жечь костры. У нас они называются, кажется, купальными огнями… Да…

Молодой человек устало опустился на скамейку. Он казался старше своих двадцати шести лет благодаря какой-то дряблой тучности. Даже модный костюм из белой фланели с го-

лубыми полосками старил его. Бесцветное, точно вылинявшее лицо глядело тусклыми бесцветными глазами. Он страдал одышкой и в разговоре делал паузы, глотая воздух, как только что вытащенная из воды рыба. Левая рука вечно точно чего-то искала, шевеля пухлыми бессильными короткими пальцами. Елену Григорьевну больше всего возмущало, когда этот пухлый молодой человек начинал смеяться каким-то дряблым смехом, причем делалось это без всякого повода. Она знала, что он и сейчас будет смеяться, и ее вперед охватывало неприятное жуткое чувство. Когда его лицо уже начинало распускаться в бесцветную неопределенную улыбку, она предупредила его смех неожиданным вопросом:

– Павел Максимыч, извините за откровенность, мне кажется, что вы боитесь Аркадия Евгеньича?

Дряблое лицо Павла Максимовича сразу приняло непривычно-серьезное выражение, как у человека, которому помешали чихнуть. Он повел плечами и ответил с заикающимися паузами пойманного школьника:

– Нет, то есть да… если хотите…

Потом он поднялся и с неожиданной для самого себя смелостью, глядя прямо в лицо Елене Григорьевне, проговорил:

– А вы боитесь?

– И даже очень боюсь, – просто ответила Елена Григорьевна, стараясь равнодушным тоном замаскировать внутреннее волнение. – Каждая женщина должна кого-нибудь бояться…

– Неужели и меня какая-нибудь женщина будет бояться?

– О, непременно… Именно та, которая вас полюбит.

Павел Максимович сделал нетерпеливое движение и ничего не ответил. На его дряблом лице появилось какое-то брезгливое выражение. Ему показалось, что Елена Григорьевна смеется над ним. Его полюбит женщина… этого не было и не будет. Он повертел в руках свою палку и как-то бессильно опустился на скамейку.

Публика все прибывала на пляже. Яркие летние туалеты дам пестрили гуляющую толпу красивыми пятнами. Около приготовлен-

ных костров суетилась дачная детвора. Собственно эстонцев почти не было. Они кучками сидели в дальнем конце пляжа, где на берегу приютились рыбачьи избушки. Народным праздником завладели господа. Елена Григорьевна продолжала молчать, напрасно стараясь придумать какую-нибудь тему для разговора. С Павлом Максимовичем иногда было трудно разговаривать, и, кроме того, он в этих случаях совсем не умел слушать и както по-детски перебивал на половине фразы.

– Да, скучно… – неожиданно проговорил он.

– Благодарю за комплимент… – ответила она. – Вы иногда бываете очень любезны, Павел Максимыч.

– Это я не про себя, а про вас. Я заметил, что вам хочется зевнуть… А я не умею занимать дам. Это особенный талант…

– Вы правы: с дамами обыкновенно говорят ни о чем, чтобы убить время.

– Не всегда… Вон посмотрите, как заразительно-весело смеется вон та девушка… с розовым зонтиком…

– Она смеется потому, что еще очень моло-

да... А молодость счастлива уже тем, что многого не понимает.

– Да, пожалуй... Вернее сказать: ей еще не в чем раскаиваться. Мне эта смеющаяся девушка напоминает счастливого путешественника, у которого весь багаж состоит из одного розового зонтика.

Ей показалось, что он сделал намек на что-то, о чем начинал догадываться. Она даже хотела рассердиться, но сдержала себя. Потом этот нелепый приказ Аркадия Евгеньевича присутствовать при глупой церемонии сжигания костров, – здесь все было пропитано только ей одной понятной иронией. Она припомнила именно такую купальную ночь там, на далеком теплом юге, где около костров собралась счастливая молодежь. Как милы были девичьи лица, улыбавшиеся безграничной радостью глаза, напоенный молодыми песнями воздух, счастливая дрожь молодого смеха... Она шла под руку с ним кругом такого горевшего костра, а он шептал: «Это наше венчанье... вкруг ракитова куста!»... Она была счастлива тем счастьем, которое нагоняет страх. Да, счастлива, как человек, который

только что перенес самую рискованную и опасную операцию и более не чувствует боли. Он не забыл этого момента и послал напомнить о нем…

II

Они не заметили, как солнце опустилось в море и как зажглись первые костры в дальнем конце пляжа. Публика с детской торопливостью хлынула в сторону этих огней. Разодетые дачные дети бежали с радостным криком, перегоняя друг друга. Особенно эффектно выделялся один костер, охваченный огнем сразу. Над ним крутившимся облаком поднимался багровый дым.

– Нам пора… – нерешительно проговорил Павел Максимович, поднимаясь и выгибая руку кренделем.

– Да? – точно удивилась она, торопливо опираясь на его руку. – Мы должны исполнить предписание в точности?

– Точно так-с, Елена Григорьевна.

Они оба принужденно засмеялись, вмешиваясь в толпу публики, которой было сейчас не до них.

– А ведь хорошо… – ни к чему сказал Павел

Максимович, с удовольствием чувствуя, как Елена Григорьевна опирается на его руку и как от каждого ее шага он получал толчок, точно его сердце начинало биться вне его тела.

– Что вам так понравилось? – спросила она таким тоном, когда не ждут ответа.

– Я люблю огонь... В нем есть что-то мистическое, символ жизни... Ведь и наша жизнь только медленное сгорание... Каждое наше чувство, каждая наша мысль есть только отблеск этого невидимого, внутреннего, пожирающего нас огня.

– Знаете, это очень красиво сказано, Павел Максимыч... Ведь вы кончили университет?

– Да, только за границей... Потом я лет пять провел в Англии и страшно тосковал по родине. Это смешно, а я главным образом тосковал именно о том, что в английских парках и скверах нельзя разложить огня и посидеть около него. Так, просто посидеть, ни о чем не думая... Впрочем, я встречал много таких огнепоклонников, главным образом, конечно, среди охотников.

– Разве вы охотник?

– А вы как думаете?

Она посмотрела на него и недоверчиво покачала головой. Павел Максимович меньше всего походил именно на охотника.

– У вас есть родные в Москве? – спросила она, продолжая какую-то неожиданную мысль.

– Дальние… Собственно от своей родни я как-то отвык, да и от своего купеческого круга отстал. Сохранились одни деловые отношения… Как-то даже странно, когда знаешь людей с детства, даже рад их видеть, а встретишься – и сказать нечего.

– У богатых московских коммерсантов теперь мода давать своим детям английское воспитание?..

– Отчасти мода, а отчасти заставляет необходимость…

– Это очень оригинально, когда молодые купеческие девушки говорят по-английски. Я сама слышала не один раз в Ялте…

Они шли и болтали обо всем, что приходило на ум. Павел Максимович говорил как-то торопливо, точно боялся, что не успеет всего высказать. Она перебивала его и тоже торо-

пилась. Ведь у нее было так мало времени, когда она могла быть сама собою, и, вероятно, поэтому она старалась выговориться.

– Вам приходило на ум, Павел Максимыч, что, в сущности, мы ведь целую жизнь молчим, то есть говорим совсем не то, что хотели бы сказать? Я еще маленькой девочкой прошла эту школу молчания... А потом пришлось молчать еще больше... Есть специальное выражение: старческая болтливость. Ах, как я это понимаю!.. Не правда ли, как хорошо, когда уже ничто человека не стесняет... Я и теперь уже начинаю иногда думать по-старушечьи. Ведь, право, девять десятых того, что нас волнует и заботит, чего мы боимся и чему радуемся – все это пустяки, если посмотреть со стороны. Например, мне было всего тринадцать лет, когда я в первый раз влюбилась. Принято обыкновенно смеяться над этой влюбчивостью девочек-подростков, а по-моему это совсем не смешно. Мой идеал тогда был пожилой учитель географии, брюзгливый от пива, некрасивый, с красным носом вдобавок... Он на меня не обращал, конечно, никакого внимания, а я вся дрожала, когда он

проходил мимо, совершенно терялась, когда он спрашивал меня урок. Представьте себе, у меня до сих пор сохранилось по отношению к нему что-то такое, какое-то смутное чувство, как сохраняются у растения первые засохшие листья... И мне сейчас, чего-то жаль, как жалеешь потерянную вещь, когда кажется, что здесь такой другой больше не найдешь. Где он сейчас, мой учитель географии? Может быть, умер, может быть, спился окончательно, может быть, по-прежнему тянет свою учительскую лямку... А в сущности, к чему я это все говорю?..

– Я отлично вас понимаю, Елена Григорьевна, – в том же тоне ответил Павел Максимович. – В этих недосказанных словах и недоразвившихся чувствах есть своя логика, и они иногда дороже настоящих слов и чувств. У меня была тоже такая привязанность, хотя я был гораздо старше вас. Мальчики в этом отношении развиваются позднее... Это было в Лондоне. Я ее встретил на одном людном гулянье. Мальчики влюбляются в дам, а не в девушек. Когда я ее увидел в первый раз, меня точно ударил электрический ток... Даже я за-

труднился бы ответить, была ли она красива или как тысячи других женщин. Но я был полон ею, для меня ничего больше не существовало...

– Это, вероятно, была родная сестра моего учителя географии? – пошутила Елена Григорьевна.

– По всей вероятности, – согласился он. – Посмотрите, почти уже все костры горят... Очень хорошо!.. Если бы не было стыдно, я с удовольствием начал бы бегать вокруг них вон с теми счастливыми ребятишками. А вон та девушка с розовым зонтиком, которая давеча так заразительно смеялась. Она успела уже сделаться серьезной...

Начинали сгущаться летние сумерки. Морской горизонт закрывался широкими тенями. Огни от костров отражались в воде. Пахло дымом.

– Зачем вы живете здесь? – спросила Елена Григорьевна после длинной паузы. – Гунгербург – один из самых скучных курортов, а у вас свое имение в Крыму...

– Я? Зачем я живу здесь? Неужели вы не догадываетесь, Елена Григорьевна?..

– Нет, одно время я пробовала догадаться, но вы – умный человек и, конечно, сами давно поняли, что я не из тех женщин, для которых стоит скучать...

– А если мне некуда больше идти? Я хочу дышать одним воздухом с вами – и больше ничего...

– Могу пожалеть только об одном, что вы, значит, слишком мало меня знаете...

– Но это не мешает мне, если можно так выразиться, *чувствовать* вас, всю чувствовать...

– Чувствовать усталость, безволие, тоску?

– Все, все!.. Прибавьте к этому еще ненависть...

Она вздрогнула и быстро отняла свою руку, точно он ее ударил.

– Да, ненависть... – повторил он, делая ударение. – О, как мне это чувство знакомо! Но это не та здоровая, настоящая ненависть, которая делает человека человеком, а отраженное чувство, как прямое следствие безволия... Ведь собака ненавидит палку, которой ее бьют. Здесь хуже... Моя ненависть только отражение моего рабства. Самою большою зло-

стью, как известно, отличаются самые маленькие насекомые, которые умирают, вцепившись во врага зубами. Нарушенная воля – первоисточник всевозможных преступлений, особенно когда это утраченное душевное равновесие окрашено личными чувствами.

Она отлично понимала, о чем он говорит, и ей делалось страшно. Ведь все эти бессвязные мысли, совершенно непонятные для постороннего человека, служили тем полупризнанием в любви, которое так ценится умными женщинами. Зачем слова, когда они делаются только шелухой и скорлупой таинственного зерна и когда вся суть заключается в тембре голоса, в интонации, в красноречивых паузах... И ей было больно, потому что этот странный молодой человек не хотел понять, что ей нечем было ответить его настроению. Разве можно объясняться в любви с женской тенью?

– Я встаю очень рано и люблю встречать восход солнца, – продолжал Павел Максимович. – Мы слишком привыкли к нему, то есть к этому источнику жизни, в котором уже вперед заключены все наши мысли и чувства, ра-

дости и страдания. Эта блестящая, сверкающая и ослепляющая тайна, около которой вращается наша планета и которая в то же время в силу психического обмана кажется висящей над нашею головой… Вообще, если…

Он хотел что-то еще сказать, но в этот момент кто-то назвал его по имени.

III

Это был человек Арсений, из кургауза, с веснушчатым лицом, какими-то жесткими кудрями и ногтями в трауре. Он прибежал на пляж без шапки и с салфеткой под мышкой.

– Пал Максимыч… извините, у нас неладно в номере.

– Что такое случилось?

Арсений посмотрел на Елену Григорьевну и прибавил уже шепотом:

– Барин Аркадий Евгеньич померши…

Елена Григорьевна расслышала эту фразу и тихо вскрикнула. Арсений струсил, что, может быть, напрасно сразу проговорил все дело и напугал барыню прежде времени, и, чтобы поправить ошибку, закрыл рот рукою.

– Ты что-нибудь путаешь… – строго заметил Павел Максимович, подавая руку Елене

Григорьевне.

– Никак нет-с, Пал Максимыч… Я, значит, отворил дверь в ихний номер, а они изволят лежать на полу и не дышат-с… я и побежал объявить вам… Ноги даже трясутся со страху… Как есть без дыхания лежат на ковре у письменного стола…

Все трое ускоренным шагом отправились к кургаузу. Елена Григорьевна тяжело дышала. До кургауза было всего минут десять ходьбы, но эта дорога сейчас показалась бесконечной. Было уже темно, и Павел Максимович по близорукости несколько раз запинался на совершенно гладкой дорожке. Человек Арсений из вежливости не решился обойти господь, а свернул на соседнюю дорожку и побежал бегом.

– Доктора… Ради Бога, доктора! – крикнула ему вслед Елена Григорьевна.

– Слушаю-с! – долетел из темноты ответ.

– Доктора! – крикнул Павел Максимович охрипшим от волнения голосом.

– Слушаю-с…

Гунгербургский курзал по вечерам освещался как-то особенно приветливо, точно он

был насыщен уютным теплом. Номер Елены Григорьевны выходил прикрытым полосатою маркизой балконом к морю, и сейчас можно было видеть отворенную дверь, потому, что на письменном столе Аркадия Евгеньевича горела лампа.

– С ним это случалось и раньше, – говорила Елена Григорьевна, подбирая шелестевшую шелковую юбку. – Да, случалось... в Киеве... потом когда мы были в Варшаве... У него сердце не в порядке... Ведь вы знаете доктора Брусницына? Полный такой... Мы с ним встречаемся за табльдотом... Так он предупреждал Аркадия Евгеньича...

– Доктор сам, кажется, тоже болен?

– И даже очень болен... У него тоже сердце... Он так спокойно говорит о своей смерти...

– Я не люблю людей, которые много едят, – заметил Павел Максимович совершенно не к месту, припоминая прекрасный аппетит доктора Брусницына.

Человек Арсений встретил господ в дверях номера; в коридоре, толпилось несколько горничных, а в номере толстый доктор Брусни-

цын, стоя на коленях, старался привести лежавшего на полу больного в чувство.

– Доктор, ради Бога, что случилось? – умоляюще шептала Елена Григорьевна, опускаясь на колени, чтобы поддержать бессильно перекатывавшуюся голову больного.

– Ничего особенного... – грубовато ответил доктор. – Дайте одеколон... Может быть, есть английская соль... Натирайте одеколоном виски... Человек, принесите льду... Мадам, помогите расстегнуть рубашку...

Елене Григорьевне, несмотря на волнение, невольно бросилась в глаза эта рассчитанная грубость доктора. Раньше он был совсем другим. Но теперь было не до этого, и она покорно исполняла докторские приказания. Больной лежал на левом боку. Это был среднего роста худощавый господин с мертвенно-бледным лицом и плотно сжатыми губами. Большой лоб оттенялся густою темною шевелюрой, в которой уже сквозила преждевременная седина. Темные усы скрывали некрасивый чувственный рот. В общем это было самое обыкновенное лицо, которое оживлялось только странными серыми глазами, при-

стальными, строгими, насмешливыми и в минуту возбуждения казавшимися совсем черными. Но сейчас эти глаза были закрыты, и лицо оставалось обыкновенным.

Павел Максимович стоял около письменного стола и смотрел, как умело и быстро руки Елены Григорьевны исполняли докторские слова. Доктор раза два вскидывал на него свои глаза и почему-то считал нужным морщиться. Сознавая свою бесполезность, Павел Максимович все-таки не решался уйти в свой номер Ему казалось, что это бегство может обидеть Елену Григорьевну. Когда больной полуоткрыл один глаз, Павел Максимович вздрогнул от какого-то терпкого и неприятного ощущения, как дрессированное животное, когда к нему подходит хозяин. Боже мой, как бы он был счастлив, если бы эти глаза никогда не открывались.

– Что вы тут стоите? – обратился к нему доктор, хмуря брови. – Помогите нам перенести его на кровать... Мадам, вы поддерживайте голову...

Несмотря на свою худощавость и маленький рост, больной оказался настолько тяже-

лым, что потребовалась помощь Арсения. Когда больной был положен в кровать и раздет, он тяжело вздохнул и удивленно открыл глаза.

– Ну, вот все и кончилось, – недовольным голосом заметил доктор. – Теперь покой, покой и покой... Я кстати пропишу одну микстурочку, которая, в сущности, и не нужна. Да... Крепкий куриный бульон... молоко, а еще лучше простокваша... и больше ничего.

Доктор любил подшучивать над своей медицинскою кухней и в то же время обижался, если другие шутили над ней. Написав рецепт, он грузно поднялся и, не простившись, пошел к дверям. Елена Григорьевна догнала его в коридоре.

– Доктор, ради Бога, что с *ним?*

Доктор остановился, посмотрел на нее через очки и сухо спросил:

– Он много пил?

– Никогда!..

– Вы в этом убеждены? Гм... Может быть, он страдал некоторыми грехами юности?..

– Доктор!..

Доктор задал еще один вопрос, который за-

ставил Елену Григорьевну покраснеть с ушами. Она быстро повернулась и бегом бросилась в свой номер. Доктор посмотрел ей вслед, снял очки и долго их протирал, точно они мешали ему просмотреть что-то такое важное и решающее.

– *Он* знал толк в хороших сигарах, а это главное… – бормотал доктор, спускаясь по лестнице в общую залу. – Да, самое главное…

Человек Арсений был немым свидетелем этой сцены и, провожая глазами спускавшегося по лестнице доктора, обругал его требушиной. Зачем он обижает барыню, которая всегда дает на чай?

Павел Максимович оставался у постели больного, который лежал с закрытыми глазами. Он дышал неровно, с усилием набирая воздух. Когда Елена Григорьевна вернулась, он открыл глаза, и Павлу Максимовичу показалось, что он улыбнулся.

– Тебе лучше, Аркадий? – тихо спросила Елена Григорьевна, наклоняясь к нему.

– Ничего… пройдет… – с трудом ответил он.

Она видела по его беспокойному взгляду, что он что-то старается припомнить и не мо-

жет. Павел Максимович ушел в кабинет и принялся осторожно шагать по мягкому ковру. Его внимание обратил валявшийся на полу разорванный конверт, которого он раньше не заметил. На письменном столе лежало письмо, вероятно, – вынутое из этого конверта. Павел Максимович никогда не читал чужих писем, но именно это лежавшее на столе письмо тянуло его к себе, как магнит. У него мелькнула мысль, что между этим письмом и обмороком Аркадия Евгеньевича есть какая-то связь. Не отдавая себе отчета, что делает, Павел Максимович каким-то крадущимся шагом подошел к столу, схватил письмо и быстро спрятал его в карман. Как раз в этот момент вошла Елена Григорьевна и удивилась, что Павел Максимович покраснел и както виновато спрятал руку в карман.

IV

Павел Максимович прямо убежал из номера, оставив Елену Григорьевну в полном недоумении. У него стучала кровь в висках, сердце билось тяжело, голова горела. Его номер был в конце коридора и выходил окнами в сосновый лесок, – Павел Максимович не вы-

носил морского ветра и шума прибоя.

«Что я сделал? – думал он в ужасе, хватаясь за голову. – Ведь это воровство… Боже мой, до чего я дошел!»

Но ведь все можно исправить. Да, нужно исправить… На него напала решимость безвольного человека. Ведь он письма не читал, следовательно виноват только вполовину… Придерживая письмо в кармане, Павел Максимович направился твердою походкой в коридор и к номеру Елены Григорьевны. Но дороге его встретил какой-то знакомый по табльдоту, фамилию которого он забыл. Неизвестный знакомый что-то его спрашивал и, вероятно, получил очень бессвязный ответ, потому что посмотрел на него удивленными глазами.

– Извините, я спешу, – пробормотал Павел Максимович.

Этот господин испортил все дело, потому что, когда Павел Максимович подошел к номеру больного, ему сделалось страшно, и он зашагал по коридору в другой конец, выходивший открытым окном в садик кургауза, где сейчас играла музыка. Ночь была тихая,

темная, и в зелени садовых деревьев, как светлячки, красиво мелькали разноцветные фонарики. Павлу Максимовичу сделалось душно, и он с трудом набирал в легкие воздух. На лбу у него выступал холодный пот, в ногах чувствовалась нервная дрожь. А в саду лилась музыка, радостная и зовущая, которая нагоняла сладкую тоску. Эти медные трубы, скрипки и виолончели досказывали невысказанное, то, чему нет слов и меры.

Собрав последние силы, Павел Максимович почти бегом бросился к номеру Елены Григорьевны. Он прислушался у двери, – там было все тихо. На осторожный стук в дверях показалась Елена Григорьевна, успевшая переодеться в серый капот.

– Это я… письмо… то есть я его украл, – шепотом проговорил Павел Максимович, подавая письмо. – Но я не читал… даю честное слово…

– Письмо? Да, *он* спрашивал про него… – шепотом же ответила Елена Григорьевна, перечитывая несколько совершенно непонятных для нее строк и неразборчивую подпись. – Что это такое?.. От кого?.. Вот прочти-

те…

В записке стояло: «На юге жарко и пыльно. Бойтесь северо-восточного ветра, чтобы не простудиться. Буду». Очевидно, письмо было шифрованное, как и подпись.

– Тайны мадридского двора, – проговорила Елена Григорьевна, вынужденно улыбаясь. – Покойной ночи, Павел Максимыч.

– Если вам что-нибудь нужно, я к вашим услугам…

– Благодарю вас, но припадок уже прошел…

На этот раз Елена Григорьевна ошиблась. Припадок повторился. Когда она вернулась в спальню, больной лежал с открытыми глазами и посмотрел на нее со своей обычной подозрительностью…

– Ты это с кем разговаривала там? – спросил он.

– Я? Ни с кем, – солгала Елена Григорьевна.

– Я слышал, как ты с кем-то шепталась, и слышал мужской голос.

– Тебе это показалось, Аркадий…

– Ты лжешь?! – резко крикнул он, приподнимаясь на локоть и не сводя с нее глаз..

Она вынужденно засмеялась и ответила, стараясь сохранить простоту тона:

– Ах, да, виновата: приходил Арсений, и я спрашивала его, не видал ли он того письма, о котором ты меня давеча спрашивал. Представь себе, оно валялось на полу.

– Еще раз лжешь; оно оставалось на столе!

– Нет, на полу... И в суматохе Арсений бросил его в корзинку. Я его нашла и сейчас тебе принесу.

– Не нужно... Мне только хотелось знать, как ты умеешь обманывать...

– Аркадий, ты меня оскорбляешь...

– Довольно... мне дурно...

По начавшимся конвульсиям Елена Григорьевна поняла, что опять будет припадок, и быстро позвонила.

– Ради Бога, скорее доктора!.. – крикнула она горничной.

– Они в ресторане ужинают...

Доктор, действительно, ужинал в обществе барона фон-Клакк и еще какого-то господина с закрученными рыжими усами. Он поморщился, когда горничная вызвала его.

– Опять припадок? – говорил он, вытирая

губы салфеткой. – Не может этого быть... Ты что-нибудь напутала. Господа, извините, я сейчас вернусь...

– Мы подождем, Егор Иваныч, – с изысканной любезностью ответил барон, поправляя распущенные по-кошачьи усы. – Это у Искрицких кто-то болен?

– Да, припадок... – неохотно ответил доктор.

Когда он вышел, господин с рыжими усами спросил:

– Это господин небольшого роста и очень красивая молодая дама?

– Да, очень колоритная брюнетка...

Еще раз поправив усы, барон равнодушно прибавил.

– Какая-то таинственная парочка... Никто их здесь не знает, и они ни с кем не знакомятся. Впрочем, он прекрасный партнер в винт...

– Да? А вы не обратили внимания на его левую руку: средний палец у него не разгибается?.. Впрочем, я, может быть, и ошибаюсь. Вероятно, есть несколько Искрицких.

Доктор вошел в номер Искрицких с недовольным лицом и как-то брезгливо прогово-

рил:

– Что у вас такое?

– Кажется, повторяется припадок.

– Пустяки!

Больной лежал с закрытыми глазами и тяжело дышал. Пульс был ненормальный, с перебоями и остановками. На лбу показался холодный пот. Доктор покосился на стоявшую на ночном столике склянку с лекарством и попробовал на язык остатки этого лекарства из стоявшей рядом рюмки.

– Это вы прописали ему третьего дня, доктор, – объяснила Елена Григорьевна.

– Да, да, помню... Я вам пропишу новую микстурку.

Прописывая в соседней комнате новый рецепт, доктор, не глядя на хозяйку, говорил:

– У вас в спальне... да... для чего, одним словом, торчат эти дурацкие чемоданы? Они отнимают напрасно воздух...

Объяснив употребление нового лекарства, доктор прибавил с особенным ударением:

– Странный случай... совсем странный. Необходимо подождать, как все выяснится... Кстати я захвачу с собой старую микстурку...

Мне кажется, что в аптеке не совсем правильно ее приготовили...

Елена Григорьевна чувствовала, как доктор при последних словах посмотрел ей прямо в лицо с какой-то особенной пристальностью, и покраснела.

– Да, так велите убрать ваши чемоданы, – еще раз повторил доктор, останавливаясь в дверях. – Странный случай вообще...

В коридоре доктор встретил Павла Максимовича, остановился и проговорил:

– Очень странный и непонятный случай... да...

– Опять припадок, доктор?

– Нет, но что-то такое... А впрочем, идемте ужинать. Там барон ждет... Можем повинтить.

Павел Максимович покорно побрел за доктором. Он все время шагал по коридору, как часовой, и был рад, что чужая воля вытолкнула его отсюда.

V

Елена Григорьевна переживала жгучее чувство несправедливого оскорбления, нанесенного ей доктором. Из его расспросов и по-

луслов она отлично поняла, что он ее подозревает в медленном отравлении мужа. Ему оставалось досказать всего несколько роковых слов. Больной, кстати, притворялся, что ничего не сознаёт, – он всегда притворялся. Когда доктор вышел, он проговорил:

– Доктор глуп... Он тебя подозревает в желании меня отравить, но у тебя не хватит на это силы воли. А мне очень скверно, и я умру без твоей помощи. Чемоданы не смей трогать... Еще раз: доктор глуп.

Какая ужасная, мучительная ночь!.. Елене Григорьевне казалось, что все подслушивают ее тайную мысль. Да, всего один решительный шаг, и она свободна... Боже мой, чего бы она ни дала за эту свободу!.. Человек, которого она ненавидела всей душой, был сейчас в ее полной власти. Такого другого момента может не повториться. Отомстить за всю свою изломанную жизнь, вырваться на свободу и получить величайшее счастье быть только самой собой, – это стоило риска. Если бы только знали, как она ненавидела этого человека, с которым связала ее безжалостная судьба... И в то же время она не знала, что это за чело-

век, кто он и что он. Было известно одно, – его железная воля, которая чувствовалась даже случайными знакомыми, как Павел Максимович Чванов, молодой московский купчик с университетским образованием.

Больной тревожно дремал. Раза два у него начинался бред. Чтобы не заснуть, Елена Григорьевна выходила на свой балкончик. Ночь была теплая, и только с моря чуть-чуть тянуло утренней свежестью. Музыка из сада перешла в залу кургауза, где шел четверговый танцевальный вечер. Слышалось взвизгиванье скрипок и глухое подвыванье медных труб. Кому-то весело, кто-то радуется... Когда-то и она тоже веселилась. Но, Боже, как это было давно! Она точно во сне видела себя в розовом платье, счастливую, трепещущую от беспричинной радости, с счастливыми глазами и счастливой улыбкой! Неужели это была она, Елена Григорьевна?

Ей хотелось плакать. Ей было жаль тех девушек, которые сейчас танцевали там, в освещенной зале, и были счастливы. Какое жестокое пробуждение ожидает их всех, бедненьких... Да, плакать... Вот, точно сквозь сон, под-

ходит к ней, той Елене Григорьевне, которая танцевала в розовом платье, ее будущий муж, Ефим Петрович Середин, учитель гимназии. Разве она могла тогда подумать, что это подходило к ней несчастье всей ее жизни? Он не был красавцем, но в нем было что-то такое, что нравилось женщинам, и они, эти женщины, с завистью и затаенною злобой следили за ней, осчастливленной его вниманием. Потом он приехал к ним с визитом, и старушка-мать как-то сразу доверилась ему.

– Это серьезный мужчина, Елена, не какой-нибудь вертопрах.

Потом она выходила замуж, как выходили другие девушки. Одним из поводов такого решающего поступка была смерть отца. Мать оставалась с маленькою пенсией. Был еще брат-неудачник, который пропадал то в Москве, то в Петербурге. *Он* все это знал и начал действовать решительнее. Замужество не принесло счастья, как не принес его и первый ребенок, родившийся каким-то чужим и ненужным. Он скоро умер, как уходит из дома гость не вовремя. Елена Григорьевна никогда не любила мужа, и никто из мужчин ей

не нравился. Она решила про себя, что принадлежит к типу тех женщин, которые не способны любить, и не жалела о том, тем более, что уже привыкла к мужу и своему положению замужней женщины. Бывали, конечно, отдельные моменты какой-то неопределенной тоски, но все это проходило.

– Счастье, как здоровье, существует только тогда, когда его не замечаешь, – объясняла ей мать в такие минуты беспричинной хандры и смутного беспокойства. – *Это* все случается от того, что нынешние дамы читают слишком много романов... Я знала несколько таких случаев: начитается дама романов и пошла, и пошла. И жизнь-то ее не удовлетворяет, и среда-то ее, бедную, заела, и никаких ее идеалов никто не может проявить, и все это прежде всего валится на голову бедного мужа. Ты подумай только, что ведь нельзя требовать от человека, чтобы он был непременно героем, да еще героем у себя дома, в четырех стенах, где нет даже ни красивых ни безобразных людей...

Елена Григорьевна, действительно, много читала, читала даже не из потребности чи-

тать, а, как большинство женщин, читала, чтобы убить время. Ее удивляло, какие нелепости пишут господа авторы. Ведь таких мужчин и женщин никогда не бывает. Все придумано и все кое-как сшито на живую нитку. А какие невозможные чувства описываются, и все любовные сцены по одному, шаблону: встреча с *ним*, оба поражены, и т. д. Он начинает ухаживать сначала почтительно и робко, она не желает его замечать, потом какая-нибудь роковая случайность, и она делает приятное открытие, что не может без него жить, что другого такого человека нет в целом свете, что она до сих пор еще ничего не знала и жила как во сне, что впереди раскрывается светлое будущее. Ах, как это скучно, господа авторы, чтобы не сказать больше...

Прислушиваясь к гудевшей внизу музыке, Елена Григорьевна припомнила и тот роковой момент, когда встретилась с Аркадием Евгеньевичем. Это было в Крыму. Она с мужем «делала сезон» в Ялте. Ах, как все, все было глупо, нелепо и еще раз глупо, точно она повторяла собственным опытом самый глупый из всех романов, какие только приходи-

лось ей читать. Да, настоящий роман... Они обедали во французском ресторанчике над морем. Она была занята тем, что бросала ломтики белого хлеба и любовалась, как на них бросались целые стаи кефали и с жадностью съедали один ломтик за другим. Вода у берега была изумрудно-зеленого цвета, и бойкие рыбки мелькали в ней, как брошенная в море горсть серебряной монеты.

– Елена, позволь тебе представить моего знакомого, – проговорил муж, – Аркадий Евгеньевич Искрицкий.

Она почему-то вздрогнула и с нерешительным видом протянула руку новому знакомому. Муж пригласил его пообедать к их столику и был как-то особенно любезен. За обедом Елена Григорьевна все время чувствовала на себе, пристальный взгляд этого нового знакомого и чуть-чуть даже рассердилась на него, потому что *так* смотреть для первого знакомства по меньшей мере невежливо. Ее возмущало и то, что муж, очень ревнивый по натуре, точно нарочно не желал ничего замечать. Что они говорили за обедом – совершенно выпало из ее памяти, потому что болтали ка-

кие-то пустяки. Прощаясь, Искрицкий так пожал руку Елены Григорьевны, что она невольно с удивлением посмотрела ему прямо в лицо и сейчас же опустила глаза, встретив пристальный взгляд его серых упрямых глаз.

– Какой-то странный этот Искрицкий, – заметил муж, когда они остались вдвоем.

– Да, странный… Где ты с ним познакомился?

– Хорошенько не помню… Кажется, где-то на пароходе. И даже не знаю, чем он занимается. Богатый человек, как кажется…

Богатство в глазах мужа Елены Григорьевны являлось чем-то вроде титула, какой дается только избранникам. Богатство – это все, как самая точная из всех мер.

Первое знакомство тем и кончилось. В следующий раз они встретились на пароходе, когда возвращались морем из Ялты в Севастополь.

– Опять этот твой знакомый, – заметила Елена Григорьевна недовольным тоном.

Не встретиться лицом к лицу, когда все ехали в первом классе, было невозможно. Ис-

крицкий подошел первым. Елена Григорьевна обратила внимание, что он был одет с какой-то особенной изысканностью, на английский манер, и даже в руках у него была какая-то новенькая английская книга. Всем пришлось опять обедать вместе. Елена Григорьевна опять чувствовала на себе его упорный взгляд, но на этот раз уже не стеснялась. В конце обеда мужчины поспорили, причем Искрицкий отстаивал свое мнение с каким-то холодным достоинством, точно дарил каждое слово своему оппоненту. Кажется, он ничего не пил, кроме содовой воды, и во время спора его лицо принимало неприятное выражение.

– Это – невозможный человек, – резюмировал муж Елены Григорьевны свое впечатление.

У нее запала одна фраза, которую Искрицкий точно уронил, пожимая ее руку на прощанье:

– Мы еще встретимся...

Она почему-то улыбнулась и ничего не ответила.

VI

Они, действительно, встретились. Это бы-

ло зимой в Одессе. Искрицкий, как злой дух, преследовал Елену Григорьевну на каждом шагу, даже у ее знакомых, с которыми он умел знакомиться с целью встречать ее. Ей буквально никуда нельзя было показать глаз, чтобы не встретиться с ним. Она дошла до такого состояния, что чувствовала его присутствие даже издали, и начала его ненавидеть. Собственно, это была даже не ненависть, а смешанное чувство неопределенного отвращения и беспричинного страха,

Это настойчивое ухаживание довело Елену Григорьевну до того, что она раз довольно резко заметила ему:

– Вы не обидитесь, Аркадий Евгеньич, если я попрошу вас не уделять мне так много внимания. Кажется, я ничем его не заслужила…

В ответ он только улыбнулся, что ее окончательно вывело из терпения.

– Вы забываете, в какое глупое положение меня ставите без малейшего повода с моей стороны. Да… И забываете наконец, что у меня есть муж.

– Муж тот, кто владеет женщиной…

– Что же, по-вашему, женщиной можно

владеть, как вещью? Еще раз: вы ошибаетесь... И мне странно, что все это я говорю вам, совершенно постороннему человеку. Вы меня сердите...

– А когда человек сердится, он обязательно делается несправедливым. Впрочем, это совершенно все равно. Простите, какое у нас сегодня число?

– Восьмое декабря.

– Да, именно восьмое, а тринадцатого вы будете в клубе... одиннадцать часов...

– Вы, кажется, дошли до того, что назначаете свидания? Мне вас жаль, чтобы не сказать больше... Как порядочная женщина, я не имею права слушать подобные вещи. Наконец мне просто не нравится тон, каким вы говорите со мною...

– Не забудьте: тринадцатое число...

– Что это, гипнотизм? Какой вы смешной, Аркадий Евгеньич...

Он опять рассмеялся и ответил ее тоном:

– Да, я смешной... Даже, если хотите, немного больше, чем смешной.

И она пришла тринадцатого числа в клуб, хотя совсем об этом не думала. Даже боль-

ше, – тринадцатого она была должна ехать к матери. Он ее встретил в дверях танцевальной залы и показал на свои часы. Было ровно одиннадцать. Она вся вспыхнула, припоминая забытый разговор.

– Одна из величайших добродетелей – уметь слушаться, – заметил он с какою-то особенною ласковостью.

– Если вы порядочный человек, то, ради Бога, оставьте меня, – умоляюще ответила она, чувствуя, что говорит глупость.

Он ответил взглядом, в котором было столько муки, отчаяния и покорности. Она только теперь поняла, какой это глубоко несчастный человек, и ей сделалось совестно, что она явилась причиною этого несчастья.

И сейчас Елена Григорьевна не могла вспомнить об этом глупом моменте своей жизни без краски в лице. Что это собственно было, – она до сих пор не могла отдать себе ясного отчета. Она могла сравнить себя с мышью, посаженной под воздушный колокол, из которого медленно выкачивают воздух. Около нее образовалась гнетущая пустота, ей хотелось крикнуть о спасении, как это бывает

иногда во сне, – и не было голоса. Она была наполнена им одним, и остальной мир больше не существовал. Меньше всего к этому состоянию подходило слово «любовь».

Боже мой, что было тогда с ней… Она обманывала всех, лгала всем своим телом, каждым словом и взглядом. Несчастный муж сделался первою жертвой этой несчастной страсти, и Елене Григорьевне нисколько не было его жаль. Она с хитростью обезьяны устраивала свидания у него под носом, и чем рискованнее было положение, тем сильнее наслаждение.

– Что с тобою, Леля? – удивлялась старушка-мать. – Ты вся какая-то чужая…

– Нет, ничего особенного, мама, – лгала Елена Григорьевна, глядя матери прямо в глаза.

Ревность мужа она тушила вымученной нежностью и наслаждалась собственным позором, точно мстила кому-то. И в то же время она не могла сказать, что любит Аркадия Евгеньевича, больше, – когда она его не видела, в ее душе пробуждалось злобное чувство к нему. Но достаточно было ему войти в комна-

ту, как она делалась покорной, вроде тех дрессированных «на свободе» цирковых лошадей, которые видят только один хлыст. Что будет и как будет, – об этом не могло быть и мысли. Он приказывал – она исполняла.

– Мы уезжаем из Одессы и, вероятно, навсегда, – командующим тоном заявил он весной. – Предупредите вашу мать… Что касается мужа, то он в данный момент немножко меньше постороннего человека. Можете и ему оставить какую-нибудь записку. Должен предупредить, что после нашего отъезда не в его интересах встречаться со мною.

– Как в старинных романах: «я бью пулей туза пик, у меня стальные мускулы», и т. д.

– Это все равно. Я считал своим долгом предупредить вас.

Она не имела силы объясниться ни с матерью, ни с мужем, а оставила им по письму. Мужу было написано, что она уезжает навсегда и что он только напрасно потеряет свое время, если будет ее разыскивать. Письмо к матери носило мелодраматический характер, и сейчас Елене Григорьевне было совестно за те глупые и пустые слова, какими она обма-

нывала старушку. Всего хуже было то, что она в тот момент сама верила этим пустым словам, как фальшивый монетчик начинает верить собственной фальшивой монете, когда она бойко расходится и принимается за настоящую. Это был апогей всяческой лжи.

Они уехали. Куда? Зачем? Меньше всего об этом знала она, Елена Григорьевна. Она повиновалась с какою-то озлобленною покорностью. Э!.. Все равно, тем более, что возврата нет и не может быть. Она удивилась только тогда, как в Москве оказалась m-me Искрицкой. Никаких своих документов она не имела, и муж ни за что не выдал бы ей отдельного вида на жительство. В первое время ее больше всего интересовал вопрос, что за человек Аркадий Евгеньевич и какое его общественное положение. Он был умен и на все наводящие вопросы отвечал одного фразой:

– Твой раб, Елена... Вот и все мое общественное положение.

Они нигде не заживались подолгу и разъезжали по всей России. Елену Григорьевну удивляло, что у Аркадия Евгеньевича была такая масса знакомых. Чуть город побольше –

его уже кто-нибудь встречал на станции. А сколько писем и телеграмм… Что особенно не нравилось Елене Григорьевне, так это те быстрые переезды, которые происходили время от времени по этим телеграммам. Несколько раз случалось так, что приходилось уезжать через час или через два. Аркадий Евгеньевич отличался в этом отношении величайшей аккуратностью и всегда готов был к отъезду.

– Мои чемоданы – мой дом, – шутил он.

– Я это понимаю, – соглашалась Елена Григорьевна. – Когда ты пожелаешь избавиться от меня, то это для тебя не составит особенного труда.

Самою удивительною чертой в характере Аркадия Евгеньевича было какое-то особенное, почти женское малодушие. Елена Григорьевна не поверила собственным глазам, когда в первый раз увидела его растерянного, бледного, со слезами на глазах. Она перепугалась.

– Что такое случилось?!.

– Ах, оставь меня, пожалуйста… Все пройдет. Это маленький нервный припадок.

Да, он плакал, как нервная женщина. Второю характерною чертой было то, что Аркадий Евгеньевич не умел смеяться, а улыбка у него являлась только конвульсией.

VII

Была ли она счастлива? Нет. Больше того, – она вечно находилась в страхе. Временами Аркадий Евгеньевич обращался с нею очень грубо и даже бил, если она выражала хоть малейший протест. Чисто-физическое страдание совершенно погашалось сознанием несмываемого позора. Да, ее били, как хозяин бьет собаку... Ей казалось, что она сойдет с ума от ужаса подобного существования, но второй опыт в этом направлении уже не произвел такого впечатления. Она даже не плакала, а только впала в какое-то оцепенелое состояние, как змея, которую схватили за хвост. Потом явилось совершенно подлое соображение: ведь и других женщин тоже бьют... Да, бьют келейно, при закрытых дверях, и если простая баба, которую могут «учить» чем попало, ревет благим матом, бежит простоволосая по своей деревенской улице и вообще протестует открыто и ярко, то

они, вот эти разодетые в шелк и бархат дамы, когда их собственные джентльмены тоже бьют, – никогда не жалуются и изнашивают свой позор в своих четырех стенах. И таких битых дам очень много... У Елены Григорьевны к этом отношении явилось что-то вроде чутья, и она угадывала тех дам, которых мужья бьют. Являлось что-то такое особенное в выражении лица, в глазах, в движениях, как у человека, который ждет удара. И она сделалась такой же, и даже получалось почти наслаждение собственным позором. Да, есть и такой сорт наслаждений... Недаром же деревенская баба, если муж ее не бьет, говорит, что он ее по любит.

И этот человек любил ее... Да, безумно любил, что она чувствовала на каждом шагу. Она была окружена настоящею атмосферой его любви и еще сильнее боялась его, потому что в каждом его чувстве заключалась какая-то острая тяжесть. Например, как ужасно он ревновал, – ревновал без малейшего повода, а просто потому, что иначе он не мог любить. Она была убеждена, что он рано или поздно убьет ее в одном из припадков такой

ровности.

– Я знаю, что ты меня не любишь и никогда не любила, – шептал он побелевшими от бешенства губами. – Но это все равно...

– Любовь в твоем смысле я не понимаю... Ты требуешь чего-то невозможного.

– Да, да, да... Невозможного!.. Потому что любовь творит чудеса... Когда я подумаю, что может же существовать на свете такой человек, которого бы ты могла действительно полюбить... О, у меня нет слов, чтобы выразить тебе тот ад, который я вынашиваю в своей груди!..

– Послушай, даже для Отелло нужна была реальная причина для его ревности... И потом Отелло в сюртуке является нелепостью...

Между прочим, «Отелло» была его любимая пьеса, которую он не пропускал нигде. Она тоже должна была смотреть ее везде и при всяких обстоятельствах, что доводило ее до исступления, как медленная казнь. Вообще вся жизнь представляет какую-то глупую и невозможную по бессмысленности комедию.

Но был один случай, когда Елена Григорьевна не могла не оценить своего второго

мужа, как человека очень находчивого и смелого. Это произошло года три тому назад, когда она совершенно неожиданно встретилась со своим законным мужем в Москве. Дело было на улице, когда Елена Григорьевна возвращалась с какими-то покупками домой.

– Ах, это вы, – услышала она знакомый голос.

– Да, это я, – ответила она с неожиданным для самой себя спокойствием.

– Я уже в течение трех лет разыскиваю вас, сударыня, по всей России…

– И совершенно напрасно…

– Нужно отдать вам справедливость, что вы очень ловко скрывались все время… под чужою фамилией.

– Если я не желала вас видеть – это не значит скрываться, а что касается фамилии, то об этом потрудитесь переговорить с моим мужем.

– Муж?!. Ха-ха…

– Вы посмеетесь потом, когда кончатся переговоры.

– Мне нравится тон, каким вы разговариваете со мною…

– А мне, представьте, совершенно не нравится ваш тон…

Она дала ему свой адрес и ушла. Когда Аркадий Евгеньевич узнал об этой встрече, то пожал только плечами.

– Что нужно этому идиоту? – удивлялся он. – Кажется, что дело не требует пояснений… впрочем, я к его услугам.

Муж и любовник в конце концов встретились, и Елена Григорьевна сделалась свидетельницей довольно оригинального разговора. Аркадий Евгеньевич принял свой почтительно-холодный вид и заявил:

– В таких случаях обыкновенно принято оскорблять друг друга, а потом вызывать на дуэль. Формально виноватым являюсь я и меньше всего желаю лишать вас жизни… Но есть другая, более глубокая основа всего случившегося, именно – нельзя владеть женщиной по каким-то там правам, как вещью. Если раз женщина уходит от своего мужа, то виноват он, потому что не мог создать для нее той обстановки, в которой она могла бы жить счастливо.

– Все это софизмы, милостивый государь!..

– Нисколько… Если женщина любит, она прощает любимому человеку даже его недостатки и пороки и все-таки любит. Мне странно объяснять вам такую простую вещь, что женщина прежде всего человек и, как таковой, существо разумно-свободное.

– А мне еще более странно, что я вас слушаю, милостивый государь…

– А я вас предупреждаю, что не люблю, когда со мною говорят таким тоном…

– Угроза?

– Да… Есть положения и вещи, когда нельзя позволять ни одного лишнего слова.

Недавний повелитель Елены Григорьевны, огражденный в своих правах целым законодательством, струсил первой же угрозы. Для Елены Григорьевны ясно было только одно, что все это была одна комедия. Оскорбленный муж совсем не желал ее возвращения да и успел обзавестись за время ее отсутствия побочною семьей, а благородные слова Аркадия Евгеньевича являлись только насмешкой по ее адресу. Он, Аркадий Евгеньевич, выступил защитником свободы женщины и ее прав… Он говорил это при той, которую бил

своими руками. Одним словом, оба оказались лучше, как говорят дети.

Чтобы вполне закончить эту комедию, Аркадий Евгеньевич сказал ей при муже:

– Вы, Елена Григорьева, совершенно свободны и можете вернуться к вашему мужу, если желаете... Мой принцип – никого не стеснять.

Она покраснела и убежала из комнаты, как институтка. Ей вернуться к мужу? Если бы даже он имел силу простить ей все, то и в таком случае она не пошла бы на такую домашнюю каторгу. В роли любовницы она все-таки сохранила за собою тень честной женщины, а вернувшись к мужу, она осталась бы опозоренной на всю жизнь. Нет, оставалось только идти вперед... Разве мало живет в России таких нелегальных пар, как они с Аркадием Евгеньевичем. Нелегальность еще не составляет несчастья, если жизнь складывается хорошо.

Результат этой встречи получился уже совершенно неожиданный, именно – между мужем и Аркадием Евгеньевичем состоялось примирение, переходившее даже границы

прежнего знакомства. Муж приходил к ним обедать и говорил с улыбкою добряка:

– Знаете, я привык, чтобы все было просто… по-семейному. Да… Такой уж характер. А у вас я чувствую себя почти дома.

Это была медленная пытка, придуманная мужем, ни одному слову которого Елена Григорьевна не верила. Если бы посторонний человек посмотрел, как они втроем обедали или ужинали где-нибудь в «Эрмитаже» или в «Большой Московской», – никто бы не подумал, какая драма разыгрывается между этими тремя лицами. И муж и любовник мучили Елену Григорьевну по безмолвному соглашению, и часто обед заканчивался стереотипною фразой, заставлявшей мужчин весело смеяться:

– Вы сегодня, Елена Григорьевна, с которым мужем поедете домой?

В такой пытке прошел целый месяц, а затем, уехав из Москвы, муж не оставил ее и аккуратно писал ей через каждые две недели самые дружеские письма. Ее здоровье его очень беспокоило, и т. д. Потом он восстановил свои отношения с ее матерью, с которой

одно время разошелся, и являлся между нею и дочерью добрым гением.

VIII

Последним испытанием для Елены Григорьевны было появление Павла Максимовича Чванова. Это была громкая фамилия, давно фигурировавшая среди кровных московских миллионеров. Даже здесь, в Гунгербурге, она производила впечатление, и все остзейские бароны высоко поднимали брови, просматривая на черной доске фамилии остановившихся в курзале. С Чвановым Искрицкие познакомились в Москве, благодаря мужу Елены Григорьевны.

– Скучающий московский Гамлет из миллионеров, – рекомендовал он, подмигивая. – Очень образованный молодой человек, хотя и с некоторыми странностями, какие могут позволять себе одни московские богачи.

Странность Чванова заключалась в том, что он решительно не знал, куда ему деваться и чем погасить вечную скуку. Этот молодой человек как-то сразу точно прилип к Искрицким и везде ездил за ними. Для Елены Григорьевны он являлся почти находкой, потому

что бывал иногда очень интересным собеседником и всюду ее сопровождал, как тень. Аркадий Евгеньевич держал себя с ним так, как будто никакого Чванова и не было, а как в пьесе – лицо без речей. Даже не проявлялась обычная ревность, что очень удивляло Елену Григорьевну, – сна так привыкла к сценам самой безумной ревности.

В первое время Елена Григорьевна отнеслась к Чванову с предубеждением, потому что он с первого же знакомства влюбился в нее. Она это поняла сразу и чувствовала себя в его присутствии очень неловко. Но потом эта неловкость исчезла, и она относилась к нему, как к брату. Они зимой часто ездили в театр, а потом Чванов приносил книги, и они читали вместе.

– Я часто удивлялась, что когда-то и чему-то училась в институте, – откровенно признавалась она. – Потом читала... Но все это было что-то такое постороннее, ненужное, и я сама чувствовала себя чужой.

Чванов выслушивал ее с величайшим терпением и постепенно пробуждал эту застывшую в испуге душу. Любимым их чтением бы-

ли иностранные романы, потому что другая жизнь и другие люди вытеняли и объясняли свое лучше всяких теоретических рассуждений.

– Вы, кажется, все на свете знаете, – удивлялась Елена Григорьевна. – Решительно все, и я чувствую себя глупенькой рядом с вами. Могу только удивляться вашему терпению, что вы теряете со мною свое время.

Он печально улыбался и ничего не отвечал. О, он готов был отдать за нее всю свою непутную жизнь... А чувствовать ее присутствие, – разве бывает другое счастье? Они начали жить какой-то странной совместной жизнью, где действительность мешалась с фантазией и где их взаимные мысли и чувства переплетались между собой.

В книгах они находили много собственных мыслей и чувств, и Елена Григорьевна каждый раз радовалась как-то по-детски.

– Боже мой, да ведь я это передумала тысячи раз!.. И как хорошо сказано... Даже немного страшно, что кто-то там, далеко-далеко, думает то же самое, точно твой двойник. Ведь люди везде одинаковы, особенно

когда они мучатся... Несчастия бывают разные, у каждого свое, а мучатся все одинаково.

На сближающей почве этого совместного чтения разрасталась взаимная близость. Чванов умел так хорошо и просто рассказывать о своем прошлом, именно просто, точно речь шла о постороннем человеке. Это был вызов на ответную откровенность. Елена Григорьевна долго не решалась говорить о самой себе, пока это не вышло само собой, именно в один из моментов отчаяния, после дикой семейной сцены, когда Аркадий Евгеньевич избил ее.

– Он... он... он... – шептал Чванов побелевшими губами, не решаясь выговорить рокового слова. – Нет, этого не может быть!.. Это... это... это...

Она спохватилась и с деланым смехом начала уверять, что пошутила, вернее сказать, прибавила много лишнего, как это случается с огорченными женщинами. Он сделал вид, что верит ей, но с этого момента начал избегать откровенных разговоров на личной почве. Ему делалось страшно при одной мысли, что может повториться подобное роковое признание. Кажется, еще в первый раз Чва-

нов почувствовал себя мужчиной, тем мужчиной, который несет в себе смутное сознание ответственности за чужие страдания. Да, ты мужчина и должен защищать слабого: это – твое назначение. В данном случае дело касалось женщины, любимой женщины, и Чванов понимал одно, – что он в состоянии убить Искрицкого. Ведь делают преступления уголовного характера именно такие простые, добрые и бесхарактерные люди, как он. Всего какой-нибудь один момент, и все будут удивляться, что это сделал добрейший Павел Максимович Чванов. Сейчас он испытывал какое-то особенно угнетенное состояние в обществе Аркадия Евгеньевича, точно какая-то невидимая железная рука душила его за горло. Он настолько изучил Елену Григорьевну, что без слов знал, когда она была бита, и както терялся от каждого ее взгляда, точно она просила его о защите.

Они взаимно наблюдали друг за другом и проверяли собственное настроение. Раз Елена Григорьевна, поймав такой взвешивающий взгляд Чванова, сказала с неожиданной для самой себя откровенностью:

– Знаете, Павел Максимыч, я очень люблю и уважаю вас, как хорошего, умного и доброго человека, но одно мне не нравится в вас...

Он понял вперед, что она скажет, и весь как-то съежился и замер. Он хотел ей крикнуть: «Остановитесь, не убивайте!», но было уже поздно.

– Да, вы видите во мне только женщину, а не человека, – продолжала она безжалостно. – Я чувствую, что вы так искренно и хорошо меня любите, и мне делается просто совестно, что я не могу ответить вам ничем... Если бы вы знали, как мне надоело быть женщиной и только женщиной!.. В утешение вам могу сказать, что я вообще никого не люблю и не могу любить, потому что устала жить, не живши, не верю самой себе, не уважаю себя...

– Ради Бога, не будемте об этом говорить, Елена Григорьевна... Мне ничего не нужно... Я не знаю, что со мной делается...

Тот ужас, какой он испытал в начале этого разговора, сменился сумасшедшей радостью. Иначе он не мог назвать своего настроения. Она никого не любит, следовательно... Он ни о чем не мечтал, ни на что не надеялся, но ко-

гда остается даже бессмысленная надежда, – человек все-таки может быть счастлив. Да, она тут, близко, и он сумеет ее защитить... Как это просто и как это трудно, особенно – когда совсем не просят вашей защиты.

У нее было одно ощущение, как у человека, заблудившегося в дремучем лесу, когда он слышит живой человеческий голос, случайным эхом докатившийся до насторожившегося уха. Неизвестный чужой голос, но именно потому и дорогой в тысячу раз.

Тоска, мука, любовь... Как это старо и как это ново для каждого отдельного случая. Да... тоска, мука и любовь... Больше муки!.. Миллионер Чванов почувствовал себя обыкновенным человеком, тем человеком, где счет идет обыкновенными цифрами и где нет исключений. Становись в шеренгу и жди... Чванов позволял даже третировать себя, и Аркадий Евгеньевич этим пользовался довольно бессовестно. Он просто командовал Чвановым и перед отъездом в Гунгербург заявил самым фамильярным тоном:

– Ну-с, милейший, значит, мы едем лечиться холодным морем...

IX

Вот о чем думала Елена Григорьевна, сидя на своем балкончике. Было уже поздно, но на террасе кургауза виднелись еще огоньки за игорными столами, и ей показалось, что кто-то несколько раз называл ее по фамилии. Это ей не понравилось, и она ушла в свою комнату, затворив за собой дверь на ключ, точно боялась, что кто-нибудь может подслушать ее мысли.

Внизу, на террасе, играли в карты за тремя столами. Вокруг крайнего стола разместились доктор Брусницын, барон фон-Клакк, господин с рыжими усами и Чванов. Последнего доктор затащил играть почти насильно.

– Как же мы будем играть без четвертого партнера? – говорил доктор вызывающим тоном. – Вдобавок Искрицкий, точно назло, заболел... Он отлично играет. Знаете, игра освежает мозг, и напрасно философы доказывают, что это гнусное занятие. Грешный человек, люблю за картишками посидеть...

Чванов не любил играть, но не умел отказаться. Он по обыкновению играл очень рассеянно и все время поглядывал на освещен-

ные окна номера Искрицких. Несмотря на близорукость, он видел сидевшую на балкончике Елену Григорьевну, вернее, чувствовал ее присутствие. Доктор тоже играл плохо и время от времени бормотал:

– Да, странный случай… Совсем странный. Барон, мы сегодня, кажется, останемся без двух. Да, случай, вообще…

– Доктор, если вы так же рассеянно пишете ваши рецепты… – ядовито заметил барон. – Вы, кажется, больше думаете о вашей хорошенькой пациентке и на этом основании пропустили чужую даму пик без всякого внимания.

– Виноват, барон… Да, странный случай…

Господин с рыжими усами играл все время молча, наблюдая Чванова, который делал один промах за другим.

Кончив игру, партнеры отправились в столовую поужинать. Чванов совсем не хотел есть, но опять не сумел отказаться. За ужином, как всегда, речь шла о женщинах, причем барон рассказал несколько «детских анекдотов» и хохотал первый, показывая свои длинные белые зубы.

– Самые счастливые люди на свете – это доктора, – говорил он, подмигивая Чванову. – Не правда ли, Егор Иваныч?

– Вы забыли прибавить, что молодые и здоровые женщины совсем не обращаются к нам за помощью, – ответил доктор. – А когда женщина больна, это – наше несчастье.

– Да, но бывают случаи... Недаром все дамские доктора смотрят львами.

Затем следовали специально-курортные сплетни. О водяных дамах говорили, как о скаковых лошадях. У одной была слишком коротка шея, у другой – слишком длинна талия, у третьей плечи были слишком остры, и т. д. Не стеснялись говорить прямо именами, не щадя никого. Бедной Елене Григорьевне особенно досталось.

Барон фон-Клакк был сегодня в ударе, то есть особенно неприличен. Он даже совсем забыл, что Чванов – близкий знакомый Елены Григорьевны, и прочитал чуть не целую лекцию о какой-то особенной комбинации ее ног и бюста. Чванов сидел, глядя в тарелку. Он всегда возмущался подобными свободными разговорами и чувствовать, что должен

был, с своей стороны, что-то такое возразить барону или проще – попросить его оставить Елену Григорьевну в покое. Про себя он успел сказать целую речь о неприличном поведении барона и даже заставил его извиниться. Потом его возмущало хихиканье доктора, который имел привычку напиваться каждый вечер и сейчас сидел, хлопая глазами…

– Да, бывают женщины, которые самой природой созданы для скамьи подсудимых, – неожиданно заявил он, наливая себе рюмку финьшампань.

Эта счастливая мысль решительно не вязалась с предыдущим разговором, и Чванов опять чувствовал, что должен что-то такое возразить, и опять ничего не возразил, а промолчал самым преступным образом. Ведь в некоторых случаях молчание является преступлением. Господин с рыжими усами тоже молчал, точно находился с Чвановым в заговоре. Время от времени он рассматривал собственные руки, смотрел на часы и сдерживал зевоту.

– А вот еще был случай, когда я служил в …ском полку, – ораторствовал барон. – Дело

было в Западном крае... Да, так там была одна жидовочка... Дочка самого простого фактора, и, представьте себе, отец... Ах, это целый анекдот!..

– Ради Бога, довольно анекдотов! – неожиданно заявил Чванов, поднимаясь. – Наверно, опять что-нибудь такое скверное...

Барон фон-Клакк отлично знал, когда человека оскорбляют, и только что хотел обидеться, но вовремя вспомнил, что Чванов – миллионер, и только пожал плечами.

– Господа, все на свете – дело вкуса, – вмешался доктор. – А о вкусах не спорят... Павел Максимыч, успокойтесь.

Выручил всех из неловкого положения господин с рыжими усами, который заговорил о разных физических аномалиях, которые встречаются на каждом шагу, но так тщательно скрываются, что их может отличать только опытный глаз. Этот неожиданный оборот разговора свелся, к общему удивлению, на то, что есть люди с шестью пальцами – и вы этого не замечаете, есть люди с четырьмя пальцами – вы тоже ничего не замечаете, есть наконец люди, которые чрезвычайно ловко

скрывают согнутый от природы или по болезни палец.

– Что вы хотите этим сказать? – спрашивал доктор, протирая глаза.

– Решительно ничего, кроме того, что сказал...

Все только пожали плечами. А потом удивился уже один Чванов, когда господин с рыжими усами как-то в упор спросил его:

– Мне кажется, что я когда-то встречал вас в обществе Ефима Петровича Середина?

– Да...

Доктор Брусницын, вероятно, вызванный разговором о согнутом пальце, прочитал целую лекцию специально о преступных аномалиях, как «морелевския уши» с приросшею мочкой, о «гутчинсоновских зубах», «седлообразном нёбе» и т. д.

Чванов вернулся в свой номер, как пьяный, хотя пил очень мало. Он имел дурную привычку подводить итог каждому прожитому дню, и каждый прожитой день в его жизни являлся каким-то минусом, особенно сегодняшний. Разве так можно жить? А вечер был прямо безобразен... Он слушал эти дурац-

кие баронские анекдоты, когда она томилась в двух шагах от него в полном одиночестве. Что они говорили! А он слушал, как настоящий идиот.

Возвращаясь к себе с номер, он встретил человека Арсения и спросил:

– Что это за господин, который играл с нами в карты?

– С рыжими усами?

– Да…

Человек Арсений только сделал руками широкий жест. Мало ли господ перебывает в кургаузе за лето. Он сделал глупое лицо и проговорил:

– Так, проезжающий…

– Но ведь у всех проезжающих есть какая-нибудь фамилия.

– Неизвестно-с, Пал Максимыч… Разные господа бывают.

И человек Арсений был сегодня глуп, как никогда.

Лежа в постели, Чванов долго прислушивался к каждому шороху в коридоре. Ему все казалось, что вот-вот постучат к нему в двери. Что теперь делается там, в номере Искриц-

ких? Елена Григорьевна, наверно, не спит. Что она думает? У ночи свои мысли и свои чувства...

Он забывался чутким сном и просыпался несколько раз, пока не взошло солнце.

Его разбудил осторожный стук в дверь. Это была номерная горничная. Она имела такой испуганный вид, что Павел Максимыч сразу понял, что случилось что-то ужасное.

– Аркадий Евгеньевич... – бормотала горничная.

– Опять припадок?

– Никак нет-с... Приказали долго жить. Господин доктор уже там, а барыня послали за вами.

X

Это была не смерть, а только глубокий обморок, предвестник смерти. Видел и понимал это один доктор Брусницын, заспанный, с измятым лицом и без галстука.

– Да, странный случай, черт возьми, – бормотал он, напрасно стараясь разжать чайной ложкой стиснутые зубы больного, чтобы влить какое-то лекарство.

Поведение доктора наконец взорвало Еле-

ну Григорьевну, и она резко заметила:

– Доктор, вы все время так странно себя держите, что можно подумать, что вы меня принимаете за отравительницу...

Он посмотрел на нее красными похмельными глазами и ответил совершенно спокойно:

– Сейчас трудно сказать что-нибудь определенное, но бывают странные случаи...

В этот момент в комнату вошел Чванов, и доктор посмотрел на него с улыбкой... Елена Григорьевна вышла в другую комнату, закрыв лицо платком, а доктор проговорил отеческим тоном:

– Павел Максимыч, послушайте моего совета и уезжайте отсюда сейчас же, а то наживете большие хлопоты. Предупреждаю вас по дружбе...

– Ни за что на свете! – ответил Чванов.

– Как знаете, конечно...

– Да, это уже мое дело.

Чванов повернулся и вышел. Елена Григорьевна стояла у балконной двери и беззвучно плакала, не отнимая платка от лица. Вздрагивали только ее плечи и поднималась грудь.

Когда Чванов подошел, она протянула ему руку и прошептала:

– Я не знаю, зачем вас позвала... Но мне так страшно было оставаться одной... Всю жизнь одна...

Он молча поцеловал ее холодную руку. Она не отняла руки и продолжала рыдать.

– Распоряжайтесь мной, Елена Григорьевна... Вы знаете, что я все готов сделать для вас.

– О, да... знаю... И мне больно, что вы это говорите... говорите именно сейчас... Вы не знаете, что доктор подозревает меня в отравлении, и вы можете попасть в мои сообщники...

– Успокойтесь, все это вздор...

– Одна, одна, одна... – продолжала шептать Елена Григорьевна, не отнимая платка. – Боже мой, как я измучилась... я сойду с ума...

Вошла горничная со льдом на тарелке, и Елена Григорьевна пошла за ней в спальню. Чванов вышел на балкон и долго стоял, глядя на видневшийся в конце парковой аллеи краешек моря. Солнце уже поднялось, и с моря поднимался ветер. Слышался глухой гул при-

боя. У Чванова все внешние впечатления больше не существовали, и он смотрел на море ничего не видевшими глазами. Искрицкий несомненно умрет, и тогда… Он, Чванов, так жаждал, чтобы Елена Григорьевна освободилась от своего позорного рабства, и вот это освобождение пришло само собой, но было что-то такое, что вносило в это освобождение неприятный элемент. Получилась та обидная свобода, которая напоминает милостыню.

Сколько времени Чванов простоял на балконе, он затруднился бы ответить. Это был какой-то сон наяву. Он мог уйти и не мог уйти. Самые противоположные чувства проходили в его душе, и он не замечал времени. В сущности, все было поглощено ей, этой странной и загадочной Еленой Григорьевной.

«А может быть, она самая обыкновенная авантюристка, – думал он и, припоминая мужа, опровергал самого себя. – Разве с таким лицом, с такими глазами могут быть авантюристки?»

Из этого полуобморочного состояния Чванова вывел голос доктора Брусницына:

– Finita la comedia…

– А... что?..

– Ваш друг отошел в лучший из миров.

– Умер?!.

– Да.

Подумав немного, доктор, раскуривая папиросу, прибавил своим обычным случающим тоном:

– А может быть, он сделал это хорошо, как человек, которому больше ничего не оставалось делать...

Чванов молчал, и доктор почувствовал себя неловко за свою собственную болтливость.

Искрицкий, действительно, лежал мертвый. Около его кровати сидела Елена Григорьевна, и ей все казалось, что он притворяется и что вот-вот его глаза откроются, а на губах появится презрительная улыбка. Она сидела и не смела шевельнуться, как загипнотизированная. В сущности, она тоже ничего не видела, как и Чванов, но с той разницей, что ей хотелось плакать и она не могла. В данный момент она даже забыла о позорных намеках доктора. Не все ли для нее равно? Ну, ее доведут до публичного позора, но ведь это – капля в море по сравнению с тем, что

она никому не могла сказать. И тут же рядом смерть, – примиряющая, прощающая... Но ведь есть же молитвы праведников, святые слова утешения, есть искупление, жертва, подвиг?.. О, это все для других!

Приходил доктор Брусницын и говорил что-то такое о дезинфекции; приходил Чванов и опять предлагал свои услуги; приходила горничная, эстонка Эмма, и увела ее на балкон.

– Барынь будет сидеть, ветер будет дуть, – объясняла на ломаном языке добрая девушка. – У меня так же померла папаша... Сидела, ела картофель и – кнакс!.. У нас в номерах помирал один генерал и очень плакал... Богатый генерал, два дома, брильянтовое кольцо, собака-водолаз... И все-таки генерал умерла, как умерла моя папаша, у которой ничего не бывало.

Потом явилась полиция. С ней пришел и господин с рыжими усами. Он сильно волновался и несколько раз повторял:

– Я над этим господином работал целых три года... Выслеживал его по пятам и только что хотел арестовать, а он, назло мне, возьми

да и умри.

Вскрыли таинственные чемоданы, о содержании которых не знала даже Елена Григорьевна, к чему господин с рыжими усами отнесся очень скептически. В чемоданах найдены были слесарные инструменты, склянки с ядами и наркотическими препаратами, разные костюмы, которых Аркадий Евгеньевич никогда не носил, подложный паспорт, фальшивые печати, одним словом – целый арсенал преступных приспособлений.

– Все это ему теперь не было нужно, – объявлял господин с рыжими усами. – Да, совершенно не нужно…

– Для чего же, в таком случае, он таскал с собой весь этот музей? – удивлялся доктор Брусницын, приглашенный к обыску в качестве эксперта по токсикологии.

– А привычка… Только люди с такими привычками могут быть настоящими преступниками, – объяснял господин с рыжими усами. – А это был редкий экземпляр…

Говорили о каком-то преступлении, которое лет двенадцать тому назад наделало на юге России много шума и виновник которого

не был разыскан.

Была какая-то связь этого преступления с господином, у которого на левой руке средний палец был согнут, и господин с рыжими усами демонстрировал эту примету на еще неостывшем трупе Аркадия Евгеньевича.

– Да, это *он*, – повторял господин с рыжими усами.

На Елену Григорьевну никто не обращал внимания, кроме доктора, который сейчас был с ней как-то особенно вежлив. Только раз ее попросили указать вещи, принадлежащие лично ей, чтобы они не попали в общую опись имущества.

– У меня ничего нет своего, – ответила она с каким-то удивлением. – Решительно ничего.

Прошло целых три мучительных дня, пока не похоронили Искрицкого. Настоящая его фамилия, как оказалось, была Штальберг, т. е. та фамилия, которую он носил во время преступления. Так как Елена Григорьевна познакомилась с ним позже этого преступления, то ее даже не вызвали к следователю, ограничившись простым полицейским актом предварительного дознания.

– Странно, как это вы, живя с ним около шести лет, не знаете ничего о его прошлом, – заметил ядовито господин с рыжими усами.

Чванов все время находился около нее, стараясь быть ненавязчивым. Весь курорт сейчас только и говорил об этой таинственной парочке. Сложилась целая легенда о настоящей причине скоропостижной смерти Искрицкого, не совпадавшая, как все легенды, с составленным по этому случаю полицейским протоколом.

После похорон Елена Григорьевна оставалась еще целые сутки. Ей нездоровилось. Накануне отъезда Чванов едва мог заставить ее выйти вечером, когда уже стемнело и они не рисковали встретить кого-нибудь из знакомых, прогуляться по пляжу. Море было такое бурное, и волны с седыми гребнями лезли на берег. По небу неслись разорванные облака. Елена Григорьевна шла усталою походкой, опираясь на руку Чванова. Он говорил о завтрашнем отъезде, не решаясь ее спросить, куда она имеет в виду ехать. Вернее всего можно было предположить, что она вернется к матери.

– Я знаю, о чем вы сейчас думаете, – заговорила она, отвечая на его тайную мысль. – Куда я поеду? Да? И вы решили про себя, что я вернусь к матери.

– Да, вы угадали… Если бы вы по пути остановились отдохнуть в Москве… да… Так, недельки на две…

– Зачем?

– Пока напишете вашей матери и пока получите от нее ответ… Да, ответ…

Он растягивал каждое слово и остановился. Зонтик Елены Григорьевны чертил по мокрому песку какие-то кабалистические фигуры. Наступила неловкая пауза. Потом она повернулась к нему и проговорила всего одно слово:

– Договаривайте…

– Вы знаете, что я могу сказать…

Кабалистические фигуры под зонтиком сделали ряд зигзагов. Она несколько времени молчала, опустив голову.

– Мне трудно говорить с вами, Павел Максимыч…

– Да, я понимаю, что сейчас такой момент…

– Момент сам по себе, а так вообще…

– Но ведь вы хорошо знаете, что я мог бы предложить вам…

Опять пауза. Опять зонтик чертил по песку какую-то неразрешимую геометрическую задачу.

– Мне приходится дать вам ответ, – заговорила Елена Григорьевна пониженным тоном. – Я понимаю ваши намерения и вперед благодарю… Но вот какая дилемма: мой муж никогда не согласится на развод. Это раз… Затем, если бы он и согласился на развод, все равно я не могла бы быть вашей женой, потому что… потому что за мной слишком большое прошлое и я совсем не желаю отравлять вам жизнь. Я почти одних лет с вами, но вы сравнительно со мной совсем, совсем молодой человек… Вы еще ждете чего-то от жизни и в праве ждать. Вы встретите на своем пути хорошую, простую русскую девушку, и, право, не нужно быть особенно требовательным… А я… Что я вам могу дать? Измученная, жалкая, вся несчастная… Поймите, что любовь, основой которой является сожаление, не есть любовь… А вы, как хороший и добрый человек,

по-хорошему жалеете меня и принимаете это чувство за любовь.

– А если вы ошибаетесь?

– Поверьте, что нет... Будемте просто друзьями и больше ничего. Какую бы пару мы могли с вами составить? Знаете, один мой знакомый лошадник говорил, что есть пара и есть просто две лошади. Вот именно последней комбинации я и не желаю...

Море глухо шумело, бросая на песчаную отмель гряды пенившихся волн. Было уже настолько темно, что они не видели лиц друг друга. Он взял ее за руку и тихо проговорил:

– Хорошо, будем довольствоваться черствым хлебом дружбы... Вот вы говорили о сожалении, а настоящая русская женщина именно жалеет, а не любит.

Она без слов пожала его руку.

XI

Они вместе приехали в Москву. Чванов был счастлив, когда на доске в швейцарской «Славянского Базара» прочел: «Г-жа Середина». Ненавистная для него фамилия «m-me Искрицкая» умерла вместе с Аркадием Евгеньевичем. Елена Григорьевна ко всему отно-

силась как-то пассивно, точно она сама себе была чужая. Средств у нее не было никаких, и это обстоятельство сделалось поводом к первой размолвке. Чванов не знал, как ему вывернуться из неловкого положения, и нес какую-то околесную.

– Вы не обижайтесь, Елена Григорьевна, что я буду платить по вашим счетам... то есть, это собственно мои счета, и я буду рад, если чем-нибудь могу служить вам. Да... А потом... да, потом мы как-нибудь сочтемся...

Она улыбнулась в первый раз после смерти Аркадия Евгеньевича и ответила не без ядовитости:

– О, конечно... Это будет самым лучшим и верным помещением для ваших миллионов.

– К сожалению, я только ношу фамилию миллионера, а в действительности имею...

– Мне совершенно не интересно знать, сколько вы имеете, – с неожиданной резкостью оборвала его Елена Григорьевна. – Да... Я знаю только одно, что господа миллионеры убеждены в своем исключительном праве купить все на свете, а прежде всего и после всего – купить женщину...

– Елена Григорьевна, вы меня оскорбляете...

– Нет, вы меня оскорбляете!.. Да... Вы не хотите понять даже такой простой истины, что есть такие вещи, о которых не говорят, особенно женщинам. Есть известная деликатность, которая удерживает человека... Одним словом, вы отлично понимаете, что я хочу сказать.

Он хотел что-то возразить и даже раскрыл рот, но она его перебила фразой, которая была для него ударом хлыста по лицу:

– А вот Аркадий Евгеньич не позволил бы себе сказать *этого*...

Чванов побледнел от этого незаслуженного им оскорбления, которое было особенно тяжело, потому что его нанесла любимая женщина. Он совершенно растерялся и не нашел, что ответить. Для него было ясно одно, именно, что Аркадий Евгеньевич лично для него еще не умер, и что тень этого ненавистного человека будет вечно стоять между ним и Еленой Григорьевной. При каждом недоразумении эта тень будет подниматься грозным призраком и отравлять все. Ведь она его лю-

била, а женщины не забывают своих первых чувств.

Пока Елена Григорьевна остановилась в Москве временно, и Чванов не знал ее планов относительно будущего, кроме того, что его судьба неразрывно связана с нею. Он принадлежал к типу тех мужчин, которые по натуре не способны менять своих привязанностей.

– Моя мечта – иметь маленькую-маленькую комнатку и жить своим трудом, – любила говорить Елена Григорьевна, когда на нее нападало мечтательное настроение. – Я завидую самой несчастной швее и даже каждой кухарке. Что может быть лучше честного труда?

Слушая эти речи, Чванов только ежился, потому что не верил им. Это было для него очень грустным открытием, именно, что Елена Григорьевна, на которую он готов был молиться, способна была лгать и лгать без малейшего стеснения, потому что сама верила этой лжи. Впрочем, он как-то умел извинять эту ложь, как ее извиняют любимым детям. Просто перевес фантазии, специально-женская впечатлительность и наконец желание найти выход из своего положения.

Странно, что прежних душевных разговоров как не бывало, и Чванову казалось, что перед ним совсем другая женщина. Некоторые странности в характере Елены Григорьевны он объяснял ненормальностью ее положения, начиная с этого проживания в номере шикарной гостиницы и кончая тем, что они, несмотря на близость, не могли говорить друг другу «ты». Как-то раз в минуту откровенности Чванов предложил ей переехать жить к нему в дом, что вызвало целую бурю.

– Вы хотите, Павел Максимыч, похвастаться перед родными и знакомыми, какую приобрели себе содержанку? – говорила она со слезами на глазах. – Недостает только, чтобы о наших отношениях говорила вся Москва и на меня указывали пальцами…

– Я буду хлопотать о разводе…

– Еще того лучше: все будут говорить, что миллионера Чванова погубила какая-то авантюристка… Наконец мой муж никогда не согласится на развод, что вам небезызвестно. А потом, я как-то совсем не думаю о будущем… Будет, что будет, а пока будем довольствоваться настоящим.

Это настоящее выражалось в том, что Чванов являлся в «Славянский Базар» ежедневно, как на дежурство. Его уже знали все официанты, коридорные и горничные, а швейцар встречал, как своего человека. Последнее особенно возмущало Чванова, тем более, что ему часто приходилось дежурить в общей зале, где он дожидался Елену Григорьевну к завтраку, к обеду или ужину. Буфетчик и управляющий, как и швейцар, смотрели на Чванова тоже как на своего человека, и у него даже был свой стол и свой официант, очень ловкий услуживающий человек, сумевший «привеситься» главным образом к барыне. Елена Григорьевна не любила завтракать и обедать у себя в номере и являлась в общую залу каждый раз в новом костюме. Она умела одеваться и обращала на себя общее внимание мужчин и завистливые взгляды женщин, что льстило самолюбию Чванова.

Раз за завтраком к ним подошел доктор Брусницын, остановившийся проездом с юга в Москве. Он похудел и как-то еще больше обрюзг и постарел.

– Здравствуйте, многоуважаемые, – гово-

рил он, сдерживая одышку. – Вот не думал вас встретить здесь…

– Я в Москве только проездом, – ответила Елена Григорьевна. – Мне здесь холодно.

– А я еду умирать на север, – спокойно объяснил доктор, просматривая карточку кушаний. – Вся машинка испортилась, а главное – сердце…

– Нужно лечиться, Егор Иваныч, – советовал Чванов.

– Э, батенька, доктора лечат только других. Лично я предпочитаю принять смерть от руки Божией, а не человеческой…

Чванов все время чувствовал, что доктор присматривается к нему, и старался не встречаться с ним глазами. А вдруг милейший толстяк-доктор прищурит один глаз, а другой подмигнет. Дескать, ловко вы, молодой человек, такую аппетитную штучку приспособили… У доктора бывали моменты какого-то вульгарного легкомыслия. Штучка миллионера Чванова – только этого недоставало. Елена Григорьевна, наоборот, не испытывала ни малейшего смущения, а, наоборот, успела за завтраком сказать доктору несколько крупных

колкостей.

– А где этот ваш друг, господин с рыжими усами? – спрашивала она. – Мне он очень понравился...

– Какой же он мой друг... – оправдывался доктор, нимало не смущаясь. – Простое табльдотное знакомство... Оказался каким-то сыщиком. Ах, кстати... гм... Впрочем, это все равно.

Доктор хотел рассказать о том, что говорили на юге по поводу смерти Аркадия Евгеньевича, но вовремя удержался. Он удовлетворился тем, что еще поговорил о своей собственной смерти, которая, по его расчетам, должна была случиться в феврале будущего года. Чванову казалось, что он смотрел на него с сожалением и догадывался о том иге, которое он нес.

XII

Елена Григорьевна в номерах «Славянского Базара» прожила всю зиму. По неделям на нее находило какое-то оцепенелое состояние, когда она даже не хотела одеваться, а в капоте лежала на диване с книгой в руках. Это было не чтение, а просто желание как-нибудь

убить ненавистное время. В такие моменты оцепенения к ней лучше было не подходить. Кстати она приобрела какой-то особенный грубый тон в обращении с Чвановым и третировала его на каждом шагу. Это было совершенно непонятное для него превращение, и он чувствовал себя глубоко несчастливым. Но являлся светлый промежуток, и он забывал все. О, как она умела быть женщиной в такие светлые моменты, и Чванов начинал надеяться, что со временем он ее переделает, устроит развод, и жизнь пойдет совершенно по-другому. Часто ему хотелось сказать ей столько хорошего, поделиться с ней своими заветными мечтами и вообще этим путем вывести ее на новую дорогу. Ведь она хорошая, вся хорошая, если бы не это несчастное нелегальное положение в настоящем и не тяжелое прошлое. Чванов переходил от надежды к отчаянию и от отчаяния к надежде.

– Время – самый справедливый человек, – утешал он себя известною итальянскою пословицей.

Чвановский дом точно спрятался в одном из глухих переулков Замоскворечья. Это бы-

ли хоромы старого купеческого стиля с высокою железною крышей, с узкими окнами-амбразурами, с глухою каменною стеной вместо забора, глухим запущенным садом, множеством совершенно ненужных хозяйственных пристроек и заросшим зеленою травой большим двором. Внутри оставалось все в том же виде, как было при стариках. Чванов ничего не трогал и занимал вверху всего две комнаты, одна из которых была его рабочим кабинетом и библиотекой. У него была единственная слабость, это – книги, и он ничего не жалел, составляя свою библиотеку из дорогих и редких книг на трех языках.

Всем домом правила нянька Агафья, которая нянчила Павла Максимовича, а внизу жила глухая старуха-тетка, посвятившая себя посту и молитве. Чванов чувствовал себя в этой допотопной обстановке, совершенно чужим человеком и не продавал дома только из сожаления к двум старушкам. Его удивляло то, что эти отшельницы знали почти все, что делалось в Москве, а главное, какими-то неведомыми путями разведали об его отношениях к Елене Григорьевне.

– Уж ехал бы ты лучше в свою заграницу, – с какой-то особенной суровостью советовала ему нянька Агафья, считавшая его все еще маленьким. – Чего зря в Москве болтаешься…

– Мне и в Москве хорошо…

– Ну, уж ехал бы…

Старуха прямо не договаривала всего до конца и только вздыхала. Зато, прибирая утром комнаты, она ворчала себе под нос:

– Мало ли худых людей на белом свете… А другая баба навяжется, так без смерти смерть… Лукавые есть бабы, особливо когда попадется денежный человек…

– Да это ты про кого, няня?

– А так, летела мимо сорока да на хвосте принесла… Измалодушествовался ноне народ в Москве, сами себя потеряли и концов не могут найти. Ну, вот старуха и ворчит!.. Нечего взять со старухи…

В одно прекрасное утро нянька Агафья не вытерпела и выложила все на чистоту, до обвинения Елены Григорьевны в отравлении любовника включительно. Чванов страшно рассердился и даже затопал на няньку ногами.

– Молчат и не сметь повторять подобных глупостей! – кричал он. – И какое кому дело до меня?!

– Вот, вот это самое и есть… Добрым-то людям на тебя со стороны жаль смотреть, как ты пропадом пропадаешь у своей-то жар-птицы.

Разве можно было сердиться на выжившую из ума старуху, кричать на нее и даже топать ногами? Чванову ужасно было совестно, когда он опомнился и пришел в себя. Да, он уже не был он, а кто-то другой, неизвестный и чужой. Потом он видел заплаканное старушечье лицо и говорил:

– Няня, ведь у каждого своя судьба? Да?

– Ах, голубчик… Пашенька… Ежели, например, родители-то поглядели бы на тебя…

– Хорошо, хорошо… Будет, няня. Я никому зла не делаю и не желаю делать, а остальное – пустяки.

И Чванову было совестно. Откуда приходит это таинственное чувство совести, как оно складывается, нарастает и проявляется, и что такое само по себе? Взять хоть этот старый чвановский дом, пропитанный тугими и неуклонными традициями старины, а он ка-

зался сейчас Чванову каким-то молчаливым протестом, тем старым-старым человеком, который затаил в себе свои истинные мысли и чувства и смотрит на легкомысленную молодежь с снисходительною улыбкой. Что-то чувствовалось недосказанное, какое-то неудовлетворенное стремление к какой-то правде, и конечный результат – эти две старушки, жившие мыслью о близкой смерти. Чванову невольно напрашивался, в виде контраста, определявший собственную смерть доктор Брусницын, неверующий, жалкий и фальшивый.

Есть «чувство дома», именно то чувство, которое переживает свившая свое гнездо птица, и Чванову казалось, что когда-нибудь разваливавшийся купеческий дом оживет, согретый улыбкой любимой женщины. Он уже отделил этой женщине ее комнаты и мысленно обставил их сообразно требованиям современного комфорта. Ему нравились эти мысли, потому что с ними связывалась мечта о будущем. Ведь так нельзя было жить и не стоило. У Чванова давно была мечта приобрести маленькое именьице, именно маленькое, где

он мог бы устроить и школку, и фельдшерский пункт, и небольшое опытное хозяйство, как живую сельскохозяйственную школу для окрестного населения. И жизнь была бы полна, особенно если бы работа шла рука об руку с любимым человеком. Сейчас Чванов не выдавал своих тайных планов и выжидал удобного момента. О, такой момент наступит, он должен быть…

– Ты бы, Павел Максимыч, поменьше сидел в своем кабаке, – говорила как-то няня Агафья, провожая его утром из дома.

– В каком кабаке, няня? Что вы такое говорите?

– А вот такое… Днюешь и ночуешь там, а когда над тобой же смеются: «Наш сиделец пришел»… Легко этакие слова слушать?

– Няня, да откуда вы все это можете знать? – удивлялся Чванов, стараясь сдержать гнев.

– Слухом земля полнится, голубчик, а в Москве не спрячешься… У нас в суседях, значит, куфарка, а у этой куфарки, значит, родная племянница в горничных служит в «Базаре», ну, вот тебе и все, как на ладоньке. Все те-

бя жалеют...

Чванову сделалось вдруг жутко, точно его что придавило. Он даже ничего не ответил старухе-няньке, а молча повернулся и пошел своею дорогой. Э, пусть все смотрят и смеются. Все равно, возврата нет и не будет.

XIII

...Время шло. Елена Григорьевна почти каждый день уезжала куда-нибудь в театр, конечно, в сопровождении Чванова. Он достал абонемент в оперу, в Малом театре у них тоже была своя ложа, – Елена Григорьевна не выносила партера. В театре она точно просыпалась от своего оцепенения и делалась прежнею Еленой Григорьевной, удивительно милой и простой. Она плакала, как институтка, когда играли что-нибудь грустное, и смеялась до слез в комических сценах. Чванов терпеть не мог опер с их бессмысленным содержащем, бессмысленным кривлянием знаменитых артистов и вообще с их удручающей и принижающей пошлостью, прикрытою словом «искусство». Они постоянно спорили на эту тему, и Елена Григорьевна снисходила до того, что допускала возражения.

– Может быть, вы и правы, Павел Максимыч, но эта пошлость производит на меня глубокое впечатление.

– Да, конечно, о вкусах не спорят, но есть границы всему.

– Ведь и жизнь, если разобрать, тоже пошлость, только не такая яркая… Мне кажется, что люди живут только по привычке жить. Сознание усыпляется сутолокой ежедневных мелочей, обманом собственных ощущений и вечною скукой.

После спектакля они уезжали куда-нибудь поужинать, чаще всего в «Эрмитаж». Елена Григорьевна обыкновенно сохраняла хорошее расположение духа, и со стороны все могли полюбоваться этой счастливою парочкой. Раз, в одну из таких хороших минут, Елена Григорьевна вся съежилась и проговорила:

– *Он* здесь…

– Кто?

– Муж… Вон столик налево, у окна.

– Что же, вы его боитесь?

– Не боюсь, но мне как-то совестно с ним встретиться… А впрочем…

Ее неожиданно охватило любопытство.

Что он может с ней сделать, в самом деле? Решительно ничего... Относительно «совестно» она прилгала, потому что никогда не уважала этого человека.

– Вот что, Павел Максимыч, – проговорила она с веселою улыбкой. – Он сидит один, и, кажется, ему скучно. Идите и позовите его к нам... Все-таки не чужой человек. Мне даже жаль его, бедненького...

– Это каприз, Елена Григорьевна...

– Ну, голубчик, сделайте это для меня... Мне ведь неудобно подойти к нему. Пожалуйста, голубчик...

– Хорошо, сделаю по-вашему, но только это ваше желание...

Середин сидел за своим столиком в большом раздумье, так что даже не заметил, как подошел к нему Чванов.

– Здравствуйте, Ефим Петрович...

– А... что? Ах, это вы, молодой человек... Очень рад вас видеть. Присаживайтесь, пожалуйста...

Он крепко пожал руку Чванова и пытливо посмотрел ему прямо в глаза.

– Меня послала к вам Елена Григорьевна...

Мы сидим вон там… Она желает вас видеть.

Елена Григорьевна встретила мужа с самой предупредительной улыбкой и сразу заметила в нем большую перемену. Он как-то опустился и точно выцвел. В глазах стояла тревога. Вообще получалось то, что называется почтенным подержаным джентльменом. Видимо, в его жизни произошел какой-то крутой переворот, и переворот не в его пользу.

– Я недавно узнал, что вы здесь, – мягко и немного заискивающе заговорил Середин, как-то неловко усаживаясь на стул. – И хотел как-нибудь завернуть к вам… да.

– Очень рада буду вас видеть, Ефим Петрович.

Чванов сделался свидетелем самой милой встречи супругов, добрых знакомых, и решительно не понимал, чего хотела Елена Григорьевна. Он очутился в самом дурацком положении.

– А я переехал в Москву, – рассказывал Середин. – То есть переехал пока… У меня есть одно дело, от которого зависит все. Вообще много неприятных хлопот…

– Извините за нескромный вопрос, Ефим

Петрович, – заговорила Елена Григорьевна с деловым видом. – У вас ведь есть вторая семья… да?.. Неужели вы ее оставили там, на юге?

– Гм… Пока еще ничего неизвестно, где я и сам устроюсь, поэтому, конечно, они остались там.

– И много «их»?

– Две девочки и мальчик.

– А она? Мне очень хотелось бы видеть свою преемницу. Вы не обижайтесь на меня, Ефим Петрович, за такое любопытство…

Он только посмотрел на нее умоляющими глазами. Она поняла, что он потерял службу и бросил свою семью на произвол судьбы самым бессовестным образом, что и было в действительности.

– Я в Москве тоже *пока*… – заговорила Елена Григорьевна, нарушая неловкую паузу. – Вы, вероятно, тоже слышали, что Аркадий Евгеньич скоропостижно скончался прошлым летом.

– О, да… Читал об его смерти даже в газетах. Да, читал и не верю тому, что о нем писали… О мертвом можно все написать…

Эта деликатность тронула Елену Григорьевну, и она сдержала вздох.

– Да, хороший был человек, – продолжал Середин, наблюдая Чванова. – А главное, какая цельная натура... Мощный характер. Нет, не верно, что про него рассказывают на юге...

Чванова удивило, когда он взглянул на Елену Григорьевну: у нее на глазах выступили слезы. А Середин, точно назло, продолжал говорить об Аркадии Евгеньиче, припоминая разные эпизоды своих встреч с ним.

– Помните, Елена Григорьевна, как мы втроем обедали вон за тем столиком?

Середин усердно прихлебывал из своего стакана шампанское и заметно начал хмелеть. Подогретый вином, он точно весь распустился. Под конец ужина он не утерпел и рассказал о таинственном деле, которое его задерживало в Москве.

– Со службы, говоря откровенно, меня прогнали... да... За последнее время я сильно опустился и, конечно, сам во всем виноват. И никого не виню... Начинать службу с первой ступеньки поздно... Да... У меня сохранились кое-какие сбережения, и я хочу приобрести

себе где-нибудь под Москвой небольшой клочок земли и буду жить трудом собственных рук...

У Чванова даже под ложечкой засосало, когда Середин заговорил его собственными мыслями. Да, он, Чванов, думал то же самое, что сейчас говорил Середин, и основанием этих мыслей служило одно и то же, именно, скромное желание уйти куда-нибудь от самого себя, как это бывает с больными, которые хотят с переменой места убежать от болезни.

– А ведь хорошо, – резюмировала Елена Григорьевна, перебивая мужа. – Возьмите меня, Ефим Петрович, в экономки...

Эта выходка даже не показалась смешной, и Середин ответил совершенно серьезно:

– Нет, Елена Григорьевна, без шуток – я живу этими мыслями... Моя последняя козырная карта...

XIV

Появление Середина усилило страдания Чванова и сделало его положение невыносимым. Елена Григорьевна точно прикармливала мужа, и Чванов испытывал первые муки ревности. Елена Григорьевна потихоньку от

него назначала мужу свидания, и это больше всего мучило Чванова. Они о чем-то говорили между собой, чего он не знал, у них были какие-то общие интересы, проявлялось что-то сближающее до того, что Елена Григорьевна в присутствии Чванова начинала жалеть мужа.

– Я начинаю жалеть беднягу, – говорила она. – Он плохо кончит…

– Вероятно, так же, как все мы.

– Вы думаете?

– Почти уверен.

Она вызывающе улыбнулась и переменила разговор, как это делают с гостями, которые не умеют себя держать.

Середин быстро освоился со своей новой ролью и начал относиться к Чванову покровительственно, как к начинающему молодому человеку. Когда Елена Григорьевна была недовольна Чвановым, он заводил речь об Аркадии Евгеньевиче. Эта тема оказалась неистощимою и варьировалась на тысячи ладов. Подавали кушанье, – Аркадий Евгеньевич любил его или не любил, – мелочи домашней обстановки, костюмы Елены Григо-

рьевны, удовольствия – все мерялось Аркадием Евгеньевичем.

С каждым днем Середин делался смелее и под хмельком пускался в самую обидную откровенность.

– А признайтесь, Павел Максимыч, достается вам от Елены Григорьевны? – спрашивал он, подмигивая. – Кто бы мог думать, что у нее окажется такой характер…

– Нам, Ефим Петрович, лучше не поднимать подобных тем…

– Отчего же? Я давно примирился со своей ролью мужа в отставке и могу смотреть на вещи совершенно беспристрастно… Помните, как Аркадий Евгеньич держал ее в ежовых рукавицах? Хе-хе… Что же, было такое дело, и я знаю, что он ее бил. Да, бил. А она и сейчас не может вспомнить о нем без слез. Вот тут что-нибудь и поймите… Надо мной она просто издевается, как и над вами. А отчего? Недостает у нас с вами, батенька, характера, а, по итальянской пословице, орехи, ослы и женщины требуют жестких рук.

Выведенный из терпения, Чванов спасался самым постыдным бегством, чтобы изба-

виться от этого старого негодяя. Он только потом находил остроумные ответы ему и ей и оказывался действительно находчивым, ловким и остроумным. Но эти минуты тяжелого раздумья проходили, один ласковый взгляд Елены Григорьевны – и все забывалось до следующего раза. Каждая ласка, каждая улыбка, каждое милое слово покупались слишком дорогою ценой.

Настроение самой Елены Григорьевны было крайне смутное, вернее сказать, она даже не понимала, что с ней делается и как вышло, что она сблизилась с Чвановым. Да, он хороший, добрый и умный человек, но все-таки она его не любила и не могла к нему привыкнуть. Ей часто казалось, что вот-вот войдет к ней в комнату Аркадий Евгеньевич, посмотрит кругом прищуренными глазами и скажет всего одну фразу:

– Это что такое?!

Всего удивительнее для нее самой было то, что та ненависть, с которою она относилась еще так недавно к нему, ненависть, близкая к преступлению, как-то отпала сама собой, обиды были забыты, и оставалось только одно,

именно, что он ее действительно любил, как другие не могут полюбить. В нем была эта властная, покоряющая мужская ласка, была та энергия, которая не останавливается ни перед чем, только с ним она испытывала моменты жгучего счастья... И сейчас же является его преемником Чванов. Боже, как она презирала и ненавидела себя и вымещала собственный позор с женскою логикой на нем. Ее захватило чувство власти, женского деспотизма и мелкой женской жестокости, точно она мстила какому-то несправедливому и злому божеству. Беззащитность Чванова ее еще сильнее раздражала. Этот несчастный даже ни мог рассердиться на нее по-настоящему и готов был просить прощения за нанесенные ему же оскорбления.

В сущности, после тихого домашнего рабства, какое она переживала замужем, после бурной власти Аркадия Евгеньевича, сейчас Елена Григорьевна переживала опьяняющее состояние собственного деспотизма. Для нее ничего невозможного не было, и каждое ее слово являлось законом. Когда, огорченный какой-нибудь новою выходкой, Чванов ухо-

дил, ей хотелось его вернуть, приласкаться и наговорить тех безумных слов, какие понятны только одним влюбленным. А когда он возвращался, – увы! этих чудных слов, этого воляпюка любви уже не было. Елена Григорьевна часто упрекала себя за жестокость и все-таки не могла быть другою. Да, не прошло еще и года после смерти Аркадия Евгеньевича, и она не узнавала сама себя. Боже мой, давно ли она сама пресмыкалась как червь и ловила каждый взгляд?.. А теперь? Сознание собственной силы делало ее жестокою.

Появление мужа являлось в этой цепи психологических моментов последним звеном. Сейчас, наблюдая его, Елена Григорьевна никак не могла понять, как в свое время этот человек являлся в ее жизни последним словом. Ведь, в сущности, это – олицетворенное ничтожество, как большинство так называемых корректных мужей, которые для своих жен являются государством в государстве. Когда-то она по целым часам ждала его возвращения со службы, старалась по-бабьи угодить ему каждой мелочью домашнего обихода, скучала по нем и была уверена, что другой

жизни нет и не может быть, и что все за свете живут так же, хотя природа и распределила свои блага между мужчинами и женщинами крайне несправедливо.

И вместе со всем этим у Елены Григорьевны просыпалась какая-то непонятная для нее самой жалость к мужу. Может быть, он и сделался таким благодаря ей. А за ним стояла брошенная семья, в возникновении которой она тоже была отчасти виновата. Она несколько раз заводила с мужем разговор на эту тему, но он отделывался общими местами и даже что-то такое острил.

– И вас это не мучит, Ефим Петрович?

– Как вам сказать... Конечно, неприятно. Но чем я виноват, если не сошелся со своей второю женой характером?

– А дети?

– Я посылаю на их воспитание, сколько могу.

– Но ведь они вас ждут? Не ваших денег ждут, а вас... Я убеждена, что, уезжая, вы сказали им, что уезжаете не надолго, по делам. Да?

– И я, действительно, уехал по делам...

– Вы не думаете о них, когда видите других детей, не видите их во сне?

– Как вам сказать… В этих случаях у каждого свой характер.

Раз Елена Григорьевна с резкой откровенностью проговорила:

– Знаете, я убеждена, Ефим Петрович, что вы и денег не посылаете детям… да. Вы – погибший человек…

Он сделал какое-то глупое лицо и ответил почти с нахальством:

– Я не требую отчета у вас относительно вашей личной жизни и сам не считаю себя обязанным давать отчет.

XV

Павел Максимович Чванов был счастлив… Это было 3-го апреля утром, когда он шал пешком в «Славянский Базар». Он поднялся рано утром и не знал, как убить ему время до 12-ти часов, когда просыпалась Елена Григорьевна. Московская весна уже вступила в свои права. Солнце светило так любовно и ласково, вызывая всюду жизнь, движение и радость. Но дороге из своего Замоскворечья Чванов зашел в Кремль, чтобы убить не же-

лавшее двигаться время, и долго любовался Москвой. Не страдая квасным патриотизмом, Чванов не мог не любоваться родным гнездом, в котором сконцентрировалась вся русская сила.

«Да, хорошо», – думал Чванов вслух, рассматривая свое Замоскворечье.

И все было, действительно, хорошо, и все отвечало радостному настроению Чванова. У него даже тихо кружилась голова, а лицо распускалось в улыбку. Все счастливые люди имеют немного глупый вид, я их счастье, что им некогда смотреться в зеркало. Счастье Чванова началось вчера после обеда. Середина, против обыкновения, не было. Елена Григорьевна имела серьезный и задумчивый вид. За кофе они разговорились, как давно не говорили, – просто, душевно, искренно. Это было что-то новое и неожиданное.

– Ах, как мне нужно вам сказать много-много, – несколько раз повторила Елена Григорьевна. – Ведь я скоро уезжаю из Москвы...

Конечно, она только из вежливости говорила об одной себе, как делала и раньше.

– Теперь отлично на юге, – поддерживал эту мысль Чванов. – Можно взять весну на южном берегу Крыма, только не в Ялте…

Она отрицательно покачала головой.

– Впрочем, это будет зависеть от вас, – поспешил согласиться Чванов.

Они говорили о прелести жизни в глухой провинции, о своем маленьком-маленьком уголке, где никому и ничего неизвестно и где можно начать жизнь сызнова. Время летело незаметно, и оба удивились, когда часы на камине пробили одиннадцать.

– Вам, голубчик, пора домой, – предупредила Елена Григорьевна.

Когда он вышел в коридор, она вернула его, крепко обняла и, целуя, прошептала:

– Не думайте, милый, дурно обо мне… Я совсем не такая нехорошая, как вы думаете…

Опять объятия и поцелуи. Это была еще первая нежная сцена между ними, и Чванов вышел на улицу пьяный от счастья. Он даже пошатывался и несколько раз протирал глаза, точно не мог проснуться.

Да, все это было, и Чванов почти не спал целую ночь. Он лежал в своей постели и улы-

бался. Боже мой, как она была хороша, и как он ее бесконечно любил!

Как мы уже сказали, апрельское утро было бесконечно, и Чванов пришел в «Славянский Базар» ровно в одиннадцать часов утра, т. е. раньше срока ровно на нас. Проходя в общую залу, Чванов успел заметить, что артельщики, принимавшие платье в передней, сегодня были как-то особенно милы. И буфетчик тоже был мил, и услуживающий официант мил.

– Эге, господин Чванов? – остановил его знакомый голос, когда он проходил к своему столику.

Это был знакомый по Гунгербургу барон фон-Клакк. Он жестом пригласил Чванова к своему столику, даже сам подал ему стул.

– Давненько не видались... – говорил барон, расправляя свои кошачьи усы. – А знаете, доктор Брусницын сдержал свое слово.

– Да?

– Как же, как сказал. Сказал, что умрет в феврале нынешнего года, – так и сделал... Это очень порядочно...

Известие о смерти доктора не произвело на Чванова никакого впечатления. Какой

доктор Брусницын? Что ему вздумалось умирать именно в феврале, когда так холодно?

– Да, он сдержал свое слово, как должен делать всякий порядочный человек... А я, знаете, уже успел заказать поросенка с хреном, фаршированный калач... Ведь эти вещи можно получить только в Москве.

Чванов не слушал этой баронской болтовни и совершенно невежливо посмотрел на часы два раза. Было всего еще двадцать минут двенадцатого.

– А помните этого сыщика с рыжими усами, с которым мы играли в карты в Гунгербурге? – продолжал барон и захохотал с какой-то особой фамильярностью.

В этот момент официант подал Чванову на серебряном подносе два письма.

– От барыни, – коротко объяснил он.

Чванов разорвал конверт дрожавшими руками и прочел:

«Милый, дорогой Павел Максимович, когда вы будете читать это письмо, я уже буду далеко... Проститься с вами лично я не имела силы... Прощайте, прощайте, дорогой, милый, и не поминайте меня лихом... Я пишу это

письмо, и меня душат слезы... Но нужно быть решительной, а я уже давно решила. Я уезжаю на юг с мужем... Не удивляйтесь и не осуждайте. Причин для этого шага достаточно. Оставаться в Москве я не могла, чтобы напрасно не мучить вас... Мне больно говорить вам, как вы хорошо и безгранично меня любили и как я этого не заслуживала. Напомню вам наш разговор перед отъездом из Гунгербурга. Я говорила вам, что мне *нечем* любить, что я устала, что я никого не могу любить... Вы были другого мнения, и вы знаете, к чему это повело. Боже мой, что я выделывала с вами, и как мне сейчас стыдно... Сейчас приступаю к искуплению всех своих ошибок. Именно, я еще могу поднять на ноги мужа и спасти его от окончательного падения; затем на моей совести лежит брошенная им его вторая семья, которую он бросил на произвол судьбы, затем... Милый, дорогой, вы не знаете, как мне трудно было расставаться с вами, но это необходимо, – я не желаю губить вашу молодую жизнь, потому что не могу сделать вас счастливым. Вы погорюете, посердитесь на меня и... согласитесь со мной, что я была пра-

ва. Мы повидаемся с мамой, а потом уедем куда-нибудь в глушь, чтобы начать новую жизнь. Еще раз: не презирайте и не проклинайте меня. Буду нам писать. Прощайте, милый, дорогой… Всегда ваша Елена».

Второе письмо было от Середина, который писал лаконически:

«Дорогой друг Павел Максимович, во всей всемирной истории это, кажется, первый случай, когда муж похищает собственную жену, – и этот муж – ваш покорнейший слуга. Да, бывают сны, а наяву чудней… Кстати, я остаюсь вам должным около шестидесяти рублей, каковые и вышлю почтой. Жму вашу руку и желаю всего лучшего. Весь ваш Ефим Середин».

Чванов побледнел, как смерть, перечитывая эти роковые для него письма. У него кружилась голова, а перед глазами плыли какие-то красные пятна. Половины прочитанного он не понимал и перечитывал снова.

– А вот и фаршированный калач!.. – радостно заявил барон фон-Клакк, когда официант подал закуску. – Только с чего начать: с поросенка или с калача? Как это у вас делается в

Москве, господин Чванов?

Но Чванов поднялся и, не отвечая на вопрос, направился к выходу. Официант догнал его со шляпой уже в передней. Чванов как-то особенно нахлобучил шляпу на голову, махнул рукой и навсегда вышел из «Славянского Базара». Он походил на угря, с которого живьем сняли кожу.

1901

Стрекоза

Из летних идиллий

I

Утро было свежее. Ночью выпал дождь, и мокрая трава блестела на солнце. Но утренняя свежесть уже не имела той чарующей, пахучей теплоты, как летом. Стояли первые дни августа, и в воздухе чувствовался первый осенний холодок.

Настасья Ивановна нарочно выбрала дальнюю дорожку парка, чтобы «продышаться» на целый день. Ведь в ее распоряжении был всего один свободный час, именно – от семи до восьми часов утра, и она ежедневно делала одну и ту же прогулку со своего дачного чердачка до вокзала. Ей казалось, что столетние березы, сосны и ели уже знают ее и, когда она проходила мимо, шепчут ей: «Здравствуйте, Настенька. Вы опять идете в свою проклятую будку? Бедная Настенька!..» Девушка знала до мельчайших подробностей свою ежедневную дорогу, каждый кустик, мутную речку, катившуюся в низких глинистых берегах, каждое дерево. Ей казалось, что все деревья добрые,

да иначе и быть не могло, потому что они пользуются величайшим счастьем быть вечно на свежем воздухе. А как им весело, когда солнце обливает их своим ликующим светом... Солнце – ведь это сама жизнь, и Настенька ничему так не завидовала, как тем счастливым людям, которые целые дни, недели и месяцы могут пользоваться этим солнцем. О! она всегда сидела бы где-нибудь на солнышке и пила бы солнечный свет, как больные пьют свои лекарства. Да, солнце, солнце, солнце и еще немножко солнца... Тогда бы Настенька не была таким заморышем, руки и ноги у нее не были бы такими тоненькими, лицо не было бы таким бледным, а глаза не смотрели бы так печально, точно она только что перенесла какую-то тяжелую болезнь.

Да, сегодня было первое осеннее утро, и с берез медленно падали желтые листья, точно слетали обессилевшие бабочки. В воздухе в первый раз чувствовался горький аромат этого палого осеннего листа, и девушка с искреннею радостью думала:

«Слава Богу, лето прошло...»

Девушка даже улыбнулась, глядя на валявшиеся по траве желтые листья. Да, они еще недавно давали кому-то тень, кому-то нашептывали свои зеленые летние сказки, веселили своей шепчущею зеленью чей-то глаз... И вдруг все кончено: солнечные лучи уже не давали настоящего живого тепла... В одном месте, на повороте дорожки, где стояла зеленая скамейка, Настасья Ивановна подняла валявшуюся на песке поблекшую за ночь розу. Девушка внимательно ее осмотрела и только вздохнула. Кто-то сорвал эту розу, чтобы поднести какой-то девушке или даме. Вероятно, эта девушка была счастлива, улыбалась, смотрела на *него* благодарными глазами... Ведь цветы, а особенно розы – само счастье. Каждое утро, идя на службу, Настасья Ивановна находила брошенные цветы, и ей делалось как-то обидно и горько за неслыханное счастье, которым пользовались вот в этом парке другие. Ей казалось, что в цветах сохранилась еще теплота державших их рук.

«Скоро не будет цветов, – озлобленно думала девушка, разрывая чужую розу по лепесткам. – Довольно, нарадовались...»

Она уже видела деревья голыми, видела покрывавший землю первый снег, сквозь который пробивалась замерзавшая трава, слышала завыванье холодного ветра и карканье голодных ворон, – лето кончено, а с ним кончилось и завидное чужое счастье.

Настасья Ивановна всегда испытывала неприятное чувство, когда ее дорога кончалась. Вот крутой берег речки с великолепною аллеей из сосен и елей, спуск к мостику, из-под которого с шумом падала вода, крутой подъем, на котором она задыхалась, широкий луг, последние дубы и липы, а там уже виднелось здание вокзала с эстрадой для музыкантов и большою площадкой для гуляющей публики. Она проходила по этой площадке как-то торопливо, точно бежала, стесняясь за свое старенькое платье, прошлогоднюю дешевенькую шляпу и выцветшую пелерину. В этот ранний час собственно публики на площадке, конечно, не было, кроме торопливо шагавших на вокзал мелких служащих, которым было не до нее, да официантов, убиравших свои столики на галерее около буфета. Правда, в это время всегда стоял татарин Хайбибу-

ла, приземистый седой старик с угловатою головой и щетинистыми усами. Он кланялся издали Настасье Ивановне и говорил всегда одно и то же:

– На службу идешь?

– На службу…

– Служи, служи. Нельзя, надо служит…

Другие официанты смотрели на Настасью Ивановну с улыбкой и что-то говорили Хайбибуле, который с презрением отмахивался рукой. Девушке казалось, что официанты говорят про нее, и говорят что-то дурное, и ей делалось обидно. Разве она сделала кому-нибудь зло или сказала про кого-нибудь что-нибудь дурное?

Сегодня было, как всегда, и Хайбибула к обычному вопросу о службе прибавил только одну фразу, точно видел мысль, которую несла Настасья Ивановна:

– А лето прошел…

Девушка только улыбнулась в ответ и быстро, как ящерица, скрылась в дверях громадной концертной залы, где так гулко раздавались даже ее легкие шаги. Из концертной залы шел широкий выход на платформу. Нале-

во пристроилась фруктовая лавочка, а рядом – крошечная будка, где Настасья Ивановна торговала газетами. Молодцы из фруктовой не обращали на нее никакого внимания, точно мимо них проходила кошка, и это ей было немножко обидно. Девушка боялась пропустить первый поезд из Петербурга, с которым получались свежие газеты и приезжал обыкновенно сам хозяин, пожилой господин с проседью. У него по линии дороги было несколько газетных киосков, и он постоянно жаловался, что дела идут плохо, хотя последнего и не было. Звали его Федором Егорычем. Настасья Ивановна знала, что у него большая семья и что он добрый человек, совсем добрый, если бы постоянно не нуждался в деньгах.

– Ох, уж эти деньги… – повторял Федор Егорыч, вытирая лицо платком. – Дыхнуть нельзя без денег.

Настасью Ивановну он называл просто Настенькой, что выходило у него как-то особенно ласково.

– Эх, Настенька, и отчего вы только худеете? Никакого настоящего девичьего фасона у

вас нет, чтобы покупающей публике было приятно... Вон какие развертные продавщицы бывают. Другой бы и мимо прошел, а тут за фасон газетину купит. Уж, кажется, все у вас: и парк, и музыка, и всякая публичность...

Если бы добрый Федор Егорыч нарочно придумывал что-нибудь пообиднее, то, наверное, не сумел бы придумать. Настасья Ивановна забиралась в свою будку в конце восьмого часа и выходила из нее только в двенадцать часов ночи, когда отходил последний дачный поезд. Она не видела в течение целого дня солнца, а только проходившую публику, которая вечно куда-то торопилась. Свой обед она приносила с собой в узелочке, а Хайбибула два раза подавал ей чай за старые газеты, которые она давала ему читать.

II

Из будки Настасьи Ивановны никогда не было видно солнца, что ее огорчало больше всего. Освещался только дальний конец платформы, да и то вечером, когда уходил семичасовой поезд. Молодцы из фруктовой, когда не было покупателей, поочередно выскакивали на освещенную часть платформы и в сад, а

Настасья Ивановна не могла даже этого сделать, потому что не на кого было оставить будку. Ей приходилось только завидовать счастливым фруктовым молодцам, которые хоть урывками видели летнее солнце, могли свободно двигаться за своим прилавком и без конца болтать с покупателями и между собой.

Но в самом скверном положении бывают еще более скверные положения, и в данном случае это были те часы, когда играла музыка. Настасья Ивановна сначала слушала музыку с удовольствием, а потом она начала ее раздражать, больше – девушка испытывала тяжелое чувство, которое не сумела бы назвать. Это было что-то вроде того беспричинного страха, какой испытывается иногда во сне. Девушка начинала волноваться с того момента, когда приезжали музыканты. Она смотрела на них, как на своих личных врагов, которые являлись каждый вечер с специальною целью мучить ее, такую хилую и беззащитную.

А тут еще дачная публика, которая гуляла по платформе целые дни, – одни уезжали,

другие провожали, третьи встречали приезжавших. Как им всем весело... Настасье Ивановне часто хотелось им крикнуть:

«Разве вы не видите, что я совсем одна, что мне скучно, что я совсем не вижу солнца?!»

Но ее никто не замечал. У каждого было свое дело, каждого кто-нибудь ждал, и все ужасно торопились, чтобы не пропустить ни одного хорошего солнечного дня. Боже мой, какие люди злые!.. Чтобы они имели в свое время газеты, Настасья Ивановна должна была по шестнадцати часов отсиживать в своей будке. Ведь все это видели, и никто, никто этого не замечал. Девушка начинала думать, что и те люди, которые пишут в газетах, тоже злые, все злые... И проклятые газеты печатаются только для того, чтобы она, Настенька, все лето не видала солнца.

– Злые, все злые, – повторяла девушка, когда мимо нее без конца тянулась всегда по-праздничному разодетая толпа.

Особенно ее возмущали дамы, которые ничего не делали и знали только наряжаться. Довольные, сытые, счастливые, они жили как чужеядные растения.

Единственный человек, который замечал Настеньку, был старик Хайбибула, хотя он и относился к ней с непонятною для нее грубостью.

– Чего сидишь? – спрашивал он сердито. – Другие бабы гуляй, а ты сиди... Сколько угодно сиди, все равно ничего не высидишь...

– Ведь и ты тоже служишь, Хайбибула, – точно оправдывалась Настасья Ивановна. – И давно служишь...

– Я – другое... совсем наоборот... Я тридцать пять лета официантом служу, да пять лет в мальчиках... Ух, как ремнем драли, когда был в мальчиках... Спать вот как хотелось, а тут сонного ремнем... Соскочишь, ничего не понимаешь, а тебя опять ремнем... Вот я и знаю свою службу лучше всех. У Бореля служил, у Ломача... на островах... Я все могу понимать... Хайбибула все знает...

Эти разговоры происходили, когда старик приносил чай. Он точно немного конфузился, и вместе с тем Настеньке казалось, что ему нравилось говорить с ней и что он как будто чего-то не договаривает. Хайбибула смотрел на нее своими черными глазами с желтым

белком как-то особенно, в упор, а при разговоре сдвигал черные густые брови. Были моменты, когда старик как-то вдруг весь изменялся и даже говорил другим тоном, именно, когда говорил о своем родном Касимовском уезде, и своем татарском гнезде. Разве что-нибудь может быть лучше на свете Касимовскаго уезда, где у Хайбибулы был и свой дом и все хозяйство, настоящее хозяйство. Старый татарин с каким-то умилением рассказывал Настеньке об этом своем доме, об оставшейся дома семье и о том, как он сам вернется туда коротать свою старость.

– У вас одно нехорошо, – сказала Настасья Ивановна, невольно завидуя благополучию Хайбибулы. – Вы выдаете девушек замуж насильно... да.

– Мы?! Насильно?!. – недоумевал Хайбибула. – Пришло девушке время – и выдаем, а насильно – нет... Сделай милость.

– Девушка, может быть, и в глаза не видала своего жениха...

– А зачем ей смотреть? Отец да мать получше смотрят...

– А она его все-таки не знает и не может

любить...

– Эге, не может... Все может, когда замуж вышла. Все... Ваша девушка сегодня посидит с кавалером, завтра посидит с кавалером, семь раз посидит с кавалером – девушки и нет... Тридцать пять лет служу и все могу отлично понимать. Девушка... Разве нашу татарскую девушку посадят в такую конуру? Эге, старый Хайбибула все понимает... У меня своя дочь есть; разве я ее посажу на вокзал газеты продавать? Шайтан печатал ваши газеты... все врут...

– У вас по четыре жены у каждого татарина, – сказала Настенька.

– Такой закон... У меня одна жена, а кто хочет... Зато у нас старых девок нет и других пустяков... У нас девку из семьи не выпустят, потому что больно ее берегут... У нас девка – дорогой товар. Вашу девку жених без приданого не берет, а за нашу девку жених большой калым платит.

В словах старого татарина Настасья Ивановна против желания находила много правды, точно он говорил о ней, больше – точно он видел все, что она сейчас переживала. Да-

же шестнадцатичасовое сиденье в будке не могло убить живого человека… Да, у Настасьи Ивановны была тайна, настоящая тайна, о существовании которой догадывался один Хайбибула, когда говорил о «пустяках», да еще, как ей казалось, знали музыканты. Они точно досказывали ей то, чего она не могла выговорить словами, а только чувствовала. Все эти медные трубы, скрипки и контрабасы пели вместе с ее сердцем, жаловались, страдали, плакали и радовались… О! пусть разгуливают эти счастливые, разодетые, красивые дамы, за которыми ухаживают красивые и разодетые и счастливые кавалеры, – никто и ничего не узнает о большой тайне худенькой маленькой девушки, которая сидит все лето в своей будке.

В первый раз *он* подошел к ее будке и по рассеянности спросил не газету, а спичек.

– Это рядом, – ответила они и только теперь увидела стоявшего у ее прилавка стройного молодого студента.

– Ах, виноват, барышня, – весело ответил он и засмеялся решительно без всякого основания.

Настасья Ивановна посмотрела на него и только чувствовала, как у нее захолонуло на душе. Да, это был *он*, настоящий *он*... Боже мой, какая красота родится на свете! Девушка представляла себе *его* именно таким: высокого роста, стройный, с румяным свежим лицом, маленькими рыжеватыми усиками, распущенными по последней моде на концах, что придавало этому молодому лицу немного удивленный вид. А какие ласковые карие глаза, какая милая, безобидная улыбка, свежий, с не остывшими еще детскими нотками голос – и вообще что-то такое свежее, молодое, радостное, счастливое и еще не проснувшееся от здорового детства.

Он подошел к фруктовой, купил коробку шведских спичек, по пути съел три яблока и ушел.

Вернувшись вечером домой, в свой дачный чердачок, Настасья Ивановна просидела у открытого окна до утренней зари и не замечала, как по ее лицу бежали слезы.

III

Он бывал на вокзале каждый день, потому что нужно же было куда-нибудь ехать на ве-

лосипеде. Настасья Ивановна знала даже часы, когда он приезжал, и каждый раз страшно волновалась. С ним приезжали другие велосипедисты в каких-то шутовских курточках и шапчонках, полосатых фуфайках и шерстяных чулках до колен. Они называли его Жоржиком, и Настасью Ивановну коробило, когда кто-нибудь хлопал его фамильярно по плечу. Как они смеют, эти гороховые шуты, так обращаться с ним! Жоржик всегда был одет в белоснежный китель с высоким накрахмаленным воротником; форменная фуражка была самая модная – с козырьком до половины лба, с прямою тульей; панталоны в обтяжку, как у гусар, – вообще он походил скорее на офицера, чем на студента, и даже ходил по-кавалерийски, подавшись корпусом вперед и расставляя широко на ходу носки. Говорил он, растягивая слова, и нарочно шепелявил. А как мило он почти к каждому слову прибавлял букву «э». По рассеянности Жоржик раза два еще подходил к будке Настасьи Ивановны.

– Э… позвольте спичек… Ах, виноват, барышня.

Когда не было никого из велосипедистов, Жоржик забирался в отделение, где продавали пирожное, и наедался, как гимназист приготовительного класса.

Настасья Ивановна переживала все счастливые муки первого чувства, до ревности включительно. О! какое это ужасное чувство – ревность... И в материале для него не было недостатка, потому что коварный Жоржик ухаживал за каждою юбкой. Одних кузин у него было несколько дюжин. Настасья Ивановна глубоко страдала и бранила Жоржика, называя его про себя «проклятым моржиком». Но ведь он решительно был не виноват, что все дамы ухаживали за ним, в чем Настасья Ивановна убеждалась каждый день собственными глазами.

«Да пусть ухаживают, а он все-таки мой, – думала девушка, глядя на ухаживавших дам с подобающим в таких случаях презрением. – Мой, мой, мой... еще раз мой... А вы, несчастные, и не подозреваете ничего. Мой моржик...»

Это чувство собственности выросло как-то само собой и даже перешло в своего рода ску-

пость. Настасья Ивановна владела Жоржиком безраздельно. Ей принадлежал каждый его взгляд, каждое движение и каждая мысль. Она мысленно гуляла с ним каждый вечер под звуки музыки, а потом уходила в тенистые аллеи векового парка, где рассказывала ему все, все... Она рано осталась сиротой и выросла у тетки, бедной и больной женщины, которой сейчас помогала. Десяти лет тетка отдала ее в швейный магазин, где она пробыла ужасных пять лет и едва вырвалась. Ее морили голодом, били, заставляли работать по восемнадцати часов в сутки. Потом она вырвалась из этого ада благодаря дальнему родственнику, служившему на финляндском пароходике, который доставил ей место кассирши на одной из маленьких пристаней-плотов на Фонтанке. Там была тоже будка, только еще хуже, чем здесь: единственное окошечко упиралось в рыбный садок, и она видела только руки счастливых пассажиров, плативших ей в кассу по две копейки. Фонтанка всегда такая грязная, и она с ранней весны до глубокой осени дышала зараженным воздухом. А тут еще постоянная сырость

от воды... Жоржик все это выслушал и так хорошо ее жалел, а она рассказывала и плакала счастливыми слезами. Он ведь такой добрый и славный... А там, на садовой эстраде, играла такая хорошая музыка, и вместе с Настенькой плакали и скрипки и медные трубы, и тихо жаловались контрабасы.

Одним словом, девушка переживала все муки непережитого счастья.

Итак, день стоял осенний, с бодрым осенним холодком, что Настенька скоро почувствовала, когда забралась в свою будку. На ходу похолодевший воздух действовал ободряюще, а в будке он заставил ее дрожать и прятать покрасневшие руки в рукава.

– Ух, студено! – выкрикивал кто-то из фруктовых молодцов, похлопывая руками. – Хоть в шубу полезай, в самый раз.

Утром газеты раскупались нарасхват, и Настасья Ивановна едва успевала давать сдачу, что всегда ее немного сердило. Ведь она одна, а покупателей много, и каждый требует сдачи, точно нельзя вперед приготовить пятачок или семь копеек. К одиннадцатичасовому поезду неожиданно явился Жоржик. Он пришел

пешком, такой свежий и розовый от осеннего холода. Заложив руки в карманы и насвистывая арию из «Маскотты», Жоржик бродил по платформе с деловым видом.

«Ах, какой он хорошенький сегодня», – с гордостью подумала Настасья Ивановна, глядя на него с чувством собственности.

Жоржик подходил раза два к ее будке, что-то раздумывал и говорил:

– Э... у вас нет спичек, барышня?.. э?..

– Нет, я торгую газетами... Хотите «Новости»?

– Э... я читаю только «Петербургскую Газету»...

В сущности, Жоржик не читал даже и «Петербургской Газеты», потому что чувствовал органическое отвращение к печатной бумаге. Вся его литература заключалась в анонсах скачек и вообще в отделе спорта. Он мог перечислить фамилии всех жокеев, знал наизусть родословную каждой лошади и всевозможные рекорды, чем по справедливости мог гордиться в своем велосипедном кругу. А дома у себя, где духовные потребности исключительно удовлетворялись одной «Петербургской Га-

зетой», он являлся великим светочем, оракулом и авторитетом, потому что вся семья была поглощена спортом, до семилетней Вовочки включительно. Таких спортсменских семей было несколько, и летом на даче между ними устраивалось что-то вроде семейного тотализатора, составлялись пари и велись самые ожесточенные споры по поводу разных фаворитов, рекордов и особенно по поводу будущих выигрышей. Из болтовни велосипедистов Настасья Ивановна знала многое о семье Жоржика, о какой-то его сестре Рите, которая обладала счастливым даром предсказывать будущие выигрыши, и сейчас решила, что Жоржик, вероятно, жестоко проигрался в тотализатор и поэтому имеет такой деловой вид. Но причина оказалась другою.

Настасья Ивановна думала, что Жоржик ушел, как вдруг услышала его голос сейчас рядом со своей будкой, где стояла решетчатая деревянная скамейка. Да, это говорил он, но таким убитым, растерянным тоном.

– Послушай, Люся, так нельзя… – виновато повторял он. – Э… наконец тут публика… нас могут услышать…

– А мне все равно, пусть слушают, – отвечал решительный женский голос с хриплыми нотами. – Да, пусть все смотрят, как несчастный мальчишка… ведь ты мальчишка… Да, как такой скверный мальчишка обманывает меня. О! я все знаю, вижу и понимаю!..

Настасья Ивановне показалось, что кто-то ударил ее прямо по лицу. Она страшно побледнела и чувствовало только одно – что ей дышать нечем. Ее Жоржика смели называть мальчишкой!.. И кто же, какая-то старая, озверевшая баба… Настасья Ивановна видела, как она подходила давеча к Жоржику, – совсем-совсем старая, брюзглая и нос крючком, а глаза, как у вороны, злющие, противные, бессовестные.

IV

Положение Жоржика ухудшалось с каждою секундой. Он старался незаметно отступить к линии вагонов, но энергичная дама загородила ему дорогу.

– Ты хочешь бежать, скверный мальчик!.. – возмутилась она в окончательной форме. – А кто платил за твою игру на тотализаторе, а?..

– Люся, ради Бога!.. – умоляюще шептал

Жоржик, оглядывался, на фруктовую лавку, которая, как ему казалось, вся состояла из улыбающихся рож. – Мы обращаем на себя общее внимание.

– Я этого и хочу!..

Несколько кондукторов наблюдали эту сцену и тоже улыбались. Станционный жандарм шагал по платформе, делая вид, что ничего не замечает. Сидевшая на скамье швея с картонкой долго удерживалась и наконец фыркнула, зажимая рот рукой. В дверях концертной залы показался Хайбибула. Он видал на своем веку столько скандалов, что уже не мог ничему удивляться и только сурово сдвинул свои густые брови, когда зонтик в руках Люси начал принимать угрожающее положение.

– Ловко барыня отчекрыживает велосипедиста, – хвалили фруктовые молодцы.

– А не играй в тотошку на чужой счет…

– Ужо вот она ему залепит прямо по наружности… Лихая барыня, настоящий французский скипидар.

Настасье Ивановне показалось, что у нее точно сто ушей и глаз, и что она видит и слы-

шит всех зараз, а главным образом ее внимание сосредоточивалось на зонтике, которым Люся размахивала все с большим азартом. Вот-вот эта сумасшедшая баба ударит Жоржика и ударит непременно по лицу. Дальше Настасья Ивановна помнила только одно, именно, что этот ненавистный зонтик очутился как-то у нее в руках и что она его сломала. Да и другие не успели заметить, когда она успела выскочить из своей будки.

– Вы... вы не смеете его бить!.. – задыхавшимся голосом шептала Настасья Ивановна: ей казалось, что она кричит на весь вокзал. – Да, не смеете... Вы – гадкая, гадкая...

В первый момент m-me Люся совершенно растерялась и даже закрыла инстинктивно лицо руками; ей казалось, что выскочившая точно из-под земли сумасшедшая девчонка хочет ударить ее именно по лицу. Может быть, так бы и случилось, если бы не подбежал не растерявшийся Хайбибула и не удержал Настасью Ивановну за руку.

– Барышня, оставь... ух, нехорошо! – говорил Хабибула, стараясь увести вырывавшуюся из его рук девушку.

– Оставьте меня… *Она* злая… *она* хотела его ударить по лицу… – повторяла Настенька с истерическим смехом.

– Говорят: оставь… – сурово повторял Хайбибула. – Говорят… Ух, нехорошо.

Появление жандарма изменило сразу всю картину. M-me Люся с вызывающим видом заявила ему:

– Эта… эта особа хотела убить меня, то есть ударить зонтиком. Удивительно милые порядки на вашей железной дороге… Порядочной женщине нельзя показаться…

– Извините, сударыня, а это уж начальство разберет… – с жандармскою вежливостью ответил жандарм. – Сейчас составим протокол, а там уж все разберут. Очень просто…

При слове «протокол» m-me Люся грозно посмотрела на Жоржика и, указывая глазами на Настеньку, прошипела:

– Вот до чего вы довели эту несчастную жертву вашего темперамента… да. Любовный дуэт разрешается полицейским протоколом… Очень мило вообще. Господин жандарм, я попрошу вас составить протокол и записать все, все, записать с самого начала…

Когда жандарм повернулся к будке, Хайбибула предупредил его:

– Не беспокойся... *Он* помирал.

Но старик ошибся. Девушка была только в обмороке. Хайбибула перенес ее на руках, как ребенка, в жандармскую комнату, куда был вызван до телефону железнодорожный врач.

– Скажите, пожалуйста, какие нежности. – возмущалась m-me Люся и, обернувшись в сторону Жоржика, прибавила: – Вот полюбуйтесь вашей жертвой...

Но – увы! – Жоржика уже не было. Он воспользовался моментом суматохи и незаметно скрылся.

Настасья Ивановна пришла в себе только на своем чердаке. Она лежала у себя на кровати, прикрытая стареньким пледом, заменявшим ей одеяло. Она только сейчас испугалась, напрасно стараясь припомнить что-то ужасное, что случилось сегодня. Впечатление этого ужасного оставалось в сознании смутно и неясно. Что-то она такое сделала, около нее было много народа, на нее кричала какая-то дама, потом ее вел домой по парку Хайбибула... Она едва тащилась и несколько раз

должна была отдыхать, а Хайбибула совал ей в руку какой-то пряник и повторял:

– Ешь, все пройдет… Ух, нехорошо…

Дешевый, совершенно черствый пряник лежал сейчас на столе в качестве вещественного доказательства, и благодаря ему Настасья Ивановна постепенно восстановила выпавшие из памяти подробности всего случившегося. Ах, какая была противная эта дама с зонтиком… Бедный Жоржик, зачем он знакомится с такими ужасными женщинами? Она хотела его ударить по лицу…

– Противная… гадкая… – шептала Настасья Ивановна, переживая снова ужасную сцену.

Закрыв глаза, она видела больше, чем случилось. Да, она ударила зонтиком эту злющую бабу, сорвала с нее шляпу, толкнула громадного жандарма прямо в грудь и т. д., и т. д. Расстроенное воображение работало с особенною яркостью, и девушка сжимала свои худенькие кулачки, угрожая, по-видимому, врагу. Настасья Ивановна больше не плакала и лежала с сухими холодными глазами, убитая, уничтоженная, жалкая. Временами она даже улыбалась и начинала думать вслух.

– Разве такие девушки, как я, имеют право любить?.. *Это* могут делать совсем другие девушки, те, которых воспитывают нарочно для *этого*... Да, их для *этого* откармливают, как индюшек, для *этого* их одевают, для *этого* чему-то учат, а поэтому они и делаются такими смелыми, веселыми, красивыми... А девушки, у которых всего и света в окне, что какая-нибудь голодная и больная тетка, – таким нечего об *этом* и думать... смешно и глупо думать... Прощай, Жоржик!..

Настенька больше не показывалась в своей будке, и Федору Егорычу пришлось самому бегать с газетами по платформе. Содержатель фруктовой лавки, с которым они ходили иногда в трактир пить чай, сочувствовал приятелю и жалел его.

– Подвела тебя стрекоза-то, Федор Егорыч! Вот даже как подвела... Долго ли было потерпеть до конца сезону, а она вон какую штуку отколола.

Федор Егорыч не роптал, хотя и принимал это сожаление, как нечто заслуженное. Он всегда полнил, что он добрый человек, и отвечал фруктовщику, точно оправдываясь имен-

но в этой своей доброте:

– Что уж тут поделаешь, то есть, скажем, касаемо всех стрекоз… Неочерпаемый их угол в городе Санкт-Петербурге, и все на один фасон: глядеть – как будто и человек, а у всех кость жидкая. Вот на место Настеньки сейчас двадцать таких-то явились, выбирай любую да лучшую, а цена всем одна… Хотят свой хлеб есть, а того и не понимают, что белый-то хлеб на черной земле родится.

Фруктовщик тоже был не злой человек и не мог не пожалеть бедную стрекозу.

– Трудно им, которые ежели немного с благородством… Горничной хорошей – и того не выйдет, не говоря уж кормилках и тому подобном.

«Стрекоза» исчезла с вокзала, и это событие осталось совершенно незамеченным. Так же гуляла праздная дачная публика, так же играла по вечерам музыка, так же старый Хайбибула какими-то жадными глазами выискивал в толпе знакомых *хороших* господ, которые могли понимать настоящую службу, и т. д. Куда девалась Настасья Ивановна? Никто этим не интересовался и никто этого не

знал. Ее место в будке заняла другая «стрекоза».

1900

Между нами

I

Говоря *между нами*, мне нынче стукнуло ровно сорок шесть лет... и я остался старым холостяком, который по вечерам подолгу сидит один у камина, как старый кот. У меня есть и настоящий кот, который греется у огня вместе со мной. Это настоящий философ, хотя из скромности и прикрытый кошачьею шерстью. Старый плут отлично понимает меня, хотя и притворяется. Это самый упрямый эгоист из всех философов и постоянно находится в созерцательном настроении.

– Ну что, Васька, плохи дела?.. – говорю я иногда.

– Э, все равно, плевать!.. – мурлычет мой философ. – Не стоит, знать, Платон Васильевич...

В подтверждение своей мысли старый плут сладко жмурится и даже подбирает под себя свой хвост. Я знаю, что этот хвост конфузит мохнатого философа. В самом деле, давно ли этот хвост был такой пушистый, а теперь вытерся, вылинял и сделался таким тощим!

Ни одна кошка не заинтересуется таким гадким хвостом, и ничего больше не остается, как только скромным образом спрятать его под себя. «Э, не стоит, знать... плевать!..»

Человек, которому сидеть по вечерам под огоньком вошло уже в привычку, собственно даже не человек, а так, какая-то человеческая тень, – то, что остается от каждого человека в сорок шесть лет, когда недостаток внутреннего огня заменяется внешнею теплотой. Мой друг, доктор Клейст, так и говорит:

– Ну, старина, нам необходимо погреться... Это принцип всякого движения, а движение есть жизнь, и только движение.

– Да, доктор, необходимо поддерживать температуру... Вы сегодня что намерены пустить в ход?..

– По обыкновению, водку...

Доктор Клейст скалит свои вставные зубы, и мы идем в клубный буфет. Собственно, доктор врет: он считает себя еще достаточно молодым, чтобы ухаживать за молоденькими девушками, но мне его жаль. Ничего нет хуже этих вечно молодящихся старичков, которые обманывают самих себя. А доктор Клейст

очень любит молоденьких женщин, и у него бывает такое глупое лицо, когда он начинает говорить свои комплименты, которые походят на его рецепты.

Да-с... Недавно в нашем клубе был семейный вечер. Публики, против обыкновения, набралось много, особенно молоденьких девушек, и доктор Клейст танцевал с увлечением. Я стал в дверях танцевальной залы и долго смотрел на кружившуюся толпу. Сколько свежих молодых лиц (я говорю о женщинах)! Были очень красивые лица, как это делает природа в семнадцать лет. Около меня, у стены сидела блондинка в голубом платье. Кавалеры не давали ей отдыха, и она являлась на свой стул только перевести дух. Славная девушка, и я, по старой привычке, выпрямил грудь – ведь моя фигура когда-то сводила с ума женщин, но я вспомнил своего старого кота и подумал:

«Э, все равно... плевать!»

Музыка играла, пары кружились; доктор Клейст танцевал, как кадет, а я смотрел кругом, и мне вдруг сделалось очень жаль вот этих разгоревшихся счастливых девушек, ко-

торые улыбались, кокетливо обмахивались веерами и вообще делали то же самое, что делали их мамаши, бабушки и прабабушки, вплоть до нашей праматери Евы.

Да, черт возьми, в свое время Платон Васильевич Казарин тоже танцевал и очень недурно танцевал. Тогда тоже были красивые девушки, а голова Платона Васильевича была украшена настоящею гривой из русых кудрей. Ничего, было весело, а главное – так легко на душе. Вот по части денег – другой вопрос. У Платона Васильевича едва хватало на входные билет да за платье швейцару. Но это все пустяки... Теперь есть и деньги, но недостает именно того, что на деньги не покупается, и у Платона Васильевича, вместо стоявших копной кудрей, просвечивает лысина. Впрочем, это между нами, и я вполне надеюсь на скромность моей читательницы – нет, она меня не выдаст, я в этом уверен, потому что и моя читательница такого приличного возраста, о котором из вежливости не говорят. Та белокурая девушка, которая так весело танцевала в нашем клубе, конечно, уж не будет читать этих строк: счастливая молодость читает

свое прямо из великой книги жизни.

Однако я начинаю болтать, а это симптом неизлечимой старости. Все-таки я расскажу одну историю, которая вспомнилась именно в клубе и по поводу которой я пожалел счастливых девушек. Кстати, и доктор Клейст, которого вы, конечно, знаете, отчасти входит в нее, а послушать про знакомого человека всегда приятно. Но еще одно слово: вся эта история – между нами.

А огонек в моем камине так весело потрескивает, и я не могу оторвать глаз от бойких искорок, которые так весело танцуют в голубоватом пламени, чтобы сейчас же потухнуть или стремительно улететь в трубу. Старый философ Васька погрузился в сладкую дремоту вместе со своим хвостом и тоже, вероятно, вспоминает, что было двадцать лет назад. Еще одно слово…

– А что, старина, если бы лет пятнадцать с костей долой? – говорил мне недавно доктор Клейст. – Ведь недурно бы… а?..

– Нет, доктор, не стоит… Если хотите, двадцать, а то плевать.

Доктор Клейст только пожал плечами, и я

заметил, что ему было жаль меня, хотя – если кто из нас двоих был жалок, так это он, мой друг, доктор Клейст.

II

Двадцать лет тому назад я жил в одном из губернских приволжских городов, где служил мой дядя, Павел Семенович. Город был бойкий, и дядя нашел мне подходящее занятие при одной комиссионерской торговой фирме, занимавшейся очень крупными операциями. Для двадцатипятилетнего малого лучшего желать было нечего, и я зажил припеваючи. Как во всех провинциальных городах, молодые люди были наперечет, и я скоро перезнакомился со всем городом. В качестве только что приехавшего из столицы молодого человека, я представлял собою интересную новинку; притом у меня был счастливый рост, цветущее здоровье и вообще приличный вид. Женщины находили меня даже красавцем, но это дело личного вкуса.

Летом публика по вечерам собиралась на крутом берегу Волги, в плохом и пыльном городском саду, где играла плохая военная музыка. Дядя всегда тащил меня в этот сад и уса-

живал куда-нибудь в тенистый уголок или в беседку, где мы и болтали за бутылкой дрянного вина. Нужно признаться, что мой дядя был очень дрянной человек, и некоторая зависимость от него всегда меня стесняла. Может быть, поэтому я и не мог никогда отказаться от этих прогулок tête-à-tête. Представьте себе лысого, безобразного старика, который вечно говорит о «хорошеньких» и вечно повторяет одни и те же скабрезные анекдоты – вот вам портрет моего милого родственника.

– О, я люблю женщин!.. – подмигивал дядями прибавлял: – Знаешь, плутишка, я не могу пожаловаться на свою судьбу в этом отношении! Учись у меня... Ведь если и стоит жить на свете, то только для женщины.

Это было обыкновенною прелюдией к какой-нибудь истории из жизни дяди, т. е. он врал самым бессовестным образом, рассказывая свои похождения с женщинами. Конечно, эти героини были красавицы чистейшей воды и бросались дяде прямо на шею, чтобы потом отравиться от безнадежной любви к нему или утопиться. Впрочем, Бог давно простил

моего дядю за это невинное хвастовство, потому что такие красавицы существовали только в его расстроенном воображении, а затем своею болтовней о женщинах и скабрезными анекдотами он вознаграждал себя за печальную действительность. Павел Семенович был женат на богатой старухе и сидел у жены под башмаком. И меня таскал он в сад только потому, что жена не отпускала его одного, да его и отпустить было нельзя, как нельзя было держать женскую прислугу моложе пятидесяти лет. Денег тетка, конечно, не давала в руки своему супругу, и Павел Семенович довольствовался жалкими крохами, которые успевал утянуть всякими правдами и неправдами при разных хозяйственных расчетах, чтобы потом прокутить их где-нибудь в номерах.

– Да, я не могу пожаловаться на женщин, черт возьми!.. – повторял дядя с апломбом, когда тетки не было в комнате. – Вся сила в характере. Нужно уметь покорить женщину – в этом весь секрет. Павел Казарин умел пожить... хе-хе!.. Учись, Платон, у старика, если желаешь себе добра. Нужно себя держать с

женщиной так, чтобы она всегда немножко тебя боялась... Это, по крайней мере, мое правило!..

Дядя как-то особенно гадко прищуривал левый, косивший глаз и слащаво улыбался, показывая кривые зубы. Сказать кстати, мне иногда кажется, что и я начинаю хвастать, как дядя, вспоминая свое прошлое, но ведь я никогда не был женат и мне некого обманывать, а в этом единственное преимущество всех старых холостяков.

Итак, мы сидели с дядей в городском саду и любовались прямо из своей беседки чудным закатом солнца. Сквозь редкую сетку деревьев проступала необъятная даль Волги, тонувшей в серовато-фиолетовых тонах горизонта; по блестевшей, как серебро, водяной шири ползли букашками пароходы, а лодки походили на те черные точки, какие оставляет на зеркалах муха. Левый волжский берег уходил из глаз низкою равниной, точно громадный ковер, который в Волгу спускался желтою причудливою бахромой, – это были волжские отмели, такие красивые издали и такие печальные вблизи. В красоте Волги

есть что-то ленивое и недосказанное, чувствуется какая-то скрытая сила, но вместе с тем на меня эта река производила всегда немножко грустное впечатление, точно проголосная русская песня; именно – красавица Волга разливается по русским равнинам, как проголосная песня, – более удачного сравнения не умею подобрать. По правому гористому берегу лепились городские домишки со своими яблоневыми садиками, а ближе к нашему саду вставали каменные хоромины, стеснявшие старинную красную церковь с пузатым куполом и почерневшими крестами. Такая же церковь стояла под горой, у самых пристаней, где вечно шла рабочая суета и люди ползли в гору и с горы, как муравьи.

Собственно говоря, я вижу отчетливо именно теперь эту картину Волги, повитую радужною дымкой и расцвеченную розовыми огоньками заката, переливавшимися в воде живой дрожью, а тогда я больше смотрел на гулявшую публику, т. е. на женщин. Вот ходят по липовой аллее две сестры Хвостинския, черноглазые и румяные – это из бедных помещиц, проживавших в городе последние кро-

хи; вот курносая штабс-капитанша Черепанова, за которою всегда тянется хвост провинциальных кавалеров; вот дочь исправника, сентиментальная голубая девица, вот шустрая поповна, там чиновничьи дочери, купеческие – много их, и многие из них мне нравились. Что же, все славные девушки, и я зимой танцевал с ними до упаду. Некоторые, побойчее, смело заглядывали в нашу сторону и чуть-чуть улыбались, отвечая на мои поклоны, хотя бедный дядя принимал эти улыбки по своему адресу и совсем закрыл свой косой глаз для большего эффекта. Э! черт возьми, хорошо в двадцать шесть лет, когда весело от всяких пустяков...

– Ты разве с ней знаком? – шепотом спрашивал меня дядя, указывая прямым глазом на проходившую мимо нас дочь откупщика Быкова.

– Да... немножко...

– Э, да ты плутишка, как я вижу! Хе-хе... Недурна штучка!.. Я люблю белокурых, у них такая нежная кожа... Черт возьми, не будь я женат, я не дал бы спуска этой крошке. Ведь у ней миллион, плутишка... Пойми и не зевай.

Миллион!..

– Говорят...

– Это верно, как в аптеке. Смотри, ухаживай за ней посильнее – смелость города берет. А это кто с ней шел, ну... молодой человек в цилиндре?..

– Это мой хороший друг, доктор Клейст... Он недавно только сюда приехать.

– Ага... Послушай, Платон: ты глуп. Извини за откровенность, но старик-дядя желает тебе добра. Ты, Платон, дурак... Будь я на твоем месте, клянусь тебе всем святым, я на выстрел не подпустил бы к ней не только своего друга, доктора Клейста, но родного отца.

Эта петушиная храбрость дяди меня рассмешила, но я ничего не ответил расходившемуся старику.

– А вот доктор Клейст умнее тебя, – не унимался дядя, залпом выпивая стакан вина. – Да, он далеко пойдет. Доктор не теряет напрасно времени, и голову отдаю на отсечение, что он у тебя под носом женится на этой барышне Быковой.

– Что же, пусть женится, – я буду у него на свадьбе шафером.

– Дурак!..

– Да ведь вы сами же говорите, что у Быковой миллион, а у меня ничего нет – какая же это пара?..

– Вздор... Если у человека ничего нет, значит, и нужно отыскать такую дуру, у которой много. Притом, эта Быкова совсем не дурна... наконец у такой молоденькой девушки и такой роскошный бюст, – о, это много обещает! Поверь, я знаю толк в женщинах...

Барышня Быкова опять проходила мимо нашей беседки, и я толкнул дядю локтем, чтоб он замолчал. Доктор Клейст, действительно, вел серьезную атаку и выступал перед своею дамой как-то петушком, а она улыбалась и чертила по песчаной дорожке своим свернутым зонтиком. Признаться сказать, это глупое ухаживанье меня задело за живое, да и слова дяди, против желания, произвели свое впечатление. Вы, конечно, знаете то особенное самолюбие, когда подходишь к женщине и знаешь, что она видит только одного тебя, а остальные мужчины больше не существуют для нее... Да, черт возьми, Платон Казарин имел успех у женщин и теперь распла-

чивается за эту мелкую монету счастья своим одиночеством.

Через пять минут я уже был около m-lle Быковой и чувствовал, как ее маленькая ручка крепко пожимает мою, а в серых, немного детских глазах плавают те искорки, которые красноречивее целой ученой библиотеки. Доктор Клейст был уничтожен и жалко плелся в хвосте, а дядя сидел в своей беседке и хихикал самым торжествующим образом.

– Отчего это вас так давно не видно?.. – спрашивала меня m-lle Быкова, делая задумчивое лицо.

– Много было занятий, Агния Ефимовна...

На ней было широкое шелковое платье и кринолин, как тогда носили. Теперь смешно смотреть на эти моды, когда дамы походили на капустные вилки́, поставленные кочном вверх, но всякая мода хороша для своего времени, и мне нравилось платье моей дамы, и надвинутая на уши широкая, загнутая чепчиком, соломенная шляпа, и пестрый зонтик с шелковою бахромой, и серьги в ушах.

– Иди, я тебя поцелую, плутишка, – говорил мне дядя, когда я вернулся в беседку, про-

водив m-lle Быкову до ее экипажа. – А твой друг, Клейст, в каких дураках остался... Ха-ха!.. Нет, я не желал бы быть на его месте.

III

Молодость глупа, глупа тою счастливой молодой глупостью, которая скрывает пред ней все прорехи, дыры и живые нитки нашей жизни.

Наступила зима. Волга замерзла под толстым слоем сковавшего ее льда. Наш город совсем был занесен снегом и походил на кладбище своими мертвыми пристанями, глухими улицами и домами без признаков жизни. Все приволжские города на зиму умирают, как мухи. Жизнь едва теплилась только под крышами домов, где шла какая-то усталая работа. Публика сообщалась в дрянном местном театре да в клубе, где играли больше в преферанс или в стуколку. Вообще зима самое печальное время в провинции, и я страшно скучал о столице, где теперь в полном разгаре катился зимний веселый сезон. Развернешь столичную газету и, по обрывкам отдельных известий, стараешься восстановить, как живут добрые люди на белом свете: приехала

знаменитая певица, в Дворянском Собрании ряд концертов, балы, в театрах новые пьесы, дамы разоделись по новой моде. Да, там жизнь, а здесь прозябание, но нужно уметь довольствоваться тем, что у каждого под руками.

Дом покойного откупщика Быкова стоял на главной Московской улице. В нем теперь жили всего двое – наследница миллиона Агния Ефимовна со старою теткой. Половина комнат стояла пустая. Молва говорила, что богатство старика Быкова нажито нечистым путем. Он был, кажется, гробовщиком и, как говорили, нажил деньги, раскапывая могилы богатых покойников, а потом примазался к откупу. Но это все равно, – барышня Быкова была самою богатою невестой в городе, и от женихов не было отбоя. Я бывал нередко в быковском доме, где постоянно встречался с доктором Клейстом. Этот человек, кажется, поклялся не отступать от миллиона, и меня это бесило, хотя, конечно, я не подавал никакого вида, что замечаю что-нибудь. Агния Ефимовна, как мне начинало казаться, склонялась на сторону этого ловкого немчурки.

Есть такие люди, – воплощенное ничтожество сами по себе, – которые умеют опутывать женщин с дьявольской ловкостью и берут самые лакомые куски там, где действительно умные люди остаются круглыми дураками. Доктор Клейст был именно таким человеком и плел свою паутину с настойчивостью и аккуратностью немца.

– Э, дело скверное... – говорил я самому себе. – Мой друг Клейст не любит, где плохо лежит, а эта Агния Ефимовна глупа на целых два миллиона.

Она, собственно говоря, мне не нравилась, как нравились другие женщины, несмотря на свои семнадцать лет и замечательный бюст, грезившийся моему дяде во сне. В этой девушке было что-то апатичное и скучное, какая-то преждевременная усталость. Правда, она умела улыбаться очень мило и так наивно смотрела всегда прямо в глаза; но, признаться, я больше люблю женщин, которые заставляют нас смотреть им в глаза и ловить каждое движение. Впрочем, быковский миллион мог придавить своей тяжестью кого угодно, и во всех богатых домах всегда чувствуется эта тя-

жесть денег. Еще одна маленькая особенность: у Агнии Ефимовны ее маленькие ручки всегда были холодны, как лед, даже когда она во время танцев вспыхивала ярким румянцем, как роза, а я не люблю женщин с холодными руками.

Доктор Клейст не терял дорогого времени и быстро шел к намеченной цели. Между прочим, он, преследуя везде Агнию Ефимовну, устроил один загородный пикник и подобрал веселую компанию.

«Ага! Так ты вот как! – сообразил я, получив приглашение на этот пикник. – Нам остается, следовательно, бить тебя твоим же оружием».

Я решился воспользоваться этим удовольствием по-своему, чтобы отбить доктору Клейсту охоту продолжать эту дурацкую игру в том же направлении.

Когда я приехал в день пикника к Быковым, там был новый гость, которого привел доктор.

– Мой старый друг, Илья Егорович Свищов, капитан, – рекомендовал доктор гостя тоном какого-то хозяина в доме.

– Очень приятно познакомиться... – пробормотал я, пожимая мясистую и волосатую руку капитана, и сначала не мог сообразить, что была за фантазия у доктора затащить этого хвата к Быковым.

А капитан был настоящий молодец, какие попадаются только среди моряков, – высокий, статный, с красивою черноволосой головой и веселыми темными глазами. Мне в этом молодце не нравилась бычачья красная шея и слишком большая развязность, какою щеголяют в провинции военные из дешевеньких полков. Но, во всяком случае, капитан Свищов был милый человек во всех отношениях и очень оживил нашу компанию своими морскими анекдотами. Он не спускал своих темных глаз с Агнии Ефимовны и предупреждал каждое ее движенье с завидною ловкостью, хотя я не мог смотреть без смеха, как он ходил по комнате своими вывороченными ногами, как ходят все моряки, точно они раз и навсегда замерзли на первой позиции, когда учились танцевать.

Когда мы садились в пошевни, чтобы ехать в какую-то дурацкую деревню, и когда

капитан Свищов очень ловко очутился в обществе Агнии Ефимовны, предоставив на мою долю старую тетку Агнии Ефимовны и голубую исправничью дочь, я ударил себя по лбу, потому что только тогда понял хитрую политику моего друга, доктора Клейста. Этот милый человек устраивал в лице лупоглазого капитана громоотвод моему влиянию на Агнию Ефимовну. В самом деле, штука получалась самая простая: капитан чистосердечно будет ухаживать за Агнией Ефимовной, я буду ее ревновать, и мы кончим тем, что поссоримся, а доктор Клейст в это время будет иметь совершенно достаточно свободного времени, чтобы жениться на Агнии Ефимовне. Одним словом, нам предоставлялась роль тех двух львов, которые, по рассказу барона Мюнхгаузена, дрались до того, что на песке африканской пустыни остались только два львиных хвоста: рассерженные животные съели друг друга.

– Нет, этого не будет, милый доктор Клейст, – сказал я самому себе, сидя в обществе тетки и голубой барышни, давно мечтавшей о женихе. – У меня есть один секрет.

Если бы кто со стороны посмотрел на нашу веселую компанию, катившую на пяти тройках по зимней дороге, тот никогда не угадал бы черных мыслей, которые мы везли с собой. Каюсь, мне ужасно хотелось перехитрить милого доктора, который теперь уехал в одних санях с Агнией Ефимовной и капитаном и весело махал мне издали своей бобровою шапкой, когда моя тетка вскрикивала в каждом ухабе и ухватывалась обеими костлявыми руками за мой рукав. Черт возьми, скверное положение! И я с удовольствием вышвырнул бы эту старушонку в снег.

– Не правда ли, как весело?.. – ехидно говорил доктор, когда мы приехали наконец в деревню.

– Да, недурно, доктор.

Во время пути я имел достаточно времени, чтобы обдумать план действий и сделать капитана Свищова совершенно безвредным. Пока доктор Клейст любезничал с дамами, я успел напоить капитана в лоск, так что бедняга только мычал, и обратно его положили в сани несчастной тетки, которая, сказать кстати, чуть не замерзла дорогой и потом прохво-

рала недели две.

Освободившись от капитана, я обратно ехал в одних санях с Агнией Ефимовной. Мы были с глазу на глаз; а так как бедная девушка боялась вылететь из саней, я ее крепко обнял одной рукой. Зимняя езда имеет захватывающую прелесть, особенно, когда едешь в милом обществе. Мне сегодня Агния Ефимовна нравилась, как никогда раньше, может быть, потому, что мне стоило недешево ехать обратно в одних санях именно с ней. Мы весело болтали всю дорогу. Девушка смеялась, а лицо у нее так и горело румянцем. Положительно, она была хороша.

– Вы не боитесь? – шептал я в сотый раз и все крепче прижимал ее к себе.

– Нет... – отвечала она шепотом и, как мне казалось, сама прижималась ко мне с грацией разыгравшегося котенка.

Что было дальше?.. Мне немножко совестно рассказывать, потому что старый кот Васька так хитро смотрит на меня, и в его зеленых глазах светится мысль: «Э, Платон Васильич, не стоит вспоминать... Плевать!» Но я начал и должен кончить. Зарумянившаяся щечка Аг-

нии Ефимовны была так близко ко мне, ее глаза теплились, и я чувствовал, как она порывисто дышит почти у меня на груди... Не помню, как, но я прильнул губами к этой розовой щечке, и маленькие холодные руки покорно обвили мою шею. Эта щечка была такая холодная, и я опять ее целовал, а на пути целовал лоб, глаза, розовые пухлые губки. Меня охватила минута безумия, которой я себе никогда не прощу. Девушка лежала в моих объятиях, такая покорная, ласковая, счастливая, а на глазах у ней стояли слезы первого молодого счастья, эта первая роса первого солнечного утра.

– Ты меня любишь... да?.. Ты мой?.. – шептали пухлые губки, и розовое детское лицо пряталось у меня на груди, а я опять целовал холодные щечки.

– Не правда ли, как было весело? – говорил я доктору, когда тот вытаскивал из саней замороженную тетку.

Доктор Клейст, постоянно владевший собой, притворился глухим и только наклонился в сани с головой, чтобы растолкать мертвецки-пьяного Свищова.

IV

Проснувшись на следующее утро, я почувствовал угрызения совести. Ведь я не любил этой Агнички Быковой. Целый день я рылся в своей душе и ничего не нашел в ней, что походило бы на любовь. Правда, я уважал Агнию Ефимовну, как простую, хорошую девушку без претензий, и немножко жалел за ее детство, но это не было даже тенью любви.

– Проклятый доктор Клейст: это все он виноват, – рассуждал я с логикой кругом виноватого человека. – Он устроил этот дурацкий пикник, он подсунул этого капитана, он усадил меня с теткой... Потом я выпил, кажется, лишнее, чтобы сделать капитана безвредным, и наконец, из желания разбить план доктора Клейста, я постарался уехать назад в санях Агнии Ефимовны с глазу на глаз. Быстрая езда, красивое личико, ведь я не деревянный, наконец!.. Решительно виноват во всем мой друг, доктор Клейст...

Одним словом, я провел очень скверный день, как человек, укравший очень дорогую вещь, с которою не знает даже, куда деваться. Раздумывая и так и этак, я пришел к такой

мысли: если бы Агния Ефимовна была моя родная сестра и если бы с ней поступил так же какой-нибудь молодой человек, как в данном случае поступил я, – как смотреть на такую историю?.. Этот глупый молодой человек прежде всего должен извиниться пред моей сестрой Агнией Ефимовной, а иначе я его задушу, как кошку. Теперь мне сделалось все ясно, что я сам должен был делать.

Кончив свои служебные занятия, я вечером отправился к Быковым. Тетка лежала больная, а бедная Агния Ефимовна вышла ко мне с заплаканными глазами. Каюсь, был такой момент, когда я готов был упасть пред ней на колени, но я переломил себя и только почтительно поцеловал маленькую холодную ручку, которая задрожала в моей руке, как пойманная рыбка. Черт возьми, прескверное положение, говоря между нами!..

Она молчала, но говорили эти детские заплаканные глаза, которые сверлили мое сердце до самого дна. Мы прошли в большую странную гостиную, сели рядом на диван, и я, взяв маленькую холодную ручку, заговорил:

– Агния Ефимовна, нам необходимо объяс-

ниться...

Она вся вздрогнула и как-то дико посмотрела на меня – бедняжка не ожидала такого приступа. Смелее, Платон Васильевич! Э, черт возьми, вот двадцать лет, как я часто повторяю эту сцену про себя, и который раз мое сердце болит старою болью – такие вещи не забываются. Помню это серенькое платье с оборками, этот шарфик на тоненькой шейке, эти гладко зачесанные волосы, эту застывшую позу бедной девушки – ну, да для вас это все равно.

– Весь день я обдумывал вчерашнее происшествие, – продолжал я, хотя мой глупый язык сегодня походил на замороженную вчера тетку Агнии Ефимовны, – и считаю своим долгом, как порядочный человек, открыть пред вами всю свою душу: смотрите и решайте...

Бедняжка опустила голову, и только чуть заметно дрогнула одна бровь на этом застывшем лице.

Нужно отдать полную справедливость самому себе – я ничего не скрыл от Агнии Ефимовны и рассказал ей до мельчайших подроб-

ностей все, что произошло от нашего первого знакомства и до сегодняшнего дня включительно. Может быть, я представил себя немножко в более темном свете, чем был на самом деле, по мне нужно было покаяться пред чистою душой этой девушки.

– К этой глупой истории мне остается прибавить только одно, что я не люблю вас, как мог бы любить другую женщину, – заканчивал я свою исповедь. – Я уважаю вас, но ведь этого слишком мало... Притом по моему характеру мне нужно такую женщину, которая держала бы меня в руках, а то может случиться совсем скверная история: вы слишком скромны и чисты, чтобы сократить такого зверя, как я. В семейной жизни непременно один давит другого, и я предпочитаю, чтобы меня давила жена. Кроме всего этого, вы знаете, что я бедняк, у которого, кроме головы и двух здоровых рук, решительно ничего нет. А вы богаты и даже слишком богаты для такого бедняка... Представьте себе только такую картину, что все, решительно все, начиная от моего друга, доктора Клейста, и кончая кухаркой, будут целую жизнь повторять на все ла-

ды: «О, этот Казарин ловкий человек... умел подцепить миллион и теперь катается, как сыр в масле!» Это отравило бы мне жизнь, потому что я простой, нетребовательный человек и совсем не гонюсь за чужими деньгами. Но все это, что я говорю сейчас вам, плохое оправдание для меня... да, я это чувствую и не оправдываюсь. Подумайте, обсудите хладнокровно все, что я только высказал вам, и решайте... Может быть, я первый приду к вам с повинною, но сейчас я не могу обманывать ни вас ни себя.

Бедняжка молчала, и только одна большая слеза прокатилась у нее по лицу. Прошло много лет, когда я объяснил себе значение этого молчания – она меня не понимала... Да, она ничего не поняла из моих слов, как я не понимал ее молчания, потому что слишком ясно и хорошо чувствовал то, что говорил. Это часто повторяется в жизни: мы в другом видим прежде всего самих себя и меряем всех на эту фальшивую мерку.

Наступила тяжелая пауза...

– Теперь все?.. – тихо спросила Агния Ефимовна, не поднимая глаз.

– Да, все... Могу прибавить разве еще только то, что я мог бы любить вас, как брат, как друг...

– О, нет, благодарю вас!.. – с живостью отозвалась она и отодвинулась от меня. – Вы, действительно, честный и хороший человек... прощайте!..

Мне показалось, что последнюю фразу сказала совсем другая женщина, особенно когда Агния Ефимовна вдруг вскинула на меня свои потемневшие глаза. Последними словами она придавила меня, как тяжелым камнем, что я понял опять после, когда уже было поздно. Но не будем забегать вперед.

– Прощайте... – повторила она, поднимаясь с места.

– Вы меня гоните?..

– Нет... Но вы сами отлично понимаете, что нам лучше всего больше не встречаться.

– Пожалуй, да...

Она поклонилась мне издали и торопливыми короткими шажками выбежала из гостиной, оставив вашего покорного слугу в самом дурацком положении. Да, я был глуп, но не просто глуп, как счастливое большинство,

а очень глуп...

Помню, как я выходил в последний раз на подъезд старого быковского дома. По моим наблюдениям, в самых крупных событиях нашей жизни память обыкновенно удерживает разные мелочи и пустяки, которые в нашей душе потом точно спаиваются с самой сутью событий. Когда я выходил на подъезд, швейцар что-то ел и, завидев меня, подавился. Это вышло очень смешно, – старик покраснел, на глазах у него были слезы, и он как-то конфузливо спрятал за спину полученный двугривенный. Я как сейчас вижу этого старика, который, в громком звании швейцара, исправлял в быковском доме собственною особой должность сторожа и часто выходил на звонок в одной рубахе. День был зимний, но такой светлый и яркий. К крыльцу в разбитых санишках подкатил дрянной извозчик.

– Барин, пожалуйте...

Подавившийся корочкой старик-швейцар не выходил у меня из головы до самого дома, и как-то странно: я не могу припомнить Агнии Ефимовны, чтобы не вспомнить этого старика. А время идет быстро. Зима смени-

лась весной. Я, конечно, не бывал у Быковых и получал известия об Агнии Ефимовне только чрез доктора Клейста, который иногда завертывал ко мне по старой памяти. Немчик догадывался, что между нами что-то произошло, и терялся в предположениях. Он пробовал вызывать меня разными путями на откровенность, но безуспешно. Я знал, что у Быковых бывает часто капитан Свищов, и что доктор Клейст вылечил тетку, которая теперь ему покровительствовала всеми зависящими средствами. Иногда доктор являлся ко мне в очень игривом настроении духа и рассказывал последние городские сплетни, которые известны одним врачам.

Как-то после Пасхи мой друг, доктор Клейст, заехал ко мне в самом игривом расположении духа и, не снимая шляпы, проговорил:

– Я тебя, Платон Васильич, всегда считал своим лучшим другом.

– Несомненно.

– Да... Поэтому я пришел поделиться с тобой своим горем. Капитан Свищов, которого я ввел в дом Быковых, которого я рекомендо-

вал, которого… одним словом, он женится на Агнии Ефимовне! Ты мне друг, единственный друг, и скажи по совести: честно или нет поступил со мной капитан Свищов?..

Я, как умел, утешал беднягу, и доктор даже прослезился.

Вечером ко мне ворвался мой милый дядюшка – на нем лица не было, а косой глаз как-то страшно бегал из стороны в сторону, точно хотел выпрыгнуть.

– Ты дурак, Платошка… круглый дурак!.. – кричал на меня Павел Семенович, делая трагический жест рукой. – Выпустил из-под носу миллион… да, миллион!.. Ха-ха… Я с удовольствием отколотил бы тебя, Платошка. Миллион… а?.. Ведь я отказываюсь от тебя: ты мне больше не племянник… Слышишь?.. У меня нет больше племянника… Эта барышня выходит за капитана Свищова.

– Я уж слышал, дядюшка.

– А, ты слышал?.. Ну, тебе же хуже, если ты даже не сознаёшь собственной глупости… Ты – безнадежный человек, ты – погибший человек, ты – идиот!.. Ах, да, вот что, Платон, – совсем другим тоном прибавил дядя, – нет ли

у тебя трещницы?.. Мне до завтра.

Тетка не давала бедняге ни гроша, и старик часто прибегал ко мне за грошовыми займами, без отдачи, как и в этом случае.

V

Миллионная невеста действительно вышла замуж за лупоглазого капитана Свищова, и счастливая парочка надолго сделалась темой для общих разговоров и сплетен.

Капитан был милый человек, и его вечно шаркавшие ноги частенько заносили капитанское тело в наш клуб, где он любил плотно выпить и поиграть. Я часто встречался с ним то в буфете, то за карточным столом, и мы ничего не имели друг против друга. Вообще, капитан, несмотря на свою женитьбу на богатой невесте, пользовался общими симпатиями, как душа-человек. Некоторым казалось странным только то, что он ездил в клуб постоянно один, – вернее сказать, в обществе доктора Клейста, который сделался своим человеком в старом быковском доме.

– Жена любит сидеть дома, как наседка, – развязно объяснял иногда капитан, когда его спрашивали. – Никак не могу вытащить, а

мое правило – силой милому не быть...

В городе чету Свищовых считали примерной парочкой и постоянно указывали на них, когда происходила какая-нибудь семейная история.

Я не бывал у них и только раз встретил Агнию Ефимовну в клубе, что для меня было приятной неожиданностью. В первую минуту я даже не узнал ее: из застенчивой вялой девушки вышла красивая женщина. В ней было что-то совсем особенное, что бывает при таких перерождениях: ласковое, спокойное, уверенное, сильное. Мы раскланялись издали и мне еще больше понравилась эта Агния Ефимовна, потому что она держалась с такою изящною простотой, которой обыкновенно недостает захваленным красавицам.

– Ведь вы знакомы с женой? – говорил капитан, пожимая любезно мою руку. – Отчего же вы забываете нас?.. Ах, нехорошо, молодой человек!

Я поклонился. Агния Ефимовна рассеянно смотрела куда-то в другую сторону. Капитан был необыкновенно любезен и предупредителен с женой. Он ходил за ней, как за ребен-

ком: отыскивал стул, спрашивал, десять раз: не жарко ли ей, подбегал к окну, чтобы убедиться, нет ли сквозного ветра. Старушки, привозившие в клуб своих дочерей и родственниц, были в восторге от счастливой парочки. Доктор Клейст вертелся тут же и, как собака, ловил каждое движение счастливой молодой женщины.

Полное равнодушие к моей особе несколько задело меня за живое, и я все время наблюдал молодых счастливцев. Раза два мы встречались глазами с Агнией Ефимовной, но она с прежним равнодушием переводила глаза на что-нибудь другое.

– Она влюблена в мужа, как кошка! – шептал мне доктор Клейст. – Э, батенька, дело прошлое, а ведь ты был немножко того...

– Чего?..

– Перестань притворяться... Говоря между нами, ты сильно ухаживал за Агнией Ефимовной, и даже можно было подумать, что ты в нее влюблен очень серьезно.

– Да... Я делал ей предложение и получил отказ.

– Ага... так. Теперь я понимаю все... ты... –

бормотал мой коварный друг и подумал: «Черт тогда меня дернул подсунуть этого капитана!»

Чужое счастье как-то мозолит нам глаза, и самые добрые люди радуются, как дети, когда откроют в этом счастье первую трещину. Так было и с четой Свищовых. Первым и невольным сыщиком сделался я, невольным в том смысле, что я не давал себе отчета – почему меня так интересует эта парочка, тем более, что у меня недостатка в своих собственных делах не чувствовалось. Тут же в клубе у меня было назначено свидание одной… Но прежде всего нужно быть скромным: молчание! Э… все равно… плевать…

После какой-то кадрили капитан оставил жену на несколько минут, и я воспользовался этим, чтобы подойти к ней. Присутствие капитана как-то меня стесняло.

– Позволяю себе, Агния Ефимовна, поздравить вас с тем счастьем, которому все завидуют, – заговорил я.

– Да, я очень счастлива… – ответила она с гордостью (да, у ней была уже своя гордость). – А вы по-прежнему пользуетесь успе-

хом?..

– Ничего... На свои занятия я не могу пожаловаться.

– Нет, не то: я говорю о женщинах...

Она чуть заметно улыбнулась, и я, польщенный этим замечанием, совсем не почувствовал тоненькой булавки, скрытой в нем. Черт возьми, как иногда люди бывают непростительно глупы!.. Но в этот момент я заслышал знакомое шарканье капитанских ног, и наш разговор оборвался на пустых клубных фразах. Все-таки Агния Ефимовна заинтересовала меня, и, когда я вернулся из клуба домой, мысль о ней вертелась в моей голове, как болтается пробка в пустой бутылке, а чрез несколько дней я отправился в старый быковский дом и здесь окончательно убедился в несомненном семейном счастии. Агния Ефимовна была спокойна по-прежнему, а капитан был любезен к ней, как влюбленный кот. Это было уже немножко приторное счастие, от которого непривычного человека даже тошнит. Но это не мешало мне бывать у Свищовых все чаще и чаще. Я просто отдыхал душой в этом мирном уголке и, гово-

ря между нами, иногда завидовал.

Мой милый дядюшка Павел Семенович после обеда всегда был пьян. Это ему позволялось, потому что сейчас из-за стола он должен был идти спать. Тетка шутить не любила и, в случае сопротивления, собственноручно снимала с него сапоги. В одну из таких печальных минут домашнего ареста старик прибежал в одних носках в мою комнату, рассчитывая, вероятно, что я ушел гулять, а он может воспользоваться моими сапогами. Но я почему-то остался дома, и дядюшке ничего не оставалось, как притвориться, что он зашел ко мне просто поболтать.

– Говоря между нами, племяш, твоя тетка большая дура, – заговорил старик, весело подмигивая. – Да-а... Это и есть семейное счастие... да. Хе-хе...

– Отчего ты, дядя, без сапог?.. Еще простудишься...

– А у меня мозоли... Да, мозоли, черт возьми, скверная штука. Хе-хе... Счастливая парочка... тьфу!.. Знаем, что знаем... А я капитана одобряю – так и следует... Мужчина должен быть прежде всего мужчиной и держать

бабу в кулаке... Знаем мы эти счастливые парочки. Все шито и крыто, и мы знаем... Счастливая-то женщина из синяков не выходит, а при посторонних улыбочка... стулик подставит... Ха-ха!.. Нет, капитан этот молодец... одобряю... Главное, умеет бить по такому месту ударом, что никому не видно... Небось, не звякнет по рылу, или синяк не посадит на самое то есть видное место. Вот как, братец ты мой, добрые люди миллионы из жен вышибают... Это, брат, тоже музыка!.. А если при людях, так он будто ее обнимает, а сам щипнет в больное место или булавку всадит...

– Ты, дядя, прилег бы уснуть? – предложил я.

– А ты думаешь, я вру?

– Я ничего не понимаю...

– Притворяйся, а мы знаем... Конечно, ты дурак, Платошка, что не женился на Агнии Ефимовне; ну, да тебе бы и не взять из нее ничего. Хе-хе...

– Да откуда вы можете это знать?.. Так болтают...

– Мы-то знаем...

Дядя припер двери, огляделся и, подмиг-

нув, заговорил:

– У Свищовых горничная есть… Только, пожалуйста, между нами, потому что твоя тетка дура набитая. Ну, у меня мозоли… Что же из этого?.. У каждого человека могут быть мозоли… Да, так есть горничная. Сашей зовут… Этакий шельмец девочка, и шустрая. Хе-хе… Она приезжает в номера… ну, и рассказывает мне. Этот капитан настоящий зверь, а Агния-то Ефимовна дрожит только пред ним… Он ее селедкой кормит и до тех пор воды не дает, пока она ему; тысчонок десяток из ручки в ручку не положит. Сейчас поцелуи… «Милая моя, хорошая». А прокутил денежки – опять Агничка должна селедку кушать, а то капитан ее мучить примется… Вот оно как… А при чужих улыбочка, и стулик, и «не жарко ли тебе, душечка»… Саша-то все рассказывает, потому – ей плевать! Если бы у меня не мозоли, да я… Ты еще меня не знаешь, Платон!..

Конечно, я не поверил этой пьяной болтовне, тем более, что дядя был записной сплетник. Однако в мою душу закралось сомнение, и я часто начал задумываться о бедной Агнии Ефимовне. А если все это – правда? Вся кровь

бросалась мне в голову, и я сжимал кулаки. Пусть Агния Ефимовна скажет мне одно, только одно слово, и капитан полетит в первое окно турманом. Я чувствовал себя виноватым перед ней, и мне делалось гадко, когда я вспомнил шарканье капитанских ног.

К моему счастью, болтовня дяди так и осталась одной болтовней. Я бывал по-прежнему у Свищовых и решительно ничего не мог найти подозрительного, кроме плутовской рожицы горничной Саши, которая ходила с синими подглазицами. Дядюшка, конечно, бессовестно врал. В следующий раз он попался мне на самом месте преступления: я застал его как раз в тот момент, когда он надевал мои сапоги, чтобы улизнуть из дома.

– А... это ты... – бормотал он, торопливо снимая с себя чужое добро.

– А это вы, дядюшка?..

– Да, я хотел примерить твои сапоги... Знаешь, у меня мозоли, а сапожник-мерзавец шьет мне черт знает что: пытка ходить в них. Еще до обеда ходишь, а после обеда просто мочи нет... Вот твои сапоги точно лучше сшиты...

– В моих сапогах можно и после обеда ходить, если комната остается не запертой на ключ, и я боюсь, что они когда-нибудь уйдут без меня...

– Да, да... отличный у тебя сапожник, – притворялся дядя, что не понимает моих слов. – А знаешь, тут у одного попа есть горничная... так у этой горничной подбородок... и в самой середине этакая канальская ямочка. Советую обратить внимание... Да, а что капитан? Знаешь, кто его с ума-то сводит?.. Твой приятель, этот доктор Клейст... Он капитана в лоск спаивает и по всяким притонам таскает. Хе-хе... Не мытьем, так катаньем надо брать!

VI

Если разобрать серьезно, то человеческое сердце устроено немножко странно, чтобы не сказать больше. Я иногда задумываюсь на эту тему. В самом деле, человеку нужно прожить сорок шесть лет, чтобы додуматься, как нужно было сделать тогда-то и тогда-то, а тут еще этот вечный обманщик нашептывает вам свои глупости, и этот обманщик бьется горячей кровью в вашей собственной груди. Ре-

шительно не понимаю... Впрочем, даже это уже сказано каким-то философом, который уверял, всех, что знает только то, что ничего не знает. Я с удовольствием пожал бы руку этого великого человека. Э, все равно... плевать!..

Предыдущие размышления значат вот что: в одно прекрасное утро Платон Васильевич Казарин почувствовал, что он во-первых – свинья, во-вторых – свинья и в-третьих – свинья. Потом Платон Казарин тосковал, потом пришел к заключению, что он влюблен, и наконец отыскал причину всех причин, – именно, что влюблен в Агнию Ефимовну Свищову... Как это случилось, когда, почему, – осталось неизвестным, и мне всегда смешно читать в романах, что такой-то полюбил такую-то за голубые глаза, за чистоту души, за такие-то таланта... Вздор!.. Даже нет того, на что намекает постоянно доктор Клейст, когда, улыбаясь, говорит:

– Человек прежде всего животное...

Относительно моего друга, доктора Клейста, я не буду спорить, но, припоминая свои чувства, могу сказать, положа руку на сердце,

что доктор Клейст не только «прежде всего животное», но и после всего животное. Много людей изживают век в потемках, но кто раз увидел свет, тот его не забудет. Мне теперь смешно вспомнить те мысли, которые меня занимали до рокового момента. Как все молодые люди, я смотрел на женщин очень просто и очень определенно. Тут не было никаких сомнений, а действительность только подтверждала эту дешевенькую мудрость. Я вижу целый ряд красивых женских лиц... вижу эти взгляды, которые зажигают кровь, вижу эту интригующую своей таинственностью обстановку разных приключений, а в результате одно: все женщины повторяют друг друга, как и мы, мужчины; красота этих женщин исчезает сейчас же, как только прикоснешься к ней.

Да... Но есть другой мир, и вот в этот таинственный, необъятный мир заглянул ослепленный Платон Казарин, заглянул ослепленный, уничтоженный, сконфуженный. А в центре этого мира стояла она, Агния Ефимовна, о которой я даже не мог сказать, хороша она или дурна, красива или некрасива, а только

чувствовал, что я не могу больше жить без нее. Меня охватывала непонятная робость, когда я встречался с ней, и только потом я припоминал, что я должен был говорить и как держать себя. Да, у меня была тайна в душе, которой никто не подозревал, и я был глубоко счастлив этим одиночеством. Других женщин больше не существовало, и я мог только удивляться самому себе, что когда-то целовал холодные щечки Агнии Ефимовны и что потом объяснялся с ней. Она тогда вышла с заплаканными глазами, потом убежала от меня, потом этот подавившийся швейцар... Да, тогда стоило протянуть руку... а теперь я был счастлив уже одним тем, если мог, хотя издали, видеть ее. Да, я преследовал ее с ловкостью сыщика, а когда встречался, не знал, что говорить.

Величайшим наслаждением для меня было сидеть в той комнате, где была она, и чувствовать каждою каплей крови ее близость. А она, по-прежнему, точно не замечала меня, или в моем присутствии смотрела на мужа влюбленными глазами. Мне было смешно вспоминать глупую болтовню пьяного дяди.

К капитану я относился как-то равнодушно, точно он составлял жалкую песчинку, случайно прильнувшую к подолу ее платья. Да и что такое капитан... Она одна наполняла собой все, и у меня холодело на душе, когда наши глаза встречались. Черт возьми, Платон Казарин умел любить!..

– У тебя, брат, на чердаке того... – говорил мне мой друг, доктор Клейст, и повертывал пальцем около своего лба, – не совсем в порядке. Я позволяю себе это говорить, потому что считаю тебя своим лучшим другом...

Клейст постоянно бывал в быковском доме и обыкновенно увозил с собой капитана «по делу». Я не раз пользовался этим, чтобы забраться в заветный уголок без капитана. Горничная Саша встречала меня с плутовски-нахмуренною рожицей и точно из милости позволяла мне платить ей те три рубля, которые я приносил специально для нее. Эта особа понимала, что я в ее полном распоряжении, и иногда очень обидно меня третировала, заставляла ждать на подъезде, подавала чужую шляпу, не отвечала ее мой вопрос. Раз она даже отказалась от моей обыкновенной платы.

– Мало?.. – удивился я и сейчас же достал пять рублей.

Плутовка серьезно покачала головой и сердито проговорила:

– Не за что…

– Барыня дома?..

– Барин только что уехал…

Эта фамильярность не удивила меня, и я торопливо вбежал по парадной лестнице, предчувствуя что-то необыкновенное. В самом деле, бедная горничная – и вдруг отказалась от пяти рублей, когда получала десятки раз по три.

Занятый этими мыслями, я не заметил совсем, как прошел пустую залу, потом гостиную и наконец очутился в столовой, где еще не был прибран конченный завтрак. На тарелках валялись объедки сыра, косточки от дичи и корки хлеба, несколько бутылок стояли без пробок, потому что капитан имел обыкновение допивать до дна каждую початую бутылку. Я хотел уже вернуться, когда, взглянув на пол, совершенно остолбенел: на полу лежала в самом отчаянном виде Агния Ефимовна… Платье на ней было разорвано,

на лице виднелись следы крови… Несчастная женщина лежала со стиснутыми зубами, как мертвая. Я перенес ее в соседнюю комнату на какой-то диван, вспрыснул водой, и только тогда она открыла свои большие детские глаза.

– Боже мой, Агния Ефимовна!.. Что с вами?..

Это бледное лицо вдруг подернулось тенью, а губы искривились вынужденною улыбкой.

– Вы сами видите, что со мной… – прошептала она и опять тяжело закрыла свои глаза.

– Он… он бил вас?..

– Да… не в первый раз…

Что-то вроде стона вырвалось из ее груди, а я со слезами целовал маленькие холодные руки.

– Скажите мне одно слово, и я сейчас же задушу его, – шептал я, хватаясь за голову. – Наконец можно уехать за границу… можно обратиться к суду… Приказывайте!..

Помню, как это странное бледное лицо вдруг занялось неровным румянцем, а глаза посмотрели на меня блаженным и полным

сожаления взглядом. Агния Ефимовна тихо поднялась с дивана и, улыбаясь, совершенно твердо проговорила:

– А если я люблю его… моего мужа?..

Горничная Саша проводила меня на подъезд и, когда я инстинктивно обернулся, она закрыла лицо руками и убежала. Нет, я решительно отказываюсь понимать женщин.

VII

Я больше не видал Агнии Ефимовны, а только слышал стороной, что она была очень больна, и что потом капитан Свищов уехал за границу, откуда и не возвращался. Он вышиб из жены свой миллион и пропал с ним без вести.

Доктор Клейст один бывал в старом быковском доме. Рассказывали, что он лечил Агнию Ефимовну, которая никуда больше не показывалась. Потом и он куда-то исчез, а старый быковский дом совсем замер, и только иногда старик-швейцар выходил на подъезд погреться на солнышке.

У меня было много работы, и я с радостью хватался за всякое новое дело, чтобы забыться от сосавшей меня глухой тоски. Но часто,

по вечерам, мне делалось ужасно жутко, и я был рад даже дяде, который по-прежнему не оставлял меня своим родственным вниманием и надоедал иногда ужасно. Это было какое-то человеческое отребье, и я наблюдал это отребье изо дня в день, погружаясь с головой в мизантропию.

– А ведь доктор Клейст здесь... – объявил однажды дядя.

– Как здесь?..

– Очень просто: он и не думал никуда уезжать... хе-хе!.. Тут, брат, целая история... Бедняга этот Клейст... Вот не желал бы я быть на его месте... Я думал о нем гораздо лучше. Представь себе, он живет в быковском доме, под крылышком у Агнии Ефимовны, то есть на цепочке и под замочком.

– Ты что-нибудь врешь, дядя.

– Я?.. Ты знаешь хорошо мой взгляд на женщин и, надеюсь, поймешь меня. Дело вот в чем: Клейст лечил Агнию Ефимовну и вылечил, а она ему и говорит: «Жить мне осталось недолго, а недвижимой собственности наберется тысяч на двести; если хочешь, Клейст, получить эти двести тысяч, живи со мной до

моей смерти, а я на твое имя духовную напишу». И представь себе, твой Клейст согласился… Ха-ха!.. Она его буквально никуда из дому не выпускает, ну, Клейст и сидит в ожидании наследства. Каков молодец? Чтобы меня моя жена не смела выпустить из дому? Ты знаешь мой характер, Платон, и поэтому можешь судить, какой мазурик этот Клейст.

Через два года Агния Ефимовна умерла. Клейст, действительно, получил после нее наследство и, конечно, сейчас же улепетнул в столицу наверстывать потерянное. Я встретился с ним через пятнадцать лет в нашем клубе, где мы долго разговаривали, перебирая старых знакомых.

– Представь себе, из всех девушек, с которыми мы тогда танцевали, ни одна не устроилась счастливо, – говорил мой друг Клейст, когда мы поддерживали температуру в буфете. – Это что-нибудь значит.

– Да, это что-нибудь значит.

Вот почему мне сделалось жаль танцевавших девушек в нашем клубе, хотя я совсем не желаю навязывать своих мыслей другим: старому холостяку позволительно быть мизан-

тропом.

Недавно ко мне пришла пожилая, обрюзглая женщина с подозрительным запахом перегорелой водки – это была горничная Саша. Она была одета бедненько; я предложил ей денег, но она даже обиделась и швырнула скомканную бумажку на пол.

– Не за деньгами я пришла к вам, – сердито заговорила она.

– Что же тебе нужно?.. Ты, кажется, жила в быковском доме до самой смерти Агнии Ефимовны.

– На моих руках барыня умерла.

– Так... Может быть, ты помнишь моего дядю, он рассказывал мне...

Странная женщина покраснела и сердито плюнула.

– Что же тут рассказывать, дело известное, – перебила она меня. – Только я вам одно скажу: покойная барыня до самой смерти вас любила... Мне все равно, а она со мной все говорила... Помните, как избитую-то вы ее в столовой застали?.. Я прихожу, а она и плачет, и смеется, и меня целует. «Он меня любит... он меня любит». Ну, потом, как капи-

тан-то проклятущий уехал, я и думала, что дело наше склеивается, а вышло не то… Барыня тогда этого Клейста заперла к себе в дом. Потом, уж перед смертью, и говорит мне: «Саша, а я его и теперь люблю, Платона Васильича… только силы во мне нет… боюсь я его». С этим и умерла.

Признаться сказать, я не поверил Саше, подумал, что она все это рассказывает с самой простой целью, чтобы выманить от меня побольше денег, но она приходила еще несколько раз и наотрез отказалась взять хотя копейку.

Говоря между нами, в жизни иногда бывает такое… позвольте, как это получше сказать?.. А впрочем, не стоит… плевать.

1886

Ангелочки

I

— Ах, братец ты мой... а? – возмущался церковный сторож Сысой, хлопая руками. – Это он мне назло, все назло... Ну, и вредный человек!.. Я, грит, просто шел по улице, гляжу, грит, а новый поп и едет... Ловко!.. Аким-то совсем за дурака меня считает... Так я и поверил тебе. Как же, расставляй карман шире... Ах, братец ты мой!.. А того не подумает, чья неделя-то? Разве это порядок, чтобы меня подводить? Ну и Акимка, совести в ём вот ни на эстолько...

Церковные сторожа села Клычи враждовали между собой лет пятнадцать. Вернее сказать, враждовал Сысой, отличавшийся завистливым и недоверчивым характером. Это был лысенький, небольшого роста старик с бородой, в форме мочалки, и бегающими, живыми глазами. Он вечно суетился, вечно хлопотал и вечно был чем-нибудь недоволен. Да и как быть довольным, когда человеку всю жизнь не везет... Хоть кто озлобится. Другие что ни сделают – все хорошо, а Сысою все по-

перек дороги. Всю жизнь Сысой старался устроиться получше, лез из кожи, бился, как рыба о лед, и терпел вечные неудачи. Особенно ему обидно было то, что его враг, старик Аким, человек сонный, неповоротливый и ленивый, прожил жизнь шутя, лежа на боку. И ведь глупый совсем человек, а что поделаешь, когда счастье дураку валит. В прошлом году по телушке вместе растили, – кажется, уж тут можно было сравняться, а вышло наоборот: Акимова телушка здравствует, а Сысоеву по осени волк зарезал. Теперь взять ребят: что ни ребенок у Акима, то парень, а у Сысоя девка за девкой. Положим, это было еще до церковной службы, а все-таки обидно. Но всего лучше последняя штука Акима: неделя дежурства Сысоева, Сысой ждет нового батюшку с часу на час – сколько раз на колокольню сбегал, а встретил батюшку все-таки Аким... Прикидывая в уме все последствия этого подвоха со стороны Акима, Сысой приходил в ужас. Первое дело, новый батюшка обидится... И то давеча церковный староста Онуфрий Степаныч сказал: «Ах, Сысой, Сысой, зачем ты проспал попа?» – «Какое тут проспал,

Онуфрий Степаныч... С бабами все возился: одолели с своими упокойничками. Ну, а тем временем Аким и омманул»... Второе дело, Аким теперь нос задерет вот как: не подступайся. У старого батюшки Сысой вошел в милость по-настоящему, лет десять добивался, только стал на точку, а отец Петр возьми да и умри. Изволь-ка теперь с новым устраиваться...

– Ах, братец ты мой! – повторял Сысой, хлопая руками. – Акимка-то успел, поди, всячины наговорить на меня... Он на это мастер.

Новый батюшка приехал поздно вечером, и Сысой узнал об этом только утром, когда пришел церковный староста. Сысой сейчас же побежал в поповский дом, а Аким уж там.

– Пока что, наказал батюшка состоять при ём, – мрачно объяснил он.

– Так, так... – уныло согласился Сысой. – Ловко ты, Аким, меня околпачил. В самый раз подвел...

Аким только отвернулся: он не любил вздорить.

– Спит поп-то?

– Известно, спит с дороги...

– Молодой?

– Молодой-то молодой, а вот попадья совсем неправильная: стриженая попадья-то.

– Но-о?

– Да еще в очках…

– Ну-у?

Дело выходило совсем неладное. Сысой побежал к дьякону и сообщил ему о коварстве Акима и неправильной попадье.

– Что же, бывает… – уклончиво ответил дьякон, человек осторожный и большой сутяга: он вечно судился в духовной консистории. – Да, бывает…

– Десятый час на дворе, а новый-то поп все еще спит…

– Он городской, а городские подолгу спят…

– А бабы уже пронюхали, что поп приехал, и постащили своих упокойничков. Дожидаются… Время-то жаркое, дух идет…

Действительно, в церкви уже стояли пять маленьких гробиков, а на паперти сбились в одну кучу десятка полтора женщин. У всех лица были истомленные, в глазах тупая покорность, разбитые движения, – эта кучка походила на стадо овец, загнанных летним зно-

ем куда-нибудь в тень. Преобладали старушечьи лица, да и молодые бабы походили на старух, столько в них было заботы, нужды, своего бабьего горя. А горячий летний день уже так и пылал солнечным зноем… С паперти виднелась заречная сторона Клычей, теперь совсем пустая, потому что весь народ был в поле, – стояла самая горячая, страдная пора. Бабы точно забыли про своих упокойничков и с тоской смотрели на уходившую к горизонту полосу созревших нив. Все бабьи мысли были теперь там, где шла горячая, страдная работа… Бог послал урожай, погода стояла отличная, и все деревенские мысли были в поле.

– Что же это батюшка-то нейдет? – раздавался бабий шепот. – Отпустил бы душеньку.

По бабьему наущению Сысой уже пять раз бегал в дом священника и возвращался ни с чем: спит.

– А ты бы его разбудил, Сысоюшка. Время-то какое, родной! Ведь горит наша-то работа…

Сысой только разводил руками.

– Пусть Аким будите, он его встрел. Без вас

тошно.

Бабы даже подкупали Сысоя, давая ему пятак, но Сысой устоял и перед этим искушением: разбуди нового попа, а он вконец рассердится. Не обрадуешься вашему бабьему пятаку...

Только в одиннадцатом часу показался новый батюшка. Он торопливо шел в церковь в сопровождении псаломщика Павла Ивановича. Это был еще молодой человек с умным, энергичным лицом. Новенькая камлотовая ряска, видимо, его стесняла, – он еще не научился ходить в ней, и длинные полы рясы заплетали ему ноги.

– Что же вы меня не разбудили? – говорил он псаломщику. – Народ ждет, а я ничего не знаю...

Павел Иванович, забитый и смирный человечек, зашибавшийся иногда водкой, вместо ответа снимал свою заношенную шляпу и что-то такое бормотал, чего нельзя было разобрать.

– Оно конечно... Страда... в поле... Сысой прибегал пять раз...

Священник только пожал плечами, отча-

явшись получить какой-нибудь разумный ответ. Псаломщик еще больше конфузился и вспотел до того, точно его только что вытащили из воды. Из вежливости бедняга не смел даже вытереть катившегося по лицу пота. Затем со страха у него всегда начиналось урчание в животе. А боялся он всего: и церковного старосты, и сельского старшины, и отца-дьякона.

Сысой выскочил встречать нового батюшку за ограду и с умилением облобызал благословляющую пастырскую руку. Священник осмотрел немного прищуренными глазами церковь и остался доволен. Церковь была каменная и большая. Староста встретил в самой церкви, степенно принял благословение и спокойно проговорил с тонким мужицким укором:

– А мы таки-заждались вас, отец Николай… Бабы так и рвутся в поле, потому как страда.

– Я же ничего не знал…

– Конечно, где же знать… в городу-то поздно встают, а свой-то деревенский хлеб поднимается чуть свет.

Отец Николай прошел прямо в алтарь,

унося с собой неприятное чувство. Хитрый мужик староста хотел с первого раза взять верх, воспользовавшись его неопытностью. Потом ему было неприятно, что его пастырская деятельность начинается прямо с похорон.

– Уж вы их вместе отпойте, батюшка, – учил староста, зажигая свечи. – Младенчики, ангельские душки...

Начался грустный обряд. Послышались бабьи всхлипыванья, тяжелые вздохи, тяжелые поклоны. Земная печаль перевешивала святые слова утешения.

– Господи, упокой младенцев... – голосил Павел Иванович каким-то раздражающе-скрипучим голосом, так что за него хотелось откашляться.

Староста подпевал сладковатым «пшеничным» тенорком и умиленно вздыхал.

Откуда-то появились ветхие, древние старички, две нищих-побирушки, а впереди всех, у самого амвона, стоял дурачок Гриша, крестившийся левой рукой. Новый священник служил по-своему, не торопясь, и задерживал голосившего псаломщика. Из пяти от-

крытых гробиков глядели восковые детские личики. Смерть пощадила светлую детскую красоту, и отцу Николаю казалось, что вот-вот откроются светлые детские глазки и с немым укором посмотрят кругом. Именно с укором, потому что порвалась только что начинавшаяся жизнь... Он с особенным чувством благословил в последний раз своих духовных чад и остановился в недоумении, – неужели все кончено?.. Началось прощание. Бабы всхлипывали, одна громко запричитала, но голос порвался на половине. Отцу Николаю почему-то показалось, что и плач и всхлипыванья притворны, и это было ему неприятно. Потом старики взяли крошечные гробики и понесли на кладбище. Провожавшие бабы ужасно торопились и даже подталкивали стариков. Они точно хотели поскорее избавиться от этих гробиков.

Отец Николай подошел к старостинской конторке и посмотрел, как Павел Иванович записал «младенцев». В графе, где обозначались причины смерти, прописана была одна и та же фраза: от животной болезни...

– Что это такое: животная болезнь? – спро-

сил отец Николай.

– А как же иначе? – вступился староста, выручая смущенного псаломщика. – Какое теперь время-то? В страду сколько ребят перемрет от живота.

II

Клычи произвели на нового батюшку невыгодное впечатление, а особенно на новую матушку.

– Неужели мы здесь будем жить? – спрашивала она мужа.

– Пока придется здесь... – уклончиво ответил он.

Матушка была в таком положении, когда от женщин стараются отогнать все неприятные мысли. Молодое симпатичное лицо получило такое хорошее тревожное выражение, точно молодая женщина боялась грядущего счастья. Это были новые люди в среде духовенства. Он кончил академию и некоторое время служил инспектором духовного училища. Она происходила из чиновничьей семьи, служила после гимназии сельской учительницей и теперь немного стеснялась своей новой роли – деревенской матушки. Вообще они

были городские люди, с городскими привычками и городскими потребностями.

Отец Николай наблюдал жену и видел, что она недовольна, прежде всего, квартирой, хотя прямо и не высказывала этого. Он так любил жену и понимал ее по выражению лица. Квартира, действительно, заставляла желать многого. Дом был старый и требовал ремонта. Внутри все было так грязно и оборвано. Отцу Николаю было обидно, что никто и ничего не сделал к его приезду. Хоть тот же церковный староста, кажется, мог бы позаботиться. Его предшественник, священник, был человек старый больной, обремененный большою семьей, и жил очень бедно.

– Понемножку устроимся, – успокаивал жену отец Николай. – Выбелим потолки, стены оклеим обоями, мебель... Вот относительно мебели уж не знаю, как мы сделаемся. Придется выписывать из города и эту дрянь выбросить.

Не желая напрасно тревожить жену, отец Николай не говорил главного, именно о тех деревенских людях, с которыми ему пришлось встретиться с первого раза. Больше

всего не понравился ему отец-дьякон. Это был тип озлобленного консисторского ябедника. Церковный староста видимо его побаивался и держал его руку. К нему они отнеслись, как к ничего не понимающему городскому человеку, и по-своему третировали его. Все это были, конечно, мелочи, но из мелочей складывается вся жизнь. Оставались еще псаломщик Павел Иванович, какой-то запуганный идиот, учительница, сторонившаяся нового батюшки, и сельские власти в лице старшины и старосты. Последний тоже в счет не шел: он просто отбывал свою «обязанность», как тяжелую повинность или неизбежную болезнь, а старшина, молодой мужик, принадлежал к типу деревенских дипломатов, говорил с заискивающей слащавостью и тоже дружил с отцом-дьяконом. Вообще картина была незавидная и обещала в будущем много мелких неприятностей.

В довершение всего заявился Сысой и начал подводить свою политику. Начал он издалека, именно с покойного батюшки, который так ему доверял, так доверял.

– Бывало, так и говорит: только тебе и ве-

рю, Сысой, потому как ты прямой человек... Дьякон-то у нас заодно со старостой и, прямо сказать, съели старика. Наезжал благочинный два раза следствие наводить. Вот они какие... И Аким тоже хорош...

– Какой Аким?

– А сторож, который тебя встрел... Это он мне назло, ваше благословение, потому как неделя была моя. Староста проходу теперь не дает: «Проспал попа, Сысой!». А я завсегда старался, и то есть вот как старался.

Слушая сплетничавшего Сысоя, отец Николай с горечью думал о положении сельского священника, над которым не ломается только ленивый: и консистория, и богатый мужик, и всякая другая власть, и тут еще горькая зависимость от своих духовных чад, в виде тех грошей и сборов натурой, которые приходится делать сельскому попу. Во время своей службы в духовном училище отец Николай встречался с немецким пастором и польским ксендзом. Какую выгодную позицию они занимают и каким уважением пользуются, а все оттого, что не должны ходить с ручкой по своим прихожанам и вымогать натурой. По-

лучают определенное жалованье, как все другие чиновники, и больше ничего. Они и детям могут дать лучшее образование уже в силу своего лучшего материального положения. В деревню отец Николай поступал на время, как молодой священник, а потом рассчитывал вернуться в город, что ему было обещано владыкой, Действительность сразу разочаровала его книжные представления о деревне. Сам он сохранил о ней только смутные воспоминания, потому что десяти лет уже поступил в лоно almae matris бурсы и затем не бывал в деревне. Настоящий опыт имел значение для будущего, когда отец Николай надеялся занять место в городе.

– Отчего у вас так много умирает детей? – спрашивал отец Николай, прерывая кляузы Сысоя.

– Как это много? – искренно удивился Сысой. – Урожай ноне…

– При чем тут урожай?..

– А то как же?.. Матки в поле, а ребята в деревне со старухами да с нянькими. Ну, анделочки и выходят…

– Какие анделочки?..

– А вот хоронили-то… Безвинные душеньки совсем, ну и вышли анделочки, это уж счастье которой бабе Бог пошлет и анделочка возьмет…

– В чем же тут счастье?

– Первое дело, такой анделочек молиться будет за отца с матерью – раз… А второе, напримерно, та же самая мать ослобоняется, работать будет наряду с другими протчими. Тяготу Господь с нее снимает, значит, с бабы… Это уж на счастливую, а другие маются-маются, без конца просто.

Отец Николай отвернулся к окну, слушая эту приводившую его в ужас философию. Вот отчего так ждали тогда его бабы, вот отчего они так торопливо уносили своих «анделочков» на кладбище, вот отчего ему показались неискренними их слезы и причитанья… Что же это такое?.. Даже урожай и тот повышает детскую смертность… Маленькие жертвы гибнут сотнями, и их стонов и голодного крика никто не слышит, кроме выживших из ума старух и «нянек», шести- и семилетних девочек. Отец Николай чувствовал себя в неловком положении даже относительно Сысоя,

смотревшего на него с сожалением, как на человека, который не понимает даже того, что такое «анделочки». Прежний батюшка отлично это понимал, а этот еще совсем несмысленный.

– Ты еще все здесь, Сысой? – удивился отец Николай, точно просыпаясь от нахлынувших на него мыслей.

Сысой переминался с ноги на ногу и не уходил.

– Ты уж, батюшка, тово… не серчай…

– За что?

– А не встред я тебя тогда. Это Аким назло мне сделал.

– Хорошо, хорошо. Я не сержусь. Ступай…

А каждый новый день приносил новых «анделочков». Отец Николай с утра начинал испытывать какое-то гнетущее беспокойство я считал, глядя из окна, сколько пронесут маленьких гробиков. Несли их женщины, сами матери, торопливо и озабоченно. Отцу Николаю делалось как-то совестно, точно он в чем-то был виноват. Бедные «анделочки»… Потом он стал обходить свою паству из двора во двор и на месте познакомился с причинами

этого ужасного факта. Грудные дети оставались на попечении самых древних старух и маленьких девочек. Их кормили ржаным жеваным хлебом, давали сосать грязные соски, набитые этим же хлебом, и пичкали разною другой дрянью. Даже коровье молоко являлось здесь недоступною роскошью, а молоко матерей, истомившихся на работе и приходивших кормить детей грудью только поздно вечером, являлось отравой. Чем-то безвыходным и обидно-бессмысленным веяло от всего. Мысль об этих «ангелочках» неотступно преследовала отца Николая, и он даже видел их во сне. Ведь их погибают тысячи, десятки тысяч ежегодно... Это целая армия маленьких страдальцев и мучеников, а за ними стоит такая же армия отупевших от горя матерей. И так из года в год. Садясь обедать, отец Николай думал, что он ест чей-то чужой хлеб. Ему теперь казалось непозволительною роскошью то платье, которое он носил, обстановка, которую он считал скверной. Он проверил всю свою жизнь, свои стремления, свои желания... Боже мой, как все это было ничтожно и жалко, и как он, книжный человек, бессовест-

но мало знал жизнь родного народа, жизнь тех безвестных миллионов, которые незримо творили русскую историю.

По вечерам в поповском доме шли такие тихие, хорошие беседы. Матушка сидела за работой, – она готовила детское приданое. Отец Николай ходил по комнате и говорил:

– Знаешь, Наташа, мне кажется, что я нехороший человек... Я проверил себя, всю свою жизнь, мысли, с которыми ехал сюда, и мне делается совестно за себя. Ведь я стремился к комфорту, к удобствам и думал, что совершенно достаточно, если буду добросовестно исполнять свою обязанность. Нет, этого мало... Я завидовал немецким пасторам, получающим чиновничье жалованье, католическим ксендзам, а сейчас... сейчас я понимаю отлично одно, именно, что русский священник должен, прежде всего, дать обет бедности. Насколько этот простой русский деревенский поп стоит выше этих сытых патеров и чопорных пасторов, – ведь он делит и горе и бедность родного народа. Это – великая миссия, и стоит для этого жить... Я и хочу быть таким деревенским попом. В город я не поеду... Мое

место здесь. Разве тут справедливо думать о себе, когда у тебя на глазах мрут сотни детей буквально от голода. Помочь им, утешить несчастных матерей, войти в жизнь народа деятельным началом – вот задача, для которой стоит и следует жить.

Матушка все это отлично понимала, кроме одного, – ее пугала мысль остаться навсегда в деревенской глуши. Сказывалась городская женщина. Отец Николай это сознавал и постепенно подготовлял жену.

– Все это пустяки, Наташа... Понемногу привыкнешь, а там будет дел по горло. Не придется скучать... А мы-то будем устраивать ясли для грудных детей – сколько хорошей заботы и труда. Ведь у нас будет свой ребенок, и мы это будем делать для него. Я хочу, чтобы он рос не в городе, а в деревне, и чтобы он видел ту страшную историческую нужду, которой впоследствии должен будет служить. Понимаешь, какое это счастье, и другого нет. Во имя нашего будущего ребенка будем спасать этих несчастных ангелочков, а средства я найду.

Молодая женщина слушала и чувствовала

себя глубоко счастливой. Ей тоже делалось совестно за свой городской эгоизм и тяготение к показной роскоши. Нет, они останутся в деревне и вместе понесут не иго, а счастье. Это та простая обязанность, которую должно исполнить.

1891

Черное слово

I

Царскосельский вокзал имел особенно оживленный вид в этот майский день. Масса публики с радостно озабоченным видом сновала по платформе. Все это были счастливцы, ехавшие на дачи, вернее сказать – бежавшие от городской пыли и духоты. Это оживление чувствовалось даже в зале третьего класса, где набилась публика среднего разбора – лакеи, кучера, горничные, дачные дворники, рабочие и дачники из небогатых.

Лично я имею какое-то предубеждение против второго масса, где набирается всегда такая чопорно-скучная публика. Все оглядывают друг друга с подозрительностью коренных петербуржцев, принимают уныло-деловой вид и непременно стараются чем-то казаться. Всю дорогу никто не промолвит слова с соседом, точно боится потерять драгоценнейшую часть собственного достоинства. Вообще скучно, и я предпочитаю третий класс, где серая публика так наивно знакомится в

течение получаса, и вы чувствуете, что едете с живыми людьми, а не с манекенами. Впрочем, это мое личное впечатление – не больше.

Беру билет третьего класса, отыскиваю вагон для курящих и усаживаюсь на скамью к окну. До отхода остается всего минут десять, и публика начинает ажитироваться, как на пожаре. Главною причиной этой ажитации являются узлы, картонки, коробки и дети, – нужно все это пристроить, а поезд не ждет. Другие волнуются просто так, потому что все другие куда-то торопятся, бегут, проталкиваются и проявляют специальную энергию путешествующих людей. Наш вагон наполняется довольно быстро, и одним из последних вскакивает какой-то дворник в «спинджаке», сапогах бутылкой и белом фартуке. Он как-то пугливо озирается кругом, наконец отыскивает место напротив меня и бросается к нему с таким видом, точно деревянная скамейка может вспорхнуть и улететь.

– Ну, слава Богу, – говорит он, усаживаясь.

Сняв фуражку и вытерев лицо платком, дворник принимает удобную позу успокоив-

шегося за свою судьбу путешественника. Он вытягивает ноги, рассеянно смотрит в окно и достает жестяную коробку с папиросами.

– Однако здорово народу-то наперло, – говорит он, затягиваясь и отдувая дым в сторону сердитого соседа. – Уж время такое… да…

Дворник, очевидно, человек словоохотливый, и, кроме того, он заметно выпивши, т. е. выпивши прилично, как полагается старшему солидному дворнику одной из барских дач. Я рассматриваю его крепкую приземистую фигуру, добродушное русское лицо, весь дворницкий костюм и нахожу, что это типичный представитель того мужика, который приспособился «под барина» и благоденствует. В нем чувствуется что-то такое завидно уравновешенное, как у человека, который окончательно определился, нашел свое место в природе и не беспокоится о будущем. Это сказывается во всем – и в костюме, и в движениях, и в выражении глаз. Главное, нет той удручающей заботы, олицетворением которой является обыкновенный мужик. Одним словом, приспособлен человек и нашел свою точку, устойчивого равновесия. Нужно было

видеть, как посматривал дворник на остальную публику третьего класса: разве это настоящая публика, настоящие господа? Так, шахер-махеры и больше ничего.

Но это благодушное настроение сразу пропало, и дворник сорвался с места, точно по нему выстрелили. Он какими-то испуганными глазами обвел соседей, осмотрел свое место и даже ощупал свой «спинджак».

– Зонтик... Ах, Божже мой! Господа, вы не видали, как я вошел в вагон? Был при мне зонтик?..

Все молчали, и дворник еще раз посмотрел на нас, обыскал себя и с каким-то отчаянием опустил руки. Что же это такое, в самом деле?.. Публика отнеслась к нему совершенно безучастно, и только с дальней скамейки ответил невидимый бабий голос:

– Никакого зонтика у тебя не было... Так шел, с пустыми руками.

– Ну, а на вокзал как я приехал?

В глубине показалось типичное лицо дачной кухарки и объяснило уверенным тоном:

– А на вокзал-то с зонтиком приехал, я видела. Еще в третьем классе пиво пил у буфе-

та...

– Ну вот, вот, – обрадовался дворник. – Я, значит, был у кумы... Ну, маленько выпили, потому как она именинница. Ну, приехал на вокзал, зашел в класс к буфету, например...

– Да ты сбегай в класс-то, – посоветовала с участием кухарка. – Еще поспеешь... Третьего-то звонка не было.

– Ах ты, Божже мой!..

Дворник, как ошпаренный, выскочил из вагона и вернулся только после третьего звонка. Зонтика не было. Он уныло посмотрел на всех, напрасно отыскивая сочувствия, и уныло сел на свое место, махнув рукой. Дело выходило табак.

– Нет зонтика-то? – спрашивала кухарка через вагон.

– Нету... Как скрозь землю провалился, – уныло ответил удрученный горем дворник. – Шелковый зонтик-то перед Пасхой шесть цалковых дадено...

– Ах ты, грех какой вышел! – соболезновала кухарка, качая головой. – А я еще даве посмотрела на тебя, как ты к вокзалу-то на извозчике подкатил. Вижу, что из наших двор-

ников, из Царского... А зонтик точно что отличный.

– Уж такой был зонтик, что другого такого и не нажить... Ведь вот поди ж ты, какая штука вышла, а?.. Значит, присел это я к столику, ну, спросил бутылку пива... А буфетчик говорит, что никакого зонтика не видал.

– Кто-нибудь другой ухватил твой зонтик, – поддерживала разговор кухарка. – Мало ли народу!.. Другому на голодные-то зубы твой зонтик в самый раз.

– А ведь шесть цалковых дадено... Целых три года собирался купить. Ну, и штука... Да не видал ли кто, господа, как я в вагон входил?

Опять общее молчание. Дворник тряхнул головой, поправил фуражку и сердито отвернулся к окну с обиженным видом. Очевидно, он теперь сердился уже на публику, отнесшуюся к его горю с таким обидным безучастием.

II

Поезд тронулся, унося дачную публику в благословенную дачную местность, облюбованную петербургскими богатыми людьми. Кругом сейчас же запестрели огороды, тощие

поля, далекая кайма каких-то фабричных зданий, одним словом, весь незавидный ландшафт окрестностей Петербурга. Третьеклассная публика начала знакомиться; послышался веселый говор, смех, и только один дворник оставался безучастным к этому общему оживлению. Он время от времени поправлял свою фуражку, встряхивал головой и угнетенно вздыхал. Очевидно, его глодала всепоглощающая мысль об утраченном зонтике, а остального мира не существовало.

– А черт с ним и с зонтиком! – заявил он наконец, обращаясь прямо ко мне таким вызывающим тоном, точно я желал что-то оспаривать. – Наплевать… да! Не он меня нажил… да. Слава Богу, и другой купим, ежели на то пошло. Одним словом, наплевать, и все тут!

В доказательство этой мысли дворник, действительно, плюнул и вызывающе посмотрел на всех. Недавний хмель с него как рукой сняло.

– Конечно, можно всегда другой купить, – поддержал я.

– Ведь можно… а? – обрадовался он, схватившись за поданную реплику. – Да сколько

угодно, сделайте милость... мы не какие-нибудь, чтобы шесть цалковых нас съели. Я, например, теперь пятнадцать рублей жалованья получаю у господ, квартира даровая, детей нет. Ну, господа, прямо сказать, отличные... Наедут летом, поживут до осени, а потом але-марш. Нет, нельзя пожаловаться, жисть правильная, прямо сказать – хорошая жизнь. Господа Бога надо благодарить... Ничем не обижен, все есть, на черный день скоплено малую толику, пятьсот рублей в кассе лежит, – ну, какого мне рожна еще нужно? А тут зонтик... Наплевать!..

Видимо, дворник подбадривать себя, отгоняя какую-то неприятную мысль, неразрывно связанную с пропавшим зонтиком.

– Конечно, царскосельского дворника нельзя применить к питерскому, – продолжал он. – В Питере-то только и береги затылок, значит, дворник, а у нас вольготнее невпример. Только и знаем одно лето, когда господа наезжают, а зимой только и работы, что мало-мало снег убрать. Да и то кое-как, не то что в Питере, где сейчас, например, околоточный тут как... «А где дворник? Ты, та-

кой-сякой!..» У нас этого ни-ни!.. Всю зиму дворники – в том роде, как которые коты по печкам лежат. Одним словом, помирать не надо. Ведь дачу без дворника нельзя оставить, ну, и живут. Господа богатые, что им значит пятнадцать цалковых дворнику платить... Разве петербургский дворник купит зонтик в шесть цалковых? Ни в жисть... А мне наплевать! Ну, был зонтик, ну, нет зонтика... Этакая невидаль, подумаешь! А возьму да новый и куплю... Да хоть сейчас. На, получай шесть цалковых... Наживем.

Пауза. Кругом одни поля, и только кой-где топорщатся жалкие, точно ощипанные кустики. Без конца тянется это чухонское болото, подернутое жидкой зеленью. Кое-где по низинам еще стоит вешняя вода. Мне уже давно примелькался этот пейзаж, и не хочется на него смотреть. Дворник, выгрузив все, что можно было высказать в собственное утешение, на время умолкает и начинает курить одну папиросу за другой. Но настоящего спокойствия все-таки нет, и он время от времени тревожно поглядывает на меня, точно ждет возражения, а потом крутит головой, пере-

двигает фуражку и вздыхает. Конечно, хорошо жить царскосельским дворником, а зонтика-то все-таки нет. Весь мир дворника сейчас вращался на этом зонтике, как магнитная стрелка на своем шпеньке.

– Средняя Рогатка! – кричит кондуктор.

Это удивительный полустанок, на котором в течение лета садятся ровно два пассажира. Между прочим, здесь проходит старый московский тракт, и именно Средняя Рогатка служила прощальным пунктом: досюда провожали из Петербурга. Невольно является мысль о тех миллионах путников, вольных и невольных, которые прошли этот путь в дожелезнодорожное время. Сколько воды утекло с тех пор, и сколько «рогаток», малых, средних и больших, упразднено навеки… Мои размышления в этом направлении прерываются новым движением дворника: он схватывает фуражку и с остервенением бросает ее на лавочку.

– Что с вами?

– Со мной-с?.. А вот это самое-с… Ка-ак это вспомню, так нож вострый.

– Опять зонтик?

– Не-ет, не то…

Он придвигается ближе ко мне и начинает говорить сдержанным речитативом, помогая своим мыслям руками и движением головы:

– Видите ли, господин, какое дело… да. Женился я совсем молодым, ну, еще у себя в деревне, и прожили мы, например, душа в душу с женой дельных двадцать два года. Как это по-вашему? Этак-то по нынешним временам уже совсем не живут, не говоря о господах, а и у нас, значит, в самой серости. Так-с? Хорошо… И как я теперь подумаю, что моя жена помрет – вот как это чижало!.. Разорвался бы, кажется. Придумать даже не могу, как это я могу только перенести…

– Разве она очень больна?

– Нет, так, просто хилая бабенка… Завсегда она такая была: все скрипит, все скрипит. И как это я подумаю, что она должна помереть, даже обидно сделается. Помилуйте, прожили душа в душу дельных двадцать два года, все у нас есть, деньжонок накопили пятьсот цалковых, и вдруг… Конечно, детей у нас не было, это точно, потому как она хилая, жена; ну, значит, я как есть один и останусь, как перст.

– Ты ее очень любишь?

– Как же возможно, господин, родную-то жену не любить? Вон чужих жен любят, а тут своя... Вот сижу я и думаю про жену, и так мне ее жаль сделалось, точно бы вот сам, вместо нее, умер.

Сделав короткую паузу, дворник прибавил уже другим тоном:

– А ведь она доведет меня сегодня до черного слова... да. Уж у ней такая зараза... Вот приеду в Царское, стану подходить к своей даче, а она уж в окошко узорит, что я без зонтика. Другая бы увидала и смолчала... Ну, уехал с зонтиком, а выворотился без зонтика, – ну, какая такая особенная беда? А эта нет... Войду это я, а она сейчас: «Где у тебя зонтик-то?» В первое слово... Я этак смолчу, укреплюсь, значит. А она во второй раз: «Ах ты, пьяница ты, такой-сякой... Нахлестался, видно, до того, что и зонтик потерял». Ну, тут я еще пуще укреплюсь и во второй раз смолчу... Другая бы и отстала: сорвала два раза, показала себя, и будет. Весьма довольно... Так нет!.. Она в третий на меня: «Какой ты такой есть человек?.. Бить тебя некому, пропащая башка»... Ну, уж тут я

не стерплю и со всего маху обругаю что ни есть самым черным словом. И что бы вы думали, господин: доведет, сама доведет меня, а как благословлю ее, она сразу как в мох упадет. Ни-ни... Не пикнет. Ну, зачем доводить человека до греха?.. Другая бы пожалела, еще успокоила, а эта по первому разу: «Где зонтик?»

Бедный дворник мучился предвкушением неприятной семейной сцены и опять бросил фуражку на лавку.

III

Поезд подходил к Царскому Селу. По мере приближения дворником овладевало прежнее беспокойство. Фуражка на его голове начала делать судорожные движения. Мысль о зонтике выступала с новой яркостью... А там впереди и жена и неизбежное, как судьба, «черное слово». Мне сделалось даже жаль беднягу. А поезд уже сбавляет ход, скрипят тормоза, мелькают первые дачи. Дворник высунулся в окно и заглядывает на платформу, которая точно плывет навстречу нам и вот-вот врежется в поезд.

– Вот и знакомый жандар стоит, – говорит

дворник. – Благоприятель… Иваном Митричем звать… Мы с ним чай вместе не одинова пивали. Обстоятельный человек…

Остановка. Публикой овладевает прежняя суматоха. Все торопятся выскочить поскорее из вагона с таким видом, точно преступники, получившие амнистию благодаря какому-нибудь «милостивому манифесту». Дворник остается на месте и выжидает. Видимо, им овладевает малодушие отдалить неприятный момент хоть на несколько мгновений. Его взгляд с особенным вниманием останавливается на пассажирах, которые проходят с зонтиками, и я уверен, что ему кажется, что все пассажиры поголовно имеют зонтики. Говорят, хромые и кривые везде видят только хромых и кривых. Наконец вагон опустел наполовину. Под окном мелькает жандармская форма. Дворник в последний раз встряхивает головой и с решимостью человека, который приготовился броситься в воду, срывается с места.

– До свидания, господин… – бросает он мне, подтягиваясь на ходу и оправляя свой дворницкий передник.

Я выхожу на площадку вагона. Дворник развязно подходит к жандарму и с напускной молодцеватостью здоровается с ним за руку.

– Ты из городу? – спрашивает жандарм.

– Из городу.

– На именины ездил?.. Ну, каково кума угощала?

– Какая там кума: зонтик потерял...

– Эк тебя угораздило!.. – возмущается жандарм.

Молодцеватость исчезает, и дворник как-то весь съеживается. Фуражка начинает опять двигаться на голове.

– Ах, братец ты мой! – журит жандарм, покачивая головой. – Нехорошо, брат. Что тебе жена-то скажет?..

В этот момент из толпы высовывается давешняя кухарка и каким-то верещащим тоном заявляет:

– Видела, своими глазами видела, как он на вокзал с зонтиком приехал... Пришел это в вагон, а зонтика и нет!..

Дворником овладевает неожиданная ярость, которая и обрушивается на ни в нем неповинную бабенку.

– А тебя спрашивают, килу? – рычит дворник. – Ах ты…

В момент, когда «черное слово» сорвалось совсем не по адресу, проходивший мимо другой жандарм молча берет дворника за шиворот и молча тащит в толпу, как узел. Дворник барахтается, что-то объясняет, но жандарм неумолим.

– Вот тебе и зонтик… – ворчит жандарм-благоприятель, передвигая свою шапку. – Не миновать мирового.

1894

Клятва Антона

I

— Барин... а барин...

– А? Что?.. – бормотал барин, зарываясь головой в подушку.

– Да они пришли, Антон Ильич... Сели в гостиной и говорят: «Не уйду, покуда своего барина не разбудишь!..» Что же я буду с ними делать?

– Какой Антон Ильич? Пожалуйста, убирайся ко всем чертям...

Будившая барина горничная сделала небольшую паузу и снова принялась повторят то же с начала, точно осенняя муха, которая с одной ноющей жалобной нотой бьется в стекло. Барин напрасно прятал свою голову, напрасно закрывал уши, напрасно угрожающе протянул руку за туфлей, защищая свое законное право выспаться, – спасенья не было.

– Они сидят в гостиной, Антон Ильич...

– А, черт возьми...

Горничная Глаша, как горничные многих старых холостяков и соломенных вдовцов, от-

личалась той мягкой настойчивостью, которая по праву принадлежит только женам. В синодике Глаши настоящий барин приходился по счету уже шестым, и она знала свое дело

– Послушайте, Глаша, это… это называется свинство… Который теперь час?

– Только семь пробило… Они, Антон Ильич, сначала по тротуару ходили, потом сидели на лавочке у ворот… А сейчас они в гостиной.

– Хорошо, я сейчас… Только, ради Бога, уходи.

Уходя, Глаша оглянулась, – барин уже сидел на кровати. Он даже погрозил ей кулаком, и Глаша успокоилась. Барин несколько раз встряхнул головой, издал неопределенный носовой звук и еще раз обругал Антона Ильича. Вот тоже черт принес ни свет ни заря…

Виновник этого переполоха сидел в гостиной, вернее – спрятался в старинном глубоком кресле. Это был совсем маленький человечек с моргавшими глазами, с каким-то испуганным лицом и короткими ножками. Он так и сидел в кресле, поджав под себя ноги и

раскачиваясь из, стороны в сторону. Измятый костюм свидетельствовал о бессонной ночи.

– Послушай, Антон, что такое случилось? – проговорил над самым его ухом заспанный голос хозяина.

Антон посмотрел испуганно и сделал короткой ручкой такой жест, точно земной шар повернулся в другую сторону. Хозяин только поморщился. Как это ни странно, но даже настоящее горе маленького мужчины не производит того впечатления, как горе мужчины большого.

– Тэночка уезжает… совсем… – простонал Антон, закрывая лицо руками. – Да, совсем…

– Анна Гавриловна? Уезжает? Зачем же ты здесь в такую пору? Впрочем, извини, может быть, это нескромный вопрос…

– Э, нечего скрывать: она прогнала меня еще с вечера… да. Ну, я и бродил всю ночь по городу, как собака.

– Гм… да-а.

Гость и хозяин посмотрели друг на друга. Все было ясно, как день. Маленький человечек сделал какое-то больное движение и заговорил, быстро роняя слова:

– Видишь ли, Иван Васильевич… Я, да, я считаю тебя лучшим своим другом… да. И поэтому пришел к тебе… Ты видишь, в каком я положении?

– Опять история с докторшей? – строго спросил Иван Васильевич, хмуря брови.

– Какая там докторша… Это уж давно позабыто.

Гость даже улыбнулся, а хозяин сделал нетерпеливое движение. Последний вспомнил, что Антон только на днях вернулся из Петербурга, значит, привез с собой какое-нибудь приключение.

– Послушай, Антон, у тебя странный характер, чтобы не сказать больше… Я могу только удивляться тебе.

– Презирай меня, бей, но спаси… Я тебя буду просить на коленях.

Маленький человечек быстро скатился со своего кресла и действительно очутился на коленях. Он умоляюще протянул вперед свои маленькие ручки и заговорил еще быстрее, точно кого-то догонял:

– Спаси, спаси… Ваня, спаси! Я знаю, что ты сейчас презираешь меня, – я сам презираю се-

бя. Но все-таки спаси... Ты знаешь, какой характер у Тэночки?..

– Послушай, Антон... Что же я могу сделать?.. Это не в первый раз...

– Клянусь тебе всем святым, что в последний. Больше ни-ни... Будет. О, довольно... И потом, ты знаешь, как я люблю Тэночку.

Иван Васильевич взял гостя за руку, подвел к зеркалу и проговорил:

– Посмотри, у тебя седые волосы пробиваются на голове... Как тебе не стыдно, Антон! Мы уж совсем старики... Пора остепениться!..

В зеркале обрисовались два портрета. Один толстый обрюзглый мужчина за сорок лет – в том возрасте, когда женщины проходят мимо, другой походил на цыпленка. Зеркало являлось для обоих самым жестоким обвинительным актом, какой только можно было себе представить. Иван Васильевич уже давно примирился со своей участью и мог только удивляться роковой жизнерадостности Антона.

– Видишь ли, Ваня, я еще жить хотел, то есть даже и не жить, а так... вообще... – оправдывался Антон, оправляясь перед зеркалом. –

Докторша пустяки, это давно прошло, а... Одним словом, Тэночка тебе лучше расскажет. У тебя, право, есть такое особенное уменье разговаривать с женщинами...

Антон, спасая свою шкуру, льстил самым грубым манером, но сейчас он был готов решительно на все. «Оратор» взглянул на него через плечо и только вздохнул. Он припомнил грустную историю, как бежала его собственная жена и как его ораторство способствовало этому бегству. Да, старая рана на минуту раскрылась, и Иван Васильевич посмотрел на своего друга почти с ненавистью.

– Да одевайся же ты, ради Бога, – торопил Антон, поглощенный, мыслью об отъезде жены. – Понимаешь: совсем уезжает. Ты знаешь, какой, у нее решительный характер.

– Сейчас еще рано... Она спит. Мы напьемся чаю, ты немного успокоишься... Вообще торопиться некуда.

Антон взглянул на друга умоляюще, закрыл лицо руками, и в комнате послышались глухие рыдания.

– Я... так... ее... люблю... Я... без... нее... жить... не... не... могу... Я... за...стре...люсь...

– Застрелиться еще успеешь, а чаю мы все-таки напьемся... Перестань хныкать. Я сейчас позову Глашу... Нехорошо при прислуге показывать все.

– Ах, я несчастный... Что такое чай?.. Ты просто циник... У человека вопрос жизни и смерти решается, а он – чай.

Иван Васильевич только фыркнул носом и крупными шагами отправился в свою спальню одеваться.

«Лучший друг, не угодно ли? – сердито думал он, засучивая рукава рубашки для умыванья. – Благодарю покорно... Идти объясняться с этой взбалмошной бабой... Пожалуй, еще в шею выгонит...»

Кстати, Иван Васильевич припомнил, что он член окружного суда, занимает известное общественное положение, все в городе его знают, и вдруг скандал... За Тэночку нельзя поручиться. И когда проклятый Антон успел возвести его в сан главного друга? Кажется, достаточно у него друзей и мог бы почтить этой милой привилегией кого-нибудь другого. Впрочем, у Антона истории с женой повторяются периодически, и эти другие уже испи-

ли свою чашу, а теперь его очередь.

Кстати, Антона все любили. Он создал себе какое-то особенное положение, не в пример другим. Когда-то он кончил университет, когда-то и где-то служил, потом бросил все и «сел на хозяйство». Это сиденье закончилось полнейшим крахом. Антон очутился на улице, и его спасла только смерть какой-то богатой тетки, оставившей ему кругленькое состояние. Сейчас Антон решительно ничего не делал, а просто жил, т. е. по-русски убивал время: днем скучал у себя дома, а вечером отправлялся скучать в клуб или к кому-нибудь из знакомых. Одних именинников сколько наберется, а потом званые обеды, юбилеи, крестины, свадьбы – одним словом, дохнуть некогда, хотя и скучно чертовски. Антон был везде душой общества, как лучший рассказчик и остроумный человек. Несмотря на свою невзрачную наружность, он пользовался большим успехом у женщин. Они с ним не скучали и платили за это удовольствие золотой монетой. Антон обладал секретом необыкновенно быстро сближаться, и его сейчас же посвящали во все интимные дела. Эти

успехи у женщин избаловали Антона и служили неиссякаемым источником разных домашних историй. Антон хитрил, лгал, выверт
ывался и, выведенный на свежую воду, каялся самым чистосердечным образом. Таких Антонов по провинциальным захолустьям наберется достаточно, и все они походят друг на друга, как «три капли воды».

II

Пробило девять часов. Иван Васильевич нарочно тянул время, чтобы наказать Антона за предстоявшее неприятное объяснение. Глаша проводила господ с сдержанной улыбкой, – она догадывалась, в чем дело.

Очутившись на улице, Антон сразу опять упал духом. Он только смотрел на главного друга своими моргавшими глазками и покорно семенил за ним по тротуару, как комнатная собачка. Иван Васильевич всю дорогу молчал, еще раз переживая близившуюся неприятность.

– Хоть бы извозчика взять... – взмолился было Антон.

– Ничего, и так дойдешь.

Иван Васильевич выигрывал время. Вот и

член суда, решитель судеб в некотором роде, а извольте-ка столковаться с бабой. Тоже, нечего сказать, приятная миссия... Черт бы побрал всех Антонов на свете. Желая выдержать характер, Иван Васильевич ни разу не спросил, в чем дело. Да это было и совершенно излишне. Опять какая-нибудь женщина... Разве Антон может прожить полгода без приключений?

– Ты бы судью попросил или доктора, Антон, а то я-то и не сумею.

– Судья меня уж мирил с женой два раза, а доктор хотел меня убить... Тогда эта глупая история вышла с его женой. Собственно, серьезного ничего и не было, а Тэночка подняла целую бурю... Одним словом, скандал в благородном семействе.

Завидев родное пепелище, Антон остановился в нерешительности.

– Нет, брат, шалишь, я один не пойду! – решительно заявил Иван Васильевич, подхватывая Антона под руку. – Люби кататься, люби и саночки возить... Еще неизвестно, как меня примет Анна Гавриловна.

– Я боюсь...

– Вздор!.. Заварил кашу, сам и расхлебывай...

– Она тебя любит, Тэночка... Когда ушла у тебя жена, как она тебя жалела! Это удивительная женщина вообще...

Антон вздрогнул, когда Иван Васильевич позвонил у подъезда. Начиналось... Послышались шаги старухи-няньки, которая спускалась по лестнице с старческим кряхтеньем... Антон даже закрыл глаза, когда повернулся ключ в дверях.

– Анна Гавриловна дома? – твердым голосом спросил Иван Васильич.

Старуха посмотрела на господ равнодушными глазами и прошамкала:

– Не знаю... Ужо я спрошу ее.

Она ушла, а господа остались на подъезде.

– Ведь вот какая Тэночка, никогда молоденькой горничной не возьмет, – роптал про себя Антон, вспоминая бойкую Глашу.

– Пожалуйте... – послышалось сверху.

– Я останусь в передней... – шептал Антон, поднимаясь по лестнице.

– Ну нет, брат, это дудки...

Они должны были подождать в гостиной,

по крайней мере, четверть часа, прежде чем Анна Гавриловна вышла из своей комнаты. Это была высокого роста женщина, с некрасивым, но решительным лицом. Она была одета в дорожное серое платье и даже держала в руках дорожную кожаную сумочку. Поздоровавшись с Иваном Васильевичем, она сделала вид, что совсем не замечает мужа. Антон стоял за креслом и виновато крутил в руках собственную шапку. Он походил на бедного родственника, попавшего в дом к богатому дяде.

– Я пришел к вам, Анна Гавриловна… то есть я… – заговорил Иван Васильевич, сбившись на первом слове. – Одним словом, вы хотите уезжать…

– Да, я сегодня оставляю этот вертеп…

– Послушайте, Анна Гавриловна. Прежде, чем сделать такой решительный шаг, поговоримте серьезно… по душе.

Анна Гавриловна томно опустилась на ближайшее кресло и приготовилась слушать. Иван Васильевич сделал паузу, чувствуя, как у него пересохло в горле. Бывают такие проклятые положения… Он даже оглянулся на Антона и посмотрел с укором. Да, тяжела

шапка главного друга...

– Вы хотите бросить мужа, Анна Гавриловна...

– Не мужа, а мерзавца...

Антон сделал беспокойное движение за креслом, как попавшаяся в западню крыса.

– Конечно, трудно судить семейные дела, особенно со стороны, уважаемая Анна Гавриловна... (О, черт бы тебя побрал!) да. Но заинтересованные стороны относятся друг к другу слишком пристрастно и делаются часто несправедливыми. Посторонний человек может отнестись спокойнее... Во всяком случае, необходимо разобраться, обсудить, взвесить. Ведь нет такого положения, из которого не было бы выхода.

– Я не понимаю, во-первых, что вам нужно от меня? – отрезала Анна Гавриловна, принимая оскорбленный вид. – А во-вторых, мне совершенно непонятна роль, в какой вы явились сюда. Какое может быть посредничество между мужем и женой?

– Я явился сюда только по просьбе вашего мужа, а моего друга Антона. Я даже не знаю, в чем дело, и даже не спросил его ни слова, по-

тому что мне одинаково дороги интересы как его, так и ваши интересы,

– Как это мило с вашей стороны... Ха-ха! Прекрасная роль... Я могу только удивляться, что среди моих друзей находятся... находятся... подобные субъекты.

– Позвольте, Анна Гавриловна, вы выражаетесь слишком резко...

– Нет, я очень мягко выражаюсь. Поймите, что мне жаль вас. Да, жаль. В конце концов, вы все-таки являетесь в роли защитника этого мерзавца, который имеет дерзость считать себя моим мужем. Вы пришли защищать его интересы, а не мои... Мне даже кажется, что ваша роль неблагодарнее его роли, как защитника отъявленного негодяя.

Иван Васильевич сделал беспокойное движение, как большая неуклюжая птица, приготовившаяся вспорхнуть. Это движение переменяло сразу неприятный оборот дела. Анна Гавриловна величественно поднялась и проговорила уже деловым тоном:

– Так как вы взяли на себя неприятный труд ходатайства по такому грязному делу, то я считаю своей обязанностью познакомить

вас с ним в общих чертах. Я сейчас.

Она величественно вышла из комнаты. Иван Васильевич чувствовал, как у него стучит кровь в висках, а на лбу выступает холодный лот. Обернувшись к Антону, он погрозил ему кулаком и проговорил:

– Помни, Антон, что это в последний раз!.. Если ты еще раз позволишь себе какую-нибудь историю, я подаю в отставку из должности главного друга.

– В последний раз… Клянусь! – шептал Антон и прибавил уже другим тоном: – Но какая женщина!.. Какая энергия!.. Вот именно таких женщин я и люблю… Представь себе только картину, когда она улыбнется? Восторг… А ты, знаешь, прекрасно начал. Такое благородство в голосе… жест… Одним словом, произвел впечатление.

– Замолчи, несчастный.

Послышалось шуршанье платья, и Антон малодушно спрятался за свое кресло. Анна Гавриловна вошла походкой оскорбленной королевы и подала Ивану Васильевичу смятый листок.

– Потрудитесь прочесть вслух, – предложи-

ла она, повертывая в руках кожаную записную книжку.

Иван Васильевич в качестве юриста пробежал молча поданную бумагу, посмотрел на обороте, приподнял плечи и начал читать:

– «Сад „Кинь-Грусть“... счет г. Кривскому... гм... восемь порций беф а-ля-мод... четыре порции филе соте... десять порций мороженого». Извините, я ничего не понимаю, Анна Гавриловна. Какой-то старый счет...

– Нет, читайте... Вверху есть дата: 18-го июня 1891 года.

– Гм... да... «десять порций мороженого... восемь бутылок шампанского Помери... телячья печенка... три ящика пива... русскому хору 25 руб. семь бутербродов... цыганскому хору 30 руб... за разбитую посуду 7 р. 33 к. Да... ризки»... Это что такое?..

– Ризки – это когда крестят детей... Продолжайте.

– «Деньгами выдано цыганке Мане 25 руб... 12 бутылок сельтерской воды... 2 стакана шерри-коблер... банка килек... изломанный стул... крюшон». Гм... Общий счет – 184 р. 33 к.

Бумажка еще раз была повернута и потом

возвращена Анне Гавриловне…

– Однако не мог же Антон выпить три ящика пива?

– Вы скажете, Иван Васильевич, что мог быть другой Кривский? Что, наконец, это общий счет? А вот не угодно ли полюбоваться его собственной книжкой…

Порывшись в книжке, Анна Гавриловна отыскала роковую страницу, помеченную 18-м июня, и прочитала сама:

– 18-е июня… на расходы по делу о наследстве 184. р. 33 к. Не правда ли, какое странное совпадение? Это именно та самая цифра, которая значится на счете…

– Да, странно… гм… – мычал Иван Васильевичу. – Да, очень странно… Я думаю, что в таких делах самое лучшее полная откровенность.

– О, нет, я не верю, ни одному его слову не верю! – решительно заявила Анна Гавриловна, делая такой жест, точно ей предлагали наступить на змею. – Это ни к чему не поведет…

– Я, то есть я расскажу все, Тэночка… – заявил Антон каким-то не своим голосом. – Ведь я не говорю, что счет не мой и что в

книжку занесен не он… Неловко же было написать, что пропито 184 р. 33 к.

– Он меня довел до того, что я должна осматривать его карманы и записные книжки… – объясняла Анна Гавриловна с слезливыми нотами в голосе. – Это уже последнее дело… Помилуйте, женщина должна делать обыски! Я кончила гимназию с серебряной медалью… Наконец у меня совсем не такой характер. Довести женщину до этого состояния, это… это…

Конечно, явились слезы. Друзьям пришлось переждать, когда этот дождь пройдет.

III

– Я прошу только об одном: дайте мне рассказать все… все… – начал Антон взволнованным голосом. – Да, все… В Петербург я поехал хлопотать по делу о наследстве после моей тетки (Анна Гавриловна горько улыбнулась). Да, о наследстве… Хорошо. Приезжаю туда. Разыскал знакомого адвоката – Пищалкин, мы с ним еще в университете вместе учились. Хорошо. Ну, то-се… Делали справки, собирали какие-то справки, одним словом, устали, как собаки. Пищалкин и говорит: «По-

едем, брат, на острова, передохнем свежим воздухом»… Тэночка, пожалуйста, не перебивай меня. Ведь это он говорит, а не я. Хорошо. Я думал, что мы так пройдемся по островам и самое большее зайдем поужинать куда-нибудь к Фелисьену (Анна Гавриловна сделала нетерпеливый жест). Да, к Фелисьену… А тут по дороге эта «Кинь-Грусть». Пищалкин и затащил меня туда… Он тоже человек семейный, недавно старшая дочь в гимназию поступила. Такая славная девочка… Хорошо. Погуляли мы по саду, посмотрели представление на открытой сцене, зашли в буфет – он выпил две рюмки водки, а я английской горькой. Всего одну рюмку, Тэночка. Потом отправились в закрытый театр. Там шла новая оперетка «Девушка в трех юбках». Ну, оперетка так себе, могло бы быть лучше… Впрочем, одна француженка ничего… гм… да…

– И все он лжет… – тихо проговорила Анна Гавриловна, заломив в отчаянии руки. – Ни одного слова правды!

Иван Васильевич немым взглядом попросил ее не перебивать рассказчика. Его начали интересовать похождения Антона.

– Пищалкин и говорит, Тэночка: «Давай, поужинаем в отдельном кабинете?» Кажется, чего невиннее… Я согласился. Всякий человек ужинает… Кажется, ничего в этом особенного нет? Хорошо. Заказали ужин. Я нарочно выбрал самое дешевое, что только было. Антрекот какой-то…

– Вот и лжешь, – не утерпела Анна Гавриловна. – В счете никакого антрекота нет…

– Может быть, и не антрекот, – великодушно согласился Антон. – Черт с ним, с антрекотом. Хорошо. Сидим. Пищалкин опять выпил две рюмки водки, а я опять английской горькой. Потом пили портер… Потом я спросил бутылку шампанского… Видишь, Тэночка, я ничего не скрываю. Нельзя же, человек хлопочет по моему делу, привык пить дорогие вина… Только это мы выпили шампанское и спросили ликера – не помню, какой – и кофе… Да… А по коридору в это время что-то так и шуршит, потом этакий смех… женский смех. А у Пищалкина характер игривый… Выскакивает в коридор, и не успел я оглянуться, как он уж тащит двух цыганок – одна черная, как головешка, а другая белокурая. Все это сдела-

лось как-то вдруг, и я даже хотел уйти... Ей-Богу, хотел! Но не ловко обижать товарища, с которым вместе в университете учился... И потом завтра у нас опять хлопоты по делу.

– Как трудно было, я думаю, тебе остаться в такой компании? – съязвила Анна Гавриловна.

– Да ведь Пищалкин тоже человек семейный. У него дочь в гимназию поступила... Хорошо. Сидим... Я ничего не скрываю, Тэночка. Пищалкин сел рядом с черномазой, а около меня поместилась эта белокуренькая... Признаюсь, она меня заинтересовала: цыганка и вдруг белокурая. Ведь и ты удивилась бы, если бы увидела белого воробья. Костюм на ней такой, цыганский, монеты звенят, а глазенки так и светятся. Так это смотрит на меня пристально-пристально, точно вот хочет узнать и не может. Мы, говорит, где-то с тобой встречались... Так и режет на «ты». Ужасная нахалка, как оказалось впоследствии. Да... Ну, конечно, сейчас запросили ужин, потом цветов, потом конфет... Смотрю, а Пищалкин финь-шампань так и душит. Я еще спросил себе антрекот...

– Опять врешь…

– Тьфу! Ошибся… Что-то одним словом спросил… из съестного. А Пищалкин сразу потребовал шампанского две бутылки… Тут и пошло все колесом. Его черномазая просит русский хор пригласить… Пригласили. Ну, что-то такое пели… Пищалкин подарил примадонне свое обручальное кольцо. А моя белокуренькая ласкается ко мне, как котенок, и шепчет: «Заставьте петь нас, цыганок»… Я нечего не скрываю, Тэночка. Я соглашаюсь, потому что попал на пьяную зарубку, как говорят купцы. Вот и привалила орда неверная… Одним словом, фараоны. Песни, гиканье, пляска… Пищалкин пустился вприсядку. Так и жарит… А моя Таня, это белокуренькая-то, так и жмется ко мне плечом… Видит, конечно, что человек с непривычки опьянел и ничего не понимает… Жмется ко мне и этак коленкой меня под столом толкает.

– Довольно! – протестовала Анна Гавриловна. – Дальше все известно…

– Нет, уж позвольте, Анна Гавриловна, – возмущался Иван Васильевич, увлекаясь рассказом Антона все больше. – Продолжай, Ан-

тон...

– Да, жмется эта Танька, коленкой меня толкает и шепчет: «А вы бы мужчин наших угостили... Они пиво пьют». Конечно, я сказал лакею, чтобы дали пива этим подлецам. Черномазые, носатые, глаза как угли – страшно смотреть, одним словом. Я еще думаю про себя: «Разорвут они Пищалкина, как кошку», потому что он уж начал обнимать и целовать свою головешку. Да... Только смотрю я, а в соседний номер лакеи и тащат целых три ящика пива. Вот так хороши «мужчины»... Я нарочно ходил посмотреть, как они пьют – настоящие черные тараканы или компот из чернослива. Ну, а у нас шампанское рекой льется, какие-то жиды на цимбалах зажаривают... Виноват, забыл: когда я спросил пива мужчинам, Таня поблагодарила меня ногой. Видишь, Тэночка, я ничего не скрываю. Дальше – больше... Пищалкин совсем разошелся и, смотрю, сидит уже с двумя головешками: одну обнимает, другую целует. И меня, признаюсь, начало подмывать... Думаю, что же, жена ничего не узнает – так и думаю, вот до чего напился, а интересно, как это белокурые цы-

ганки любят... Начинаю на эту тему заговаривать, Таня смеется и говорит мне: «А видел цыгана, который басом пел? Это мой муж... Смотри, достанется нам обоим». А цыганище, я вам скажу, невероятный, прямо монумент... Как быть?.. Я то-се, а Таня только головкой качает и этак легонько вздыхает. Жаль мне, говорит, тебя, уж очень хороший барин... Я настаиваю... Хорошо, говорит, есть еще одна штука, чтобы нам с тобой наедине встретиться... Одна цыганка у нас родила недавно, бедная такая цыганка – вот хочешь быть кумом? А там все устроим... Понимаете, у меня столбы в голове ходят – готов весь фараонов хор окрестить. Она, то есть Таня, опять благодарит меня ногой... Смотрю, а тут уж какая-то беззубая старушонка около меня вертится, тоже головешка головешкой. Ну, на ризки и выклянчила... Только я ей наличными отдал, а как эти ризки в счет попали – не умею сказать. Да... Я ничего не скрываю, Тэночка. Хорошо... Только, смотрю, уж совсем светло... Хвать, а Пищалкина и след простыл. Вот так приятель: завести завел да и бросил. А в дверях этот цыганище, муж Тани, стоит и ка-

кие-то ей знаки делает… Дальше уж я плохо помню, да и не интересно: уплатил по счету, лакей довел меня до извозчика… одним словом, одна грусть получилась.

Наступила пауза. Решающий голос принадлежал Анне Гавриловне, но она хранила гробовое молчание, опустив глаза.

– Что же, и все? – недовольным голосом спросил Иван Васильевич.

– Больше ничего не было, – ответил Антон каким-то детским голосом. – Впрочем, могу прибавить: клянусь, что никогда и ничего подобного не произойдет. Ведь, в сущности, я ничего не сделал… Нужно быть справедливым и ко мне. Да, был пьян, наделал глупостей, бросил на ветер двести рублей – вот и все.

Иван Васильевич понял, что его миссия кончена, поднялся с кресла и молча пожал руки молчавшим супругам.

Они остались вдвоем.

Ровно через три дня Антон явился к Ивану Васильевичу. Он имел беспечный и довольный вид человека, который избавился от

большой опасности, благодаря счастливой случайности.

– Ну что, как дела? – довольно сухо спросил Иван Васильевич, надевая свой судейский мундир, – он отправлялся в заседание.

– Ты это про что?

– Как про что?

– Ах, да… Виноват. Пришел тебя поблагодарить, голубчик. Ты меня выручил… Конечно, Тэночка ругала меня, потом плакала, потом опять ругала, гнала от себя и кончила отпущением грехов. Это чудная женщина… да. А мне до сих пор совестно. Войди в ее положение: что ей было делать, как и всякой другой женщине? Подлецы мы, мужчины… Если бы не ты, все было бы кончено, а теперь я снова ожил.

Антон даже прищелкнул языком и подмигнул, охваченный обычным легкомыслием. Это наконец взорвало Ивана Васильевича.

– Послушай, Антон, в следующий раз я не буду разыгрывать роль какого-то буфера, черт возьми. Это, наконец, смешно…

– Клянусь…

– Ты лучше клянись Анне Гавриловне, а я

не желаю валять дурака. Пойми, что это просто неудобно.

– Да ведь я… ей-Богу, клянусь тебе, что…

– Ну, извини, мне некогда. У нас сегодня заседание.

Они вышли вместе. Антон сел вместе на извозчика уверяя, что ему по пути. Дорогой он нерешительно заявил:

– А я к тебе по делу, Ваня… Ты не сердись. Видишь ли… гм… мне нужно устроить свидание с одной дамой, и я сказал, что она твоя родственница. Пока ты будешь в суде, я ее приму у тебя в квартире… Ты ее и не увидишь.

– Извозчик, ступай…

Иван Васильевич крикнул адрес квартиры Кривских. Антон сделал было попытку соскочить с извозчика, но был удержан.

– Ваня, не буду… – бормотал он. – Я пошутил…

– То-то… Извозчик, в суд!

1894

Отчаянный человек

I

Павел Митрич по обыкновению встал утром рано, – не было еще шести часов. В его каморке, пристроенной к парикмахерской, окна не было, и он оделся в темноте, не желая зажигать стенной лампочки, как это делал по утрам зимой.

– Выйду на улицу, – свету сколько угодно, – думал вслух старик. – Сделай милость, не зимняя пора, а керосин тоже денег стоит.

Вся парикмахерская еще спала мертвым сном, то есть хозяин с хозяйкой и три подмастерья.

– Ишь, лодыри, как дрыхнут, – обругал Павел Митрич двух подмастерьев, спавших на полу в самой парикмахерской. – Добрые люди успели уж досыта наработаться, а они дрыхнут.

Из квартиры Павел Митрич вышел черным ходом. На дворе пятиэтажного каменного дома уже «припахивало весной», как вежливо объяснял старший дворник происхождение специфического аромата от помойной

ямы, украшавшей самый центр двора. Павел Митрич только покрутил носом и проворчал:

– Этакого духа напущено!.. Тьфу...

Два младших дворника поливали улицу из пожарной кишки. Стоявший на углу городовой следил за ними, напрасно стараясь «подыскаться», то есть найти повод для какой-нибудь придирки. Павел Митрич постоял за воротами, несколько раз зевнул, крестя рот, и почесал занемевшую от спанья руку. На вид ему было лет пятьдесят, а в действительности шестьдесят. По происхождению крестьянин, Павел Митрич, по странной игре природы, походил на кровного француза, – прямой нос, большие карие глаза, большой лоб, характерно очерченные губы и подбородок. Объяснялось это тайнами девичьей блаженной памяти громадного помещичьего двора, где жила мать Павла Митрича на особом положении дворовой девушки. Воспоминанием и таинственным отголоском этого далекого прошлого явился Павел Митрич со своею французскою наружностью, которая обрисовывалась еще ярче благодаря его городскому костюму, козлиной бородке и усам

шильцем. Начинавшуюся проседь он тщательно замазывал фиксатуаром.

– А хорошо… – резюмировал Павел Митрич свои впечатления. – Градусов пятнадцать тепла, а к обеду все двадцать пять выбежит. Очень хорошо.

Дворники для шутки брызнули краем струи на Павла Митрича и сделали вид, что это вышло нечаянно. Павел Митрич обругал их, но не рассердился. Разве можно сердиться на глупых людей, – тем более сердиться в такое чудное весеннее утро? Он стряхнул воду со своего порыжелого фиолетового сюртука, который надевал только по утрам, смахнул воду носовым платком со штиблет и даже улыбнулся: «Ах, какие глупые дворники…»

– Куда такую рань наклался, Павел Митрич? – спрашивал городовой, когда он сровнялся с ним.

– А для воздуху, – объяснил Павел Нитрита, поправляя крахмальный воротничок. – Продышаться свежим воздухом – первое дело. Вон какая благодать стоит…

– Да, оно действительно… – согласился городовой, наблюдая за опасливо бежавшей по

тротуару собакой без ошейника. – Уж это – что говорить – первое дело…

– А вы какой губернии будете? – полюбопытствовал Павел Митрич, снимая котелок, чтобы погреть начавшую лысеть голову.

– Мы-то? А мы – витебские…

– Так-с… А я с реки Сяси, сейчас за Ладожским, ежели ехать на Онегу. Хо-орошее место у нас по реке Сяси. Вот сейчас иду на Фонтанку, к Летнему саду, посмотреть землячков, которые с Сяси дрова пригоняют сюда, а другие с рыбой на собственных соймах. Народ у нас особенный супротив других местов, потому как два агромадных озера, а потом агромадневющие леса… Нет лучше наших местов…

– И у нас Витебская губерния не хуже, – обидчиво ответил городовой, продолжая наблюдать бежавшую уже в конце улицы собаку.

Павел Митрич как-то по-детски хихикнул и только махнул рукой.

«Ничего не понимает г. городовой, хотя и всю военную службу прошел. Разве можно прировнять Витебскую губернию к Олонецкой? И даже того не понимает, что из Невы-то

нашу ладожскую воду пьет. Очень просто...»

Начало петербургской весны, когда вскрывалась Нева и появлялись сверху первые караваны, на Павла Митрича производило совершенно особенное впечатление. Он как-то начинал тосковать, и его тянуло на воздух. Раньше этого не было, а под старость тоска прикачнулась. Выйдет утречком старик на набережную Невы и по целым часам любуется красавицей-Невой, караванами барок, пароходами, лодками, рабочей сутолокой и тем оживлением, какое весной дает только большая река. Он точно старался что-то вспомнить – такое хорошее, молодое и счастливое, что уже не вернется, как не вернется река обратно. После Невы весной Павел Митрич больше всего любил Фонтанку, – не река, а угодница. Вот как работает чуть не целый год и передышки не знает до самого рекостава. И сейчас Павел Митрич вышел на Фонтанку и долго любовался закипавшей на мой работой. Сколько барок с дровами, бутовым камнем, кирпичом, песком и разным другим строительным материалом! И все это нужно, и тысячи рабочих находят дело. Всех матуш-

ка-Фонтанка накормит, только не ленись. А между барками на шестах пробираются рыбацкие соймы, к которым Павел Митрич относился особенно любовно: все с Ладожского озера рыбку везут.

– Город Санкт-Петербург все скушает, – думал вслух Навел Митрич, любуясь соймами, – только подавай...

Старик останавливался несколько раз в бойких местах. Хорошо работают Христовы работнички и не даром свой кусок хлеба едят. Покатай вот такую тачку с дровами день-то деньской или потаскай кирпичи, – и руки и ноги отнимутся. А как такой настоящий-то рабочий человек ест, как спит – любо поглядеть. Павлу Митричу даже делалось совестно за свою легкую парикмахерскую работу, – разве это работа, ежели разобрать по-настоящему? Одно баловство и даже как будто не к лицу настоящему, природному крестьянину. Павлу Митричу правилось думать о себе, как о крестьянине, и он даже гордился своим крестьянством, особенно весной. Ведь ежели разобрать, так настоящий-то человек – один крестьянин, потому что он всю державу своей

крестьянской работой кормит, а все остальное – сущие пустяки. Отыми у барина деньги, – куда он денется? Так и погибнет, как капустный червь. И служба барская – толю пустяки...

– Эх, матушка-Фонтанка, всех-то ты накормишь и напоишь, – восхищался Павел Митрич, точно Фонтанка была живое существо.

Только одно обстоятельство смущало восхищенную душу Павла Митрича, именно, что Фонтанка, конечно, хороша, а вот по течению времени начинает от нее отдавать тяжелым духом, как на дворе парикмахерской, да еще, пожалуй, и похуже. В некоторых местах хоть нос зажимай... Ну, если с судов валят всякую дрянь прямо в воду, так это и Бог велел. А главное, все дело портят тем, что из домов все спускают в Фонтанку. Какой же это порядок?

Подходя к Цепному мосту, Павел Митрич всплеснул руками и громко крикнул:

– Да ведь это Федор Евсеич?!. Ей-Богу, он – и на своей сойме прикатил...

II

Действительно, к громадной барке с дровами приткнулась рыбачья сойма. На палубе

этого утлого суденышка стоял седой старик в полушубке и валенках, несмотря на наливавшееся тепло.

– Он, Федор Евсеич! – радостно повторял Павел Митрич, ускоряя шаг. – И в полушубке… Федор Евсеич, здравствуй!..

Старик посмотрел на него и тоже, видимо, узнал. Он что-то крикнул, указывая на барку с дровами.

– Знаю, через барку к тебе попадать, а не вплавь! – крикнул Павел Митрич. – Ах, ты, братец ты мой…

Павел Митрич с большою ловкостью перебрался по тонкой сходне на барку, а с барки уже перелез на сойму

– Ну, здравствуй, Пал Митрич, – здоровался с ним старый рыбак. – Каково прыгаешь?

– А ничего, слава Богу, живем, нога за ногу не задеваем.

– Так, так… На что лучше. Как в городу не жить… Все деньги в городу.

– Денег-то в городе много, а вот добывать их трудно. Очень уж много на деньги охотников…

– И у нас в деревне любят на деньги по-

смотреть.

Они присели на лежавшую на палубе мачту от паруса и разговорились. Да и было о чем поговорить. У каждого была своя забота, свое дело, а главное – много общих воспоминаний. Они были из одной деревни Кургана, на реке Сяси, и по-деревенски приходились какой-то дальней родней. В Кургане между собою все были родня. Павел Митрич называл старика дядей. Он из своей деревни увезен был еще мальчиком и всю жизнь провел в Петербурге, но своей деревни все-таки не мог забыть. И сейчас Павел Митрич смотрел на дядю с немым восторгом и даже пощупал его полушубок из своей домашней овчины. Правильный, крепкий старик... Жарко, а он валенок не снимет, потому как в валенках ногам мягко.

– Где-то у меня Мишутка запропастился, – говорил старик, приглядывая набережную из-под руки. – Да вон он, пострел... Мишук, подь сюды!..

Мишук, беловолосый четырнадцатилетний мальчуган с загорелым лицом, перебежал через барку и с улыбкой смотрел на Пав-

ла Митрича, который почему-то показался ему смешным.

– Внучек мне будет, – рекомендовал старик. – От младшей дочери Авдотьи... Вот учу его рыбу возить в Питер. Ну, Мишук, сбегай-ка за кипяточком... Будем гостя угощать.

Мишук схватил жестяной чайник и полетел на берег.

– Славный мальчуган, – похвалил Павел Митрич.

– Маленькие-то все они славные, а вот какой большим вырастет. Балуется нынче народ и по деревням.

Через десять минут они сидели за чаем, и Федор Евсеич только тут спохватился, что забыл наказать Мишуку купить ситного.

– Не поглянется тебе наш деревенский ржаной хлебушко, Пал Митрич.

– Нет, оставь. Именно деревенского хлебушка и закусим. Соскучился я об нем вот как... Ситный-то надоел до смерти. Вот уж это для меня первое угощенье.

– Кушай на здоровье, Пал Митрич. У нас нынче и по деревням тоже все ситный... Модель развели в лавочке хлеб-то покупать. Ба-

бам это на руку... Ох, портится везде народ! Чаи, да ситцы, да ситный, да матушка-водочка...

Мишук долго смотрел на гостя и наконец не вытерпел, прыснул от смеха. И пиджак короткий, и крахмальная рубаха, и штиблеты, и усы шилом, – кругом шут гороховый.

– Это он над тобой, Пал Митрич, – объяснил Федор Евсеич. – Деревня-матушка... Смешно глядеть на городскую одежу. Мишук-то в первый раз в Питере, вот ему все и смешно...

– Нельзя, брат, в городе вахлаком ходить, – говорил Павел Митрич, вытирая пот с лица. – В аккурате себя надо содержать. В городе одежа – первое дело... А хлебушко, дядя, первый сорт.

– Зачерствел, малым делом, дорогой-то.

– Ничего, у нас зубы-то свои, а не казенные.

За чаем перебрали бесконечную деревенскую родню, причем все новости в большинстве случаев оказывались очень невеселого характера. Тетка Матрена погорела два раза; у дяди Агафона родились двойни, и жена по-

мерши от родов; дедушка Трифон второй год лежит без ног; в соседней деревне Тюшках червь съел всю капусту; рыбаки в Сяси выловили утопленника; в деревне Куровой две курицы пели петухом, – ждали пожара, но все обошлось благополучно; был мор на овцу, – повертится-повертится и подохнет; ждали по коровам сибирской язвы; в лесах появилась какая-то муха с белыми крыльями и черной головой, зовут ее «монашиной», и она жрет лес без конца; Ладожском озере плавали пузыри, из которых выходили живые люди с светлыми пуговицами; пала огненная звезда на деревню Акино и т. д., и т. д. В такт этого рассказа Павел Митрич только сочувственно качал головой.

– Да, конечно, бывает-с… У нас в Питере чудеса запрещены, а то, сделай милость, сколько угодно. У нас сейчас, например, городовой – и все кончено…

– Кончено? – удивлялся Федор Евсеич. – Значит, и тетка Матрена не погорела бы?

– Ни-ни… у нас строго. «А, ты желаешь гореть – пожалуйте в участок!» И ни-ни…

Мишук сбегал еще с чайником за кипят-

ком. Павел Митрич предался детским воспоминаниям и сразу напутал, когда заговорил о сясьской рыбе.

– Какая у нас рыба? – оговорил его Федор Евсеич с улыбкой сожаления. – Так, плотва иногда попадает, окуньки мелкие да щука... Наша вся рыба в устье, где пески. И наша рыба – самая дорогая; лосось, форель... Даже и сига мало. Это у Волхова ловят сига, да около островов, у Валаама. Наша рыба – первый сорт.

Оглядевшись кругом, старик с грустью прибавил:

– Только и нашей дорогой рыбе пришел конец...

– Неужто всю выловили?!.

– Где выловить – озеро-то, слава Богу, велико. А лиха беда в том, что наши рыбаки все начали продаваться купцу. Что поймал, то и подавай купцу... Значит, в том роде, как ренда... Живем у самой рыбы, а у себя на берегу фунта не купишь. Вся рыба в Питер заарендована еще с зимы. Она, значит, еще в озере ходит, а уж под нее задатки рыбакам дадены. Потом крупные купцы рыбные завелись, ко-

торые вот какие точи выстроили: тыщ на сорок одной снасти у такого купца, и лучшие места откуплены.

– Ну, а вы как?

– А мы, значит, бочком, где мало-мало поманит, – тут и промышляем.

Федор Евсеич тяжко вздохнул и только махнул рукой. Ему не хотелось говорить при Мишутке, и он его под каким-то предлогом выслал на берег. Налив гостю чаю, старик еще раз вздохнул и проговорил:

– Пряменько тебе сказать, Пал Митрич, так даже как будто и понятия не стало. Что, значит, и к чему... Вот я при Мишутке даже и выговаривать не хочу. Дело такое подходит, что по древности лет я еще доживу по-прежнему, а как будут жить другие протчие народы – ума не приложу.

– А что такое случилось? – спрашивал Павел Митрич, не понимая, в чем дело.

– Да уж, видно, так все одно с одним... Прежде-то жили – ничего, а теперь – день прожил, и слава Богу. Вот ты обрадовался своему деревенскому хлебушку, – и ему пришел конец. Которые еще займаются по крестьян-

ству, так сперва его продадут, а потом его же обратно покупают... Разве это порядок? На заработки потянул народ, который ищет легкого хлеба...

III

Второй чайник был уже пуст, и Павел Митрич вынул серебряные часы.

– Ого, засиделся я у тебя, дядя... Пора мне на работу...

– Да, у тебя того... действительно, работа, – заметил с улыбкой Федор Евсеич. – Поди, к вечеру-то поясницу вот как ломит, да и руки вымахаешь с ножницами.

Это замечание обидело Павла Митрича.

– У каждого своя работа, – ответил он, раскуривая папиросу.

– Ну, а как ты вообще живешь? – спрашивал старик, чтобы поправить обиду.

– Ничего, помаленьку, Федор Евсеич... Пока Бог грехам терпит.

Потом, приосанившись, он с гордостью прибавил:

– Тебе вот смешно, что я по парикмахерской части. И за работу не считаешь... Так, пустяки. А парикмахер парикмахеру рознь. Да,

милый человек. Другие не Бог весть как живут, а я – в лучшем виде… А почему?

– Умственность, значит, в тебе…

– Вот и не угадал… Секрет в том, что отчаянный я человек, наскрозь отчаянный.

– Н-но?

– Да… Тебе опять смешно, потому что нашего дела ты не понимаешь. А спроси, кто мертвых немцев бреет? Павел Митрич Востриков… Немцы – народ аккуратный и любят, чтобы на тот свет явиться в полной форме. Ну, а кто будет покойника брить? Живой-то человек и нос морщит, и ушами дергает, когда его бреешь, а покойник не шевельнется. Потом и то сказать, случается грех, что живого-то и подрежешь, ну, на живом и заживет, а покойника подрежешь. – тут уж зажива не будет. Шабаш, значит. Пробовали другие из нашего брата покойников-то брить, да не могли. Страшно, а у них отчаянности никакой…

– И дорого ты получаешь за свою музыку?

– И получать надо умеючи… Сперва-то я вполне дураком оказал: по десяти цалковых брал. Ну, а теперь, – шалишь, меньше тридца-

ти ни-ни...

У Федора Евсеича явилось на лице недоверчивое выражение.

– Как будто и много, Пал Митрич?

– А для чего человеку ум даден? Вот тут и штука... За работу я, действительно, получаю десять цалковых по положенью. А инструмент? Я как делаю... Сейчас натащу и бритв, и щипцов, и точилок, и щеток, – одним словом, полный набор. Все довольны – какой старательный парикмахер. А кончил работу, получил свои десять цалковых и сейчас: «Позвольте получить четвертной билет за весь парикмахерский прибор». Ну, обнаковенно, сейчас родственники на дыбы: «Нам не нужно твоего прибора». А я им: «И мне он не нужен... Разве я смею после покойника этим прибором живых людей брить? Он весь в заразе, и мне придется отвечать перед начальством». Ну, побьются-побьются, поругаются, а я сделаю скидочку на пять рублей – глядишь, и получил. Где тут в суматохе спориться... А там у меня есть татарин, который скупает старые вещи, – ему и продадут всю музыку за рубль, много за два, а татарин продаст мне за треш-

ницу. С новым покойником та же музыка… Один купец так расстервенился, что не хотел платить. Я к мировому, а мировой и присудил купца к уплате, да еще меня похвалил, потому как я поступаю правильно.

– Ах ты, братец ты мой! – удивлялся Федор Евсеич, качая головой. – Да ты и действительно отчаянный… Удумал тоже штуку.

– Жить надо, Федор Евсеич…

– Ведь у тебя дети есть?

– Как же: старший, Васька, – вот какой лоб, а потом девчонка Клепатра, подросточек.

– И тоже в тебя, значит, отчаянные?

– В самый раз!.. Особливо Васька… Ему в прошлом году надо было солдатчину отбывать, а он объявил начальству, что у него от рожденья кость жидкая и становая жила не действует…

– Ишь ты… а? Тоже удумал. В родителя, значит, пошел.

– Я уж и сам не рад. Как-то меня чуть не побил… Пришел утром с похмелья и денег требовать начал.

– Правильно… А дочь?

– Клепатра-то? Ну, ту я пристроил к хоро-

шей должности… Мне одной генеральше приходилось голову брить, значить, доктор велел. Ну, познакомился… Потом пуделей у нее каждую весну в львиный образ стригу. Как-то разговорились, она и взяла Клепатру в няньки к пуделям. Значит, должна, напримерно, водить их гулять по два раза каждый день, а потом, главное, играть с ними, чтобы не скучали и не выли зря. Три рубля жалованья Клепатра получает и всю одежу.

– Так, устроился ты на отличку, Пал Митрич. Жена-то померши?

– Нет, жива, только мы с ней на господский манер: я – сам по себе, а она – сама по себе.

– Чем же она живет?

– А кто ее знает… По кухарочной части раньше служила.

– Так, так… А твой Васька чем занимается?

– Ну, этот на все фасоны: и лакеем у господ служил, и фициантом, и в поварах, и по летам ягоды продавал на дачах, с мороженым ездил, егерем состоял, кондуктором на конке, извозчиком, – нигде не уживается по своей отчаянности. Ему слово, а он два… Такой уж

родился, а что касаемо словесности, так и меня за пояс заткнет.

– Так, так... Значит, фасонистый твой Васька.

Подумав немного, старик прибавил:

– А ты бы его, фасона, за виски... да в одно ухо, да хорошую проволочку, да в морду... а? Да прямо по зубам, да еще раз по зубам... Не забывай, мол, родительскую хлеб-соль! Да по загривку, да по скулам, да под микитки, да в волостное, чтобы там еще старички хорошенько поучили.

– Никаких у нас старичков не полагается, – уныло ответил Павел Митричь. – У нас участок, а в участке еще отца же и завинят: зачем делаешь неприятность родному сыну. Очень даже просто.

Увлекшись своей идеей ученья, Федор Евсеич вскочил и заходил по сойме, как поднятый из берлоги медведь. Могучая стариковская грудь от волнения тяжело поднималась, глаза горели. Остановившись перед парикмахером, старик заговорил:

– А ежели разобрать, так сам ты во всем виноват, Пал Митрич... Каков ты есть чело-

век, ежели разобрать? И вся твоя отчаянность – так плюнуть да и растереть нечего. Набаловал парня, вот он и задурил... Ты его пошли ко мне на Сясь, так я из него всю дурь вышибу.

Павел Митрич конфузливо присмирел и только моргал жалко глазами. Дядя был прав, и Васька был прав. Деревенские правильные слова били Павла Митрича прямо по голове, как бьет чугунная баба по голове деревянную сваю.

«Эк его взяло, – думал отчаянный человек, не зная, куда деваться. – Еще меня же поколотит, старый черт».

Оставалось одно – спасаться бегством. Павел Митрич вынул свои серебряные часы и деловым тоном проговорил:

– Ух, как я опоздал. Растерзает меня хозяин.

– Вот так отчаянный человек! – засмеялся Федор Евсеич. – Хозяина испугался...

Павел Митрич окончательно сконфузился. Но, взглянув на Цепной мост, он радостно проговорил:

– Да вон он, Васька мой отчаянный, бежит

по мосту и тычет барыне прямо в нос букет ландышей. Ах, прокурат!.. На вербе вот как торговал американским чертом и воздушными пузырями, а сейчас ландыши продает.

Федор Евсеич из-под руки посмотрел на мост и увидел, как за извозчичьим экипажем бежал с букетом ландышей здоровенный парень в красной рубахе и спинджаке, что-то кричал и кланялся.

– Он самый, мой Васька, – подтвердил еще раз Павел Митрич.

IV

В течение трех дней Павел Митрич аккуратно ранним утром являлся на сойму Федора Евсеича пить чай. Он приносил с собою французских булок, московских калачей, малинового варенья, селедку, водки и т. п.

– Дома я эту самую водку не уважаю, – говорил Федор Евсеич. – А на воде она угревает...

– Вовремя она даже очень пользительна, – согласился Павел Митрич. – Нынче как-то мало пьют ее, а больше все пиво... Вредное оно, а пьешь вместе с другими. Мой Васька так и лакает это самое пиво.

Отчаянный Васька как-то раз зашел с отцом на сойму посмотреть своих деревенских. Федор Евсеич все время присматривался к нему и потом проговорил:

– Смотрю я на тебя, Василий, и в самый бы раз тебе за сохой ходить. А покажи руки?

Руки отчаянного Васьки оказались белыми, как у горничной, и Федор Евсеич только покачал головой. Какой же человек, когда руки совсем бабьи!

– Истварился ты, Василий, на легкой городской работе вконец. И настоящей деревни в глаза не видал...

– Мы больше по дачам, – отвечал Васька, встряхивая волосами. – Значит, около господ...

– Так, так... Денег много зарабатываешь около своих господ, только домой не носишь. Заезжие-то рубли петухами поют...

Накануне отъезда Павел Митрич пришел на сойму вечерком. Он имел такой грустный и несчастный вид.

– Уж ты здоров ли, мил человек? – спрашивал Федор Евсеич.

– Так, ничего, – уклончиво ответил со вздо-

хом Павел Митрич. – Тоже ведь и мои года немаленькие. Под шестьдесят идет... да... А потом мысли... Раздумаешься – и вдруг скучно сделается.

– О чем раздумаешься-то?

– А разное... По ночам даже не сплю.

Начинало уже темнеть. На барках зажигали фонари. Финляндские пароходики как-то особенно весело неслись по Фонтанке, ярко освещая перед собою дорогу носовыми фонарями. Павел Митрич некоторое время молчал, попыхивая папиросой, а потом проговорил:

– Эх бы теперь огоньку разложить, Федор Евсеич? В лучшем бы виде около огоньку посидеть...

– Начальство не дозволяет...

В голове Павла Митрича пронеслись картины далекого-далекого детства, когда он с другими деревенскими мальчишками ранней весной пас лошадей по зеленям и уходил в ночное. Горит весело огонек, в темноте слышится лошадиное фырканье, кто-нибудь рассказывает «страшное», – эх, хорошо было!

– Да, хорошо... – думал вслух Павел Мит-

рич. – Когда у нас в мастерской топится печь, так я нарочно вытащу полено и понюхаю дымок...

Федор Евсеич не мог понять, к чему ведется речь, и молчал. Ему даже показалось, что Павел Митрич пришел немного под хмельком и плетет что-то такое несообразное. Вот тебе и мысли... У пьяного-то этих самых мыслей хоть отбавляй. Старик не успел в полную меру утвердиться в этом предположении, как вдруг послышался какой-то детский плач.

– Пал Митрич, Христос с тобой...

– Ах, оставь...

Павел Митрич сидел на мачте и, закрыв лицо руками, продолжал плакать. Федор Евсеич был ужасно сконфужен и опасливо посмотрел на спавшего врастяжку на палубе Мишутку: проснется парень – тогда уж совсем стыд и срам.

– Перестань, Пал Митрич... Мало ли что бывает на свете. Этак у нас в деревне у одного мужика лошадка пала... Вот как убивался, а потом выправил другую, и все пошло по-старому.

– Да я не о себе... А так, вообще...

– Хошь, я Мишутку за парой пива сгоняю?

– А ну его, пиво… Сейчас пройдет все… У меня это бывает… Доктор знакомый к нам ходит, я его подстригаю, так он говорит, что это от нервов…

– Значит, в том роде, как лихоманка?

– Нет, другое… Даже совсем наоборот.

– Значит, тошнит, как с перепою? У нас так-то один мужичок на помочи с вина сгорел… Навалился на даровое вино – почернел весь…

– Нисколько даже не похоже, Федор Евсеич. Конечно, я принимаю и водку и пиво, а только знаю свою меру… А сейчас, например… Эх, ничего ты не понимаешь, Федор Евсеич, а еще настоящий, правильный крестьянин. Ну, посмотри на меня, каков я есть человек, ежели разобрать? Разве я сам-то не понимаю… Взять тебя: привез ты рыбу в Питер, продал, получил деньги, а завтра поставишь парус – и домой.

– Обнакновенно…

– А там уж тебя ждут: вот дедушка из Питера возворотится… Ребятишкам баранки… Снохе-то ситцу купил… Вот оно самое… Прямо,

значит, в свое гнездо приедешь. И домишко у тебя, свой угол, и все крестьянское обзаведенье... Овечек-то шесть штук держишь? Так... Одним словом, человеком приедешь и будешь по-человечьи жить. А мы будем пропадом пропадать, пока не подохнем... Себя мне не жаль – все прожито, а вот ребят жаль. Ты вот про себя посмеялся над моим отчаянным Васькой и над собачьей нянькой Клепатрой тоже, а виноват-то я, сам ты говорил, потому как не мог поставить своего гнезда на правильную точку. Оно уж все, значит, одно к одному: тут тебе пуговица, а тут тебе и петелька.

Раскурив новую папироску, Павел Митрич неожиданно прибавил:

– А что, Федор Евсеич, ежели бы, например, опять собрать все гнездо?.. То есть, видишь ли, ежели бы я опять махнул в деревню: жена есть, сын-работник, девчонка-подросток, я тоже могу соответствовать... Я ведь не выписался из крестьян и за землю плачу. Ну, поставили бы избенку, обрядили лошадку, коровушку, пару овечек, курочек... Как ты думаешь?..

Федор Евсеич долго молчал, а потом тряхнул головою и категорически заявил:

– Негоже…

– Ты думаешь, негоже?

– Совсем негоже… Ты уж совсем отбился от крестьянства и всю семью отбил. Ничего не выйдет…

– Значит, помирать?

– Раньше смерти никто не помирает, Пал Митрич.

Мужицкий ответ был жесток. У Павла Митрича все как-то потемнело в глазах, точно его ударили палкой по голове. Он посидел, помолчал и молча начал прощаться.

– Приходи ужо утречком в последний раз чайку попить, – приглашал Федор Евсеич.

– Ладно, – донесся голос Павла Митрича из темноты.

Утром Павел Митрич не пришел. Федор Евсеич подождал его лишний час и сказал:

– Ну, наш отчаянный, видно, пропал, а нам с тобою пора…

Когда сойма уже вышла на шестах в Неву, Федор Евсеич видел, как по набережной бежал Павел Митрич и махал ему фуражкой.

«Отчаянный человек» провожал уходившую вверх по Неве сойму полными слез глазами, точно она увозила его последнюю надежду.

1901

Рекомендательное письмо

I

Анна Сергеевна Мякишева, как всегда, проснулась «с деловым видом», который и сохраняла на целый день, как лошадь, которую ежедневно закладывают в один и тот же экипаж и которая сама просовывает свою голову в знакомый хомут. Извиняюсь за это вульгарное сравнение, но я не имел ни малейшего намерения унизить им или огорчить почтенную деловую женщину. Говоря между нами, некоторые дамы от души завидовали именно этому деловому виду Анны Сергеевны и напрасно старались ей подражать. Выходило то, да не то, как это всегда бывает при подражаниях. Другой Анны Сергеевны не могло быть.

Укладываясь спать, Анна Сергеевна имела привычку подводить деловой итог прожитому дню и делала самой себе что-то вроде экзамена. Ведь ни один день не вернется и ни одно солнце не поднимется задним числом, а в сорок пять лет деловые люди начинают крепко задумываться над количеством оставших-

ся в их распоряжении дней, и на этом основании Анна Сергеевна, просыпаясь утром и лежа в постели, составляла подробную программу для наступающего дня.

– Докончить перевод восьмой главы – думала она вслух, борясь с утренней дремотой. – После завтрака съездить в комитет... визит к Просперовой... Ах, какие это тошные люди, а не отдать визита нельзя. Сегодня... да... именно сегодня обед у Колчевых. Тоже немного будет радости, если не придет Черняков, который обещал похлопотать по одному делу. Вечером заседание в благотворительном обществе и ужин по подписке. Это все наша взбалмошная княгиня придумывает, «для сближения элементов», как она говорит.

Одним словом, целый день оказывался полным, и еще не хватало времени съездить в две школы, побывать в книжном магазине, заехать в типографию и т. д., и т. д. Больше всего огорчал Анну Сергеевну ужин по подписке, потому что она терпеть не могла платить деньги и, вероятно, на этом основании умела вымогать деньги на свои благотворительные дела с изумительной ловкостью, на-

ходчивостью и упорством. Когда она подходила с улыбкой к кому-нибудь из богатых людей где-нибудь в фойе театра или в концертной зале, от нее откупались без всяких видимых знаков сопротивления, сознавая их полную бесполезность. Говоря просто, Анна Сергеевна была скупа, торговалась с каждым извозчиком до ожесточения, но давала прислуге на чай, а своих кухарок считала поголовно воровками и торговалась каждое утро с ними из-за каждого гроша до бешенства. Конечно, последнего никто не видал, и Анна Сергеевна слыла просто деловой, строгой женщиной.

Итак, Анна Сергеевна проснулась, составила программу на целый день и позвонила. Вошла горничная с бледным, немного испуганным лицом и остановилась в дверях.

– Что Еввочка? – спросила Анна Сергеевна с скрытой тревогой в голосе, как спрашивала каждое утро.

– Они спят…

– Подними шторы… Подай теплой воды… Достань синее суконное платье… Пришей пуговицу к ботинке… Барину принеси сухарей… Впрочем, не нужно: осталась вчерашняя бул-

ка... У Еввочки вчера плохо была вычищена юбка... Потом в углу под роялью я вчера заметила паука: поймай его и раздави... Потом скажи кухарке, что она вчера не подала мне за масло двух копеек... Скажи дворнику, чтобы он не смел носить сырых дров... Подожди: кто вчера отбил ручку у беленькой чайной чашки?

У Анны Сергеевны был деспотический характер, и она держала всех в доме, особенно мужа, в ежовых рукавицах.

Павел Максимович Мякишев обладал мягким, податливым характером и с первых дней супружества терпеливо нес тяжелое иго семейного счастья. Этот худенький, тихий и скромный человек с какой-то скромной лысиной на голове и робкими движениями был счастлив только тогда, когда сидел в своем правлении и вырезывал из газет объявления о продающихся дворянских имениях, домах, дачах и землях. Он вставал рано и проводил утро в столовой, раскладывая пасьянс. Анна Сергеевна просыпалась поздно и часа два совершала свой утренний туалет. Прислуга в грош не ставила робкого барина и не обраща-

ла на него никакого внимания. Какой это барин, который боится не только жены, но родной дочери, тоже робкой и слишком намуштрованной девушки.

Чета Мякишевых жила, как тысяча таких счастливых парочек, достигших в своем семейном счастье того предельного возраста, когда от жизни нечего ожидать. Впрочем, Анна Сергеевна, как многие дамы ее возраста, постепенно пришла к убеждению, что сделала непоправимую ошибку, выйдя замуж за Павла Максимовича, и что ее жизнь могла бы сложиться иначе. Примиряющим элементом являлась только Еввочка, но и та несла в своем характере мякишевские черты, да и вообще была какая-то вялая, инертная и безвольная.

По утрам Мякишев очень страдал, потому что Анна Сергеевна по скупости не выписывала ни одной газеты («Все глупости в твоих дурацких газетах пишут, а шестнадцать рубликов – деньги... Посчитай-ка, сколько французских булок выйдет на шестнадцать рублей: триста двадцать булочек! А ты еще сухарей требуешь... Читай в своем правлении,

сколько угодно»). И Мякишев уныло слонялся по столовой, как заморенный зверь в зоологическом саду слоняется по своей клетке. У него был великолепный «деловой» кабинет, с таким большим письменным столом, какой годился бы для любой кухмистерской, но он его терпеть не мог, потому что ему решительно нечего было делать в этом кабинете. Скромного Павла Максимовича всегда немного коробило, когда Анна Сергеевна говорила:

– Ах, Павел Максимович так занят, так занят, что я его вижу только за обедом и поздно вечером…

И он должен был целую жизнь разыгрывать роль человека, которому дохнуть некогда, и знакомые даже жалели его, как заработавшегося человека, который неизбежно должен кончить нервным переутомлением.

– Я и сама боюсь за него, – подтверждала Анна Сергеевна, изображая на лице покорность судьбе. – Но что поделаете: каждый должен работать.

Слова: работать, работа, рабочий, – были любимыми словами для Анны Сергеевны, и она очень часто себя называла рабочей бабой.

Сегодня все было, как всегда. Анна Сергеевна вышла в столовую уже совсем готовая, т. е. затянутая в синее суконное платье, что означало, что она сейчас после завтрака отправится по делам. Никаких капотов она не признавала и любила повторять слова Бисмарка, что каждая кляча должна умереть в своих оглоблях.

– Здравствуй, Поль!..

Павел Максимович немного трусил, как это ни смешно сказать, вот именно этого синего суконного платья, в котором Анна Сергеевна являлась для него чем-то вроде неприступной крепости, и даже у нее в выражении лица являлось какое-то зловещее выражение. Он почтительно поцеловал ее в дряблую щеку и что-то такое пробормотал, чего нельзя было разобрать, как встречает рота своего командира.

– А что Еввочка? – еще раз спросила Анна Сергеевна, усаживаясь на свое место за столом.

– Они еще спят, – ответила, как эхо, горничная.

II

Отпивая свой кофе короткими глотками, Анна Сергеевна имела привычку упорно следить глазами за мужем, и он вперед чувствовал себя виноватым, как тот кролик, на которого уставилась глазами гремучая змея.

– Опять за работу? – иронически спросила она, разламывая на мелкие кусочки сахар, – это была ее дурная привычка. – Вырезывать объявления?

– Что же, я... я, вообще, никому не мешаю, Анюта...

– И это называется – работа. Удивляюсь... И все члены вашего правления тоже занимаются только тем, что вырезывают газетные объявления?.. Я посоветовала бы вашему правлению раскрашивать картинки из «Нивы», – тоже очень интересно.

Анна Сергеевна презрительно повела жирными плечами. За последние годы она начала быстро стареть, что ее серьезно огорчало, потому что портило деловой вид. И лицо делалось полным и брюзгливым, около глаз выступали морщины, белки глаз по утрам покрывались желтизной, – вообще наступала старость.

Павел Максимович был всегда рад, когда утренний кофе кончался. Это было сигналом, что он может уходить на службу, т. е. быть до самого обеда самим собой. Он уходил на службу всегда с немного виноватым видом, повторяя одну и ту же фразу:

– Я к обеду вернусь, Анюта.

Анна Сергеевна провожала его презрительным взглядом и еще раз пожимала плечами. Трудно было объяснить это презрение, тем более, что Павел Максимович решительно ничего такого не делал, что дало бы к этому какой-нибудь повод. Единственным объяснением могло быть разве только то, что он всегда был очень скромным человеком. И женился он тоже из скромности, т. е., вернее сказать, Анна Сергеевна женила его на себе. В ранней юности она прошла тяжелую школу бедности и лишений. Ее отец, профессор-филолог, говоря словами Некрасова, «кроме каменной болезни не имел ничего» и умер от этой же болезни, оставив семью нищею. Мякишев был знаком с братом Анны Сергеевны и бывал иногда у них в доме. Скромный и застенчивый студентик к окончанию курса

неожиданно сделался богачом, благодаря каким-то участкам земли около Баку, приобретенным еще его дедом. Неожиданное богатство не сделало Павла Максимовича смелее, и он никогда не решился бы сделать ей предложение, хотя смелая и решительная девушка нравилась ему. Анна Сергеевна сама пошла навстречу к нему.

– Мне вашего богатства не нужно, – предупредила она, когда еще была невестой. – Я буду жить своим трудом. Да... Вы так и знайте. Время жен-содержанок, к счастью, прошло...

Дальше пошло, как и следовало идти. Прежде всего Анна Сергеевна тщательно скрывала от всех свои более чем солидные средства и не проявила ни малейшего стремления к показной роскоши. Затем она не пожелала войти в круг финансовой аристократии, а предпочла остаться в своем кругу. Больным местом в ее жизни было только то, что Павел Максимович не проявлял решительно никаких талантов и едва сумел попасть в члены правления какого-то акционерного общества, где был одним из главных пайщиков. Для знакомых Анны Сергеевны он

оставался сфинксом.

Когда Павлу Максимовичу все-таки приходилось показываться при гостях, он делался настоящим мучеником, потому что должен был разыгрывать роль делового человека. Зато он отводил душу у себя в правлении, вырезая газетные объявления. У него развилось что-то вроде мании быстро разбогатеть еще раз. Ведь богатели же другие, богатели прямо у него под носом. Богатство оказывалось везде, даже там, где о его существовании никто и подозревать не мог. Уж не говоря о Кавказе, богатства открывались по всему югу России, на севере, на востоке, – везде решительно.

Одной из причин скрывать свое богатство для Анны Сергеевны был вечный страх, что все, как только узнают, полезут занимать в долг, начнут клянчить, приставать. С другой стороны, ей хотелось совершенно самостоятельно создать себе известное положение в обществе, а главное – играть видную роль. Она сохранила знакомства отца и особенно дорожила некоторыми литературными именами. Здесь же она получала и работу, главным образом переводы.

Кофе кончен. Анна Сергеевна поднялась и еще раз спросила горничную:

– А что Еввочка?

– Они еще не просыпались…

Анна Сергеевна безумно любила дочь, но никак не могла понять: взрослая девушка, знающая три иностранных языка, и так бессовестно спит. Еввочка тоже «работала», не считая занятий на курсах: она тоже «переводила», и Анна Сергеевна гордилась, когда под каким-нибудь переводом появлялось имя Еввочки. Ах, какая способная девчонка, только ужасно вялая. Ну, в свое время оживится, а пока пусть выспится хорошенько. Собственно, Еввочка только числилась на курсах, хотя, как не «медальерка», и не имела права на них поступить, а попала туда благодаря протекции

– Какие нынче профессора? – говорила Анна Сергеевна тоном своего человека при университете. – Так, что-то такое… вообще… Не думаю, чтобы Еввочка вынесла оттуда особенно много, но пусть поучится… Все-таки известный режим, товарищество, и наконец нужно же молодой девушке что-нибудь де-

лать...

Переходя из столовой в свой рабочий кабинет, Анна Сергеевна думала: «Что же делать, служба... Нельзя себя распускать. Дело прежде всего».

Кабинет, большая, высокая и светлая комната, был обставлен с деловой простотой, с тою разницей от делового кабинета Павла Максимовича, что письменный стол здесь был приставлен к стене и, благодаря вычурным полкам и этажеркам, походил отчасти на буфет, отчасти на церковный орган. Конечно, это довольно сложное сооружение было завалено бумагами просто, бумагами в папках, бумагами в специальных картонках, бумагами в трубочках и т. д., и т. д. Анна Сергеевна входила в свой кабинетам видом замученного на работе начальника какого-нибудь департамента, медленно усаживалась к столу и еще медленнее старалась повторить про себя программу сегодняшнего дня.

– Прежде всего докончить восьмую главу, – думала она вслух, протягивая руку к картонке с надписью: «Переводы».

Картонка уже была раскрыта, когда в пе-

редней послышался звонок. Анна Сергеевна нахмурилась, потому что терпеть не могла, когда ей мешали работать.

«Кто бы это мог быть? – сердито подумала она. – Всего еще только одиннадцать часов...»

По сдержанному голосу горничной, доносившемуся из передней, Анна Сергеевна, поняла все.

– Рекомендательное письмо...

Горничная, действительно, подала письмо и на немой вопрос барыни ответила:

– Я говорила, что вы принимаете от двух до трех часов, а они мне суют прямо в нос письмо. Я уж не знаю...

– Барышня?

– Точно так-с, в том роде, как на курсы пришли проситься...

– Ах уж эти мне курсы... Нельзя же всю Россию поместить на курсы! Наверно, какая-нибудь провинциалочка... из дальних...

Письмо имело довольно затасканный вид, и Анна Сергеевна как-то брезгливо прочитала адрес, написанный мелким старческим почерком. Разорвав конверт и прочитав подпись, она с несвойственной быстротой прого-

ворила:

– Пригласите барышню сюда…

III

Из передней вошла молодая девушка в темном шерстяном платье и помятой фетровой шляпе и нерешительно остановилась у дверей. Анна Сергеевна сама подошла к ней и, протягивая руку, проговорила:

– Вы дочь Алексея Васильича? Да? Очень, очень рада вас видеть… Садитесь, пожалуйста. Да, рада…

Анна Сергеевна старалась придать своему голосу ласковость и в то же время с какой-то жадностью рассматривала девушку.

– Вот вы какая… – в каком-то раздумье проговорила она, кончив осмотр. – Именно такой я вас и представляла себе… и зовут вас тоже Еввой, как и мою дочь.

При последней фразе Анна Сергеевна, подавленно вздохнула и, извинившись, принялась читать письмо. Время от времени она взглядывала из-за письма на гостью и улыбалась.

– Ах, как я его узнаю, вашего папу… Все такой, же неисправимый идеалист. Да… Боже

мой, а сколько времени прошло... Вы хотите поступить на курсы? Но, к сожалению, уже поздно... Срок подачи прошений был напечатан во всех газетах.

– Я подавала прошение и получила отказ, – конфузливо ответила девушка. – Я кончила гимназию без медали, а таких не принимают...

– Совершенно верно... И вы все-таки приехали?

– Да... Ведь бывают случаи, что поступают на курсы и без медали...

– Гм... конечно, иногда случается... Везде бывают свои исключения.

Анна Сергеевна, собственно, не слышала этих объяснений и продолжала рассматривать гостью. Да, вот и отцовский лоб, и упрямый вихор на проборе волос, и горбинка на носу, и эти серые с поволокой глаза, – одним словом, вылитый отец. Если бы тогда Анна Васильевна вышла замуж за Алексея Васильича, то у нее была бы, вероятно, такая же дочь... Мысленно она невольно сравнила двух Еввочек и ревниво нахмурилась.

«Эта не пропадет», – решила она про себя,

принимая обычный деловой вид.

– Расскажите мне что-нибудь про своего папу, – проговорила она не совсем кстати. – Он, кажется, успел послужить во всех университетах и все еще приват-доцент?

– У папы такой характер… Ему трудно где-нибудь ужиться.

– Да, действительно, характер… Впрочем, я кое-что слышала об его истории в Харькове, потом в Казани или в Варшаве… Вообще, один из русских *исторических* людей.

Гостье не понравился вынужденный смех Анны Сергеевны, и она опустила глаза. Зачем она так говорит об ее отце и еще обидно подчеркивает слова?

Анна Сергеевна заметно волновалась и несколько раз прошлась по комнате, чтобы успокоиться. Изредка она взглядывала на гостью, и ей делалось жутко, точно это сидела на стуле сама она, когда была просто дочерью профессора. О, как она хорошо понимала эту приличную бедность, которая притаилась в каждой складке скромного шерстяного платья, придала прошлогодней шляпе измятый вид и т. д., понимала все, до того неловкого

душевного состояния, которое сейчас переживала вот эта девушка в качестве просительницы.

– Ах да, вы хотели бы поступить на курсы, – спохватилась Анна Сергеевна, просыпаясь от своего раздумья. – Я, конечно, могу похлопотать... Могу поговорить кое с кем... Но вперед могу сказать, что из этого ничего не выйдет. Вы представьте себе, что до трехсот прошений получили отказ...

– А если записаться кандидаткой?

– Это, конечно, можно, но... Право, мне делается больно говорить о том, что я совершенно бессильна в данном случае, как бессильны и другие. Каждая девушка думает, что она первая такая неудачница и единственная, а их так много... Вы не можете себе представить, как тяжело отказывать, и я каждый раз страшно волнуюсь. Я понимаю, что и вам нелегко. О, как я отлично понимаю эти золотые мечты юности, эти порывы вперед, эту молодую энергию... Да!.. Наконец просто: в ваши годы жить хочется...

«К чему она все это говорит?» – удивлялась гостья.

– Да… А с другой стороны… – тянула Анна Сергеевна, видимо, затрудняясь высказать что-то окончательное и решающее. – Конечно, неприятно, что вы не попадете нынче на курсы, но, с другой стороны, когда вы подумаете об этом и хорошенько проверите себя, то, может быть, даже будете довольны именно таким исходом дела…

– Что вы этим хотите сказать, Анна Сергеевна?

– Самую простую вещь, моя дорогая… Вы не обижайтесь на меня. Представим себе такой случай, именно, что благодаря рекомендации вы попадете на курсы, – говорю это к примеру. Да, попадете… А не будет вам немного совестно, что вы попали именно по рекомендации, то есть, называя вещи своими именами, заняли чье-то чужое место, то есть место той девушки, которая не имела никакой рекомендации?

Гостья покраснела и сделала движение подняться.

– Пожалуйста, не волнуйтесь, моя хорошая, и не сердитесь на меня, – удержала ее Анна Сергеевна. – В жизни встречаются такие

роковые комбинации... Вы себя будете оправдывать тем, что другие девушки поступают же по рекомендации, но ведь это чисто-формальное оправдание и даже, если хотите, совсем не оправдание. Мало ли что могут делать другие, и мы нисколько не обязаны подражать дурным примерам. Говорю все это только потому, что мне постоянно приходится с этим считаться.

Гостья вся вспыхнула и вскочила. На глазах у нее были слезы.

– Анна Сергеевна, вы совершенно правы, и я сама то же самое думала, но... Есть еще одна сторона дела, именно – сейчас на курсах неизвестно зачем числятся такие девушки, которым совершенно нет даже охоты учиться. Идут на курсы, потому что такая мода и потому что дома им нечего делать. И таких, к сожалению, очень много... Посидят несколько семестров и все бросят. Думаю, что это похуже всякой рекомендации.

– Дда, случается... – согласилась Анна Сергеевна, припоминая собственную дочь, которая и на курсы попала только благодаря рекомендации и никакой охоты к серьезным за-

нятиям не чувствовала. – Дда, бывает.

– Я собственно никого не желаю обвинять, Анна Сергеевна. Бог с ними, с курсами. Я пришла к вам главным образом с другой просьбой...

– Вы ищете работы!.. – перебила ее Анна Сергеевна и в каком-то ужасе развела руками. – Да? Работы?!.

– Я могу делать переводы с английского, французского, немецкого...

– Боже мой! Боже мой!.. – как-то застонала Анна Сергеевна. – Да знаете ли вы, моя дорогая, что на каждую букву найдется несколько переводчиц? Цены за эту работу сбиты до невозможности... Прибавьте конкуренцию тех переводчиц, которые уже имеют свое имя в литературе. Укажу, голубушка, на собственный пример... Говорю это не из хвастовства, а к слову. Я тоже переводчица...

– Я это знаю, Анна Сергеевна...

– У меня есть маленькое имя в литературе, и мне прямо заказывают переводы. Да... Но ведь нынче мало знать языки, а надо иметь талант, особенно в таких областях, как беллетристика. Мало того, чтобы передать дослов-

но текст автора, а необходимо проникнуться духом этого автора, передать его настроение, те мельчайшие особенности и тонкости в языке, которыми отличается именно данный автор. Как видите (Анна Сергеевна обвела свой кабинет глазами), я человек обеспеченный и работаю совсем не из-за денег, а только из любви к делу. У меня это в крови... Каждая женщина должна работать. Не правда ли? Время жен-содержанок миновало... У меня муж тоже хороший работник, и у него буквально нет ни одной свободной минуты... Дда...

Анна Сергеевна говорила еще много и горячо, и гостья едва улучила момент, чтобы уйти.

IV

Анна Сергеевна была немного удивлена, что гостья так быстро ушла. Походило даже на бегство... А, кажется, она была с ней достаточно любезна, даже слишком любезна, потому что пожертвовала ей целый рабочий час. Впрочем, эти наивные провинциалки совершенно не понимают, что значит работать, рабочее время, работающий человек. Одним

словом, порядочные эгоисты, как все истинные дети природы.

– Ушла и даже не оставила своего адреса, – думала вслух Анна Сергеевна, пожимая плечами. – Очень мило... Ни за что ни про что оторвать человека от срочной работы – и уйти...

Нужно было сделать над собой некоторое усилие, чтобы снова усесться за письменный стол и отыскать то место восьмой главы, с которого шло продолжение перевода. Анна Сергеевна чувствовала, что все это только одна комедия, а работа все равно не будет клеиться. Она была вышиблена из обычного рабочего настроения. Вместо того, чтобы продолжать перевод, Анна Сергеевна позвонила.

– Что Еввочка?

– Они проснулись...

– Хорошо. Иди...

– Кухарка спрашивает, что готовить к обеду...

– Ах, говорят тебе: уходи. Разве не видишь, что я работаю. Потом приду в кухню...

Вопросы питания для Анны Сергеевны составляли вечную и неразрешимую задачу, по-

тому что наука двигалась вперед и вместе с этим поступательным движением менялись и взгляды на питание. Сколько огорчения доставляли Анне Сергеевне одни яйца, – одно время яйцо вкрутую считалось чуть не ядом, потом смятку заменили яйцом в мешочке, потом было решено, что нужно есть один белок, потом – совершенно наоборот – есть один желток, потом прописывались яйца вкрутую, и наконец вегетарианцы заявили, что есть яйца совсем не следует и с точки зрения этики пищи даже стыдно. Вот подите и разберитесь тут... А мясо? Сама Анна Сергеевна воспиталась в эпоху крепких бульонов, мясных вытяжек, либиховского мясного экстракта и – главное – в эпоху «пылающего ростбифа» и кровавых бифштексов. И вдруг... Да, англичане уже не едят бульонов, немцы признают кровавое мясо источником всевозможной заразы, французы питаются одной булкой с салатом. При таких условиях разве легко заказать обед, так себе, с легким сердцем, особенно когда главный вопрос заключается в питании Еввочки. Павел Максимович не шел в счет, и его завтрак заключался в нескольких

бутербродах из супового мяса, которые он уносил в своем портфеле на службу и которыми заедал ежедневную жатву газетных объявлений.

«Мужчины – самые жестокие эгоисты, – любила повторять Анна Сергеевна. – Что бы стал делать Павел Максимович, если бы к нему в правление явилась кухарка и стала требовать меню обеда? В кухне для женщины притаился последний призрак рабства...»

Анна Сергеевна забывала прибавить, что сама она очень любила покушать и могла питаться зараз по разным системам, особенно, если за это не нужно платить.

Еввочка проснулась и долго потягивалась в своей постели. У нее была отдельная спальня, устроенная по плану знаменитостей медицины, а рядом – кабинет, с письменным столом довольно почтенных размеров. Еввочка любила понежиться утром, любила, чтобы горничная надела ей чулки, и долго жмурила слипавшиеся после крепкого сна глаза. Умывшись самой холодной водой, Еввочка накидывала на себя какой-то утренний халатик из термаламы и шла здороваться с мамой, цве-

тущая, красивая, улыбающаяся, с еще не проснувшей улыбкой. Она немножко до-детски шепелявила, и Анна Сергеевна долго целовала ее русую, кругленькую, как у куклы, головку.

– Ты здорова, Еввочка? – тревожно спрашивала Анна Сергеевна, заглядывая дочери в глаза. – Ах ты, мой котеночек…

Сегодня Еввочка вошла в кабинет мамы с обычной, стереотипной улыбкой любящей дочери и даже протянула руки вперед для объятий, но мамы в кабинете не было. Утренний заряд дочерней нежности так и пропал даром… Еввочка нахмурилась и подошла к столу, на котором валялось рекомендательное письмо Алексея Васильича.

– Фу, какой дурацкий конверт! – подумала она вслух. – И почерк дурацкий… От кого это?.. Какой-то Малявин… нет, Мальвин… Малинин… Малин… Ничего не разберешь!..

Анна Сергеевна вернулась именно в этот момент, на ходу объясняя следовавшей за ней кухарке какой-то кухонный рецепт.

– Ах, это ты, Еввочка… Ты здорова?

Мать и дочь некоторое время душили друг

друга в объятиях, хотя Еввочка капризно отворачивалась от неистовых материнских поцелуев.

– Мама, это кто у тебя был? – капризно спрашивала Еввочка, вырвавшись наконец из материнских объятий. – Вот это письмо... такое смешное...

– Да, да... Была одна девушка, которую зовут тоже Еввочкой... Я хорошо знала ее отца... Опоздала на курсы, ищет переводов... Одним словом, самая обыкновенная история. Боже мой, что это я болтаю, – ведь ты еще не пила своего кофе?!. – в ужасе спохватилась Анна Сергеевна. – У тебя нет аппетита?!.

– А какое смешное письмо, мама... Буквы такие тощие, точно их выдерживают на самой строгой диете... голодные буквы совсем, мама.

Боже мой, как Еввочка иногда бывает остроумна! Не правда ли, как это хорошо и верно сказано: голодные буквы? Анна Сергеевна смеялась до слез. Пока Еввочка пила в столовой свой утренний кофе, обмакивая любимые бисквиты в ароматный напиток, Анна Сергеевна все время любовалась ею и думала о том

счастливце-мужчине, которому со временем будет принадлежать это живое совершенство. Да, бывают такие безумно-счастливые люди… Отпивая кофе маленькими глотками, Еввочка продолжала болтать о смешном письме.

– Да, бывают и такие письма, – соглашалась Анна Сергеевна и почему-то вздохнула. – Мне иногда кажется, Еввочка, что ты не достаточно ценишь то, чем пользуешься даром. Ах, как нам с тобой нужно много-много работать!.. А ты иногда манкируешь своими переводами… Меня уж спрашивали в редакции о статье, которую ты сейчас переводишь… Ты не понимаешь, как трудно доставать работу, и не ценишь этого. Да…

Еввочка посмотрела на мать улыбающимися глазами и ответила:

– А у нас будет, наконец, абонемент на оперу, мама? Я без ума от Фигнера…

Рекомендательное письмо Алексея Васильича было забыто на письменном столе Анны Сергеевны, – это был осенний лист, палый с дерева дружбы…

1900

Голос крови

I

Волжский пароход, тяжело разгребая мутную, покрытую радужными нефтяными пятнами воду, подвигался вперед с убийственной медленностью, т. е. так казалось Марье Александровне. Судорожные подергивания пароходного корпуса от работы машины чувствовались даже в рубке первого класса, где сейчас сидела Марья Александровна, что ее волновало и злило, точно какая-то невидимая рука дергала ее, Марью Александровну. Она морщилась и устало закрывала глаза. Ее раздражал и голос мужа, который разговаривал с господином представительной наружности «критического возраста», разыгрывавшим из себя какого-то волжского лендлорда.

«Какие они оба противные, – думала она, съеживаясь. – И как противно оба кривляются...»

Муж, еще молодой человек с бородкой «анри катр», в незнакомом обществе всегда делался каким-то фальшивым, как был фальши-

вым за своим прокурорским столом. У него как-то по-мертвому поднимались угловатые плечи, грудь вваливалась, и голос получал терпкие интонации, точно царапали по сухому дереву. На пароходе он разыгрывал из себя настоящего джентльмена и на этом основании спрятал свою судейскую фуражку в чемодан, а ходил в котелке. Бывали моменты, когда Марья Александровна начинала ненавидеть мужа и тяготилась его присутствием. Попытки преодолеть это чувство не приводили ни к чему, и сейчас она переживала именно такой момент, и муж начинал ей казаться совершенно посторонним человеком, как и его собеседник, такой же фальшивый и какой-то наломанный. У них даже в голосе было что-то общее и в самой манере говорить.

– Я с вами никак не могу согласиться, – говорил муж, растягивая для важности слова. – Есть, конечно, наследственность, что и доказано наукой блестяще, но есть известные границы… да!.. Наука немного увлекается…

– Извините меня, если я с вами не соглашусь, – мягко возражал волжский лендлорд. – Именно здесь нет и не может быть никаких

пределов, и никакая наука не может их установить. Народ определяет крайне характерно и просто: голос крови. Что это значит? А то, что есть бесконечно связующая органическая сила, которая несокрушима, которая проявляет себя более или менее интенсивно, даже на время как будто теряется и выпадает, но это не мешает ей существовать в каждом из нас. В некотором роде каждый из нас является живым итогом всех своих предков. Выражаясь бухгалтерским языком, природа «заитоживает» в нас все пережитки наших кровных предшественников.

Волжский лендлорд, очевидно, старался выражаться как можно кудрявее и временами поглядывал на Марью Александровну, стараясь проверить произведенное впечатление. Муж в свою очередь начинал волноваться, потому что считал себя недюжинным оратором, а тут выходило так, что он встретил недюжинного соперника. В рубке было еще двое, но они не обращали на споривших никакого внимания: «лендлордова жена», как назвала про себя Марья Александровна пышную высокую брюнетку, и сын Марьи Алек-

сандровны, мальчик лет четырех, который давно присматривался к лендлордовой жене, кокетливо прятался за мать и кончил тем, что подошел к ней. Марья Александровна составила от нечего делать характеристику этой дамы: она из какой-нибудь бедной дворянской семьи, училась в институте, провела несколько девичьих зимних сезонов без всякого успеха и, обозленная на все, вышла очертя голову за богатого представительного старика. Она была еще молода, одних почти лет с Марьей Александровной, но ее уже старила преждевременная брюзгливая полнота, вялые движения и апатичный взгляд красивых темных глаз. Потом Марья Александровна определила по завистливому взгляду, каким смотрела лендлордова жена на ее ребенка, что у нее нет своих детей. Старевшаяся прежде времени женщина точно боялась самой себя и не мешалась проявить затаенную нежность к чужому ребенку.

«Какая она несчастная», – решила в заключение Марья Александровна.

– А тебя как зовут? – спрашивал мальчик, усаживаясь на колени к лендлордовой жене.

– Клеопатрой Павловной, – ответила та, стараясь попасть в наивный ребячий тон.

– А меня Борей… папу зовут Петром Николаевичем. А твоего папу?

Клеопатра Павловна слегка заалелась и ответила не вдруг. Ее кольнуло это детское слово: папа.

– Моего папу зовут Николаем Петровичем, – ответила она, взглянув на Марью Александровну с больной улыбкой.

Забравшись на колени, Боря без церемонии принялся играть часовой цепочкой с дорогими брелоками, потом заставил снять брошь с розовой жемчужиной, браслеты, кольца, одним словом – вел себя, как настоящий маленький дикарь. Эта бесцеремонность маленького мужчины волновала и раздражала Клеопатру Павловну. Ей хотелось стиснуть его и долго-долго целовать это розовое личико, пухлую шейку, крошечные ручки, но ей было совестно проявлять свои ласки открыто.

А мужчины продолжали спорить, уснащая речь учеными терминами и последними словами науки. Старик время от времени повторял засевшее у него в мозгу «голос крови», и

Марья Александровна готова была его возненавидеть именно за это. Желая выдержать джентльменский тон, спорившие обращались друг к другу с изысканнейшими любезностями: «Беру на себя смелость обратить ваше внимание...», «Позвольте мне не согласиться с вами...», «Простите, если я предложу вам такую комбинацию...» и т. д. Это было тоже противно.

– Если хотите, наследственность – все...

– А как же тогда прогресс?

– Именно в наследственности и заключается прогресс, как в зерне заключается будущее растение... да-с...

Разыгравшийся Боря в это время начал шалить с присущей мальчикам грубостью. Он тянулся обеими ручонками, чтобы схватит шляпу. Клеопатра Павловна отклоняла голову, но мальчик оказался сильным и успел схватить добычу, причем шляпа съехала набок и пострадала прическа. Эта борьба закончилась совершенно неожиданно: когда Клеопатра Павловна схватила буяна за обе руки, он пребольно укусил ее...

– Ах, какой злой!.. – крикнула она.

Марья Александровна бросилась на выручку и страшно сконфузилась. Но Боря вошел в раж и вцепился в Клеопатру Павловну, как волчонок. В моменты таких вспышек его лицо принимало совсем не детское выражение, как было и сейчас.

– Извините, пожалуйста, Клеопатра Павловна, – бормотала она, силой стаскивая Борю с колен. – Это такой... такой негодный мальчишка!..

Клеопатра Павловна тоже была сконфужена и, стараясь улыбаться, быстро ушла к себе в каюту, чтобы поправить прическу. Боря продолжал барахтаться и делал попытку укусить материнскую руку. Марью Александровну поразило больше всего то, что в лице взбесившегося мальчишки было что-то общее с выражением волжского лендлорда, несмотря на громадную разницу лет. Она схватила сына за руку и потащила его из рубки. Мужчины не обратили никакого внимания на эту маленькую сценку и продолжали свой спор, причем Марья Александровна еще раз услышала при выходе ненавистную ей фразу: «голос крови».

II

Пока Марья Александровна устроилась на палубе, где у нее была своя любимая скамеечка, она успела пережить тысячи самых разнообразных, специально-материнских мыслей и чувств. Да, она уже видела своего Борю взрослым мужчиной, в котором, по всей вероятности, повторится его отец. Он будет так же тянуть слова, так же отвратительно спорить и любить на свете только самого себя. Жену он выберет себе такую же безответную, как его мамаша, и будет ее подавлять на каждом шагу своим ничтожным величием. А под старость превратится вот в такого волжского лендлорда, как этот Николай Петрович. Марью Александровну охватило какое-то щемящее и нехорошее чувство, точно она была в чем-то виновата.

«Да, голос крови», – почему-то повторила она про себя, резюмируя беспорядочное течение своих мыслей.

Боря успокоился и смотрел на Волгу усталыми глазами. А она была так красива, эта истинно-русская река, – красива какою-то ленивой красотой, точно бесконечная проголосная

песня, которая лилась без конца-края, выкидывая отмели, заливая луга и заслоняя горизонт широкими плесами. Хотелось смотреть на нее без конца, переживая ту русскую тоску, которой тоже нет конца-края. Да, хорошо и немного жутко, и как будто чего-то жаль… Ведь в жизни каждого найдутся и свои мели, и перекаты, и высокие берега, и широкие, весенние разливы… Именно такое настроение переживала Марья Александровна, по целым часам сидя на палубе, а сейчас ей сделалось как-то особенно грустно. Что осталось впереди, если разобрать? Неужели вся жизнь уже исчерпана, и все сводится на отбывание какой-то повинности, день за днем, неделя за неделей?..

– Скучно… – резюмировала она вслух свои мысли. – И Клеопатре Павловне тоже скучно…

Мужчины от скуки хоть играют в карты или напиваются, а в лучшем случае заводят бесконечный русский спор, кончающийся ничем.

Занятая своими мыслями, Марья Александровна совсем не заметила, как показалась

вдали та пристань, на которой они должны были выйти. Муж ее разыскал и сухо проговорил, поднимая плечи:

– Вы готовы, Marie?

Он терпеть не мог этих бесконечных дамских сборов, когда десять раз приходится отворять чемоданы, чтобы положить одну за другой забытые вещи. А чего стоит даме одеться, когда шляпа валится набок, крючки расстегиваются, завязки рвутся, шпильки выпадают…

– Сейчас пристань, – проговорил Петр Николаевич, делая усталое лицо.

– Пожалуйста, пусть Боря побудет с тобой, пока я укладываю вещи, – почему-то виноватым голосом ответила Марья Александровна. – Я не заставлю себя ждать…

– Хорошо.

Марья Александровна никак не могла понять мужа, который раздражался из-за всяких пустяков. Это ее сердило до слез, как и сейчас. Она торопливо принялась за работу и быстро ее кончила, так что пароход не успел еще дать свистка. Она вся раскраснелась и должна была напудриться, к чему прибегала

только в крайних случаях. В коридорчике, разделявшем каюты, Марья Александровна при выходе встретила Клеопатру Павловну и еще раз извинилась пред ней за своего буяна.

– Разве можно сердиться на детей? – ответила та со своею печальною улыбкой.

– Да, но все-таки неприятно, когда это милое создание начинает кусаться…

Мужья были на палубе и опять спорили, причем волжский лендлорд держал Петра Николаевича за борт пиджака и торопился доказать что-то тревожно поглядывая на быстро приближавшуюся пристань.

– Если я не ошибаюсь, – напрасно старался перебить его Петр Николаевич. – Мне, вообще, кажется…

– Нет, позвольте мне докончить мою мысль… Конечно, я не больше, как человек толпы, и мое мнение, конечно, ни для кого не обязательно, но за всем тем я позволяю себе иметь свое собственное мнение. Mon verre n’est pas grand, mais je bois dans mon verre…[3]

Это словоизвержение было прервано пароходным свистком, и Петр Николаевич наконец освободился от своего мучителя. Его

немножко начинала шокировать фамильярная манера почтенного собеседника держать себя, – Петр Николаевич не выносил фамильярности и амикошонства. Приличия, конечно, условная вещь, но приятно иметь дело именно с воспитанным человеком.

Пристань была уже совсем близко. На пароходе поднялась обычная в таких случаях суматоха. Русская публика, по принятому обычаю на всех пристанях и железнодорожных станциях, напоминает толпу людей, охваченных припадком острого помешательства. Петр Николаевич возмущался поведением невоспитанного человечества и принимал прокурорский вид.

Когда пароход причалил, и публика ринулась на пристань, волжский лендлорд разыскал в толпе Петра Николаевича и, любезно приподняв мягкую шляпу, вручил ему свою визитную карточку.

– На всякий случай… Знаете, иногда приятно вспомнить о дорожном, случайном знакомстве.

Петр Николаевич вручил свою визитную карточку, пробормотав что-то приятное, что

говорится в таких случаях. Когда случайные знакомые прочли карточки, то с удивлением посмотрели друг на друга и еще раз молча пожали друг другу руку.

– Да, очень... приятно... – проговорил лендлорд, еще раз приподнимая свою шляпу. – Бывают удивительные встречи... Не правда ли?

– Да, очень...

Марья Александровна видела эту сцену только мельком, потому что едва не была смята в напиравшей на мостки толпе. А тут еще приходилось сдерживать рвавшегося вперед Борю. Когда они очутились на пристани. Петр Николаевич остановился у барьера и несколько раз приподнимал свой котелок, отвечая махавшему шляпой лендлорду.

– Кто этот странный господин? – спросила Марья Александровна, удивляясь такому трогательному прощанию.

Петр Николаевич посмотрел на нее, поднял плечи и ответил довольно сухо:

– Это... гм... это мой отец. Я его вижу в первый раз в жизни, потому что он бросил мою мать, когда я еще не родился. Она осталась беременной.

– И ты… ты не плюнул в лицо этому негодяю?!. – шептала Марья Александровна, задыхаясь от волнения. – Ведь это… это… Этому нет названья!..

Он пожал плечами, взглянул на нее сбоку и ответил уже прокурорским тоном:

– *Это* было их дело, то есть отца и матери, а я – лицо постороннее, и меня *это* не касается…

1910

Дверь добра и дверь зла

I

Тетя Марина вечно находилась в каком-то осадном положении. Это была очень милая и добрая старушка, кутавшаяся в шаль и носившая на висках буколь ки из седых волос. Сморщенное старое лицо тети Марины сохраняло тревожное выражение, редко сменявшееся удивительно доброй улыбкой. Она ходила в темных платьях из каких-то удивительно старомодных материй и вечно лечилась от каких-то таинственных старческих недугов, причем доверяла только одному старичку-доктору из остзейских немцев, который прожил всю жизнь в России и говорил очень скверно по-русски. Самым замечательным у тети Марины были темные очки, которые являлись чем-то вроде термометра, показывавшего температуру ее душевного настроения. Если очки были на лбу – настроение было ясное, если они спускались к носу – собиралась туча, а если очки прикрывали глаза – начиналась буря. Все эти перемены душевной температуры особенно хорошо были известны при-

слуге, пользовавшейся ею в своих личных интересах.

Жила тетя Марина в Царском Селе, занимала второй этаж деревянного домика, такого же старенького и добродушного, как сама тетя Марина, и так же глядевшего на улицу своими небольшими оконцами с какой-то затаенной тревогой. В ненастье и в холодные зимние дни эти окна застилались слезой, точно не желая смотреть на то, что делалось за пределами старых стен старого домика. В светлые, хорошие дни в этих окнах среди цветов появлялось такое свеженькое, молодое девичье личико, как будто хотевшее сказать, что старый домик хочет жить. Это была таинственная племянница тети Марины, которую она называла Нитой. Русоволосая девушка, с ясными карими глазами и не по летам серьезным, скорее грустным лицом, являлась чем-то вроде продолжения самой тети Марины, напоминая ее портрет в молодости, висевший в гостиной. Около дома был маленький садик, где Нита проводила лучшие весенние и летние дни. Она сажала цветы, ухаживала за ними с самой трогательной заботли-

востью и не смела подходить к садовой решетке, за которой начинался мир злобы, лжи, коварства и всяких пороков. Садиком для Ниты заканчивался внешний мир.

Самым замечательным в домике, где проживала тетя Марина, были, конечно, две двери – одна, которая вела на парадное крыльцо, и другая, которая служила входом в кухню. Последняя дверь для тети Марины являлась постоянным источником тревог и не угасавшего страха, потому что, несмотря на все предосторожности доброй старушки, внешнее зло постоянно вторгалось именно этим путем. Тетя Марина целые дни прислушивалась к скрипу этой двери (смазывать шарниры было строго воспрещено; это составляло маленькую военную хитрость старушки) и вскакивала даже ночью, когда ей казалось, что кухонная дверь скрипит. Причиной этих старческих страхов было то, что в Царском Селе сосредоточивалось до десяти тысяч отборного войска – кирасиры, гусары, лейб-казаки, уланы, конвой, и тетя Марина находилась на военном положении, как крепость, осажденная десятитысячным неприятелем.

Дело в том, что тетя Марина держала две женские прислуги – кухарку и горничную. Она очень тщательно выбирала их, неустанно следила за их нравственностью, читала постоянно нотации, уговаривала, стараясь привить твердые основы нравственности и внедрить в души простых и неопытных девушек страх перед пороком, который мог проникнуть через дверь зла каждую минуту, и все эти трогательные усилия оказывались тщетными. Десятитысячный враг, в свою очередь, не дремал и наносил тете Марине постоянные поражения.

Когда к тете Марине приезжал худенький старенький генерал Мочкин, бывший артиллерист (у тети Марины все знакомые были старенькие, болезненные и совсем ветхие), старушка жаловалась ему в самых трогательных выражениях:

– Я не понимаю, генерал, чего смотрит правительство?

Старичок-генерал вперед знал, о чем будет речь, и только жевал губами.

– Да, правительство… – повторял он, как эхо.

– Не понимаю! – начинала волноваться тетя Марина. – Разве нельзя издать такой специальный приказ по войскам... о нравственности?

– Да, о нравственности...

– Войдите в мое положение, генерал: их десятитысячный корпус, а я совершенно одна и притом девушка. Конечно, теоретически я понимаю всякую гадость, а практически лишена возможности даже назвать некоторые вещи их собственными именами. Правительство должно войти в мое положение...

– Да, действительно, положение...

– И я должна все терпеть от этих противных солдат... Третьего дня захожу в кухню, а из людской выставляется солдатский сапожище... Я, конечно, сделала вид, что ничего не замечаю, но мне сделалось дурно от одного воздуха, который он принес в мою квартиру. Ведь у меня не казармы, не правда ли? Правительство должно особенно войти в мое положение, как девушки, которая может понимать только теоретически.

– Да, теоретически...

Тетя Марина вечно что-то вязала, и при

разговорах о правительстве в ее сухих руках деревянные спицы начинали делать какие-то судорожные движения, точно они танцевали danse macabre.

– Помните Наташу? – заканчивала тетя Марина свои жалобы.

– Да… Рыженькая такая? – старался догадаться старичок-генерал, хотя слышал эту историю сто раз,

– Вот и нет, совсем не рыженькая, – сердилась тетя Марина, причем очки у нее сползали на нос. – Рыженькая была Даша… кухарка Даша. Ну, та была замужем, и меня ее поведение не касалось, А Наташа… Я ее взяла девчонкой-подростком, воспитала, научила всему… Выросла такая хорошенькая девушка…

– Да, помню, действительно, хорошенькая… Белокурые волосы, вздернутый носик…

– Опять не то!.. Совершенная шатенка…

– Именно я хотел сказать: шатенка.

– Я ее очень любила, т. е. привыкла… Я не понимаю, что этим женщинам нужно? Одеты, сыты, к праздникам получают подарки, часто дают на чай… Кажется, что еще может пожелать простая девушка? Да, совсем, со-

всем простая…

– Да, совсем простая…

У тети Марины вся родня была титулованная и все знакомые с заслугами перед отечеством, и она любила употреблять слово: правительство, потому что правительство должно было защищать девушек, которые если и понимали все, то только теоретически. По присущему девушкам, даже не понимавшим ничего теоретически, такту, Нита всегда исчезала комнаты, когда очки тети Марины принимали угрожающее положение. Молоденькая девушка совершенно не интересовалась тем, что волновало тетю Марину, а ее ветхими генералами меньше всего.

Когда Нита уходила, тетя Марина говорила с тяжелым вздохом:

– Может быть, это очень нехорошо, но я начинаю приходить к убеждению, что люди делятся на две породы: высшую и низшую. Наши понятия, правила и убеждения для низшей породы совершенно не существуют, потому что ее жизнь регулируется низшими животными инстинктами. Конечно, и мы делаем свои ошибки, часто заблуждаемся, но

это совсем, совсем не то. У нашей кухни своя собственная психология, логика и этика. Меня это крайне огорчает, как убежденную христианку, и мне иногда начинает казаться, что древние философы были правы, когда считали рабов особого рода существами. Знаю, что это даже грешно именно с христианской точки зрения, но если правительство совершенно не желает войти в мое положение, что же мне делать?

II

Наступала весна, холодная, сырая и неприятная. Снег таял медленно, точно по заказу. Талая вода застывала по ночам. Иногда ни с того, ни с сего начинал идти снежок, точно пудривший весеннюю грязь на улицах, чахлые садики при домах и крыши. Ните было уже восемнадцать лет, и весной она начинала переживать какую-то неясную для самой себя тревогу. Ее куда-то тянуло, хотелось что-то такое делать, просто – посмотреть, как живут на свете другие люди. Тетя Марина, конечно, была прекрасный человек и очень любила Ниту, но хорошая и добрая старушка никак не желала понимать, что восемнадцати-

летней девушке скучно в обществе стариков и старух. А других знакомых не было. Нита терпеть не могла, когда тетя Марина тащила ее за собой в Петербург, где у ней сохранялись чопорные знакомства с такими же ветхими старушками, как и она сама. И говорили непременно все о чем-то старом, о людях, которых давно и на свете не было, вспоминали разные интересные случаи в своей жизни, которым было лет пятьдесят давности. Старушки даже оживлялись от этих воспоминаний и в присутствии Ниты боялись сказать что-нибудь лишнее. Нита выносила эту пытку и часто думала, что все эти старушонки только притворяются, что были когда-нибудь молодыми. Ей казалось, что она всегда-всегда останется такой же молоденькой и свежей и что жизнь бесконечно длинна и что она непременно умрет, когда на ее лице появится первая морщина.

Тетя Марина, в свою очередь, тоже переживала весеннюю тревогу, и Нита чувствовала, как старушка долго-долго смотрит на нее такими грустными глазами и подавленно вздыхает.

– Тетечка, ты нездорова?

– Ах, нет, моя дорогая…

– Ты чем-то недовольна?

Очки тети Марины начали переезжать на нос, и Нита прекращала свой допрос. Девушка боялась больше всего на свете чем-нибудь огорчить милую, дорогую тетю и успокаивалась, что ни в чем не виновата.

Царскосельская весна, наконец, вступала в свои права, как выражались стилисты доброго старого времени. Развернулись почки, высыпала на проталинках и солнечных угревах первая зелень, в садах запестрели бледные анемоны, эти цветы-рахитики, едва державшиеся на своих зеленых прозрачных ножках. Дворник, исполнявший и должность садовника, приводил в порядок садовые куртины, приготовлял грядки, посыпал дорожки свежим песком. Каждый новый солнечный день производил новое чудо, особенно в небольшом парничке, который Нита любила как что-то живое, где почти на глазах творилась неразрешимая тайна – из казавшегося мертвым зернышка точно просыпалась жизнь, радостная, бодрая, цветущая, благоухающая. Ах,

как хороши эти первые весенние цветы, похо-дившие на прелестных детей!.. Если бы они могли говорить...

Во второй половине мая некоторые цветы были высажены на клумбы, и Нита с особен-ным усердием ухаживала за ними, как уха-живают за дорогими гостями. Но это невин-ное удовольствие имело и свои темные сторо-ны. Вместе с холеными и изнеженными цве-тами выбивалась из земли буйная сорная тра-ва, которую приходилось вырывать без всяко-го сожаления, а между тем Ните было как-то совестно лишать жизни какую-нибудь безы-менную травку, которая, как казалось ей, с какой-то детской доверчивостью смотрела на нее. Вырванная с корнем травка так быстро умирала, превращаясь в никуда негодный са-довый сор. У Ниты даже являлось сомнение в том, что действительно ли настолько краси-вы все эти садовые цветы, чтобы для их бла-гополучия губить такую милую, такую про-стенькую зеленую травку. Ведь, если взять молоденькую крапивку, одуванчики – какие они милые, не правда ли? И так скромненько, как бедные родственники, жмутся где-нибудь

около забора. Другое огорчение представляли акации и кратегусы, которые торчали какой-то стриженой щеткой. Наверно им, бедным, было очень больно, когда осенью дворник подстригал их. Да, это было тяжело и обидно, тем более что они не могли рассказать о своих страданиях. Когда Нита обращалась за разъяснениями к тете Марине, старушка объясняла как-то неопределенно, почему все это нужно.

– Иначе нельзя, Нита, а то сорная трава заглушит все наши цветы, а неподстриженные кусты будут расти, как непричесанные волосы.

Потом как-то само-собой получалось нравоучение в том смысле, что стрижка деревьев и кустов – это то же самое, что воспитание, а удаление сорной травы – это только желание благородных растений остаться в своем обществе.

– Для сорной травы достаточно места в полях и в лесу, – поучительно объясняла тетя Марина. – Зачем она лезет туда, куда ее не приглашали?

– По-твоему, тетя, сорная трава – это наши

горничные, кухарки, дворники, извозчики, вообще мужичье?

– Ах, как ты глупа, Нита! Совсем, совсем ребенок!

Наивность молоденькой девушки приводила старушку в восторг, как залог полной нетронутости.

Дворник повторял то же, что и тетя Марина, хотя выражался грубее. Нита иногда с ним спорила. Раз, когда они копались в садике и, по обыкновению, спорили, Нита услышала за своей спиной чей-то неприятный женский голос.

– Тетя Марина дома? – спрашивала среднего роста дама средних лет.

– Да, дома... – как-то по-детски ответила Нита и недружелюбно посмотрела на гостью.

Дама и одета была как-то не по летам, и лицо у ней было подкрашено, и голос неприятный, а больше всего Ните не понравилось то, что она называет тетю Марину просто тетей Мариной, как называли ее только самые близкие люди, а не Мариной Ильиничной. У садовой калитки стоял извозчик, нагруженный дорожными вещами – чемоданчиками,

саквояжами, свертками в ремнях, картонками. В одной руке у незнакомки болтался дорожный кожаный мешок, а в другой она держала завернутую в плед крошечную собачку.

Нита побежала вперед, чтобы предупредить тетю Марину, но гостья, не дожидаясь приглашения, вошла в гостиную вслед за ней. Старушка подняла глаза на нее, хотела подняться в кресле и побледнела, как полотно. Она едва имела силы, чтобы дать Ните условный знак о выходе.

– Ты… ты… ты жива? – шептала тетя Марина в ужасе, причем очки у нее свалились на пол.

– Тетя Марина…

Гостья сделала несколько быстрых шагов вперед, чтобы обнять старушку, но та поднялась и с необычайной для ее лет быстротой спряталась за высокую спинку своего старомодного кресла.

– Я удивляюсь… удивляюсь, что ты решилась… да, решилась переступить порог моего дома, – шептала она, чувствуя, как вся комната начинает кружиться у нее перед глазами.

Вместо ответа, гостья опустилась на бли-

жайший стул, закрыла лицо руками, и в комнате послышались сдержанные рыдания. Тетя Марина не выносила женских слез, на ее лице выступили красные пятна.

– Для чего еще эта комедия? – заговорила она уже по-французски, оглядываясь на дверь, в которую вышла Нита. – Кажется, уже достаточно было всяких комедий…

Наступила тяжелая и мучительная пауза. Тетя Марина тяжело дышала и все поправляла несуществовавшие больше на носу очки.

– Мне некуда идти, – трагическим шепотом проговорила, наконец, гостья. – Я знаю, что я гадкая… вся гадкая… да… Но ведь и собаку жалеют… Мне некуда идти, тетя Марина…

– Я это давно знаю, – строго и сухо ответила старушка, собираясь с силами – Но я и не говорю о тебе… Дело идет о третьем лице, которое меньше всего виновато и которое может пострадать больше всех.

– Ах, Боже мой, Боже мой! – застонала гостья. – Разве я враг собственному ребенку?

– Не верю, ничему не верю!.. Ните было всего два года, когда я взяла ее, брошенную всеми, несчастную, погибавшую… и для нее

ты умерла, как мать. Так и знай...

– Боже мой, Боже мой!.. Ведь я, кажется, ничего, ничего не требую?.. Я так устала жить...

III

В маленьком деревянном домике совершилось что-то необыкновенное и до последней степени странное, начиная с того, что странная гостья поселилась у тети Марины, за что Нита возненавидела ее еще больше, потому что видела по очкам тети Марины (куплены были новые), как старушка волнуется,

– Я всего на несколько дней, – как-то виновато объясняла она, не глядя ни на кого. – А потом я опять уеду...

В ответ очки тети Марины съезжали на самый кончик носа, и Нита чувствовала, что в их скромное жилище ворвалась какая-то громадная ложь. Она знала только, что гостью зовут Александрой Васильевной, что она приходится тете Марине какой-то дальней родственницей и что она очень-очень несчастна. Когда Александра Васильевна подавленно вздыхала, опуская глаза, Нита не испытывала ни малейшего сожаления. Девушка чувство-

вала какую-то фальшь даже в самом дыхании этой таинственной несчастной женщины. Когда появлялись в доме гости, т. е. ветхие генералы и не менее ветхие титулованные старушки, гостья пряталась в своей комнате. Между прочим, Ните вход в эту комнату был строго воспрещен. Над маленьким деревянным домиком точно повисла какая-то туча. Ниту удивляло больше всего то, что временами Александра Васильевна как-то неожиданно хорошела, а иногда казалась совершенно старухой.

Положение тети Марины в буквальном смысле было отчаянное, так что даже генерал Мочкин заметил:

– А вы мне не нравитесь, сударыня… У вас что-то такое в лице… да. Нужно пить парное молоко и больше гулять в парке…

– Ах, оставьте меня, ради Бога, генерал!

– Нужно пользоваться весной…

Старушка сама не знала, что с ней делается.

В первый момент она ни за что не хотела, чтобы Александра Васильевна хоть на несколько дней поселилась под одной кров-

лей с Нитой, но эта несчастная женщина так плакала, так раскаивалась и давала такие обещания, что не выдержало бы каменное сердце.

– Ах, как я сама желала бы умереть, тетя Марина, – повторяла она постоянно, – да, совсем умереть, чтобы ничего не чувствовать, не знать и не думать и чтобы все меня забыли. Есть вещи, которые женщине не прощаются, и я это знаю... Возврата нет, остается прозябание, приходится скрывать даже самые естественные привязанности... Разве я виновата, что меня так воспитали, что я никуда-никуда не годна? Я не способна ни к какому труду – это главное, у меня нет никаких интересов, какими наполняется жизнь, до известного возраста я умела только быть красивой...

Тетя Марина терпеливо выслушивала эти покаянные речи и в глубине души не верила ни одному слову. О, сколько раз она выслушивала их и была обманута. Первый удобный случай – и Александра Васильевна делалась совершенно другим человеком, у которого, вместо раскаяния, появлялся какой-то отча-

янный голод жизни.

– Что же ты думаешь делать, Alexandrine? – спрашивала старушка по нескольку раз в день. – Ведь надо же как-нибудь жить…

– Не знаю, ничего не знаю, кроме того, что желаю умереть… И я чувствую, что скоро не буду мешать никому-никому.

Вопрос так и оставался открытым, и очки тети Марины больше не поднимались на лоб. А женщина, мечтавшая о смерти, как об избавлении, половину дня тратила на «приведение себя в порядок», как она скромно выражалась, то есть без конца мылась, обтиралась какими-то мудреными специями, красилась, прихорашивалась и т. д. Горничная Оля, простоватая девушка, сообщала дворнику Маркеллу удивительные вещи про гостью, как, например, она стоит чуть не час на одной ноге, заставляет сечь себя по спине какими-то резинками, как заставляет по целым часам растирать кожу на щеках, гладить шею и много-много еще чего другого.

– Не иначе дело, что повреждена чем-нибудь, – решал Маркелл с свойственным ему глубокомыслием. – С барынями это случается

и даже очень просто. Первое дело, что им как есть нет никакого занятия... Ну, вот она и полощется в воде целый день, как утка.

Тетя Марина не заглядывала в комнату гостьи ни разу, но та почти силой затащила ее к себе и показала ей все, что заключалось в чемоданах, саквояжах и картонках. В большинстве все это были никуда не нужные вещи, говорившие о прежней роскоши и легкомыслии Александры Васильевны, и тетя Марина только удивлялась, для чего она все это ей показывает. А между тем, основание было, и очень серьезное. Александра Васильевна отлично знала, что выживавшая из ума старушонка не верит ни одному ее слову и что, с другой стороны, подозревает ее во всевозможных гадостях и, прежде всего и после всего, в невидимом присутствии какого-нибудь мужчины. Она даже обнюхивала фотографии и разные безделушки, точно враг мог здесь спрятаться. Александра Васильевна торжествовала: пусть старушонка ищет. Но этим дело не ограничилось, и она раз со слезами на глазах заявила:

– Милая тетя, вы не обидитесь, если я по-

прошу вас получить мою почту и... просматривать ее, как это делалось в золотые дни моей юности.

– Что ты, что ты!.. – обиделась старушка. – Ты меня принимаешь, кажется, за сыщика или что-то в этом роде... Какое мне дело до того, с кем ты переписываешься.

– Нет, нет, тетя, я этого требую, если могу чего-нибудь требовать... Я и свои письма буду показывать тебе. Тайн у меня нет...

Странно устроено человеческое сердце. То, что в первый момент даже испугало тетю Марину, в следующую минуту сильно ее подкупило. Она даже не сообразила, что, принимая на себя контроль корреспонденции, тем самым как бы санкционирует присутствие Александры Васильевны в ее доме. Последняя мысль пришла к ней в голову уже потом, и только тогда она поняла, в какую западню попалась.

Нита стала замечать, как Александра Васильевна постепенно точно завоевывает тетю Марину. Они вечно о чем-то разговаривали, а когда входила Нита, разговор сейчас же прекращался, и Александра Васильевна уходила

в свою комнату. О чем они могли постоянно разговаривать – для Ниты оставалось тайной. Раз девушку одолело такое любопытство, что она решилась подслушать. Все это вышло само-собой, без всякого намерения с ее стороны, но все-таки она могла уйти и не ушла. Дело было в саду, когда Нита пересаживала левкои. Тетя Марина и Александра Васильевна прошли в садовую беседку и не заметили ее.

– По-моему, все женщины одинаково жалки, – говорила Александра Васильевна. – Это в их организации... А короткая женская жизнь? Да и та вся уходит на детей... А когда женщина, наконец, проснется, почувствует себя самой собой и захочет действительной жизни – ее время уже прошло. Начинается жалкое существование, когда женщину уважают, когда считают нужным высказывать ей свое почтение, преданность, а в сущности – все это такая же ложь, как надписи на могильных плитах.

Тетя Марина ничего не отвечала, и только было слышно, как деревянные спицы в ее руках выбивали лихорадочную дробь. Нита ничего не поняла из этой тирады, кроме того,

что Александра Васильевна говорит какой-то раздражающий тетю вздор.

– Ведь нет ничего легче, как обвинить кого-нибудь, – продолжала Александра Васильевна, – и нет ничего тяжелее, когда женщину обвиняет женщина...

Дальше обе разговаривавшие женщины плакали, потом послышались поцелуи и сдержанный шепот. Александра Васильевна что-то рассказывала вполголоса, делая паузы. Закончилась эта беседа уже совершенно неожиданно. Нита услышала, как смеялась тетя Марина, что с ней случалось крайне редко, и смеялась она как-то особенно смешно, совсем по-детски, – тоненьким-тоненьким голоском, с чисто-детскими всхлипываниями.

– Ах, какие глупые эти мужчины! – повторяла старушка, раскашлявшись от смеха. – Совсем глупые...

– Я расскажу вам, тетя, еще один случай...

– Нет, довольно, милая. Я, кажется, лет двадцать так не смеялась...

Появление в саду Маркелла прекратило эту сцену, и Александра Васильевна увела тетю Марину под руку в комнату. Старушка

несколько раз останавливалась, махала худенькой костлявой ручкой и повторяла:

– Ах, какие глупые…

IV

Александра Васильевна шаг за шагом завладела тетей Мариной и делала это в такой мягкой форме, что старушка не замечала уже собственного плена. Эта Alexandrine знала, кажется, решительно все и умела так смешно рассказывать, особенно о негодяях мужчинах, которые заставляли ее так страдать, пока она ничего-ничего не понимала и всему верила.

– Много ли нужно, чтобы обмануть совершенно неопытную молодую женщину? – повторяла она, подавляя вздох. – Я слишком хорошо думала о людях и слишком дорого заплатила за свою глупую доверчивость.

Переходы от мрачного настроения, раскаяния и полной отрешенности от жизни к самому заразительному веселью у Александры Васильевны происходили как-то особенно быстро, что коробило тетю Марину, и ее очки сползали на нос. Впрочем, Александра Васильевна скоро спохватывалась и поправляла ошибку. В присутствии Ниты она вела себя

чрезвычайно корректно, вернее сказать – делала вид, что не замечает ее присутствия, как не замечают сидящих за общим столом гувернанток, бедных дальних родственниц и подростков в неблагодарном переходном возрасте. Нита платила ей той же монетой, и тетя Марина только удивлялась, откуда берется у девочки столько такта. Мать и дочь держались совершенно чужими, и это выходило даже смешно, хотя тете Марине совсем уж было не до смеха.

Одним словом, в маленьком домике начиналось что-то новое и таинственное. Тетя Марина переживала сменявшиеся настроения: то она верила Александре Васильевне, то начинала сомневаться. Иногда на старушку нападал совершенно беспричинный страх, и она начинала бояться выдуманными страхами. А вдруг она умрет? Куда денется тогда Нита? Естественной руководительницей останется Александра Васильевна, а это… Дальше мысль тети Марины отказывалась работать, и старушка в ужасе закрывала глаза.

Горничная Оля, существо обезволенное до последней степени, и та приняла довольно

деятельное участие в происходившем.

– Вот ужо приедет генерал, так он эту прощалыгу за хвост да об стену, – сообщала она дворнику Маркеллу. – Вишь, как разлетелась… Генерал ей покажет.

– Известно, генерал, – мрачно соглашался Маркелл.

– Наша старая барышня даже совсем поддается… А та лопочет по-французскому, та лопочет – прямо изводит.

– Известно, бабы…

В порыве усердия Оля попробовала закинуть словечко молодой барышне, но, к удивлению, встретила глухой отпор.

– Это не ваше дело, Оля.

Раньше молодая барышня так не разговаривала, и горничная обиженно замолчала. Одна надежда оставалась на генерала, который все разберет. Когда Мочкин приехал, Оля чуть не сбила его с ног от усердия. Старик иногда шутил с ней, трогал за пухлый подбородок и грозил пальцем.

Александра Васильевна ни за что не захотела выйти к гостю и даже попросила подать обед к себе в комнату.

– Нет, это уж невозможно, – обиделась тетя Марина и отправилась сама уговаривать упрямую гостью. – Генерал старый-старый и ничего не помнит. Тебя он не узнает, одним словом…

– Да и я его совсем не помню, тетя.

– Замухрышка такой и все повторяет чужие слова… Вообще, милое, но погибшее создание.

Последняя вульгарная фраза, сорвавшаяся с языка тети Марины совершению случайно, привела ее в ужас. Боже, до чего может дойти человек… Эта гадкая фраза всегда ее возмущала, а тут она сама ее выговорила, да и выговорила каким-то пошлым тоном,

– Я уступаю только насилию, – ответила Александра Васильевна, принимая вид жертвы, и прибавила: – За последствия я не отвечаю, тетя…

Старый генерал посмотрел на Александру Васильевну прищуренными глазами и проговорил:

– Мне кажется, сударыня, что я вас где-то встречал…

– Очень может быть… – сухо ответила

она. – Вероятно, за границей.

– Представьте себе, не бывал-с за границей… Все собираюсь туда. Говорят, даже необходимо там быть, чтобы, так сказать, довершить образование. Хе-хе… Нет, решительно, я где-то вас встречал.

Потом тетя Марина сделалась свидетельницей, как старый генерал развеселился и даже рассказал какой-то ветхий анекдот из своего боевого прошлого. Александра Васильевна делала вид, что не обращает на старика внимания и слушает его старческую болтовню только из вежливости, желая угодить тете Марине.

– Нет, я вас встречал, – повторял старик, напрасно стараясь восстановить далекое прошлое. – Да… гм… Ведь вас зовут Александрой Васильевной?.. Тэ-тэ-тэ…

Очки тети Марины очутились на самом кончике носа, и она строго посмотрела на разболтавшегося генерала, указывая глазами на Ниту.

– Вы не могли встречать Alexandrine, – заметила она. – Она полжизни провела за границей…

Но эта маленькая военная хитрость не спасла старушку. Генерал Мочкин, прищурив один глаз, улыбался, точно ему было двадцать пять лет. Он узнал Александру Васильевну.

«Боже мой, что я наделала, что наделала... – в ужасе думала тетя Марина. – Этот выживший из ума старик способен на все... Он ведет себя, как военный писарек...»

Чтобы переменить тему, старушка заговорила о прислуге, которая испорчена вконец, и генерал Мочкин успокоился. Но на прощанье он все-таки успел шепнуть:

– А Нита ничего не подозревает?

– Ради всего святого, генерал, молчите...

Чему этот ветхий генерал радовался? И еще улыбается и подмигивает... Фи, какая гадость.

Александра Васильевна приняла обиженный вид и молчала. Тете Марине сделалось совестно, что она «поставила ее в такое неловкое положение», и ее очки показывали скверную погоду.

Дальнейшие события полетели с быстротой вихря. Генерал Мочкин начал бывать все

чаще и чаще. Александра Васильевна пряталась от него, но он самым бессовестным образом высиживал целые часы, пока она не выходила, наконец, из своей комнаты. Это было верхом неприличия, и старик точно рехнулся.

– Я его как-нибудь прогоню, – решила тетя Марина. – Приличие – прежде всего, и мужчине можно простить решительно все, кроме бестактности. И какой пример для несчастной Ниты…

Закончилась вся эта глупая история уже совсем неожиданно. В одно прекрасное утро Александра Васильевна объявила за утренним кофе, что уезжает.

– Куда? – удивилась тетя Марина.

Этот естественный вопрос смутил Александру Васильевну, т. е. она опустила глаза и покраснела.

– Я, тетя Марина… да, я выхожу замуж…

– То есть, как замуж? А твой муж?

– О, с мужем у нас все кончено, то есть, он уступает мне десять тысяч.

– Ничего не понимаю!..

– Очень просто. Раньше он просил трид-

цать тысяч, а теперь соглашается за двадцать тысяч.

– Ничего не понимаю.

– Ах, тетя Марина... Ну, это так нынче принято. Мы разводимся, он принимает вину на себя, а ведь даром ничего на свете не делается. Вот и все...

– Отлично. А откуда ты возьмешь столько денег?

– Мне... мне их дает генерал Мочкин. Кстати, я выхожу замуж ведь за него же... А когда он умрет, я буду получать пенсию.

Осенью состоялась свадьба генерала Мочкина, и когда Нита узнала об этом, тетя Марина проговорила:

– Деточка, я больше ничего не понимаю, что делается на свете... Если уж генерал Мочкин... одним словом, не стоит говорить. Пора мне умирать...

Нита так ничего и не узнала, что новая генеральша Мочкина – ее родная мать, а тетя Марина совершенно не понимала, которая сейчас дверь добра и какая – дверь зла...

1900

Любовь

Повесть

I

Марья Сергеевна Горлицына стояла у окна, охваченная одних чувством, одной мыслью, одним желанием… Бывают такие моменты, когда человек, сосредоточившись на одном, забывает все окружающее, ничего не видит и ничего не слышит. Именно в таком настроении и находилась Марья Сергеевна в это серенькое дождливое утро. Очень щепетильная и аккуратная, она не замечала, что у лифа расстегнулось несколько пуговиц; что ворот платья съехал набок; что начинавшие седеть волосы некрасивыми прядями выбивались из-под темной толковой косыночки, приколотой на голове домашним током, что, наконец, веки глаз у нее распухли, а по лицу катились те обидные своим бессилием слезы, которые остаются про себя и являются непрошенными. Да, она плакала, тогда как по всем принятым обычаям должна была бы радоваться…

– *Люба… Люба…* – повторяли сухие губы. – Что ты наделала, моя крошка!.. Ах, Боже

мой... Боже...

В сущности, Люба не сделала ничего такого, что стоило бы так горько оплакивать. Все Любы на свете, рано или поздно, делают то же самое... Люба выходила замуж, о чем объявила сегодня утром. Марья Сергеевна со страхом готовилась к этому событию, вперед переживая все его последствия, и все-таки была поражена как громом, когда Люба за утренним чаем заявила свое непременное желание выйти замуж за Сергея Петровича Шерстнева, очень приличного молодого человека, стоявшего на хорошей дороге. Она даже желала этого брака, когда Шерстнев стал бывать у них в доме, и все-таки испугалась при первом известии о сватовстве. Откуда он взялся, этот Шерстнев? Почему именно Шерстнев, а не Иванов, не Петров, не Сидоров? Наконец, какое он имеет право делать предложение? Ведь Люба одна, и другой такой Любы нет... Да, нет, нет и нет в целом мире! Почему этот Шерстнев не женится на других девушках, а их так много? И вдруг получится Люба Шерстнева. Нет, это ужасно, и только матери знают, как ужасно. В душе Марьи Сергеевны медлен-

но поднималось и нарастало такое нехорошее и враждебное чувство к Шерстневу, вот к этому самому Шерстневу, которого она никак не могла представить себе в роли зятя. Просто, знакомый молодой человек, наконец, знакомый Любы, – и только. Жених Любы в воображении Марьи Сергеевны являлся каким-то высшим существом, а Сергей Шерстнев – самый обыкновенный человек. Да, обыкновенный, и Люба, бедная Люба этого не замечает...

– Ах, Люба, Люба, что ты наделала!..

Марья Сергеевна стояла у окна и безучастно смотрела на мокрый двор, на открытые ворота, на маленький флигелек, тот самый флигелек, где семнадцать лет тому назад разыгралась страшная драма. Да, семнадцать лет... Боже, как быстро пролетело время!.. Давно ли все это было: вчера, третьего дня... А между тем она успела уже состариться. Вот и волосы поседели, и лицо обрюзгло, и под глазами легли первые морщины... Сегодня такой же ненастный осенний день, как и, такой же назойливый осенний дождь зарядил с утра. По стеклам струйками сбегает дождевая вода,

она же журчит по водосточным трубам, заставляет блестеть железную крышу, а старый тополь всегда так красиво зеленеет, точно он умылся. Марья Сергеевна, поглощенная своим горем, не замечает осторожных шагов и только вздрагивает, когда на ее плечо ложится сильная мужская рука.

– Маня… Манечка.

– А, это ты, Nicolas!..

– Да, я, моя голубка…

Среднего роста, плотный и коренастый мужчина как-то виновато замолк. Он тяжело переступает с ноги на ногу и говорит сдавленным шепотом:

– Она там, Люба… в столовой… и ждет ответа…

– Ответа не будет! Понимаешь, я не могу себе представить, что она не будет жить с нами, что мы опять останемся одни, что… ах, это ужасно, ужасно, ужасно!!.

– Манечка, да ведь все девушки выходят замуж, а Люба так его любит!.. И он тоже…

– Не смей мне говорить про него!.. Не смей…

– Маня, Манечка…

– Вы все сговорились против меня... да. Пусть Люба делает, как знает, а я не согласна. Да, не согласна...

Николай Яковлевич делает жалкое лицо, пожимает плечами и проводит рукой по вьющимся волосам, посеребренным первым снегом наступающей осени жизни. Он долго жует губами, подбирая в уме те слова, которые должен сказать сейчас, и никак не может выговорить. Широкое русское лицо полно натуги и бесплодной энергии. Марья Сергеевна остается в прежней позе и, видимо, не желает повернуть к нему своего лица.

– Сколько бессонных ночей провела я вот у этого окна *тогда*... – говорит она медленно, и ее слова падают, как холодные капли осеннего дождя. – Ты вечно был в клубе или у знакомых, а я оставалась одна, одна, одна... Одна с своим горем, жалкая, разбитая, уничтоженная. Сколько раз мне приходила в голову мысль о самоубийстве... Ах, как было тяжело!..

– Манечка, зачем же вспоминать старое? Кажется, ты теперь не можешь пожаловаться на меня?..

– Я и не хочу упрекать тебя, а так... Нет, ты лучше ничего не говори со мной, Nicolas. Меня давеча охватило такое безумное горе, что я не могу опомниться до сих пор...

Николай Яковлевич на цыпочках отошел к двери, точно боялся разбудить жену, и остановился. Да, вот это та самая комната, куда принесли маленькую Любу; здесь она любила играть ребенком; вот рояль, на котором она проделывала свои гаммы – все до мельчайших подробностей напоминало ее, милую девочку, и Николай Яковлевич с трудом перевел дыхание, точно его что придавило. Да, всякая вещь здесь будет говорить о Любе, кричать о ней... Эти немые свидетели тихого семейного счастья неумолимы, и он вперед переживал все. Скверное положение, как хотите, особенно когда за плечами пятьдесят лет, и впереди – ничего... Но все-таки нужно же что-нибудь делать, а в таких случаях единственное спасение – поступать решительно. Он вернулся к жене и торопливо проговорил, точно боялся, что роковые слова засядут у него в горле:

– Ты, Маня, должна объясниться с Любой, а

я переговорю с ним… Нельзя же откладывать, моя хорошая. Соберись с силами…

– Ах, я не могу, не могу…

– Да, конечно, *это* нужно было сделать раньше… Я даже говорил тебе об этом раньше.

– Ничего ты не говорил никогда! – резко заметила Марья Сергеевна, и у нее на лице выступили те красные пятна, которых всегда так боялся Николай Яковлевич. – Это я тебе говорила, а ты по своей бесхарактерности все откладывал… Вот и дождались. О, Боже мой, Боже… Это убьет Любу. Она, бедняжка, ничего и не подозревает… Теперь ступай и объясняйся с ней сам.

– Что же, я и пойду. Да, пойду…

Николай Яковлевич даже сделал несколько шагов по направлению столовой, но жена его остановила.

– Нет, я сама… Ты ничего не сумеешь сделать.

Она, слегка пошатываясь, как отуманенная, пошла в столовую, а Николай Яковлевич остался в гостиной. Он бессильно опустился на ближайший венский стул и даже закрыл

глаза, как человек, приготовившийся принять роковой удар. А шаги жены все замирали… Вот она прошла зал, вот слегка скрипнула дверь в столовую (сколько раз было говорено старой няньке, чтобы смазала чем-нибудь шарнир!); вот все смолкло… У Николая Яковлевича пробежали мурашки по спине, а в горле что-то защипало. Ах, какое скверное положение!.. Главное, дышать совсем нечем.

Когда Марья Сергеевна вошла в столовую, Люба сидела на своем обычном месте и подняла вопросительно свои серые умные глаза. Первое, что бросилось матери в глаза, – это решительное выражение этих глаз, и лица, и всей фигуры. Так смотрят только обреченные люди… Да, Люба уже теперь была чужою в этих самых стенах, и у нее было уже «лицо». В разговорах с женой Николай Яковлевич часто говорил шутя:

– Наша Люба совсем еще ребенок: у нее нет еще лица. Нельзя даже сказать, красивая она или некрасивая, а так что-то совсем неопределенное… ребячье…

И вот «лицо» явилось – и какое лицо! Марья Сергеевна посмотрела на дочь как-то ис-

пуганно. Именно это «лицо» придало ей и решимость, и силу для объяснения. Люба, в своем домашнем шерстяном платье, сегодня была почти красавицей. Правильное русское лицо дышало утренней свежестью, глаза казались темнее, небрежно зачесанные русые волосы открывали красивый белый лоб; детская полнота подбородка и мягкий носик, покрытый чуть заметными крапинками веснушек, придавали ей особенную миловидность. Марья Сергеевна остановилась в дверях, чтобы перевести дух. Люба сделала движение подняться, но мать предупредила ее и жестом попросила остаться на том же месте. Ей вдруг показалось во взгляде дочери какое-то враждебное выражение. Это ее на мгновение смутило, и она только чувствовала, что забыла все те слова, с которыми шла вот в эту столовую.

– Люба, мне нужно поговорить с тобой серьезно… – начала, наконец, Марья Сергеевна, машинально поправляя волосы. – Дело в том, что все случилось так неожиданно…

Белый лоб Любы нахмурился. Она высвободила руку из-под стола и вызывающе взгля-

нула на мать, ожидая целого потока «жалких» материнских слов. Кажется, все просто и ясно – так нет, нужно душу тянуть из живого человека.

– Только одно условие, мама: нельзя ли поскорее… – нетерпеливо ответила Люба, облокачиваясь на стол. – Я вообще не понимаю, мама, что вы имеете против Сергея Петровича?..

– Я о нем ничего не говорю, моя дорогая… Для нас он приличный молодой человек, и только. Раз, мы принимали его в своем доме, следовательно, должны были рассчитывать на известные последствия… Одним словом, дело сейчас не о нем…

Люба облегченно вздохнула и посмотрела на мать благодарными глазами. Милая мама, как она встревожена! И все только потому, что не знает, какой хороший человек Сергей Петрович и как он любит ее, Любу. Да вот и он, легок на помине… В передней раздался знакомый звонов, а затем послышался голос Николая Яковлевича. Чуткое ухо Любы ловило знакомые звуки, и невольная радостная улыбка осветила ее лицо. Ведь он тут, Сережа,

а мама продолжает делать свое постное лицо. Ах, какая она миленькая и какая смешная!.. Марья Сергеевна тоже прислушивалась к шуму, доносившемуся из гостиной. Она различала мужские тяжелые шаги и какое-то мычанье мужа, который, по своему обыкновению, мямлил и не говорил сразу, что было нужно сказать. Этот несносный Николай Яковлевич всегда так, и еще что-нибудь наверное напортит.

– Мама, я жду…

В переводе это значило, что Люба сгорала от нетерпения поскорее выскочить в гостиную, чтобы увидеть «своего» Сергея Петровича. Марью Сергеевну точно что кольнуло в сердце: прежней Любы не было, а перед ней сидела совсем другая девушка… Да, другая и чужая.

– Мы сами виноваты, Люба, что раньше не предупредили тебя, – заговорила Марья Сергеевна, возвращаясь к своему печально-торжественному тону. – Да, это было несправедливо – оставлять тебя в неведении, но когда ты будешь взрослой женщиной, то поймешь наши чувства… Едва ли кто-нибудь осудит нас

за это, но бывают особенные положения... Ты принесла нам, Люба, такое счастье, такое счастье...

Крупные слезы так и покатились по лицу Марьи Сергеевны. Она теперь ненавидела себя за то, что никак не может произнести рокового слова. Люба вдруг присмирела и смотрела на нее испуганными глазами. Что такое случилось?.. Может быть, что-нибудь наговорили про Сережу? Но, нет, ему стоит войти, взглянуть, заговорить, чтобы каждый сразу увидел, какая это чистая и прекрасная душа. Это сомнение сменилось такой уверенностью, что Люба опять посмотрела на мать и только пожала плечами.

– Видишь ли, голубчик... – заговорила Марья Сергеевна, собирая все свое присутствие духа. – Нужно тебе сказать... дело в том, что... Одним словом, ты – не наша дочь... да.

Люба поднялась и посмотрела на мать остановившимися, непонимавшими глазами. Лицо сразу побледнело, и белая рука крепко ухватилась за ручку стула, точно в ней заключалось все спасение.

– Не... не... как не ваша? – медленно спро-

сила девушка, чувствуя, что вся комната начинает двигаться около нее. – Что это значит?.. Я... я... я не понимаю...

– Голубчик, не волнуйся... Я все расскажу тебе по порядку. Если хочешь, так ты гораздо больше наша дочь, чем если бы я тебя родила... Наконец, для девушки это и не важно, какую она фамилию носит, потому что всегда может ее переменить на другую.

– Мама, мама... Я ничего не хочу знать! Не хочу ничего слушать!.. Я твоя... всегда твоя!.. – лепетала Люба, как-то по-детски протягивая руки вперед. – К чему ты мне все это говоришь?.. Я не хочу знать ничего... Мама, мама...

Марья Сергеевна только теперь поняла, как нетактично повела дело. А Люба лежала у нее на плече, целовала ее лицо, шею, руки и не давала говорить дальше. В первоначальной редакции объяснение с Любой предполагалось в другой форме: Марья Сергеевна должна была рассказать аналогичный случай с другой девушкой, узнающей накануне замужества, что она не настоящая дочь, и, уже судя по произведенному впечатлению, открыть

ей горькую истину. А язык сказал совершенно иначе… Ах, как это глупо, глупо и еще раз глупо!.. Бедная девочка так страдает…

Усадив Любу на стул и дав время ей немного оправиться, Марья Сергеевна приступила к печальному рассказу. Девушка слушала ее с исступленным вниманием и чувствовала, как каждое слово падало на ее голову холодной каплей воды. В течение рокового часа разрушено было все прошлое, все настоящее и все будущее. Люба не плакала, а только судорожно набирала в грудь воздуха и время от времени обводила комнату глазами, точно хотела убедиться, что все это сон, бред, галлюцинация.

– Я была так несчастна *тогда*… так убита… – рассказывала Марья Сергеевна, опустив голову. – Несколько раз у меня даже являлась мысль о самоубийстве… Но Господь услышал мои слезы, мое одинокое горе и послал мне тебя, моя крошка: ты принесла нам счастье и любовь.

Николай Яковлевич несколько раз подходил на цыпочках в затворенной двери в столовую и даже конвульсивно улыбнулся: слы-

шался голос одной Марьи Сергеевны, а Люба молчала. Ну, что же, немного поплачет, и тому делу конец. На молодом теле и не это изнашивается, а тут и утешитель налицо… Вон каким орлом похаживает Сергей-то Петрович! В сущности, Николай Яковлевич смалодушествовал и никаких серьезных объяснений с будущим зятем не имел. Он оправдывал себя тем, что пусть сначала мать переговорит с Любой, а потом… Не все ли равно Сергею Петровичу, какая фамилия у Любы?.. В сущности, смешно было поднимать всю эту кутерьму.

Совещания матери и дочери кончились совершенно неожиданно. Марья Сергеевна вышла из столовой такая бледная и расстроенная, молча поздоровалась с Шерстневым и заявила, что Люба не может сегодня выйти. Шерстнев, в свою очередь, только развел руками. Что сей сон значит? Это был приличной наружности молодой человек, прилично одетый, с приличными манерами. Белокурая пушистая бородка придавала ему преждевременно солидный вид.

– Как же так? – повторял он, пощипывая бородку. – Надеюсь, болезнь не опасная?..

В этот момент в дверях гостиной показалась Люба, точно привидение. Она обвела всех глазами и проговорила:

– Сергей Петрович, я беру свое слово назад, потому что... потому что...

Она не договорила, закрыла лицо руками и так же быстро исчезла, как появилась.

II

Вот о чем рассказала Любе Марья Сергеевна.

Она вышла замуж очень молодой, всего шестнадцати лет, и первые годы была очень счастлива. Николай Яковлевич был тоже молод, и это молодое счастье неслось стрелой. Женились они по любви, и счастью не предвиделось конца. У Николая Яковлевича было свое небольшое состояние, хорошая служба и вообще совершенно обеспеченное положение, так что нужда ни разу не постучалась в дверь счастливого дома. Так прошел и год, и другой, и третий. Впереди было тоже счастье. Все знакомые любовались примерной парочкой и говорили: «Вот как нужно жить». Да, все это было, и все это прошло. Беспричинное молодое счастье рассеялось, как утренний ту-

ман. Как это случилось – Марья Сергеевна до сих пор не могла дать себе определенного отчета. Молодое счастье разрушалось день за днем незаметно, как берег, подмываемый водой. Серьезных причин никаких не было. Марья Сергеевна не могла упрекнуть себя ни в чем, да и Николай Яковлевич был по натуре не злой и не испорченный человек. Может быть, как все счастливые люди, он не хотел замечать своего счастья; может быть, это безоблачное счастье придало ему излишнюю самоуверенность, просто надоело наконец... Ведь здоровые люди не чувствуют своего здоровья, пока здоровы, и часто разрушают его самым добросовестным образом. Так было и тут... Началось с того, что Николай Яковлевич заметно стал скучать дома и искал развлечений. Появились новые знакомые, которых Марья Сергеевна принимала только для мужа; затем Николай Яковлевич начал исчезать из дома. Ах, как это было ужасно! Днем он на службе, а как только наступит вечер... Нет, это была медленная пытка, отравлявшая жизнь капля за каплей. Марья Сергеевна видела, как муж бежал из дому, и ничего не мог-

ла поделать. Силой милому не быть... Она даже не старалась удержать мужа, потому что это не привело бы ни к чему.

Раз – этому мешала ее собственная женская гордость, а второе – она не желала показаться смешной и лишней в собственных глазах. Какое это ужасное слово: *лишний* человек, т. е. человек, который никому не нужен и от которого бегут, как от чумы. Затем, из чувства той же гордости Марья Сергеевна не только никому не жаловалась на свое положение, но самым тщательным образом скрывала его и от родных, и от самых близких знакомых. Если счастье брызжет у всех на глазах всеми цветами радуги, то горе прячется по темным углам и боится света. По внешности Марья Сергеевна продолжала разыгрывать роль счастливой женщины даже перед самой собой, – она по натуре не выносила вечно хныкающих, слезливых «баб», которые тащат в люди все свои домашние дрязги, неприятности и огорчения. Это всегда ее возмущало, и она не желала повторить своим примером одну из таких жалких жен. Счастье так счастье, горе так горе, но и счастье, и горе – у се-

бя дома, скрытые от каждого постороннего глаза, как дорогая могила.

Этот женский героизм доходил до того, что Марья Сергеевна со спокойным лицом сама советовала мужу, чтобы он ехал вечером в клуб или куда-нибудь к знакомым.

– Тебе там будет весело, Nicolas, – прибавляла она с веселой улыбкой.

– Да… гм… А как же ты, Маня?.. Тебе скучно одной сидеть дома, – говорил Николай Яковлевич для формы, испытующе глядя на жену.

– Я? О, пожалуйста, обо мне не беспокойся… У меня есть и свои домашние дела, и чтение. Одним словом, я не буду скучать…

Николай Яковлевич, конечно, чувствовал всю эту самоотверженную ложь, но старался уверить себя, что это чистая монета, потому что хотел этому верить. Он каждый раз вздыхал свободно, когда выходил из дома, и сразу веселел, как все легкомысленные люди. Конечно, жене скучно сидеть одной, да ведь и он не сиделка… Наконец, все другие так же делают, и тут решительно ничего дурного нет. А там веселая мужская компания, разго-

воры, карты, холостые ужины и выпивки. Домой Николай Яковлевич частенько возвращался навеселе, и когда бы он ни вернулся, всегда повторялась одна и та же история: окна в спальне жены были освещены. Она никак не могла усвоить себе прекрасную привычку других жен, которые мирно спали. Эти освещенные окна раз поднимали в душе Николая Яковлевича тяжелое чувство, точно живой упрек, та неумирающая совесть, которая подает свой неподкупный голос даже и в душе отъявленного бездельника. Решительно, эти освещенные окна отравляли жизнь, и Николай Яковлевич входил в спальню жены хмурый и раздраженный. Он вперед был готов ответить на ее упреки и жалобы. В нем кипела жажда сказать ей что-нибудь неприятное, обидное. Это было странное чувство, испытываемое только виноватыми людьми, желающими оправдаться во что бы то ни стало. Иногда Николай Яковлевич начинал придираться в жене.

– Отчего ты не спишь?

– Не хочется… Я читала.

Николай Яковлевич делал нетерпеливое

движение: жена явно лгала. Да… она просто хотела сделать ему неприятность: пусть, мол, смотрит и казнится, какая она несчастная женщина. Эта мысль возмущала его. К чему эта комедия?..

– Ты желаешь, Маня, афишировать свое одиночество… – ядовито говорил Николай Яковлевич, улыбаясь. – Все знакомые, которые едут по улице, будут думать: «Бедная Марья Сергеевна опять одна, а муженек шляется по клубам… Бедняжка, напрасно она его ждет!» Что ж, ты достигаешь своей цели и прекрасно разыгрываешь роль несчастной жертвы.

– Не могу же я лежать с закрытыми глазами, когда мне не хочется спать!..

– А как же другие женщины?.. Впрочем, все бабы цепляются за своих мужей, как репей… Отчего, например, ты не хочешь бывать в обществе? Завела бы таких знакомых женщин, с которыми не было бы скучно… Наконец, у нас столько знакомых, и все спрашивают про тебя: «Что Марья Сергеевна? Отчего не видно Марьи Сергеевны?» В переводе это значит: «Ах, какой вы бездельник, Николай Яко-

влевич»... Разве я не понимаю? Сделай милость, все вижу насквозь...

Марья Сергеевна собирала все силы, чтобы выдержать характер и не наговорить в свою очередь ему неприятных вещей. Но иногда она не могла выдерживать, и происходили горячие сцены, те гадкие, обидные домашние сцены, когда стороны начинают осыпать друг друга упреками, жалкими словами, оскорблениями и обвинениями в самых ужасных вещах. Чем нелепее и чудовищнее были оскорбления, тем они быстрее пускались в ход и сейчас же вызывали ответный взрыв. Такая сцена заканчивалась для Марьи Сергеевны горькими слезами, а Николай Яковлевич бегал по комнате, как сумасшедший, размахивал руками и хриплым голосом выкрикивал какое-нибудь новое проклятие. Какие они были жалкие, когда такая сцена наконец кончалась! Не было даже того хорошего и здорового стыда, который наступает после сделанной несправедливости, а оставалось какое-то мертвое чувство озлобления, точно самое сердце ржавело в этих несчастных домашних сценах.

Было несколько таких сцен, которые за-

канчивались тем, что Николай Яковлевич убегал из дому. Марья Сергеевна оставалась одна, уничтоженная, жалкая, несчастная. Ей некуда было бежать, и она начинала думать о смерти. Ведь умирают другие люди, молодые, любимые, счастливые, а она должна жить, – если можно назвать жизнью это жалкое прозябание. Да, хорошо умереть именно тогда, когда человек еще не развалина, а в полных силах. Тот же Николай одумался бы и пожалел ее... Он стал бы горько раскаиваться и оплакивать свою несправедливость, а она лежала бы в могиле такая молодая, с неизжитым запасом сил. Мысль о смерти все чаще и чаще приходила в голову Марьи Сергеевны, и ей нравилось останавливаться на ней. Это было последнее возмездие за короткое счастье... Она часто видела себя именно в гробу и горько оплакивала свою испорченную молодую жизнь...

В семьях счастье, как и здоровье, накопляется золотниками, а уходит пудами. Дом, охваченный несчастием, является могилой, с той разницей, что тут каждая вещь, каждая мелочь – напоминает краткие мгновения уле-

тевшего счастья. Именно с таким чувством ходила по своим комнатам Марья Сергеевна, точно покойник, вставший из могилы, по своему кладбищу. Душа отлетела, оставалась одна мертвая форма, никому ненужная форма, которая держалась чисто механически. Не было того внутреннего света, который живил и согревал всю эту мертвую обстановку, любимые вещи, этих немых свидетелей улетевшего счастья. Женщина вся – в этой обстановке своего гнезда; след ее руки остается на каждой мелочи; ее вкусы, мысли, желания отливаются в эти домашние вещи... И вдруг все это мертво, все это чужое, ненужное, почти враждебное, и от всего веет холодом смерти. Ведь любовь не возвращается, как не возвращается жизнь, и только чудо может воскресить мертвого человека. По целым часам Марья Сергеевна молилась перед образком, благословением матери, и со слезами просила Матерь Божию заступить, спасти и помиловать. Божественная кротость глядела на нее, и тихое спокойствие на время осеняло ее... Незримо творилось великое чудо молитвы, и оно спасало приходившую в отчаяние душу;

но Марья Сергеевна не всегда могла молиться, а молитва вынужденная не давала успокоения. Ах, какое это было ужасное чувство, когда душа пустела и покрывалась мраком!..

Оставаясь одна, Марья Сергеевна часто думала о том, что за человек Николай Яковлевич, и что за причина их семейного разлада. Ее каждый раз огорчала одна и та же мысль, именно, что Николай Яковлевич человек хороший, и все знакомые его любили. Глядя на него со стороны, она сказала бы то же самое: хороший человек, – и только. Посторонние люди всегда справедливее. Да, хороший... Конечно, он не гений и нисколько не виноват, что порох изобретен до него. Немножко бесхарактерный, немножко легкомысленный, немножко самонадеянный, но ведь все мужчины одинаковы. У него было даже то, что называется «семейной шишкой». И вдруг, вот этот самый хороший человек бегает из своего дома, ему скучно дома; у себя дома он – как мертвый... В каждом слове, в каждом движении чувствовалось именно это омертвение. А где причины? Марья Сергеевна со строгостью следователя разбирала всю свою жизнь, свой

характер, наружность и не находила объяснения охлаждению мужа. Ведь она-то все та же… Ей часто хотелось сказать именно такую фразу: «Nicolas, ведь я все та же, твоя Маня»… Но роковые слова замирали на губах, а вместо них получался безжалостный вывод, что как много есть людей, прекрасных в отдельности и несчастных вместе. Отсюда прямое заключение: необходимо разойтись, пока не случилось чего-нибудь худшего, чего нельзя и поправить. Да, разойтись… Сколько нынче таких соломенных вдов и соломенных вдовцов! Некоторые опять находят новое счастье… Одна мысль об этом леденила мозг Марьи Сергеевны своей чудовищностью: она даже не могла представить себе другого мужчину, который заменил бы ей Nicolas, того Nicolas, который был неразрывной частью ее самой, лучшей ее частью. Она часто думала о том, что если бы он умер… Нет, она свято пронесла бы свое горе, свое одиночество, свои слезы, и в ее душу закрадывалось преступное желание, чтобы муж умер. О, тогда он был бы весь ее; она оплакивала бы его, молилась бы за него, и ничто, ничто не вырвало бы его из ее объ-

ятий! Ведь смерть заставила бы забыть все обиды, всю горечь жизни, все оскорбления. Она опять любила бы его, и ее сердце было бы его могилой. Но все эти мысли и чувства разлетались, как дым, пред действительностью…

А худшее, горшее было впереди.

Марья Сергеевна со страхом ожидала того рокового дня, когда у нее явится счастливая соперница. Ведь это должно была случиться, это было неизбежно… Она инстинктивно готовилась к этой мысли, сверлившей ее мозг. В несчастиях есть своя логика, своя последовательность и своя неизбежность. Она не следила за мужем, как это делают другие женщины, не выспрашивала, не допытывалась. К чему? Когда знакомые в ее присутствии делали какой-нибудь нескромный намек или начинали говорить между строк, она сейчас же уходила. Nicolas может, конечно, ошибаться и делать глупости, как все другие люди, но для нее он оставался все тем же, нет! – еще более дорогим и любимым. Она насильно вызывала образы недавнего счастья, шептала слова недавней любви, и этими сухими осенними листьями покрывалась свежая, еще неостыв-

шая могила. Чужая рука не должна была касаться до ее горя... Да, они несчастна, но несчастна про себя.

Случилось, наконец, и последнее – страшное, что проходила раньше только в воображении. Марья Сергеевна это почувствовала всем своим существом, когда муж посмотрел на нее виноватыми глазами. Ее охватил физический ужас, отвращение, гордое негодование. Ей не нужно было слов, когда все так было ясно. Есть такие вещи, которые не называются словами, потому что для таких вещей нет подходящих слов. Она не желала даже знать, кто ее счастливая соперница. Не все ли равно, кто она?.. Вот эти любимые глаза смотрели на нее, эти руки протягивались в ней, эти губы прошептали первые преступные слова, и все чистое, все святое, было смято, уничтожено и загрязнено. И слез больше не было... Не было и сцен. Напротив, Nicolas както притих и старался быть даже ласковым. Ах, какая обидная ласковость! Точно свет холодного осеннего солнца, который потерял свою живую теплоту. Не нужно, ничего не нужно... Как он не понимает, что она все зна-

ет… все!.. Раньше была несчастная женщина, а теперь обманутая… Да, обманутая, поруганная и гордая своим погибшим счастьем. Ведь она так не сделает, она не может, так сделать… И у Nicolas такой потерянный вид. Он не нашел своего второго счастья и тоже мучится.

Если раньше время тянулось с убийственной медленностью, то теперь оно полетело стрелой. Первое смущение Nicolas сменилось тем фатальным чувством, которое испытывает человек, отбитый волной от родного берега. Страшен был первый шаг, а там безбрежное открытое море, море порока и жалких увлечений. Скоро получено было письмо: Марья Сергеевна узнала его по конверту, по женскому почерку, но не распечатала из гордости, а сама передала в руки мужу.

– Это, кажется, тебе, Nicolas…

Нужно было видеть смущение попавшегося Николая Яковлевича, как он торопливо сунул письмо в карман.

– Что же ты его не прочитаешь? – заметила Марья Сергеевна. – Может быть какое-нибудь деловое письмо…

– Нет… так… то есть вздор.

Марья Сергеевна опустила глаза и покраснела за мужа. У него еще оставался маленький стыд, последний отблеск совести, и ей сделалось даже его жаль.

Скоро она увидела ее собственными глазами. Это было в концерте. Марья Сергеевна любила музыку. В ней она находила певучие иллюстрации к собственным мукам. Тот таинственный мир тончайших ощущений и смутных мыслей, пред которыми бессильно было слово, облекался здесь в такие изящные звуковые формы. Наболевшее сердце находило ответ, аккорды плакали и звали в неведомую даль. Марья Сергеевна проводила несколько часов в каком-то сладком забытье и чувствовала себя лучше, чище, бодрее. Все временное, горькое, обидное стряхивалось, заменялось чувством полноты и неумирающей поэзии. Таинственным путем это горе и слезы точно переплавлялись во что-то такое хорошее и новое. Именно в таком настроении находилась Марья Сергеевна, когда ей указали во втором ряду кресел молодую белокурую даму с близорукими глазами. Это была она, да,

та самая, которая написала Nicolas письмо. Ужасного в ней Марья Сергеевна ничего не нашла и могла только удивляться вкусу Nicolas.

– Докторша, – рекомендовала ее одна старая знакомая. – У нее молодой муж, но это не мешает ей быть «приятной во всех отношениях». И что в ней нашел Nicolas?.. Моль какая-то… Белобрысая, рыхлая…

Марья Сергеевна уехала сейчас же домой, потому что не могла видеть этой дамы, приятной во всех отношениях. Ей было и больно, и гадко, а воображение рисовало ряд самых обидных картин. Вот эта ничтожная, пухлая тварь растоптала ее счастье… Нет, этого слишком много для нее: она донашивала призрак этого счастья, как донашивают старое платье. Больше Марья Сергеевна ничего не хотела знать о докторше: что она такое, что за человек ее муж, что могло понравиться в ней Nicolas. Нет, не надо, ничего не надо…

В следующий раз Марья Сергеевна встретила роковую докторшу на улице. Та, очевидно, узнала ее и вскинула свои серые глаза с торжествующим любопытством. Да, она тор-

жествовала свое падение, и Марье Сергеевне хотелось ей крикнуть: «Мне жаль вас, приятная дама... да. Я обманута, но я чистая, а вы даже не имеете права смотреть мне прямо в глаза». Затем, эта докторша не знает той простой истины, что она является для Nicolas только первой ступенькой в лестнице грядущих радостей. Такие связи слишком непрочны...

И действительно, не прошло месяца, как опять получилось письмо на имя Nicolas, написанное тем же женским почерком, но уже написанное впопыхах, прыгающими буквами. Оно, очевидно, было рассчитано на скандал: пусть жена прочитает и полюбуется... Но Марья Сергеевна не взяла его даже в руки. На следующий день – новое послание: адрес был написан дрожавшей рукой, и строчки шли ломаной линией. Ах, как отлично понимала Марья Сергеевна содержание этих писем!.. Это была первая горячая размолвка, и Nicolas целый вечер просидел дома. Затем, он видимо одумался, и третьего письма не было. Счастье восстановилось, и блондинка торжествовала.

III

Но худшее было еще впереди. Марья Сергеевна боялась полного нравственного падения Nicolas, и оно случилось. Он начал пить и возвращался домой только утром, измятый, грязный и упрямый упрямством погибающего человека. Он дошел до последних ступенек той роковой лестницы, по которой поднимался и находил утешение в ласках продажных женщин. Да, она это чувствовала и брезгливо вздрагивала, когда он входил в ее комнату, внося с собой атмосферу дешевенького разврата. У него больше не оставалось стыда, того стыда, который сдерживает человека в крайности. Nicolas прошел роковую границу и плыл по течению, очертя голову.

– Nicolas, что ты делаешь? – вырвалось однажды у Марьи Сергеевны.

– Я? Не больше того, что ты предполагаешь... А впрочем, все равно, мы не поймем друг друга.

Он смотрел на нее такими бессовестными глазами, что ей сделалось страшно: такие люди способны на все. А какие письма получались?! Отчаяние сквозило в каждой букве,

ревность, бессильные женские слезы, запоздавший женский стыд, глухая, бессильная злоба… Nicolas нарочно оставлял распечатанные письма на своем письменном столе и только улыбался, нехорошо улыбался, как сытый зверь, который рвет живое мясо только для собственного удовольствия. Марья Сергеевна теперь ненавидела его вдвойне, как гадину. О, да, она еще могла понять увлечения, ошибки, страсть, но этот холодный куплённый разврат возмущал ее до последней степени. Больше ничего не оставалось. Она пробовала уговаривать мужа, плакала, умоляла, а он смеялся и говорил с циничесой улыбкой:

– У женщин один общий недостаток: они ужасно походят одна на другую и повторяются даже в недостатках. Понимаешь, мне это надоело…

– Я понимаю одно, что мне следовало давно уйти… Да…

– Ну, вот теперь все женщины именно так рассуждают, но это, матушка, просто банально… Сотни таких ушедших от своих мужей, женщин, и все они похожи одна на другую до тошноты.

– Nicolas, что ты говоришь?.. Опомнись... Есть, наконец, совесть... правда...

– Может быть... Но есть также и скука выслушивать жалкие слова.

Блондинка оказалась гораздо энергичнее, чем можно было предполагать, и сумела отмстить. Она не остановилась даже перед тем, что рассказала все мужу. Доктор Мешков принадлежал к типу тружеников. Он вечно корпел у себя в больнице или разъезжал по больным. Болезненный по натуре, тихий и любящий, он не поверил жене в первую минуту, приняв ее признание за галлюцинацию. Разве можно обмануть любящего человека?.. Он отказывался понять подобный факт и уехал по больным с обычной аккуратностью. Ни сцен, ни упреков, ни жалких слов... Что он переживал в течение нескольких дней – никто не знал, а закончилось все катастрофой. Доктор дождался Николая Яковлевича на подъезде клуба и в упор выстрелил в него из револьвера.

– Подлец... – спокойно заметил он, бросая оружие.

Воспользовавшись суматохой, доктор от-

правился прямо к Марье Сергеевне, с которой был немного знаком, и так же спокойно заявил, что убил Николая Яковлевича.

– …Потому что он был большим негодяем… да, – объяснил он с решительным видом. – Если я пред кем виноват, так пред вами, Марья Сергеевна…

С Марьей Сергеевной сделалось дурно, и доктору пришлось походить за ней, как за пациенткой.

Николай Яковлевич совсем не был убит, а только ранен, да и ранен легко. Первое слово, которое он сказал, придя в себя, было: «домой»… А дома он встретил своего врага, ухаживавшего за его женой. Марья Сергеевна вскрикнула от радости, когда увидела мужа живым. Она сама уложила его в постель, сама осмотрела простреленную руку и легкую рану в боку – пуля скользнула по ребру, обмыла обе раны и сделала перевязку. Чужие люди были удалены. Муж и жена очутились снова в самом неловком положении: сознание опасности сблизило их на одно мгновение, а теперь обоим сделалось совестно именно за этот сердечный порыв.

– Это какая-то комедия… – ворчал Николай Яковлевич. – Разве так стреляют порядочные люди?.. Теперь глаза никуда нельзя будет показать… И вдобавок, я ужасно струсил: дрянно так струсил… запищал… Вообще, была картина!..

А в кухне в это время сидела белокурая женщина и горько плакала. Она прибежала в отчаянии, плохо сознавая, что делает. Кухарка Агафья едва успела загородить ей дорогу в столовую.

– Што вы, сударыня… Разе полагается в этакое время стороннему человеку врываться?..

– Он будет жив? Да?.. – повторяла несчастная в сотый раз. – Ты меня обманываешь… Мне только один раз взглянуть на него… хоть издали!

– Никак невозможно, потому что там сама барыня… Не таковское дело. А Николаю Яковлевичу вперед наука… Отлились барынины-то слезы.

Белокурая женщина плакала и ломала руки. Потом кухарка Агафья опять ее видела, как она вечером бродила по тротуару и заглядывала в окна. Оглашенная какая-то… Ниче-

го не оставалось, как доложить самой барыне: ихнее дело, господское.

– Та птаха-то, Марья Сергеевна, значит, тут… – шепотом сообщала Агафья, вызвав барыню в кухню. – Набежала даве, как оглашенная, ну да я ее заворотила… А теперь по тротуару расхаживает, как стень…

Марья Сергеевна видела в окно эту женщину, как она два раза прошла мимо, жадными глазами вглядываясь в окна. Она действительно походила на тень… Что было нужно этой нелепой женщине?.. Доктор Мешков рассказал Марье Сергеевне, как все вышло, и Марья Сергеевна теперь отказывалась понять поведение этой взбалмошной особы.

А Николай Яковлевич лежал в своем кабинете, на широком диване, ничего не подозревая. Его вдруг охватила жажда раскаяния, желание исповедаться и выложить всю душу.

– Меня стоило застрелить, как собаку, – говорил он с горькой усмешкой. – Да, я негодяй, мерзавец.

Как Марья Сергеевна ни удерживала, но Николай Яковлевич рассказал от начала до конца все свои похождения. Он сам теперь

возмущался, негодовал и презирал себя…

– Маня, голубка, я недостоин прикоснуться к твоему мизинцу… да. Я весь – одна грязь и разврат…

– Как это вышло все, Nicolas, как это могло случиться? Кто, наконец, виноват?..

– Виновата моя гнилая натуришка, и никто больше… Эта жажда разнообразия, пикантные ощущения, туман легких интрижек – вот что мне было нужно.

Ночью у Николая Яковлевича сделалась лихорадка, сопровождаемая бредом. Он несколько раз с удивлением смотрел на жену, очевидно не узнавая ее. Марья Сергеевна сидела в тени, чтобы не беспокоить больного.

– Маня, ты здесь? – шепотом спросил он, приподнимаясь на локте.

– Да… Хочешь пить?..

– О, нет… Зачем ты здесь?.. Уходи, миленькая, оставь меня… Я – проклятый человек. Да… Я заражаю своим дыханием самый воздух, которым ты дышишь. Знаешь, Маня, я несколько раз думал, как было бы хорошо, если бы… о, нет, уходи, уходи!.. Перед тобой лежит гнусная гадина, которую нужно только

раздавить, как гадину…

– Nicolas, тебе вредно волноваться.

– Ты чистая и не поймешь меня… Знаю одно, что я слишком низко упал, чтобы подняться снова. Я бесконечно уважаю тебя, но мне скучно с тобою!..

Это горячечное признание вызвало реакцию. Марья Сергеевна бросилась к мужу, осыпала его ласками, называла самыми нежными именами, какие дает одна любовь, и с женским героизмом во всем обвиняла себя. Это была отчаянная погоня за тенью счастья… О, да, она не умела вовремя удержать его, не умела сделаться интересной для него, не умела войти в его вкусы и привычки. Этот эгоизм порядочных людей и погубил его. Но этого больше не будет. Да, она теперь будет держать его в руках, она его не пустит от себя… Nicolas, милый, любимый Nicolas… Николай Яковлевич плакал и молча целовал руки жены и тут же заснул, точно растаял под этим горячим дыханием пробудившегося счастья.

Такие сцены слишком сильны, чтобы повторяться.

Николай Яковлевич быстро поправился. Рана оказалась самой незначительной. Маленькое неудобство заключалось только в том, что некоторое время пришлось носить раненую руку на повязке. Как это дико, глупо и смешно: Николай Яковлевич Горлицын с простреленной рукой!.. Странно, что он больше всего стыдился кухарки Агафьи и горничной Маши. Конечно, прислуга была на стороне барыни и потихоньку, вероятно, посмеивалась над ним.

Целых две недели Николай Яковлевич высидел дома и никуда не показывался. Опять мелькнула счастливая пора... Марья Сергеевна сразу ожила. Пуля доктора Мешкова дала ей жизнь, радость и покой. Если что ее тревожило, так это таинственная женская тень, продолжавшая свои прогулки под окнами. Что ей нужно? Николай Яковлевич ничего не подозревал, но Марья Сергеевна чувствовала, что он начинал беспокоиться именно в эти моменты, – как будто существовало какое-то таинственное влияние, которое работало помимо сознания и проникало через стены и запертые двери.

Потом... потом Николай Яковлевич совершенно поправился и через два дня опять исчез из дому самым коварным образом.

Это был такой удар, что Марья Сергеевна чуть не сошла с ума. Зачем нужен был еще этот обман?.. Она поверила страшному призраку вернувшегося счастья, и он обманул ее... Раньше она сжилась с своим горем, одиночеством и позором, а теперь должна была страдать в сто раз сильнее. Господи, за что же?.. Она умирала во второй раз, умирала медленной и мучительной смертью, не чувствуя даже потребности сопротивляться.

Да, это было ужасное время, и тогда именно у Марьи Сергеевны явилась мысль о самоубийстве. В первое мгновение она ужаснулась: живой человек, и вдруг – ничего. Пугала самая форма, – именно, ей представлялся собственный окровавленный труп... медицинское вскрытие... полиция... похороны самоубийцы. Ведь в каждом нумере любой газеты есть описание таких самоубийств, и Марья Сергеевна вчитывалась в них с жадностью. Она точно примеривала каждый случай к себе и находила с ужасом так много общего. «В

смерти моей прошу никого не обвинять», – и только. А за каждой такой стереотипной записочкой скрывалась какая-нибудь ужасная драма – одна из тех драм, которая касалась только одного человека… Марья Сергеевна завидовала этим решительным людям, которые собственной волей нашли себе вечный покой. Да, какое это святое слово: покой… Лежать тихо-тихо в гробу, с сложенными на груди руками, с закрытыми глазами, и никакое горе не коснется этого покоя. Будут чередоваться времена года, будет каждое утро подниматься солнце, будет зеленеть трава и бушевать снежная вьюга, прилетит крошечная птичка и, задыхаясь от своего маленького счастья, споет свою песенку, а она будет лежать в своей могиле, полная мертвого покоя.

Именно в таком похоронном настроении Марья Сергеевна стояла у окна в гостиной и смотрела на двор, у того самого окна, у которого переживала теперь сватовство Любы. Был такой же осенний, дождливый день. Стекла отпотели, и по ним слезливыми струйками сбегала вода. Марья Сергеевна по целым часам простаивала почему-то именно у этого

окна, когда ей делалось особенно тяжело, и здесь в тысячу первый раз передумывала свои грустные думы. Ненастный день гармонировал с ее настроением, и в самом воздухе, казалось, разлита была мертвая грусть. Весело зеленел один тополь. Семнадцать лет тому назад, это было пышное дерево, настоящий зеленый богатырь. Марья Сергеевна из своего окна видела и часть улицы, по которой тряслись крестьянские телеги и с треском проезжали городские экипажи. Куда эти люди могут ехать? Что их интересует?.. Для нее мир был закрыт, и живые люди казались тенями, которые проносились мимо нее без цели и смысла, как блуждающие огоньки. Марья Сергеевна даже вздрогнула, когда на двор въехал извозчичий экипаж с двумя седоками. Уж не гости ли?.. В первую минуту она испугалась этой мысли, а потом успокоилась: приехали, очевидно, новые квартиранты в их флигель. Кстати, этот флигель составлял настоящее наказание. Помещение было маленькое, всего две небольших комнаты с кухней, и снимали его такие маленькие люди, которые редко могли заплатить за квартиру. Это были мел-

кие служащие, какие-то писаря, микроскопические чиновники, лишившиеся места или отставные, и у всех была одна общая черта: все пили водку, ссорились с женами и устраивали более или менее крупные скандалы. Спустя некоторое время, им отказывали, чтобы пустить на их место точно таких же субъектов. Это был совершенно особенный мир, который Марья Сергеевна видела только из своего окна и удивлялась, зачем живут эти отбросы, эти человеческие помои. Вот и теперь новые жильцы наверное повторят ту же вечную историю... Сколько раз она говорила своему мужу, чтобы просто запереть этот несчастный флигель и никого не пускать.

Новые квартиранты были совсем молодые люди. Он – высокий, худощавый брюнет в заношенном осеннем пальто и широкополой поповской шляпе, а она – полная блондинка с хорошеньким задорным личиком. Ей очевидно не понравилась квартира, и она осталась на извозчике, послав мужа осмотреть помещение еще раз. Он покорно прошагал во флигель. Блондинка достала заношенный портмоне и сунула извозчику какую-то мелочь.

Нужно было видеть то презрение, с каким извозчик взял эти деньги. Вся его фигура выражала одну уничтожающую мысль: «Тоже – хорошие господа называются...» Марье Сергеевне вдруг сделалось совестно вот за эту молоденькую женщину, которая, вероятно, ужасно мучится этой сценой. Когда показался муж, извозчик поднял настоящий скандал.

– Всякая шантрапа тоже ездила бы на извозчиках! – кричал извозчик, размахивая вожжами. – Двоегривенного нет...

– Да ведь ты рядился за пятнадцать копеек? – спокойно возражал молодой человек.

– Рядился... Кабы правильные господа, так о пятачке не стали бы разговаривать. Видали мы стракулистов весьма достаточно...

Извозчик поднял этот скандал благодаря тому, что на дворе собралась публика в лице дворника, кучера, кухарки Агафьи и горничной Маши.

Блондинка, испуганная и сконфуженная этой сценой, хотела быстро соскочить с извозчичьих дрожек, но легко вскрикнула и, вероятно, упала бы, если бы муж вовремя не подхватил ее на руки. Широкая ротонда при этом

движении распахнулась, и все – дворник, кучер, Агафья и Маша увидели, что барыня находилась в «таком положении». Марья Сергеевна заметила только ее испуганное личико, такое жалкое и по-детски больное.

– Што ты в сам-то деле привязался, судорога!.. – накинулась на извозчика кухарка Агафья, сразу принявшая сторону приезжих. – Дворник, а ты чего буркалами-то вороча-ешь?..

Сцена сразу переменилась. Дворник обругал извозчика, взял в одну руку тощий кожаный чемоданчик, а в другую узел, завернутый в старый плед, и пошел за «господами». Он остановился в дверях и презрительно встряхнул легкий багаж, что в переводе означало: «Тоже им-му-ще-ство называется»... Обруганный извозчик с обиженной медленностью повернул свою клячу, и старенький экипаж жалобно задребезжал всеми своими винтами и гайками.

С Марьей Сергеевной произошла удивительная перемена. Она женским инстинктом поняла сейчас все: и причину своего несчастья, окруженного сытым довольством, и

причину того счастья, которое привезла с собой вот эта бедная молодая парочка. О, они счастливы, эти молодые люди с тощим чемоданчиком и подозрительным тюком в пледе!.. Она это чувствовала по выражению ее детского личика, по тому страстному вниманию, которое сказывалось в каждом его движении, в каждом взгляде. Да, счастливы, счастливы, счастливы... Какая-то странная ревность проснулась в душе Марьи Сергеевны, и с какой бы радостью она променяла свое внешнее довольство на эту счастливую бедность, полную внутреннего света! С ней сделалось что-то вроде истерики – она и плакала, и смеялась, и никогда еще не чувствовала себя такой жалкой. Засохшее дерево, у которого в голых ветвях свистит один ветер, вероятно, чувствует то же самое...

IV

С переездом новых жильцов в существовании Марьи Сергеевны произошла яркая перемена. Она вся точно встрепенулась, ожила и насторожилась, как птица. Да, теперь была жизнь, были интересы – не ее жизнь и не ее интересы, но все-таки жизнь и интересы, хо-

тя и в отраженной форме. Бывают такие блуждающие огни, которые выводят на дорогу... По целым часам Марья Сергеевна проводила теперь у своего окна, как часовой на сторожевом посту, и быстро изучила жизнь флигеля до мельчайших подробностей. Каждый день утром в восемь часов он торопливо выходил из своего флигеля, на ходу нахлобучивая свою поповскую шляпу, и широкими, решительными шагами направлялся в калитку. Потом его шляпа мелькала под окнами, а через пять минут возвращалась.

«Это он ходит в булочную... – соображала Марья Сергеевна, отыскивая глазами в руках жильца завернутую в бумагу булку. – Да, да... Она, вероятно, любит свежий, горячий хлеб. Теперь она нежится еще в постели, а он хочет ее побаловать... да. Потом будут чай пить, а потом он уйдет на службу...»

Должно быть, каждое утро она задерживала его несколько лишних минут, потому что он выскакивал на крыльцо, как сумасшедший, и бежал по двору чуть не бегом. Бежит, а сам оглядывается на окно, в котором мелькало улыбавшееся личико... Как им трудно

было расставаться каждое утро, и как она, бедняжка, должна была скучать без него. Впрочем, когда окно оставалось пустым, и он не оглядывался – значит, или она больна, или сердится. Прислуги они не держали, и она сама готовила очень скромный обед. Он приходил ровно в два часа, но она его начинала ждать с двенадцати, и бледное детское личико показывалось в окне все чаще. Ах, как медленно идет проклятое время!.. Марья Сергеевна тоже начинала волноваться и всегда первая видела с высоты своего второго этажа, когда он показывался на углу улицы. Она бросалась к своему окну и хотела крикнуть ей: «Он идет! Идет!..» Но счастливая женщина чувствовала его приближение и с тревожной улыбкой стояла в окне. Вот и он... Как он быстро входил в калитку – не входил, а влетал, и почти бегом бросался к заветной двери.

– Милые... милые... – шептала Марья Сергеевна со слезами на глазах, – как они любят друг друга!.. И какие, должно быть, бедные...

Кухарка Агафья и горничная Маша давно вызнали все подробности о новых жильцах. Марья Сергеевна не любила слушать сплетни

прислуги, а тут сама расспрашивала про жильцов.

– Не здешние они... – рассказывала Агафья, – значит, дальние. Его Аркадием Васильичем звать, а она Надежда Петровна... Он фершалом определился в земской лазарет. Молоденькие такие да бедные... Ничего-то у них нет, а купить не на што. Так сильно колотятся... А промежду себя дружно живут: не наглядятся. Известно, молодые... Ох-хо-хо!.. Она сама и в куфне стряпает... Ничего, бабочка славная и хозяйство знает. Все высчитывает, каждый грошик, штобы аккуратнее... А муж придет – она ему сейчас в бумажку читать: вот это купила, милый, другое купила, бесценный... Сильно колотятся деньгами-то. Она ему свою бумажку читает, а он ей ручки целует... Бедные, а господский обычай соблюдают. Он когда купит што лишнее, штобы ее побаловать, так она как его бранит!.. Весело поглядеть на них, барыня. А как-то я прихожу к ней в куфню, а она сидит, моя голубушка, плачет-заливается... Суп испортила... То-то, подумаешь, горе великое!.. А в другой раз говядину сожгла и спрятала... Совесть тоже есть.

Востренькая бабочка, и все сама, везде сама, кабы не ее-то женская часть... Близко уж время: проходит не проходит недели с две.

Иногда она ходила без него за покупками. Нужно было видеть, с каким деловым видом она выходила на улицу, на ходу рассчитывая свои издержки. Возвращалась она такая усталая и недовольная. Видимо, что ее мучили вот эти крошечные расчеты; может быть, она даже покупала что-нибудь лишнее, соблазнившись слишком хозяйственными соображениями. Бедненькая, как Марье Сергеевне хотелось помочь ей, успокоить, обласкать, приголубить, но ее удерживал и ложный стыд, и нежелание навязываться с непрошенным знакомством, и боязнь показаться нахальной. Бедные люди имеют свою гордость, и они правы. Кроме всего этого, Марью Сергеевну удерживало еще совершенно особенное чувство: она боялась заразить своим несчастием... Ведь бывают заразительные болезни, а несчастие – тоже болезнь, самая худшая из всех болезней. Потом, это чужое счастье еще рельефнее выставляло ее собственное горе... Нет, она останется одна, вот здесь, и будет пе-

реживать все со стороны.

Самая трогательная картина получалась после обеда, когда молодая парочка отправлялась гулять. Это было необходимо для нее, и он с таким торжествующим вниманием следил за каждым ее шагом, за каждым движением. Молодое счастье сказывалось в каждом шаге. Марья Сергеевна несколько раз потихоньку выходила на улицу и шла за ними, как скорбная тень. Да, они счастливы, счастливы до того, что даже не сознают своего счастья. Как она боялась, чтобы *она* не сделала какого-нибудь неловкого движения, чтобы кто-нибудь не толкнул ее, чтобы она не утомилась слишком… Милые, милые, милые… Эта парочка останавливалась перед магазинами и очень внимательно осматривала все вещи, особенно те, на которых были обозначены цены.

– Аркадий, мы это купим, когда… – с оживлением говорила она, глядя на него глазами, полными немой радости.

– О, да… Мы прямо весь магазин купим…

– Но ведь все это будет нужно, Аркаша.

– Купим, голубчик, все купим…

Особенно долго они останавливались пред магазинами с детскими вещами. Все эти распашонки, порт-бебе, платьица, вообще, все детское приданое – так прелестны. Она особенно пристально рассматривала все эти чудные вещи, вздыхала и молча прижималась в мужу. О, она сделает все это сама... все. Но была одна вещь, которую нельзя было сделать дома и на которую они приходили посмотреть ежедневно. Это была великолепная детская колясочка, на рессорах, на резиновых шинах и с раздвижным верхом. На колясочке висел билетик: 25 рублей. Заветную вещицу они смотрели молча и не говорили ни одного слова, потому что ведь это была недосягаемая мечта... Марья Сергеевна издали наблюдала молодую чету и то жадное внимание, с которым она любовалась колясочкой, и про себя решила, что подарит им ее, как только родится ребенок. Да, подарит потихоньку, чтобы не знали, от кого она, и будет издали любоваться их счастьем.

Гуляя мимо магазинов, они составили себе приблизительно всю будущую обстановку, – вернее сказать, составила она: ведь он в этом

случае смотрел ее глазами и вперед был согласен на все, тем более, что она относилась в вещам с какой-то болезненной страстностью, резко разграничивая любимые от никуда негодных. Да, она вперед любила свою будущую обстановку, то гнездо, которое вила мысленно, и пристальным вниманием взвешивала мельчайшие подробности. Эта способность делить все вещи на две резких категории: отличные, любимые, прекрасные с одной стороны и никуда негодные с другой – эта способность постоянно удивляла его мужской ум, и он часто подшучивал над ребячеством жены. Она спорила с ним до слез, пока он не соглашался с ней во всем. Разве была какая-нибудь возможность не согласиться, когда спорят до слез? И как мило она спорила… Эти детские глаза темнели, губы складывались так решительно, слова говорились тоном, не допускавшим возражения – нет, оставалось только соглашаться. Всего забавнее выходило то, что когда он соглашался – она плакала: слезами выливалась неизрасходованная энергия. Милые женские слезы, сколько в них беспомощной поэзии, сколько той правды, которую

мужчины в большинстве случаев понимают немного поздно.

– Да, есть вещи любимые… – продолжала доказывать Надежда Петровна, хотя муж уже согласился с ней во всем. – Они сами по себе ничего не значат, а дороги именно тем, что нравятся. Приятно такую вещь всегда видеть около себя. Например, колясочка на резине… Она нам заменит и детскую кроватку, и в ней мы будем вывозить нашу девочку гулять, – ведь у нас будет девочка!

– Да, да… Конечно, девочка.

– Такая маленькая девочка… Я всегда буду водить ее в белом. Лучше белого костюма ничего не может быть для ребенка…

– Да, да… хотя это и не совсем удобно, потому что белое так скоро пачкается. Впрочем, я это так… Именно, девочка, Надя. В дом девочка вносит тепло, уютность, поэзию, а мальчишки вечно шалят, кричат, и вообще – пренеприятный народ.

– Да, девочка в белом… Помнишь, какой смешной белый капор выставлен был в окне? Весь в кружевах, а из капора будет смотреть такая забавная рожица.

Часть этих разговоров Марья Сергеевна случайно подслушивала, и у нее каждый раз навертывались слезы на глазах. Да, вот какое должно быть счастье, и всего удивительнее то, что они совсем не замечали своего счастья.

По вечерам во флигельке подолгу горела лампа с зеленым абажуром, и Марья Сергеевна наблюдала из своего окна, что они делают. Окна были завешены какими-то старенькими сторками только до половины, и ей сверху все было видно. Конечно, не хорошо подглядывать, что делается в чужой квартире, но, во-первых, она была так несчастна, а во-вторых, делала это совершенно машинально, без всякого злого умысла. Да и эта парочка была счастлива таким чистым счастьем, что могла бы настежь открывать все окна и двери.

Марья Сергеевна знала, когда он ставил в кухне самовар, потому что она в это время приготовляла чайную посуду. Как она мило суетилась, как любовно ставила на свое место каждый стакан, отходила и сама любовалась образцовым порядком. Наконец, он вносил кипевший самовар. Как долго они сидели за

чайным столом! Она нарочно пила из своей маленькой чашечки так медленно, чтобы выиграть время. Ведь сейчас после чая он опять сядет за свою работу, а она будет скучать. Бедняжка, она не могла даже читать. Ей вообще делалось тяжелее с каждым днем, хотя она и имела такой бодрый вид. Конечно, она не желала огорчать мужа и многое скрывала: да, тяжело, но зачем беспокоить его, когда ему нужно работать.

Марья Сергеевна чувствовала, как ей было тяжело и скучно, пока он сидел за своей работой. Она лежала на диване, гуляла по комнате, садилась к окну, брала книгу, пробовала шить и кончала тем, что подходила к нему, обнимала его за шею и говорила:

– Ведь я тебе не мешаю, Аркаша?

– Нет, не мешаешь, голубчик... Я скоро кончу.

Она успокаивалась на несколько минут и опять подходила к нему.

– Я тебе не мешаю?

– О, нисколько...

В его голосе слышалось уже легкое раздражение, и она делалась грустной, забиралась

куда-нибудь в дальний уголок и засыпала здесь, как напроказивший и наказанный ребенок. Марья Сергеевна, конечно, не слышала их разговоров, но чувствовала, что они должны говорить именно так. Да, она убеждена была в этом.

Но вот работа кончена. Он поднимается, подходит к ней. Нет, решительно в такие моменты в маленькой комнатке делалось светлее, потому что светлела она своей детской улыбкой, светлела счастливыми глазами и так хорошо протягивала ему свои руки.

– Милый, подними меня... А что мы теперь будем делать?.. Что делать?..

Он обнимал ее, и, обнявшись, они долго ходили по комнате, пока она не уставала. Он чувствовал, как у него в руках распускалась эта молодая жизнь, как у нее начинала кружиться голова, и бережно усаживал ее на любимый стул, на любимое место к столу, – у нее все было любимое, начиная с красных туфелек. Появлялись карты – это он придумал, чтобы чем-нибудь развлечь ее. Они играли в рамс по целым часам. Эта механическая забава всегда оживляла ее. Не правда ли, как весе-

ло иногда сплутовать, особенно если вы умеете незаметно спрятать туза? Он следил с большим вниманием, когда она сдавала, и все-таки нередко попадал впросак. Как она весело хохотала, когда невинное плутовство удавалось! С ней смеялось все... Эта дрожь смеха вырывалась даже на улицу. Да, она смеялась до слез и на время забывала все. Да, все... Это было такое хорошее детское веселье, и он готов был вечно проигрывать в рамс. Впрочем, происходили и недоразумения, когда он ловил ее с поличным. Она отчаянно защищалась, потому что и шестая карта была сдана случайно, и туз попал тоже случайно, и передернула она две карты тоже случайно.

– Я удивляюсь, Надя, что ты можешь лгать из таких пустяков?..

– Я?!. Лгать?..

Карты летели на стол, и они расходились. Она – в любимый уголок на диване, он – к своему письменному столу. Но такая размолвка продолжалась всего несколько минут, потому что Надя признавалась во всем и с новым хохотом рассказывала все то, чего он и не подозревал. Он удивлялся, крепко целовал ее, и

игра загоралась с новым азартом.

– Аркашечка, честное слово, я не буду больше плутовать.

– Хорошо, увидим.

Он увлекался игрой до того, что не замечал, как по-детски начинали слипаться эти дорогие глаза, как устало шевелились белые тонкие пальцы, как равнодушно выкрадывались тузы – карты были старые, заигранные до того, что из них можно было сварить суп. Но неудобство заключалось не в их почтенной давности, а в том, что Надя разметила все лучшие карты царапинами, пятнами, загнутыми углами. Часто в самый интересный момент, когда ему только что начинало улыбаться карточное счастье, она выпускала свою игру и говорила усталым голосом:

– Вчера мы проходили мимо колбасной, Аркаша… там на тарелочке лежали такие аппетитные сосиски…

– Отлично! Мы их сейчас добудем…

– Ради Бога, только те самые… Они на тарелочке… тарелочка стоит в уголке. С синим ободочком… Я их заметила еще вчера.

– И горячий розанчик?

– И горячий розанчик…

Он быстро нахлобучивал свою поповскую шляпу и летел за сосисками. Она ждала его с великим нетерпением, считая минуты. Но бывало и так: он является с покупкой и находит ее заснувшей в своем уголке на диване. Милая крошка, как она хорошо умела спать!.. Его охватывала каждый раз какая-то необъяснимая жалость к ней и та мужская нежность, которая боится даже проявить себя. Он на цыпочках усаживался к своему столу и старался не шуметь бумагой, – ведь у нее был такой чуткий и тревожный сон. Вот она дышит так неровно и порывисто… Бедняжка не находит покоя и во сне, да это и не сон в собственном смысле, а тяжелое забытье, после которого она поднималась с тяжелой головой и красными глазами. Странно, что это пробуждение отмечалось концом недоговоренной фразы:

– …Купил?

– Да, все купил, моя радость, мое счастье…

Она страдала аппетитом женщин в ее положении, и он любовался, как она съедала все, из вежливости предлагая ему сначала половину, потом четверть, потом последний

«стыдливый кусочек».

Ах, милые, бедные, счастливые!..

Раз в воскресенье утром горничная Маша прибежала сказать Марье Сергеевне, что *он* пришел и желает ее видеть «по делу». Марья Сергеевна даже испугалась, беспричинно испугалась, как боятся только хорошие женщины. Она вышла к нему в гостиную и только тут в первый раз хорошенько рассмотрела его. Он не произвел на нее хорошего впечатления: такой худой, с сосредоточенным взглядом, усталый и одетый довольно небрежно. В ее воображении сложился другой человек.

– Мне необходимо переговорить с вами относительно платы за квартиру, – смущенно начал он, перебирая в руках свою поповскую шляпу. – Видите ли, сейчас я... т. е. мне было бы трудно платить вам за квартиру вперед. Положим, сумма сама по себе ничтожная, но...

Ей не понравился и тон его голоса, а главное, что-то такое раздраженное и вызывающее чувствовалось в каждом слове.

– Вы можете платить, как найдете удобным для себя, – довольно сухо ответила она,

удивляясь самой себе. – Во всяком случае, мы можем подождать…

Даже этот ответ, по-видимому, произвел на него неприятное впечатление, потому что он пришел с очевидным намерением отстаивать свои интересы и совсем не ожидал такой легкой победы. Он даже взглянул на нее как-то исподлобья, точно боялся прочитать у «рантьерши» на лице роковую мысль о благодеянии.

– Как найдете удобным для себя, – повторила Марья Сергеевна.

Он сухо поклонился и вышел, а она была рада, что дверь затворилась за ним. Какой странный и неприятный человек!.. Неужели можно было любить такого человека?

V

Но в счастливом флигельке происходило многое такое, чего Марья Сергеевна не могла и подозревать.

Была своя «подводная часть» и у этого молодого счастья. Да… Это были грустные страницы в жизни молодой четы, о которых никто не знал, и о которых не говорилось даже с глазу на глаз.

Часто Надежда Петровна, среди работы или оживленного разговора, вдруг забывала все и задумывалась. Глаза не видели, уши не слышали, а только неумолимо работал в тишине забытья один ум. Это молодое, красивое лицо покрывалось точно тенью, какая падает на землю от бегущего в вышине облачка. Аркадий Васильевич всегда с особенной жгучей болью в сердце ловил эти минуты тяжелого раздумья. Ведь в душе каждого человека есть свой тайничок, в который не пускаются даже самые близкие люди. Молодой человек наблюдал жену – и весь точно чернел. Густые брови сдвигались, глаза делались глубже, губы сжимались в твердую, злую улыбку. Он, наконец, вскакивал и начинал бегать по комнате, ероша густые волосы. А она ничего не слышала, отдаваясь подхватывавшему ее течению.

– Надя…

– А… что?..

– Опять?..

Она испуганно взглядывала на него и смущалась.

– Аркаша, я так… я, право, ничего, – говори-

ла она виноватым голосом, протягивая к нему руки с немой мольбой, точно искала в нем защиты от своих тяжелых дум. – Ты… ты не понимаешь меня.

– Я? О, я слишком хорошо понимаю тебя, и вперед могу сказать, о чем ты думала сейчас.

– Аркашечка, голубчик, не нужно… Это пройдет. Ах, какой ты нехороший! Ты меня не любишь. Ну, признайся?..

– В эту минуту, – нет…

Он хватался за голову, а она закрывала лицо и плакала. В его душе происходила страшная борьбы схватывались насмерть два противоположных чувства – любовь и ненависть. Да, ненависть, вернее – презрение, тяжелое и гнетущее презрение, оставлявшее в душе горький осадок. Нужно было несколько дней, чтобы это ужасное чувство улеглось, сменившись светлым, счастливым настроением. Надежда Петровна ходила все эти дни как в воду опущенная и старалась ухаживать за мужем, что еще сильнее его раздражало. Потом он начинал чувствовать себя крайне жалким и разбитым, и жизнь входила в свою колею. Ах, какой это был страшный другой

человек, который приходил незваным, садился по ночам у изголовья и томил душу своим молчаливым присутствием. Надежда Петровна вздыхала и потихоньку плакала.

– Аркаша, я тебе говорила… ты знал…

– Да, да… В этом мое несчастие, Надя. Пожалуйста, не обращай на меня внимания. Это пройдет.

Бывало и хуже. Увлекшись каким-нибудь разговором, Надежда Петровна иногда случайно проговаривалась: «Мы как-то были в театре… мы ездили на тройках… мы останавливались в таких-то нумерах»… При одном слове «мы» – Аркадий Васильевич, как бешеный, начинал говорить жене те бессмысленные дерзости, на какие способны обезумевшие люди. Она сразу вся съеживалась, глаза испуганно округливались, и она смотрела на него с рефлекторной ненавистью. Да, ее охватывало то бешенство, с каким защищается раненый зверь. Этот детский рот начинал выговаривать ужасные слова… Он бледнел, как полотно, и, задыхаясь, бросался к ней с сжатыми кулаками.

– Я тебя ненавижу… ненавижу!.. – повторя-

ла она с отчаянной решимостью. – Я тебя никогда не любила…

– О, змея, змея…

– Я и не хотела тебя любить… Если бы я хотела, если бы искала, – да разве я не нашла бы мужчину в тысячу раз лучше! Что ты такое? Ну?.. Я тебя ненавижу…

Он подыскивал самые обидные слова, какие только знал, и бросал их ей в лицо, наслаждаясь ее муками. Такие сцены заканчивались всегда одним и тем же: она гордо поднималась и молча начинала собирать свои вещи в тощий чемоданчик. Его бешенство сразу падало. Он ползал за ней на коленях, целовал со слезами эти детские руки и просил прощения самым униженным образом, как провинившаяся собачонка.

– Что ты такое! Разве ты мне муж?.. – давила она его каждым словом, точно могильной плитой. – Ты даже не можешь себе представить, что такое настоящий муж… муж, которого я могла бы назвать открыто своим…

– Надя… ради Бога!.. Надя, Надя…

– Я мало религиозна и не придаю церковному обряду особенного значения, но это со-

всем другое...

– Надя, голубчик, остановись... Довольно!.. Надя, Надя...

Любимые вещи (их было так немного) быстро укладывались в чемодан, а Аркадий Васильич ловил эти похолодевшие детские руки и покрывал их своими горячими слезами и безумными поцелуями. Сначала она сопротивлялась отчаянно, а потом опускалась в изнеможения.

После такой ужасной сцены Аркадий Васильич ухаживал за женой с удесятеренной нежностью и страшно мучился за свой невоздержный характер. Она не могла долго успокоиться, – это была особенность ее характера. Даже ночь не приносила мира, и она поднималась утром, полная того же молчаливого гнева и презрения.

– Я – женщина, я могу говорить все... – объясняла она с детской логикой. – Да... От женщины, от любимой женщины не может быть оскорбления. Но это еще не дает права мужчине говорить оскорбительные вещи... да. И я тебя ненавижу... да. Лучше убить человека, но не оскорблять его... ах, как я тебя ненави-

жу, ненавижу, ненавижу!.. Если бы ты только мог гнать, как я тебя ненавижу, то ни одной секунды не остался бы здесь.

Но он оставался и не думал уходить, несмотря на весь ужас такой ненависти. Он молчал, он выслушивал все и чувствовал только одно, что не может жить без нее, не может дышать… Ведь для него весь мир слился в ней одной, и он не мог представить отдельного существования, как мы не можем представить тени без предмета, который ее отбрасывает. Свои муки, свое унижение, свои слезы – все это ничто перед одним ее ласковым взглядом, перед одной ее улыбкой. О, только бы улыбнулась… Когда на ее лице появлялась эта желанная улыбка, он чувствовал то же радостно-торжественное настроение, какое, вероятно, испытывают цветы, когда поднимается ликующее утреннее солнце. Ведь больше таких ужасных сцен не может повториться, ведь это был припадок двойного безумия, ведь впереди один свет, тепло, радость, счастье.

После таких взрывов и бурь наступали самые счастливые дня, – точно невидимая рука

хотела восстановить нарушенное равновесие. Она делалась такой кроткой, любящей, покорной, ласковой, тем ребенком, которого он так любил в ней. У него делалось хорошее, счастливое лицо, и в маленьком флигельке весело горел огонек семейного счастья.

– Аркаша, я часто думаю о том, как жизнь в сущности проста, – часто говаривала она в задумчивости. – И все просто... А мы сами ее портим, и своими руками отравляем свое короткое счастье. Не правда ли?..

Он этого не находил и каждый раз только хмурился. Ребенок успокаивался и забывал недавнее горе, но это не мешало ему мучиться, мучиться одному, безмолвно, ужасно мучиться, как молча страдает живая рыба, когда ее распластывают ножом. Она не должна была даже подозревать этих мук, наглухо запертых в его тайничке. Часто, когда она спала своим детским сном, он подолгу любовался ее чудной головкой, серьезным видом этого остановившегося лица, этими белокурыми волосами, обрамлявшими белый лоб, темными ресницами, от которых падала стрельчатая тень на легкий румянец, разлитый под

тонкой кожей... О, она была такая красивая, особенно на этой белой подушке, и он чувствовал, как глубоко любит ее. Но бывали минуты, когда он вздрагивал и отвертывался именно от этого лица... Да. Это было самое ужасное, что он только переживал, что никому никогда не высказывал, и о чем боялся даже думать. Да, вот эти детские глаза искали *другого*, эти детски-пухлые губы улыбались, эта головка была полна мыслью о *другом*, эти руки обнимали *другого*... Аркадий Васильич даже стонал, когда в его мозгу проносились ревнивые картины. О, она ничего не должна знать, и *это* умрет вместе с ним: его любовь освящала все, как огонь очищает грязную руду.

Да, это были они, муки безумной ревности. Это было то, что отравляет жизнь, что доводит людей до страшных преступлений, что заставляет, наконец, лишать себя жизни. Аркадий Васильич, закрывая глаза, видел ужасные картины... Он видел свою встречу с *ним*, видел свое искаженное лицо, судорожно сжатые руки и... В нем просыпалась неистовая жажда мести, крови, уничтожения. Да, этот

добрый по натуре человек мог сделать все, и с радостью пошел бы на встречу возмездию. Тогда у него свалилась бы с души целая гора... «Я убил его, потому что любил ее. Судите меня... Я ничего не имею сказать в свое оправдание». Да, он много раз видел себя на скамье подсудимых, видел удивленные лица знакомых, не понимавших, как мог сделать это именно он, такой добрый человек... «Да ведь я любил ее!.. – кричал он им. – Меня давило горе, а теперь мне легко. Я счастлив, что могу страданиями еще раз купить эту любовь!» В самом деле, как странно люди смотрят на преступления и преступников: это какие-то ужасные люди, исключительные, порочные, а между тем в каждом человеке сидит такой преступник. Нужна только причина, чтобы он проснулся... И как это просто!.. (Надя такими же словами говорила о жизни.) Когда в первый раз Аркадий Васильич почувствовал в себе такого именно преступника, он даже испугался... Ведь это *другие* делали и делают преступления, а он – такой простой, любящий, честный. Читая в газетах о разных уголовных процессах, Аркадий Васильич удив-

лялся всегда одному: как эти господа преступники не подумают об одном, именно, что нужно только отойти от ненавистного человека, и роковая причина устранена самой простой переменой места. Но тут картина изменилась: Аркадий Васильич чувствовал, что он не только не может никуда уйти, да и нет такого другого места. В преступлениях есть своя фатальная арифметика. Жизнь ставит иногда в бессмысленные положения, как в данном случае поставила его: он любил жену, и в то же время ненавидел ее, отыскивая в ней с упорством сумасшедшего роковых следов, оставленных *другим*. Да, они есть, они должны быть, и он уничтожит их в корне, чтобы самому прийти в равновесие и найти душевный покой. Животное в этом случае счастливее человека, потому что бросается на кровного врага без рассуждений. О, это такая зоологически жестокая правда, от которой ничто не спасет, и в мужчине она должна проявляться особенно рельефно, поскольку он – настоящий мужчина. В этом коренится и настоящий источник жалких семейных сцен, семейной несправедливости и вообще несча-

стия его жизни. Странно, что если бы ему предложили другую жизнь, он не взял бы ее: он сжился с своими муками, выносил их, воспитал, как мать выкармливает собственной грудью ребенка.

Вот это прошлое, которое служило «подводной частью» настоящего.

Аркадий Васильич Меркулов, «сын бедных, но благородных родителей», состоял на третьем курсе медицинского факультета казанского университета. От природы это был неглупый человек, отличавшийся выдержкой, как большинство бедных молодых людей, которым не на кого и не на что рассчитывать, кроме своей головы и пары рабочих рук. Он отлично знал, что будет: кончит курс, поступит лекарем в родную провинцию и посвятит свою жизнь страждущим. О своих идеалах и стремлениях он не любил говорить, потому что все это было так просто и естественно с одной стороны, а с другой – он чувствовал органическое отвращение к болтунам. Слишком уж много хороших людей, потому что в двадцать лет это решительно ничего не стоит, да и хороших слов сколько

угодно. Вот другое дело – вытянуть целую жизнь честным работником, быть справедливым до последней мелочи. Прежде всего, нужно уметь быть рядовым, а остальное придет само собой, и жизнь скажет, кто чего стоит. Настоящее тяжелое зерно, «князек», в силу удельного веса, падет в центре, а мякина разлетится по ветру. В университете Меркулов чувствовал себя немного чужим, потому что не мог разделять розовых надежд и радужных увлечений, – он знал и людей, и нужду, и то, что его ждет впереди. Поэтому, вероятно, в течение университетской жизни у него не нашлось ни одного «друга», а были просто товарищи и знакомые. Вообще, он вел замкнутую, суровую жизнь и ничего не хотел знать, пока сам не встанет на ноги. Когда он был на третьем курсе, неожиданно умер отец, оставив семью без куска хлеба. Пришлось самому позаботиться о своем существовании и, прежде всего, обратиться к урокам.

Вот здесь Меркулов и столкнулся с Надеждой Петровной.

Он отлично помнил, как пришел в первый раз на урок, полученный через десятые руки.

Это было на городской окраине, где старый помещичий дом являлся исключением. Прежде всего, Меркулова поразил мертвый беспорядок, который царил здесь во всем. Это впечатление провожало его от подъезда до гостиной. Когда-то дом был полной чашей, а теперь на всем лежала печать мерзости запустения. Особенно поразила его внутренняя обстановка. Мебель, драпировки, ковры, вообще все мелочи домашнего обихода говорили о прошлом богатстве, а сейчас все это являлось в этих стенах чужим, никому ненужным, и это отсутствие пульса живой жизни резало глаз. С другой стороны, на каждом шагу выступала чисто помещичья беспорядочность, воспитанная на даровом труде. В этом доме никто не хотел работать, и всех больше этого не хотел его будущий ученик. Вообще, весь дом и его обитатели представляли собой захудалое дворянское гнездо. Во главе фамилии оставался старик Койранский, бывший конногвардеец, спустивший несколько состояний. Он после смерти жены остался с громадной семьей на руках. Дети росли без призора, а старшая дочь Надежда была его балов-

нем и слабостью.

Меркулов попал к Койранским в самый критический момент, именно, когда Надежда Петровна разошлась с своим мужем. Она шестнадцати лет выскочила замуж за русского немца Шмидта, с которым и прожила лет пять, а потом бросила его. Это было капризное и взбалмошное существо, представлявшее собой невозможно-пеструю смесь добра и зла, как истинно русский человек. Но были основные черты, которые служили фоном для всего остального: это была глубоко честная натура прежде всего. Резкий характер и оригинальный, сильный от природы ум дополняли остальное. Отец был против ее брака, а теперь был против соломенного вдовства. В первый же день на глазах у нового учителя разыгралась откровенная семейная сцена.

– Надя, я тебя сам отвезу к мужу, – говорил отец, пуская облака табачного дыма. – Я его сам терпеть не могу, но он все-таки муж...

– И большой негодяй при этом...

– Я бы на его месте вытребовал тебя по этапу...

– А я застрелила бы его, как собаку...

В доказательство своих слов Надежда Петровна с улыбкой показала маленький карманный револьвер, который носила постоянно в кармане.

– О, я узнаю мою кровь! – с восторгом шептал старик. – Так ему и нужно, немчуре… Не по себе дерево выбрал. Молодец Надька!..

На студента Меркулова эта странная особа произвела для первого раза невыгодное впечатление. Бывая на уроке, он даже избегал ее первое время. Он совсем не знал женщин, а взбалмошных людей не переносил. Она тоже не обращала на него никакого внимания. Сближение произошло при самых исключительных обстоятельствах. Раз Меркулов является на урок и находит весь дом в страшной суматохе: Надежде Петровне было угодно отравиться. Отец совсем потерял голову и целовал руки у студента, умоляя спасти дочь. Надежда Петровна приняла слишком большую дозу мышьяку, так что отрава была выброшена назад судорожной рвотой, что ее и спасло. Меркулов имел здесь первую медицинскую практику и ходил за больной с прилежанием новичка.

– Зачем вы помешали мне умереть? – накинулась она на него, как только пришла в себя. – Кто вас просил соваться не в свое дело?..

– Позвольте, я обязан был оказать помощь...

– Обязан!.. – передразнила его больная. – Что вы можете понимать в обязанностях?

Меркулов покраснел от оскорбления, но ничего не ответил.

Сближение произошло само собой. Надежда Петровна только теперь заметила безвестного студента и нашла его очень некрасивым. Через две недели этот студент взял ее за руку и серьезно проговорил:

– Если бы вы были свободной женщиной, я предложил бы вам свою руку, Надежда Петровна; но так как...

Он говорил так решительно, что она даже опустила глаза. Он еще что-то говорил ей, бессвязное и горячее, что понимают одни женщины, и она ответила:

– Дайте мне подумать до завтра...

– Завтра не будет!.. – решительно заявил он, поднимаясь.

Эта роковая фраза решила ее судьбу.

VI

Первого поцелуя не было. Но он так любил ее, что она не могла устоять под напором этой страсти.

– О, ты меня будешь любить! – повторял он. – Это будет чудо, но оно будет.

Такая любовь всесильна, и только такая любовь творит чудеса. Она отдалась ему пассивно, без увлечения, покоряясь более сильной воле и бурному приливу первой любви. Это обстоятельство впоследствии часто удивляло ее, когда она проверяла свои чувства. Да, она полюбила его, и чем дальше, тем больше любила.

– Я бросаю университет и поступаю простым фельдшером, – сказал он ей через два месяца. – Да, ты будешь женой простого фельдшера, который будет лечить простых людей самыми простыми средствами. Доктора существуют только для богатых людей, а мы будем жить для бедняков. Я составлю свою домашнюю аптеку из самых дешевых домашних средств, и беднота будет благословлять нас. Фельдшер нужнее, чем доктор…

– Милый мой фершал!..

– И еще какой милый...

– Мне ничего не нужно, Аркаша. Буду ходить в простых сарафанах... Уедем в деревню, купим простую избу.

Первым врагом нового счастья явился старик Койранский, который прямо проклял дочь и отказался от нее. Ну, вышла замуж за немчуру Шмидта – черт с ним, а сойтись с студентом-санкюлотом – нет, это уж совсем из рук вон!

«Молодые» должны были спасаться бегством, потому что старик разыскал ненавистного немчуру Шмидта и хотел воспользоваться его правами мужа. Началась скитальческая жизнь, полная всяких неудобств, неприятностей и огорчений. Одно добывание видов на жительство чего стоило. Но Надежда Петровна все выносила покорно и стойко, а жаловаться она не умела. Вообще, у нее был совершенно особенный характер. В случаях неприятностей возьмет и замолчит, – и только. У нее не было подруг, потому что всех женщин она презирала за их чисто женские слабости.

Жизнь идеального фельдшера была полна совсем не идеальных лишений, передряг и неприятностей. В течение двух лет Меркулову пришлось переменить пять мест, пока судьба не загнала его в губернский город Пропадинск, в котором он не предполагал заживаться. Скитаньям был положен конец тех простым обстоятельством, что Надежда Петровна почувствовала себя беременной. Она страшно взволновалась при первой мысли о возможности подобной комбинации. Этого еще недоставало!.. Благодарю покорно. Что же ожидает несчастного ребенка?.. Нет, это невозможно, это дико, это, наконец, просто несправедливо. Потом она заплакала. А он был рад и счастлив и боялся выдать свое радостное настроение: это была какая-то обидная радость.

– Я тебя возненавижу, несчастный!.. – кричала Надежда Петровна, ломая в отчаянии руки. – Что же это будет?.. Нет, я этого не заслужила...

«Несчастный» сосредоточенно молчал, чувствуя, как у него забилось сердце от неиспытанных ощущений. С другой стороны, ему

сделалось ужасно жаль жены, на которую должна была упасть вся тяжесть готовившейся семейной радости. Ребенок принесет с собой то счастье, которого недоставало: он примирит, успокоит, даст смысл всей жизни. Да, это было краденое счастье, но именно потому-то оно и было так дорого... Ах, как это было бы хорошо, и как Надя была бы счастлива!.. Именно один ребенок мог снять с их жизни последний след прошлого. Это было обновление...

В течение нескольких месяцев жизнь молодой четы совершенно изменилась. Совершившийся таинственный органический процесс вносил с собой что-то до того новое, огромное и подавляющее, что все остальное само собою отступало на задний план. С затаенной радостью Аркадий Васильич видел, как на его глазах жена делалась совершенно другим человеком. Да, совершенно другим, лучшим, чистым и бесконечно дорогим. Первое чувство страха сменилось такой милой покорностью своей судьбе, таким торжественно-детским настроением. А впереди грядущее материнство... тихое семейное сча-

стье... Неизвестное маленькое существо должно было принести с собой целый новый мир, и молодые родители готовились к его встрече. Это была новая цель жизни, новое счастье, перед которым бледнело все остальное.

– Это будет девочка, и мы назовем ее Надеждой, – говорил Аркадий Васильич. – Я не люблю мальчишек...

– Да, конечно, девочка, – соглашалась она. – Я это чувствую... Нет, я решительно не могу себе представить, как все это будет. Когда она вырастет большой, мы будем такие старенькие, седенькие, смешные...

Они часто говорили между собой на эту тему, делая предположения относительно грядущего будущего. Ведь наступала совсем новая жизнь... Иногда она задумывалась, и он по ее лицу знал, о чем она думает. Да, она чаще и чаще вспоминала о своей матери, от которой осталась девочкой-подростком, и об отце. Если бы мать была жива – о, она давно прилетела бы в ней, научила, как и что делать, ободрила, утешила, порадовалась бы вместе. Каждый раз при воспоминании о ма-

тери у Надежды Петровны выступали на глазах слезы. О, только она, мама, все поняла бы, все простила и всему научила. Он чувствовал эти мысли и хмурился. У него была жива мать, но от этого ему не было легче: она никогда не простит ему, что он для «этой женщины» погубил все свое будущее, бросив университет. Ведь его наука стоила семье так дорого, – и вдруг бросить все... Конечно, мать любила его и во всем обвиняла ее, Надю. Милая, несправедливая мама, как она ошибалась, и как, вообще, ошибаются все слишком любящие люди. Да, эти милые близкие люди умеют быть несправедливыми... Мать Аркадия Васильича являлась больным местом для Надежды Петровны, как немой упрек: ведь она, Надежда Петровна, отняла сына, она заставила его бросить университет, она лишила его всякого будущего... А вместе с тем, как она была не виновата во всем этом, решительно не виновата. Разве она хотела чего-нибудь, добивалась?.. Нет, он принудил ее насильно полюбить его – он, он сам... Из деликатности людей, слишком сжившихся вместе, они никогда не говорили о своих семьях. Только раз

у Надежды Петровны вырвалось:

– У других есть матери, старшие сестры, а я одна, одна…

Когда на нее нападало малодушие, он рассказывал о несчастных девушках, которые родят детей на чердаках, о крестьянках, которые приносят новорожденных в подоле прямо с поля, о тех ненужных страданиях и несчастиях, которые для них связаны с появлением нового существа. О, в мире так много несправедливости и еще больше таких никому ненужных страданий! Сама природа несправедлива, возложив всю тяжесть рождения на один пол, а другому предоставив только радости. Да, это несправедливо, и мужчина должен заглаживать эту несправедливость всей своей жизнью.

Да, мать – святое слово… И когда Аркадий Васильич про себя раздумывался на эту тему, в его душе опять поднимались черные мысли. Это была совершенно новая комбинация и самая ужасная комбинация. Ведь, когда он полюбил Надежду Петровну, даже тени мысли о детях не было, а говорило только одно свое эгоистическое чувство. Если его так му-

чили ревнивые мысли, когда он смотрел на жену, только как на жену, а что будет, когда она сделается матерью его ребенка?.. Вот когда начнется настоящая казнь за увлечения молодости... И ничего этого не было бы, если бы он женился на девушке, самой простой девушке, за которой не стояло бы никакого прошлого. Да, это зверские, нечистые мысли, но они есть, они здесь, они всегда будут с ним... Раз, когда Аркадий Васильич раздумался в этом направлении, на улице взвыла шарманка и точно в ответ ему надтреснутый женский голос пропел:

...Не женись на вдовушке:
Старый муж придет!..

Он даже побледнел весь и задрожал, – точно там, на улице, подслушали его самые тайные мысли. Аркадий Васильич старался взглянуть на свое положение со стороны, как бесстрастный посторонний зритель, ставил на свое место другого человека, но и со стороны получалась та же безжалостная зоологическая правда. Ведь если бы он мог знать наверное, что у него будут дети, если бы он се-

рьезно подумал об этом, то едва ли решился бы дать этим детям матерью жену другого... Факт остается фактом, что вы там ни говорите. Все это было и грубо, и гадко, и несправедливо, но он не мог отделаться от этих мыслей. С другой стороны, он мог только удивляться, что Надя совсем не думала в этом направлении, всецело растворяясь в своем настоящем. Раньше он ловил ее на мыслях о первом муже, а теперь не было и тени таких мыслей. Для нее не существовало именно того, что должно было бы ее особенно мучить, и он не понимал ее. Грядущее материнство покрывало все, а он мучился своею зоологическою правдой один.

Получался тяжелый разлад, которого она не хотела понимать. Конечно, он не подавал никакого вида и отдавался своим мукам один, что было еще тяжелее. С другой стороны, он видел совершавшуюся в ней громадную перемену. Капризной, избалованной и взбалмошной женщины точно никогда и не бывало, а на ее месте вырастала такая любящая, кроткая и спокойная. Да, в ней уже чувствовалась эта уверенность, с которою чело-

век может вынести всякие страдания и пойдет в огонь. Материнство светилось блуждающим огоньком во взгляде; оно же проявлялось самым трогательным образом в тысяче тех мелочей, которые получили смысл только теперь. Аркадий Васильич понял многое такое, что раньше оставалось закрытым. Как детски-трогательно вила она свое гнездо... В сущности, у них ничего не было, но она сумела из ничего сделать все, как ласточка лепит свое гнездо из соломинок, перьев и грязи. Двадцать раз она переставляла всю мебель, выгадывая каждый вершок и рассчитывая все удобства. На окнах появились занавески, в спальной плед заменил собою ковер, его письменный стол приводился в образцовый порядок и т. д. Все было предусмотрено, взвешено и обсужено.

– Когда я буду больна, Аркаша, вот этот столик будет у меня в комнате, – говорила она. – Может быть, понадобятся лекарства...

Откуда-то появился старинный образок-складень, который повешен был над кроватью.

– Аркаша, это материнское благослове-

ние... – объясняла она. – Этим образком я тебя благословляю, если умру. Так и помни... Мы ничего не знаем, что будет *там*, но я это чувствую. Мне часто хочется молиться, не потому, что я боюсь смерти, а потому, что душа полна... Если я умру, так с жаждой жизни, с страстным желанием счастья. Милый мой, хороший, если бы ты только знал, как я люблю тебя!

Да, она его любила... Тихо и хорошо любила. Он чувствовал это в ее пристальном взгляде, в том смущении, когда он ловил такой взгляд. В нем она видела теперь другого человека, именно, отца своего ребенка, и ее душу наполняло такое спокойно-благоговейное чувство. Это был другой человек и такой органически близкий, что трудно было сказать, хорош он или нехорош, красив или некрасив. Часто случалось, что он говорил то самое, что она думала, и наоборот.

– Что же это такое, Аркаша? – в изумлении спрашивала она. – Ведь это, наконец, страшно!.. Я не желаю, чтобы ты слышал каждую мою мысль.

Какие хорошие были два последних меся-

ца, именно те, когда она должна была бы особенно страдать! Положение усложнялось еще тем, что местный акушер, конечно, маленькая провинциальная знаменитость, ошибся относительно наступления срока родов именно на эти два месяца. Томительное ожидание выкупалось таким хорошим настроением. Сцен больше не было, потому что все внимание, все мысли и чувства витали в будущем. Сколько хороших планов было выстроено за это время, сколько сделано приготовлений... Она сшила первую детскую рубашку-распашонку, которую долго прятала от него, потом явилось фланелевое одеяло с меткой Л, потом тот маленький гардероб, который матери готовят с такой милой, стыдливой радостью. Потом она спрятала свою головку у него на груди и прошептала:

– Любовь ей имя... Мы ее назовем: Любовь.

– Да, Любовь... – ответил он. – Милая, милая...

В числе планов на первом месте стояла деревня. О, они непременно будут жить в деревне, в своей избе, будут иметь свою землю, свою корову, свою лошадь... Не правда ли, как

это будет хорошо? Уйти от всех и наслаждаться трудовым, здоровым счастьем в своем уголке. Жизнь была так проста и ясна. И нигде фельдшер так не нужен, как именно в деревне. Он там будет все... Аркадий Васильич занялся теперь изучением тех простых народных средств, которыми народ лечит домашними способами, и делал открытие за открытием. Например, дорогая хина заменяется соком редьки или хрена. Ему уже приводилось применять эти средства, когда нужно было лечить бедноту и городскую голь. Какие там лекарства, когда нет хлеба и дров!..

– Милый, милый... – шептала она, припадая к нему. – Сколько на свете горя и нужды, и какие мы богачи, сравнительно!

– В городе пятьдесят рублей моего жалованья – приличная нищета, Надя, а в деревне это целое богатство. Вот увидишь... Даже совестно будет получать такие страшные деньги.

– Помнишь, мы читали в газетах, с каким сожалением пишут о двух молодых врачах, которые поступали куда-то фельдшерами?.. Наверно и сами эти господа врачи разыгрыва-

ли из себя жертв общественной несправедливости...

– У нас все так: с одной стороны – хорошие слова, а с другой – хорошее жалованье. Впрочем, мы торопимся осуждать других, Надя... Может быть, и сами сбежим из деревни через полгода.

– Ну, уж этого не будет, Аркаша. Вот увидишь, какой славной деревенской бабенкой я буду...

Незаметно для самих себя у них выработалось какое-то органическое отвращение к городу, к условным формам этого городского существования и ко всему, на чем лежала печать города. Ах, скорее бы уехать туда, где желтеют нивы, где зеленеет лес, где идет настоящая жизнь, а не созданная искусственным способом. Да, скорее туда, в деревню... Эта деревня являлась любимой темой бесконечных разговоров, предположений и планов. Она являлась решительным поворотным пунктом.

В жизни каждого человека бывают светлые полосы, и такую именно светлую полосу переживала теперь молодая чета. Как светло

было будущее, как оно просто и ясно! На время скрылись даже те больные мысли, которые продумываются с глазу на глаз только с собственной совестью. Ведь прошлое отпадало, как скорлупа зерна, из которого показался молоденький росток... Процесс тяжелый и мучительный, но он выкупается именно тем будущим, которое несет в себе вот этот самый росток.

– Я часто думаю о себе, – говорила Надежда Петровна задумчиво. – И мне кажется, что я – не я, а что-то общее. Те же ощущения, те же чувства и мысли испытывала и праматерь Ева, и женщины всего света испытывают сейчас. Недаром Гейне сказал, что с каждым человеком родится вселенная, и я чувствую ее, эту вселенную. Ты не можешь себе представить блаженного настроения, которое наступает иногда... И так хорошо думается. В материнстве – вся женщина. Прежде, когда я видела беременных женщин, то испытывала и страх за них, и какое-то особенно брезгливое чувство. Ведь это так некрасиво с эстетической точки зрения!.. А теперь я не чувствую собственного безобразия, и мне хочется крик-

нуть: я счастлива, потому что я – жизнь!

– А у меня другой порядок чувств: я только теперь понял, почему мужчина должен нести и тяжесть работы, и умирать, защищая родину. Что значит риск солдата перед риском беременной женщины?.. Хорошо умереть, когда знаешь, что это нужно.

Раздумавшись как-то на эту тему ночью, Аркадий Васильич почувствовал, как ему вдруг сделалось легко, совсем легко, точно свалилась какая-то шелуха. Если он раньше испытывал кровную ненависть *к другому*, то теперь просто не заметил бы его и точно так же незаметно устранил бы его, как швыряют попавший под ногу камень.

Впрочем, его нервы были настолько приподняты, что светлая полоса сменялась иногда самым мрачным настроением. Так он раз не мог заснуть целую ночь, раздумавшись о виде на жительство. Надежда Петровна от мужа такого вида не имела и жила по отсрочкам, выдаваемым из полиции. Срок последней такой отсрочке уже истекал, а Аркадий Васильич не хотел, чтобы она в таком виде отправилась в участок. Это всегда ее волнова-

ло, а теперь взволновало бы в особенности. Он лежал и мучался за всех женщин, которые теперь живут по таким отсрочкам. А сколько их, таких женщин!.. Утром Аркадий Васильич встал с тяжелой головой и откровенно рассказал все жене.

– Ах, какие пустяки!.. – весело ответила она. – Ты, просто, преувеличиваешь. Не первый год живу по отсрочкам, да и не я одна.

И он облегченно вздохнул, глядя на это детское лицо. Конечно, пустяки, когда нужно думать о главном, что придет не сегодня-завтра. Он сразу успокоился и повеселел. Вообще, ему часто приходилось советоваться с женой, и это даже вошло в привычку. У нее было какое-то чутье в отношении в людям, которых она даже не видела ни разу. Во многих случаях она оказалась гораздо дальновиднее мужа, и он, решаясь на что-нибудь, мысленно советовался с ней: а что сказала бы Надя?

VII

Роковой момент наступил совершенно неожиданно, как все роковое. Ведь столько времени они ждали наступления его, и все-таки оба испугались. Это случилось как раз во

время обеда. Надя побледнела и уронила нож. Лицо сразу потеряло все краски, глаза округлились, побелевшие губы сжались.

– Аркаша, милый… начинается.

Он это видел, чувствовал и понимал без слов. Да, начиналось то, что заставляет бледнеть и теряться самых мужественных людей. Страстная жалость охватила его, та бессильная жалость, которая хватается слабеющими руками за соломинку. Он наклонился к ней, поцеловал этот похолодевший лоб и помог ей подняться. Она, опираясь за его руку, сделала несколько шагов по комнате.

– Аркаша, мне страшно…

– Милочка… родная…

Но первая схватка прошла, и Надя сразу повеселела. Она кончила свой обед с веселым лицом и проговорила, вытирая рот салфеткой:

– Вот и пообедала в последний раз…

Боже мой, сколько жестокой правды было в этой случайной фразе, и сколько тысяч раз потом Аркадий Васильич повторял ее про себя! А тут он даже рассердился, глупо и несправедливо рассердился: для чего говорить такие

нелепости – «в последний раз»?.. Он что-то ворчал, а она только смотрела на него такими испуганными, покорными глазами, полная физических страданий! И это были последние минуты короткого счастья, нет – последние мгновения. Впоследствии он тысячу тысяч раз раскаялся в этой ничтожной сцене, плакал и зубами рвал подушку. Последние мгновенья... Как глупо и как жестоко несправедливо складывается наша жизнь, состоящая из таких мелочей и пустяков! Его убили вот эта ее покорность и детский взгляд.

Дальше события полетели с быстротой ветра. Раньше он часто думал: ведь нужно пережить только несколько тяжелых дней, может быть несколько часов, и все устроится. У каждого есть такие дни, и нужно уметь с твердостью их переносить. Вот они наступили, эти несколько дней... Вот и Надя лежит в постели с лихорадочным взглядом, с запекшимися губами, с застывшим лицом, по которому молнией пробегает болевая судорога. Неужели это она, его Надя, его голубка, его счастье?.. Потом она поднималась и переходила на диван, а отсюда – обратно на кровать. Щемящая

тоска вдруг охватила Аркадия Васильича, и он почувствовал, как его оставляет самообладание.

– Надя, я схожу за акушеркой…

– Нет, не нужно… Ведь ты знаешь, как все должно быть, Аркаша…

– Да… да… Я несколько раз принимал детей… Прежде всего: терпение.

Какие глупые слова иногда говорит язык: терпение!.. Ведь это не более, как глупое слово, а он его повторял столько раз. Терпение, когда человек, живой человек превращается в одно больное место, когда сознание гаснет, когда душу леденит смертельный страх… Да, он все это чувствовал, когда его шею обвивала холодная маленькая ручка, такая беспомощная и страдающая. Что же это такое?.. Ничего не нужно, только не было бы этих страшных мук… Да, ничего. Аркадий Васильич с какой-то ненавистью подумал о страстно ожидаемом ребенке – ничего не нужно, только прекратились бы эти страдания. У него кружилась голова, навертывались слезы, горло точно сдавливалось какой-то рукой.

Главное неудобство, какое выступило с

особенной рельефностью, заключалось в том, что «не было женщины», а она сейчас особенно была необходима. Знакомств никаких молодая чета не успела сделать, да и Надя была так скупа на знакомства, особенно с женщинами. С трудом переводя дух, она повторяла несколько раз:

– Аркаша, у других есть матери... старшие сестры, а у меня никого... ах, как это тяжело, Аркаша!

– Горлинка, не нужно падать духом!..

– Знаю, знаю... Аркаша, поставь вот сюда образок. Это благословение моей матери... Я буду молиться общей нашей Матери.

Религиозные моменты проявлялись и раньше, но в полусознательной форме, а теперь запекшиеся губы повторяли по старой памяти молитвы, усвоенные еще в детстве. И в полузакрытых глаз выдавилась слезинка и украдкой пробежала по мертвенно-бледной щеке... Аркадий Васильич чувствовал, как в ее больном мозгу проходит черной тенью отцовское проклятие, – положим, сумасшедший старик находился, в момент проклятия, в состоянии невменяемости, но именно теперь

оно отзывалось ненужной тяжестью, вызывая эти горькие молчаливые слезы.

В одну из самых горьких минут, именно ночью, явилась неожиданная помощь в лице кухарки Агафьи. Аркадий Васильич удивился, когда увидел ее в кухне.

– Что вам нужно? – сухо спросил он, оглядывая ее с ног до головы.

– А вот это самое... – грубо ответила Агафья. – Может, в аптеку нужно, либо што, так я, значит, живой рукой... Барыня прислала, потому как она у окна торчит с самого обеда... Известно: барыня. Поди, грит, в жильцам, может што нужно.

– Ничего не нужно, и вы можете идти домой.

В сущности, Аркадий Васильич ничего не понял: какая барыня стоит у окна? Зачем она стоит? Для чего явилась эта баба, наконец?.. Он еще больше удивился, когда в следующий момент увидел Агафью у постели больной. Эта баба оправляла белье, совалась по комнате и вообще проявляла желание быть полезной. Надя открыла глаза и сморщилась. Ей было неприятно видеть чужое лицо, а затем

существует народное поверье, что при постороннем глазе роды труднее. Аркадий Васильич отвел Агафью в следующую комнату и посоветовал ей уходить самым решительным образом.

– Да ты в уме ли, барин? – удивилась в свою очередь Агафья. – Таковское ли это дело, чтобы мужчина один управился... Фершал-то ты фершал, а лучше бы баушку пригласить. Она бы поправила, а то в баню сводила бы. Да с кем я говорю-то о таких делах?.. Разе ты можешь што понимать по нашей женской части!

Аркадий Васильич молча взял Агафью за руку и довольно невежливо выпроводил ее и дверь затворил за ней на крючок. Агафья защищалась отчаянно и несколько раз успела толкнуть сердитого барина локтем. Очутившись на крыльце, она погрозила всему флигелю кулаком. Потом Агафья отправилась с докладом к барыне, занимавшей свой наблюдательный пост.

– Ну что, Агафья?..

– В шею выгнал, вот што. Оглашенный какой-то!.. А она, голубушка, лежит белая-белая,

краше в гроб кладут... И красивая такая: патрет. Долго ей не разродиться, потому как идол-то этот мешает. Баушку бы позвать.

Марья Сергеевна от души пожалела, что послала во флигель Агафью, которая наверно что-нибудь напутала. Нужно было идти самой. Отпустив Агафью, Марья Сергеевна осталась у своего окна и с пристальным вниманием следила за всем, что происходило во флигеле. Сверху ей была видна освещенная лампой гостиная и часть спальни, где лежала больная. Она с лихорадочным вниманием следила за длинной колебавшейся тенью, которая время от времени появлялась в гостиной и сейчас же исчезала в спальне. Это был *он*... Господи, сколько муки должен был переживать теперь этот фельдшер!.. В такую минуту и совершенно один... Почему она не пошла давеча к ним сама, а подослала эту дуру Агафью? Ее удержало какое-то ложное чувство стыда: с какой стати она будет навязывать свои непрошенные услуги чужим людям?.. Но ведь это фальшивое, глупое и несправедливое чувство, когда на сцене, может быть, стоит вся жизнь. Да, жизнь страст-

но любимого, дорогого человека... Идти сейчас? Но он выгнал Агафью и может выгнать ее: в такие минуты не церемонятся. Марья Сергеевна даже отыскала свою шаль, накинула ее на голову и дошла до передней, но с полдороги вернулась опять к своему окну... У нее не хватало силы, уверенности в себе.

Николая Яковлевича, по обыкновению, не было дома. Он возвращался только в четыре или пять часов утра, возвращался такой усталый, гадкий, иногда сильно навеселе.

«Боже мой, хоть бы он скорее вернулся! – думала Марья Сергеевна, глядя на часы, показывавшие половину второго. – А время так медленно ползет, точно застыло. Что-то там делается?.. Ах, какая я дрянная, бесполезная женщина!.. Недаром муж меня не любит... Вот *ту* любят, бедняжку, и она счастлива даже своими муками».

Она не помнила, сколько времени прошло, не помнила, когда явился подгулявший Николай Яковлевич, очень удивившийся, что жена не в постели, а стоит совсем одетая у окна.

– Это... гм... что это означает? – придрался он, слегка пошатываясь.

– Тише... – шепотом остановила она его. – Там, во флигеле... у нас... ах, как она мучается!.. Теперь уж больше полусуток прошло...

– Кто мучается?

– Боже мой, какой ты гадкий!.. Она, жена этого фельдшера, рожает... Они бедные, у них никого нет, а он так ее любит!

– Любит... – повторил он, как эхо, и обрушился на ближайший стул, точно придавленный этим словом.

Он был поражен тоном, каким говорила с ним сегодня жена, выражением ее лица, той энергией, которой пахнуло на него от нее, – это была другая женщина, совсем другая, какой он не знал до сих пор и о существовании которой даже не подозревал. Фельдшер любит жену, жена фельдшера рожает, жена его, Николая Яковлевича, торчит у окна до пяти часов утра и говорит с ним шепотом, а сам он, Николай Яковлевич, сидит на стуле и решительно ничего не может понять. В голове бродят какие-то обрывки мыслей, какие-то слова, точно спутанные нитки пряжи. Потом ему вдруг сделалось смешно: фельдшер?.. любит?.. Разве фельдшера могут любить? Они должны

делать компрессы, пластыри, ухаживать за больными, а не любить... Нет, это о-ри-гиналь-но!.. Затем, он чувствовал, как жена с какой-то тоской посмотрела на него, как смотрят на хорошую, но никому и ни на что негодную вещь, и как она прошла мимо него, сделав брезгливое движение плечом.

– Фельдшер... любит... х-ха!.. – бормотал Николай Яковлевич, поднимаясь.

Но его остановила чья-то твердая рука. Она его усадила на стул, как ребенка, а затем к самому его лицу придвинулось другое, возбужденное лицо, и энергичный шепот проговорил:

– Несчастный, ты сейчас же пойдешь в церковь... знаешь, на углу Проломной улицы стоит такая маленькая старая церковь Всех Скорбящих? Разбуди священника и попроси его отворить царские врата... Понимаешь?..

– Позволь...

– Довольно! Слушай... *Это* делается в случае трудных родов, и простой народ *этому* верит. Понимаешь? Если священник не согласится, проси его... умоляй... слышишь?.. Сейчас же... Каждая минута дорога. Затем ты ку-

пишь свечку и поставишь перед образом Скорбящей... понимаешь?.. Чтобы сию минуту!..

Вид пьяного мужа преобразил Марью Сергеевну, подняв в ней всю энергию. О, она теперь знала, что делать... И это бессмысленное животное будет делать все, что она скажет. Николай Яковлевич повиновался, не проронив ни одного звука. Что же, он провел вечер в клубе, потом был *там,* а теперь... Фельдшер... любит... Кстати, извозчики стоят сейчас на углу. «А в аптеку не нужно?..» Выходя из комнаты, он оглянулся и все понял. Из дому вышел он твердой походкой, на углу взял извозчика и велел ехать в Проломную. Дорога шла как раз мимо клуба, и Николай Яковлевич только покрутил головой. Да, бывают случаи...

Марья Сергеевна, выпроводив мужа, постояла несколько времени у окна, а потом быстро вышла из комнаты, быстро сбежала по лестнице и быстро постучала у дверей флигеля. Ее поразила царившая там мертвая тишина. Она слышала, как бьется ее собственное сердце, как она дышит. Пришлось повторить

стук. Показался *он*... В первую минуту она его не угнала. Это был состарившийся, сгорбленный человек. Прежде всего ее поразило, что он совсем не походил на того, который приходил тогда в ней. Да, это был совсем другой и такой близкий, бесконечно близкий, родной. Она молча взяла его за холодную большую руку, молча поцеловала и молча прошла через маленькую переднюю. За ней слышались какие-то мертвые шаги, точно стучал маятник больших старых часов. Вот она в гостиной, где зеленый свет лампы мучительно боролся с белесоватым рассветом. Она машинально оглянула бедную обстановку, где каждая мелочь говорила о коротком молодом счастье, где царил тот беспорядок, который приносит с собой тяжелая бедность... Да, это была та самая комната, за жизнью которой она наблюдала из своего окна в течение длинных, мучительно длинных месяцев. Да, здесь самый воздух был насыщен горячим счастьем, ожиданием, мольбой... Она, шатаясь, как пьяная, остановилась на пороге спальни. На кровати лежала с закрытыми глазами та женщина, которой она так завидовала. Это была тень

человека, с той разницей, что эта тень так порывисто и тяжело дышала. Марья Сергеевна вся вздрогнула, когда где-то тут близко что-то жалобно пискнуло, и она только теперь увидала маленькую корзинку, прикрытую старым пледом. Значит, все кончено, все благополучно... Она затаила дыхание и выпятилась в дверь.

– Слава Богу... – прошептала она и перекрестилась. – Да, слава Богу... А я так мучилась за нее все это время.

– Бедняжка, она так мучилась!.. – шепотом ответил ей другой голос. – За что? Ну скажите: за что?..

Она подошла к нему, села на стул и взяла его за руку. За что? А вот за то счастье, которое здесь незримо витало, за это будущее счастье, которое уже явилось на свет... Вам этого мало?.. Они молча понимали друг друга, перестрадав всякий по-своему все случившееся. Он горько улыбнулся и опустил глаза... Господи, давно ли он ревновал ее, полный звериных инстинктов и зоологической правды?.. Он временами презирал ее и даже вздрагивал, когда в мозгу проносились обидные кар-

тины ее счастья с другим, того первого счастья, которое не повторяется, которое испытывает каждая женщина, но не каждый мужчина. Какой он был гадкий, какие отвратительные мысли змеями шевелились у него в голове, и как он жалок и ничтожен теперь пред величием совершившегося факта! Да, он все забыл, все простил, очистился, сделался лучше, и вот то маленькое существо принесло с собой желанный покой душе. Теперь все светло, все чисто, и нет больше звериных чувств и звериных мыслей. Он закрыл лицо руками и тихо зарыдал. Эти слезы без названия, без имени, без объяснения были лучше всего, что он делал раньше, думал и чувствовал. Их вызвало присутствие вот этой незнакомой женщины, которую привело сюда ее женское сердце, ее желание чем-нибудь помочь, успокоить, утешить. Да, опять эта маленькая теплая женская рука протянулась к нему, и он машинально ее поцеловал от избытка счастья. Затем, он с удивлением посмотрел на нее широко раскрытыми глазами, хотел что-то сказать, но так и остался с полуоткрытым ртом – на пороге показался Нико-

лай Яковлевич и доктор Иксов, местная знаменитость.

Николай Яковлевич успел отрезвиться дорогой и заметно конфузился своей новой роли. Доктор, сгорбленный и худой старик, даже не взглянул ни на кого, а как-то хмуро проковылял в спальню. Аркадий Васильич на ходу что-то объяснял ему, и докторская голова наклонялась в такт его словам.

Марья Сергеевна и Николай Яковлевич сидели у стола и не решались взглянуть друг на друга. Раздавшийся детский писк заставил его как-то виновато вздрогнуть. Она сидела, опустив глаза, такая спокойная и полная какой-то решимости. Доктор оставался у больной довольно долго, а потом вышел еще более хмурый.

– Мне она не нравится... да... – повторял доктор, точно с трудом разжевывая каждое слово.

Аркадий Васильич шел за ним бледный, потерявшийся, жалкий. Когда Марья Сергеевна взглянула на него, то сразу поняла, что случилось что-то ужасное – и это ужасное совсем близко, вот здесь, рядом. У нее захолону-

ло на душе.

– Вы упустили самую обыкновенную вещь, которую знает каждая повитуха... – ворчал доктор, надевая очки. – Да, она мне не нравится...

– Да, да... ах, что я наделал?!. – вырвалось у Аркадия Васильича. – Ах, что я наделал!.. Ведь я же знаю это, доктор... знаю!.. Но тут точно вышибло из головы.

– Вот всегда так: молодежь самонадеянна... – ворчал старик, подписывая рецепт. – Да, мне не нравится... Отчего вы не пригласили опытного врача? Наконец, акушерку?..

– Я... я... то есть у меня не было денег... – тихо ответил Аркадий Васильич, хватаясь за голову. – Ах, что я наделал?!. Надя... Надя... Надя...

VIII

Уходя, старик-доктор счел своим долгом сказать убитому мужу несколько слов утешения:

– Конечно, трудный случай, но бывают счастливые исходы... гм... Не следует падать духом... да. Нет такой болезни, от которой нельзя было бы выздороветь... гм... Во всяком

случае, лично я не теряю надежды.

Это была последняя милостыня науки, но Аркадий Васильич ничего не видел и ничего не слышал, придавленный одной мыслью: ведь это он, да, он убил Надю вдвойне… Марья Сергеевна догнала доктора на крыльце.

– Нет надежды, доктор?

– Никакой… К вечеру она умрет… Мне ее жаль… Самонадеянный молодой человек…

Впопыхах Марья Сергеевна даже не простилась с доктором, а бросилась назад в комнату.

– Nicolas, бери сейчас извозчика и привези кормилицу…

– Я? Где же я ее возьму?.. Наконец, это будет просто смешно: я вдруг буду разыскивать по всему городу кормилицу. Еще встретится кто-нибудь из знакомых…

– Без разговоров!..

Николай Яковлевич только развел руками, но ничего не оставалось, как только повиноваться.

Аркадий Васильич стоял у кровати и смотрел на жену. Она лежала с закрытыми глазами и так тяжело дышала. Около носа легли

две темных полосы, которые приковали его внимание: это была смерть, разливавшаяся в крови. Да, он чувствовал присутствие этой смерти, и сам застывал от ее холодного дыхания. С другой стороны, ум никак не мог помириться даже с самым словом: смерть! Человек был жив, человек был полон мыслями о будущем, и вдруг – ничего… А как же ребенок? Как он сам?.. Вообще, что все это значит?.. В нем проснулась отчаянная надежда, страстная жажда какого-нибудь чуда, – ведь теперь могло спасти ее только чудо!.. Вот и образок, материнское благословение, и детская молитва, и таинственный страх пред неизвестным будущим…

– Надя… родная… ты слышишь меня? – спросил он, приникнув в изголовью.

– Да… – ответили запекшиеся губы, и холодевшая рука протянулась к нему. – Благослови меня…

У него затряслись руки и ноги, в груди что-то остановилось, и он дрожащей рукой перекрестил это бледное лицо, подернутое первыми тенями близившейся смерти.

Кто-то вошел в комнату, взял корзинку с

ребенком и вышел – он не шевельнулся. На столике в углу продолжала гореть позабытая ночная лампочка, а в окно глядел серый осенний день, точно бельмо. Надя… Надя… Надя… Она еще здесь, вот здесь на кровати, хотя сознание уже подернулось застилавшей его тьмой. Бедняжка не чувствовала, что быстро умирает. В каждой капле крови таинственно неслось это уничтожение, сердце било тревогу, а мысль уже утонула в обступавшей ее бездне небытия. Бедный человеческий ум, этот услужливый раб, который подавал всегда то, чего хотели вот эти глаза, эти уши, это цветущее тело… И теперь совсем не нужны его услуги. Да, не нужны… Так отказывают от места прислуге, когда господа разоряются. Слуга и уходит так же быстро, как ему отказали.

Но оставался другой слуга, который не желал уходить и боязливо вызывал картины недавнего богатства. Вот в этих стенах было все, чего только можно пожелать… Жизнь цвела всеми своими красками, всеми линиями и звуками. Да, жизнь, а теперь ее сменяла мучительная пустота. Ничего… Темно… Аркадий Васильич даже протер глаза – нет, в ком-

нате светло, но это свет без света, без тепла, без души. Улыбка искривила его губы. Он крепко держал в своей руке ее маленькую ручку и чувствовал, как она начинает холодеть, как тонкие пальцы начинают терять свою гибкость. Он прильнул к этой ручке губами, хотел ее согреть своим горячим дыханием, как ушибленную ручку ребенка. Но это была жалкая попытка, а смерть делала свое дело – медленно и вместе быстро, бесповоротно и неуклонно… Откуда явился священник?.. Какая-то женщина затеплила свечу перед образком. Послышался заученный речитатив молитвы… Детский ужас охватил Аркадия Васильича. Он прислонился в стене и смотрел, как широкая спина священника наклонилась над кроватью, как поднялась благословляющая в последний раз рука, как… Надя хотела говеть перед родами, но он удержал ее. Зачем он это сделал?.. Да ведь он не думал о смерти, не думал о том, что не только дни, но сочтены и часы… А ей нужно было примириться с своей совестью, в ней жила еще эта детская святая вера… И вот сама пришла благословляющая рука с последним утешением, с послед-

ним словом надежды на другую жизнь, на то, о чем мы боимся думать. Какая-то дрожь охватила Аркадия Васильича, и в нем с удвоенной силой проснулась жажда чуда, да, того чуда, которое могло вдохнуть жизнь. А в комнате было так душно, не хватало воздуха, света...

– Безумец, тебе не будет чуда... – шептал таинственный голос. – Не будет... Ты думал о жизни, постоянно был полон земных расчетов и соображений и не думал о смерти. Чуда не будет!.. Каждый прожитый день был чудом, днем посещения, а ты его не видал, потому что думал о другом. Каждый час был чудом и каждое твое дыхание, а ты не чувствовал этого... Чудеса не повторяются по желанию, и вчерашний день не вернется...

Голос был прав. Аркадий Васильич стоял с раскрытыми глазами и видел эти дни, невозвратные, дорогие, счастливые дни... И он их не замечал раньше – он терзал себя придуманными муками, картинами и собственной несправедливостью. Правда жизни оставалась в стороне, а он, полный безумных сомнений и тревог, топтал свое счастье...

Ведь *она* не могла этого не чувствовать и тоже терзалась, за него терзалась, за его зверские мысли и чувства… А теперь она искупила своими страданиями все, она дала жизнь и права вдвойне. Вот отчего светлеет это лицо, вот отчего оно принимает такое спокойное выражение: в нем осталась одна правда, та правда, которая не нуждается в оболочке из слов.

Дыхание становилось медленнее, точно грудь давила какая-то невидимая рука. Больная вытянулась. Одна рука лежала на груди с пальцами, сложенными по мертвому, а другая бессильно опустилась. Все кончено… все… навсегда… Аркадий Васильич наклонился над дорогим лицом и принялся его крестить, не спуская глаз с полураскрытого рта, из которого еще вырывалось слабое дыхание, прерываемое предсмертными хрипами. Вот оно реже… Еще один вздох, и жизнь отлетела…

– Аркадий Васильич… голубчик… – шептал над ним незнакомый мужской голос, и чья-то рука старалась отвести его от трупа.

Он повиновался. Он вышел в следующую комнату и увидел корзинку с ребенком, а око-

ло нее незнакомую женщину, смотревшую на него красными от слез глазами.

– Ребенка мы пока перенесем к себе, туда…

– Да…

– Nicolas, ты бери корзинку, а я пойду за тобой.

Аркадий Васильич ничего не чувствовал. К ребенку он отнесся с каким-то тупым равнодушием… Его муки были там, где все было так тихо.

Николай Яковлевич торопливо и неумело взял корзинку и понес ее из комнаты с таким напряженным видом, точно боялся что-нибудь пролить. Марья Сергеевна с строгим лицом шла за ним, ступая на одни носки… Кормилица, простая деревенская баба, была уже там, в столовой. Она только что оставила своего ребенка и с тоской посмотрела на внесенную барином корзинку.

– Ну, кажется, теперь все? – недовольным тоном спросил он.

– Нет, еще не все… – решительно ответила Марья Сергеевна. – Нельзя там оставлять одного… понимаешь?..

– А я что буду с ним делать?..

Марья Сергеевна только пожала презрительно плечами и быстро принялась хлопотать около плакавшего ребенка. Нужно было его успокоить, согреть, научить кормилицу, что делать. Из-под старого пледа, в который был завернут ребенок, выставлялась такая маленькая-маленькая ручонка, и Марья Сергеевна поцеловала ее с каким-то благоговением. С этой крохотной детской ручонкой к ней протягивалась новая жизнь, полная новых забот, интересов и счастья.

Но это было всего одно мгновение. Марья Сергеевна устыдилась своего бесчеловечного эгоизма и бросилась во флигель. Николай Яковлевич был там и старался всеми силами не пускать Аркадия Васильича к покойнице.

– Вы видите: я спокоен… – повторял тот, стараясь освободить свою руку. – Ведь это я ее убил… да.

– Перестаньте, ради Бога!.. – вступилась Марья Сергеевна, делая глазами мужу знак уходить. – Об этом мы еще успеем поговорить… Теперь вы предоставьте пока все мне. Согласны?

Он схватил ее руку и поцеловал. О, женщи-

ны так добры, милые женщины… Когда Николай Яковлевич, обрадованный отпуском, выходил, на пороге его догнала фраза:

– Но это еще ничего: я убил ее без намерения… Есть вещи похуже…

Николай Яковлевич остановился, а потом махнул рукой и с деловым видом зашагал в себе на крыльцо.

– Если бы вы тоже вышли на полчаса, – спохватилась Марья Сергеевна, увидев в окно улепетывавшего мужа. – Всего на полчаса… Мы в это время успели бы приготовить покойницу…

Последнее слово испортило все дело. Аркадий Васильич весь затрясся, побелел и посмотрел на Марью Сергеевну такими страшными, остановившимися глазами. Надя – покойница?.. Его Надя?.. Надя… Надя… Надя… Нет, этого не может быть! Он бросился в спальню… Надя, дорогая, родная, милая!.. Нет никакой покойницы… О, милая, милая, милая!..

– Аркадий Васильич… подумайте, у вас есть ребенок. Нужно жить для ребенка…

– Ребенок?.. А он мне вернет мать?.. Да нет,

что я говорю… Ребенок тут ни при чем: я ее убил. Хуже…

Он отвел Марью Сергеевну в другую комнату, оглянулся и заговорил тихим, придавленным голосом:

– Вот вы меня утешаете… да. А между тем я желал этой смерти… Да, я так думал – и еще недавно. Я ревновал жену к ее прошлому и не мог его забыть. Да, не мог, потому это было выше моих сил, потому что я был ничтожный, гадкий человек, потому что я никогда не любил ее… Как-то мы вместе гуляли и встретили хорошенькую гимназистку, и я подумал, что если бы Надя умерла, то я женился бы именно на такой чистой, нетронутой девушке. В другой раз я думал то же ночью… целую ночь думал… Думал, что именно Надя может умереть от родов, и я буду опять свободным, как птица. Да, я так думал, и вы не жалейте меня… Это гораздо хуже того, что я убил ее своей неосторожностью, своей самонадеянностью…

– Голубчик не нужно *так* говорить…

– А потом я знаю, что будет. Я буду горевать полгода, целый год, а потом острое чув-

ство уляжется, и я буду смотреть на других женщин с спокойной совестью. Не забудьте, это есть хорошие, чистые люди, которые свято несут свое горе до могилы, и есть такие дрянные люди, как я, которые побегут за первой юбкой и в новых объятиях найдут новое счастье. Поймите это и не жалейте меня… Ах, как я презираю и ненавижу себя, и знаю, что и это ненадолго, и что я примирюсь с самим собой и найду другую… другую…

– Не будемте теперь говорить об этом, а что будет – известно одному Богу. Нужно успокоиться прежде всего… У вас есть обязанности… Наконец, вы должны слушаться меня.

– Хорошо, хорошо…

Он взглянул на нее и улыбнулся.

– Хорошо… Вы хотите обмывать покойницу? – выговорил он, налегая на последнее слово. – Хорошо… Только исполните мою последнюю просьбу: дайте мне в последний раз побыть с ней одному. Мне нужно собраться с мыслями, а потом я весь ваш… Через час вы придете…

Она поддалась его спокойному тону и согласилась уйти. Этого она никогда не могла

себе простить... Так, накатилась минута затмения, а главное, мелькнула мысль, что нужно съездить в магазин и купить всего необходимого, чтобы прилично одеть покойницу. Он так же спокойно проводил ее до дверей и уже на пороге спросил:

– Ребенок у вас?..

– Да... пока.

– Назовите его: Любовь. Так хотела Надя... да, Любовь.

Вопрос о ребенке смутил Марью Сергеевну, а еще больше смутило ее то, что дверь за ней сейчас же была плотно притворена и щелкнул ключ в замке. Она постучалась: ответа не последовало. Предчувствие чего-то нехорошего мелькнуло у нее в голове, но он был так спокоен. Затем, что же такого особенного в этом желании побыть в последний раз наедине с покойницей? Для успокоения совести она подошла к окну и заглянула. Он спокойно шагал из угла в угол, заложив руки за спину, а потом заметил ее и улыбнулся. Марье Сергеевне сделалось очень совестно за это подглядыванье, и она торопливо убежала в себе.

Да, он улыбнулся, когда увидел в окне лю-

бопытное женское лицо. Что ей было нужно? Ведь он сказал ей все, что его мучило и убивало. Нет, не все... Разве бедное человеческое слово в состоянии выразить хотя приблизительно то, что он переживал сейчас? Жизнь идет скачками, и в несколько минут человек может пережить все. Да, все... О, как все было ясно, просто и безжалостно, и как это все понимал сейчас Аркадий Васильич! И всех он понимал... Ему даже хотелось крикнуть: «Что вы делаете, безумцы?..» Да... Он видел всю эту паутину житейских мелочей, дрязг и несправедливости, которая опутывает каждую живую душу. Да... И все это только оттого, что никто не думает о смерти, о дне итога. А между тем с каждым человеком родится и умирает вселенная. Человеческая воля затемнена зверскими инстинктами, ум лжет, чувства тоже... Ведь страшно жить!.. А смерть не страшна... Вечный покой, вечное молчание, вечная правда.

Аркадий Васильич несколько раз подходил к покойнице и подолгу всматривался в нее. Нет решительно ничего страшного... В этом застывшем лице было столько спокой-

ствия. Он поправил сбившиеся волосы на лбу, одеяло, руки. Боже, как она хороша! Живая она никогда не была такой красивой… Это – последний аккорд, а там – быстрое разрушение и уничтожение. Но и это не страшно…

– Милая… милая… милая… ты меня не слышишь?.. Смерть нас разлучила, но она же и соединит… Мы опять будем вместе и вместе навсегда. И ничто, ничто нас не разъединит…

Он был спокоен, потому что знал, что нужно делать. Эта решимость просветила его. Да, так нужно – и только. Кому счастье, кому горе, а прежде всего нужно быть господином самого себя. Воля выше смерти… Да, я так хочу, и ничто меня не удержит. Ничто…

О, да, он знал, что должен был делать, и это наполнило его душу чудным спокойствием.

Он присел к столу и перебрал свои бумаги. Как все это ничтожно, ненужно, все чужое… Он даже взял бумагу и хотел что-то писать, но и писать было не нужно. Все равно, никто не поймет того настроения, которое он переживал сейчас, его мыслей, его чувств… Довольно!.. Неисписанный листочек бумаги был

разорван и брошен. Зачем еще эта последняя ложь?..

IX

Когда Марья Сергеевна возвращалась с покупками, она предчувствовала что-то недоброе. Зачем Аркадий Васильич запер за ней дверь? Зачем он улыбнулся, когда она смотрела в окно? Зачем он спрашивал, где дочь, и просил назвать ее Любовью? В этом тревожном настроении она вернулась домой и прошла прямо во флигель, где все было тихо по-прежнему, и дверь тоже была заперта по-прежнему. На повторенный звонок никто не отозвался... Предчувствие чего-то дурного охватило Марью Сергеевну, и она в ужасе бросилась к себе.

Когда дверь во флигель была выломана полицией, представилось «ужасное зрелище», как сообщила местная газетка: Аркадий Васильич лежал мертвый на постели, рядом с женой. Он отравился цианистым кали... Эта картина произвела на всех удручающее впечатление. Ведь вчера оба были живы, а сегодня они лежали рядом мертвые. На лице Аркадия Васильича застала конвульсивная улыбка.

Одной рукой он обнимал свою жену... Даже Николай Яковлевич прослезился, глядя на эту счастливую парочку.

Два гроба провожала громадная толпа, состоявшая главным образом из народа. Особенно надрывались и плакали простые бабы... Откуда они узнали все, зачем пришли, о чем плакали?.. Особенно удивляло это Николая Яковлевича. Мало этого, – на могилку счастливой парочки стали ходить после влюбленные, покинутые женщины, несчастные, точно ждали от нее чуда. Было запрещено кладбищенскому сторожу показывать «счастливую могилку». Но и это не помешало, потому что устраивались настоящие паломничества дамами пропадинского большого света, узнавшими печальную историю двух возлюбленных через своих горничных. Общее внимание было подогрето особенно тем, что фельдшер оказался не простым фельдшером, а студентом. Наложенное запрещение на могилу докончило остальное. На могиле появились свежие венки, иммортели, незабудки, и она сделалась модным местом загородных прогулок. Всех довольнее оказался, ко-

нечно, кладбищенский сторож, на которого посыпались двугривенные и пятиалтынные. В пылу усердия он даже попробовал сочинить легенду о каком-то синем огоньке, который каждую ночь горел на могилке, а потом – что к ненастью слышатся стоны. За это ему досталось от священника сугубо. Панихиды в девятый, двадцатый и сороковой дни являлись настоящими событиями, и кладбище наполнялось самой избранной публикой. Дамы крестились маленькими крестиками и прикладывали белые платки к глазам; мужчины хмурились и принимали задумчивый вид. Одним словом, проделывалась последняя кладбищенская ложь.

Ребенок оставался у Горлицыных и был окрещен тем именем, которое назначил отец. У Марьи Сергеевны явилось нехорошее, почти злобное чувство, когда эта крошка сделалась предметом праздного любопытства, разговоров и пересудов. Некоторые дамы приезжали нарочно только затем, чтобы взглянуть на «дитя любви» и отереть слезу, обязательную в таких случаях. Сожалениям, охам и вздохам не было конца.

Интересная перемена произошла в Николае Яковлевиче. Когда первая суматоха улеглась, он, по обыкновению, скромно исчез из дому. Он даже был рад, что теперь жена остается не одна, и, следовательно, ей не будет скучно. Но, странная вещь, сам он точно был другой. Завернул в клуб, посмотрел на партнеров и только пожал плечами: какие они все странные, т. е. другими словами, мерзавцы… Именно, мерзавцы! Николай Яковлевич так прямо и подумал этим словом. Просиживать целые ночи в этой помойной яме, чтобы выиграть или проиграть несколько сотен рублей – это, воля ваша, действительно мерзость. Он даже присел на один роббер и едва дождался конца – так ему сделалось все противно. Из клуба он проехал *к ней,* но и там оставался не долго. Здесь его тоже коробило… Разве это женщина? Разве это любовь? К одиннадцати часам он вернулся домой, чем больше всего поражена была прислуга, а Марья Сергеевна как-то даже не заметила его, когда он в туфлях прокрался в столовую, временно превращенную в детскую. Ребенок спал в своей корзинке. Марья Сергеевна сидела у стола и

что-то быстро работала. На столе валялись обрезки старого заношенного полотна, какие-то свертки и совсем скроенные вещи детского приданого.

– Послушай, ты только будешь мешать… – шепотом заметила Марья Сергеевна, не поднимая от работы головы. – Я была так рада, что ты уехал в себе в клуб…

«К себе» – это было недурно сказано. Она была «так рада» – это уж совсем отлично… Николай Яковлевич почувствовал себя чужим именно здесь и даже вздохнул. Да ведь на него так и смотрят все: и жена, и прислуга, и кормилица. Ему сделалось обидно. Его не понимали. Да, он делал ошибки, он был несправедлив, но он не в конец испорченный человек… да. Наконец, он может исправиться и сегодня уже сделал первый шаг в этом направлении.

Вызвав жену в гостиную, Николай Яковлевич спросил с озабоченным видом:

– Маня, а что мы будем делать… ну, с этим ребенком?.. Нужно этот вопрос вырешить…

Она подняла на него свои озабоченные глаза и спокойно ответила:

– Как что?.. Сегодня уже присылали от купца Мешкова... Они в нашей улице живут.

– Ну?

– Желают взять на воспитание. Потом приезжала третьего дня жена воинского начальника и тоже согласна взять Любу...

– И ты... ты ничего мне не сказала?

– Что же тут говорить?.. Куда мы с ним, с ребенком? Ему нужно теплое гнездышко, где его любили бы, а это возможно только тогда, когда есть семья, есть любовь, есть счастье... На детях это отражается больше всего. Ах, я так много передумала за эти дни и нахожу, что лучше всего Любе будет у Мешковых. Конечно, они простые люди, необразованные, но семья хорошая и живут душа в душу...

– Отдать такого ребенка купцам? Никогда...

– Какого *такого* ребенка? Все дети одинаковы.

– Нет, извини, голубушка... В этом ребенке столько заложено любви, чувства, вообще силы, что его нельзя сравнивать. Ты только подумай, чего он стоил своим несчастным родителям... И вдруг отдать каким-то купцам, что-

бы из Любы вышла толстая купеческая дочь… Никогда… понимаешь? Если, наконец, ты не согласна взять его, то беру я… Я для него сделаю все, что могу и умею. Да… Вообще, меня удивляет твое поведение…

Она ничего не ответила, а только отвернулась и тихо заплакала: это были не обидные, горькие слезы одиночества, а теплые слезы радости, тот первый, теплый весенний дождь, от которого зеленеет первая весенняя травка, и развертываются набухшие почки.

– Маня… что с тобой? Разве я сказал что-нибудь обидное тебе?..

Она так же безмолвно обняла его, и ее голова очутилась на его плече. Он страстно целовал эти заплаканные глаза, мокрые щеки и чувствовал, что еще никогда так не любил ее, свою бедную Маню. Потом она вдруг вырвалась из его объятий и сказала:

– Мы воруем чужую любовь, Nicolas… *Это* принадлежит ей, нашей крошке. Она принесет нам счастье… Мне все кажется, что ее мать, настоящая мать, незримо витает над ребенком печальной тенью. Ведь она должна быть здесь, где ее последняя любовь, послед-

нее счастье… Бедняжка, как я ее люблю!.. Она почти не видела своего ребенка, купленного такой дорогой ценой… Это меня так гнетет. Ах, как я плачу над этой крошкой Любой!.. Раз ночью – ты спал – мне показалось, что кто-то вошел в детскую. Понимаешь: легкие женские шаги… Я уверена, что это была она… Она приходила к своему ребенку… Что я говорю: приходила!.. Она постоянно с ним… Нет, они оба тут… они все видят…

– Голубка моя, нужно успокоиться. Так нельзя… Что же делать, мы не виноваты, если все так случилось. Постараемся с своей стороны сделать все для ребенка… Ведь он нам нисколько не помешает. Пока будет в столовой… Решительно не стеснит. Много ли нужно такой крошке?.. И, знаешь, мне кажется, что она походит на мать; наша Люба будет такая же красивая.

– О, совершенная мать… Прехорошенькая девчурочка. Я часто смотрю на нее и не могу налюбоваться. Если бы жива была мать… Господи, сколько было бы у нее радости… Как бы она щебетала над колыбелькой своей малютки, как бы смеялась, заботилась. Nicolas, ты

не можешь себе представить, до чего я поглощена этой мыслью о матери...

Ребенок остался у Горлицыных и постепенно наполнил собой весь дом. Случилось это как-то само собой, совершенно незаметно, так что никто этого даже не чувствовал. Первое перемещение из столовой произошло благодаря бронхиту. Марья Сергеевна страшно перепугалась, когда ребенок начал кричать, перестал брать грудь и вообще заболел. Много ли нужно такой крошке... Первая мысль, которая мелькнула у нее в голове, была та, что будь на ее месте родная мать – этого не случилось бы. Да, она сумела бы уберечь ребенка от простуды... Приглашенный врач подтвердил эту мысль и заметил:

– Начать с того, что мать не поместила бы ребенка в проходную комнату, как ваша столовая...

– Но других свободных комнат у нас нет!..

– А ваша спальня? А кабинет Николая Яковлевича?.. Я советовал бы занять именно кабинет...

Когда Николай Яковлевич вернулся со службы домой, то нашел свой письменный

стол в гостиной. Сначала он даже как будто смутился, а потом весело заметил:

– Что же, я нахожу это очень разумным... На кой мне черт отдельный кабинет? Ведь я не министр, да и работать можно в гостиной так же хорошо... Дурацкая мода – непременно устраивать себе кабинет, и больше ничего. Отлично...

Марья Сергеевна даже ухаживала за мужем в течение нескольких дней за эту маленькую уступку, а он про себя смеялся над ее наивностью и делал вид, что принимает ее нежности за настоящую монету. Он теперь часто так делал, и это доставляло ему удовольствие. С клубом все было кончено, а также и с другими легкими удовольствиями. Когда старые знакомые встречали Николая Яковлевича где-нибудь на улице, то делали большие глаза и качали головами, точно он сошел сума.

– Что же это ты, брат, того?..

– Нет, я *этого*... Занят. У меня завелась интрижка с одной девицей...

– Ну и черт с тобой...

Ужасные нахалы! И каждая такая вещица

злила Николая Яковлевича, потому что он отлично знал, что думают вот эти господа про него: обабился, распустил нюни, провис... А затем каждый, вероятно, думает про себя: посмотрим, г. Горлицын, как вы взыграете козликом! Нет, решительно нахалы... Когда вечером Николая Яковлевича начинало тянуть куда-нибудь из дому, он сейчас же представлял себе физиономии этих безнадежно пропащих людей, – и все как рукой снимало. Долго им придется ждать... да. Довольно глупостей; пора и за ум взяться, тем более, что теперь есть и обязанности, и известного рода ответственность. Да, понимаете ли вы, черт вас всех возьми, что такое ответственность?..

А время летело так быстро. И каждый день приносил что-нибудь новое. Марья Сергеевна получила на новый год педагогический журнал. Да, необходимо было серьезно подготовиться к обязанностям матери. Она в течение этих первых месяцев, несмотря на новые заботы и бессонные ночи, значительно поправилась и даже похорошела, – сказывалось отраженное материнство, смягчившее выражение всего лица, придавшее глазам такую ми-

лую своей тревогой задумчивость и вообще помолодившее ее. Да, это была уже другая женщина...

Пропадинская публика так же быстро забыла всю эту историю несчастной четы, как быстро ею заинтересовалась, а о ребенке – тем более. Это несказанно радовало Марью Сергеевну, которой хотелось схоронить свое счастье от всех посторонних глаз. Истинное счастье всегда ищет укромных уголков, потому что полно одним собой. Эта психология счастья одинакова для всех: для богатых и бедных, образованных и необразованных. Скупец прячет свое сокровище, чтоб его не украли. Но рядом с этим шел другой процесс. Около маленького существа незаметно вырос кружок тех близких людей, которые делят одни заботы, радости, интересы. Тут был и детский врач, тоже семейный человек, с которым познакомились из-за детских болезней Любы, и семья одного инженера, ребенку которого прививали оспу вместе с Любой, и т. д. Все это были скромные люди, которые сидели по своим домам, каждый за своим делом. С внешней стороны жизнь этих семей очерчи-

валась одним словом: дети…

У Горлицыных теперь ввелась своя домашняя хронология: это – было тогда, когда Люба в первый раз сказала «мама»; это, когда она сделала свой первый зуб. Да, она сказала это детское словечко, и в душе Марьи Сергеевны оно отозвалось жгучей болью, незаслуженной обидой, самой ужасной из всех фальсификаций. Она несколько раз плакала. Ей казалось, что она не должна присваивать этого святого слова, не должна отнимать его у настоящей матери, которая одна должна была его слышать. Все старое опять поднялось в душе Марьи Сергеевны, и она несколько дней ходила как потерянная. Ей опять слышались таинственные шаги, а ночью она просыпалась с криком:

– Nicolas, *она* здесь… неужели ты ничего не чувствуешь?.. Она ревнует меня… она сердится…

– Это ты ее ревнуешь… – успокаивал Николай Яковлевич. – Ах, уж эти нервы!..

Он угадал: это именно была ревность, ревность к покойнице. И это чувство росло, развивалось и крепло вместе с ребенком. Снача-

ла, правда, Марья Сергеевна стеснялась присваивать себе звание матери. Какой-то тайный голос смутно говорил ей, что она не должна переходить известных границ, и когда в детских глазах засветится первый луч сознания, должна показать ей портрет и сказать: вот твоя настоящая мать, а я... Что такое она?.. Дальше получалась очень сложная вещь. Да, у каждого ребенка по природе вещей одна мать, та мать, которая его выносила и произвела на свет. А бессонные ночи, которые другая женщина проводила у кроватки вот этого чужого ребенка; а та любовь, которая осеняла своим крылом это беззащитное существо; а те страхи, заботы, огорчения – разве это все не выше простого физического акта рождения? Разве этот детский язык не повторял ее слов, этот детский мозг не думал ее мыслями, это детское сердце не наполнялось ее чувствами, и вообще вся эта молодая душа не отливалась по ее душе? Чем дальше, тем сильнее Марья Сергеевна чувствовала себя матерью и в свое время припрятала все вещи, которые могли бы напомнить девочке своим существованием о настоящей матери.

– Вот она подрастет, я ей все объясню, – говорила Марья Сергеевна, когда Николай Яковлевич начинал опасаться. – Зачем лишать несчастного ребенка иллюзии?.. Мы даже не имеем на это права...

Эта отсрочка успокоила и Николая Яковлевича. Да, конечно, в свое время все будет объяснено...

А время летело так быстро. В сущности, жизнь всех счастливых семей никакого внешнего интереса не представляет, как не представляла она и у Горлицыных. Да, они были счастливы, и это счастье принесла к ним маленькая Люба. Часто Николай Яковлевич подходил к зеркалу и подолгу наблюдал себя. Ведь совсем другое лицо, другой человек... Конечно, он быстро начал стареть, но такой хорошей, солидной старостью – это чувствовалось в выражении глаз, в складе рта, в общем очерке лица. У него были солидные привычки, манера себя держать, костюмы, знакомства, потому что была пара наблюдательных детских глаз, которые должны были видеть в нем эту солидность. С какой гордостью он выходил гулять с *своей* Любой, с ка-

кой сдержанной снисходительностью отвечал на ее детские вопросы, с какой радостью следил за ее маленькими успехами и окончательно освоился с своей ролью отца, не пережив того мучительного процесса, которым Марья Сергеевна дошла до своего материнства. Мысль о настоящем отце приходила Николаю Яковлевичу очень редко; он хмурился и отгонял ее каким-нибудь солидным аргументом.

X

Так время пронеслось до того рокового дня, в который тени настоящего отца и настоящей матери снова выплыли из пучины забвения. Да, они пришли в этот дом, властно заняли свое место и потребовали отчета...

После рокового объяснения с матерью, Люба заперлась в своей комнате и не выходила целых два дня. К ней входила одна старая кухарка Агафья, подававшая обед и чай. Старуха хмурилась и тяжело вздыхала. Люба поворачивалась к ней каждый раз спиной, чтобы спрятать от нее свое опухшее от слез лицо. Господи, чего-чего она не передумала и не перечувствовала вот за эти два дня!.. В голове вихрем

проносились самые разнообразные мысли, и она чувствовала, как сходит с ума. Почему ей раньше ничего не сказали?.. Почему от нее скрывали эту печальную истину и заставляли жить обманом?.. Наконец, другие знакомые знали всю историю и тоже скрывали от нее. Одним словом, все были в заговоре, все были против нее...

Отказав жениху, Люба первым делом потребовала себе у Марьи Сергеевны портрет своей настоящей мамы. Марья Сергеевна ужасно смутилась и молча принесла две выцветших фотографии. Люба впилась в них глазами. Да, вот она, бедная мама... Какая она была красивая даже на этой плохой фотографии! Вот это тонкое лицо с детски-серьезным выражением, небрежно зачесанными волосами и чуть заметной улыбкой. Ей было, вероятно, в этот момент около двадцати лет, и она могла бы быть ее подругой. Другая фотография была старше, уже снятая в Пропадинске. Лицо подернулось скрытой заботой – может быть, она думала уже о будущем ребенке, о своей Любе. Бедная, милая, несчастная, родная... Слезы душили Любу, и она с рыданиями

целовала эти фотографии, единственное, что осталось от настоящей живой мамы. И нашлись люди, которые могли скрыть от нее это? Да, они принимали ее детские ласки, любовались ею, были счастливы, а та, настоящая мама лежала забытой в своей могиле. Нет, это жестоко, это несправедливо, этому нет названия...

– Мама, мама... милая, родная мама, слышишь ли ты меня? – вслух повторяла Люба, прижимая фотографии в своей груди. – Я – твоя Люба – навсегда твоя!.. Я никого больше не люблю, кроме тебя, моя страдалица, голубка!

Портрет отца сохранился один, – именно, студенческий. Он не нравился Любе. Худощавое лицо, тонкие губы, прищуренные глаза – все ей не нравилось, и она чувствовала себя чужой. Для отца, наконец, этот студент был слишком молод. Другое дело мама – она была такая хорошая, милая, и Люба обливала горькими слегами ее фотографии. Бедная даже не успела и приласкать своего ребенка, купленного ценой жизни!.. Ах, как бы она ее любила, как ласкала, как целовала... Бедная настоя-

щая мама!.. Но из-за этих фотографий выступало другое живое лицо, такое заплаканное и несчастное, которое вносило в душу мучительное чувство раздвоения. Господи, да что же это такое, наконец? И за что?.. Нет, теперь Люба больше не любит Марьи Сергеевны, больше – она питала к ней почти враждебное чувство. Воспользоваться чужим ребенком и на забытой памяти настоящей матери построить свое собственное счастье – как это несправедливо, гадко, бесчеловечно! Тех нет, они лежат в своей могиле, а она зовет папой и мамой чужих людей… Разве такие слова покупаются?..

– Мама, дорогая, родная, приди ко мне хоть во сне! – вслух умоляла Люба, протягивая руки. – Ты ведь со мной? Да? О, мама, мама, мама…

Люба была убеждена, что если будет упорно думать о матери, смотреть на ее портрет и вообще всем существом сосредоточится на одной этой точке, то мать придет. Пусть это будет галлюцинация, сон, туманная греза – все равно, только бы увидеть ее, милую, родную, дорогую… Хотя бы издали увидеть, – почув-

ствовать ее присутствие. Это было такое страстное желание, такой порыв, такое сосредоточение, что Любе начинало казаться самой, что она сходит сума. Она по целым часам горячо молилась Богу, полная хорошего, благоговейного настроения, – мысль и чувства отрешались от земли и витали вне времени и пространства, в области вечной любви, красоты и правды. Ах, как хорошо она чувствовала себя в эти минуты и даже закрывала глаза, чувствуя приближение чего-то такого, что ее точно приподнимало и делало такой светлой. Казалось, что еще одно мгновение, только одно мгновение, и она войдет в новый мир, где ее уже ждет она, бедная страдалица. Это была скорбная, негодующая, полузабытая тень, которая даже не могла защищаться, когда другие люди присвоили себе ее святое имя матери, когда другие присвоили себе ее ребенка.

В одну из таких минут религиозного экстаза Люба ужасно испугалась. Она не слыхала, как в комнату вошла Агафья и молча наблюдала ее, по-бабьи подперев щеку рукой.

– Что тебе нужно? – сурово спросила Лю-

ба. – Зачем ты лезешь без спросу?..

Девушка подбирала слова, чтобы сказать Агафье что-нибудь очень обидное, но взглянула на ее лицо и остановилась: по лицу Агафьи катились слезы...

– Ты это о чем плачешь? – спросила Люба, смягчая тон.

– А как же, барышня... Как я поглядела даве на вас: вылитая мать. Ведь я тогда ее видела не однова, как она во флигеле у нас, значит, жила. Такая же молоденькая была... Лицом-то ты вся в нее издалась.

Раньше эта мысль ни разу не пришла в голову Любе, именно, что вот эта самая Агафья жила у Горлицыных с незапамятных времен и была живым свидетелем разыгравшейся во флигеле драмы. Девушка усадила ее и со слезами стала выпытывать все, что только могла сохранить старая бабья память, дополняя рассказом Агафьи те сведения, какие уже имела от Марьи Сергеевны. Нового ничего не было, но зато Агафья сообщила массу тех мелочей, которые замечают только простые люди. Старуха подробно рассказала, как приехали новые жильцы, как устроились, как он хлопо-

тал, как они гуляли вместе, как перебивались и т. д.

– Они были очень бедные, Агафья?..

– Ах, какие бедные, барышня!.. Один чемоданишко да што на себе. Так, перебивались... Конечно, молодым-то это незаметно, потому как уж больно промежду себя-то дружно жили... Все суседи на них любовались, как парочкой, бывало, выдут гулять по тротуварам. Наш-то барин в те поры плохо жил, – ну, барыня и любуется в окошко, любуется, а сама плачет. Дружно жили, нечего сказать. Только вот покойнице твоей маменьке Бог веку не дал... Это уж завсегда так: другой бы и сам помер, а смерти нет. А кому бы жить да радоваться – тех Бог и приберет.

– Зачем же это так, Агафья? – машинально спрашивала Люба.

– А уж так, равняет Господь Батюшка богатого с бедным, несчастного с счастливым... От счастья человек забывается и даже не видит, а оглянулся – ан, его и нет. Улетело... Покойничек-то родитель твой и не стерпел. Захожу я к ним тогда, а они на одной кровати лежат... Обнял он ее одной ручкой... припал головуш-

кой...

Люба выслушивала эту бабью болтовню с жадным вниманием, стараясь уловить в ней крупицы истины. Простой ум наблюдательнее, а память удерживает массу мелочей, совершенно ускользающих от внимания образованного человека. Иногда Агафья останавливалась и переиначивала уже рассказанное: это убивало Любу.

– Агафья, голубушка, ради Бога, хорошенько припомни... – умоляла девушка, ломая руки.

– Стараюсь, барышня, да память-то наша, бабья, как худое решето. Чего не надо, так помнишь, а вот тут и затемнишься. Бедные были твои родители – это вот помню. Куфарки даже не держали. Сами и в куфне стряпали. Барыня-то веселая была...

Бедная... Да, а она, Люба, выращена в роскоши и в неге. Для чего? Разве ее отец желал этого? Никогда. Она выросла бы в нужде, в самой трудовой обстановке, и вышла бы замуж за такого же труженика-бедняка, а не за господина Шерстнева. Люба отлично рисовала себе картину встречи ее труженика-отца с

этим женихом... С каким презрением отнесся бы простой фельдшер к этому трутню, который где-то служит, что-то такое делает, а в сущности – самая бесполезная тварь. Да, отец был строгий человек, и строго кончил. О, как она его понимала!.. Вот за что любила его мать, эта увлекающаяся, мягкая натура, опиравшаяся на чужую волю.

Потихоньку от всех Люба несколько раз уводила Агафью во флигель и просила указать, где и что стояло *тогда*, какие были занавески на окнах и вообще какой вид имела обстановка. Флигель стоял пустой, и Агафья с увлечением рассказывала все подробности. А помнила она отлично в этом случае все... И кровать цела, и ситцевый диванчик, и стулья – на чердаке валяются. Люба упросила Агафью достать потихоньку все эти вещи и расставить во флигеле, как они стояли тогда. Ей хотелось хоть приблизительно восстановить все это. Ведь на каждой вещи останавливался их взгляд, и ей казалось, что каждая такая вещь сохраняет на себе таинственный отпечаток своих хозяев. Ах, как она плакала над этими инвалидами!.. На круглом столе, кото-

рый стоял перед диваном, оставались, еще круги от горячих стаканов, царапины и полосы. Ночной столик был закапан стеарином и облит каким-то едким лекарством. Да, вот на нем стояла ночная лампочка и освещала молодое больное лицо... Вот по этой комнате шагал отец в немом отчаянии. Милые, дорогие, родные... Агафья заливалась дешевыми бабьими слезами, вместе с барышней Любой, и малую толику привирала для пущей жалости; она сама верила в эти поэтические прибавки, что иногда случается с, очень добрыми людьми.

Чтобы проверить Агафью, Люба повезла ее на кладбище и просила указать могилку. Пришлось разыскивать довольно долго, и Агафья делала отчаянные попытки признать «счастливую могилку». За шестнадцать лет и кладбище совершенно изменилось: где тут узнаешь... Кончилось тем, что Люба сама указала ей, благодаря тому, что каждый год осенью Марья Сергеевна привозила ее сюда и заставляла молиться за какую-то «рабу Божию Надежду». Ах, какая это возмутительная ложь, ложь даже над могилой родной матери!..

– Здесь, здесь… – умиленно повторяла Агафья, узнав, наконец, могилку. – Так рядушком и положили сердешных. Поп тогда сердитый был, отпевать, слышь, не хотел; ну да ему полицместер велел… Нехороший поп, и тоже умер давно.

Марья Сергеевна не вмешивалась в жизнь Любы, предоставив все времени. Она мучилась и терзалась про себя. Кто бы мог подумать, что эта кроткая и послушная девушка начнет выделывать такие штуки! Именно штуки – так Марья Сергеевна и говорила про себя, потому что как же назвать все эти слезы над портретами, ежедневные поездки на кладбище, реставрацию флигеля, а главное – отказ жениху?

– Я – бедная девушка и выйду за бедного, – коротко объяснила Люба, отвечая на немой вопрос Марьи Сергеевны.

– Как знаешь, Люба… – соглашалась Марья Сергеевна, счастливая такой развязкой мучившего ее рокового шага. – Время еще не ушло, а бедных людей много.

Марья Сергеевна ревновала теперь Любу к ее покойной матери и, незаметно для самой

себя, делалась к ней несправедливою. Это было тяжелое двойственное чувство. Оно с особенной яркостью всплыло наружу, когда Люба заявила, что уезжает.

– Можно, по крайней мере, узнать куда? – сухо спросила Марья Сергеевна.

– К родным… – так же сухо ответила Люба.

Марья Сергеевна только пожала плечами. Люба, которая не выходила еще ни разу на улицу без строгого присмотра, поедет одна, неизвестно куда… Этого еще недоставало!.. Отчаянию Марьи Сергеевны не было границ, хотя она по наружному виду и старалась не выдать себя. Произошел экстренный военный совет с Nicolas.

– Д-да… положение… – мычал он, шагая по кабинету. – Если удерживать ее насильно, то выйдет, пожалуй, еще хуже. Девица оказывается с характером…

– Да… Но ведь нужно же что-нибудь сделать?.. Люба одна потащится за тысячу верст… поедет по железным дорогам, *одна* на пароходе, *одна* на лошадях – нет, это ужасно! И какие родственники милые… Ни разу ни одна душа даже не вспомнила, что осталась

девочка-сирота.

– Все родственники, Маня, одинаковы… Конечно, ты не сделала бы так, но я говорю про других людей.

– Я ни за что ее не отпущу…

– Гм… да… конечно… Но ведь она совсем взрослая.

Люба ожидала отчаянного сопротивления, и поэтому в особенности стремилась проявить свою самостоятельность. Да, она поедет во что бы то ни стало, и поедет одна. Марья Сергеевна сначала старалась ее уговорить, даже плакала, а потом вдруг согласилась совершенно спокойно.

– Что же делать, Люба, если уж ты не хочешь слушать нас… – проговорила она в заключение. – Съезди, познакомься. У твоей матери большая родня… Я даже писала им несколько раз, но ответа не получила. Может быть, ты будешь счастливее. Во всяком случае, от души желаю тебе успеха.

Это согласие обидело Любу. Она невольно подумала: разве родная мать отпустила бы ее?.. Конечно, чужим людям все равно, а главное, была бы соблюдена форма. Ведь уговари-

вали, упрашивали, даже уронили слезу, одним словом, исполнен весь репертуар, – чего же больше?.. Марья Сергеевна сама уложила ее в дорогу, собрала все необходимые вещи и переложила их еще более необходимыми наставлениями. Ах, как нужно быть осторожной в дороге, особенно когда такая молодая особа едет одна.

– Мне кажется, что вы даже рады выпроводить меня… – заметила Люба откровенно. – Я это чувствую.

– Нет, мы будем скучать и тревожиться о тебе, но путешествие для тебя необходимо… Надеюсь, что мы понимаем друг друга, и нет необходимости ставить над «и» точку.

Люба ничего не отвечала. Ей хотелось поскорее уехать. План поездки был обдумав очень быстро. Нужно было увидать родных матери, а потом разыскать отцовскую родню. Адрес первых был известен. Эта помещичья семья хоть и разбилась, но два-три человека жили недалеко друг от друга. У них Люба надеялась узнать историю матери, именно то, чего не могли ей сообщить ни Марья Сергеевна, ни Агафья. Девушке хотелось восстано-

вить образ матери по этим новым сведениям, чтобы потом увидеть ее. На последнее она не теряла надежды. Об отце она вообще думала как-то мало, что ее в теории огорчало, – она не чувствовала по отношению к нему кровной тяги.

Сборы были короткие. Горлицыны проводили свою воспитанницу до вокзала. Николай Яковлевич имел несколько смущенный вид, старательно избегая привычных нежностей. Марья Сергеевна чувствовала себя совершенно спокойно. Она дорогой до вокзала давала последние советы с таким видом, точно привыкла провожать Любу. Люба в последнюю минуту чувствовала себя как будто виноватой, в ней все сильней и сильней поднималось чувство детской привязанности. Близившаяся самостоятельность и радовала, и пугала ее. Во всяком случае, это был решительный шаг. Даже можно и совсем не вернуться вот в этот самый Пропадинск... Бог с ним совсем, а свет не клином сошелся. Впрочем, там увидим, что будет.

На вокзале Люба храбрилась все время и вызывающе улыбалась Николаю Яковлевичу,

когда его спрашивали, куда он провожает *дочь*. Да, хороша дочь!.. Марья Сергеевна кусала губы от волнения и старалась не встречаться глазами с знакомыми. Четверть часа, проведенных на вокзале, показались всем троим целой вечностью – столько было всеми пережито. Но вот звонок, поезд тронулся, и Пропадинск точно отодвинулся назад, а люди на дебаркадере казались такими маленькими и ничтожными. Люба облегченно вздохнула и даже закрыла глаза.

Три первых станции пролетели незаметно. На четвертой поезд стоял семнадцать минут. Люба безучастно рассматривала публику, этих чужих людей, ехавших неизвестно куда и неизвестно зачем. Вероятно, кто-нибудь их тоже провожал, а там впереди кто-нибудь ждет. Разглядывая толпу, Люба вдруг откинулась назад от окна и даже спряталась за косяк. По платформе с рассеянным видом проходил Шерстнев. Он, вероятно, и не подозревал об ее присутствии. На следующей станции Люба совсем не подходила к окну и встретила неожиданно Шерстнева только ночью за общим столом буфета. Он издали раскланялся с

ней, как человек, который встречал ее у знакомых. Потом он подошел в ней и заговорил:

– Вот неожиданная встреча, Любовь Николаевна… Я глазам своим не поверил. Надеюсь, вы – недалеко?

– Да, к знакомым.

– А я в казанскую губернию, к родным.

Люба вся вспыхнула и посмотрела на Шерстнева злыми глазами.

XI

Бывают такие полосы в жизни, когда человек точно стряхивает с себя все прежнее и превращается во что-то новое. Вероятно, то же испытывает бабочка, которая вылетает из своего кокона. Правда, такой опыт старит человека, оставляет в душе горький осадок, лишает иллюзий и юношеских грез, но только такой тяжелый опыт делает человека человеком. Слабые люди его не выдерживают и падают, а сильные делаются еще сильнее. Именно такую полосу переживала Люба и во времени, и в пространстве. Дорога ее несколько успокоила. Она могла теперь взглянуть на свое прошлое издали и отнестись к нему беспристрастно. Да, в сущности она была неспра-

ведлива, очень несправедлива именно к Марье Сергеевне, отплатив ей за всю ее любовь, уход, ласки и внимание самой черной неблагодарностью. Ставя себя на ее место, Люба знала одно, что она, Люба, так никогда бы не сделала, и этим много бы выиграла в глазах сироты. Все эти мысли и чувства девушка везла с собой, как застрахованный багаж, который не мог даже потеряться.

По железной дороге Люба ехала ровно сутки, а потом пересела на пароход. Все было ново и немного пугало ее. Шерстнев очутился на том же пароходе. Это уже окончательно возмутило девушку. Что это такое: преследование? Травля?.. Положим, что он держался на самом почтительном расстоянии и даже не подходил к ней, но все-таки... Благодаря его присутствию, Люба весь первый день просидела в дамской общей каюте и страшно скучала. Ей больше всего надоедало проклятое любопытство, с каким рассматривали ее дамы. Всю с ног до головы осматривали и делали самые глупые лица, когда узнавали, что она едет одна, хотя и к родным. А тут еще молодой человек. Любопытная дамы имели пол-

ное право на самые игривые предположения, от которых Любу вперед коробило. И все они такие скучные, глупые, точно выжатые. И все походят одна на другую. Потом эта скверная привычка приставать к каждому новому человеку с расспросами, кто, откуда, куда едет, по какому делу и т. д. На другой день Люба не выдержала и вышла в рубку. Там можно будет по крайней мере ходить, и никто не пристает. Пароход просто очаровал ее – такая могучая сила, и что-то такое в ней бодрое и хорошее, как сама молодость. И река отличная – широкая, вольная, настоящая русская река. Правда, берега довольно пустынны, и попадающиеся селения тоже ничего завидного не представляют.

«Ах, как хорошо!.. – думала Люба, с наслаждением подставляя свое лицо встречному ветру. – Вот это свобода, простор, ширь».

Ей казалось, что она навсегда простилась с Пропадинском, и все, что там осталось, представлялось ей таким маленьким, ничтожным и жалким, особенно по сравнению с этим простором и ширью. Вон и г. Шерстнев прогуливается по палубе, и точно он тоже из-

менился за эти дни. Она теперь могла смотреть на него совсем спокойно, как смотрела на других посторонних людей. Такой же, как все. Вообще, самый обыкновенный человек. Удивительно, что она могла находить в нем *тогда?* Впрочем, ведь она же никого другого и не видело. Значит, просто сказалась потребность кого-нибудь любить, и г. Шерстнев оказался роковым нумером, на который пал выигрыш. И какая теперь неизмеримая разница между той Любой и Любой настоящей, и г. Шерстневу никогда, никогда этого не понять. Он и теперь не понимает, как ей решительно все равно, существует он на белом свете или нет. Да. Она даже сердиться не может, что он едет: нравится, нужно – и пусть себе едет, – ей-то какое дело? На Любу даже напало желание побравировать, и она сама заговорила с ним, чтобы дать почувствовать, что он – чужой, совсем не страшный и еще раз чужой. Но если бы он позволил себе впасть в нежность – ну, тогда извините, m-r Шерстнев! Он, впрочем, держал себя по-новому, ни одним движением не выдавая своего истинного настроения. Просто, был вежлив, внимателен и

чуть-чуть холоден, как человек, которому тоже все равно.

«О, да он совсем не глуп!» – думала Люба, несколько обиженная такой быстрой переменой декораций.

Да, оно даже немножко обидно, что такие горячие чувства и так быстро проходят. Впрочем, разве она в праве что-нибудь требовать?.. Хорошо, что все это выяснилось в свое время. Он первый сказать ей:

– Вы теперь совсем другая, Любовь Николаевна...

– А какая?..

– Вы очень много пережили за это время.

Незаметно они разговорились просто и спокойно, как старые хорошие друзья. О прошлом ни слова, как будто его и не существовало. Шерстнев несколько раз путешествовал и делился своей опытностью, как старший брат. Это выходило даже смешно, когда он начинал говорить тоном старшего и давал разные хорошие советы, точно Марья Сергеевна. Люба между прочим узнала, что Шерстнев тоже думает оставить Пропадинск и переселиться куда-нибудь в университетский го-

род. Скучно в этом провинциальном захолустье, и только привычка засидевшегося человека удерживает в большинстве случаев. Кстати, он поинтересовался, как думает Люба устроиться в будущем.

– Пока я не имею еще определенного плана, – призналась она. – Но всего вероятнее, что тоже не вернусь в Пропадинск. Разыщу родных, а затем... затем поступлю куда-нибудь на место учительницей, гувернанткой, телеграфисткой. Надо как-нибудь жить. Впрочем, все это еще в будущем, а пока я меньше всего думаю именно о себе.

В Казани они расстались, расстались, как и следует хорошим знакомым – без особенного сожаления и почти равнодушно. Впрочем, Люба почувствовала именно теперь свое полное одиночество, но к этому нужно было привыкать. Она долго провожала глазами уезжавшего на извозчике Шерстнева и с каким-то ужасом подумала, что ведь этот человек мог быть ее судьбой. Как это глупо, когда целый мир сосредоточивается в одном человеке, тем более глупо, что этого мира она даже и не знала. Мало ли хороших людей на

свете, и почему именно отдать преимущество Шерстневу? Но этими размышлениями ей пришлось заниматься недолго, потому что она уже была в районе своих действий. Приходилось расставаться с пароходом и на лошадях отправляться на поиски по старым адресам. Можно было, конечно, сначала остановиться в Казани и разыскать там семью Койранских, но этому помешал Шерстнев: Люба не хотела ехать вместе с ним.

Старушку Меркулову, мать отца, Любе приходилось разыскивать в течение нескольких дней. У нее было какое-то маленькое именьице, в котором она и перебивалась с двумя дочерьми, оставшимися в девушках. Появление Любы произвело сенсацию. Маленькая квартирка Меркуловых наполнилась новыми словами, о которых уже давно здесь не было помину.

– Я ваша внучка... – говорила Люба, стараясь быть ласковой с бабушкой. – Мне так хотелось вас видеть... обнять...

Старуха смотрела на нее какими-то испуганными глазами, точно она пришла с того света, а потом как-то вдруг расплакалась,

горько и неутешно, как плачут старые люди, много перенесшие горя. Это была простая привычка плакать.

От охватившего ее волнения Люба в первый момент не рассмотрела ни обстановки, ни самих родственников. Это пришло ей в голову, когда она уже лежала в постели и почувствовала себя чужой, как никогда. Да, кругом чужая, и даже больше – ей показалось, что тетки смотрят на нее почти враждебно. Осмотрелась она только на другой день. Старый деревянный домик и покосился, и прогнил, и обветшал. Внутри царила настоящая бедность, та бедность, которая лишена даже надежды на какое-нибудь будущее: его не было. Оно умерло вместе с Аркашей, и Люба поняла, почему ей показалось, что тетки смотрели на нее враждебно: она являлась невольной причиной страшной катастрофы. Затем, ее скромный дорожный костюм, щегольской чемоданчик, саквояж, ватерпруф, шляпа, сапоги – все казалось здесь роскошью и, может быть, вызывало в старых девах смутное чувство ревнивой зависти. Да, вот она, хваленая честная бедность, и у Любы сжалось сердце…

Бабушку звали Анфисой Аркадьевной, а теток – Катериной Васильевной и Ольгой Васильевной. В их лицах Люба еще раз проследила то жесткое и неприятное выражение, которое ей не нравилось у отца, – это была опять она же, бедность... Она придавала скорбную озлобленность и молчаливую натугу, она светилась во взгляде, она складывала губы, она ложилась преждевременными морщинами и покрывала голову сединой. Все трое были такие худые, изможденные, а своей работы платья из дешевенькой линючей материи не придавали красоты. Это была застарелая бедность, державшая в своих когтях всю семью, и в ней лежала разгадка сурового характера представителей этой семьи.

Бабушка Анфиса Аркадьевна двигалась уже с трудом, но неожиданное появление внучки расшевелило ее, подняв целый рой старых, полузабытых воспоминаний. Да, она долго и напряженно всматривалась в Любу и долго никак не могла что-то припомнить. А потом воспоминания хлынули рекой, точно прорвало плотину. Главным образом, старушка рассказывала о детстве своего Аркаши: ка-

кой он был серьезный да умный, да трудолюбивый. Она вытащила откуда-то связку пожелтевших писем и, надев очки, принялась их читать. Аркаша в письмах являлся таким хорошим и заботливым сыном, и они вызвали новый поток слез.

– Разве мы так бы жили, если бы Аркаша остался жив… – заключила свои жалобы Анфиса Аркадьевна. – Господь судил другое.

Тетки как-то напряженно отмалчивались. Но ни бабушка, ни тетки ни слова не сказали про мать Любы, точно ее и не существовало на свете. Понятно, что они во всем винили ее: из-за нее Аркаша в землю ушел… Это не было высказано прямо, но тем не менее чувствовалось между строк. Люба старалась настроить себя на более откровенный разговор, но из этого ничего не выходило. Все-таки, всматриваясь в обстановку своих родственниц, их физиономии и все мелочи, Люба смутно стала восстановлять в своем воображении портрет отца, его характер, особенности ума и все то, что завершалось роковой катастрофой. Она незаметно прониклась к нему горячей симпатией и поняла ту силу, которая поработила

чувства матери. Да, это была сила, настоящая, цельная сила... Но чего она не нашла здесь, это того тепла, к которому рвалось ее молодое сердце.

Она уехала такой же чужой, как и приехала, унося с собой тяжелое чувство чего-то несправедливого, холодного и безучастного. Старость ли, бедность ли, одиночество ли были этому виной, но это было так... Люба чувствовала, что и сама она холодеет и стынет и не может вызвать того настроения, с которым рвалась сюда.

Это был первый грустный опыт, и Люба облегченно вздохнула, когда опять очутилась на пароходе. Это был эгоизм молодого, нетронутого существа, и это ее огорчало до глубины души. Она думала, что было бы, если бы она осталась жить у бабушки, и опять чувствовала холод, точно спускалась в подполье. Нет, дальше, вперед!..

В Казани разыскать Койранских было совсем не трудно. Старик был еще жив, хотя и лежал в кресле, разбитый параличом. Первый, кто встретил Любу, был Шмидт. Да, он жил у своего тестя, этот толстенький, чи-

стенький, выбритый трутень, несмотря на то, что имел уже вторую семью. Люба отрекомендовалась.

– О, весьма приятно! – осклабился Шмидт, прищуривая один глав. – Весьма приятно... да. Мы не совсем чужие, хотя обстоятельства... гм... вообще, приятно.

Любу так и обдало новым холодом. Но здесь ее пронизало такое чувство отвращения и гадливости, какое она испытывала при виде всех пресмыкающихся. И этот человек мог испортить жизнь матери капля по капле... Она могла думать о нем, плакала, отравлялась – нет, это уже слишком! Может быть, и Шерстнев будет таким же... И это жизнь!.. Нет, это ужасно, ужасная вещь – жизнь, как обман, как иллюзия, как тяжелой призрак. Бедная мама... Она должна была выпрашивать вид на жительство у этого сытенького немчурки, потом должна была скрываться без всякого вида и вечно чувствовать себя в фальшивом положении, особенно когда готовилась сделаться матерью. Где же справедливость? Где простая порядочность? Где самые простые человеческие чувства? И вот теперь

этот Шмидт бессилен, он не имеет права вытребовать жену по этапу, но для этого бедной маме нужно было умереть: одна могила освободила ее от этих уз... А Шмидт – такой жирненький, довольный, и никогда, никогда в нем не шевельнется даже призрак какой-нибудь совести.

Благодаря летнему времени, вся семья Койранских была в сборе. Дети были уже большие, и Люба познакомилась с двумя дядями и новой теткой Лидией, походившей лицом на сестру. Все это были жалкие тунеядцы, объедавшие параличного старика, получавшего какую-то пенсию. К труду они все питали фамильное отвращение. Впрочем, тетка Лидия разыгрывала из себя актрису, а в сущности это была одна маска. Дяди откровенно ничего не делали и всяческими способами обирали больного отца. Эта дворянская поросль представляла собой яркую иллюстрацию бесповоротного вырождения. И что было всего хуже, так это то, что все они поголовно были заражены жаждой летних нездоровых удовольствий по разным притонам. Нужно было и одеться прилично, и иметь карман-

ные деньги, а источником всех благ являлся только старик.

– Вы узнаете во мне вашу внучку? – спрашивала Люба старика, глядевшего на нее одним глазом, – другой был парализован.

– У меня нет дочери, – хрипел паралитик, кривя губы. – Была жена Шмидта, но я ее проклял… У меня нет внучки.

Этот семейный разговор происходил в присутствии Шмидта, который сохранял невозмутимый вид. Люба тоже не смущалась, охваченная общей атмосферой бесцеремонности и холодного расчета.

– Да, нет дочери, а есть Шмидт… – продолжал старик. – Он терпеливо ждет моей смерти, Шмидт… Он даже пытался меня отравить несколько раз, Шмидт.

– Папаша принимает за отраву все лекарства, – объяснил невозмутимо Шмидт. – У папаши голова не в порядке…

Старик захохотал. У него голова не в порядке? О, он мог подняться с своего кресла. А дочери все-таки нет. Да, нет, нет и нет. И Лидия тоже не дочь. Старик сказал такое слово, что Люба вся затряслась. Все это – дети жены,

а кто их отец – знала она одна. Эта запоздалая старческая ревность покрывала разъедающей плесенью атрофированный мозг, и старик наслаждался тем, что мог говорить ужасные слова. Да, он ничему не верит, а женщинам – меньше всего. Когда умерла жена, то он нашел целую переписку, и узнал многое, что не мешало знать немного раньше. Проклятые женщины!..

– Все это он врет, – коротко объяснила Лидия, девица без предрассудков. – У папа размягчение мозга, и он галлюцинирует, создавая нелепости.

Люба прожила в семье милого дедушки несколько дней и почувствовала такой ужас, такое отвращение к жизни, что ей сделалось страшно. Но всех хуже был этот Шмидт, внушавший ей непреодолимую гадливость, особенно когда он подходил в ней с своей улыбочкой. Он часто и подолгу вглядывался в нее, точно старался что-то припомнить, и опять улыбался. Что ему было нужно? Раз он даже подсел на диван рядом с Любой и проговорил ей:

– Я уже имел честь говорить вам, что мы

не чужие. А затем, вы забыли маленькую неудобность, именно, что носите мою фамилию, и, следовательно, это дает мне очень определенные права, которыми я не поступлюсь. Да...

Любе сделалось и страшно, и гадко. Она убежала в комнату Лидии, закрылась и расплакалась. Господи, что же это такое? Куда она попала?.. Это какие-то звери, а не люди. И хуже всех вот этот Шмидт с его улыбкой. Зачем она не мужчина – с каким удовольствием она бросилась бы на него и задушила собственными руками! Ведь убивают же клопов и других вредных гадов и паразитов, а Шмидт – худший из всех. Тетка Лидия, в припадке бесшабашной откровенности, рассказала про него ужасные вещи и вообще не доверяла чистоте родственных чувств Шмидта.

– О, для него ничего нет святого, и ты берегись его, как огня! – предупреждала Лидия. – Он на все способен. Пригласит полицию и отнимет у тебя вид на жительство.

– У меня?

– Да... У него все права... Ах, ты ничего не понимаешь, точно с того света приехала!..

XII

В доме Горлицыных чувствовалась гнетущая пустота, точно после покойника. Марья Сергеевна собирала последние силы, чтобы не выдать себя даже перед мужем, и эти трогательные усилия разрешались одинокими обидными слезами. Nicolas хмурился и делал вид, что ничего не замечает. Теперь они садились обедать одни, за самовар одни, – везде одни. Не слышно было молодого смеха и той болтовни, которую вносит с собой одна молодость. В солнечные яркие дни иногда случается, что вдруг набежит грозовое облачко и бросит на землю тень.

«Да, старики… одни… эх, жизнь!» – думали каждый про себя супруги.

Отсюда проистекали легкие размолвки, старческое брюзжанье и глухое недовольство, окрашивавшие ежедневные мелочи. Даже кухарка Агафья чувствовала этот гнет, сидя у себя в кухне, и тяжко вздыхала.

– Ну, что? – спрашивала Марья Сергеевна каждое утро, когда получалась почта.

– Пока ничего особенного…

«Старики» ехали мысленно вместе с Лю-

бой по железной дороге и на пароходе, были вместе с ней у бабушки Меркуловой, а потом у дедушки Койранского и мучились неизвестностью. Все известия они получали через Шерстнева, который настойчиво следил за каждым шагом Любы. Так прошли три мучительных недели, четыре, пять… Марья Сергеевна похудела, осунулась и молчала. «Что же это такое? за что?» – спрашивала она себя и не находила ответа. Теперь даже она не боялась за мужа, что он уйдет куда-нибудь и натворит Бог знает что, как бывало прежде, – куда он пойдет, такой старый, опустившийся, размявший? И его время ушло, да и привычки другие образовались. Свой угол сделался дорог… Одним словом, вполне безвредное домашнее животное, как и следует быть порядочному мужу. Часто, наблюдая мужа за обедом, Марья Сергеевна даже удивлялась, что вот он, Nicolas, мог когда-то так огорчать ее. А теперь запрется у себя в кабинете и хнычет. В эти годы и горе делается каким-то бесцветным и не вызывает такого участия, как то же молодое горе.

– Все ли у нее есть? – иногда спрашивал

Nicolas. – Одним словом, не забыла ли ты что-нибудь? Скоро осень… начнутся холода. Она может схватить простуду, а молодые люди меньше всего думают о своем здоровье.

Здоровье было теперь слабостью Nicolas, которую Марья Андреевна эксплуатировала по-своему. Он боялся простуды, как огня, жаловался на печень, на желудок, считал себе постоянно пульс, мерил температуру и вообще находился под гнетом мысли о смерти. Это доходило до смешного, обнажая старческое бессилие. Докторов Nicolas ругал, но это не мешало ему постоянно советоваться с ними по разным вопросам. Иногда Марья Сергеевна, желая его попугать, заводила разговор о какой-нибудь неожиданной смерти и улыбалась.

– Чему ты смеешься? – сердился Nicolas. – Много ли нужно, чтобы умереть… Сегодня жив, здоров, а завтра фюить – ничего.

– А разве ты боишься смерти?

– Бояться не боюсь, а все-таки оно… гм… Необходима прежде всего осторожность. Да… Ты какая-то странная, Маня. Право…

– Я тебя не понимаю, вот и все. Женщины

вообще живучее... Посмотри, сколько всегда вдов.

– Это оттого, что мужчины женятся поздно и берут жен моложе себя minimum лет на десять.

– Нет, мужчины вообще менее жизненны. Что ж делать, нужно быть готовой во всему, и я, когда останусь вдовой...

Nicolas ужасно сердился и убегал к себе в кабинет. Помилуй, что это за разговоры? Живого человека в гроб кладут.

А Марья Сергеевна была как-то странно спокойна, точно она одна знала, что будет. Действительно, ровно через полтора месяца после отъезда Любы, утром, когда Nicolas был на службе, она получила какую-то таинственную телеграмму, побледнела, распечатала ее дрожавшими руками, прочитала, перекрестилась и торопливо спрятала в свой письменный стол. Потом она несколько раз доставала ее и перечитывала с большими предосторожностями.

– Что это от Шерстнева нет больше писем? – спрашивал Nicolas за обедом. – Он – того...

– Чего?

– А вот этого… Ума у него нет, да. Тоже дело нелегкое… Оно только со стороны кажется, что взял да и конец делу. Не тут-то было…

Марья Сергеевна промолчала, внимательно разглядывая свою тарелку. Ее так и подмывало рассказать содержание телеграммы, но она выдержала характер: пусть Nicolas помучится. Она достаточно помучилась на своем веку…

Письма от Шерстнева совсем прекратились, и Nicolas начал уже сердиться на него.

– Он решительно глуп, этот господин Шерстнев! – ворчал Nicolas, шагая по комнате. – Остается, черт возьми, мне самому ехать… да. Нельзя же одну девушку оставлять… Мало ли что может случиться. Тоже, родственники называются. А Шерстнев – размазня, и больше ничего. Сам поеду и привезу Любу домой.

– А как ты осенью на пароходе поедешь? Еще простудишься.

Помучив недели две, Марья Сергеевна показала, наконец, полученную телеграмму. Nicolas как-то бессильно опустился на первый

стул и горько-горько заплакал.

– Люба… Люба… Люба… – шептал он. – Ах, Люба, Люба…

Марья Сергеевна отнеслась во всему с каким-то деловитым видом, точно так и должно было быть. Это даже обидело Nicolas.

– Что же мы теперь будем делать, Маня?

– Ждать… Молодые пусть одни порадуются. Им не до нас… А там увидим.

– И ты можешь говорить так спокойно об этом? Положим, что Шерстнев – хорошая партия, но… эх, Люба, Люба! Ведь она хорошая… Вся – огонь. Я такой же молодой был… Не чета Шерстневу. Да…

Телеграммой Шерстнев извещал Марью Сергеевну о своей женитьбе. Ему много помог Шмидт, действительно предъявивший свои отцовские права на Любу. В этот критический момент Шерстнев явился спасителем, и Люба переменила ненавистную фамилию с легким сердцем. Все случилось так неожиданно и быстро, что даже молодой муж удивлялся. На зиму молодые остались в Казани, но Люба ничего не писала. Ей было стыдно, что все кончилось именно так.

– Я вышла за вас замуж по необходимости, – уверяла она. – Так и знайте…

– Все это делают по необходимости, Люба… У меня один недостаток: я простой человек и люблю тебя тоже просто. Когда-то и ты меня любила, то есть я так думал.

– Я ошибалась…

Nicolas очень был огорчен тем обстоятельством, что письма прекратились. Ну Люба могла еще не писать. Она, вообще, какая-то странная, а Шерстнев уже прямо невежа. Марья Сергеевна и тут находила поводы оправдывать «зятя»: молодое счастье всегда эгоистично, да и вообще русские люди плохие корреспонденты; наконец, им просто не о чем писать. Первое письмо было получено только на Рождестве, и то такое странное, что Nicolas только развел руками, подавая его Марье Сергеевне.

– Вот удивительная фантазия! – бормотал он. – Если Люба сходит с ума, то Шерстнев мог бы быть благоразумнее. Это, наконец, смешно…

Марья Сергеевна прочла письмо и нашла, что ничего в нем странного нет. Шерстнев из-

винялся, что так давно не писал, что жена здорова, что они, кажется, счастливы, и что даже был разговор о поездке в Пропадинск – первою заговорила об этом Люба. Если последнее состоится, то он, Шерстнев, желал бы *нанять* у них под квартиру флигелек, который ему так нравился. На этом пункте брови Марьи Сергеевны немного сжались, а потом лицо сразу прояснилось, и даже появилась улыбка.

– Ему нравится наш флигелек, скажите пожалуйста! – волновался Nicolas, бегая по комнате. – Он хочет *нанять* его у нас!.. Точно мы содержатели меблированных комнат… Господи, да пусть занимают хоть целый дом, если нравится. Пусть живут… Я даже готов сам переехать во флигель, чтобы их не стеснять.

– Ну, я на это не согласна, мой милый… Я отвечу так Сергею Петровичу, что флигелек свободен и сдается нами по пятнадцати рублей в месяц.

– Маня, да никогда этого не бывало: за семь сдавали.

– То было раньше, а теперь квартиры вздорожали. У нас свои интересы, и флигелек не

богадельня.

Это уже совсем было удивительно. Марья Сергеевна – и вдруг такие расчеты подводит – нет, Nicolas отказывался понимать и махнул рукой. Пусть делает, как знает, а его все это только волнует напрасно и портит кровь. Он так и не поинтересовался, что ответила жена. Вообще, день за днем накоплялись разные мелкие неприятности… Что это такое, в самом деле! Люба – ни слова, точно чужая… нанимают квартиру, как у чужих… потом молчание на целый месяц. Нет, кончено, всему бывают границы! Так нельзя-с… Что ж делать, одни так одни – так уж на роду написано. Вот только перед знакомыми совестно. А черт с ними, с знакомыми… Никого не нужно!..

Так протянулась зима, а в марте месяце неожиданно явился Шерстнев. Приехал вечером к чаю, как будто вчера расстались, рассказывает о дороге, о погоде, о Казани, а о главном – ни слова.

– Вы где же остановились, Сергей Петрович? – спрашивала Марья Сергеевна.

– Гм… Пока в гостинице. Знаете, там есть

свои удобства…

Nicolas так и рвет: вот хорош!.. О Любе – хоть бы одно словечко.

– А вы давно изволили прибыть, Сергей Петрович? – ядовито спросил он.

– Да уж дня три…

Nicolas сердито двинул стул, вскочил, что-то хотел сказать, но только махнул рукой и убежал в себе в кабинет. Марья Сергеевна проводила его улыбающимися глазами и тихонько проговорила:

– *Там* все готово…

Шерстнев молча поцеловал ее руку. О, он был так счастлив, что она понимала его без слов. Да и какие могли быть тут слова? Просто, счастлив, глупо счастлив, безумно счастлив… Понимала его еще старая Агафья, выглядывавшая в дверь столовой. Старуха даже прослезилась от тайной радости. А старый барин – смешной: как есть ничего не понимает! Ребеночек несмысленный…

Они переехали во флигелек вечером. Марья Сергеевна опять стояла у своего заветного окна и наблюдала, как загорелся веселый зеленый огонек, как это было давно-давно. Она

вздохнула и перекрестилась. Во флигель торопливо перебегала только одна Агафья, принявшая такой озабоченно-важный вид. Что-то там делается?.. Nicolas не хотел ничего знать и заперся у себя в кабинете.

А стоявший мертвым столько лет флигель точно ожил. Слышались осторожные шаги, сдержанный шепот и тревожные вопросы.

– Люба… милая…

– Ах, оставьте меня!

Какая-то таинственная особа в белом переднике входила в спальню и возвращалась оттуда с таким важным видом. Люба лежала на старой кровати, с закрытыми глазами, бледная, как наволочка подушки. Русые волосы прилипли в белому лбу спутанными завитками. О, она не спала уже вторую ночь, и никто не знал, как она мучилась. И к чему им знать это? На стенке у изголовья висел знакомый образок – материнское благословенье. Открывавшиеся глаза искали его, а запекшиеся губы шептали молитву. Сергей Петрович подкрадывался в двери, прислушивался и отступал еще осторожнее.

Какая бесконечная, мучительная ночь!.. К

утру Люба начала забываться. Одна, две минуты тяжелого забытья. И вот в одну из таких минут она увидела, как отворилась дверь спальни, и в нее вошли *они* вместе. О, она узнала их, узнала ее... Это лицо наклонилось над ней, родное, любимое, красивое, молодое, полное святой любви и тревоги. Люба протянула руки, хотела крикнуть, но голос замер в груди. Все застлалось светлым туманом и только яркими бликами горел один образов. В ушах Любы еще стоял знакомый шепот...

– Мама... мама...

Агафья сидела в кухне, когда туда выскочил Шерстнев, точно сумасшедший, сначала пробежал мимо нее, а потом вернулся и проговорил прерывавшимся от волнения голосом:

– Скорее... беги... Марья Сергеевна...

На дворе он обогнал старуху и, прыгая через две ступеньки, ворвался в зал, где стояла у своего окна Марья Сергеевна. Он молча схватил ее за руку и потащил за собой, а потом вернулся в кабинет и потащил Николая Яковлевича.

– *Она* желает вас видеть... скорее... Слава

Богу, все кончилось!.. О, как я боялся... Нет, извините, этого в другой раз не будет! Довольно...

Николай Яковлевич остался в гостиной, где акушерка возилась около какой-то корзинки, прикрытой чем-то белым. Марья Сергеевна вошла в спальню одна.

– Мама, милая мама! – шептала Люба, протягивая ей исхудавшую руку. – О, как я тебя люблю... всех люблю...

– Не волнуйся, родная моя... тебе вредно...

– Нет, мне хорошо...

Она закрыла глава, перекатила голову на подушки и прошептала:

– *Они* были здесь... я их видела... Ах, какая она молодая, красивая... да. Она наклонилась надо мной и сказала...

– Люба, не нужно волноваться...

– Всех люблю, мама...

Николай Яковлевич открывал в это время корзинку, в которой лежал новорожденный. Шерстнев выглядывал из-за его плеча и с напряженным видом следил за его руками.

– Девочка, – проговорила акушерка, помогая открыть личико ребенка.

– Мы ее назовем Любовью, – прошептал Шерстнев. – Так хочет жена.

– О, да, именно, Любовь! – шепотом ответил Николай Яковлевич, чувствуя, что у него мокрое лицо.

1892

Мать-мачеха

Повесть

I

Еще на вокзале, при самом отъезде, Анну Федоровну охватило какое-то смутное и неприятное чувство. Ее утомили все эти глупые свадебные церемонии, а главным образом – гости. Они, кажется, дали себе слово преследовать ее по пятам и в полном составе явились на Николаевский вокзал. До отхода поезда оставалось еще целых полчаса. Сошлись две семьи – семья молодой и семья молодого. Впрочем, последняя была невелика: дядя Захар Ильич Парначев, отставной сербский доброволец, сестра Варвара Васильевна, пожилая девушка, и брат Владимир Васильевич, молодой человек без определенных занятий. Зато семья молодой представляла собой целую коллекцию сестер, братьев, дядюшек, тетушек и просто родственников без определенной номенклатуры. Все это были веточки одного генеалогического дерева Гаген. Да, потомство того Карла Гагена, который на Васильевском острове имел собственный дом,

нажитый какими-то темными комиссионерскими операциями. Все Гагены чрезвычайно гордились тем, что они именно Гагены и что у родоначальника Гагена был собственный дом. Когда сделалось известным, что Анна Федоровна выходит замуж за русского помещика Парначева, все Гагены сначала глубоко возмутились, потом горячо протестовали и наконец согласились, потому что даже упрямство Анны Федоровны являлось доказательством строгой выдержки тевтонского характера. Парначевы, с своей стороны, отнеслись к петербургским немцам с каким-то обидным покровительством и чуть не снисхождением, то есть Захар Парначев, стоявший во главе своего дворянского рода.

– Парначевы, брат, еще при Иване Калите заявили себя, – объяснял отставной сербский доброволец чопорному немецкому дядюшке, приличному и корректному старику, служившему в правлении какого-то банка. – Да, брат, мы еще тогда колотили немчуру...

Это было верхом бестактности, как и все поведение Захара Парначева, принявшее под конец свадьбы самый бурный характер. Же-

них мучился больше всех и проклинал себя, что пригласил главу рода на свою свадьбу. Впрочем, бурное поведение дяди получило неожиданное объяснение, благодаря которому на его выходки родные невесты смотрели сквозь пальцы. Кто-то пустил слух, что Захар Парначев, оставшийся старым холостяком, все свое состояние оставляет жениху. Это примирило его со всеми, а мать невесты оказывала ему особенное внимание, как и сама Анна Федоровна.

– Хоть ты, брат, и немка, а люблю! – говорил Захар Парначев, хлопая невесту по плечу. – Я сам, брат, того… чуть не женился на немке, то есть меня хотели заставить жениться.

Сестра Варвара Васильевна все время была какая-то неестественная, подавленно вздыхала и смотрела на жениха печальными глазами, точно все эти люди навсегда отнимали у нее брата. Вообще между, двумя семьями сразу установились те натянутые отношения, которых не распутать никаким мудрецам. Семен Васильевич Парначев, жених, а сейчас молодой муж, волновался все время, тем бо-

лее, что он искренно уважал вот всех этих Гагенов, трудолюбивых, скромных и выдержанных. Немцами они оставались только по названию, и молодой, если говорить правду, был гораздо больше всех их немцем, потому что усвоил себе все привычки и добродетели этого трудолюбивого, выдержанного и культурного народа.

– Шампанского! – кричал Захар Парначев, силой таща за собой молодых в отдельный кабинет. – Эй, ты, зебра, полдюжины…

Татарин-официант сразу понял, с кем имеет дело, и выразил всей своей фигурой самую невероятную готовность услужить настоящим господам. Провожавшие молодую Гагены смотрели на расходившегося дядюшку с некоторым недоверием, тем более, что не привыкли кидать деньги, а «полдюжины» стоили пятьдесят четыре рубля. Только старушка Гаген, как более опытный человек, относилась к этим пустякам совершенно равнодушно. Ей нравился зять, и она смотрела уже на него с чувством собственности – вообще хороший и обстоятельный человек: Аня будет с ним счастлива; но было одно обстоятель-

ство, которое заставляло ее вздыхать и подбирать губы оборочкой. Улучив минуту, старушка шепнула дочери:

– Аня, пожалуйста, будь осторожна с этой девочкой… Понимаешь: это ужасно трудно; от этого зависит все.

– Знаю, знаю, мама, – уверенно отвечала Анна Федоровна. – Я уже люблю ее… да. Я видела фотографию: премиленькая девчурка. Ей уж пять лет, и я буду ее воспитывать.

– Главное, Аня, выдержать характер…

Анне Федоровне вдруг сделалось жаль матери. Она отлично понимала именно теперь ее сдержанную грусть и те усилия казаться веселой, которых другие не замечали. Старушка, конечно, теперь думала о дорогом человеке, который имел право радоваться больше других и отсутствовал, – Аня от отца осталась всего восьми лет и плохо помнила старика

– Ну, немцы, выпьем! – командовал Захар Парначев, когда татарин подал шампанское. – Урра!..

Анна Федоровна ужасно была рада, когда раздался второй звонок. Наконец-то все кон-

чилось. Когда они выходили из кабинета веселой гурьбой, публика расступилась и провожала их улыбающимися глазами. Впереди всех шел Захар Парначев, распахнув енотовую шубу и сдвинув бобровую шапку на затылок. Он по пути еще что-то шепнул татарину-официанту. Гагены замыкали шествие. Они старались принять вид беззаботно кутящих людей и рассчитано говорили громко и еще громче смеялись.

Для молодых было взято купе первого класса, и там встретил их татарин с новым подносом шампанского.

– Ах, дядя, для чего это? – деловым тоном заметил молодой.

– Ничего ты не понимаешь, Сенька... Ура!.. – ревел доброволец, целуя молодую прямо в губы. – А ты, брат, Анна Федоровна, держи его в ежовых рукавицах. Он и порядка хорошенько не знает.

– Хорошо, хорошо... Иди, пожалуйста, поезд сейчас тронется, – уговаривал молодой.

Добровольцу почему-то показалось это обидно, и он упрямо заявил:

– А если я не хочу? Не хочу, и баста... Я сам

поеду с вами... Шабаш...

Остававшаяся на платформе публика ничего не подозревала, и только когда поезд тронулся, татарин-официант бросился за вагоном и кричал стоявшему на площадке и раскланивавшемуся, как оперный певец, Захару Парначеву:

– Господин, деньги!.. Деньги, барин... Ваше сиятельство!..

В ответ ему полетела скомканная трехрублевая ассигнация.

– Это тебе на чай, зебра!..

Варвара Васильевна волновалась все время за неистового дядю, но такой выходки никак не ожидала. Это выходил уже настоящий скандал. С ней было всего десять рублей, и она обратилась к брату Владимиру:

– Володя, ведь дядя не заплатил за шампанское... Нет ли с тобой денег?

Молодой человек только выразительно развел руками. Его смешил татарин, оставшийся с носом. Вот так дядя, устроил штуку... Ха-ха!.. Теперь только остается улизнуть благородным манером. Пусть немцы раскошеливаются. Варвара Васильевна не разделяла это-

го веселого настроения и обратилась к старушке Гаген.

– Я потом заплачу, когда получу из гимназии жалованье, – объясняла она вполголоса. – А сейчас со мной всего десять рублей... Дядя пьян и ничего, вероятно, не помнит.

У старушки Гаген денег тоже не оказалось, и она обратилась к брату, тому самому, которому Захар Парначев объяснял, как его предки еще при Иване Калите колотили немчуру. Брат Гаген молча поднял брови, молча достал бумажник и уплатил по счету.

– Я вам потом заплачу, – конфузливо повторяла Варвара Васильевна.

Немец спрятал счет на память и спокойно ответил:

– Зачем же вы будете платит, когда уже заплачено? Вы девушка, которая сама зарабатывает хлеб тяжелым трудом, а платить должны мужчины... Я так думаю.

Варваре Васильевне казалось, что честный немец презирает теперь ее до глубины души, и она краснела до слез, проклиная легкомысленного дядю.

Молодой, занятый устройством купе, со-

всем не знал о случившейся неприятности, но Анна Федоровна слышала, как татарин просил деньги, и возненавидела старого пьяницу. Он положительно отравлял ей все. К счастью, старик ушел в соседнее купе и сейчас же заснул мертвым сном.

Оставшись одни, молодые почувствовали некоторую неловкость. Анна Федоровна знала, что он сядет рядом с ней, обнимет ее и будет молча смотреть ей в глаза. Он не отличался красноречием, и раньше ее забавляло его смущение. Она понимала, что он стесняется быть легкомысленным, как молодой человек, да и по натуре не мог проявлять свои чувства в легкой форме.

– Аня, вот мы и одни... – проговорил он, целуя у нее руку. – Ты устала?

– Да, немножко...

– Ночью мы будем дома... От последней станции нам придется ехать на лошадях верст двенадцать.

– На своих лошадях?.. – спросила она, улыбаясь.

– Да, на своих... Там у нас все свое.

Анне Федоровне ужасно нравилось, что у

нее теперь есть и свое маленькое именье, и свое хозяйство, и даже свои лошади. Она всегда с завистью смотрела на людей, у которых есть все свое, и считала их счастливцами, которым не нужно платить ни за квартиру, ни за извозчика, ни за что, одним словом, теперь у нее самой будет все свое... Кто-то уже ее ждет *там,* на станции ждет свой кучер и свои лошади. К этому она могла бы прибавить еще своего нового пьяницу-дядю, свои долги на имении и свою падчерицу, но сейчас ей было так хорошо, что она старалась не думать о неприятных вещах. На первом плане пока оставался *свой* муж, и Анна Федоровна никак не могла решить вопроса, любит она его или не любит. Иногда ей казалось, что да, иногда – нет, а сейчас она смутно чего-то боялась. Вот он уже смотрит на нее, как на свою вещь, и в тоне его голоса слышатся другие ноты, и ей странно, что нет возврата. Еще вчера она была свободна и могла располагать собой, а теперь связана на всю жизнь. Что-то будет там, впереди... Потом она думала о матери. В самом деле, ведь это ужасно несправедливо – воспитать дочь и расстаться с ней навсегда,

уступив ее какому-то незнакомому человеку.

– Знаешь, Сеня, у каждого человека есть своя судьба, – говорила она, стараясь легонько освободиться из объятий мужа. – Да, судьба… Когда я была маленькой девочкой, мы летом жили на даче в Третьем Парголове. Однажды приходит цыганка… Горничная Варя заманила ее в кухню поворожить. А мама терпеть не может цыганок, и я стала ее гнать. Цыганка разозлилась, ушла, а по дороге сорвала одно растение, которое называется «мать-и-мачеха», и бросила его мне. Бросила и говорит: «Помни цыганку Машу»… Вот я ее сейчас и вспомнила. Не правда ли, как иногда сбываются эти глупые предсказания?

– Да… вообще… Не будем сегодня об этом говорить, Аня.

Семен Васильевич, еще молодой тридцатилетний мужчина, красивый по-своему, имел немного суровый вид делового человека, у которого каждый час рассчитан. Он прошел тяжелую школу, прежде чем выработать себе самостоятельное положение – именно заработал. Дворянское гнездо Парначевых принадлежало к числу вымирающих. Его члены

быстро сходили со сцены, и большинство роковым образом спивалось. Это было чем-то вроде наследственной болезни, какой-то кары. Из всех Парначевых только один Семен Васильевич выбился на дорогу и понемножку приводил свои фамильные дела в порядок. Правда, что в наследство он получил почти одни долги, но, может быть, это именно и спасло его. С течением времени он как-то совсем отстал от своего дворянского круга, с которым не имел ничего общего. Да, это были для него уже совсем чужие люди, лишенные главного достоинства – способности к упорному и выдержанному труду. Семен Васильевич женился рано на такой же небогатой девушке, каким был сам, но семейная жизнь скоро кончилась – жена умерла, оставив ему девочку двух лет. Это было для него самым больным местом. Как он ни любил свою девочку, но все-таки оставалось в жизни пустое место. Он еще был молод, являлась тоска вынужденного одиночества, а тут еще на каждом шагу примеры чужого семейного счастья. В результате знакомство с трудолюбивой семьей Гагенов и женитьба на Анне Федоровне. Сейчас

он думал то же, что и молодая жена, с той разницей, что в его памяти проносились другие картины и вставало другое женское лицо с грустными глазами. Лаская эту жену, ему казалось, что он отнимает что-то у первой. Потом он боялся, что эта вторая жена заметит двойственность его чувств и обидится. Все-таки она и моложе его и не имеет за собою никакого прошлого.

– Ты о чем думаешь? – неожиданно спрашивала Анна Федоровна несколько раз, точно хотела его поймать на чем-то.

– Я?.. А ты о чем, Аня?

– Я? Мне жаль маму... Она, вероятно, вернулась к себе, заперлась в своей комнате и плачет...

II

Парначевка, занесенная глубоким снегом, уже погружалась в мирный сон, когда о. Петр Спасовходский, седенький, сгорбленный старичок, вышел из своего церковного домика на погосте. Он посмотрел кругом, на небо, обложенное низкими зимними облаками, и сказал:

– Добре... Погодка будет хорошая.

Точно в ответ невидимая снежинка села к нему на нос и моментально растаяла.

– О, совсем добре… Добрая погодка.

Старик не пошел селом, где кое-где еще мигали красные огоньки, а прямо полем направился к черневшейся вдали помещичьей усадьбе. Дорогой о. Петр имел достаточно времени высчитать, что, если поезд придет на станцию в восемь часов, то молодые должны быть в девять. Кучер Спиридон уж постарается, потому что служил еще поддужным при старых господах и понимает, как и что нужно. Да, были старые господа, а молодые все разбежались из своих усадеб, расточили имения и обрекли себя на неизвестность. Из Парначевых хоть один Семен Васильевич удержался и выкупает из банка заложенное и перезаложенное родителями гнездо. Дело хорошее и для других пример поучительный.

– Немного получил от родителей Семен Васильевич, но не закопал свой один талант, как ленивый раб, – думал вслух о. Петр. – Одобряю весьма…

О. Петр был живой летописью Парначевки. Он крестил несколько поколений господ

Парначевых и перехоронил их достаточно. Вот и первую жену Семена Васильевича он же похоронил. Хорошая была женщина, а веку Бог не дал. Другие в тысячу раз хуже ее, а живут. Да, много видел о. Петр на своем веку и горя и радости, которыми чередовалась жизнь парначевской усадьбы, а теперь тихо стало и с горем и с радостью. Вот что будет с Семеном Васильевичем, когда он войдет в силу. Этот, пожалуй, подтянет…

К усадьбе о. Петр подошел совсем запушенный снегом. Мягкие белые хлопья так и валили, – тоже добрый знак для молодых. Старика удивило, что в усадьбе не было ни одного огонька, а потом вспомнил наставление своей старушки-попадьи и горько улыбнулся. Это старая няня Гавриловна, нянчившая еще Семена Васильевича, нарочно сделала, чтобы досадить своему вскормленному барчуку. И на что обиделась старуха: зачем на немке женился Семен Васильич. Ну а потом очень уж жалеет Настеньку. Конечно, Настенька сиротка, это верно, а только зачем же вперед расстраивать и себя и других. Ох, весьма слабое это женское дело и от ума недостаточно твер-

дое.

О. Петр едва достучался в калитку. Потонувшая в снегу усадьба имела не особенно привлекательный вид. Даже, пожалуй, и поправлять нечего, а лучше поставить новую. Гостю отворила кухарка Акулина.

– Гостей ждете, Акулина?

– Кто их знает… – равнодушно ответила кухарка. – Может, и не приедут…

– Спиридон-то выехал на станцию.

– Спиридон-то выехал…

– А почему у вас огня нет?

– А с какой радости огни нам палить? Гавриловна с барышней в спальне сидят, ну, у них и есть огонь…

Отцу Петру пришлось постоять в передней, пока вышла Гавриловна, низенькая и толстая старушка в очках. За ней, цепляясь за платье, вышла Настенька, белокурая, полная девочка, походившая на отца. Она очень обрадовалась, когда узнала о. Петра.

– Ну, будем ждать гостей… – проговорил о. Петр, освобождаясь от шубы. – Надо, Гавриловна, и в гостиной, и в зале зажечь лампы. Того гляди, и приедут… Погодка добрая.

– Приедут, тогда и засветим лампы, – ответила Гавриловна со вздохом. – Не велика радость...

– И чехлы с мебели надо снять, чтобы весь порядок, а потом, что касается ужина...

– Ну, еще и ужин...

Гавриловна что-то хотела еще сказать, но присела на стул и горько заплакала. Настенька стояла около нее и тоже готова была расплакаться.

– Младенца жа-аль... – всхлипывала Гавриловна, вытирая глаза уголком передника. – Несмышленыш еще, о. Петр. Ох, за какие грехи только Бог нас наказывает...

– Женщина, перестань. А при юнице и совсем не подобает произносить таких слов. Бог посылает ей вторую мать, и надо не плакать, а радоваться. Только напрасно расстраиваешь юницу... Иди и делай, что следует по порядку.

Привычка повиноваться сказалась сейчас же в старой няне, и она покорно отправилась приводить все в порядок. Зажжены были лампы, сняты с мебели чехлы, смахнута кое-где пыль – Гавриловна все это делала с каким-то

шепотом, точно завораживала вперед каждую вещь. Обстановка в усадьбе оставалась старинная, какой была еще при генерале Парначеве, служившем при Аракчееве. Это был известный генерал, составлявший честь фамилии. Его портрет висел в гостиной. Для старой Гавриловны каждая мелочь этой обстановки являлась чем-то священным. Каждый стул простоял на своем месте полстолетия, и она помнила его с ранней юности, когда попала в барские покои еще девочкой, которую взяли на побегушки. И вдруг явится какая-то немка и примется заводить свои порядки. Эта мысль убивала почтенную старушку.

О. Петр занялся Настенькой. Девочка обыкновенно приезжала в усадьбу только летом, вместе с отцом, а зимой жила в Петербурге, у тетки Варвары Васильевны. Ввиду свадьбы ее точно сослали в деревню вместе со старухой-нянькой, и это послужило поводом для разговоров. Обсуждался этот вопрос главным образом в поповском доме, хотя о. Петр из принципа и не любил вмешиваться в чужие дела. Но матушка была другого мнения и по

целым часам вела с Гавриловной тихие, задушевные беседы.

– И в самый бы раз нам оставаться у Варвары Васильевны, – горевала старая няня, качая головой. – Ведь жили же раньше, а тут вдруг помешали…

– Ну, это неспроста сделано, Гавриловна, – рассуждала матушка. – То раньше, а то теперь… Мачеха-то что подумает: прячут от меня девочку, значит, боятся, что буду ее изводить. Так я говорю?.. Варвара Васильевна умная и всякие науки в институте произошла, ну, и все понимает. Ведь всякий хочет сделать, как лучше…

– Ох, ничего я не понимаю, матушка. Стара стала…

– Да уж так, верно тебе говорю. И притом Семен Васильевич человек обстоятельный и не даст в обиду родного детища. Конечно, родной матери, как птичьего молока, не купить, а за сирот Бог…

– Да это что же, что на второй женился: дело житейское. А вот вся беда, что немка… Еще в роду не бывало у нас немок-то.

– Ну, и русские хороши бывают. Другая та-

кая изведуга попадет, что не приведи Царица Небесная... И у господ и в простом звании – везде сиротам-то не сладко живется.

О. Петр хотя и знал, что женский язык весьма склонен болтать самые неподобные благоглупости, но потихоньку жалел Настеньку, точно предчувствовал что-то недоброе. И теперь, сидя в ожидании молодых, он долго и ласково гладил шелковые волосы Настеньки и повторял точно про себя:

– Настенька, а ты люби мачеху... Она тебе будет второй матерью. Значит, так было угодно Богу. Ты будешь слушаться мачехи, а она тебя будет любить. Ссориться нехорошо, и нужно слушаться старших. Ты будешь слушаться?

– Буду... Я только боюсь, о. Петр.

– Чего же ты боишься, глупенькая?

– А сама не знаю, чего, так...

Девочке было пять лет, но она казалась старше своих лет, благодаря высокому росту. Когда о. Петр пошел осматривать комнаты, чтобы проверить Гавриловну, она шла за ним и болтала все время.

– А у нас третьего дня телочка пестренькая

родилась, о. Петр. Ее посадили в баню... мы с няней ходили ее смотреть... Смешная такая!.. Прыгает, а ноги врозь катятся...

О. Петр осмотрел залу и гостиную и остался всем доволен. Вот так-то он ждал Семена Васильевича с первой женой. Кроткая была женщина, обходительная. В гостиной висел ее портрет, сделанный уже после смерти. О. Петр вздохнул. Да, у всякого свой предел. Эти печальные размышления были прерваны слабым звуком колокольчика. Гавриловна, оправлявшая салфетку на столе, безмолвно всплеснула руками, а потом бросилась к Настеньке.

– Женщина... – строго заметил ей о. Петр, запахивая полы своей люстриновой ряски и указывая глазами на девочку.

Звук колокольчика повторился и опять замер. Наступившая пауза всем казалась бесконечной. Настенька ухватилась обеими ручками за платье няни и смотрела испуганными глазами на о. Петра, начавшего откашливаться.

– Угодники бессребреники, спаси нас!.. – шептала Гавриловна, когда звон колокольчи-

ка послышался уже совсем близко. – Пресвятая Владычица... Ох, батюшки, калитку-то позабыли отпереть!

В хлопотах, действительно, все забыли про калитку, и о. Петр покачал только головой, когда кто-то начал стучать в ворота со всего плеча. Да, нехороший знак... Гавриловна совсем растерялась и едва нашла калиточную задвижку.

– Эй, ты, старая ворона, живей шевелись! – рычал за калиткой мужской голос. – Померли вы тут все?

– Ох, батюшка, Захар Ильич, прости ты меня старую дуру... Затемнилась я совсем от радости.

– Ну ладно. Я с тобой потом рассчитаюсь...

Эта запертая калитка испортила настроение всем, а главным обратом Анне Федоровне, точно предсказание чего-то недоброго. Впрочем, она сдержала себя и вошла в свой дом с веселым лицом. В передней было темно, – забыли поставить лампочку. Но все это было пустяки, и молодая, пока муж помогал ей раздеваться, все время смотрела в освещенное пространство двери, где, как на экра-

не волшебного фонаря, обрисовался резкими контурами силуэт маленькой девочки. «Да она совсем большая...» – облегченно подумала Анна Федоровна. Но это хорошее впечатление сейчас же было испорчено выдвинувшейся в дверь фигурой о. Петра. Затем тут поп, и что ему нужно?.. Семен Васильевич взял молодую жену под руку и торжественно ввел ее в небольшую залу. О. Петр благословил молодых прадедовской иконой Зосимы и Савватия и произнес приготовленное раньше краткое слово:

– Да благословит вас Господь Бог... Любите друг друга, как заповедал Бог, и любите всех. Сударыня, а ваша любовь пусть согреет этот старый дом, ибо и велика радость и велик ответ пред Господом...

Семен Васильевич приложился к образу и поцеловал руку у батюшки, а молодая не сделала ни того ни другого. Она быстро подошла к Настеньке, наклонилась к ней, чтобы поцеловать, но девочка с криком бросилась к папе.

– Не хочу... Не хочу...

Семен Васильевич взял девочку на руки,

успокоил и поднес к жене.

– Ну, поцелуй, дурочка, маму... Это твоя вторая мама.

– Оставьте ее, – заметила Анна Федоровна. – Мы сами познакомимся...

Захар Парначев в это время успел сбегать в столовую, где отыскал початую бутылку какой-то наливки. Но беда в том, что не было совсем бокалов, а рюмок всего три.

– Э, плевать, я буду из чашки поздравлять, – решил он.

О. Петр выпил всю рюмку до дна, а молодая едва притронулась из вежливости. Гавриловна обиделась, что ее забыли и не предложили выпить за здоровье молодых, но, скрепя сердце, подошла к ручке немки и проговорила:

– Совет да любовь, молодая наша барыня... Жить вам, поживать да добра наживать. Служила я еще маменьке Семена Васильевича и вам, даст Бог, послужу.

– Спасибо, няня... – Молодая побрезговала и не поцеловала Гавриловны, что ей и было поставлено в счет, как и то, что ни приложилась к образу и не облобызала руки батюшки.

Одним словом, немка и никаких господских порядков не понимает...

Все чувствовали себя неловко, и выручила только Акулина, подавшая кипевший самовар «в самый раз». Это был выход из общего неловкого положения, да и в дороге все прозябли немного. Гавриловна заметила, как молодая оглядывает комнаты, и подумала со злостью: «Ишь как шмыгает глазами... Обрадовалась ворона, что попала в барские хоромы».

За чаем всех занимал Захар Парначев. Его голос так и гремел, точно труба. Впрочем, Анна Федоровна была теперь рада этому милому родственнику. Старик почти один выпил всю наливку и опять захмелел.

– Сенька, я тебя люблю, а ты все-таки не гордись! – бормотал он. – Да... Я знаю, брат, ты считаешь себя умнее всех... Шалишь, брат, Захара Парначева не проведешь!.. Говорю прямо: не гордись. Верно, о. Петр?

– И смирение бывает паче гордости, Захар Ильич, – уклончиво ответил батюшка.

– А вот и не то! – гремел Захар Парначев. – К чему я клоню свою речь? Слушай: Сенька

гордец, а того не знает, что первая жена от Бога, вторая от людей, третья от черта... А между прочим, нам пора идти докой, отец, то есть я пойду ночевать к тебе.

– Милости просим, Захар Ильич... – приглашал батюшка. – Весьма даже пора.

III

Медовый месяц... Как впоследствии Анна Федоровна ненавидела это дурацкое выражение, вызывавшее у нее в душе целый ряд самых глубоких оскорблений, какие только могут выпасть на долю женщины. Она дошла до такого состояния, что перестала верить себе и задавала вопрос, неотступно преследовавший ее: а может быть, она злая женщина, бессердечная, вообще нехорошая, то, что называется мачехой в дурном смысле этого слова? Но мы забегаем вперед, опережая события.

Семен Васильич по случаю женитьбы взял месячный отпуск, и все это время молодые провели в Парначевке, в *своей* Парначевке, как писала Анна Федоровна матери в Петербург. Первые дни прошли быстро, точно в тумане, – так было много новых впечатлений. Анна Федоровна знала только свой Петербург

и несколько дачных окрестностей, а остальная деревенская Россия для нее совершенно не существовала, и она не могла даже приблизительно представить себе, кто и как живут в этой настоящей России. А тут она сразу очутилась точно на дне какого-то подводного царства – до того все было ново и необыкновенно. Исходным пунктом этих новых впечатлений являлась своя барская усадьба, похоронившая в себе воспоминания нескольких поколений. На другой день по приезде Анна Федоровна подробно осмотрела свои владения и пришла к убеждению, что все рушилось, и что нет возможности что-нибудь реставрировать.

– Мы сломаем это старье и выстроим новую усадьбу, – говорил Семен Васильич, показывая жене все жилье. – Это давно следовало сделать, но как-то руки не доходили. Да и не для кого было хлопотать. А теперь совсем другое дело…

– Ах, как это будет хорошо… – шептала в восторге Анна Федоровна.

– И все хозяйство необходимо поставить на новую ногу, а то, говоря откровенно, все

страшно распущено и никуда не годится.

– Я в хозяйстве ничего не понимаю, Сеня.

– Выучишься помаленьку…

При одном слове «хозяйство» Аше Федоровне представлялась прежде всего старая нянька Гавриловна, которая следила, как тень, за каждым ее шагом и которая будет ее подсчитывать во всем, сравнивая в глаза и за глаза с «первой барыней». Да, эта первая барыня незримо продолжала наполнять всю старую усадьбу, и Анна Федоровна каждый раз вздрагивала, когда Гавриловна в виде окончательного, решающего мотива повторяла стереотипную фразу:

– А у *нас* прежде совсем по-другому было…

У нас – это значило, что так делалось при первой барыне. Гавриловна ревниво оберегала этот старый режим, как своего рода святыню, и выказывала мертвое бабье сопротивление, сопротивление без слов. Старуха ни за что не желала переставить мебель по-новому, изменить час обеда, выбор кушаний и т. д., до последних мелочей ежедневного обихода. Между старой верной «слугой» и новой барыней с первых же шагов завязалась глухая, бес-

пощадная борьба, причем за Гавриловной было громадное преимущество целого прошлого и настоящего в лице маленькой Настеньки. Анна Федоровна выдерживала характер и не подавала вида, что замечает что-нибудь, особенно при муже, который уже сделал несколько резких замечаний старой няньке.

– Оставь ее, пожалуйста, – уговаривала его Анна Федоровна. – Она, просто, ревнует меня ко всему, что вполне понятно…

Затем, постепенно выяснилось, что у Гавриловны есть масса сторонников, вполне разделявших ее настроение. На погосте за Гавриловну была попадья, а в деревне несколько старых дворовых, хранивших традиции захудавшего барского гнезда. Эти дворовые приходили нарочно в усадьбу, чтобы посмотреть на новую барыню-немку, шептались о чем-то с Гавриловной, качали головой и проявляли необыкновенную нежность к Настеньке. Анна Федоровна понимала только одно, именно, что за ней зорко следили сотни глаз, подозревая в чем-то дурном. У нее все чаще и чаще начал являться невольный вопрос: «Что я сделала всем этим людям? Отчего все они такие

злые?..» Этот тайный враг выбрал исходным пунктом Настеньку, точно девочка подвергалась какой-то смертельной опасности. Пункт был верный, больше – из этого положения не было решительно никакого выхода, в чем Анна Федоровна убедилась слишком скоро, Она старалась держать себя с девочкой просто, как с младшей сестрой, но это выходило баловать ее, что та же Гавриловна и объяснила с грубой откровенностью заслуженного человека.

– Вы ее набалуете, барыня, то есть Настасью Семеновну.

– Зачем вы называете девочку Настасьей Семеновной?

– А то как же иначе-то? Не какая-нибудь, а настоящая, природная барышня. У нас завсегда уж так велось в дому...

– Зовите просто Настенькой. Она еще так мала...

– Слушаю-с...

– А затем мне совсем не нравятся ваши замечания, Гавриловна. Я понимаю и ценю вас, как верного человека, как няню Семена Васильевича, но это еще не значит, что я во всем

должна соглашаться с вами. Думаю, что и для вас, и для меня удобнее будет, если именно вы будете соглашаться со мной. Я даже этого требую, няня, именно в интересах девочки, потому что, если я буду с ней ласкова, вы будете обвинять меня в баловстве; если буду строга, вы меня будете называть злой мачехой. Дело гораздо проще: Настенька будет моей младшей сестрой и только. Кажется, понятно?

– Слушаю-с…

Анне Федоровне сейчас же пришлось раскаяться в этих откровенных объяснениях, потому что Гавриловна в тот же день вечером рассчитано громко говорила в кухне кухарке Акулине:

– Наша-то прытка больно… Сестра, грит, будет моя младшая. Оно и похоже на то… С первого разу в сестры произвела, а дальше-то уж и по-другому. Тоже очень хорошо понимаем… А то забыла, что когда закон принимала, так в матери ставилась. Закон-то для всех баб один… А тут – сестра.

Вступить в какие-нибудь объяснения с Гавриловной было уже непростительной

ошибкой, потому что старуха находилась в возбужденном состоянии и могла наговорить дерзостей, а последнее повело бы к неловким объяснениям с мужем. Кстати, Анна Федоровна чувствовала каждую минуту, что и муж зорко следит за ее отношениями к Настеньке и смутно готовится, может быть, защищать дочь от ее деспотизма. Да, все это в порядке вещей, и нужно выдержать характер до последних мелочей, пока все не устроится. Время – самый справедливый человек, как говорит какая-то итальянская пословица.

Странно, что между мужем и женой уже являлись недоговоренные вещи. Анна Федоровна была убеждена, что присутствие Гавриловны для Настеньки, кроме вреда, ничего не приносит, и она не могла сказать откровенно этого мужу прямо в глаза, предоставляя ему самому догадаться. Это была какая-то молчаливая ложь, которая отравляла жизнь с первых шагов. Приходилось молчать, затаивать и просто скрывать, а муж точно намеренно ничего не замечал и продолжал оставаться все таким же, каким она знала его девушкой. В жизнь прокрадывался какой-то тайный раз-

лад, какое-то неустранимое противоречие, и незаметно вырастала роковая стенка, навсегда разделяющая самых близких людей.

Анна Федоровна научилась в несколько дней следить за самой собой и за другими – это был ответ на общее выслеживание. Она тысячи раз проверяла себя в отношениях к падчерице и решительно ни в чем не могла себя упрекнуть. И времени прошло так мало, и девочка сама по себе нравилась ей, как и всякий другой здоровый и милый ребенок. Будущее Настеньки всецело зависело от воспитания, и если чего можно было пожелать, так это удаления Гавриловны, которая сегодня-завтра начнет расстраивать ребенка. Девочка, с своей стороны, внимательно присматривалась к мачехе и пока оставалась в нерешимости, как к ней отнестись. Новая мама, конечно, была для нее пока чужой, и нужно было предоставить времени то естественное сближение, из которого развиваются постепенно органические родственные чувства.

– Почему я должна звать вас мамой? – откровенно спрашивала девочка, точно не решаясь приласкаться к ней. – Моя мама умер-

ла…

– Да, твоя родная мама умерла, а я для тебя буду второй мамой, деточка.

– И я буду вас любить?

– И будешь любить, очень любить…

Присматриваясь внимательно к девочке, Анна Федоровна пришла к удивительному заключению, именно, что, будь она, Анна Федоровна, в доме Семена Васильевича просто гувернанткой, она полюбила бы вот эту Настеньку от всего сердца, и Настенька ответила бы ей тем же. Но сейчас они обе точно сторонились и боялись друг друга. Это было и обидно, и нелепо, и несправедливо, и решительно ни для кого не нужно. Еще обиднее было то, что и няня Гавриловна, и кухарка Акулина, и старые дворовые из Парначевки, и попадья с погоста – все сами по себе, вероятно, люди хорошие и добрые и действовали сейчас из самых добрых и хороших побуждений. Анне Федоровне иногда хотелось, просто, крикнуть им всем: «Зачем вы обижаете меня, милые, добрые люди, когда я хочу всех вас любить и быть счастливой именно этой любовью? Ведь я совсем не злая и никому не

желаю зла»... Но эти ораторские порывы не проявлялись ничем внешним, замирая под гнетом опутывавших зарождавшееся счастье мелочей.

Бывали иногда, просто, минуты молчаливого отчаяния, и Анна Федоровна начинала думать на тему о том, когда Настенька вырастет большая и она расскажет ей все свои муки, самые тайные мысли и нелепые огорчения. О, она, та, большая Настенька, поймет и оценит ее... Вся беда в том, что приходилось ждать этого решающего момента целых десять – двенадцать лет, когда Настенька превратится в совсем взрослую девушку А теперь ждать и терпеть... Анна Федоровна по какому-то инстинкту ничего не решилась написать даже родной матери: *этого* никто не должен был знать, даже самые близкие люди, как муж или мать. И это так будет...

Семен Васильевич был очень внимателен к жене и часто смешил ее желанием угодить ей. Последнее у него выходило как-то угловато и неловко, как у человека, попавшего случайно в совершенно незнакомое ему общество. Но, говоря правду, это ухаживанье

льстило Анне Федоровне, и она чувствовала бы себя почти несчастной, если бы муж относился иначе. Впрочем, отдавая эту дань своему молодому счастью, Семен Васильич продолжал оставаться деловым человеком и не терял напрасно своего свадебного отпуска. Он теперь почти каждый день уезжал в Парначевку, где у него тянулось какое-то бесконечное дело с крестьянами из-за земли. Необходимо было с ним развязаться раз и навсегда. Когда муж уезжал вечером и оставался долго в волостном правлении, Анна Федоровна начинала тяготиться своим одиночеством и не знала, как убить свое время. В хозяйство она совсем не желала вмешиваться, чтобы чем-нибудь не восстановить против себя старую прислугу, мерявшую ее «первой барыней», а потом, говоря откровенно, она по натуре и не была хозяйкой и мало интересовалась домашними хозяйственными комбинациями.

Оставаясь одна, Анна Федоровна обыкновенно занималась Настенькой, чтобы понемногу приручить ее к себе. Она пробовала с разных сторон подойти к этой детской душе, которая готова была закрыться для нее навсе-

гда при первом неосторожном шаге. Она разговаривала с девочкой о всевозможных предметах, рассказывала ей сказки, пробовала читать какую-то старую детскую книжку, осторожно выспрашивала ее о том, что она любит.

– Я люблю только папу... – повторяла настойчиво Настенька, точно ее кто оспаривал. – И больше никого не люблю...

– И меня не любишь?

– И Вас не люблю...

– Почему?

– Потому что люблю свою настоящую маму, которая висит в гостиной.

Этот наивный детский ответ осветил сразу всю картину. Да, что ни делай, а эта настоящая мама будет вечно стоять перед глазами, пока существует вот эта Настенька. В первый еще раз в душе Анны Федоровны шевельнулось нехорошее и злое чувство, не относившееся собственно ни к кому. Она начинала ревновать Настеньку к отцу, припоминая целый ряд самых трогательных сцен, точно девочка своим детским лепетом и поцелуями отнимала у нее что-то такое дорогое, чему нет

возврата.

IV

Семен Васильевич, охваченный счастливым эгоизмом, ничего не замечал почти до самого конца. Вернее сказать, он служил своему счастью с такой же добросовестностью, как служил и в своем банке. И там и тут пред ним раскрывались горизонты, и он уходил в мечты о будущем. Мысль о первой жене совершенно заслонялась настоящим, тем более, что оставался на руках ее живой портрет – Настенька. Он любил думать, что в лице дочери как будто искупит какую-то невольную вину пред покойной женой, а тут еще другая женщина, которая заменит Настеньке мать. Заботиться о двух любимых женщинах, соединить их в одно – это ли не счастье? Да, он будет любить обеих, будет неустанно работать для них и будет еще счастливее сознанием, что трудился не напрасно.

Все эти мысли связывались как-то особенно тесно именно со старинной дедовской усадьбой, полной еще детских воспоминаний. Ему было жаль зорить это старое дворянское гнездо, хотя оставлять его в настоя-

щем убожестве тоже было невозможно. Семен Васильевич успел составить уже несколько планов новой усадьбы и с особенным старанием вычерчивал фасад. Наверху помещалась светелка, предназначавшаяся Настеньке. Да, время летит, и не заметишь, как маленькая девочка превратится в большую девушку. Мысленно он часто видел дочь большой, любил думать на эту тему. Составляя планы, Семен Васильевич подолгу советовался с женой относительно разных комбинаций. Она любила страстно цветы и требовала, чтобы рядом с домом непременно была устроена маленькая оранжерейка, соединенная с комнатами теплым ходом. Зимой это будет доставлять массу удовольствия, особенно в деревне, где нет никаких развлечений.

– Под старость мы и совсем поселимся в деревне, – мечтала Анна Федоровна. – Тогда уже ничего не будет нужно, кроме своего угла. Привыкну к хозяйству, буду считать горшки молока, яйца…

Это было в самом начале, а потом Анна Федоровна только соглашалась с мужем во всем, делая равнодушное лицо. Последнее его поло-

жительно обижало, расхолаживая те мечты о будущем, которые сказались вместе с этим будущим гнездом.

– Кажется, я тебе просто надоел, Аня, своими планами, – заметил раз Семен Васильевич, сдерживая невольное раздражение. – Я больше не буду приставать...

– Я уже сказала, Сеня, что делай, как хочешь. Мне решительно все равно, т. е. даже не все равно, а, просто, я в этих делах ничего не понимаю.

– Ты, как мне кажется, чего-то не договариваешь...

– Я?

Анна Федоровна даже покраснела, пойманная врасплох, и проговорила оправдывающимся тоном:

– Видишь ли, Сеня, я не понимаю, к чему так торопиться с этой постройкой? Можно и подождать... Мне кажется, что тебе жаль уничтожать старую усадьбу, и я вполне это понимаю. Вообще необходимо подождать...

– Никаких других мотивов больше?

– Решительно никаких...

Молодому мужу еще в первый раз показа-

лось, что жена не совсем искренно говорит с ним и что-то скрывает. Впрочем, объяснение было сейчас же под рукой: сказывалась петербургская барышня, ничего не видавшая, кроме столицы. Конечно, ей трудно сразу привыкнуть к деревне, и нужно будет подождать. Потом ее тянули в столицу родственные привязанности, так сильно развитые в немецких семьях. Дурного во всем этом, конечно, ничего нет, и Аня просто большой ребенок, которому не по себе в новой обстановке.

Но эти успокаивающие размышления не устраняли какого-то смутного предчувствия чего-то еще недосказанного, что уже решительно не имело никаких объяснений. Оно только чувствовалось. В первый раз это чувство закралось в душу Семена Васильевича по самому незначительному поводу. Раз он сидел у себя в кабинете, составляя приблизительную смету, будущей постройки. Около него, по обыкновению, вертелась Настенька. Это был тихий ребенок, не умевший даже надоедать, как другие дети. Девочка совершенно удовлетворялась тем, что находится в од-

ной комнате с отцом. Она любила тереться около него, как это делают ласковые котята. Сейчас она как-то особенно жалась к нему всем тельцем, и Семен Васильевич заметил:

– Настенька, ты мне мешаешь...

Девочка посмотрела на него испуганными большими глазами и вдруг заплакала неудержимыми детскими слезами.

– Девочка, о чем ты плачешь?

Он взял ее на колени, начал ласкать, целовать, а она все рыдала.

– Ну, скажи, крошка, о чем ты плачешь?

– Я не знаю, папа...

Она, действительно, не знала, и он понял, что в этой крошечной маленькой женщине просыпалось чувство ревности. Да, настоящая ревность... Раньше он без церемонии выгонял иногда ее из кабинета, а сейчас она обиделась на самое простое замечание. Бедная маленькая женщина... Отцовское сердце невольно сжалось от какой-то смутной боли. Ребенок еще не умел высказать, сколько у него отняла другая, чужая для него женщина, а маленькое сердце уже чувствовало быстро образовавшуюся пропасть. Семен Васильевич долго и мол-

ча ласкал свою девочку, с трудом сдерживая душившие его слезы. Кто знает, что будет впереди, а сейчас верно то, что он уже не принадлежал ей одной безраздельно, как это было раньше.

Теперь уже Семену Васильевичу пришлось скрывать от жены свое настроение, и он смущался, когда чувствовал на себе ее пытливый взгляд. Да и как он мог объяснить волновавшие его чувства, когда она еще не испытывала, что такое значит иметь своего ребенка, – есть своя, специально-детская логика. Конечно, Настеньку сейчас никто не обижал и никто не смеет пошевелить ее пальцем, пока он жив, а все-таки чувство какой-то особенной жалости охватывало его каждый раз, когда он видел ее. Ему начинало казаться, что и девочка уже не та, какой была раньше, когда жила у тетки Варвары. Да, в маленьком поведении было что-то новое, чего он пока еще не мог определить и назвать своим настоящим именем. Девочка, точно насторожившаяся маленькая птичка, ждала чего-то, ждала всем маленьким беззащитным тельцем, и отцовское сердце болело за нее вперед.

Охваченный этим настроением, Семен Васильевич мучился больше всего тем, что ему решительно не с кем было посоветоваться, просто поговорить по душе. Со своей родней он уже давно разошелся и не мог рассчитывать на участие даже сестры Варвары, которая оставалась ближе других. Разговорился Семен Васильевич совершенно случайно со стариком о. Петром, к которому завернул по делу с крестьянами. Он привык с детства относиться с уважением к этому хорошему старику, и теперь у него невольно вырвалось все то, чем наболела душа.

– Так, так... – повторял о. Петр, шагая по комнате. – Весьма одобряю, что питаете подобные мысли относительно своей сироты. Но что же делать, слаб человек, прилепившийся к жене... Так и в Писании сказано: женившийся печется о жене своей...

– Но ведь одно другому не должно мешать, о. Петр?

– Совершенно правильно, хотя бывают, случаи... гм... да... А главное, чтобы была совесть покойна, а это спокойствие достигается только исполнением долга. Все понемногу

устроится само собой, Семен Васильевич.

– А отчего же я боюсь, о. Петр? Совсем не знаю, чего боюсь.

– Вот, вот, это и хорошо.

О. Петр пошагал, разгладил несколько раз бороду, оглянулся на запертую дверь в комнату попадьи и заговорил уже вполголоса.

Видите ли, Семен Васильевич, я сам хотел поговорить с вами об этом, но пока не решался. Да, не решался… Дело в следующем. Я, конечно, не мешаюсь в женские дела, но нечто уже слышал. Конечно, женский ум, как трость, колеблемая ветром, а все-таки есть своя острота… да. Мы и не замечаем, а женщина уже видит по своему малодушию, ибо сама есть скудельный сосуд.

О. Петр еще походил и после паузы продолжал:

– Весьма мне даже жаль вашу молодую подружию…

– Как жаль?

– Да так… Трудненько придется молодой госпоже при их полной неопытности жизни… Нечто уже говорят злые языки, говорят, прикрывая себя некоторой жалостью якобы к си-

роте. Бывает… То есть женский пол весьма жалеет Настеньку, хотя еще ничего и не обозначилось, за что бы, ее жалеть, как вот вы и сами изволили сейчас говорить, Семен Васильевич.

– Кто же говорит, о. Петр?

– Nomina odiosa sunt[4], ежели изволите помнить, как говорили латиняне. Сие безразлично и для вас даже ненужно. Заключение, по-моему, одно: вам необходимо оберечь младую подружию от сих пустых женских слов, чтобы она прежде времени сама не ожесточилась. Бывает по неопытности лет это часто… Нужно беречь госпожу, а когда она освоится со своим новым положением, то и сама будет знать, что ей подобает делать.

Этот случайный разговор открыл глаза Семену Васильевичу на то, о чем он боялся догадаться, именно, о той глухой оппозиции, которую Анна Федоровна неизбежно должна встретить в окружающих. Кто мог что-нибудь говорить про нее? Конечно, старая нянька Гавриловна, выжившая из ума, попадья, совавшая свой нос в чужие дела, старые дворовые из Парначевки. Он никому не делал зла, а

они отравляли ему самое лучшее время капля по капле. Вот почему Аня сделалась совершенно равнодушной к постройке новой усадьбы. Вероятно, она уже что-нибудь слышала и не хочет только его беспокоить.

Несколько раз Семен Васильевич думал вполне откровенно объясниться с женой, но из этого ничего не выходило. Ему было жаль разрушать этими объяснениями счастливый призрак медового месяца. В свое время все придет, зачем предупреждать события. Пока он предпринял только одно, именно, предложил уехать из Парначевки раньше предполагавшегося срока. Анна Федоровна с радостью ухватилась за эту мысль, так что даже выдала свое искреннее желание поскорее расстаться со *своей* усадьбой, которой еще так недавно гордилась.

– Нам необходимо заехать к дяде Захару Ильичу в Заозерск, – объяснял Семен Васильевич деловым тоном. – Всего шестьдесят верст на лошадях. Старик, конечно, чудак, а все-таки он остается старшим в нашем роде.

– Я ничего не имею и даже очень рада... Сначала дядя мне не нравился, а потом... Од-

ним словом, я буду рада его видеть.

– Должен тебя предупредить: он живет чудаком, и нужно быть готовым ко всему.

Семена Васильевича неприятно поразило то, что жена ни слова не сказала о Настеньке, точно бедная девочка совсем не существовала на белом свете. Она так была рада вырваться, наконец, из своей усадьбы… Потом, чтобы поправить свою ошибку, Анна Федоровна накануне отъезда уверенным тоном заметила:

– Настенька, конечно, поедет с нами…

– Нет, ей в Заозерске нечего делать, – довольно сухо ответил Семен Васильевич. – За ней приедет тетка Варвара Васильевна и увезет в Петербург…

Никакой сцены по этому поводу не произошло, но Анна Федоровна в первый раз почувствовала себя несправедливо обиженной, тем более обиженной, что, действительно, совсем забыла, о существовании Настеньки, когда речь зашла о поездке в Заозерск. Семен Васильевич сделал вид, что ничего не замечает, и тоже чувствовал себя обиженным.

V

Уездный город Заозерск, как многое мно-

жество других уездных русских городов, замечателен был тем, что в нем решительно ничего не было замечательного, как выражался известный заозерский остряк Шевяков. Ни добывающей промышленности ни обрабатывающей, ни естественных богатств, ни торгового тракта, ни сплавной реки – как есть ничего. Даже не было местной чудотворной иконы, которая привлекала бы к себе из ближайших окрестностей благочестивых людей. Одним словом, как есть ничего. Кто строил город, когда и для чего – тоже было неизвестно. Сохранилось смутное предание, что через эти места пролегала когда-то волчья новгородская тропа на Двину, по которой удалы добры молодцы новгородские выводили домой и полон, и пушнину, и узорочье, и разную рухлядишку, вообще все, что могли награбить. По другой версии, город был основан одним из московских великих князей-собирателей, который построить город построил, но никому не сказал зачем. Несомненным доказательством древности Заозерска служили развалины какой-то башни, которая, по преданию, стояла в центре уничтоженного беспощад-

ным временем кремля. Заозерцы немало дивились тому, что город стоял в трех верстах от большого озера, а не на самом берегу. Ходила легенда, что в древние времена город стоял у самой воды, но за грехи обывателей озеро ушло от них на три версты. По другой легенде, сам город в одну ночь ушел от озера. Вообще история Заозерска представляла много сомнительного, и было несколько серьезных попыток ее восстановить. Последнее объяснялось тем, что обыватели очень любили свой Заозерск и даже гордились им. Было три таких попытки восстановления истории Заозерска. В первый раз это хотел сделать дедушка нынешнего остряка Шевякова, когда у него не было еще заложено имение, но он потом передумал и решил восстановить кремль. В результате вышло как-то так, что не вышло ни истории, ни кремля, а ассигнованные на это деньги погибли во время крушения знаменитого Скопинского банка. Во второй раз восстановить историю хотел купец Болдырев, когда выиграл двести тысяч. Он даже нарочно ездил в Москву и подыскивал там историка по сходной цене, но истори-

ки дорожились, Болдырев обиделся и, назло им, деньги, ассигнованные на историю, употребил на устройство церковного хора при соборе и постройку торговых бань. В третий раз восстановлял историю Захар Парначев, когда у чего в течение трех недель умерло две богатых тетки. Он даже сделал в клубе подписку, которая в один вечер дала семнадцать рублей шестьдесят копеек. Но тут, как на грех, подвернулась сербская кампания, Захар Парначев отправился к генералу Черняеву добровольцем, а Заозерск так и остался без истории.

Мы уже сказали, что обыватели очень любили свой город. И, говоря откровенно, его нельзя было не любить, как последнее дворянское гнездо. Заозерские дворяне славились, потому что сохранили за собой свои поместья, как это было до эмансипации. Чумазый несколько раз делал попытки слопать их, но, прикинув в уме стоимость болот и лесов, откладывал это предприятие, как не стоящее его прожорливости. Так и жили заозерские помещики и даже на что-то надеялись, и наконец дождались новой эры, когда открылся

Дворянский банк. Это было настоящим воскресением для заозерских дворян. Первую ссуду взял в банке, конечно, Захар Парначев и, конечно, сейчас же великодушно затратил ее на украшение города, – он устроил цирк. Это великодушное предприятие не встретило сочувствия граждан, а приезжавшая странствующая труппа потерпела убытки. Эта неудача не охладила благородного рвения Захара Парначева, и он убедился только в том, что нужно было выстроить совсем не цирк, а купальни «в турецком вкусе». Бани уже были, а купален не было. Какой же благоустроенный город не имеет купален?

– Я им устрою купальни, – упрямо повторял Парначев. – Если не могли поддержать цирка, пусть купаются. Это необходимо, особенно для дам, которые очень стесняются, когда приходится купаться на озере вместе с мужчинами. Прежде это еще было можно, а нынче другое… Современность, батенька.

Семен Васильевич, при всей своей положительности, доходившей до черствости, питал самые нежные чувства к милому Заозерску, с которым у него были связаны теплые

детские воспоминания. Отчасти поэтому он повез сюда и молодую жену, точно хотел ее в чем-то проверит. Собственно говоря, ехать в Заозерск не было никакой надобности, а старый дядя являлся только предлогом. Анна Федоровна была рада этой поездке, чтобы вырваться из *своей* Парначевки. Уже дорогой она заметно оживилась, точно навсегда оставляла Парначевку. Даже первая размолвка была забыта, и Анна Федоровна опять могла радоваться, что едет на своих лошадях, и смотрела на спину кучера Спиридона с чувством собственности. В голове молодой женщины невольно являлась мысль, что она была бы совсем счастлива, если бы не эта девочка Настенька. Да, совсем...

Дядя Захар Ильич встретил молодых с распростертыми объятиями... Он жил на холостую ногу, занимая квартиру в восемь комнат. Прислуживал ему один казачок Васька, ухитрявшийся каждую минуту проваливаться сквозь землю.

– Васька, подлец, ты опять пропал?! – кричал старик. – Васька. Ну, Анюта, я очень рад, что ты вспомнила про старика. Да... А мы тут

живем попросту, голубчик, как жили еще при Гостомысле.

Дома Захар Парначев расхаживал в черкеске и в валенках, что придавало ему вид человека, счастливо убежавшего из сумасшедшего дома. Беспорядок в квартире был ужасный, тем более, что тут же жили ирландский сеттер и две облезлые борзые. Собаки имели довольно жалкий вид, потому что подлец Васька не кормил их и не чесал.

– Не красна изба углами, – рекомендовал Парначев свое логовище. – Но зато какой ухой из налимьей печенки угощу... А затем пирог на четыре угла – пальчики оближете.

Анна Федоровна еще в первый раз видела квартиру старого холостяка в полном блеске и только брезгливо пожимала плечами, что забавляло Семена Васильевича. Разве так можно жить?.. Когда-то хорошая мебель была испорчена собаками, крашеные полы не мылись, везде пыль и безобразие невероятное.

– Старик хороший, хотя и любит чудить, – точно извинялся перед женой за дядю Семен Васильевич.

– О, он мне очень нравится...

Анна Федоровна хохотала чуть не до истерики, когда дядя принимался рассказывать о жизни в Заозерске. Это было что-то невероятное и нелепое до последней степени.

– Вам, должно быть, здесь очень скучно, дядя? – спрашивала Анна Федоровна.

– Нам? Скучно? – изумлялся старик. – Да мы и не слыхали, что есть скука на свете. Во-первых, еда... Потом карты, потом охота, потом любовь. Ты приезжай, братец ты мой, к нам летом и посмотри, как мы тут живем. Вон видишь площадь, где мой цирк стоит. Ну, напротив наш клуб.

– В этом маленьком деревянном домишке?

– А для чего же нам больше? Совершенно достаточно... Вот мы и собираемся в клубе каждый вечер. Перед клубом зеленая полянка, нам столы вынесут на полянку, ну, мы и играем. Когда совсем стемнеет, свечи подадут. Где ты это увидишь?

По части еды у дяди, действительно, было все приспособлено замечательно, а если чего не хватало, подлец Васька летел в клуб, служивший как бы продолжением собственной кухни. Вообще картина получалась един-

ственная в своем роде.

– Знаешь, Аня, я часто думал о том, что кончу свои дни именно в Заозерске, – говорил Семен Васильевич в припадке откровенности. – Здесь есть что-то такое мирное, спокойное... То есть я думал об этом раньше, до знакомства с тобой.

– Могу только удивляться твоим вкусам...

– Да, ты удивляешься, потому что не знаешь этого милого Заозерска и представляешь его себе чем-то вроде зоологического сада или дома сумасшедших. А это неверно... Другого такого города во всей России не найдешь. И я убежден, что ты его полюбила бы, если бы узнала поближе.

Молодые прожили у дяди целую неделю, и Анна Федоровна, действительно, узнала много такого, о существовании чего даже не могла подозревать. По вечерам Захар Парначев любил предаваться воспоминаниям и впадал по этому поводу в грустное настроение. И было что вспомнить... Разве нынче люди? Так и мрут, как мухи, мрут целыми семьями, мрут от самых пустяков. Мужчины почти поголовно спиваются. Захар Парначев, отгибая паль-

цы, перечислял: Голышевы три брата спились, Бояркины – отец и два сына, Мозгалевы – целых пять человек, Андрусовы – вся семья, и т. д. и т. д. В дворянских усадьбах остаются только одни женщины.

– Дядя, ведь это ужасно! – возмущалась Анна Федоровна. – Отчего же это?

– Отчего? От современности, братец ты мой... И при этом дрянь народ. Да вот хоть я, – разве я человек? Тоже дрянь... Какие еще мои года, всего пятьдесят с хвостиком, а у меня уж поясница к ненастью болит, зубы выпадают. Одним словом, дрянь... А вон прадедушка Асаф Парначев...

Присутствовавший при этом разговоре Семен Васильевич сделал нетерпеливое движение, но удержать старика была трудно.

– Ты его не помнишь, Сенька? Впрочем, что же я говорю, когда он умер еще до твоего появления на свет. Да, вот это был человек, Анюта. И не человек, а прямо герой. Хоть сейчас на памятник ставь. Ему уже было девяносто лет, когда я его знал, а он и лето, и зиму спал в саду, на открытом воздухе. И все зубы до одного целехоньки... Он еще суворовской

закалки был. А кончил… Всю жизнь никогда не лечился, а тут под старость желудок старику стал изменять. Вот он и придумал себе лекарство… Вотчина была большая, вот он и набрал себе тридцать баб-кормилок и целый год женским молоком питался.

– Фу, какая гадость… – возмущалась Анна Федоровна.

– Для обыкновенного человека это гадость, а Асаф Парначев был герой. Он потом француза из России выгонял, а из Заозерска хотел устроит крепость.

Род Парначевых тоже шел «на перевод». Мужчины быстро вымирали, спиваясь с круга. Так спился старший брат Семена Васильевича, потом двое дядей, три племянника и даже одна племянница. Над семьей висело что-то роковое. Анна Федоровна слушала эти рассказы с ужасом, что она и сама могла спиться, попав в этот заколдованный круг,

Пребывание в Заозерске было прервано телеграммой сестры Варвары Васильевны. Она извещала, что перевезла Настеньку из Парначевки в Петербург, и что девочка больна тифом. Семен Васильевич даже изменился в ли-

це, пробегая эта немногие строки, и телеграмма у него дрожала в руках, как помертвевший осенний лист. Анна Федоровна тоже встревожилась, точно была в чем-то виновата.

– Э, вздор! – успокаивал Захар Ильич. – Ребятишки уж так созданы, что постоянно хворают... Отлежится, даст Бог. Остались бы еще погостить...

– Нет, дядя, нам пора... – рассеянно повторил Семен Васильевич, весь поглощенный мыслью о больной девочке. – В другой раз приедем... Как-нибудь летом.

Молодые сильно волновались весь обратный путь в Петербург. Семен Васильевич отмалчивался, а Анне Федоровне казалось, что он сердится, и сердится именно на нее. Надо же было случиться, чтобы девочка захворала ни раньше ни позже...

– Ведь она и раньше хворала? – спрашивала Анна Федоровна, точно подыскивая самой себе оправдание.

– Да... была корь. А вообще девочка здоровенькая...

Семену Васильевичу казалось, что еще никогда поезда железной дорога не ходили так

тихо, как сейчас, и он поминутно вынимал часы, точно хотел кого-то поторопить. Боже мой, ведь дорог каждый час... Он только чуть-чуть задремал ночью и сейчас же увидел страшный сон. Он держал горевшую в огне Настеньку на руках, и она делалась все меньше и меньше, точно таяла. Пухлый детский ротик повторял только одно слово: «Папа»... Он проснулся в ужасе, обливаясь холодным потом.

Когда поезд подходил к Николаевскому вокзалу, Семена Васильевича охватил какой-то панический страх. Он выглядывал в окна и боялся увидеть какое-нибудь знакомое лицо, явившееся на вокзал с специальной целью подготовить его. Но никого знакомого не оказалось, и он вздохнул свободнее. Значит, Настенька еще жива.

VI

Семен Васильевич нанял большую квартиру на Николаевской. Раньше Настенька жила у тетки Варвары Васильевны, а теперь у нее была своя комната в квартире отца. Это было оговорено Анной Федоровной еще до свадьбы. Раньше, конечно, девочка могла жить у тет-

ки, потому что отец целый день проводил на службе, а теперь это было бы неудобно. Семен Васильевич не жил вместе с сестрой потому, что она пользовалась казенной квартирой, да и вообще привыкла к своему девичьему одиночеству.

О своем приезде Семен Васильевич предупредил сестру телеграммой, и Варвара Васильевна встретила молодых в передней.

– Ну, что девочка? – спрашивал Семен Васильевич, не снимая шубы.

– Пока еще болезнь не определилась, Сеня. Сегодня идет шестой день, а кризис должен произойти на девятый…

Новая квартира была обставлена почти роскошно, а детская – светлая и большая комната, по всем требованиям детской гигиены и педагогики, над чем Варвара Васильевна особенно постаралась. Теперь детская была полуосвещена благодаря спущенным шторам. Детская кроватка стояла посредине комнаты. Около нее сидела няня Гавриловна. Больная не спала и повернула головку на шум осторожных шагов.

– Это ты, папа? – спросила она, тяжело пе-

рекатывая голову на подушке, – Ах, как я тебя ждала, папа… Теперь мне будет лучше.

– Да, да, мы не будем хворать… – повторял Семен Васильевич, целуя горевший лобик. – Девочка будет умненькая…

– Ты, папа, больше не уедешь?

– Нет, не уеду, крошка…

Последнему девочка не совсем доверяла и крепко держала отца своей маленькой, горячей ручкой. Анна Федоровна стояла у кровати, и на нее никто не обращал внимания, как на гостью, которая пришла в дом не вовремя. Присутствующие, видимо, о ней позабыли, и Анна Федоровна сама напомнила о своем существовании:

– Настенька, а меня ты узнаешь?

Больная посмотрела на нее такими глазами, когда человек старается что-нибудь припомнить, и равнодушно ответила:

– Да…

Анна Федоровна вдруг почувствовала себя лишней и вышла из комнаты, чтобы не выдать охватившего ее волнения. Семен Васильевич вышел вслед за ней. Он заметно успокоился и принялся рассматривать захвачен-

ные из детской рецепты. Жена для него в данный момент не существовала, и он не хотел знать, какой важный момент в жизни каждой молодой женщины, когда она в первый раз переступила порог своего нового дома. Анна Федоровна оставила мужа в гостиной и прошла в свою комнату, которой еще не видала. И здесь все было обставлено очень хорошо, даже слишком хорошо. На всем видна была женская рука. Анна Федоровна стояла посреди комнаты и решительно не знала, что ей делать, даже забыла, что с дороги следовало переодеться. Из этого тяжелого раздумья ее вывела Варвара Васильевна.

– Здравствуйте, Анюта, – проговорила она ласково и просто, не решаясь расцеловать невестку по-родственному. – Мы с вами еще не поздоровались хорошенько...

– Ах, виновата, Варвара Васильевна. Ведь это вы устраивали всю квартиру? Очень, очень все мило... Только, как мне кажется, слишком роскошно. Вы ведь знаете, как у мамы все просто...

– Так хотел Сеня... Он даже рассердился на меня, что квартира не поспела к самой сва-

дьбе. А я тут, право, нисколько не виновата…

Анна Федоровна почувствовала, что вот эта старевшаяся девушка любит ее и в ее молодом счастье переживает свои неосуществившиеся девичьи мечты. Этот женский героизм ее тронул, и она показалась самой себе такой эгоисткой и вообще нехорошей. Анна Федоровна молча обняла Варвару Васильевну и крепко ее расцеловала.

– Анюта, о чем вы плачете? – удивлялась, в свою очередь, растроганная Варвара Васильевна. – У вас слезы на глазах… Вы несчастливы?

– Нет, это так… Счастье вообще понятие относительное, голубчик, а пока я совсем, совсем счастлива. Немножко нервы… Слишком много новых впечатлений.

Варвара Васильевна посмотрела на нее недоверчивым взглядом, но не стала допытываться. У замужних женщин своя логика… Она боялась догадаться об истинной причине нервного настроения невестки и проговорила, совсем не то, что хотела бы высказать по душе:

– Анюта, вам нужно сейчас же ехать к ва-

шей матери, т. е. вместе с Сеней, конечно. Это обязательный визит...

– Я знаю, но только муж очень волнуется. Вот приедет доктор, и тогда все разъяснится... Я вообще не понимаю этих церемоний и желаю ехать к маме не с визитом, а просто так, по-домашнему. Я очень соскучилась о ней...

В передней раздался звонок. Это был доктор. Послышались шаги Семена Васильевича, который шел к нему навстречу.

– Вы идите *туда*... – предлагала Анна Федоровна. – А я побуду здесь.

Когда Варвара Васильевна вышла, Анна Федоровна уже не чувствовала себя чужой, как давеча в детской. О, все пройдет и все в свое время придет в известную норму, только следует выдержать характер. Анна Федоровна кстати спохватилась, что ни слова не сказала Варваре Васильевне ни о Парначевке ни о Заозерске. А ведь это сейчас наверно интересует девушку больше всего, потому что с этими местами для нее связаны и детские воспоминания и фамильные отношения.

– Какая я глупая, в самом деле, – говорила самой себе Анна Федоровна, начиная разде-

ваться. – Я только думаю о себе…

Когда Варвара Васильевна вернулась с известием, что доктор не нашел ничего особенного и что нужно ждать, Анна Федоровна извинилась, что будет переодеваться при ней, и, переодеваясь, принялась рассказывать о своих впечатлениях, вынесенных из свадебной поездки. Она не скрыла того затаенного враждебного чувства, с каким ее встретили няня Гавриловна, попадья с погоста и старые дворовые из Парначевки.

– Я их вполне понимаю, – объясняла она спокойно. – На их месте и я, вероятно, сделала бы то же самое. Если что меня постоянно обижало, так это то, что все они видели во мне немку, до милого дядюшки включительно. Это, наконец, мне начало надоедать, тем более, что мой муж гораздо больше немец, тем я немка.

Затем она не без юмора передала все подробности своего пребывания в Заозерске и о том, как дядя тогда на вокзале не заплатил за шампанское.

– Он мне кажется большим ребенком, – резюмировала она свои родственные впечатле-

ния.

Доктор не мог окончательно успокоить Семена Васильевича, но придал ему некоторую дозу мужества. Хорошего, конечно, немного, но и серьезной опасности пока нет, – доктор взвешивал каждое слово с кабалистической точностью своего аптекарского веса.

– Теперь мы можем ехать к маме, – предложил Семен Васильевич, когда доктор ушел.

Он сделался вдруг как-то особенно внимателен к жене, точно почувствовал себя в чем-то виноватым. Эта перемена не понравилась Анне Федоровне, как невольная фальшь. Вполне естественно, что родная дочь ближе тещи...

Гагены жили на Васильевском острове, недалеко от Среднего проспекта. Старушка Маргарита Егоровна ужасно обрадовалась, когда увидела, наконец молодых. Она долго-долго обнимала дочь и смотрела на нее такими глазами, точно кто за этот срок первой разлуки мог ее подменить. Потом старушка обиделась, когда узнала о болезни Настеньки.

– Отчего же Варвара Васильевна не дала знать мне? – роптала Маргарита Егоровна,

старяясь сдержать себя. – Ведь я теперь не чужая девочке…

– Мама, представь себе, даже я забыла об этом, – успокаивала ее Анна Федоровна. – Так как-то… Ну, перестань, мама.

– Вы меня все забываете…

Впрочем, это неудовольствие скоро сменилось новым приливом родительской любви, тем более, что Маргарита Егоровна вспомнила, что молодые с самого утра еще ничего не ели. Она принялась угощать их с таким видом, точно они умирали голодной смертью. В семье Гагенов питание, вообще, составляло своего рода культ и было обставлено своего рода фамильными церемониями. Анна Федоровна только улыбалась про себя, припоминая неистовые формы питания милейшего дядюшки Захара Ильича, которого она начинала любить вопреки всей своей немецкой крови и даже тому, что у дедушки был свой дом в Петербурге.

Анне Федоровне сделалось совсем весело, когда она вспомнила, что она теперь дама, настоящая дама, вполне самостоятельный человек, а Семен Васильевич не простой гость,

который в течение целого года ходил к ним, а ее собственный муж. Она с девичьей живостью побежала в свою комнату, обставленную с педантичной простотой. Боже мой, какая маленькая комнатка и как все бедно. Вот и ее рабочий столик, и полочка с книжками, и стеклянный шкапик с разными сувенирами. Да, тут была целая коллекция этих дешевеньких сувениров, по которым можно было бы восстановить все детство.

«О, я этот шкапик возьму себе, – решила про себя Анна Федоровна. – Когда состарюсь – приятно будет взглянуть...»

Вообще этот первый визит прошел очень весело и непринужденно, и Маргарита Егоровна успокоилась за счастье дочери. О, она вперед чувствовала, что Семен Васильевич будет прекрасным мужем... О Парначевке Анна Федоровна рассказывала в общих чертах, усвоив себе давешний шутливый тон, и ни словом не выдала своих первых житейских неудач. Замужество уже провело роковую черту, которая навсегда отделила девушку от родного очага. У нее теперь была собственная жизнь, свои радости и свои огорчения, – за-

чем говорить о последних даже матери и напрасно тревожить ее? Ведь эти огорчения со стороны даже и непонятны, потому что существовали только для нее одной и никого не должны были касаться.

При прощаньи Маргарита Егоровна спросила дочь:

– А как, Аня, твои отношения к этой девочке?

– Пока ничего, мама, – уклончиво ответила Анна Федоровна. – Думаю, что помаленьку все устроится со временем.

Домой Анна Федоровна вернулась успокоенная, точно набралась какой силы, побывав в родном гнезде. Теперь ей казалось странным, что она еще так недавно могла придавать какое-то значение болтовне няньки Гавриловны или попадье с погоста. Если уж на то пошло, так они должны ее бояться, а не она их.

Болезнь Настеньки через три дня совершенно определилась. Кризис миновал благополучно. Выздоровление наступило быстро, как это бывает только у детей. Семен Васильевич уходил на службу и возвращался домой

только к обеду. Анна Федоровна большую часть дня оставалась дома одна и постепенно входила в роль молодой хозяйки. Варвара Васильевна приходила только проведать время от времени племянницу, и Анна Федоровна постепенно вводила свои порядки. Мерка для воспитания Настеньки была готова, – Анна Федоровна при каждом нерешительном случае вспоминала собственное детство. Она действовала с мягкой настойчивостью и не принимала возражений. Например, Настенька не была приучена каждое утро чистить зубы, умываться холодной водой, самой одеваться и самой прибирать свои игрушки. Собственно, виновата была няня Гавриловна, видевшая в Настеньке «рожоное дворянское дите». Необходимо было воевать с этой выжившей из ума старухой, и Анна Федоровна была рада, что ни разу не погорячилась и не вышла из себя, а делала по-своему, с мягкой настойчивостью опытной в таких мелочах женщины.

Но был один пункт, где всякая логика была бессильна и Анна Федоровна чувствовала себя безнадежно чужой. Это было для нее са-

мым больным местом. Именно, девочка была страстно привязана к отцу, хотя он решительно ничего не делал для того, чтобы вызвать такое чувство. Даже напротив, он держал себя с дочерью строго и взыскательно. Но достаточно было одного его слова, чтобы Настенька вся расцвела. Она была готова для отца сделать все, потому что весь ее детский мир помещался в нем одном. Конечно, по-своему Семен Васильевич очень любил дочь, но никогда не баловал. Пред Анной Федоровной стояла непроницаемая тайна детской любви, и она напрасно ломала свою голову над ее разгадкой. Раз уже она испытала ревнивое чувство и теперь отгоняла его, как заразу. Собственно, к ней Настенька относилась безучастно и принимала ее ласки, как сытый человек свое кушанье.

– Настенька, ты все-таки любишь меня? – спрашивала Анна Федоровна.

– Не знаю, мама…

Это детское «не знаю» являлось каким-то роковым порогом, отделявшим мачеху от падчерицы. В существовании его Анна Федоровна не могла обвинять даже старую Гаври-

ловну. Эта любовь к отцу заслоняла все и служила проявлением какого-то темного органического чувства. Из-за него смутно обрисовывалась тень другой женщины, женщины-матери, которой всецело принадлежали эти детские чувства.

VII

Прошло полгода. Время делает свое дело. Жизнь Парначевых вошла в свою колею. Семен Васильевич, возвращаясь каждый день домой со службы, чувствовал себя бессовестно счастливым. Свое гнездо было восстановлено. Некоторые недоразумения, возникавшие вначале из-за девочки, давно улеглись, и все пришло в порядок, а именно последнее Семен Васильевич ценил в жизни больше всего. Из этого принципа он понемногу раззнакомился даже со старыми приятелями, с которыми завязал дружбу во время своего вдовства. К чему гости, когда они вносят в правильно поставленную жизнь беспорядок... Достаточно было новых родственников, которые, по крайней мере, умели себя держать и в своих родственных отношениях отбывали какую-то повинность. Анна Федоров-

на тоже не любила гостей и, в виде развлечения, позволяла себе только редкие выезды в театр. Сказывался эгоизм счастливых людей.

Лето Парначевы прожили на даче в Озерках. Семен Васильевич хотел было взят отпуск, чтобы ехать в Парначевку, но Анна Федоровна его отговорила. Зачем брать второй отпуск в течение одного года, что может навредить на службе. А из Озерков можно было ездить в Петербург каждый день. С этим нельзя было не согласиться. Осенью Парначев переехал на ту же квартиру на Николаевской улице.

Время летело незаметно. Стояла уже крепкая осень. Земля была скована первым морозом. По утрам выпадал первый снежок и к вечеру таял. В этот переходный момент Петербург приобретает особенно бодрый вид, предвещающий наступление шумного зимнего сезона. Со всех сторон в Петербург стягиваются запоздалые где-нибудь на водах петербуржцы и едущие по делам провинциалы.

Итак, в один из таких морозных осенних дней Семен Васильевич возвращался к обеду домой. Он чувствовал себя необыкновенно

бодро и даже что-то насвистывал из «Кармен». У самого подъезда неожиданно к нему в ноги бросилась какая-то старуха и причитала:

– Батюшка, Семен Васильевич, выгнала!.. И девочку прибила…

В первый момент Семен Васильевич принял старуху за нищенку и только потом рассмотрел, что это была няня Гавриловна.

– Няня, что случилось?!.

– Ох, кормилец, девочку прибила… Я, значит, заступилась, а она и меня выгнала…

В дверях стоял швейцар Андрей и ждал только знака, чтобы оттащить старуху. Второй дворник уже снял шапку, чтобы тоже что-то такое исполнить. Семен Васильевич переконфузился и коротко сказал:

– Няня, ты мне делаешь скандал на улице. Иди домой…

– Ох, боюсь, родной…

– Пожалуйста, не болтай глупостей.

Семен Васильевич не помнил, как взбежал к себе в третий этаж, как позвонил, как снял шубу и бросил на руки оторопевшей горничной.

– Где девочка?

– Барышня в кухне…

В кухне у окна действительно стояла Настенька с опухшими от слез глазами. На розовых щечках оставались грязные полосы недавних слез. Она как-то испуганно посмотрела на отца и не решилась броситься к нему, как это делала раньше.

– Деточка, что такое случилось? – спрашивал Семен Васильевич, поднимая на руки Настеньку. – О чем ты плакала?

– Меня… мама… прибила…

Девочка неудержимо зарыдала. Семен Васильевич что-то хотел сказать, но увидел кухарку и молча унес девочку к себе в кабинет. Дорогой он успел решить, что прежде всего нужно переговорить с женой.

Анна Федоровна, одетая, лежала у себя в спальне на кровати и, очевидно, приготовилась к встрече с мужем. Она была бледнее обыкновенного и взглянула на него исподлобья, как загнанный зверь.

– Аня, голубчик, что случилось? – строго и виновато спросил Семен Васильевич, подбирая тон.

– Вы знаете, что случилось… – рассчитано-грубо ответила она. – Идите и расспрашивайте вашу прислугу.

– Ты… ты била девочку? – уже шепотом спросил Семен Васильевич, чувствуя, как его начинает трясти. – Ты ее била?

Она села на кровать, посмотрела ему в лицо и ответила с улыбкой:

– Да, я ее била, потому что это дрянная девчонка, которая отравляет мне жизнь по капле.

– Но ведь она ребенок, Аня!.. Наконец, отчего ты мне раньше сама ничего не сказала?.. Я… я принял бы меры,

Она иронически засмеялась.

– А где вы раньше были? Отчего вы не желали замечать, что меня все ненавидят в моем собственном доме? Вы упорно не желали видеть, как меня изводила какая-то Гавриловна… Теперь довольно. Я больше ничего не хочу знать.

Семен Васильевич задрожал от бешенства и быстро заговорил сдавленным голосом:

– Но это еще не давало тебе никакого права бить беззащитного ребенка, тем более, что

у него есть отец!..

Она точно обрадовалась этой реплике и глухо захохотала.

– Да, да, отец... – повторяла она, глядя на него злыми глазами. – И я ее ненавижу, ненавижу вашу дочь!.. Теперь вы довольны? Так и знайте...

Она даже рванула подушку и заскрипела зубами. Лицо покрылось мертвенной бледностью, зрачки глаз расширились, грудь тяжело поднималась. Он хотел что-то сказать, но, взглянув на это помертвевшее лицо, отвернулся и тяжело зашагал по комнате. Она, как зверь, которого укрощают, не спускала с него глаз и боялась пошевельнуться...

– Это гадость... – заговорил он, останавливаясь. – Может быть, девочка и виновата, но бить ребенка...

– Не девочка виновата, а ваша дочь.

– Аня, ты сходишь с ума.

– Да. Я всех ненавижу. Я всем угождала, ко всем подлаживалась... пряталась от самой себя... Я готова была просить, как милостыни, хоть одну капельку этой детской любви... А теперь мне ничего не нужно!.. Я и вас ненави-

жу вместе с вашей порядочностью…

Произошла самая бурная сцена, причем супруги не поскупились на взаимные обвинения и оскорбительные слова. В результате с Анной Федоровной сделалась настоящая истерика. Семен Васильевич махнул рукой и, хлопнув дверью, ушел к себе в кабинет. Он ненавидел жену в свою очередь.

Настенька сидела в кабинете. Отец вошел и строго посмотрел на нее. Девочка видимо смутилась и опустила глаза.

– За что тебя била мама? – спросил Семен Васильевич, сдерживая строгий тон.

– Не знаю. Я сказала, что она надела мамину брошку.

– Так. Откуда же ты узнала, что это мамина брошка?

– Няня сказала… А тетя меня ударила… рукой, потом схватила за волосы.

– Довольно.

Семена Васильевича охватила страстная жалость. Он посадил девочку к себе на колени и молча целовал ее личико, глазки, маленькие детские руки. Произошло что-то безобразное и дикое, чему нельзя было подыс-

кать названия. А главное, всякая логика была бессильна… В самом деле, не из-за какой-нибудь дурацкой брошки все это произошло. И все это в его доме, вот в этом самом доме. Семен Васильевич задыхался от бессильной ярости. Потом он, пошатываясь, как пьяный, отправился в кухню. Няня Гавриловна сидела там совсем одетая.

– Гавриловна, во всем виновата ты одна, – быстро заговорил Семен Васильевич, не глядя на старуху. – Да, ты, ты, ты… потому что ты настраивала девочку против мачехи. Да…

– Известно: мачеха.

– Молчать… И вот до чего довела… Ты знала, что делаешь. Одним словом, нам нужно расстаться…

Он достал бумажник, отсчитал следующее няне жалованье, молча подал деньги старухе, повернулся и вышел.

– Еще помянете меня, барин… – донеслось ему вслед.

Он остановился, хотел вернуться, но махнул только рукой и ушел к себе в кабинет.

Ни барин ни барыня не стали обедать. Плита топилась до самого вечера, и все куша-

нья остались. Горничная ходила на цыпочках. Она говорила с кухаркой шепотом.

– Хороши господа, нечего сказать… Вот какую выставку сделали старухе-няньке, а еще самого барина вынянчила. Чего только и ждать нынче от господ… Стыда у них нет…

Семен Васильевич пожалел в тот же день, что сгоряча отказал няньке. Нужно было ей сделать строгий выговор, заставить просить прощения у барыни, и все бы уладилось само собой. Женские обиды, самые страшные, сплошь и рядом кончаются ничем. В своей ошибке он убедился в тот же вечер, когда пред сном пошел в спальню с твердым намерением помириться с женой.

– Я отказал няньке… – заявил он в виде извинения.

Анна Федоровна молчала. Она по-прежнему лежала на кровати с стиснутыми зубами.

– Я разобрал все и нахожу, что кругом виновата именно старуха.

– Да? Как вы любезны… – ответила Анна Федоровна. – Теперь эта виноватая старуха сидит у Варвары Васильевны и рассказывает про мое зверство. Очень хорошо.

– Что же я мог сделать другое? Наконец, ты давеча сама ее выгнала... Вообще я ничего не понимаю...

Это было второй ошибкой, как впоследствии Семен Васильевич убедился горьким опытом. Ему ни в каком случае не следовало идти к жене с этими дрянными извинениями, а следовало выдержать характер до конца. Так примирения и не состоялось, и Семен Васильевич ушел к себе в кабинет, не простившись с женой.

Укладываясь спать в кабинете, Семен Васильевич думал о том, что все дело следовало повести совершенно иначе, именно ехать сейчас же к Маргарите Егоровне и объяснить ей все. Конечно, мужская гордость возмущалась вмешательством третьего лица в чисто-семейное дело, а с другой стороны, Маргарита Егоровна, хотя с некоторыми дипломатическими предосторожностями, в конце концов, по естественному материнскому чувству, приняла бы сторону дочери, но все-таки это было единственным исходом. Вообще получилось нелепое и скверное положение.

На другой день он встретился с женой за

утренним чаем. Оба все время промолчали. Настенька сидела тут же и тоже молча пила свое молоко. Семен Васильевич по лицу жены заметил одно, что в течение ночи она нисколько не одумалась и продолжала оставаться в том же ожесточенном настроении.

– Что же, мы возьмем другую няньку? – спросил Семен Васильевич, отправляясь на службу.

– Это для чего? – удивилась Анна Федоровна. – Совершенно излишние нежности.

– Тогда нужно искать гувернантку…

– Вздор. Я понимаю, что вы готовы назло мне сделать все. Раз вы наймете гувернантку, все закричат: вот мачеха, которая сама не хочет заняться падчерицей. О, я отлично вас понимаю, Семен Васильевич…

Что было тут говорить? Семена Васильевича удивляло больше всего то, что все случилось как-то вдруг и без всякой причины. Он не узнавал жены, этой рассудительной и корректной немочки, которую так любил.

Нелепое положение продолжалось целых три дня. Анна Федоровна продолжала удерживать за собой позицию и подавляла На-

стеньку своим молчаливым пренебрежением. Бедный ребенок как-то сразу притих и потерялся. Девочка не жаловалась и не плакала, но Семену Васильевичу казалось, что она уходит от него все дальше и дальше, и его отцовское сердце болело тоже молча. Он теперь чувствовал, как жена следит за каждым его движением ревнивыми глазами, и старался при ней не проявлять прежней нежности к дочери, чтобы не возбуждать напрасно ее.

Эти ужасные дни разрешились совершенно неожиданно. Раз, вернувшись со службы, Семен Васильевич застал у себя Маргариту Егоровну, приезжавшую к ним не часто. Старушка прихварывала и считала поездку на Николаевскую целым путешествием. По озлобленному выражению ее лица он догадался, что Маргарита Егоровна все знает, и у него захолонуло на душе.

– Мне с вами нужно серьезно поговорить… – заметила старушка, когда Анна Федоровна вышла из комнаты.

Он этого ждал и приготовился к неприятному объяснению. Они ушли в кабинет, и Маргарита Егоровна притворила за собой

дверь.

– Вы, конечно, знаете, что Аня в таком положении... – начала она, с тревогой глядя на него.

– Аня?!.

– Разве она вам ничего не говорила? Впрочем, молодые женщины всегда стесняются...

Он бросился обнимать тещу. О, у него с души свалилась целая гора! Теперь было все понятно, решительно все.

VIII

Радость этого открытия продолжалась не долго. Анна Федоровна оставалась по-прежнему в своем ожесточённом настроении и смотрела на мужа каждый раз такими злыми глазами. Теперь он решительно ничем не мог ей угодить, несмотря на все старания, и чувствовал только одно, именно, что она ненавидит его. Преследование Настеньки являлось только предлогом сделать ему самую большую неприятность.

Раз он со всеми предосторожностями заявил жене:

– Я думаю, Аня, отправить Настеньку к тетке... Это, конечно, на время, пока... то есть я

хочу сказать…

– Я этого ожидала!.. Вы хотите наглядно показать вашей сестре, как мачеха выгнала вашу дочь из дому?!. Кстати и Гавриловна живет там… Оно уж заодно.

– Гавриловна живет у сестры, потому что вынянчила ее, как и меня.

– О, я отлично все понимаю! Не беспокойтесь объяснять… Если бы вы действительно – не любили, а просто уважали меня, то этого никогда бы не было.

– Аня, Бог с тобой, опомнись. Что ты говоришь? Наконец, какое я имею право вмешиваться в дела сестры? Она самостоятельный человек и знает, что делает…

– Именно знает, что и требовалось доказать. Но падчерицы я им не отдам… Она будет жить вместе с нами, если вы не хотите, чтобы я ушла из вашего дома навсегда.

Получилось самое невозможное положение, не поддававшееся никаким разумным объяснениям. Анна Федоровна решительно ничего не хотела знать. Это был совсем другой человек, не узнававший самого себя. Оставаясь одна, Анна Федоровна часто раска-

ивалась в своем поведении и несколько раз хотела раскрыть всю душу мужу. Но достаточно было ему войти в комнату, как это настроение сейчас же исчезало. Она преследовала его на каждом шагу и изводила, главным образом, самыми бессмысленными пустяками, а особенно Настенькой, к которой придиралась за всякие пустяки.

Раз она довела его до такого бешенства, что Семен Васильевич, не помня себя от бешенства, ударил ее и вытолкал из столовой. Это была ужасная минута… Когда Семен Васильевич опомнился и пришел в себя, его охватил ужас. Вот именно так убивают людей… Одна минута безумия, и все кончено. В ответ на это оскорбление Анна Федоровна заперлась в своей спальне на целых три дня и не откликалась ни на какие жалкие слова, которые Семен Васильевич говорил, стоя у дверей. Он знал только одно, что Анна Федоровна никому не выдаст своего позора, даже родной матери. К счастью, во время этой ужасной сцены в столовой не было Настеньки, и все произошло с глазу на глаз.

– Вы меня напрасно били, – говорила Анна

Федоровна, появившись на четвертый день к обеду. – Я и без того умру… Вы будете счастливы, что избавитесь от такой змеи.

– Анюта, что ты говоришь?

Он просил прощения на коленях, целовал ее ноги и унижался в течение нескольких дней.

– Мне совсем не было больно, когда вы меня ударили, – спокойно объясняла она. – И я жалею, что вы тогда не убили меня. Может быть, это было бы лучше… Ведь простых баб бьют, значит, это в порядке вещей. И французы и англичане тоже колотят нещадно своих жен…

Из этой беседы Семен Васильевич понял только одно, именно, что жена притворяется и что при первом случае отмстит ему. Такой случай не заставил себя ждать. Прошло еще три дня. Вернувшись на четвертый к обеду, Семен Васильевич застал такую сцену: Анна Федоровна тащила плакавшую Настеньку за руку к себе в спальню и по пути шлепала ее по спине рукой.

– Анна Федоровна, оставьте девочку…

Вместо ответа, Анна Федоровна с дьяволь-

ской ловкостью выдернула девочку из отцовских рук и утащила к себе в спальню. Дверь сейчас же была заперта на ключ.

– Мама, не буду!.. – послышался голос Настеньки, а затем детский визг.

– Анна Федоровна, оставьте девочку, а то я выломаю дверь!..

Визг перешел в рыдания. Семен Васильевич схватил табуретку от рояля и принялся бить ею в дверь.

– Мама, милая мама, не буду… не буду!..

– Анна Федоровна, я позову дворников!.. Я приглашу полицию… я…

Это было что-то невозможное, сумасшедшее. Семен Васильевич бегом отправился в кабинет, принес оттуда массивную чугунную плевальницу и принялся ею выбивать дверь. Детские крики в спальне прерывались тяжелыми ударами, но дверь была крепка и не поддавалась. Семен Васильевич начал бросать в нее стульями, канделябрами, всем, что попадало под руку.

– Я ее сейчас буду колотить головой об стену… – послышался голос Анны Федоровны.

Наступила страшная минута. Селен Васи-

льевич вспомнил про револьвер большого калибра, спрятанный в письменном столе, и ринулся за ним. Но на дороге он опомнился, схватил себя за волосы и бросился с рыданиями на диван. Не оставалось никакого сомнения, что она сошла с ума, да и он вместе с ней… Господи, разве это жизнь? Разве он когда-нибудь думал так жить?

– За что?! – спрашивал он громко. – Кому и какое зло я сделал?..

Он несколько раз подкрадывался к спальне жены, но там было тихо, как в могиле. Жива ли она? Что с Настенькой?

Мысли в его голове пересыпались, как каленые уголья. Ему было больно думать. А потом охватывал стыд человека, привыкшего уважать и себя и других.

Часа через три была выпущена Настенька. Он бросился к ней и утащил к себе в кабинет.

– Тебя больно била мама?

– Больно, папа…

На одной щеке у девочки была царапина, на противоположной припух глаз, волосы были в беспорядке. Его первой мыслью было сейчас же отвезти девочку к тетке, но как

увезти в таком ужасном виде, а потом нужно окончательно объясниться с женой. Не было сомнения, что эта ужасная ненависть к ребенку, вспыхнувшая в ней пожаром, находилась в органической связи с беременностью. Он припомнил, что даже где-то читал именно о таком случае и еще посмеялся над шальной фантазией романиста. Вот тебе и фантазия…

– Что я буду делать?!. – повторял он в отчаянии, шагая по кабинету.

Ответом послужила записка, которую подала горничная.

«Вы сами виноваты во всем и доведете меня до того, что я ее убью. Если вы ее уведете куда-нибудь из дому – я ухожу навсегда».

Что было делать?

Семен Васильевич чувствовал себя настолько разбитым, что не пошел на другой день на службу. Это, кажется, было еще в первый раз, как он поступил на свое место в банке. В проведенную без сна ночь он придумал только одно, именно, что следовало обратиться к доктору-психиатру, так как, без сомнения, она была больна. Но, все-таки, как тяжело тащить свою домашнюю беду в люди… Ему

было жаль и Настеньку и жену. Ведь с этими женщинами для него было связано все будущее, и он так любил думать о них, заботиться, доставлять удобства и маленькие удовольствия. Теперь он вперед оплакивал Настеньку, которой все равно не жить с отцом. Конечно, период беременности пройдет, а вместе с ним минует и непонятное ожесточение. Но в жизнь вошла все-таки страшная рознь, которой не забыть.

При мысли о Настеньке у Семена Васильевича начинала кружиться голова. Где будет жить этот несчастный ребенок, который при отце останется без отца? Что она будет думать о нем, когда вырастет большая? Какие люди будут иметь на нее влияние, кто внушит ей хорошие, честные мысли?

– Бедная, бедная… – шептал несчастный отец, хватаясь за голову. – Бедная моя девочка…

Разойтись с женой сейчас, другими словами, выбросить ее беременной на улицу – это было выше его сил. Когда не будет Настеньки, она успокоится и придет в себя. Конечно, она в лице этой девочки видит его прошлое и

страшно ревнует к этому прошлому. Когда он женился во второй раз, то должен был подумать об этом заранее. Ведь это же вечная история мачехи, которая везде одинакова…

Потянулась ужасная жизнь, полная каких-то тяжелых предчувствий, точно было мало настоящей беды. Уходя на службу, Семен Васильевич испытывал самое угнетенное состояние. Он сделался мнительным и видел то, чего раньше не замечал. Раз, проходя мимо кухни, он слышал, как сказала кухарка:

– Не избывай постылого, приберет Бог милого…

Конечно, это относилось прямо к нему, и, вдобавок, вот эта самая кухарка была совершенно права.

В другой раз, сидя за своим столом в банке, он услыхал разговор вполголоса у соседней конторки.

– Удивительно то, что муж мог допустить подобную вещь… – говорил помощник бухгалтера, толстенький веселый человек. – Ведь родная дочь, и вдруг…

Семен Васильевич даже вздрогнул и начал прислушиваться, что о нем говорят. Конечно,

это о нем…

– Я бы ее убил, эту змею, – возмущался невидимый голос. – Ну жена, ну что же из этого? Слава Богу, мы живем в девятнадцатом веке… А еще образованная женщина!

Разговор шел о судебном процессе, который разбирался в петербургском окружном суде. Дело было сенсационное, потому что судились за истязание ребенка интеллигентные люди. Все газеты кричали об этом деле. Семену Васильевичу начинало казаться, что и процесс, и газетный шум, и эти разговоры по его поводу – все это делалось ему в пику. Он уже видел себя на скамье подсудимых в самой жалкой роли попустителя-мужа. Это его обвиняют все, потому что он мужчина и не должен был допускать в своем доме преступления.

Даже во сне Семен Васильевич видел себя на скамье подсудимых и говорил «последнее слово», обращаясь к присяжным заседателям. И его осудили, и ему больше всего было жаль Анну Федоровну, которая сидела в публике и улыбалась.

IX

Последний период беременности прошел для Анны Федоровны особенно тяжело, и тяжело не в физическом отношении, а в нравственном. У нее являлись настоящие галлюцинации. Дело в том, что Анну Федоровну неотступно преследовала мысль о первой жене Семена Васильевича. Ведь он ее любил, и ласкал, и так же ухаживал, как сейчас ухаживает за ней. Нет, гораздо больше, потому что тогда не было Настеньки... Разве она, Анна Федоровна, могла бы любить второго мужа, и разве первый не стоял бы вечно перед ее глазами, как единственная мерка для сравнений? Ей казалось, что ревнивая тень этой первой жены наполняет собой весь дом, она даже слышала ее шаги и не раз, по ночам, чувствовала, как кто-то наклоняется над ее изголовьем. Анна Федоровна напрягала все силы, чтобы отогнать от себя эту больную мысль, но все было напрасно. Теперь она часто призывала к себе Настеньку, велела ей неподвижно сидеть на стуле и с мучительной пытливостью рассматривала ее, точно хотела угадать по ней свою предшественницу, ее физический склад, привычки, недостатки, всю

душу. Ей хотелось открыть, что она была нехорошая, злая и не любившая мужа женщина, точно в этом могло заключаться ее собственное оправдание.

Настенька вся холодела, когда слышала голос Анны Федоровны, и переживала страшную пытку, сидя перед ней на стуле. Девочке казалось, что мачеха ее непременно убьет, как говорила няня Гавриловна. В детских глазах было столько страха, что это бесило Анну Федоровну.

– Что ты на меня смотришь, как волчонок?

– Я, мама...

– Молчать!.. Я знаю, что вы все здесь ненавидите меня... Сиди смирно и сделай ласковое лицо.

У Настеньки показывались на глазах слезы, и это окончательно бесило Анну Федоровну.

– Ты это о чем ревешь? Что я тебе сделала... ну, сейчас? Ты негодная девчонка... злая... Убирайся вон!

Этих детских слез Анна Федоровна не могла переносить и выгоняла Настеньку из комнаты. Ей казалось, что девчонка нарочно из-

водит ее своими слезами. Что можно было сказать на эти слезы, чем оправдать себя? Боже мой, ведь умирают же другие дети, а Настенька осталась жива тогда, во время болезни девочки, эта мысль не приходила ей в голову, а сейчас она любила думать на эту тему. Да, было бы хорошо... Как радовался Семен Васильевич, когда родилась вот эта Настенька, как ее пестовал, как ждал первой детской улыбки, первого детского слова – в нее был заложен целый капитал отцовской любви, и этот капитал не повторится, как всякая радость. Близившееся материнство казалось Анне Федоровне чем-то особенно обидным, как повторение уже пережитого, как только тень миновавшего настоящего, как подделка под настоящее счастье. Эти первые отцовские радости уже были пережиты, и ей доставались объедки...

Старушка Маргарита Егоровна бывала теперь у дочери почти каждый день и часто оставалась ночевать. По некоторым мелочам она смутно догадывалась, что между молодыми супругами что-то такое произошло, а что именно – она никак не могла догадаться, да и

не старалась. Ее беспокоило только то, что Семен Васильевич казался таким озабоченным, а затем, что в доме не было тех разговоров, какие ведут в подобных обстоятельствах. Даже такой капитальный вопрос, как пол будущего ребенка, оставался открытым.

– Аня, ты кого желала бы иметь: мальчика или девочку? – осторожно спрашивала Маргарита Егоровна.

– Ах, мама, не все ли равно?..

– Однако… Все матери желают иметь сыновей.

– У каждого свой вкус… Мне кажется, что это, просто, смешной вопрос.

– Не понимаю я вас, Аня…

Старушка даже сердилась на такое равнодушное отношение к такому серьезному делу и потихоньку отводила душу только с Варварой Васильевной, приходившей проведать невестку. Они уходили в столовую и там вели тихие, задушевные разговоры по целым часам. Но и здесь Маргарита Егоровна чувствовала что-то недосказанное. Видимо, что Варвара Васильевна все знала и только отмалчивалась. Она вообще являлась в дом с каким-то

виноватым лицом и почему-то сильно смущалась, когда встречала брата.

– Да что такое случилось? – спросила раз Маргарита Егоровна, потеряв всякое терпение. – Все вы от меня что-то скрываете…

– Ничего особенного, Маргарита Егоровна. Просто, Аня не поладила со старухой-нянькой и прогнала ее, а я приняла ее к себе. Брат на меня и сердится. Самая обыкновенная история… Варвара Васильевна сама старалась верить своим словам, как больной, который утешает самого себя выгодными объяснениями. В сущности, она боялась одного, именно, серьезного объяснения с братом, которое откладывала день за днем. Но объясниться было необходимо. Судьба Настеньки не давала покоя Варваре Васильевне, и откладывать это объяснение было преступлением. Конечно, самым лучшим было бы то, когда Семен Васильевич заговорил бы первым, но он, видимо, этого избегал.

Уловив момент, когда они остались вдвоем, Варвара Васильевна решилась заговорить первой.

– Сеня, ты, вероятно, догадываешься, что я

хочу тебе сказать?..

Он весь точно съежился и посмотрел на нее исподлобья.

– Именно?

В тоне его голоса слышалась сухая нотка, не предвещавшая ничего хорошего. Но отступать было поздно.

– Дело в том, Сеня, что... Одним словом, отдай мне Настеньку. Пусть она живет у меня, как прежде жила...

Семен Васильевич сухо засмеялся, съежил плечи и ответил:

– Да, я этого ожидал, но думал, что ты будешь тактичнее...

– Я ничего обидного не сказала, Сеня!

– Нет, ты знала, что это будет обидно... Поставь себя на место Анны Федоровны и подумай, что значит твое предложение.

– У Анны Федоровны достаточно будет хлопот с собственным ребенком, Сеня. Пусть Настенька поживет у меня пока...

– Это чисто женская уловка... Но я именно этого и не желаю. Понимаете: не же-ла-ю.

– Зачем же ты раздражаешься, Сеня? Мы могли бы обсуждать этот вопрос совершенно

спокойно…

Лицо Варвары Васильевны от волнения покрылось красными пятнами, голос дрожал, и она чувствовала, что начинает задыхаться. Семен Васильевич тяжело шагал по комнате, стараясь не смотреть на сестру.

– Своим «не желаю», Сеня, ты вынуждаешь меня высказать тебе неприятную вещь. Кроме наших нежеланий и желаний есть еще обязанности, скажу больше: долг… Я вот тоже не желала бы говорить тебе неприятности, но должна.

– Должна?

Он остановился и в упор проговорил:

– Это называется бес-такт-ностью, сударыня. Вы вмешиваетесь в чужие семейные дела…

– Настенька мне не чужая.

– У Настеньки есть отец.

– Сеня, ты заставляешь меня… заставляешь сказать всю правду. Да… И я скажу. Анна Федоровна возненавидела девочку по совершенно неизвестной причине и дошла до того, что бьет ее. Тебе это хорошо известно… да… Ваши семейные отношения никого не каса-

ются, но истязать девочку…

Теперь уже покраснел Семен Васильевич. У него все завертелось перед глазами, и он заговорил уже хриплым голосом:

– А кто ее довел до этого, Анну Федоровну? Вы ее довели, как вот делаешь сейчас ты… Ведь дыма без огня не бывает, и Анна Федоровна в первое время относилась к девочке замечательно хорошо. Но ее преследовали, подозревали, оскорбляли. Ты требуешь, чтобы и я делал то же самое, что делали и делаете все вы, но именно этого и не будет. Отдать Настеньку тебе – означает в переводе то, что мачеха выгнала падчерицу из дому. Все будут говорить именно это, и я не желаю именно этого.

– Допустим, что все виноваты, но ведь девочка-то не виновата?

– И она виновата… Я слежу теперь за ней и нахожу, что она в достаточной мере испорчена.

– Отчего же ты этого не замечал раньше?

– По той простой причине, что она жила у тебя, и я мало ее видел. Это уже моя вина, за которую сейчас и приходится расплачивать-

ся... Что делать!

– Мне остается только поблагодарить тебя, потому что, кроме меня, некому было ее испортить.

– Если хочешь: да. Мне это тяжело сказать, но я тоже должен быть справедливым. В интересах девочки я не могу снова отдать ее тебе...

– Это бесчестно – так говорить... да!..

Варвара Васильевна страшно побледнела и наговорила брату самых обидных вещей. Она уже больше не стеснялась и называла вещи своими именами.

– Анна Федоровна сама готовится быть матерью, и Бог ее накажет... Да! Бог за сиротку накажет... Вот увидишь!.. А что касается тебя... Одним словом, кроме суда Божьего, есть и суд людской.

– Будешь жаловаться на меня в окружный суд?

– Да, буду... Сама отправлюсь к прокурору... я... я...

Семен Васильевич схватил ее за плечо и молча вытолкал из кабинета.

Это был ужасный момент, когда все было

порвано с прошлым. Семен Васильевич долго шагал по своему кабинету и мысленно повторял происшедшую дикую сцену. Ведь он так любил вот эту сестру, и она его любила… Ведь она хорошая, честная девушка, любившая Настеньку немного больной любовью. Что же такое случилось? Кому все это нужно? Да, он погорячился, вспылил и вместе с тем чувствовал, что возврата нет и что они расстались с сестрой навсегда. За что? Разве он кому-нибудь желал зла?.. А все кругом так складывалось, что выхода не было…

Когда он вошел в спальню к жене, Анна Федоровна сразу поняла, в чем дело.

– У тебя было объяснение с сестрой?

– Да… я ее выгнал…

Она помолчала, закусив губу, а потом проговорила:

– Самое худшее, что ты мог придумать… Варвара Васильевна ненавидела меня и раньше – я это знаю, а сейчас она будет кричать на всех перекрестках. Раньше наши семейные недоразумения не выходили за порог дома, а теперь… Одним словом, мой злейший враг не мог бы придумать худшего.

– Аня, что ты говоришь?

– Я говорю то, что есть… Скоро ты сам убедишься, что я права. Ты хотел, чтобы все близкие тебе люди были против меня, и добился своей цели блестящим образом. Одним словом, я – мачеха, змея подколодная…

Анна Федоровна говорила все это совершенно спокойно, как человек, обдумавший и взвесивший каждое слово и вперед приготовившийся к самому худшему. Именно это спокойствие как-то совсем ошеломило Семена Васильевича, и он не знал, что ответить жене. В последнее время он усиленно ухаживал за ней, стараясь загладить печальный инцидент в столовой, но это приносило обратный результат. Анна Федоровна вся точно сжималась и смотрела на мужа недоверчивыми глазами.

– Милостыни не надо, – заметила она однажды. – Мне твое внимание совсем не нужно, как осужденному, которому перед казнью предлагают стакан вина…

– Кто же тебя собирается казнить, Аня?

– Я сама… А впрочем, все равно ты ничего не понимаешь.

X

Роды прошли благополучно, и первое, что Анна Федоровна пожелала – это уехать на лето в Парначевку. Семена Васильевича удивила эта фантазия, но он ничего не сказал и даже был рад отдохнуть в родном гнезде. Родилась девочка, которую назвали Сусанной. Молодая мать ревниво следила за каждым движением мужа, точно задалась целью подкараулить его в чем-то дурном. Ей казалось, что он притворно радуется, а в сущности совершенно равнодушен к ребенку. Когда родилась Настенька, он, наверно, больше радовался, а теперь только повторяет уже пережитый опыт. Своих мыслей Анна Федоровна, конечно, не высказывала никому и тем сильнее мучилась, как человек, попавший в одиночное заключение.

– Что с тобой, Аня? – осторожно выпытывала Маргарита Егоровна. – И ты и Семен Васильевич точно даже и не рады ребенку... Не пойму я ничего.

– У меня нервы, мама... Вот поправлюсь в деревне, тогда и будем все радоваться.

Старушку огорчало и то, что ни зять, ни

дочь не приглашали ее с собой в деревню, а между тем как же можно обойтись без бабушки. Опять получалась нелепость... От внимания Маргариты Егоровны не ускользнуло, что зять при ней старался совсем не говорить о деревне и даже прямо заминал разговор о ней. Очевидно, он не желал ее присутствия в Парначевке, а жена только вторила ему. В действительности не желала приглашать мать в деревню сама Анна Федоровна, а Семен Васильевич не хотел ей противоречить. Ему было неприятно огорчать добрую старуху, которая сейчас была положительно необходима.

Настенька за это время оставалась в стороне и была совершенно счастлива, что на нее никто не обращает внимания. Большую часть своего времени девочка проводила на кухне и чувствовала себя здесь гораздо лучше, чем в своей детской. У нее явилась новая привязанность – это кухарка Пелагея, довольно неопрятная и грубая баба, не делавшая решительно ничего, чтобы привлечь к себе детские симпатии. Всего только один раз Пелагея «пожалела» маленькую барышню, но по-

жалела такой хорошей бабьей жалостью.

– Хуже ты у нас круглой сиротки, – говорила Пелагея, гладя Настеньку по головке. – Ох, горюша, горюша…

– А что такое, Пелагея, круглая сирота?

– А такая… у которой, значит, ни отца, ни матери. Ну и вышла круглая сирота…

– У меня есть папа…

– Есть-то есть, да только от этого самого толку нет… Все отцы при мачехах на одну руку. Одним словом, говорить-то тошно, а еще господа называются… Ежели бы, например, была жива мать, так разве бы это было…

Последняя фраза Настеньке была хорошо знакома и не производила впечатления, хотя с представлением мамы у девочки связывалось что-то особенно хорошее и доброе. Она любила думать о маме, и ей хотелось плакать. Но одно Настеньке совершенно было понятно и ясно, как день: мама делала бы совершенно иначе, чем Анна Федоровна. Смутная мысль о справедливости окрашивалась в голове ребенка одним словом: мама. И Настенька все больше уходила в себя, детское сердце замыкалось, и девочка казалась неласковой и

даже грубой.

– Ну, теперь тебе совсем шабаш, барышня, – коротко объяснила Пелагея, когда родилась маленькая Сусанка, – у папы другая дочка родилась.

Настенька плохо понимала, в чем дело, кроме того, что отец уже не любит ее по-прежнему. Раньше она каждый вечер забиралась к нему в кабинет и любила играть на диване. Отец брал ее к себе на колени и ласкал. О, как хорошо она помнила это счастливое время... Папа был добрый и, когда она засыпала у него в кабинете, уносил ее на руках в детскую. А теперь было совсем другое. Настенька приходила в кабинет к отцу только здороваться и прощаться, а днем отец говорил ей сурово:

– Ты мне мешаешь... Иди к себе в детскую.

В пустой детской Настенька страшно скучала и постоянно рвалась в кухню, где были живые люди. Анна Федоровна последнего терпеть не могла и постоянно ее ловила. Утащив за руку из кухни, толкнет в детскую и скажет:

– Читай книжку... В кухне тебе нечего делать. Если я еще раз увижу тебя в кухне, смот-

ри...

В наказание Анна Федоровна сажала девочку на стул и забывала о ее существовании. Настенька просиживала целые часы в самом томительном бездействии и плакала неизвестно о чем. Ей хотелось убежать к тетке Варваре и жить там, как раньше. Папа опять ее будет любить. Все свои детские горести Настенька приписывала Анне Федоровне, и маленькое детское сердце постепенно заполнялось ненавистью к мачехе. О, она вырастет большая и тогда скажет папе, как всегда его любила, а мачеху выгонит из квартиры. Тогда папе уж не нужна будет эта Анна Федоровна, потому что большая Настенька будет все уметь делать сама, и папа будет ею доволен. Настенька каждый вечер молилась, чтобы поскорее вырасти большой.

По наружности Настенька сильно изменилась за эти два года и изменилась не в свою пользу – вытянулась, похудела и вообще подурнела. У нее явилось неприятное выражение лица, как у всех загнанных и забитых детей. Много ее портили домашние платья, из которых она выросла, а отец только морщил-

ся, когда встречал ее. Ему казалось, что это она виновата, если рукава сделались короткими, а юбка едва прикрывала колени. Отчего другие девочки одеты всегда прилично, а эта назло ему ходит замарашкой? И руки у Настеньки часто были грязны, и волосы не причесаны, как следует, и зубы не вычищены – одним словом, все, как не следует тому быть.

Переезд в Парначевку произошел быстро, как только явилась возможность уехать. Анна Федоровна ужасно торопилась и считала часы. После болезни она очень похорошела и точно сделалась даже выше. В характере тоже явилась большая перемена. Анна Федоровна больше не волновалась и относилась ко всему спокойно. Настеньки она по-прежнему не замечала, но и не придиралась к ней. Семен Васильевич чувствовал себя опять счастливым и удвоил свою нежность к жене.

– Мы там отлично проведем лето, Аня, – мечтал он. – Не понимаю, почему тебе тогда там не понравилось…

– Не стоит об этом говорить, – уклончиво отвечала Анна Федоровна. – Я тогда, просто,

многого не понимала…

С появлением маленькой Сусанны дом зажил по-новому. Явилась красивая кормилица, старушка-няня, детский врач – одним словом, целый репертуар новых людей, интересов и забот. Каждый день был наполнен, и время летело незаметно. Настенька оставалась совершенно в тени и была счастлива, что ее никто не беспокоит. Анна Федоровна ревниво не подпускала ее к своему ребенку, и это было единственным огорчением.

Еще дорогой Семен Васильевич начал проявлять свое недовольство Настенькой, которая как-то всем мешала – просила не вовремя пить, ела всякую дрянь, нагрубила новой няньке.

– Это невозможный ребенок! – повторял он в отчаянии. – Настенька, если ты не исправишься, я буду вынужден тебя наказать. Не доводи меня до этого…

Настенька молчала и только исподлобья смотрела на отца. Этот тупой взгляд раздражал его. Вообще, он теперь следил за каждым шагом девочки и открывал в ней все новые недостатки. Невоспитанная, упрямая, злая…

Когда Семен Васильевич особенно раздражался и начинал придираться к Настеньке, Анна Федоровна вступалась за нее.

– Оставь ее, Сеня. Она еще мала и не понимает...

– Как мала?!. Теперь-то именно ее и нельзя оставлять, а после будет уже поздно.

Настенька вообще являлась совершенно лишней.

В Парначевку приехали ночью. Там было все по-старому, и по-старому встретил тот же старичок-батюшка, нерушимо хранивший заветы и обычаи недавней помещичьей старины. Недоставало только старухи Гавриловны. Когда распределили комнаты, оказалось, что для Настеньки не оставалось своей отдельной детской, и ее пока поместили в гостиной. Старый дом вообще не отличался удобством и нуждался в усиленном ремонте. Семен Васильевич опять погрузился в свои хозяйственные хлопоты, расчеты и соображения. Это была его родная стихия, и он был рад, что Анна Федоровна полюбила старое дворянское гнездо. Да, здесь можно было и стоило жить по-настоящему, без той лихорадочной суеты, ко-

торая захватывает в столицах.

За всеми этими хлопотами у Семена Васильевича все-таки оставалось достаточно времени, чтобы следить за дочерью. Утром она должна была являться к нему, и он сам следил за всем: вычищены ли зубы, вымыта ли шея, причесаны ли волосы, в порядке ли весь костюм. Часто происходили очень бурные сцены из-за ничтожных пустяков, и Настенька входила в отцовский кабинет с каким-то тупым страхом.

– Покажи руки... Опять не вымыты хорошенько! Ты не хочешь слушать никого, так я тебя заставлю...

Следовал ряд мелких наказаний: стоянье в углу, щелчки, дерганье за уши, запиранье в чулан. Когда Семен Васильевич горячился, наказание происходило на месте и вина искупалась быстро, но было хуже, когда он говорил спокойно:

– Ты сегодня останешься без обеда... А если еще раз повторится это самое – я тебя буду запирать на целый день в свиной хлев.

Чем больше присматривался Семен Васильевич к дочери, тем сильнее убеждался, что

Анна Федоровна была права, когда наказывала ее. Он теперь чувствовал себя виноватым перед женой и вымещал на дочери свою ошибку. Без сомнения, это был испорченный ребенок, который в состоянии вывести из терпения ангела. Его возмущало больше всего то, что Настенька не жаловалась и даже не плакала больше. Это была какая-то идиотка... Когда Анна Федоровна вступалась за нее, он повторял:

– Это мое несчастие!.. Разве можно поступать с ней, как с другими детьми?

Вмешательство жены раздражало Семена Васильича больше всего, и между супругами произошло несколько горячих сцен. Теперь роли переменились, и Анна Федоровна могла удивляться быстрой перемене в характере мужа. Но окончательно вышел из себя Семен Васильевич, когда вечерком завернул о. Петр и, после некоторых предварительных разговоров, попросил специальной аудиенции.

– Имею серьезное дело к вам, Семен Васильевич...

– Очень рад... Чем могу служить вам?

Разговор происходил в кабинете, при за-

крытых дверях.

– Пришел я к вам, Семен Васильевич, по долгу пастыря, каковой не всегда бывает приятен… Имел долгое и обстоятельное размышление, прежде чем решился обратиться персонально к вам. Да… Дело в том, Семен Васильевич, что вы утесняете отроковицу.

– А вы откуда это знаете?

– Слухом земля полнится…

Кричать на старика не приходилось, а поэтому Семен Васильевич сдержал себя и повел разговор спокойно.

– Вероятно, вам писала, о. Петр, милая сестра Варвара?

– Не скрою: было и от них письмо. А главное, все говорят…

– Что же вам нужно от меня?

– Гм… Я полагаю так, что вам лучше всего отпустить дочь куда-нибудь в надежные руки.

– Опять к Варваре Васильевне, которая окончательно испортит девочку?

– Имеете весьма пристрастное суждение относительно вашей сестры… Поверьте, что я вам желаю добра и единственно с этой целью

вмешиваюсь в ваши семейные дела. Иначе я никогда не решился бы беспокоить вас…

– Вы совершенно правы, что это дело никого не касается, о. Петр, и я прибавлю, что оно и не может никого касаться. Так напишите и Варваре Васильевне… Я не потерплю вмешательства в свои семейные дела. А что касается ребенка… как отец, я имею право воспитывать его по собственному усмотрению.

– Только и всего, Семен Васильевич?

– Да… Я не виноват, что сестра выжила из ума и распространяет обо мне Бог знает что. Она мне даже прокурором грозила…

О. Петр ушел ни с чем. Варвара Васильевна приехала потихоньку в Парначевку и скрывалась на погосте. Она с нетерпением ожидала возвращения о. Петра и очень была огорчена его ответом.

– Решительно не понимаю, что сделалось с братом, – горевала она. – На Анну Федоровну никто теперь не жалуется, а все он притесняет Настеньку…

– Очень даже просто сделалось… – объяснила попадья. – Умнее стала Анна-то Федоровна, ну и травит отца на падчерицу… Дело да-

же очень известное. И то не так и это не так – ни ступить, ни сесть, ни дохнуть не дают младенцу.

Варвара Васильевна потихоньку же ночью уехала в Заозерск к дяде...

XI

Лето пролетело с особенной быстротой, потому что время теперь мерялось маленькой Сусанной, а она так быстро росла и делала такие быстрые успехи. Ведь другой такой девочки еще никогда не бывало на свете, как начинала подозревать Анна Федоровна. Семен Васильевич думал в свою очередь, что маленькая Сусанна послана ему в награду за первую неудачную дочь, из-за которой он не переставал переживать всевозможные неприятности. Он уже заметил, что Сусанна будет такая же добрая, как мать: девочка кричала, когда он неосторожно бил у нее на глазах Настеньку. Последнее случалось все чаще и чаще, потому что Настенька не желала исправляться. Окончательно она восстановила против себя отца, когда убежала ночью из дома, и ее едва поймали на дороге.

– Куда ты бежала, несчастная? – допыты-

вал ее Семен Васильевич, запершись в кабинете.

– К тете Варе…

– Хорошо, я тебе пропишу такую тетю Варю, что никогда не забудешь…

Когда Семен Васильевич делал некоторые приготовления для окончательного исправления упрямой девчонки, Анна Федоровна горячо вступалась за нее. Наказывать розгами такую большую девочку – это возмутительно!..

– Оставь, Аня… Ты была всегда слишком добра и только портила упрямую девчонку своей добротой. Так нельзя… Я знаю, что делаю.

Настенька была наказана отцом собственноручно. Это был позорный день в жизни старой барской усадьбы, и в тот же день со стены гостиной был убран портрет матери Настеньки.

Случилось так, что, как раз на другой день после этой экзекуции, в Парначевку совершенно неожиданно приехал дядя Захар Ильич. Старик сильно похудел, пожелтел, осунулся и уже целый год ничего не пил.

– Ну, здравствуйте, дети, – как-то вяло гово-

рил он, моргая слезившимися глазами. – Давненько мы не виделись... да. Вот я и умирать уже собрался... Пора...

– Зачем, дядя, говорить о смерти? – мягко сказала Анна Федоровна, немного струсившая гостя. – Вы еще выглядите молодцом...

– Да, совершенный молодец... Что же, будет, пожил – пора и честь знать. Нехорошо, когда в чужой век люди живут... Братец ты мой, Анна Федоровна, мы теперь весьма думаем о нашей многогрешной душе. Есть о чем подумать...

Старик как-то особенно был вежлив с Анной Федоровной и говорил ей «вы». Полюбовался он маленькой Сусанной, подкинул ее на руках, поцеловал и, возвращая матери, проговорил:

– Бедная девочка...

– Почему, дядя, бедная? – обиделась Анна Федоровна.

– Разве я сказал? Вам это послышалось, Анна Федоровна. Впрочем, если хотите, все люди бедные...

Старик любил иногда говорить загадками, и Анна Федоровна не могла понять, что он хо-

тел сказать. Она была рада, что он ничего не пьет, следовательно, не будет скандалить, а это уже одно стоило много. Семен Васильевич тоже ежился, предчувствуя, что Захар Парначев недаром приехал. Человек он, положим, взбалмошный, но что заберет себе в голову – топором не вырубишь.

Вечером Семен Васильевич сказал жене:

– Аня, необходимо приготовиться ко всему... Я убежден, что дядю подослала милая сестрица Варвара Васильевна. Вот увидишь...

– Что же он может сделать?

– Пока трудно сказать, но он способен на все.

– Я его начинаю бояться, Сеня.

– А я нисколько...

О главной причине приезда дяди между супругами не было сказано ни слова.

Дядя приехал на своих лошадях, как ездил в старину, и делал такой вид, что желает погостить. Он внимательно осмотрел все хозяйство, сделал несколько замечаний и, по-видимому, остался доволен. На Настеньку он мало обращал внимания и только заметил при встрече:

– Да уж ты совсем большая девица…

Настенька посмотрела на него испуганными глазами и ничего не ответила. Девочке казалось, что дядя и весь свет знают о ее позорном наказании.

– Да, да, большая… – бормотал Захар Парначев. – Еще годков пять-шесть, и невеста. Ах, как время летит!

Старик жил день за днем и не желал обнаруживать своих намерений. Это было такое мучительное положение, что Семен Васильевич решился покончить его разом. Он сам пошел навстречу неловкому объяснению и раз вечером, когда дядя курил у него в кабинете трубку, проговорил:

– Дядя, у тебя была сестра Варвара?

– Да, была… И кстати приехала. Я лежал совсем больной, а она ухаживала за мной целые две недели.

– Она, конечно, жаловалась тебе на меня?

– Да, да, было что-то такое… А ты знаешь, что я вообще не охотник до бабьих пересудов. Не люблю…

Старик, видимо, отвиливал от откровенного объяснения и притворялся. Селен Василье-

вич заговорил с ним о Настеньке напрямик и подробно изложил всю историю, не без ловкости выгораживая жену. Голова Захара Парначева покачивалась в критические моменты, а из трубки сердито вылетали клубы дыма.

– Я ничего не скрываю, – объяснял Семен Васильевич уже с уверенностью. – Мало ли что бывает в семье, и не всякое лыко в строку. Только я своей дочери желаю не зла, а добра… И Анна Федоровна тоже.

– Что ты, точно оправдываешься, Сенька? Ведь я ничего не говорю… Мало ли что болтают бабы. Что касается Анны Федоровны, то она мне положительно нравится… Серьезно говорю. Я-то ведь не судить вас приехал, а отдохнуть по-родственному.

Ободренный этим ответом, Семен Васильевич рассказал о вмешательстве сестры Варвары, грозившей прокурором, и о политичном разговоре о. Петра. Дядя даже расхохотался.

– А их-то кто спрашивал? Вот еще придумали от большого ума… А ты никого не слушай, Сенька. Я всегда так делал: возьму и сделаю по-своему. Все равно, всех не переслуша-

ешь.

– Говоря откровенно, дядя, я совершенно измучился с девочкой и просто не знаю, что с ней делать.

– Вырастет большая – умнее будет. А в сущности, все это, братику, пустяки… Не стоит говорить. Будь мужчиной и не слушай баб. Я даже в газетах где-то читал… Точно такой же случай вышел. Вот только одного, извини, не могу одобрить: зачем ты высек родную дочь? Я старый человек и помню хорошо, что «наказание да не коснется благородного», а всякий человек благороден.

– Я и не оправдываю себя, дядя… Действительно, погорячился, вышел из себя. Кстати, я читал у Джона Стюарта Милля, – известный английский философ, – что и он допускает телесное наказание для детей, как меру исправления.

Захар Парначев совершенно неожиданно вспылил.

– Что-о? Стуарт Миль, английский философ? Дурак он аглицкий и больше ничего. В Заозерске и то понимают отлично, что матушка Екатерина сказала великое слово про

всех... Нет, уж это, брат, шалишь! Врет твой Стуарт Миль, как зеленая лошадь. Впрочем, я это так, к слову, – уставшим голосом прибавил старик. – Слаб я нынче стал. Сердце так задребезжит, как худой горшок. Да, пожалуй, и домой пора... Загостился я у вас... А там меня ждут. Помнишь Шевякина? Это, брат, такая голова, что всякому аглицкому философу двадцать очков вперед даст. Потом у нас новый земский начальник назначен... Вот режется в карты – отдай все. А коньяк пьет – фю-фю! Точно вместо желудка у него какое-то подполье. Может весь Атлантический океан выпить, то есть если бы он состоял не из морской воды, а из коньяку. Да, ждут они меня, потому что куда же им без Захара Парначева...

Когда Семен Васильевич проснулся на другой день утром, кухарка Пелагея поманила его пальцем и сообщила шепотом:

– Барин, а ведь барин-то уехал...

– Какой барин?

– А Захар Ильич. На самом брезгу велели заложить лошадей и уехали...

– Ты что-нибудь путаешь...

– Чего тут путать, когда они и барышню с собой увезли. Сами и одевали барышню…

У себя в кабинете Семен Васильевич нашел на письменном столе лаконическую записку:

«Увожу Настеньку… Если будешь догонять или требовать ее назад – убью на месте. Так и знай. И твою великолепную Анну Федоровну тоже убью и отвечать никому не буду. Твой дядя Захар Парначев».

На окне спальни Анны Федоровны красовался букет из «мать-и-мачехи».

XII

Прошло пять лет.

Парначевы жили зимой по-прежнему на Николаевской, а на лето уезжали в Парначевку. Сусанночка превратилась в хорошенькую пятилетнюю девочку, напоминавшую несколько по типу Настеньку. Последнее просто убивало Анну Федоровну, напоминая ей о прошлом. Да, Настенька уже принадлежала прошлому… Захар Парначев похитил ее, а затем определил на свой счет в институт. Это было лучшим разрешением вопроса. Настеньке было уже тринадцать лет, и ее виде-

ла по праздникам только одна Варвара Васильевна. Из института не отпускали домой даже летом. Девочка сильно выросла, пополнела и отлично училась. Прошлое для нее было подернуто тяжелой дымкой, и она старалась не думать о нем. Впрочем, ей иногда почему-то делалось жаль отца, того отца, каким он был до своей женитьбы. Почему-то ей казалась, что он опять будет таким и, она крайне огорчалась, что в течение пяти лет он ни разу не заехал навестить ее и не написал ни одного письма. И все-таки Настенька продолжала его любить и считала хорошим.

– Папа кланяется, – говорила каждый раз Варвара Васильевна. – Только он страшно занят...

Настенька опускала глаза, выслушивая эту святую ложь. Она знала, что тетка говорит это в утешение ей и что отец по-прежнему не хочет ее знать. Раз девочка боязливо спросила тетку:

– А девочка?

– Какая девочка? Ах да, Сусанночка... Она уже большая.

– Мне ее хотелось бы видеть, тетя... Ведь

она мне сестра, тетя! Я часто думаю о ней и люблю ее...

Раз Варвара Васильевна приехала очень встревоженная и сказала Настеньке, что они поедут к отцу.

– Папа нездоров? – испугалась Настенька.

– Да... Серьезного ничего нет, но он желает тебя видеть. Я взяла для тебя отпуск всего на несколько часов.

Настенька страшно испугалась и была рада. У нее дрожали руки и ноги от волнения, когда она выходила на подъезд. Ей казалось, что отец умирает... О, как она желала его видеть и как боялась желать этого!

– Папа давно болен? – спрашивала она дорогой.

– Да, милая... Скоро уже будет год. У него что-то с сердцем...

– А когда сердце болит, умирают?

– То есть как тебе сказать... Болезней сердца много. У него что-то мудреное: перемещение сердца.

– Ты когда его видела, тетя?

– Вчера... Он посылал за мной и все время говорил о тебе. Ведь он любит тебя...

– Я это знаю, тетя…

Им отворила двери нарядная горничная в крахмальном переднике. Варвара Васильевна торопливо разделась и повела Настеньку в гостиную. В гостиной одна дверь вела в столовую, а другая в кабинет. Горничная сходила узнать, можно ли войти к барину, и проговорила:

– Пожалуйте…

Она все время не спускала глаз с барышни, в которой сразу узнала старшую сестру Сусаннночки. Между девочками было самое трогательное сходство, и горничная только покачала головой. Надо же было случиться такой оказии…

В кабинете был полусвет, и Настеньке показалось, что на широкой оттоманке лежит один плед. Но этот плед тяжело зашевелился, от белой подушки отделилась совсем белая голова, и послышался слабый голос:

– Ах, как я тебя ждал… да, ждал…

– Семен Васильевич, помните наше условие: не волноваться. Доктор вам строго запретил…

– Да, да…

Настенька нерешительно подошла к оттоманке к сама взяла искавшую ее сухую, горячую, исхудавшую руку. Два большие, лихорадочные глаза так и впились в нее. Она совсем не узнала отца.

– Настенька, ты… ты меня не узнаешь…

Запекшиеся губы вытянулись в больную улыбку. Варвара Васильевна подошла к окну и смотрела через штору на улицу. Настенька опустилась на колени и поцеловала отца в лоб.

– Какая ты большая… – слабо говорил больной, закрывая глаза. – Да, большая совсем…

– Мне скоро четырнадцать лет…

– Да, да… помню… И ты ужасно походишь на свою мать…

Варвара Васильевна сделала нетерпеливое движение. Больной посмотрел на нее и умоляюще проговорил:

– Варя… оставь нас одних… я позову…

– Семен Васильевич, а что сказал доктор?

– Ах, Боже мой… Не все ли равно? А я так счастлив… Я позову, Варя…

Варвара Васильевна тихо вышла.

Наступила тяжелая пауза. Сделанное уси-

лие стоило дорого больному, и он чувствовал, как его голова кружится и мысли точно расползаются. Боже, как он ждал этого дня и вот теперь не может говорить.

– Настенька, садись... вот сюда... ближе... Я много думал о тебе... все пять лет думал...

– Я знаю, папа...

– Я знаю, что ты не сердишься на меня... и немножко меня любишь... да?

– Очень люблю, папа...

– Да, да...

Опять пауза. Больной тяжело закашлялся. От каждого усилия у него ходили круги перед глазами.

– Видишь, девочка... я очень болен и скоро умру. Плакать не нужно... Все в свое время должны умереть... да... Это закон природы... Вот я и хотел тебя видеть... чтобы сказать тебе... как я мучился все время... Я был несправедлив, но ты еще мала, чтобы судить об этом... Когда будешь совсем большая, тогда поймешь все... Я никогда не был злым, а делал великое зло... Понял это я слишком поздно, когда понял, что смерть уж совсем близка... И все так живут, потому что не думают о

смерти...

– Папа, ты много говоришь... – строго заметила Настенька, подражая тетке. – Тебе вредно волноваться...

– Мне уже не может быть вредно. Не страшно, когда болит и умирает тело, а страшно, когда болит и умирает душа... Боже мой, как я думал все время о тебе, Настенька, и как опять любил...

– Я знаю, папа... Я тоже думала это же самое...

– Ты? Это же?

Семен Васильевич тяжело приподнялся, облокотился и заговорил, быстро роняя слова:

– Да, я думал о тебе... и думал о другой девочке... она тоже останется одна и тоже... Нет, я не могу... позвони...

Настенька позвонила. Вошла Варвара Васильевна.

– Варя, приведи сюда Сусанну...

Варвара Васильевна несколько смутилась, но, не желая тревожить больного, повиновалась. Она вернулась не скоро, и больной морщился, поглядывая на дверь. Наконец послышались шаги, и он облегченно вздохнул. Во-

шла Сусанна, одетая с дорогой простотой на английский манер.

– Сусанночка, это твоя сестра... Поцелуйтесь, детки... и помните, что вы сестры.

Девочки поцеловались и молча смотрели друг на друга. Больной сделал знак, чтобы Сусанночку увели.

– Ты ее видела, Настенька? – заговорил он, тяжело перекатывая голову на подушке. – Ты ее будешь любить?

– Я ее люблю, папа...

– Я это знал... У тебя добрая душа... Всех нужно любить... очень любить... и Анна Федоровна тоже добрая... Ах, Настенька, ты еще мала, и я не могу тебе объяснить всего, что передумал... Да, Анна Федоровна и хорошая и добрая, но... Нет, не могу!.. И добрый и хороший человек может делать злые вещи... А какая страшная ответственность за каждый шаг... мы тоже не думаем об этим, как не думаем о смерти. Быть справедливым у себя в четырех стенах – вот величайшая мудрость.

Он опять закрыл глаза от усталости. Настенька сидела на оттоманке, не смея шевельнуться. Ей казалось, что он заснул. Но он

не спал, а, напротив, жил усиленно. Пред его глазами проносилась вся жизнь с ее мелким эгоизмом и большими несправедливостями. Он видел собственные мысли и мучился вдвойне. Это был собственный смертный приговор. Боже, если бы он мог подняться со своей постели и вернуться в среду живых людей… О, он принес бы с собой чудо любви… Он стал бы искупать наделанное зло, и все были бы счастливы. Но это было невозможно… Он должен понести страшную кару и умереть с страшной мыслью о покинутых девочках. Что ждет бедных деток?..

– О, Боже мой… – простонал больной.

В гостиной сидели Варвара Васильевна и Анна Федоровна. Они давно не видались и осматривали друг друга. Варвара Васильевна сильно похудела и поседела, Анна Федоровна продолжала оставаться красивой. Они несколько времени молчали, а потом Анна Федоровна неожиданно проговорила:

– Знаете, что сказал дядя Захар Ильич, когда увидел Сусанночку? Взял ее на руки, поцеловал и говорил: «Несчастная девочка»… Я тогда не поняла его, а теперь понимаю все… Се-

мен безнадежен, и девочка будет расти сиротой.

Варвара Васильевна молчала. Она столько лет ненавидела эту женщину, столько лет мучилась из-за нее и не могла себе представить ее страдающей. Она уже вперед рисовала себе картину того, как Анна Федоровна останется красивой, молодой вдовой, добросовестно переживет период траура, а потом выйдет замуж за какого-нибудь немчика. Брат ей оставит целое состояние, и этого будет совершенно достаточно для будущего немецкого счастья. Анна Федоровна посмотрела на нее и улыбнулась.

– Я знаю, о чем вы думаете, Варвара Васильевна…

Она, действительно, угадала и повторила мысли Варвары Васильевны почти слово в слово, так что та даже покраснела.

– Да, вы думаете, Варвара Васильевна, что я выйду замуж и переживу поневоле то, что заставила пережить Семена Васильевича, и что в этом будет мое наказание за Настеньку… Ах, это ужасная вещь, Варвара Васильевна, и не дай Бог, с кем она случится. Вот вы не

знаете того, какой несчастный человек каждая мачеха. Конечно, бывают счастливые исключения, но общее правило останется всегда... Со стороны это так просто, а с действительности нет ничего труднее. Я совсем не желаю в чем-нибудь оправдываться или извинять себя и, говоря откровенно, не желала бы повторять этот опыт в другой раз...

Это объяснение было прервано Настенькой, которая выскочила из кабинета вся бледная и перепуганная.

– Папа не дышит!..

Не мама

I

— Кто там, Ольга?

– Ришел этот... ну, баронеска ришел.

Чухонка Ольга осклабилась по неизвестной причине и даже закрыла свое квадратное лицо рукой.

– Что же ты докладываешь, глупая? Зови сюда скорее Катерину Петровну!

– Он ришел... Зачем его звал?

Татьяна Ивановна была немножко недовольна этим визитом, хотя и ожидала его. Ее молодое лицо, подернутое подозрительною усталостью, выражало теперь раздраженную нерешительность. Разве она сама не знает, что ей нужно делать?.. Наконец, что это за недоверие? Удивительно!.. Она нетерпеливым движением оправила свой утренний шелковый капот и села на мягкий диванчик, как человек, приготовившийся к незаслуженной неприятности. Дверь приотворилась, и в ней показалась «баронесса». Это была молодая женщина лет тридцати, казавшаяся го-

раздо старше своих лет. Темное шерстяное платье сидело на ней кое-как, волосы были прибраны на скорую руку, помятая шляпа с линючими цветами сидела на голове боком, – одним словом, получался незавидный тип семейной женщины, урвавшейся из дому на одну минутку по самому спешному делу. Лицо «баронессы» когда-то было, может быть, и красиво, а сейчас носило печать специально-семейного изнурения: темные глаза ввалились, щеки осунулись, цвет лица землистый. Хорошей оставалась одна улыбка, добрая и ласковая, особенно когда «баронесса» начинала говорить. Рядом с Татьяной Ивановной, начинавшей блекнуть, но все еще красивой, «баронесса» много проигрывала.

– Вы на меня не сердитесь, милая Татьяна Ивановна, – быстро заговорила «баронесса», точно боялась, что ее слова займут слишком много места в этой комнатке, обставленной почти роскошно. – Я на одну минутку, всего на одну минутку!

– Я и не думала сердиться... Садитесь, пожалуйста.

«Баронесса» осмотрела костюм хозяйки ка-

ким-то тревожным взглядом и вопросительно кашлянула. Это уже окончательно взорвало Татьяну Ивановну.

– Успокойтесь, ради Бога: еду… Да, сейчас еду.

– Я ничего не говорю, Татьяна Ивановна. Дай Бог! Ах, как хорошо, что вы решились наконец! Только говорите, ради Бога, тише. Я уверена, что эта Ольга все подслушивает, а потом передает маме.

– Что же, разве я боюсь вашей мамы? Вот еще новость! Я свободный человек, кажется, делаю, что хочу.

«Баронесса» все-таки не могла удержаться, пошла и притворила дверь. В коридоре действительно послышались осторожно удалявшиеся шаги. Татьяна Ивановна нахмурилась.

– Поезд идет в три часа, – шепотом проговорила «баронесса».

– Знаю… Послушайте, это наконец скучно, Катерина Петровна. Слава Богу, я сама не маленькая.

– Не буду больше, милая… никогда не буду, хорошая – быстро зашептала «баронесса» с какими-то детскими нотами напроказившего

ребенка. – Только вот поезд...

– А, поезд!.. Так я не хочу! – решительно заявила Татьяна Ивановна. – Не приставайте!

– Миленькая, хорошая, не буду.

Татьяна Ивановна начала быстро одеваться, стараясь не глядеть на свою мучительницу. С одной стороны, она ведь очень любила вот эту безответную «баронессу», а с другой – ее мучило это молчаливое насилие над ее волей. Одеваясь, Татьяна Ивановна отодвинула драпировки большого окна и посмотрела на улицу, – погода была отличная, и яркое вешнее солнце слепило глаза. Дворники уже начинали колоть и рубить належавшийся и заезженный на мостовой снег, чтоб увезти остатки петербургской зимы.

– Захватите, голубушка, пледик, – зашептала «баронесса». – Поедете *там*, будет холодно и нужно укрыться. Знаете, все необходимо предусмотреть. Я захватила с собой узелок с кое-какими вещами.

На лице «баронессы» изобразился ужас, и она даже села, точно ее кто удержал.

– Что еще случилось?

– Ах, Боже мой, Боже мой!.. Ведь узело-

чек-то я в передней оставила, а эта Ольга, наверное, все высмотрела.

– Вот вы всегда так.

– Ничего, скажу, что по пути зашла.

Они вышли в широкий коридор, где сейчас же встретили maman, стоявшую в дверях своей комнаты. Заплывшее, обрюзгшее лицо с трехэтажным подбородком смотрело на них ястребиными глазами. Крючковатый нос, неприбранные седые волосы и утренний беспорядок костюма придавали старухе не особенно красивый вид хищной птицы в отставке.

– Иди сюда… иди, – хрипло проговорила старуха, впившись глазами в «баронессу». – Мой на тебя будет посмотреть.

«Баронесса» переконфузилась и даже остановилась.

Maman одним взглядом окинула ее с головы до ног и презрительно покачала головой.

– Опять? – зашипела она, показывая гнилые зубы. – Так делают только собаки, да!

– Мама, да ведь я… – бормотала «баронесса», краснея. – То есть это тебе кажется, мама. Я…

– Молшять, сумашедчий!

Татьяна Ивановна слишком привыкла к подобного рода сценам и прошла мимо, не обращая никакого внимания на старуху. За ней торопливо шмыгнула «баронесса», по пути приложившись к ручке грозной maman. Ее занимал больше всего узел, сунутый в уголок передней. На шум из кухни выскочила чухонка Ольга и бросилась к узлу, но «баронесса» ее отстранила.

– Нам, Татьяна Ивановна, с вами, кажется, не по дороге, – быстро говорила она, догоняя ее в дверях. – Мне нужно с узлом к портнихе.

Это было придумано для отвода чухонских глаз любопытной Ольги. Татьяна Ивановна, не торопясь, спускалась по лестнице, и по ее молчанию «баронесса» чувствовала, что она недовольна. И все напортил проклятый узел.

Обе женщины молча вышли на подъезд, молча взяли извозчика и молча поехали. «Баронесса» успокоилась, когда ее узел исчез под полстью саней, и облегченно вздохнула. Ее беспокоило только то, что Татьяна Ивановна поехала не в шубке, а в осеннем пальто. Затем, эта городская шляпа с широкими полями

тоже не годилась для дороги. Лучше бы просто в платочке, как ездят купчихи. Ну, да ничего, дорогой как-нибудь все устроится.

– Я возьму билет сама, – предупредила «баронесса», когда извозчичьи сани подползли к Николаевскому вокзалу. – О, осталось всего двадцать минут! Как раз вовремя поспели.

Татьяна Ивановна быстро вышла из саней и, не глядя ни на кого, отправилась в залу первого класса. На улице это была другая женщина, – и походка другая, и выражение лица, и даже рост. Едва поспевавшая за ней со своим узлом «баронесса» невольно полюбовалась и подумала про себя с каким-то благоговением: «Красавица!». В собственном смысле слова красавицей Татьяна Ивановна не была, но в ней было что-то особенное, что ее выделяло из остальной толпы и что французы характеризуют одним словом: chien, сидевшие за отдельным столиком два офицера переглянулись, когда Татьяна Ивановна прошла мимо них. Похмельный купчик осклабился и что-то забормотал, сделав поощрительный жест в пространство. Но Татьяна Ивановна ни на кого не обращала внимания

и заняла уголок дальнего диванчика.

– Я сейчас, – шептала «баронесса», запихивая свой узел в уголок.

Десять минут ожидания Татьяне Ивановне показались вечностью, особенно когда в ее уголок заглянули два ранних петербургских пшюта. Один, кажется, узнал ее и взялся за котелок, но она брезгливо отвернулась. И здесь не дадут покоя... Пшюты исчезли и показались снова. Татьяна Ивановна узнала одного из них, белокурого, с мышиными глазками, усиками шильцем и лисьею мордочкой. Она где-то встречалась с ним, но где – все исчезало в тумане смешанных воспоминаний. Мало ли у нее знакомых, и где же припомнить всех! А сейчас она меньше всего желала с кем-нибудь встретиться. Да и «баронесса» точно сквозь землю провалилась.

За десять минут до звонка торопливо вошла супружеская чета. Жена вела девочку и мальчика, муж нес грудного ребенка на руках. Они поискали глазами свободного места и остановились на ее диванчике. Она была рада таким соседям и с особенным вниманием принялась рассматривать детей. Видимо,

люди небогатые. У жены такое же лицо, как у «баронессы». Пшюты опять заглянули, но, завидев целую семью, ретировались.

– Я подвинусь немного, – предложила Татьяна Ивановна сбившейся с ног матери. – Садите сюда мальчика.

Счастливая мать сунула ей ребенка и даже не поблагодарила. Она была поглощена мыслью о том, успеет ли муж купить билеты и сдать багаж. Затем грудной ребенок начал тихонько хныкать, и она его укачивала, придерживая конец распахивавшегося одеяльца зубами.

«Как они должны быть счастливы! – мелькнуло в голове Татьяны Ивановны, с завистью поглядывавшей на изнемогавшую мать. – Что из того, что трудно?»

В этот момент показалась «баронесса». Татьяна Ивановна хотела взять посыльного, чтоб отнести узел, но «баронесса» ни за что не согласилась. С какой стати бросать этим дармоедам целых 15 копеек? Она схватила свой узел и потащила его в вагон третьего класса с спальным дамским отделением.

– Вот здесь будет отлично, – говорила она,

устраивая узел на вязаную сетку вверху. – И соснуть можно… Впрочем, вам не приведется и спать. Поезд придет на станцию в десять часов. Только вы в ночь не ездите. Неудобно молодой женщине одной. А вы переночуете там где-нибудь.

– Где же это?

– Ну, на постоялом. Там всегда есть для приезжающих чистая половина… Татьяна Ивановна, хватит ли у вас денег-то? Если нужно, так я могу вам дать немножко.

«Баронесса» даже вытащила худенький и затасканный портмоне, но Татьяна Ивановна ее остановила.

– Нет, нет… У меня есть достаточно. Целых шестьдесят рублей.

– Ну, маловато, но как-нибудь хватит… Дай вам Бог, миленькая все устроить, а я буду молиться за вас.

Последние слова «баронесса» проговорила со слезами на глазах, а потом порывисто благословила путешественницу. У Татьяны Ивановны что-то защипало в горле, и она должна была закусить губы, чтобы не расплакаться.

– Идите, идите, второй звонок.

– Шляпу-то оставьте на станции, то есть на постоялом, – советовала «баронесса», высовывая голову в дверцы купе. – А то неловко будет ехать на лошадях.

– Хорошо, хорошо…

Как это ни странно, но Татьяна Ивановна вздохнула свободнее, когда доброе существо оставило ее наконец в покое. Добрые люди бывают иногда надоедливы… Но «баронесса» не унялась, и ее лицо скоро прильнуло к окну вагона. Это опять вызвало внимание слонявшихся по платформе пшютов. Белокурый подошел к «баронессе» и что-то заговорил. Татьяна Ивановна откинулась в угол и видела только лицо «баронессы», вспыхнувшее красными пятнами. Нет, она устроит ей скандал… Что же это поезд стоит? Точно в ответ на эту мысль послышался резкий свисток обер-кондуктора, неприятно ухнул паровоз, где-то залязгали железные цепи, и поезд тяжело тронулся. Платформа точно поплыла. Татьяна Ивановна видела только, как «баронесса» торопливо перекрестила ее окно, как мелькнула красная фуражка начальника станции, еще раз показались противные пшюты, а по-

том все заволокло дымом.

– Слава Богу, – прошептала Татьяна Ивановна, когда поезд выбрался из-под навеса и яркий весенний свет залил ее купе.

Как многим коренным петербуржцам, ей случалось только в первый раз выехать из Петербурга в настоящее путешествие. Дальше Павловска, Озерков и Екатерингофа ей не приходилось ездить. Слава Богу, проклятый город оставался позади... И как быстро все исчезло! Только влево, где протекала невидимая Нева, долго еще тянулись громадные фабричные здания и поднимались высокие трубы. Поезд развивал скорость, и картины сменялись быстро. На полях еще лежал снег, и только кое-где чернели первые проталинки. Татьяну Ивановну охватило еще не испытанное чувство свободы. Да, сидит она одна и ничего и никого не хочет знать. Она походила на птицу, вырвавшуюся из клетки. Да, вот и голубое небо, и солнце, и простор, и она сама такая молодая и сильная. В душе теплилось приятное сознание, что она наконец приступает к выполнению давно задуманного плана. Но мысли опережали поезд и летели да-

леко вперед, где нет ни железных дорог, ни пшютов, ни гнетущей и давящей петербургской неволи.

II

Дорогой лучше всего думается. Дома что-нибудь да мешает, а тут для мысли полный простор. Несутся мимо равнины, перелески, речки, насыпи, телеграфные столбы, сторожки, деревни, где-то на горизонте мелькает стройный силуэт белой сельской церкви, где-то дымит фабричная высокая труба, и в голове тоже несутся лица, воспоминания, полузабытые грезы, мечты о будущем, мелкие расчеты и тонкие соображения. Одно движение вызывает другое.

Именно такое раздумье переживала сейчас Татьяна Ивановна. А в последние годы ей так мало оставалось времени именно на это. День катился незаметно один за другим, и она все что-то откладывала. Удивительно, как это она раньше не подумала вот о том, о чем сейчас… Ей делалось даже обидно, когда она припоминала вмешательство «баронессы».

«Что же, я и без нее поехала бы… Ну не сегодня, положим, а летом непременно…»

Затем являлась облегчающая мысль: ведь ее никто не знает ни в поезде, ни на станции, ни там, куда она поедет на лошадях. Как это хорошо и как легко, вроде того, как если бы человек мог родиться во второй раз. Татьяне Ивановне сделалось вдруг весело, и она даже замурлыкала про себя знакомый опереточный мотив. Ну, положительно весело. А давеча этот белобрысый пшют как смотрел на нее! Развеселившись, девушка сделала даже рукой нос по адресу именно этого нахала. Кончено, все кончено... ха-ха!.. Как будут все удивлены, как будет злиться maman «баронессы». О, пусть хоть лопнет со всеми своими тремя подбородками! Припомнив свою квартирную хозяйку, Татьяна Ивановна даже рассердилась, – вот бессовестная старуха! Ах, какая бессовестная! Что она давеча «баронессе» сказала: «Так делают собаки». А что же такого дурного сделала «баронесса»? Решительно ничего. Старуха разозлилась по поводу того, что «баронесса» опять в интересном положении, но ведь она замужняя женщина, и позорного в этом ничего нет.

– У-у! Ненавижу! – вслух проговорила де-

вушка и погрозила кулаком старой немецкой твари. – Вся ты фальшивая и гадкая, а «баронесса» – добрая… Конечно, ей трудно перебиваться с тремя ребятишками, а ведь она никого не просит помогать ей. Да еще кто бы и говорил, а не эта старая немецкая кляча – у самой трое живых детей да скольких перехоронила.

День быстро клонился к вечеру. Мелькали какие-то маленькие станции и полустанки, но Татьяна Ивановна даже не интересовалась прочитывать их названия: ее станция будет ровно в десять часов вечера, а остальное для нее не существовало. Добыв записную книжку, она несколько раз перечитывала тщательно записанный адрес: деревня Моркотина, крестьянка Агафья Ефимова, № 3507. Положим, она знала этот адрес наизусть, но нападало сомнение: а вдруг она его позабудет или потеряет?

На одной из больших станций девушка вышла напиться чаю. Ее решительно не интересовало, какая публика едет в одном поезде. Какое ей дело до них? За столом против нее поместился толстый господин с длинными

усами и все время не сводил с нее своих выпуклых темных глаз. Вот нахал... Потом ей пришла в голову мысль, что, вероятно, в ней есть что-нибудь такое, почему он так бесцеремонно уставился на нее. Она вдруг смутилась, даже слегка покраснела и, не допив стакана, ушла к себе в вагон. Этот толстяк испортил ей все настроение.

«Неужели на мне написано, кто я такая? – в ужасе подумала она, забиваясь в свое купе. – Отчего он не смотрит такими глазами на других женщин?.. Если бы я была мужчиной, то дала бы ему в морду».

Татьяна Ивановна даже всплакнула, глупо и по-детски, потому что эти неприятные мысли так не гармонировали с ее светлым настроением. Да, ей хотелось уехать совсем, в неизвестную даль, уехать от самой себя. Со слезами она и заснула, прикурнув на деревянной лавочке. И сон был гадкий: по сторонам поезда бежали белобрысый пшют и толстый господин с усами, что-то кричали и указывали на ее окно. Вся публика собралась у окон.

– Вот она, Татьяна Ивановна!.. Ах, Татьяна

Ивановна, милашка!..

– Сударыня, станция! – разбудил ее кондуктор.

Это была небольшая станция, на которой поезд стоял всего пять минут. На платформе было темно, и девушка с трудом тащила свой узел. Какой-то молодой человек в охотничьей куртке окликнул ее.

– Сударыня, вам лошадей-с? Пожалуйте на постоялый… Эй, Иван, помоги барышне!

– Здесь! – ответил из темнота хриплый голос.

Показался мужик в полушубке и взял узел. Татьяна Ивановна не могла рассмотреть, что делается кругом. Где-то в стороне мелькали какие-то жалкие огоньки и что-то такое чернело: лес не лес, строение не строение, Мужик пошел быстро вперед, свернул с платформы и точно потонул в темноте.

– Эй, ты, дядя, где ты?

– А здесь… Держи правее, забирай все вправо.

До постоялого двора было рукой подать; обошли какой-то сарай, прошли мимо каких-то лошадей и очутились прямо на тем-

ной лестнице большого деревянного двухэтажного дома.

– Эй, Митрей Митрич, где ты запропастился? – кричал мужик, топая по лестнице ногами. – Я тебе вот какую барыню предоставил, старичку…

Наверху показался огонь, и гостью встретил благообразный бритый старичок, одетый в длиннополый сюртук. У Татьяны Ивановны отлегло на сердце, когда она увидела светлую высокую комнату, очень чисто прибранную, даже с венскою мебелью и кисейными занавесками на окнах. В одном углу теплилась лампадка.

– Пожалуйте, сударыня, на чаек.

– Прикажете самоварчик, сударыня?

– Да, я переночую у вас… У вас клопов нет?

– Ни Боже мой… Даже и название забыли, что есть такое – клоп. Не сумлевайтесь… А утречком лошадок прикажете?

– Да.

– Вам куда-с?

– Завтра скажу.

Старичок пожевал губами и засеменил куда-то за занавеску.

Девушка сняла с себя шляпу, калоши и пальто. У нее немножко болела голова. По привычке она подошла к зеркалу, но на нее из неровного стекла посмотрело такое уродливое лицо, что она сейчас же отошла. Послышались опять шмыгавшие шаги старика.

– Может быть, закусить прикажете? Только, знаете, у нас все постное, на крестьянскую руку… Пожалуй, и не понравится вам.

– Нет, я хочу только чаю.

– Слушаю-с. А лошадок к которому часу прикажете?

– Я скажу утром.

– Оно бы лучше с вечера.

– Хорошо. Ну, в девять. Тут есть деревня Моркотина, так туда и обратно.

– Моркотина? Так-с… Это совсем в сторону, сударыня, значит, не по тракту… Уж не знаю, что вам и сказать. Ах, батюшки, да ведь Моркотиных-то ведь две: Моркотина-Верх, Моркотина-Низы. Так вам в которую?

– Как две? Впрочем, это все равно. Ведь они недалеко одна от другой?

– Известно, деревни… Уж не знаю, как насчет лошадок. Пожалуй, ямщики-то не пове-

зут...

Одним словом, началось то деревенское вымогательство, которое заканчивается тройною ценой.

За самоваром Татьяна Ивановна просидела часа два. Ее охватило сознание такого одиночества, как еще никогда. Где-то тихо постукивает маятник, где-то лает сонная собака, где-то резко взвизгивает свисток. Потом девушке сделалось безотчетно страшно. Да, страшно жить, страшно за свою молодость, страшно за то хорошее, что она везла с собой в эту деревенскую глушь, страшно за неизвестное будущее. Какие все нехорошие, кончая вот этим благочестивым станционным старцем, ободравшим ее как липку. И все такие же... Бессовестные, гадкие, отвратительные!.. Почему-то ей вспомнилась давешняя чета с тремя детьми. Может быть, они уже теперь дома, в своем гнезде, уложили детей спать, а сами тоже сидят за самоваром. Тепло, хорошо, любовно. Почему одни родятся на свет счастливыми, а другие несчастными?

С последней мыслью Татьяна Ивановна и заснула на том самом диванчике, где сиде-

ла, – заснула не раздеваясь. Утром ее разбудил благочестиво-бритый старец и заявил, что лошади поданы.

– Только извините, сударыня, до Моркотиной-то не восемнадцать верст, а целых двадцать восемь. Ребята знают... Вчера-то я ошибся, значит.

– Вы меня считаете, кажется, совсем дурой?

– Помилуйте, зачем же-с?.. Вот поедете, сами увидите-с...

За пару лошадей старец содрал пятнадцать рублей, т. е. ровно вчетверо, и еще пожалел, что не умел взять прямо четвертной билет. Куда ей деться, барыне-то?

Утро было светлое и теплое, так что Татьяна Ивановна поехала в шляпе. Ямщик оказался вчерашний Иван, которому сегодня было, видимо, с похмелья. Он встряхивал своей лохматой головой, ерзал плечами, вздыхал и наконец проговорил:

– Попортила ты меня вечор, барыня... К твоему-то двугривенному своих два прибавил. Тяжеленькая копеечка подвернулась. Ах, ты, Боже мой. А уж Митрей Митрич охулки

на руку не положит. Пятнадцать рубликов с тебя сгрел? Так... Красная цена два рубли... Ловко!

– Разбойники вы, вот что! Конечно, я не знаю, а вы пользуетесь случаем.

– Это точно, даже весьма грешно. Ну и Митрей Митрич... И верстов присчитал целых десять. В лучшем виде!

Взлохмаченная пара почтовых одров неторопливо тащила рогожную кибитку сначала по тракту, а потом свернула на окончательный проселок, пролегавший грязною полоской по унылой низменности, кое-где тронутой чахлыми заморенными кустиками. Развертывалась невеселая русская картина. У Татьяны Ивановны щемило на сердце, когда кибитка проезжала мимо деревушек, походивших издали на кучи навоза. Как могут жить здесь люди? Настоящая деревенская бедность глядела здесь из каждой дыры, через обдерганные соломенные крыши, в подслеповатые оконца, в прорехи и щели всего крестьянского жилья. Неужели и Моркотина такая-то? Если бы Татьяна Ивановна знала раньше, что такое русская деревня. Нет, что тут говорить,

когда прошло целых шесть лет. Ведь это ужасно: целых шесть лет!

– А вот тебе и Моркотина, – неожиданно заявил Иван, указывая кнутовищем куда-то в сторону.

– Где?

– А вон вправо, под горкой, значит.

– Это которая Моркотина?

– А Низы… Тебе кого там надобно?

– Вот приедем и спросим.

Моркотина-Низы, как большинство русских деревень, была «чем ближе, тем хуже». Татьяна Ивановна с каким-то ужасом смотрела на это приближающееся убожество и не верила собственным глазам: сотни избушек залегли по болотистым берегам покрытой сейчас льдом речонки. Вот и первые постройки. Кибитка остановилась у одной из избушек, где стоял за воротами мужик.

– Это Моркотина, дядюшка?

– Моркотина.

– А где здесь живет Агафья Ефимова?

– Агафья-то? Да у нас их две, значит. Агафьи… Пожалуй, и третья найдется, потому как она с мужем не живет – по отцу-то тоже

Ефимова. Тебе которую?

– Мне нужно ту, у которой на воспитании девочка.

– А великонька девчонка, значит, шпитонка?

– Лет шести.

– Ну, так это не здесь, а надо тебе податься на Верх-Моркотину. Там и Агафья твоя со шпитонкой... В самый раз.

– Иван, поедем.

На этот раз Иван почесал затылок и после некоторого раздумья заявил, что дальше не поедет: ряда была до Низов..

– Как не поедешь?

– А вот так... Ряда. Ваше дело с Митреем Митрачем было... Ежели трешную соблаговолишь ямщику, тогда могу ублаготворить вполне... Что я буду зря коней томить?.. Главное, ряда была до Низов.

Нечего делать, пришлось выдать нахалу три рубля. Татьяна Ивановна с ненавистью смотрела на спину грабителя, изнывая от бессильной злобы.

Кибитка поползла маленькою дорожкой влево от деревни. Через полчаса показалась и

Верх-Моркотина, ничем не отличавшаяся от Низов. Здесь Агафью Ефимову было уже совсем не трудно отыскать. Татьяна Ивановна вошла в довольно скверную избу, где ее охватило убийственно-кислою вонью. В первую минуту девушка не могла ничего разглядеть, кроме небольшой девочки, колыхавшей люльку.

– Да ведь это вы, барышня-сударышня! – закричал плаксивый бабий голос где-то у печки.

– Едва тебя разыскала, Агафья...

Татьяна Ивановна устало опустилась на грязную лавку и не могла отвести глаза от девочки. Неужели это ее Наташа? Она не смела шевельнуться, не смела подойти к девочке и только смотрела на нее испуганно-округлившимися глазами. Она не заметила даже, хороша она или нет, какие у нее глаза, волосы, нос, все эти подробности выступили только потом, когда она пришла в себя.

– Энта самая и есть, – шепотом объяснила Агафья, довольно грязная баба с плаксиво-злым лицом. – Наташка, подь сюды... Барыня из городу гостинцу тебе привезла.

III

Девочка сначала смотрела на городскую гостью, а потом быстро кинулась к Агафье и спряталась за ее юбку. Татьяна Ивановна тяжело дышала, точно боялась в маленькой замарашке узнать то бесконечно родное и близкое, что могла только смутно чувствовать. Ей казалось, что и в избе душно, и что недостает света, и что все это какой-то сон.

– Ах ты, дурашливая, перестань! – уговаривала Агафья, стараясь выдвинуть прятавшуюся девочку вперед. – Ведь не чужая приехала! Вот, поглядите, сударышня-барышня, и родимое пятнышко.

Она оголила худенькую детскую ручку и показала повыше локтя две маленькие родинки. Девочка еще больше переконфузилась и даже закричала, когда городская гостья схватила ее, посадила на колени к себе и принялась целовать.

– Милая… милая… милая… Ты ведь моя, моя, моя!.. Я – твоя мама!

Девочка защищалась отчаянно, отталкивая мать прямо в грудь. Светлые глазенки потемнели, бровки сдвинулись, розовые губки

сложились строго. Татьяна Ивановна усадила ее на лавку, опустилась на колени и порывисто начала целовать худенькие ручонки, шейку, плечики, всклоченные волосенки.

– Мама гостинцу из городу привезла, – повторяла Агафья, желая подкупить ребенка. – Не блажи, Наташка.

– Н-не-е! – капризно повторяла девочка, продолжая отталкивать городскую маму. – Не хочу гостинца, мамка... Пусть она уйдет... Н-не-е!..

– Моя, моя, моя... Родная моя... деточка... – всхлипывала Татьяна Ивановна, припадая своей головой к детским коленям.

Девочка тоже разревелась, пустив отчаянную ноту. Агафья, стоя за спиной городской мамы, показывала ей кулак, но и это не помогало. В уме Агафьи вихрем неслись свои бабьи мысли: зачем прилетела из города барышня, неужто она отымет девчонку? Ровно через каждые два месяца Агафья ездила в город к Татьяне Ивановне и обирала ее с ловкостью опытного человека. Девушка платила за содержание ребенка по десяти рублей в месяц и кроме того снабжала ее разным тряпьем,

жареным и вареным. И вдруг эта доходная статья прекратится... А Татьяна Ивановна, стоя на коленях, жадными глазами вглядывалась в заплаканное детское личико, отыскивая в нем то родное и близкое, к чему рвалась ее душа, чем наболело это сердце. Все чувства теперь были сосредоточены на этом детском личике, мучительно ожидая от него ответа, но личико продолжало хмуриться и заливаться слезами.

– Я ее увезу в город, – с решительным видом заявила Татьяна Ивановна, поднимаясь на ноги.

– Как же это так, барышня-сударышня? – испуганно забормотала Агафья, делая глупое лицо. – Мы вспоили, вскормили дитю, а вы вдруг – в город.

– Да, вдруг... Ведь вы не даром поили и кормили. Я все время платила вам. А теперь я желаю взять ребенка себе... Понимаете?

– Не знаю, как муж... Ужо, вот он придет. И куда он делся?

– А я знаю, потому что девочка моя... У меня и билет из воспитательного дома с собой. Позовите старосту, я распишусь... А вам я за-

плачу.

Девушка достала портмоне и начала совать двадцатипятирублевую ассигнацию Агафье, которая не знала, что ей делать – брать или не брать. Она, действительно, боялась мужа. И девочку было жаль выпустить из рук. В этот решительный момент на пороге показался ямщик Иван и заявил самым грубым образом, что ждать больше не может.

– Я вот тебе покажу, как ты не можешь ждать! – накинулась на него Татьяна Ивановна с неожиданным ожесточением. – Разбойники вы, вот что!

– Что же, я и уеду! – еще грубее заявил Иван, почесывая в затылке. – Мне плевать!

– Ах ты… Молчать! Я еще с вами рассчитаюсь… Прямо к уряднику. Знаешь урядника?.. То-то… Поговори у меня еще… Я вам покажу… Убирайся вон! Постой, там у меня в кибитке остался узел, так принеси его сюда. Да живее ворочайся.

Недавний, разбойник, рассчитывавший сорвать с простоватой городской барыни за «простой» еще трешный билет, только почесал затылок и отправился за узлом.

– Ишь ты, прыть какую напустила! – бормотал он. – Так на дыбы и поднялась, как медведица. Все эти детные бабы такие: как увидала свово дитю, так и остребенилась. Теперь к ней не подступишься... Медведь, и тот не дерет корову, которая с теленком ходит по лесу. Последняя курица, и та... Вот тебе и трешный билет! К уряднику... Самый настоящий разговор. Теперь бы в самый раз напустить на Митрея Митрича: всю бы моль из него духом выпустила... Ах, братец ты мой, дело-то каксе вышло!

Развернув узел, Татьяна Ивановна мысленно поблагодарила предусмотревшую все «баронессу». На первом плане была простыня, полотенце и мыло с губкой. Конечно, прежде всего, нужно вымыть девочку, а в таком виде куда же ее повезешь? Агафья молча налила теплой воды в корыто, и Наташа поступила в полное распоряжение городской мамы. Ах, какие у нее были грязные ножки и ручки, какая грязная шея, уши, личико!.. Губка несколько раз делалась совсем грязной. Татьяна Ивановна делала все быстро и решительно, так что девочка даже не сопротивля-

лась, невольно поддаваясь более сильной воле. Агафья качала люльку и иронически наблюдала расхлопотавшуюся барышню-сударышню.

– А в люльке у вас тоже шпитонка? – спрашивала девушка, оканчивая мытье Наташи.

– Известно, шпитонка… Свои-то детишки перемерли, так вот чужих воспитываем. Только эта шпитонка не жилец… Как бы не окочурилась. Животом скудается больно.

Девушка заглянула в люльку. Там лежал ребенок месяцев трех, с каким-то восковым личиком. Он не плакал и не кричал, а только тяжело дышал. А ведь где-то у этого несчастного есть мать. Она, наверное, думает о нем, убивается. А тут так грязно и душно… Боже мой, если б она только знала, в какой обстановке росла ее несчастная Наташа! И как она могла это допустить?.. А какая милая «баронесса»: вот и чистая рубашка для девочки, старенькая и в заплатках, но чистенькая, и панталоны, и чулочки, и башмачки, и лифчик, и какое-то шерстяное платьице, и старенькая шубка, и теплый платок, – одним словом, все детское приданое. Наташа позво-

ляла себя обряжать, изредка поглядывая вопросительно на Агафью.

– Вот и ты, Наташка, стала городского барышней, – иронически заметила Агафья, когда туалет был закончен. – Только шляпку тебе нацепить да хвост.

– Агафья, вы сходили бы лучше за мужем, чем болтать пустяки. А я присмотрю за ребенком.

– И то схожу... – ворчливо согласилась Агафья. – Очень уж вы скоро наклались, барышня-сударышня, девчонку-то увозить. Тоже и на вас суд найдем...

– Хорошо, хорошо. Скажите по пути старосте, чтобы зашел сюда, мне некогда ждать.

Агафья вышла из избы, продолжая ворчать.

– Что, и тебе на орехи досталось? – встретил ее на улице ямщик Иван. – Нет, брат, теперь шабаш, совсем другая музыка... Слышала, как она даве про урядника ответила? И предоставит в лучшем виде... Нет, брат Агафья, теперь ее больше в оглоблю не заведешь. Шабаш!

Оставшись в избе одна, Татьяна Ивановна

хотела разговориться с дочерью, которая все еще продолжала ее дичиться и больше всего была занята своим новым костюмом.

– Поедешь со мной на станцию? – спрашивала девушка. – Поедешь, крошка?

– Н-не-е… – плаксиво ответила Наташа, вытирая нос рукой.

– А там у меня игрушки оставлены… Много игрушек.

– Гостинец?

– И гостинцы… Приедем туда и все заберем.

– А мамка?

– Мамка здесь останется… На лошадках поедем, деточка.

Девочка в первый раз улыбнулась, глядя недоверчиво на нарядную городскую маму. После некоторого раздумья она отрицательно покачала головой:

– Нет, не поеду на лошадках без мамки.

– Да ведь мы вернемся опять сюда, глупенькая! А вот посмотри: часы… Вот браслет. Я тебе подарю часы, если поедешь.

Девочка не понимала половины городских слов и продолжала взглядывать недоверчиво,

как только что пойманный зверек. Татьяна Ивановна пробовала ее приласкать, точно своими объятиями и поцелуями хотела перелить в нее переполнявшие ее чувства, но маленькая зверушка не поддавалась и повторяла одно: мамка. Эта сцена наконец измучила Татьяну Ивановну. Что она будет делать с этою упрямицей? В конце концов было просто обидно...

Девушка присела к столу в тяжелом раздумье. Наташа около лавки пробралась к печке и из своей засады наблюдала ее. Еще немножко, и Татьяна Ивановна, вероятно, расплакалась бы бессильными женскими слезами, но в этот момент в сенях послышался тяжелый топот, говор, и дверь избы распахнулась. Первым вошел пожилой мужик с жиденькою бородкой и медною бляхой, – староста, как догадалась Татьяна Ивановна. Из-за него выдвинулся другой, помоложе, приземистый и косолапый, с помятым от перепоя лицом. Он швырнул свою рваную шапку на печь и вызывающе оглядел гостью с ног до головы. Шествие замыкали Агафья и ямщик Иван.

– Здравствуй, – проговорил хозяин, протя-

гивая свою лапу.

– Здравствуйте, – спокойно ответила гостья, не подавая руки. – Я приехала за своею девочкой.

– Так-с, оно конечно… Только свои-то дети у родителев живут, а не по чужим людям, – грубо ответил мужик. – Больно прытко ты разлетелась…

– Я с тобою не желаю разговаривать, а вот со старостой. Да… вот номер билета, по которому выдан был ребенок из воспитательного дома Агафье: 3507. Наконец Агафья меня знает. Я ей шесть лет платила за содержание ребенка…

– Агафья, ты получала? – обратился староста к хозяйке.

– Что получать-то… – вмешался хозяин, делая азартный жест.

– Помалкивай, Андрей, – остановил его староста. – Бабье дело… Пусть они промежду себя разберутся. Ну, Агафья, получала с барыни жалованье?

– Случалось… – нерешительно ответила Агафья, глядя на мужа. – Только какое это жалованье?.. Двугривенными поманивали, и

только всего.

– Это уж ты врешь, Агафья, – неожиданно вступился ямщик Иван. – Поди-ка, вся деревня знает... Понапрасну запираешься. Говори лучше прямо.

Хозяин с азартом накинулся на непрошенного заступника, так что староста едва их разнял. В избе поднялся ужасный гвалт. Наташа опять заплакала и юркнула на печь.

– Что тут с ними разговаривать-то! – кричал Иван. – Получайте деньги, пока барыня дает. Четвертной билет жертвует, а после еще пристегнет малую толику... Ну, староста, благословясь, вдарь по рукам. Лучше так-то будет.

Староста замялся, почесывая затылок. Его нерешительность разрешилась только пятирублевою ассигнацией. Он сразу приосанился и заговорил другим тоном.

– Ну, Агафья, примай деньги... Что тут попусту балакать. Да собирайте девчонку... С Богом!

Муж Агафьи нехотя взял двадцатипятирублевую ассигнацию и презрительно зажал ее в кулак.

– Я совсем не желаю обижать вас, – заговорила Татьяна Ивановна, точно оправдываясь. – У меня сейчас больше нет денег, а после я с удовольствием заплачу еще.

Агафья разразилась отчаянным воем и спряталась за печкой. Теперь уж мужики окончательно не знали, что им делать. Разве с бабой сговоришь?.. Наташа переползла с печи на полати и с любопытством наблюдала все происходившее.

– Эй, девонька, оболакайся! – обратился к ней Иван, окончательно вошедший в роль посредника. – Дальние проводы – лишние слезы... А я на станцию вот как подмахну! Главная причина – барыня добреющая.

Татьяне Ивановне вдруг сделалось совестно за происходившую сцену. Она отправилась за печку, обняла Агафью и начала ее утешать.

– Агафья, вы не сердитесь... Помните, я еще в прошлом году предупреждала вас, что возьму девочку.

– Да ведь мне-то, поди, тоже жаль ее, сударышня-барышня... Как своя выросла. Было за ей похожено.

– Я вам за все заплачу, Агафья. Приезжайте только в город.

Агафья покосилась на мужа и зашептала:

– При ём-то не говорите… Вон он сграбастал денежки, как ястреб, а я только их и видела.

– Хорошо, хорошо…

Дело наконец сладилось. Оставалось уговорить только Наташу, что было не так-то легко. Девочка оказала самое отчаянное сопротивление и согласилась ехать только до станции, где надеялась получить игрушки и городские гостинцы.

– Только ты не моя мамка, – упорно твердила она, глядя на девушку злыми глазами.

– Конечно, не мамка, а мама.

– Н-не-е…

– Ну слава Богу! – проговорил Иван, усаживаясь на облучок. – Ну и народец!.. Вот уцепились! Живым мясом готовы рвать… Эх вы, други, трогай!

Татьяна Ивановна крепко прижимала к себе тихо плакавшую Наташу. Когда кибитка тронулась, она перекрестилась.

Начиналась новая жизнь…

IV

Неожиданный отъезд Татьяны Ивановны произвел в квартире Каролины Карловны Дранг своего рода сенсацию. Сначала старая немка не придала ему никакого особенного значения, потому что рассердилась на неисправимую «баронессу». Она долго ругала легкомысленную дочь на двух языках и даже грозила в пространство жирным кулаком. «О, не есть ли это сумашедчий женщин, который на пятьдесят рублей жалованья будет иметь четвертый дитю?.. Donnerwetter, побирай меня шорт, если я могу понимайт... Богатый люди могут иметь двадцать дитю, богатый люди дитю радость, богатый люди все могут, а „баронесса“ дурак!» Чухонка Ольга была того же мнения.

– Однако куда она мог ехать? – рассуждала фрау Дранг.

– Баню екал, – объяснила Ольга. – Один извозчик екал.

Наступил вечер, а Татьяна Ивановна не возвращалась. Положим, она часто не бывала дома по нескольку дней, но то совсем другое дело, начиная с костюма, в котором выезжала

Татьяна Ивановна. Фрау Дранг знала, где жилица, и была спокойна. Она не волновалась даже тогда, когда Татьяну Ивановну привозили из какого-нибудь веселого загородного уголка в таком виде, что она едва могла дойти до своей комнаты. С ней обыкновенно отваживалась в таких случаях Ольга, занимавшаяся, прежде всего, карманами подгулявшей барышни. Она обворовывала ее самым бессовестным образом и раз стащила даже дорогой золотой браслет. На другой день утром Татьяна Ивановна обыкновенно чувствовала себя скверно, сидела у себя в комнате, и Ольга выговаривала ей, что нехорошо терять браслеты. Да, все это было в порядке вещей и никто этому не удивлялся, а теперь случилось что-то другое. Потом это таинственное вмешательство «баронессы», – фрау Дранг еще рассердилась на сумасшедшую дочь, рассердилась как-то всем своим старым немецким жиром.

Вечером приехала Лоти, младшая дочь фрау Дранг, и старуха успокоилась. Это была ее любимица. Лоти не походила на «баронессу». Высокая, плотная, белокурая, она напоми-

нала тот племенной скот, который фигурирует на сельскохозяйственных выставках. Одевалась она с вызывающею пестротой и с тем особенным шиком, который заставляет мужчин оглядываться. Некоторый недочет по части вкуса выкупался дорогими материями, кружевами и ценными безделушками. Каролина Карловна не могла смотреть равнодушно на свою любимицу и со слезами на глазах повторяла:

– Вот я такой же был... как обе две капли вода!

Старуха немало гордилась и общественным положением своей Лоти, которая была просто содержанкой одного выжившего из ума старого генерала. У Лоти была своя квартира, свои лошади, штат прислуги, бриллянты, – чего же еще можно желать? В этот вечер Лоти приехала к мутерхен в дурном расположении духа. У нее была скверная привычка приезжать к матери именно в таком настроении, и старухе стоило большого труда успокоить ее. Лоти была немножко вспыльчива и ругалась, как два извозчика.

– Ну, что нового? – спрашивала Лоти еще в

передней, бросая свое манто прямо в физиономию Ольги. – Мутерхен, как тебе не надоест эта чухонская морда?.. Видеть ее не могу!

– Нишево, Лоти... У тебя опять нервы?

– Какой там черт нервы... Со своим старым чертом поругалась и выгнала его в шею.

Чтоб успокоить Лоти, старуха сейчас же рассказала ей об интересном положении «баронессы» и таинственном исчезновении Татьяны Ивановны. Лоти презрительно пожала плечами и не удостоила ответом. Разве можно говорить о сумасшедших женщинах?

– Я на твоем месте давно бы отказала этой Татьяне Ивановне, – заметила Лоти, лениво зевая. – Хочется тебе с нею путаться.

– Она мне за один комнат девяносто рублей платит... Я имеет от нее свой маленький доход.

– Ну, довольно. Надоела... Всем вам цена расколотый грош. Было время у Татьяны Ивановны, когда она была в моде, – ну и вышла круглая дура, потому что не умела вовремя устроиться. Жила бы не хуже меня... А какой у ней голос был, когда она пела на Островах! Целый капитале в горле, и она его пропила на

шампанском.

– Дурак была.

– Ну плевать. Не стоит говорить.

Фрау Дранг занимала две больших комнаты. В одной была ее спальня, а другая представляла гостиную. Вся обстановка сложилась здесь из ненужных вещей Лоти, характеризуя те стадии, которые проходила эта практическая девица. Да, тут была и простенькая мебель, обитая дешевеньким кретоном, и кушетка, обтянутая подозрительно-красным, трактирным трипом, и настоящие шелковые пуфчики, козетки и кресла. Долго бедствовала фрау Дранг, пока дочери были малы, но зато теперь вполне блаженствовала, утопая в этом, сборном великолепии. Положим, Лоти часто ее корила своими благодеяниями и даже обещала вышвырнуть прямо на улицу, но между своими людьми какие счеты? Фрау Дранг отлично знала, что такое жизнь и что такое горячие слова.

Итак, Лоти лежала на кушетке и курила папиросу. Фрау Дранг немного была встревожена: а вдруг изгнанный генерал рассердится? Лоти, конечно, погорячилась, и нужно бы-

ло ее успокоить. Она любила малиновое варенье, рябиновку, сосиски, сыр, сельтерскую воду, – нужно было начать с этого. Поевший человек всегда спокойнее, как знала фрау Дранг по собственному опыту, но только вопрос, с чего начать? В момент этих размышлений в коридоре послышался сторожевой кашель Ольги. Фрау Дранг сделала недовольное лицо. Вечно некстати пристает эта чухонская морда.

– Ну, чего тебе, пергаля? – сердито спросила она, выйдя в коридор. – Не знаешь свой время.

– Бариня, а я тебе буду говорил, – бормотала Ольга, делая таинственные знаки и задыхаясь от волнения. – Рибенка екал…

– Какой ребенок ехал? Что ты мелешь-то?

– Она екал рибенок… Баронеска узел тащил, я смотрел узел… детские вещи узел… Она екал узел рибенок.

Фрау Дранг наконец поняла и хлопнула себя по лбу, как делала в решительные моменты. Да, теперь все было ясно. Вот зачем «баронесса» юлила в последнее время около Татьяны Ивановны! Она ее и, подбила… Фрау Дранг

знала, что у Татьяны Ивановны есть ребенок и что он воспитывается где-то в деревне. Раза два, защищая интересы жилицы, она выгоняла Агафью, являвшуюся обирать Татьяну Ивановну. Но фрау Дранг была порядочная женщина и не любила совать нос в чужие дела, пока это не касалось ее. А теперь другое дело. Ведь эта сумасшедшая привезет своего ребенка сюда. Нет, уж извините, всякому терпению бывают границы. Этого только недоставало. В глубине души фрау Дранг считала себя благодетельницей. Боже мой, сколько добра она сделала Татьяне Ивановне, когда та пришла к ней на квартиру чуть не в одном платье! Все она, фрау Дранг, и вот вам благодарность.

В гостиную фрау Дранг вернулась, как грозовая туча, и принялась так ругаться, что Лоти хохотала до слез.

– Дорого бы я дала, чтобы посмотреть на вас, когда та вернется с ребенком, – повторяла Лоти, хватаясь за бока. – Баронесса отличилась... о-ха-ха!.. У тебя, мутерхен, скоро будет свой собственный воспитательный дом. Тебе дадут медаль за человеколюбие.

Догадка Ольги растревожила Каролину

Карловну до того, что она выпила вечером лишнюю бутылку пива. И целую ночь ей снились самые гадкие сны, начиная с того, что Каролина Карловна видела себя молодой, со всеми последствиями и необходимыми ошибками этого опасного возраста, так что, проснувшись утром, она плюнула и сказала: «Donnerwetter!».

– Будем посмотреть, как она приедет, – повторяла старуха, грозно расхаживая по своей квартире. – Это меня нравится.

До обеда время тянулось ужасно медленно, так что Каролина Карловна три раза принималась ругаться с Ольгой, пока не впала в изнеможение. Лежа в постели, она нюхала какие-то такие старинные соли, что от них уже ничем не пахло, кроме пыли. Потом Каролина Карловна пила кофе, и вот именно в этот трогательный момент послышался звонок в передней. Это была она, Татьяна Ивановна… Каролину Карловну охватило такое волнение, что она не могла даже выйти в коридор, а только видела в отворенную дверь, как жилица прошла мимо с девочкой. Да, с девочкой.

– Ривезла, – доложила шепотом Ольга. – Ребенка большой... девочка.

Девочка? Нет, это уж, как хотите, хоть кого взорвет. Каролина Карловна поднялась, оправилась перед зеркалом и грозно поплыла к жилице.

– Можно войти?

– Нет.

– Как нет? Я хозяйка.

Каролина Карловна вошла без позволения и грозным взглядом окинула происходившую семейную сцену. Девочка сидела у стола и с аппетитом ела бутерброды с маслом и колбасой.

– Вы с ума сошли, – заявила Каролина Карловна. – Вы – дурак.

– Как вы смеете? Я вас выгоню вон.

В первый момент Каролина Карловна растерялась. Она никак не ожидала такого отпора. Что же это такое?.. А Татьяна Ивановна смотрела на нее в упор злыми глазами и имела такой вид, что вот-вот вцепится. Это уж было слишком, и Каролина Карловна рухнула на ближайший стул, как жирная лавина. Татьяна Ивановна молчала, и только по уско-

ренному дыханию можно было судить, как она волновалась.

– И это мне благодарность? – указала старуха на девочку.

– Это вас не касается, Каролина Карловна.

– Меня? Не касает? Я, я знаю, что такое любов... Когда я был молодой, меня тоже коснулся любов. Да... Это был отец баронессы. И я оставался с такою же девочкой... Один оставался... Я плакал день и ночь, потому что был дурак. Да... Я плакал о барон, отец баронессы... я ел корка черный хлеб.

– Отчего же вам барон не помог?

– Барон?.. Пфуй! У барон был одни панталон и семьдесят незаконных дитю... Барон был веселый характер, а я плакал. Нужно было взять другой барон, старый барон, а я плакал. Тогда я был дурак, а теперь вы дурак... Меня это очень касает, да. Девочка жил, вы жил, а теперь и вы и девочка будет плакал корка черный хлеб.

– У вас не буду просить, Каролина Карловна, а там что Бог даст.

– И не дам... У меня не богадельня. А баронессе я дам на кулаки.

– Она-то при чем тут?

– О, я понимайт все!.. Я баронессе дам на морда! Вы жил, девочка жил, а теперь стал нищий, – вот что баронесса.

– Нет, уж вы ее оставьте: она тут ни при чем. Я сама давно хотела взять девочку.

– О, я понимайт!.. Я был дурак, а вы есть дурак!

Сначала Татьяна Ивановна рассердилась на старуху, а потом принялась ее внимательно рассматривать, точно видела в первый раз. Например, раньше она совсем не замечала, что у Каролины Карловны какие-то ржавые глаза. Раньше, вероятно, они были серыми, а теперь заржавели. Затем, ведь старуха, если разобрать, совсем не злая, даже по-своему добрая, только решительно потеряла всякий вкус к добру и злу. Эта философия безразличия выработалась долгим житейским опытом с разного рода баронами, и Каролина Карловна была столько же виновата, как старинная тяжелая монета, потерявшая от времени всякий чекан. Татьяна Ивановна посмотрела на старуху даже с сожалением: ведь она, Татьяна Ивановна, была так сейчас счастлива.

Время от времени она наблюдала Наташу. Девочка сначала косилась на старуху, а потом равнодушно занялась опять своими бутербродами.

– Вот что, Каролина Карловна, – заговорила Татьяна Ивановна, набирая воздуху (ей было тяжело говорить). – Жили мы с вами, не ссорились и расстанемтесь по-хорошему, друзьями. Жить я у вас больше не могу, и вы знаете почему. Имея девочку на руках, я не могу вести прежний образ жизни. Надоело и... нехорошо. Я еще молода, могу работать... Одним словом, как-нибудь устроюсь.

– Знаю, знаю... Теперь один девочка, а устроишь себе другой, как баронесса. Знаю... Теперь ты жил комната, будешь жил на улица.

– Это уж как Бог даст. Нужно нам сосчитаться. По моим расчетам я вам ничего не должна.

– Будем посмотреть.

Каролина Карловна удалилась и долго что-то вспоминала и писала у себя в спальне. Результатом этой удивительной математики оказалось то, что Татьяна Ивановна была

должна за три месяца за квартиру, за два платья, за прошлогоднюю шляпу, за извозчиков и т. д. Получалась солидная сумма рублей в четыреста. Эта сумма ошеломила девушку. Произошла горячая сцена поверки счетов. По небрежности Татьяна Ивановна ничего не записывала, и все расходы прикидывала только приблизительно в уме.

– Вы на меня насчитали, Каролина Карловна.

– Я? Я все записывал.

– Что же я буду делать? Денег у меня сейчас нет. Могу вам оставить в обеспечение только свои тряпки и золотые безделушки. Берите, если у вас рука поднимется. Вы не от меня отнимаете последний кусок хлеба, а вот у этого несчастного ребенка... Впрочем, что тут говорить: как все пришло, так и ушло.

Каролина Карловна по части расчетов была неумолима и торжествовала вперед. Но с Татьяной Ивановной вдруг произошла перемена. Девушка гордо выпрямилась и проговорила совершенно спокойно:

– Берите все, Каролина Карловна, мне ничего не нужно. Да, ничего... Даже это будет

лучше.

– Как лучше?

– А так... Одним словом, мы не поймем друг друга.

Она даже улыбнулась и с каким-то сожалением посмотрела на жадную старуху, на ее ржавые глаза, на крючковатый нос.

V

Татьяна Ивановна очутилась в том безвыходном положении, в какое может попасть только одинокая женщина, не имеющая никакой посторонней поддержки. У нее был расчет на то, что первое время она просуществует, закладывая ненужные для нее вещи, а теперь все это оставалось в руках Каролины Карловны. Это было тяжелое и горькое испытание. Куда идти? С кем посоветоваться? Конечно, к «баронессе», которая должна была все знать.

«Баронесса» жила в глубинах Песков, в деревянном флигельке, стоявшем на дворе. Крошечная квартирка в три комнаты выходила окнами в стену соседнего каменного дома. Татьяна Ивановна отправилась к ней пешком, чтобы не тратит денег на извозчика, и взяла с

собой Наташу. Она ужасно устала. К счастью, «баронесса» была дома и встретила гостью с распростертыми объятиями.

– Ну, слава Богу! – повторяла она, обнимая Наташу, – Поздравляю, Татьяна Ивановна. Теперь нужно устраиваться по-новому.

– Да, нужно. Для начала мутерхен выгнала меня на улицу. Вот все, что есть на себе.

Татьяна Ивановна присела к столику и заплакала. На нее удручающее впечатление произвела бедная обстановка квартиры «баронессы», бедно одетые дети, вообще вся та приличная нищета, которая проникает всюду, как ржавчина. Старшему сыну «баронессы» было около шести лет, как Наташе, за ним шли две девочки – одна четырех, а другая – двух лет. Дети столпились около Наташи и рассматривали ее с тем бесцеремонным любопытством, как это умеют делать только дети.

– Как же это так, а? – повторяла растерявшаяся «баронесса». – Вот уж этого я не ожидала от матери… И для чего ей? Все у нее есть.

– Считает, что я должна ей больше четырехсот рублей.

– А она не считает того, что целых два года жила на ваш счет? Наконец, она по закону не имеет права захватывать такие вещи, как кровать, необходимое платье, швейная машина. Вот муж придет со службы, и он то же скажет. Нет, так нельзя!

– Ну, да это устроится все помаленьку. А вот как вы находите девочку? Она очень миленькая… и будет хорошенькая.

Немного успокоившись, Татьяна Ивановна подробно рассказала все свои похождения. Наташа слушала очень внимательно и, когда дело дошло до Моркотиной, расплакалась.

– Хочу к мамке… не хочу в городе жить… – повторяла она, захлебываясь от слез.

– Ничего, помаленьку привыкнет, – успокаивала «баронесса». – Кстати, Татьяна Ивановна, можно на первое время устроиться так: я вам уступлю вот ту маленькую комнатку. Пока устроитесь, и живите в ней с Наташей, а мы ничего, потеснимся как-нибудь. Весна на дворе, и ребятишки целые дни будут на улице. У нас тут есть близко сквер, так они там толкутся.

– Мне будет совестно вас стеснять, Катери-

на Петровна.

– Э, что за совесть! Ведь только пока, а там и свою квартиру наймете.

Как раз муж пришел со службы. Это был бородатый, средних лет мужчина в какой-то железнодорожной форме, – он служил на железной дороге. Простое и серьезное лицо понравилось Татьяне Ивановне.

– Домой Иван Семенович приходит только есть да спать, – объясняла «баронесса», приготовляя на столе все необходимое для обеда. – У них служба трудная. И ответственность при этом.

– Служба, как служба, – скромно заметил Иван Семенович.

– И жалованье маленькое.

Гостья внимательно вглядывалась в лицо хозяина и старалась про себя решить, почему оно такое хорошее – не красивое, а именно хорошее. Что-то такое правдивое было в каждом взгляде, в каждом движении.

– В самом деле, переезжайте к нам, Татьяна Ивановна, – продолжал он, выслушав план своей «баронессы». – Тесненько, правда, но в тесноте, да не в обиде, как говорит пословица.

Не правда ли, Катя?

– Сегодня и переезжайте, а я все приготовлю.

Ждать Татьяне Ивановне было нечего, и она переехала в тот же день. Все имущество она привезла на одном извозчике. «Баронесса» только покачала головой. Фрау Дранг, провожая жилицу, даже прослезилась.

– Мне жаль вас, Каролина Карловна, – говорила Татьяна Ивановна на прощанье. – Когда я вела дурную жизнь, вы ничего мне не говорили, а бранитесь теперь, когда я хочу жить своим трудом.

Устройство на новой квартире заняло всего несколько минут. Комната была всего в одно окно. У внутренней стены стояла детская кроватка, а напротив большой приземистый диван, на котором Татьяна Ивановна должна была спать. Стол у одна, комод в углу, несколько стульев – вот и вся обстановка. С каким нетерпением девушка ждала момента, когда останется наконец с дочерью с глазу на глаз! Наташа ко всем переменам относилась как-то пассивно.

– Тебе скучно с мамой, деточка?

– Н-не-е…

Девочка не знала самого слова: «скучно», и только с удивлением смотрела на мудреную городскую маму. В детской душе оставалась еще крепкая надежда, что все это пока и что мама увезет ее опять в деревню, к настоящей мамке. Эта замкнутость ребенка неприятно действовала на Татьяну Ивановну, точно она стучалась в запертую дверь и не получала ответа. Она даже стеснялась приласкать девочку, как это ей хотелось.

«Уж моя ли это девочка? – с тоской думала Татьяна Ивановна, в сотый раз разглядывая родимые пятна на руке. – Ведь должно же в ней сказаться органическое чувство к родной матери. Вот я, я чувствую, что она моя».

– Пусть девочка осмотрится, – советовала «баронесса». – А когда привыкнет, тогда все само собой будет. У детей память короткая. После деревни-то трудно привыкать к городу.

«Баронесса» принимала самое деятельное участие в каждом шаге своих жильцов и с напряженным вниманием следила за процессом приручения Наташи. Татьяна Ивановна часто чувствовала на себе ее пристальный

взгляд и смущалась, точно была в чем-то виновата. Впрочем, теперь было не до психологических анализов. Шли последние недели Великого поста, и «баронесса» раздобыла откуда-то работы. В магазинах и мастерских шла отчаянная спешка, и работу охотно давали на дом. Татьяна Ивановна умела порядочно шить, и это было большим подспорьем. В сутки она могла заработать около рубля, т. е. в сутки настоящей швеи, состоящие из восемнадцати рабочих часов. В маленькой каморке затрещала швейная машинка, точно неугомонный сверчок. Первые дни дались, правда, трудно, а потом Татьяна Ивановна понемногу привыкла и даже полюбила свою работу. Ведь она теперь существует уже своим трудом, ела свой собственный трудовой хлеб, а это придавало и силы и уверенность в самой себе. Ведь когда-то она работала в магазине, правда, очень давно, и старая привычка к тяжелому труду сказалась. За шитьем так хорошо думается. Машинка трещит, тянется бесконечная стежка, а в голове мысли так и бегут, точно по дорожке. Ах, как много этих мыслей и какие тяжелые мысли! Даже дух за-

хватывало, и Татьяна Ивановна только закрывала глаза, точно боялась их увидеть открытыми глазами.

Видела Татьяна Ивановна себя совсем маленькою девочкой. Больной отец-чиновник страшно кашлял, мать убивалась над работой, детей было трое, и все девочки. Старшие сестры учились в гимназии, а маленькая Таня осталась без всякого образования, потому что отец умер как раз в то время, когда ее нужно было отдавать в гимназию. Какое ужасное слово: бедность, в частности – петербургская бедность! Отвратительные каморки, вечные займы, унижение и голодовка. Двенадцати лет Таня очутилась в модном магазине и в течение четырех лет прошла тяжелую школу петербургской швейки. Чего-чего она тут ни насмотрелась и ни натерпелась. Страшно даже вспомнить. Старшие сестры в это время успели выйти замуж в провинции, мать перебивалась какою-то микроскопической пенсией. Старушка от нужды, непосильной работы и глодавшей ее всю жизнь нужды впала в какое-то детство. Таня бывала у нее иногда по праздникам, и эти побывки были

для нее тяжелее всего.

– Для чего я родила тебя девочкой, несчастная? – повторяла старуха, глядя на нее слезившимися глазами. – Ах, если б ты была мальчиком!

– А что бы было, мама?

– Ах, совсем другое, совсем другое!.. Это несчастие родиться в Петербурге девочкой. Ты еще молода, глупа и ничего не понимаешь.

Скоро Таня поняла эту роковую разницу, которая отделяет петербургских девочек от петербургских мальчиков. Ее магазинный курс кончился, и она получила известную самостоятельность. Старшие подруги посвятили ее в то, о чем она знала только по слухам. К ее несчастию, она была красива и вдобавок имела довольно хороший голос. Последнее ее и погубило. В шестнадцать лет Таня очутилась на подмостках довольно скверного загородного театрика, куда поступила хористкой. Здесь о какой-нибудь работе не могло быть и речи. Недавние подруги по мастерской так откровенно завидовали ей, считая ее счастливицей.

Жизнь понеслась бурной волной. Здесь все плыли по течению, не думая о завтрашнем дне. «Что же? Не одна я такая-то», – утешала себя Таня. И действительно она была не одна. В хоре служило до тридцати девушек, получающих такое микроскопическое жалованье, на которое могла существовать разве самая скромная комнатная муха. Приходилось прибегнуть к косвенным доходам, как это делали все другие. Собственно жизнь проходила в каком-то чаду. День спали, а работа начиналась только вечером, когда зажигались электрические фонари. Заканчивалась эта работа отдельными кабинетами, где кутили запоздавшие гости. Деньги швырялись полною горстью, и в голове начинающей хористки перевернулись вверх дном все понятия о жизни, добре и зле. Жили ведь только здесь, а остальные жалко пресмыкались. Окончательно погубило Таню то, что она, благодаря голосу и счастливой наружности, скоро перешла на амплуа солистки и сразу выдвинулась из общей массы. Аплодисменты, вызовы, подарки и всякие знаки внимания благодарной садовой публики окончательно вскружили ей го-

лову. Омут столичного разгула закружил ее с головой. О ней даже печатали в газетах, как о «начинающей звездочке».

Здесь же разыгрался и первый роман, закончившийся очень трагически. Солистка Таня, как ее называли в труппе, влюбилась в режиссера, человека пожилого и некрасивого, но почему-то пользовавшегося большим успехом у садовых женщин. Результатом романа явилась беременность. Режиссер, конечно, бросил ее на произвол судьбы, а сам уехал с новой жертвой куда-то на юг. Осень Таня кое-как протянула, работая в одном из зимних садов, а потом должна была оставить сцену. Первый опыт был слишком жесток, и появление Наташи не дало той радости, которую приносит матери первый ребенок. В отчаянии солистка Таня отдала его в воспитательный дом. Это и была маленькая Наташа.

Странно, что появление ребенка не вызвало материнских чувств. Они были подавлены в зародыше ненавистью к отцу и мыслью о том, что, все равно, с ребенком на руках она не могла бы существовать честным трудом, а тем больше не могла оставаться солисткой

Таней. В результате осталась какая-то озлобленность.

Нужно было жить, и жизнь покатилась. Как прошли целых пять лет – Татьяна Ивановна не могла бы ответить, как человек в состоянии угара плохо сознает, что делается с ним. День за днем летели с поразительной быстротой, тем более, что она пользовалась известным успехом, за ней ухаживали, ее имя на афише привлекало публику. Но, несмотря успех, озлобленность ее не оставляла. Она больше никому не доверяла и всех мужчин считала подлецами. О, она слишком хорошо знала их! О девочке, отданной в деревню на воспитание, она вспоминала только тогда, когда появлялась Агафья за подачкой. Раз даже у Татьяны Ивановны являлось желание увидеть ребенка, но оно сейчас же заглохло под давлением сознания, что какая она мать и какими она глазами будет смотреть на это ни в чем неповинное существо? Закончился этот бурный период тем, что Татьяна Ивановна простудилась на одном зимнем пикнике и потеряла голос. Деньги, какие были, ушли на леченье, а затем пришлось круто переменить

образ жизни. Именно в этот критический момент Татьяна Ивановна и поступила под крылышко фрау Дранг. У нее оставались еще кое-какие старые знакомства, и она жила на остатки своей недавней популярности, появляясь в модных кабаках в качестве одной из шикарных ces dames.

Оставался один шаг до открытой торговли собой, не прикрытой уже никакою иллюзией, и только тут Татьяна Ивановна опомнилась. В первую минуту она так возненавидела и себя и свое прошлое, что хотела отравиться. Ее спасло только знакомство с «баронессой», чутьем угадавшей, что с ней делается. Материнство «баронессы» открыло глаза Татьяне Ивановне.

Вот о чем думала и передумывала Татьяна Ивановна, целые дни работая на своей машинке. Ее охватывал какой-то ужас при одном воспоминании о прошлом, и она опять ненавидела себя. Ей показалось, что Наташа чувствует к ней инстинктивное отвращение, как к нечистому животному, и эта мысль ее убивала. Она не могла в этом случае быть откровенной даже с «баронессой», потому что

есть вещи, о которых не говорят. Успокаивала ее только одна работа, вернее – чисто-физическое утомление.

Зато как хороша была эта первая трудовая Пасха, это заработанное тяжелым трудом воскресение! У Наташи явилось первое новенькое ситцевое платье, новые башмачки, шляпка и осеннее пальто, – все было свое, кровное, и Татьяна Ивановна гордилась этими пустяками.

– Мы пойдем в самую маленькую церковь встречать Христа, – говорила она «баронессе». – Когда я была маленькой девочкой, то всегда ходила вместе с мамой.

Нашлась и маленькая церковь. Татьяна Ивановна молилась со слезами на глазах, и молилась не о себе, а о своей девочке, перед которой чувствовала себя такою виноватой. Ей казалось, что это для нее служат, для нее поют, для нее все радуются, – ведь она воскресла для другой жизни.

VI

– Вы счастливая, Татьяна Ивановна, – говорила «баронесса», когда Татьяна Ивановна вскоре после Пасхи нашла себе место продав-

щицы в одном из модных магазинов. – Это вам Бог на девочку посылает.

Место было неважное, всего на двадцать пять рублей, но зато постоянное, а это много значило для маленького хозяйства. Прежде всего, Татьяна Ивановна наняла себе маленькую квартирку в две комнаты и была так счастлива этим своим углом, как никогда. Было только одно неудобство, именно, что ей приходилось оставлять девочку одну, с прислугой. Вечера, положим, были свободны, но девочка в это время ложилась спать. Свободными оставались праздники, когда Татьяна Ивановна могла целый день посвящать своей Наташе. Это были счастливые дни, и мыслью о них девушка жила всю трудовую неделю. Заработанных средств, конечно, не хватало, и Татьяна Ивановна боролась с обступавшею ее кругом нуждой с героизмом всех бедных тружениц. Она экономила на своих платьях, на обуви, на пище, только бы свести концы с концами. Некоторым подспорьем являлась частная работа, которую девушка брала на праздники, а отчасти исполняла по вечерам, когда Наташа спала в своей кроватке.

Вся жизнь Татьяны Ивановны сосредоточивалась теперь в дочери. Она не могла себе представить, как бы могла жить без нее. Мысль о девочке являлась для нее чем-то магическим, что заслоняло все житейские невзгоды, неприятности и непосильный труд. Сидя вечером за работой и прислушиваясь к ровному дыханию ребенка, девушка часто удивлялась, как она могла жить раньше, как не умерла просто от стыда? Наташа являлась проверкой всей ее жизни, и во всех случаях она прежде всего думала о ней: а как Наташа? Это был центральный пункт, из которого исходило уже все остальное. Любуясь иногда на тихо спавшую девочку, Татьяна Ивановна часто с тоской думала о том, какое будущее ждет вот эту детскую русую головку. Ей делалось страшно, потому что она сама может заболеть, умереть, и девочка очутится на улице. Это была ужасная мысль, тем более, что Татьяна Ивановна именно в эти минуты чувствовала особенно ярко свое полное одиночество. Вон у других детей есть отцы, взрослые братья и сестры. Нет, лучше не думать о таких вещах!

Вся жизнь Татьяны Ивановны измерялась теперь одним словом: Наташа. Весь ее трудовой день, каждая свободная минута, каждая копейка, каждая мысль, каждое движение, – все это сосредоточивалось, как в центре, в ребенке. А Наташа оставалась все таким же дичком и ужасно тосковала по своей деревне, грязной мамке Агафье, по пьяном тятьке Андрее.

– Тебе скучно, деточка? – часто спрашивала Татьяна Ивановна, любовно заглядывая в детские глаза.

– Да... – отвечала девочка; она уже теперь знала, что такое «скучно».

– В деревне лучше?

– Куды лучше...

– Нужно говорить: куда.

Наташа не могла отвыкнуть от деревенских слов и приводила Татьяну Ивановну в отчаяние своим произношением. Например, Наташа по-новгородски говорила «оны», вместо они, Девочка вообще как-то сторонилась матери и часто смотрела на нее «чужими глазами», как называла про себя Татьяна Ивановна этот недоверчивый детский взгляд. Ко-

нечно, время должно было сделать свое дело, но ведь приходилось ждать, ждать и ждать, когда на сердце скребли кошки, Летом Татьяна Ивановна по праздникам ходила гулять с девочкой, чтобы развлечь ее. Побывали в Летнем саду, в Таврическом, в Зоологическом, раз даже ездили на пароходе на Острова, – Наташе было все-таки скучно.

Внутренно Татьяна Ивановна переживала тяжелое испытание. Изо дня в день велась упорная борьба между материнскою любовью и детским равнодушием. Наташа не сдавалась. Это маленькое детское сердце было глухо и слепо к окружавшей его атмосфере любви. Татьяна Ивановна приходила в отчаяние и потихоньку плакала. Да, это была ужасная кара за ее прошлое. По-своему ведь ребенок был совершенно прав. В самом деле, если разобрать серьезно, какая она мать? Разве матери бросают детей на произвол судьбы, откупаясь от них деньгами? Конечно, девочка сейчас не умела ей сказать всего, но это не мешало ей чувствовать, и затем ведь придет время, когда, она ей скажет *это*. Да, скажет. И никакой искус, никакой подвиг, ничто не покроет

этого жалкого прошлого.

Прошло полгода, прежде чем Татьяна Ивановна решилась спросить дочь:

– Наташа, а ты меня любишь? Ну немножечко, чуть-чуть?

Девочка посмотрела на нее «чужими глазами» и отрицательно покачала головой.

– Н-не-е…

– Нужно говорить: нет. Да ведь я твоя мама? Понимаешь, ма-ма… Настоящая твоя мама. Другой у тебя мамы нет…

– Нет, не мама… Мамка осталась в деревне.

– А ту мамку любишь?

– Люблю.

Это было ужасно. Настоящая драма и, как все настоящие драмы, она разыгрывалась в самых простых, наивных формах. Искренние ответы девочки приводили Татьяну Ивановну в отчаяние. А что она могла поделать? Детское сердце не купишь.

Стояла уже осень, настоящая петербургская гнилая осень. У Татьяны Ивановны было очень плохонькое осеннее пальто, а купить нового было не на что. Часто она возвращалась домой с мокрыми ногами, – вопрос о но-

вых калошах являлся неразрешимым. А эти темные осенние вечера, когда дождь хлещет, завывает ветер, и кругом расстилается какая-то мокрая тоска! Хорошо тому, у кого есть свой теплый угол, семья, хорошие знакомые, где можно, по крайней мере, выговориться и отвести душу. У Татьяны Ивановны была только одна «баронесса», и она изредка отправлялась к ней поверить свое горе.

– Трудно вам, милая, – соглашалась «баронесса». – Девочка, конечно, привыкнет и бросит эту деревенскую дичь. А главная причина, что сами-то вы еще такая молодая, Татьяна Ивановна... Одурь возьмет сидеть одной в четырех стенах.

– Ну, какая я молодая! Все это пустяки!

«Баронесса» уже не раз стороной заводила речь об этом одиночестве, и Татьяна Ивановна даже краснела, чувствуя, куда она клонит. С другой стороны, «баронесса» заводила политический разговор о разных «хороших людях». Вот, например, конторщик в багажном отделении, какой скромный молодой человек. Как-то приходит с мужем – красная девушка. Были у «баронессы» на примете и дру-

гие хорошие люди: аптекарский ученик, приказчик из мануфактурного магазина, служащий в ссудной кассе и т. д.

– Никогда мне об этом ничего не говорите, – заметила раз Татьяна Ивановна, еще более краснея. – Замуж я не пойду…

– Пустяки! Только нашелся бы хороший человек по сердцу…

– А Наташа? Да я и не желаю заедать чужую жизнь.

– И Наташе будет лучше. Вдвоем-то вот как заживете.

– Нет, нет… никогда! Я свое уже все прожила и теперь могу жить только для дочери. Вы этого не можете понять, Катерина Петровна, поэтому не будемте говорить. Не огорчайте меня.

– Как знаете. А я так, жалеючи вас же, сказала…

– Нет, уж лучше не жалейте.

Эти наговоры «баронессы» ужасно расстраивали Татьяну Ивановну, и, возвратившись домой, она каждый раз горько плакала. Ее огорчало больше всего то, что добрая и хорошая «баронесса» делала ей больно и не пони-

мала этого. Ведь у нее, у Татьяны Ивановны, нет и не может быть будущего, – зачем же трогать больное место? Какою семейною женщиною она может быть и какой это «хороший человек», который будет смотреть, как на его жену будут указывать пальцами? Нет, в жизни все идет с страшною последовательностью, и одно связано с другим. Татьяна Ивановна теперь часто про себя повторяла все то, что случилось с момента, когда она отправилась за ребенком в Моркотину. Вот она едет по железной дороге, вот ночь на постоялом дворе, вот благочестиво-бессовестный Митрий Митрич, вот добродушно-нахальный ямщик Иван, а там первая встреча с Наташей, сцена отъезда, появление в городе, история с фрау Дранг, – все одно с другим связано, как кольца железной цепи. Девушка тысячу раз проходила по этому пути и не находила именно того, к чему стремилась: Наташа была ей чужой. Может быть, единственный раз в жизни она поступила по совести, и из этого ровно ничего не выходит, т. е. не выходит главного.

Наступила зима. Петербургские улицы

точно принарядились. Скучающая столичная публика точно почувствовала себя бодрее. Легкий морозец заставлял всех торопиться, щипал носы и румянил щеки. Только бедные люди почувствовали себя еще беднее. Маленькие квартирки отсырели, а мысль о дровах являлась настоящею мукой. То же было и с Татьяной Ивановной: ее съедала сажень дров. Да, эта статья расхода вышибала ее из бюджета. Необходимо было прибавить еще пять рублей, а где их взять? Потом нужна была шубка, зимнее платье, обувь, а доходы оставались те же. На двадцать пять рублей хоть разорвись, а, все равно, ничего не выйдет, кроме этих же двадцати пяти рублей. Бедность обступала все теснее, точно сжимался какой-то роковой круг, из которого не было выхода.

Выручала, как могла, все та же «баронесса», хотя пользоваться ее благодеяниями Татьяне Ивановне и было очень тяжело. «Баронесса» отдала свою шубку, теплую юбку, чулки и готова была, кажется, снять с себя кожу. Часто, глядя на нее, Татьяна Ивановна с смущением думала про себя, что сама она так не

могла бы сделать, и эта мысль заставляла ее стыдиться. Да, она не могла бы отдать последнего.

Раз, незадолго до Рождества, Татьяна Ивановна пришла к «баронессе» совершенно расстроенная. Такой она еще не бывала.

– Милая, вы больны? – встревожилась «баронесса». – На вас лица нет, голубушка.

– Нет, ничего.

– Что-нибудь случилось?

Татьяна Ивановна присела к столу и разрыдалась горько и беспомощно, как плачет наболевшее горе. «Баронесса» отпаивала ее холодной водой, говорила какие-то слова и вообще ухаживала, как за больным ребенком.

– Все устроится понемножку, Татьяна Ивановна. Бог не без милости, а казак не без счастья. Когда бывает трудно, нужно думать о других, которым еще труднее. Ведь, подумайте, есть больные люди, которые совсем не могут работать. Конечно, вам трудненько достается, а все-таки помаленьку да потихоньку устроимся как-нибудь. Зима пройдет, тогда и дров будет не нужно.

– Ах, не то, совсем не то, Катерина Петров-

на! Мне просто сделалось и страшно, и тошно. Все мне тошно… да.

– Ну, это так, пройдет.

– Нет, я знаю свой характер. У других это проходит, а у меня останется.

Она посмотрела на «баронессу» своими заплаканными глазами и проговорила с таким трудом, точно отрывала каждое слово:

– Знаете что, Катерина Петровна? Мне кажется, да, мне кажется, что я… я не люблю Наташу… да.

– Что вы, Татьяна Ивановна, Бог с вами!.. Что вы говорите? Опомнитесь… Нужно молиться, когда такие мысли приходят в голову.

– Больше скажу: я ее начинаю ненавидеть.

– Ребенка? Нет, не говорите, не говорите… Вы сами не помните, что говорите. Этого не может быть.

– Я сама испугалась… Мне сделалось так страшно, точно кругом все потемнело. Я не умею вам даже объяснить, что чувствую.

– Миленькая, не думайте ничего, а будемте говорить о чем-нибудь другом. Это от заботы да от нужды. Бывает, что человек помутится, Господь с вами!

«Баронесса» даже перекрестила Татьяну Ивановну и долго целовала ее заплаканное лицо, остававшееся красивым даже в горе.

– Ведь я живу, как тень, – шептала Татьяна Ивановна и неожиданно улыбнулась. – Иду как-то вечером из своего магазина, а ко мне пристал молодой человек. Бежит за мной собачкой… «Позвольте проводить, барышня?» Я молчу. Он все за мной. Мне наконец это надоело. Остановилась и говорю: «Что вам нужно, несчастный? Разве вы не видите, что идет не человек, не женщина, а тень женщины? Понимаете, идет смерть?» Как он от меня ударится в сторону… Глупый такой!

– Вот видите, какие у вас нехорошие мысли. Раньше смерти никто не умрет, а вот о девочке-то вы нехорошо сказали… Ах как нехорошо!

– А если это правда? Знаете, я постоянно думаю о ней, и мне кажется, что мы сделали ошибку. Каролина Карловна тогда была права… Росла бы Наташа в своей деревне и выросла здоровою деревенскою девушкой. Ведь есть хорошие деревенские девушки… А потом вышла бы замуж за деревенского парня и бы-

ла бы счастлива. Ведь это мы думаем, что только и свету в окне, что жить в Петербурге... Разве это жизнь?.. Я не о себе говорю, а про нее. У меня сердце все изболелось, изныло... Иногда мне кажется, что я просто начинаю сходить с ума.

– Не нужно такие слова говорить, родная.

В конце концов «баронессе» все-таки удалось разговорить гостью, и Татьяна Ивановна вернулась домой успокоенная. Даже больше, у нее наступила реакция. Наташа крепко спала в своей кроватке, и Татьяна Ивановна долго сидела у ее изголовья, любуясь этим прелестным детским личиком. Ведь дети все хороши, потому что их не коснулась еще ни одна темная мысль, ни одно нехорошее желание. Татьяне Ивановне казалось, что она еще никогда так не любила свою девочку. Она припала к этому детскому тельцу своею головой и в таком положении забылась.

– Милая, родная... моя, моя, моя... – шептала она в полузабытье.

VII

Зима Татьяне Ивановне далась очень тяжело. После масленицы она слегла в постель.

Болела голова, душил кашель, трепала лихорадка. Лечиться было не на что, и девушка лежала одна-одинешенька. Она не хотела даже послать за «баронессой», потому что ее охватило какое-то холодное отчаяние. Все равно, чем может помочь «баронесса»? А какие были ужасные ночи!.. Какие тяжелые сны и грезы!.. Татьяне Ивановне все казалось, что она опять едет в Моркотину, опять торгуется с Митрием Митричем, опять воюет за свою Наташу и опять получает один и тот же ответ: «Нет, не мама...» Девушка просыпалась в каком-то ужасе, с холодным потом на лбу, и боялась закрыть глаза, чтобы роковой сон не повторился. Он ее измучил, этот сон, как повторение одного и того же.

– Мама больна... – говорила она игравшей где-нибудь Наташе. – Тебе не жаль мамы?

– Нет.

Татьяна Ивановна отвертывалась к стене, чтобы скрыть слезы.

Прохворать целых две недели бедному рабочему человеку стоило дорого. Работа в магазине не ждет, и на ее место была нанята новая продавщица. Приходилось по выздоров-

лении искать нового места, а между тем все было заложено, даже подушки. Не в чем было выйти на улицу.

«Э, пусть, – с ожесточением думала Татьяна Ивановна. – Все равно!»

Через две недели она поднялась с постели и начала бродить по комнате. От болезни оставался кашель, мучивший ее по ночам, и лихорадка. За квартиру было не заплачено уже за целый месяц, кухарке за два месяца. Эта последняя положительно отравляла жизнь своим ворчаньем, грубостями и просто нахальством. И все приходилось переносить.

Начиналась опять весна. День сделался длиннее. Яркое солнце заглядывало в окна, и при этом освещении убожество двух комнат Татьяны Ивановны выступало еще сильнее. Взглянув на себя в осколок зеркала, взятый у кухарки, она испугалась. На нее смотрело такое исхудавшее, больное лицо, хотя еще сохранявшее следы недавней красоты. Неужели это она?

Раз Татьяна Ивановна сидела за машинкой и кончала какую-то работу, взятую из магазина. В кухне послышались споривщие, голоса.

Кто бы это мог прийти? К ней никто не ходил. Скоро в комнату ввалилась сама фрау Дранг, одетая в бархатную кофточку и яркую шляпу.

– Здравствуй... Пришел тебя видеть, – заявила она, протягивая жирную руку. – Какой ты худой стал... я говорил.

– Я была больна, Каролина Карловна. Только что встала с постели.

Фрау Дранг долго искала глазами, где ей сесть, и поместилась на кровати. Она задохлась и тяжело дышала.

– Мой хотел давать на морда твой кухарка, – объяснила она наконец. – О, это такой швин! Мой долго сердил на тебя... мой потом очень жалел... мой пришел... потому что мой не помнил зла.

Татьяна Ивановна молчала, предчувствуя какое-то тяжелое объяснение. Она выслала Наташу в кухню. Фрау Дранг несколько раз принималась оглядывать бедную обстановку квартиры и качала головой, как фарфоровый идол. Она усвоила себе привычку краситься к теперь была противно намазана.

– Так, так, – повторяла про себя фрау Дранг, проверяя какую-то тайную мысль, принесен-

ную с собой. – Очень нехорошо. Молодой женщин и такой бедность. Нет, нехорошо. И никому это не нужно… да. Ах, если б ты слюшал старый Каролин Карловна!.. Он тебе добра желал, Каролин Карловна, и сейчас добра желал.

Татьяна Ивановна сначала точно напугалась нежданной гостьи, а потом отнеслась к ней совершенно дружелюбно. Даже была рада. Все-таки живой человек. Да и смешная эта Каролина Карловна, если к ней присмотреться.

– Вам очень меня жаль? – спрашивала девушка. – А мне жаль вас,

– Послюшай, дурак, ты не болтай глюпости… Мой сам хужа тебя был. Тогда жалел Каролин Карловна… Худой был, как шкилет из клиник убежал.

– Как я сейчас?

– О, ja… Мой долго дурак был.

– Знаю, знаю… А теперь вас не мучит иногда совесть? Вот я, например, знаю, затем вы сейчас пришли. Говорите прямо.

Фрау Дранг поднялась, огляделась кругом, хлопнула Татьяну Ивановну по плечу и, под-

мигнув, заговорила.

– *Он* приходил… *Он* спрашивал адрес.

– Который *он?* Я уж забыла.

– Глюпости, дурак… Разве он виноват, что богат? Почему бедный люда лючше?.. Пфуй! Он тоже жалел, очень жалел… Он просил меня твой посмотреть и говорить… Он сказал один слово, и у тебя опять был все. Все…

– Да? А девочка как же?.. Нет, Каролина Карловна, это дело нужно оставить.

– У меня был две девочки, а мой не умирал с голоду. Ты – дурак. Посмотри на мой Лоти. О, это умный голова!.. Приезжал, ругал, плакал, уехал… Старый генерал выгонял… Твой девочка не будет лючше, когда ты помирал с голод. Девочка не понимайте.

– А зачем вы меня тогда ограбили, Каролина Карловна, и пустили в одной рубашке?

– Мой грабил?.. Твой делал мне зло, а не мой грабил… Пфуй!

Фрау Драит была великолепна в своей обесстыженной наивности, и Татьяна Ивановна весело смеялась. Да, ей было теперь весело, как давно не было. Жизнь так проста, а она-то убивается. Нужно на все смотреть гла-

зами Каролины Карловны... В самом деле, весело. Фрау Дранг тоже развеселилась и еще раз хлопнула Татьяну Ивановну по плечу. Она сделала такой вид, что ушибла руку о худое плечо, и заметила:

– Шкилет... Бифтекс нужно кушать, яйца, вино... Будет жирный плечо, а теперь пфуй!

– Подождите, будет и жир... как у вас. Только ведь нужно совесть потерять – и жир будет. Все будут любоваться, хвалить... Разве много нужно? Вот только...

– Што только?

– Я боюсь «баронессы».

– Вот твой «баронесса»!

Фрау Дранг плюнула и растерла ногой. Что такое «баронесса»? Наплевать на «баронессу»... Она тоже подохнет с голоду, потому что дура. Она всегда была дура и ничего не хотела понимать.

– Вот что, Каролина Карловна, мне очень хотелось бы угостить вас кофеем, да только его нет. У меня ничего нет... Вчера посылала кухарку продавать калоши, и сегодня этим мы только сыты.

– Приходи ко мне, дурак... Отчего ты рань-

ше не прихаживал?.. Посмотри в зеркало на свой морда... Каролин Карловна очень жалел дурака. Каролин Карловна все присылал: белье, платье... А девочка не понимайт... Совсем еще глюпый девочка.

– Хорошо, присылайте. Не бойтесь, ничего не заложу... Вы совершенно правы, Каролина Карловна.

Уходя домой, фрау Дранг уже в дверях проговорила:

– А Лоти того... свой генерал по шанцам давал... У Лоти другой генерал... старый-старый генерал... А твой берет первый генерал.

– Подумаю, Каролина Карловна.

– Тебе добра желаю, дурак.

Когда старуха ушла, Татьяна Ивановна долго сидела у окна и улыбалась. Какая это смешная Каролина Карловна!.. А в сущности, если разобрать, так она по-своему совершенно права. Разве честным трудом проживешь? Впрочем, остается в запасе еще «хороший человек»... Девушка опять улыбалась, припоминая матримониальную политику «баронессы». В самом деле, или старый генерал, выгнанный Лоти, или хороший человек «баро-

нессы» – другого выхода нет.

Так Татьяна Ивановна и просидела до самого вечера, когда чухонка Ольга привезла ей посланные фрау Дранг костюмы.

– Ривезла, – объявила она, жадными глазами оглядывая бедную обстановку.

– Спасибо… Кланяйся.

У Татьяны Ивановны даже не было пятнадцати копеек, чтобы дать чухонке на чай. Ну, ничего, и так сойдет… Ольга прошла в кухню и долго о чем-то шепталась с кухаркой. Это таинственное совещание почему-то взволновало Татьяну Ивановну, хотя, в сущности, ей решительно было все равно.

Темнело. Грустные эти петербургские сумерки. В воздухе точно разлита какая-то глухая тоска. Дневной шум медленно замирает. Где-то звонит церковный колокол. Разве сходить помолиться?.. Говорят, делается легче… Но Татьяна Ивановна не чувствовала в себе молитвенного настроения. Она зажгла лампу. Керосину оставалось часа на два, а купить нового не на что. В долг лавочник не дает уже вторую неделю. Впрочем, не все ли равно?.. Выражение лица девушки было спокойное и

решительное.

– Наташа, ты хочешь спать?

– Я хочу есть.

– Хорошо.

В запасе оставался кусок ржаного хлеба, две картофелины и крошечный кусочек масла. Это был обед Татьяны Ивановны, но она отказалась от него, чтоб у Наташи был ужин. Девочка все съела, вытерла по-деревенски рот рукой и успокоенно вздохнула.

– Теперь спать, деточка?

– Спать.

Татьяна Ивановна раздела Наташу и уложила в кроватку. Девочка так аппетитно потягивалась под своим одеяльцем. Глаза у нее слипались.

– Ты спи, а я посижу около тебя, деточка... Дай мне свою ручку. Вот так... Тебе хорошо? Ну, спи...

Тихо в комнате. Слышно только, как возится в кухне кухарка, точно крыса в пустом амбаре. Что она могла там делать? Эта возня раздражала Татьяну Ивановну, мешала сосредоточиться на одном, что было сейчас самое главное. Боже мой, как она была глупа!..

Взять хоть сегодня, когда она смеялась над сумасшедшею болтовней фрау Дранг. Ведь старуха выжила совсем из ума и потеряла всякую совесть. А потом, зачем она согласилась, чтоб ей принесли костюмы? Ничего не нужно, решительно ничего... И как легко, когда чувствуешь, что ничего не нужно.

Девочка уже спала. Она была особенно мила в своей постельке. Таких девочек рисуют даже на картинках. Девушка долго всматривалась в это детское личико, которое не ответило ей ни одною улыбкой, ни одним взглядом, и тихо прошептала с горькою улыбкой:

– Нет, не мама...

Да, это был смертный приговор, произнесенный детским языком.

Потом Татьяна Ивановна начала рассматривать присланные фрау Дранг костюмы. Все это было когда-то нужно. А сейчас она не могла смотреть на них без омерзения, потому что опять видела себя разодетой в шелк и бархат, видела тот омут, куда ведут бедных девушек вот такие платья, видела собственный позор. Неужели опять начинать все снова? Эта мысль заставила Татьяну Ивановну похоло-

деть. Она начинала ненавидеть себя, – ту себя, которая от бедности опять бросается в омут головой. Один голод чего стоит... А потом для Наташи какой дурной пример, какой позор. Если она не могла признать в ней своим детским сердцем родную мать, то, по крайней мере, не должна за нее стыдиться.

Татьяне Ивановне казалось, что она опять куда-то едет, быстро-быстро едет, вернее – летит... В голове шум, перед глазами мелькают телеграфные столбы, за ней кто-то гонится... Нет, это она сама за собой гонится и слышит, как шумят шелковые платья, где-то гудит пьяный опереточный мотив, где-то хохочут охрипшие от пьянства голоса...

На другой день рано утром пришла «баронесса». Она уже слышала о визите maman и явилась проведать приятельницу. Татьяна Ивановна лежала на диване совсем одетая. Голова была закинута, одна рука свесилась на пол. На окне валялся пузырек с остатками какой-то бурой жидкости, Девушка отравилась.

Наташу взяла к себе на воспитание «баронесса».

1894

Примечания

1

Если бы молодость знала, если бы старость могла! (*фр.*)

[^^^]

2

Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо (*лат.*).

[^^^]

3

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана (*фр.*).

[^^^]

4

Буквально «имена ненавистны»; т. е. не будем называть имен.

[^^^]